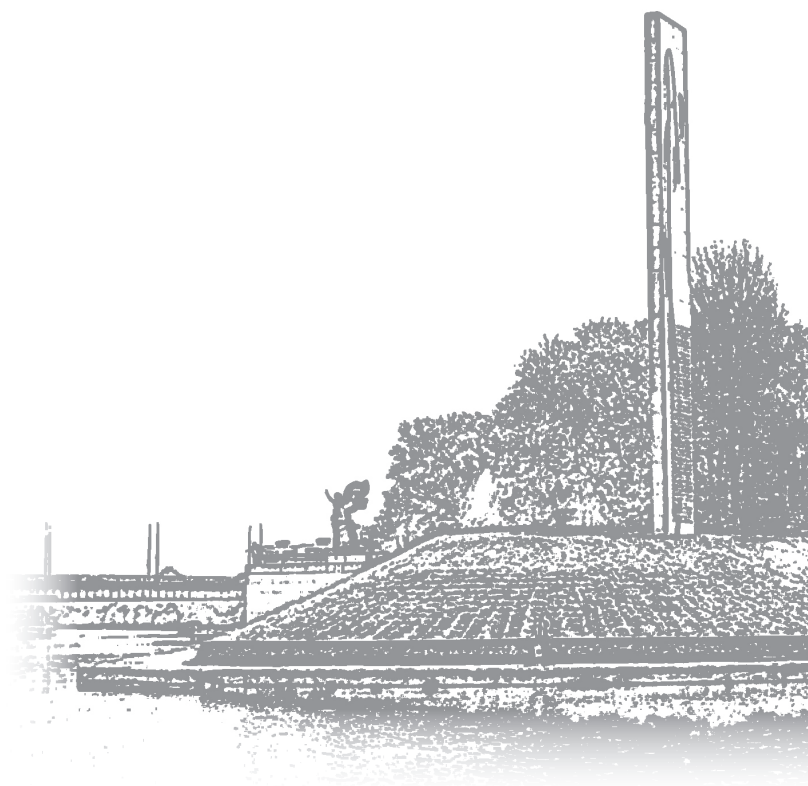
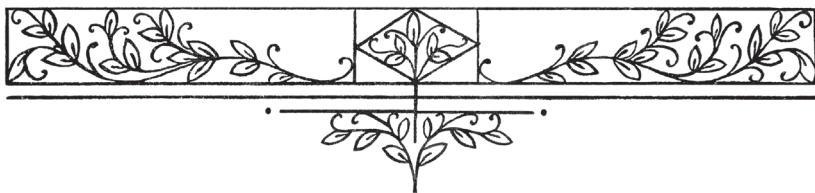




К 450-летию города Орла





Четырёхтомное
собрание произведений
современных орловских
писателей



ОРЁЛ – 2015

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ
ИЗБРАННОЕ

Том первый

ПРОЗА



Издательство «Вешние воды»

ББК 84(2Р)6

П 78

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Правительства Орловской области

Главный редактор издания Г.А. Попов
Художественное оформление издания *Г.В. Скорикова*
Редактор тома «Проза» *А.Я. Загородний*
Составители: *С.С. Голубева, Е.А. Машукова*

П 78 **Четырёхтомное собрание произведений современных орловских писателей. Том 1: Проза.** – Орёл: Вешние воды, 2015. – 680 с.

ISBN 978-5-87295-288-6

В настоящее издание включены лучшие произведения современных орловских писателей, созданные за более чем пятидесятилетнюю историю Орловской писательской организации.

Произведения в четырёхтомном собрании распределены по жанровому принципу. В первый том вошли повести и рассказы орловских писателей.

ISBN 978-5-87295-288-6

© Издательство «Вешние воды», 2015
© Орловская писательская организация, 2015

ЕВГЕНИЙ **ГОРБОВ**

Заря



Заря

(рассказ)

По вечерам становилось так холодно, что начинали зябнуть руки. Холод сгущался медленно, постепенно, и похоже было на то, что между людьми и предметами вырастает невидимая стена. Молодые лозинки под окном, камень у ворот, железный петушок на трубе вдруг принимали отчужденный, скрытный вид и, казалось, начинали жить сами по себе. Эта непонятная людям жизнь предметов, отгороженных стеклянной стеной холода, была мила всему мертвому, неодушевленному миру. Он только теперь находил свои настоящие краски, формы, очертания. Ярко и глянцевито, точно вырезанные из зеленой жести, поблескивали мелкие листики лозин – они праздновали свой юношеский, непорочный праздник; изумрудно поблескивали ползущая отовсюду молодая травка, упругие лопухи и крапива. Даже крыши, побуревшие от времени, в эти холодные вечерние часы начинали светиться непривычным молодым блеском. А позднее, когда уже был виден пар от дыхания, по небу, заняв три четверти горизонта, разливалась могучая пламенная заря. Она горела, но не сгорала, лишь становилась все строже, и в ее широком победном зареве также было что-то свое, холодное и отчужденное. При заре начинали петь соловьи. Их было много, но ни одна трель, ни один посвист не терялись в общем хоре – все звучало само по себе, сильное и чистое, и было похоже на то, что по багряному полотну непрерывно катятся пригоршни разноцветных небьющихся стеклышек. И чем сильнее становился холод,

тем больше старались соловьи. Они самозабвенно пели этот чуждый людям праздник лозинок, крыш, остывшей мостовой – праздник холодного майского вечера.

И всякий раз, когда на одной стороне полыхала заря, а на другой, еще не поблекшей, мелко, как иголочки, перемигивались светлые звезды, по небу начинали шарить прожектора. Они поднимались, то лиловые и узкие, как линейки, то широкие, расплывчато-голубоватые, и медленно передвигались из одного края неба на другой.

По вечерам Володя Шумов оставался один. Дядя, у которого он жил, обычно задерживался на работе, и мальчик коротал время, как ему хотелось. Он подогревал чайник, садился у окна и медленно тянул горячую воду. Из темной комнаты заря казалась особенно величественной и прекрасной. Мальчик отставлял недопитую кружку и задумывался о том, как странно началась для него эта весна и как далеко теперь его родители.

Его отец, мать и младший братишка еще зимой эвакуировались на Урал. Володя остался у дяди потому, что заболел и не мог выдержать такой далекий путь. Утром, наскоро позавтракав и простившись с дядей, он спешил в школу. Занятия шли довольно беспорядочно – класс наполовину пустовал. От утренних часов оставалось смешанное впечатление яркого солнца, затоптанных коридоров и сквозняков от выбитых стекол. И хотя учеба, несомненно, была самым важным событием дня, утренние часы как-то не запоминались.

Настоящая жизнь начиналась для Володи с той минуты, когда он возвращался домой. Он входил в пустую комнату и еще с порога кивал кровати, чайнику, железной печке: здравствуйте, граждане! Часы-ходики тикали на стене – они казались Володе живым, доброжелательным существом. Мальчику нравились одиночество и молчаливое общение с вещами. Дядя всегда оставлял ему записку, в которой указывал, как и что приготовить к обеду. Мальчик долго и серьез-

но смотрел на горсточку пшена и пяток картофелин: он размышлял о том, можно ли усовершенствовать обыкновенный кулеш. Конечно, можно, только надо знать – как. В конце концов он сваливал пшено и картошку в одну кастрюлю и, посвистывая, начинал стряпню.

После обеда Володя брался за чтение. Дядин шкаф был сверху донизу набит книгами. Тут было много русских и западных классиков. Володя перебирал полку за полкой. За последние недели он прочел «Манон Леско», «Красное и черное», «Шагреновую кожу», «Песню о Гайавате» и множество других книг. Иногда от чтения рябило в глазах. Мальчик откладывал книгу и сидел не шевелясь, с опущенными веками. Все наплывало сразу – и дразнящая улыбка Манон, и гневно-прекрасное лицо Жюльена Сореля; это было невыразимо хорошо, но из-за прочитанного проглядывало нечто еще лучшее – его собственная жизнь. Она вся была впереди, но книги уже теперь наполняли ее сложным, волнующим содержанием. Володя открывал глаза. Кровать, печка, чайник выглядели как обычно, но у каждого предмета появлялось какое-то особенное многозначительное выражение. Вещи точно говорили: да, да, все впереди! Володя начинал рассказывать на стуле, напевать; иногда он вскакивал на ноги и, охваченный странным, неизъяснимым настроением, декламировал из Гайаваты:

*Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!*

Когда заря из алой превращалась в темно-вишневую, Володя брал кусок фанеры, бумагу, карандаш и поднимался на чердак. Он пролезал через слуховое окно и карабкался вверх по крыше. Останавливался около трубы. Отсюда была видна добрая половина города. Улицы давно терялись в сумерках, но гребни крыш, пересекавшие зарю, рисовались отчетливо

и резко. Володя клал фанеру на край трубы и устраивался поудобнее. Он давно хотел изобразить картину вечерней бомбежки. Надо было нарисовать пепельный закат, черные зубцы труб, свет прожекторов, пунктиры трассирующих пуль и столбы пожарищ в разных концах города. Днем рисовать было легче, но Володя хотел приблизиться к натуре и поэтому всегда пользовался вечерними часами. Наверху было невыносимо холодно – мальчик ежился, но терпел. Он нарочно, ради закалки, оставлял дома теплую куртку и фуражку. Город молчал, только в саду над рекой отчетливо щелкали соловьи. Володя сосредоточенно действовал карандашом. Трудная задача! Попробуй схватить этот капризный изгиб зари, опоясавшей городскую окраину, и посередине изгиба – тяжелый массив слободской церкви, которая хочет придавить низкие домики. Володя опешил, зная, что скоро ему помешают.

Помеха приходила всегда в одно и то же время. Со станции вдруг доносился глухой протяжный рев – гудок паровозного депо. К нему присоединялись городские гудки. Они сливались в один сплошной вопль и плыли над городом, потрясая воздух. Там и сям начинали торопливо хлопать двери, калитки, с соседского двора всякий раз долетал взволнованный девичий голос:

– Мама, скорей!

На небе сразу появлялся десяток светлых подвижных столбов. Володя закусывал губы. Он слышал нараставший рокот моторов, но не отходил от трубы. Еще рано: прежде надо схватить эти колючие огоньки, которые, как лягушки, прыгают по всему небу. А зенитки уже били непрерывно, осколки стучали по крышам. Володя оставлял рисунок на трубе и спускался вниз, бормоча под нос:

– Это просто неприлично – заводить бомбежку в такое время...

Он прятался под навесик возле слухового окна и сидел здесь, ожидая, когда кончится первый залет. Самолеты всег-

да развевались над этой частью города, но их груз обычно сваливался на железнодорожный узел. После залета наступала пауза. Высоко поднимались огни пожарищ, казалось, что даже здесь, за три километра, слышен треск пылающего дерева, грохот железных листов, звон стекла. Володя выбирался из-под своего прикрытия и снова лез наверх.

При огнях рисовать было легко и удобно. Заря отходила на задний план, она теперь казалась тусклой и неприметной. Огни дрожали, шевелились, и вместе с ними шевелился весь город. Вот пламя мотнулось ввысь, и дома с их заборами, садами и палисадниками как бы прыгнули вперед; пламя упало – дома послушно отодвинулись в темноту. После залета Володя всегда видел на соседнем дворе девушку пятнадцати-шестнадцати лет. Она стояла на дощатой крыше невысокого деревянного сарайчика и осматривалась по сторонам. До нее было не больше десяти метров, и Володя различал каждую черту девичьего лица. Это лицо отражало озорство, смешанное с боязнью. Девушка вытягивала шею, поднималась на цыпочки и, вся освещенная дрожащими огнями, казалось, сама была готова вспыхнуть, испепелиться и улететь...

В глубине соседского двора раздавался испуганный женский шепот:

– Слезь, Валя, опасно. Сейчас опять прилетят.

– Ничего, я соскочу. Смотри, сколько пожаров. Боже мой, где же это горит? Это, наверное, около элеватора. Пламя-то, пламя какое! Ай!..

И, отчаянно взвизгнув, девушка соскакивала на землю. Опять нарастал рокот моторов, и все повторялось сначала. Во время второй паузы девушка появлялась на прежнем месте. Она становилась на самый край крыши и крепко стискивала руки – вся ожидание, любопытство и боязнь. Мать звала ее вниз – девушка даже не повертывала головы. Иногда, продрогнув, она принималась одергивать вокруг коленей свое короткое платьице. Девушка хорошо видела Володю.

Она часто поглядывала на соседа, и в ее любопытствующих глазах был виден откровенный вопрос: что ты там делаешь? Володя обычно отвечал ей пустым, ничего не выражающим взглядом. Девушка вскидывала голову и с показным равнодушием отвертывалась в сторону.

– Валя, слезай скорей, нельзя там стоять, – слышался шепот.

– Не бойся, мама, ничего не будет. А пламя все сильнее – просто ужас. Теперь загорелось около известкового завода. Но, по-моему, одного сегодня сбили... Ай, мама!

Девушка снова соскакивала на землю. Так повторялось три или четыре раза. Когда налет прекращался, Володя забирал рисунок и слезал вниз. Он завешивал окна, ужинал остатками кулеши и брался за книги. Читал до поздней ночи и когда ложился в постель, то еще долго размышлял о прочитанном, о своем рисунке, обо всем, что случилось за день. И до последней минуты его бодрствования, проникая сквозь неплотно прикрытую форточку, в комнату доносилось самоабвенное щелканье соловьев.

Как-то днем к Володе зашел старик-сосед – квартальный уполномоченный.

– Молодой человек, – сказал квартальный, – по всей улице установлено ночное дежурство. Почему жильцы вашей квартиры не соблюдают свою очередь?

– Дядя в ночное время бывает на работе, – ответил Володя.

– Ну, раз нет дяди, то нужно вам.

– А что должен делать дежурный? – полюбопытствовал мальчик.

– Следить за порядком. Например, если начнется воздушная тревога, оповестить население.

– Чего же оповещать, когда и без того все слышат гудки?

– Такой порядок. Время военное. Да вы не бойтесь, скучно не будет. Дежурят по два человека на квартал. Что вы скажете насчет сегодняшнего дежурства?

– Если нужно – отдежурю, – ответил Володя.

В девять часов вечера он надел ватную куртку, взял толстую дядину палку и вышел на улицу. Было тихо и холодно. Заря померкла, только в одном месте между домами светилося желтоватое пятно. Володя постоял около калитки и побрел по переулку. Палка мягко постукивала о тротуар. Из садов резко и сильно пахло свежей листвой. Деревья точно творили впотьмах какую-то напряженную работу. Холода задержали цветение сиреней, черемух, яблонь, и теперь они с нетерпением ждали своего часа, чтобы сразу одеться в белые и розовые одежды. Володя дошел до конца квартала, постоял, прислушиваясь к ночным шорохам, и направился обратно.

Посередине квартала он увидел, что ему навстречу движется темная, неясная фигура.

– Кто идет? – крикнул мальчик, и в ответ ему послышалось:

– Кто идет?

Они сошлись против Володиного дома. Сначала мальчику показалось, что перед ним стоит пожилая женщина, но, заглянув под большой теплый платок, он увидел живые, смеющиеся глаза. Это была девушка из соседнего двора.

– А, это вы? – протяжно сказала девушка. – Тоже дежурите?

– Да.

– Вот хорошо. А я уже думала, что мне достанется в компанию какая-нибудь старушка. Ну, как мы с вами распределим роли?

– Очень просто, – ответил Володя. – Вы будете ходить по ту сторону квартала, а я по эту.

– Значит, вы пойдете направо, а я налево?

– Да.

Девушка хотела сказать что-то еще, но Володя отвернулся и пошел прочь. Она постояла в раздумье и побрела в противоположную сторону. Мальчик обошел свой участок,

посидел на камушке и отправился назад. Здесь он снова увидел девушку.

– Это вы? – спросила она жалобно и нетерпеливо. – Что так долго? Я уже соскучилась. Холодно здесь как-то и одиноко. Знаете что, зачем нам ходить порознь? Давайте ходить вместе.

– Так не полагается, – ответил Володя.

– Почему? Вы что – избегаете общества?

Володя нахмурился. Постоянное одиночество и общение с книгами приучили его выражать свои мысли несколько уклончиво и отвлеченно. Он ответил, слегка поджав губы:

– Чтобы не говорить ничего другого, скажу, что все это сущие пустяки.

Девушка рассмеялась:

– Какой тон у вас! Чтобы не говорить другого... Странный вы...

Смех обезоружил Володю. Он смягчился. Девушка, недолго думая, протянула ему руку.

– Меня зовут Валя.

– А меня Володя.

Они пошли рядом. Тротуар был узкий, и девушка перетянула его на дорогу. Мягкая, густая пыль, покрывавшая мостовую, скрадывала стук палки. Стало еще темнее; дома, заборы, сады слились в одно бесформенное пятно. Володе продолжало казаться, что деревья, укрытые заборами, совершают какую-то таинственную ночную работу. Сады распространяли волны острой, колючей свежести, и каждая волна состояла из отдельных струек, наделенных своим отличительным запахом. Вот потянуло горьким соком, вот жирной, рыхлой землей. Что творилось там, за черными заборами? Володя смотрел и думал, что сейчас под деревьями, среди сырых корней копошатся, пробиваясь вверх, тонкие иголочки молодой травы, развертываются желтые и синие звездочки безвестных весенних цветов, бутоны сирени, натужась, силятся раздвинуть стенки своих темниц.

– Ну, сегодня бомбежки не будет, – говорила Валя. – Раз не налетели до десяти часов, то позднее уже не прилетят. А какой ужас – эти бомбежки. Все свистит, воеет, рушится, горит. Иногда такая возьмет злоба – так, кажется, и разорвала бы их своими руками. А помочь нельзя. Побежала бы тушить пожары, да разве добежишь? И ходить-то в это время не позволяют. Так и мучаешься. Я не люблю прятаться в погребе, а вы?

– Когда как, иногда и прячусь, – ответил Володя.

– Я тоже иногда. Вот моя мама – та почти не выходит из убежища. Я живу с мамой, а вы?

– Я – с дядей.

– Наверное, недавно?

– С этой зимы.

– То-то я вас раньше никогда не замечала. А чем вы занимаетесь?

– Готовлюсь к переходу в восьмой класс.

– В восьмой? Вот интересно! Я тоже кончаю седьмой класс. Но я испытаний не боюсь, у меня – полный порядок...

Валя говорила, говорила, перебрасываясь с одного предмета на другой; к удивлению Володи, она за десять минут узнала все, что ее интересовало. Затем девушка принялась рассказывать о себе, о своей матери, о школьных подругах.

Они дошли до угла и остановились на перекрестке. Город молчал, точно в нем прекратилась вся жизнь.

– Какая ночь, – мечтательно проговорила Валя, – какая необыкновенная тишина! Подумать только, что когда-нибудь это будет постоянно. Но, знаете, когда я думаю об этом, мне становится жаль наших тревожных ночей. Так и хочется сохранить их в памяти. Не таких ночей, как нынешняя, не соловьиных, а бурных – с гудками, зенитками, пожарами. Понимаете? Вот есть фотография, цветное кино, но это не то... Хочется, чтобы все было как живое. Сделать такой запоминающийся аппарат, понимаете, и, когда захочешь, пускать

его в ход. Нажмешь кнопку – и все перед тобой: этот кусочек города, крыши, хорошо бы свет зари, а в небе – огни, вспышки. И не только видать, но чтобы и слышать все – свист, грохот и, главное, чтобы было настроение... Понимаете? Все, все как есть, чтобы трясло душу, и пустить этот аппарат когда-нибудь лет через двадцать или тридцать, когда будешь старушкой, стоять перед ним и все переживать. Вот это будет воспоминание! А то все пройдет, и уже сама не поверишь тому, что это было...

Володя внимательно выслушал ее.

– Интересная мысль, – сказал он. – Мне тоже приходило в голову, что хорошо бы записать на пластинку всю эту процедуру – приближение самолетов, грохот зениток, свист первой бомбы...

– Да нет, не так вы меня поняли. Тут не пластинка, а настроение. Понимаете? Ну, чтобы все было въявь, как в жизни. Будто я стою на крыше, а кругом меня весь город, и все видно, и даже можно ощупывать руками. Ну, словом, тут и объем, и звук, и цвет...

От досады, что ей плохо поддается нужная мысль, Валя даже прищелкнула пальцами. Володя вспомнил про свой незаконченный рисунок, на котором также должно было отразиться настроение, и слова девушки вдруг показались ему такими понятными и знакомыми, будто он сам их произнес.

А соловьи все щелкали, и, слушая их, Валя потянула мальчика куда-то прочь от угла. Она прижалась к своему спутнику, слегка охватив его руку теплыми маленькими пальцами.

– Куда мы идем? – спросил Володя.

– Поближе к соловьям.

– А дежурство?

– Ничего, тут всего один квартал. Если мы услышим самолеты, то моментально прибежим. Да и не будет их сегодня, уж поверьте.

Володя молча согласился. Они пересекли дорогу, спу-

стились вниз и вышли к мостику над узким пересохшим ручьем. До соловьиного сада оставалась какая-нибудь сотня шагов. Здесь, на открытом месте, не занятом домами, было светлее, чем в тесном переулке. Свет падал от крупных звезд, усеявших все небо, на перилах мостика лежал слабый маслянистый отблеск. И все вокруг этого места – одинокий телефонный столб, старый пенёк, круглые голыши по берегам ручья – было примаслено этим тонким, как бы внутренним свечением, и каждый предмет выглядел отчетливо, сам по себе. Здесь особенно сильно чувствовалась загадочная, непонятная людям жизнь вещей; холодные и молчаливые, они смотрели на пришельцев сотней недвижных линий и точно спрашивали: зачем вы сюда явились? Валя оперлась о перила и закинула голову вверх. На фоне звездного неба ее фигура обрисовалась подчеркнуто резко.

- Соловьи, соловьи... – сказала девушка.
- Соловьи гремят, – отозвался Володя.
- Который теперь час?
- Не знаю. Может быть, первый, а возможно, второй.
- Пойдемте поближе к саду.

Длинный низкий забор тянулся на десятки метров и в темноте казался бесконечным. Кое-где доски разошлись, и ветки свесились на тротуар. Они касались лица, как чьи-то сильные, прохладные руки. Соловьиный хор звенел по всему саду. Начиналось в дальнем краю, перекидывалось на середину, подкатывало к самому забору и вдруг возвращалось на крайние куртины. Володя и его спутница медленно шли вдоль забора и думали о том, как хорош этот старый, заброшенный сад. Еще несколько дней – и он весь забелеет, как пена; потом в глухих, тенистых местах рассыплются желтые крестики куриной слепоты, стеной встанут крапива и разлапистые лопухи. А потом когда-нибудь пойдут дожди. Хорош сад и в эту пору. Низко тянутся облака; вечер – не вечер, но уже блекнут, смешиваются краски, и мутные оловянные

тени ложатся на травы и листья. Хорошо в это время пройти по траве, волоча за собою длинный след, постоять под деревом, слушая, как каплет с веток и как тихонько шуршат расправляющиеся листья.

Валя вдруг зябко вздрогнула.

– Однако холодно... Знаете, в эти дни я почему-то часто думаю о людях прошлого, о тех, которые могли спокойно гулять по таким вот садам и паркам. Вот я недавно читала про Татьяну Ларину. Конечно, она была дворянка, но зато настоящая русская женщина. У нее был сильный характер и глубокая душа. И вот я думаю о том, как поступила бы Татьяна, живи она в наше время. Она не стала бы киснуть под бомбами. Таня пошла бы на фронт медицинской сестрой или радисткой. Смешно сказать, но Татьяна Ларина могла оказаться в партизанском отряде. Или Вера из гончаровского «Обрыва». Эта еще лучше. Вера могла бы заслужить звание Героя Советского Союза. Сколько у нее крепости, твердости, глубины чувства! Эта не дрогнула бы под пыткой, не испугалась смерти! Живи сейчас Таня и Вера, они показали бы всем, что такое женский героизм, верность, дружба... Уж такое сейчас время, что каждого человека вывертывает до самой подноготной: если ты смел – так смел, если трус – этого не скроешь. Даже Марфинька, сестра Веры, и та сейчас стала бы настоящим человеком. Конечно, она не могла бы пойти вместе с партизанами на диверсию, но могла бы, например, стирать белье партизанам...

Володя не видел лица своей спутницы, но угадывал по ее ломкому, звенящему голосу, как она взволнована своими словами. Волнение Вали передалось мальчику. Он что-то ответил девушке, та – ему, и завязался длинный, горячий разговор. Они ходили взад и вперед вдоль темного забора, не заботясь о том, который час, машинально отстраняли мешавшие им ветки и говорили, говорили.

А потом стало рассветать. Звезды усилили свой блеск, но

воздух, весь пронизанный их тонкими лучами, стал выцветать и блекнуть, как линючая материя. Все оставалось на своем месте, но вот, как бы рождаясь вновь, медленно выступало из темноты – дома, телефонные столбы, лохматые головы деревьев. Это была еще не улица, а только призрак улицы. Наконец показался сад, густой, пышный, но еще тусклый и неживой. Под деревьями, как прибитые, висели клочки синеватого тумана. Но жизнь уже просилась сюда – она мягко румянила верхушки лозин, опускалась по заборам и скользила дальше – в глубину улицы и сада. Все ярче становился румянец, и вот всем миром сразу овладела торжествующая заря. Володя и Валя переглянулись и замолчали. Не говоря ни слова, они перебрались через забор, прошли по саду и остановились на берегу реки. Еще полноводная, не вернувшаяся в свои берега, река повторяла пламень зари. У воды чернели пласты ила, нанесенные половодьем, от них тянуло резкой сыростью.

Володя и Валя стояли молча, держась за руки. Мальчик незаметно посматривал на свою спутницу. Он только теперь как следует разглядел ее лицо. Это было худощавое, почти детское лицо, бледное от усталости, но одухотворенное какою-то глубокой, беспокойной мыслью.

- Сколько теперь? – тихо спросила Валя.
- Наверное, около четырех.
- Пойдем назад?
- Пойдем.

Они медленно вернулись в свой переулок и разошлись по домам. Стало совсем светло. Володя осторожно, стараясь не разбудить дядю, разобрал постель, разделся и скользнул под одеяло. Но уснуть ему удалось не сразу. Он все время видел Валу и мысленно повторял разговор с нею. Умный разговор! Мальчик бессознательно счастливо улыбнулся. Хорошо все это – весна, встреча с соседкой, книги... Но вот его голова стала пустеть, затуманиваться, в ослабевшем сознании в по-

следний раз промелькнуло худощавое бледное лицо, слегка освещенное зарей. Володя уснул...

На другой день, пообедав, мальчик вышел за калитку. Он убеждал себя, что идет без всякой цели, но в глубине души отлично сознавал, что хочет видеть соседку. И он, действительно, увидел Валю.

На утоптанной площадке против соседнего дома стояли четыре бойца. Это были зенитчики, которые уже несколько дней жили в переулке. Один из них играл на баяне, а другой, стоя перед Валею, уговаривал ее танцевать. Девушка отчаянно хохотала и отмахивалась обеими руками.

– Да не могу я, не умею, чего пристали... – говорила она сквозь смех.

– Нельзя отказываться. Ваня, дай старинный русский вальс «Дунайские волны».

– Говорю вам, что не умею...

Володя пристально смотрел на Валю. Точно почувствовав этот взгляд, она на мгновение повернулась к мальчику и скользнула по нему глазами. Только скользнула – бегло, рассеянно – и в следующую секунду подала руку зенитчику.

Володя прижался к воротам. Его уже не интересовала улица, но уйти он почему-то не мог. А баян гремел. Другой боец подхватил товарища, и уже две пары закружились на площадке. Валя танцевала легко и стремительно, будто хотела оторваться от земли, на ее лице все время было озорное и, как казалось Володе, вызывающее выражение. Она уже ни разу не взглянула на мальчика.

Володя повернулся и ушел с улицы.

Дома он плотно прихлопнул форточку, чтобы не слышать баяна, и лег на кровать с книгой в руках. Лежал полтора или два часа. Однако читалось плохо. Глаза бегали по строкам, но смысл прочитанного как-то ускользал. В конце концов книгу пришлось отложить. «Вы злитесь, сеньор, вам обидно? – спросил у себя Володя. – Но скажите, пожалуйста, поче-

му вы должны обижаться на каждую случайную знакомую? Пусть она делает все, что хочет». Философия не помогла. Володя продолжал видеть Валю и слышать ее взволнованный, ломкий голос. Мальчик насильственно усмехнулся. «Героизм, дружба, верность... – перебирал он слова девушки, – все это вычитанные, чужие фразы».

В комнате, которая не топилась почти всю зиму, было очень сыро, и Володя сильно озяб. Он вскочил на ноги и, взявшись за спинку кровати, начал приплясывать на одном месте. Это не помогло, и он выскочил в сени, где был устроен самодельный турник. Володя подтянулся и сделал ласточку. Это его согрело и успокоило.

Два дня не было тревоги, и все это время Володя провалялся на кровати, занимаясь чтением. На третий день он достал свой рисунок, внимательно осмотрел его и сказал:

– Ну, за работу!

Рисунок вчерне был уже готов. На нем было все – и заря, и контуры крыш, и столбы пожарниц в разных концах города. Не хватало окончатальной отделки. Володя решил еще раз залезть на крышу, присмотреться ко всем цветам и оттенкам вечерней улицы и точно определить, во что окрашены заря, дома, деревья, мечи прожекторов. После этого оставалось составить краски и уже при дневном свете, в комнате, доделать рисунок.

Дождавшись урочного часа, Володя забрался на свой наблюдательный пункт. Прожектора уже бродили по небу. В их движениях чувствовалась какая-то повышенная нервозность. Володя не обратил на это внимания. Он крепко сжимал карандаш и внимательным, строгим взглядом осматривал окрестность. «Среднее между кирпичным и коричневым», – сказал он про зарю и записал это на клочке бумаги. «Угольно-черное», – говорил он, приглядываясь к неподвижным верхушкам садов. Мальчик так увлекся своим занятием, что не думал ни о чем другом, кроме оранжевых,

лимонных, сиреневых оттенков. Но вот при одной особенно сильной вспышке прожекторов его глаза случайно повернулись в сторону соседского двора. Он увидел Валю.

Она, как обычно, стояла на крыше дровяного сарайчика и смотрела прямо на него.

– Здравствуйте, Володя! – весело крикнула девушка.

Мальчик не ответил и отвернулся. Валя обиженно вскинула подбородок и стала к нему спиной.

А прожектора все бродили и бродили по небу. Они что-то нащупывали, выслеживали, искали. Тревогой был наполнен весь город, молчаливые дворы, сумеречный воздух. Наконец это передалось мальчику. Он посмотрел на небо, прислушался. «Наверное, скоро будет большой налет», – подумал он.

Как бы подтверждая эту мысль, на станции возник глухой, утробный рев. Город подхватил его, и все кругом вдруг завывало и застонало на разные голоса.

«Ну, началось», – с досадой подумал Володя.

Совсем близко хлопнула зенитка. Из-за большого сада над рекой откликнулась другая. Кольцо выстрелов обежало весь город. Переулки, сады, далекие окраины оцетинились огнем. Скоро послышался рокот моторов. Сегодня он был ближе и отчетливей, чем обычно; казалось, что самолеты снижаются к самым крышам. Очевидно, они изменили свою всегдашнюю тактику. Рокот перешел в стон, скрежет, над головой мелькнула черная тень. Не успел Володя осмыслить происходящее, как послышался новый звук – тонкий, свистящий, и что-то длинной полосой понеслось вниз. За дватри квартала от того места, где находился Володя, вырос огромный, хорошо видный при заре султан черной пыли; упругая волна воздуха толкнула мальчика и притиснула его к трубе. Снова свистнуло над головой, и черные султаны стали подниматься справа и слева – со всех сторон. «Бьют по городу, по центру...» – подумал Володя, пригибаясь к трубе. Он услышал пронзительный крик. На крыше дровяного

сарайчика металось и трепетало что-то белое. Володя скорее угадал, чем рассмотрел, лицо соседки – неузнаваемое, искаженное страхом и отчаяньем.

– Володя, слезайте, слезайте! – крикнула Валя, спрыгивая на землю.

Острый, шипящий кусок металла врезался в крышу у ног Володи. С трубы упал и покатился вниз обломок кирпича. Все кругом шаталось, как хмельное. Мальчик прижал к груди фанеру и бумагу. «Ничего не выйдет», – сказал он, сползая по гребню крыши. Он забросил рисунок в слуховое окно и, пробежав по чердаку, торопливо спрыгнул в сени.

Стены сеней ежеминутно освещались, как во время сильной грозы. Володя растянулся на дощатом полу, под прикрытием порога, и взглянул вверх. По небу плыли красные нити трассирующих пуль. Воздушная волна трепала волосы, мешала дышать. В сени летели тучи песка и мелких камешков. Один камень больно оцарапал Володе щеку. «Ничего не выйдет, ничего не выйдет...» – сказал мальчик, уже не зная, зачем он это говорит. По крыше с грохотом покатились кирпичи – обвалилась труба. Мальчик подполз к двери, ведущей в дом. Нет, в комнате еще хуже: в случае попадания придавит, как крысу. Надежнее всего погреб. Мальчик вскочил на ноги и, пригибаясь, выбежал из сеней.

Погреб уходил глубоко под землю. Он был сложен из крепких камней. Володя нащупал глубокую нишу, где всегда стояли пустые бутылки, и сел на холодный камень. Теперь оставалось одно – ждать. В погребе было темно, но сквозь дверные щели то и дело мелькал красный свет. Наверху все ходило ходуном. Мальчик отчетливо слышал рев моторов и угадывал направление залета. Вот самолеты ушли куда-то в сторону, вот развернулись и стали приближаться вновь. «Р-р», «р-р-р»... – содрогалась земля; с потолка все время сыпались комочки земли. «У-ух!..» – трахнуло где-то совсем рядом, и дверь вся задрезбуждала и напряглась на крючке. Мальчик крепко стис-

нул руки. «Ничего не выйдет, ничего не выйдет...» – повторил он машинально. Самолеты опять ушли.

«Не думать о страшном, – говорил себе Володя, – лучше вспоминать о чем-нибудь хорошем, например о родителях, братишке. Что они теперь делают? А дядя?» Мальчика охватило чувство острой жалости. Бедный дядя, наверное, беспокоится о нем, а самому приходится не лучше. Самолеты стали приближаться. «Р-р-р...» – грохнуло, как обвал, и дверь, сорвав крючок, распахнулась настежь. «Р-р-р...» – зазвенело в голове, и перед глазами Володи всплыло ослепительно сверкающее зеленое солнце. Что-то тяжелое, навалясь сверху, вытолкнуло его из ниши и, уже бесчувственного, повалило на пол.

Володя не знал, сколько времени он лежал без сознания. Очнувшись, он долго не мог понять, что с ним произошло. Пошарил вокруг себя – пальцы нащупали опрокинутую кадушку, кучку проросшего картофеля. В нескольких сантиметрах от головы лежал большой четырехугольный камень. Постепенно к мальчику вернулась память. Ага, стало быть, бомба разорвалась над погребом, и его едва не придавил этот камень, упавший из ниши. Но это случилось наверху, цел ли дом? Целы ли соседние дома и не пострадал ли кто из жителей переулка?

«А Валя?» – вдруг вспомнил мальчик.

Он вскочил, как подкинутый пружиной. В голове гудело, ноги дрожали и подгибались. Цепляясь за стенку, он кое-как выбрался из подвала. Дальнейший путь был прегражден. Ступеньки, ведущие наверх, были завалены кирпичами, рухнувшими балками, железными листами. Володя попробовал разобрать эту кучу и сразу обессилел. Закусив губы, он потянул к себе одну доску. В образовавшемся отверстии показались звезды. Мальчик приободрился. Быстрее, быстрее, как можно быстрее!

– Володя, это вы? – слышалось наверху.

Спрашивала Валя. Мальчик рванул другую доску – и отверстие стало еще шире.

– Это вы, Володя?.. – повторил дрожащий голос.

– Я.

– Ну, слава богу! Вы не спешите, мне сверху удобней... Валя быстро разобрала балки, и через минуту Володя выбрался наверх. Девушка стояла перед ним в белой ночной кофточке, с ломом в руках, смотрела на него и не то смеялась, не то плакала.

– Ну, вот... хорошо. А я уж думала...

Володя, ослабев, прислонился к стене.

– Вы как сюда попали, Валя?

– Вас искала. Ведь бомба ахнула как раз на ваш двор. Когда стало тихо, я выскочила наверх и побежала искать. Побывала в вашей квартире – там ни души. Ну, думаю, он, наверное, в погребе...

У входа в погреб чернела глубокая воронка. Забор, разъединявший соседские дворы, повалился набок, земля была усеяна битым стеклом, щепками, камнями. Темнота придавала всему этому дикий, неправдоподобный вид.

– Вот какая чушка сюда свалилась, – сказала Валя.

Володя подумал, что следовало бы войти в дом, осмотреть комнату, и сразу забыл об этом. Он взял девушку за руку, и они вышли за калитку. Было холодно, ярко сверкали звезды. Город затих, успокоился. Пыль давно улеглась, и в переулке снова пахло свежей зеленью. Из большого сада над рекой отчетливо доносилось самозабвенное щелканье соловьев.

ВЛАДИМИР **МИЛЬЧАКОВ**

Святой отец



Святой отец

(рассказ)

Пан ксендз Поплавский был серьезно обеспокоен. К местечку, где он жил уже более тридцати лет, подходили немцы. Главное, они приближались так быстро, что подумать, прикинуть, рассчитать, наконец, съездить в Варшаву и посоветоваться с ясновельможным паном Хилькевичем, тем самым Хилькевичем, который всегда был в курсе всех событий и считался своим человеком одинаково и в английском, и в немецком посольстве, у пана ксендза Поплавского не было никакой возможности.

Правда, пан ксендз и сам был не дурак и умудрен опытом своей более чем пятидесятилетней безгрешной жизни. Три эластичные, чисто выбритые складки, всегда благоухающие не очень резким, в самую меру пахнущим одеколоном, три очень приятные складки под подбородком и такое же число их на затылке очень убедительно говорили о философически безмятежном характере почтенного священнослужителя.

Пан ксендз не опасался за свою персону. О нет, со всякой властью, ниспосланной богом, он поладит. Вот и в ту войну немецкая армия проходила через местечко, а отдельные немецкие части даже подолгу стояли постоем. Пан ксендз не может пожаловаться. Правда, ему пришлось потесниться и вместо пяти комнат жить только в двух. Ну что же, война есть война. В остальных трех комнатах его дома тог-

да жили немецкие офицеры. Пан ксендз не может сказать ничего плохого. Это были культурные, благовоспитанные люди. Они охотно беседовали с паном ксендзом о настроении его паствы. Они даже благосклонно уделяли внимание молодым его прихожанкам. Некоторые белокурые, голубоглазые верующие паненки пользовались особенным расположением господ немецких офицеров. Вспоминая об этих эпизодах, пан ксендз всегда складывал свои руки на не очень большом, но приятно округленном брюшке, и его тонкие, немного синеватые губы начинали легонько вздрагивать от еле заметной улыбки. Но пан ксендз очень редко и только в полном одиночестве предавался этим хотя и приятным, но все же греховным воспоминаниям. Ведь о доброжелательном отношении господ офицеров немецкой армии к пану ксендзу сейчас никто в местечке уже не помнил.

Ну, одним словом, пан ксендз за себя лично ни капельки не боялся. Недаром святой отец из Рима через своего нунция в Варшаве дал очень точные инструкции всему польскому духовенству. Папа Пий XII – тонкий и очень ловкий политик. Еще в 1933 году он поддержал Гитлера, только что захватившего власть в Германии, и за это фюрер подписал очень выгодный для Ватикана конкордат. В конкордате были точно оговорены все права католического духовенства в тех странах, которые Гитлер уже завоевал или собирался завоевать. Правда, фюрер не привык стесняться себя соблюдением им же подписанных договоров, но с самим папой римским, особенно таким, как Пий XII, Гитлер все же ссориться не захочет. К тому же интересы святой католической церкви в основном совпадают с интересами фашистов. А отдельные не столь уж существенные детали всегда могут быть согласованы и урегулированы. Например, Гитлер люто ненавидит и хочет раздавить Советскую

Россию, видя в ней своего непримиримого врага. А это как раз то самое, чего желает Ватикан, и поэтому папа римский с воодушевлением благословляет фюрера на крестовый поход против безбожной страны социализма. Но для того, чтобы начать воевать с большевиками, немцам надо прочно укрепиться в Польше и уже отсюда начинать действовать. Пан ксендз понимал, для чего немцам нужна Польша. И даже больше того, пан ксендз из неофициальных, но, безусловно, достоверных источников получил сведения, что святой отец в Риме знал о намерении немцев вторгнуться в Польшу за несколько дней до вторжения. Знал и поручил своим представителям в Польше, достопочтенным кардиналам Хленде и Адаму Сапеге, соответствующим образом подготовить подведомственное им духовенство. Пан ксендз не был удивлен таким оборотом дел. Что ж, немцы – это все же Европа, культура, и какая культура! Если уж богу и святому отцу угодно покарать Польшу, то пусть лучше будут немецкие фашисты, чем эти безбожники – русские. Да сейчас и в Польше-то развелось немало людей, недовольных порядками, установленными самим господом богом. Эти нечестивцы больше уповают на большевистскую помощь, чем на могущество бога и его наместника на земле. Немцы, конечно, не потерпят этой заразы и выжгут ее огнем и мечом. А поэтому почтенный священнослужитель без колебаний просто вызубрил текст послания папы Пия XII к народам завоеванных Гитлером стран и без устали твердил в своих проповедях, что «враг народа – это ненависть... Следует ненавидеть не грешника, а грех... Любовь к врагу – высший героизм». Так что указания святого отца из Ватикана пан ксендз выполнял добросовестно, и перед немецкими фашистами его совесть была чиста.

Правда, пан ксендз мог бы с уверенностью сказать, что, несмотря на его проповеди, очень многие из его паствы при-

держиваются как раз противоположных взглядов. Большинство прихожан пана ксендза предпочли бы приход Красной Армии, но нет, пан бог, безусловно, не допустит исполнения желания этих заблудших.

Не боялся пан ксендз и за ценности костела. Во-первых, не такие уж большие там сохранялись ценности. Пан ксендз мог бы, конечно, подробнее объяснить, как вместо тяжелой старинной золотой священной утвари в костеле появилась позолоченная. Правда, позолоченная утварь, как две капли воды, походила на старую золотую, так что подделка была совершенно незаметна. Да и кто решится спрашивать пана ксендза? Благодарение богу, в демократической Польше никто из прихожан не посмеет усомниться в честности священнослужителя.

Нет, пан ксендз не боялся, что фашисты заберут священную утварь. А если даже и заберут – что же, на все воля божья. Может быть, так даже и лучше. Спокойнее. Ведь заберут-то всего лишь позолоченный свинец, а народ будет считать, что немцы забрали золото.

Но было одно, о чем сокрушалось сердце пана ксендза. В самом сокровенном углу его обширного хозяйства хранились слитки, в которые были превращены старинные святыни костела, и несколько ведер хорошего виноградного вина, настоящего Асти. Упоминание о вине может вызвать у читателя превратное представление о личности и достоинствах пана ксендза. И совершенно напрасно. Пан ксендз не был пьяницей. О нет. Но еще в Кане Галилейском, если верить сообщению евангелиста, спаситель, превратив воду в вино, указал этим самым на полезность виноградных вин для умеренных возлияний.

А вино, хранившееся у пана ксендза, было если и не совсем такое, какое Христос сотворил в Кане Галилейском, то, во всяком случае, не ниже того по качеству. Целебное

вино. Очень полезное для излечения плоти и для поддержки духа, оскудевшего в борьбе с соблазнами грешного мира. Пан ксендз на себе испытывал благотворное влияние замечательного Асти.

Пути, которыми проник в кладовые пана ксендза этот несравненный напиток, были не совсем обычными. Если для приобретения золота пану ксендзу пришлось немало потрудиться, поволноваться и даже поделиться с кем следует, то в том, как пан ксендз стал владельцем замечательного вина, прямо чувствовался указующий перст всевышнего.

Давно уже, несколько лет тому назад, местечковый доктор Тадеуш Нехода, старый, но еще по-молодому энергичный человек, пошел наперекор пану ксендзу. Он незадолго до этого перебрался в местечко из Варшавы. Хороший был доктор, мастер своего дела, но кроме того, что нужно знать доктору, знал многое такое, что доктору знать совсем не положено. Самое же плохое заключалось в том, что эти свои знания старый доктор не держал под спудом, а успешно вкладывал их в головы большей части жителей местечка. Причем старый доктор хотя и происходил из почтенного шляхетского рода, но ни капельки не ценил этого и, к величайшему негодованию самого пана ксендза и лучших людей местечка, свел дружбу не только с самыми неблагонадежными из поляков-католиков, но, что еще хуже, с украинской беднотой, населявшей окраины местечка.

Пан ксендз считал, что деление общества на богатых и бедных установлено самим богом, существовало от века и будет существовать всегда. Конечно, две трети прихожан пана ксендза жили очень бедно, но ведь никто не запрещает им разбогатеть, а если богатство не дается в руки, то, значит, такова воля всевышнего. Бедность же некаатолической украинской части населения пан ксендз считал естествен-

ным и единственно правильным условием существования для еретиков и был бы крайне недоволен, если бы бог по ошибке дал богатство кому-либо из них. И совсем не дело доктора вмешиваться в дела всевышнего и разъяснять голытьбе причины их бедности. Недаром с самого своего приезда Тадеуш Нехода не понравился пану ксендзу. И сын его Ян, студент, учившийся в Варшаве и только на каникулы приезжавший к отцу, тоже весь в отца. Пан ксендз долго терпел старого доктора, хотя и чувствовал, что не такими покорными год от года становились прихожане и все ниже падал авторитет святого костела и самого ксендза. Терпел и даже не роптал вслух, но и не оставался безучастным, особенно после того, как убедился, что доктору Тадеушу Неходе стало что-то известно о комбинациях с золотой костельной утварью. Незадолго до войны жандармы увезли старого доктора. Искали и сына, но не нашли. А вскоре дошли до местечка слухи, что умер старый доктор Тадеуш Нехода в варшавской тюрьме. Правда, гораздо раньше в местечке заговорили, что основные материалы, разоблачающие противоправительственную деятельность старого доктора, жандармы получили от пана ксендза. Говорили, что причиной всему – нарушенная паном ксендзом тайна святой исповеди, но кто из уважаемых людей станет обращать внимание на разные вздорные слухи, тем более на слухи, позорящие служителя церкви.

Правда и то, что одна из самых глубоковерующих прихожанок костела, старая Казимириха – жена сапожника Юзефа, арестованного одновременно с доктором, – простоволосая, с растрепанными космами седых волос, плача и причитая, прибежала к пану ксендзу. Она долго билась о землю на его дворе, перемежая горькие безнадежные рыдания с озлобленными криками и нечестивыми проклятиями по адресу пана ксендза и даже святой католической церкви,

а будучи с позором изгнана из ксендзовского дома, повесилась в ту же ночь на старой ветле, стоявшей у самых окон костела. Все это на несколько дней взволновало тихую заводь местечка, послужило причиной разных злокозненных слухов, даже вывело пана ксендза из душевного равновесия, но в конце концов все кончилось именно так, как было угодно всевышнему.

Пан ксендз был твердо убежден в том, что его действия абсолютно совпадают с волей творца и, что не менее важно, с указаниями его наместника на земле, святого отца из Рима.

Даже оставаясь наедине с самим собой, пан ксендз не видел в своих действиях ничего такого, что противоречило бы святым догмам религии. Разве Христос не учил подчиняться властям и разве святая римская церковь не вела из века в век жестокую борьбу с бунтовщиками и крамольниками, со всеми, кто считает, что счастливую и радостную жизнь можно установить здесь, на земле, силами самих людей, а не за гробом, не в райской обители. По указанию властей и с помощью жандармов всякие нежелательные разговоры в местечке были быстро прекращены, а сам пан ксендз кроме всего положенного за такую важную для власти услугу получил в свое распоряжение вино, обнаруженное в кладовых старого доктора.

Говорят, что вино доктор выдавал неимущим больным для поддержания сил, но пан ксендз никогда этому особенно не верил. Уж в чем в чем, а в глупости ксендз обвинить старого доктора не мог и не допускал мысли, чтобы прекрасное душистое Асти доктор выдавал местечковой голытьбе. Просто, по мнению пана ксендза, старый доктор понимал вкус в вине и, наверное, тоже был не дурак выпить.

Таким образом, пан ксендз более всего был озабочен тем, как сохранить в целостности свое золото и вино, хотя счита-

лось, что пан ксендз не богат и что золота у него вообще не водится. О вине, конечно, все уже забыли, но если немцы, разместившись в доме пана ксендза, пронюхают о золотых и винных запасах, хранящихся в погребе, то... Нет, почтенный священнослужитель совсем не хотел, чтобы немцы узнали, что он, ксендз, совсем не так уж беден. Вместительность немецких карманов и желудков пан ксендз помнил еще с прошлой войны. Нет, вино, собственное вино, тем более настоящее Асти, – это вам не позолоченный свинец из костельной ризницы. А слитки золота, в которые пан ксендз в свое время превратил священные сосуды костела, эти тяжелые, но совсем не громоздкие слитки были, по мнению пана ксендза, укрыты совсем ненадежно. Одним словом, пан ксендз пришел к убеждению, что дома золото и вино прятать невозможно. Хотя, конечно, немцы высококультурны и европейцы в полном смысле этого слова, но в завоеванной стране... в общем, пан ксендз решил, что такими ценностями рисковать нельзя. Их надо спрятать, и надежно спрятать.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в темную сентябрьскую ночь, когда все местечко спало, пан ксендз вышел из калитки своего дома, и в руках его был не привычный увесистый посох с серебряным набалдашником, а просто железная лопатка-заступ.

Хотя ночь была тиха и безмятежна, но линия темного горизонта во многих местах была выщерблена заревом далеких пожаров. Это надвигались фашисты.

В глухом, заросшем кустами углу местечкового выгона пан ксендз сразу нашел то, что ему было надо. Недаром в последние дни святой отец уделял все послеобеденные часы благочестивым размышлениям в наиболее укромных уголках выгона. В одном из них, среди сплошных зарослей терновника, пан ксендз облюбовал замечательное ме-

стечко. Ни у кого никогда не могло появиться желание пробираться сквозь терновые кусты, сплошь усаженные такими длинными и острыми колючками. Сам пан ксендз никогда бы сюда не пробрался, если б случайно не нашел старую тропинку, уже основательно заросшую вереском и шиповником. Тропинка, которой много лет никто не пользовался, привела пана ксендза на вершину холма, замыкавшего выгон. С другой стороны холма заросли терновника сливались с опушкой леса. В самой середине зарослей был маленький пятачок свободной земли. На нем-то пан ксендз и решил создать укрытие для своего сокровища. Более всего пану ксендзу нравилось то, что этот свободный от зарослей пятачок находился на самой макушке холма, видимой из окон его дома. Все-таки и приглядывать можно, и если что подозрительное... Но о такой возможности пан ксендз старался не думать. Ведь без воли всевышнего ни единого волоска не упадет даже с головы грешника. А пан ксендз не был грешником. Со всевышним он находился в приятельских отношениях и вполне мог рассчитывать на его поддержку.

Ночь была темна, но в меру, и очень прохладна. Работа спорилась. Через несколько часов основательная яма, из которой едва высовывалась макушка ксендза с круглой, как блюдечко, тонзурой, была готова. Прихожане никогда не поверили бы, что их обремененный преклонным возрастом и болезнями духовный наставник способен один выворотить такую кучу земли, хотя ведь прихожанам совсем не обязательно знать всю правду про своих пастырей. Достаточно и того, что пастыри знают всю подноготную своих пасомых.

На следующую ночь из ворот ксендзовского двора выехала тяжело нагруженная повозка. На это никто не обратил внимания. Такие же повозки выезжали из многих дворов.

Фашистская армия была уже близко, и селяне торопились подальше запрятать нажитое многими годами труда имущество.

На повозке пана ксендза стояли четыре тумбообразных тюка, обшитых брезентом. Пани Ангелина, дальняя родственница, управляющая всем хозяйством ксендза, женщина благочестивая, ровного характера и приятного телосложения, целый день трудилась вкупе с паном ксендзом, переливая вино в четыре двухведерные толстостенные бутылки. Бутылки были очень старинные, из толстого зеленого стекла и для сохранности вставлялись в тяжелые свинцовые чехлы. До этого они добрых два столетия валялись в кладовых костела. Для чего они употреблялись раньше, никто уже не помнил. Но в том, что они все же сохранились, пан ксендз определенно усматривал божественное предопределение. Теперь эти бутылки, наполненные вином, вставленные в свои надежные чехлы и доверху обшитые брезентом, солидно чернели на повозке. Рядом с ними лежал скромный тючок, тоже обшитый брезентом. Пан ксендз очень поднатужился, когда выносил его во двор и взваливал на телегу, а пан ксендз, несмотря на возраст, был еще, как говорится, мужчина в соку. Ох и тяжело снимать весь этот груз с повозки и спускать в яму! Пан ксендз и пани Ангелина совсем измучились, пока сделали все как надо.

Предварительно пан ксендз, опустившись в тайник, закопал в самое дно ямы небольшой тючок, а затем уже сверху были поставлены и закрыты сосуды с вином и земля добросовестно утрамбована. Затем, уничтожая следы своей работы, пан ксендз проявил замечательные знания и способности в маскировке. Он и пани Ангелина трудились столь вдохновенно, что совсем не замечали пота, градом лившегося с их лиц. Пан ксендз даже ни разу не вспомнил про боли в пояснице, на которые он жаловался прихожанам

последние двадцать лет. Но зато, когда все было закончено, самый опытный глаз не разобрался бы, где, в каком месте маленькой полянки, среди терновника на вершине холма, скрыты главные сокровища пана ксендза. Закончив работу, пан ксендз и пани Ангелина даже обменялись чистым радостным поцелуем. Поцелуем безгреховным, не могущим кинуть никакой тени на высоконравственную особу пана ксендза.

Усталые, но довольные, они отправились домой, а к вечеру следующего дня в местечко вошли фашисты.

Прошло более четырех лет. Август сорок четвертого года ворвался в это богатое польское местечко с грохотом военной грозы. Линия фронта проходила в каких-нибудь девяти-десяти километрах. Перекресток многих дорог, сходящихся в этом месте, в свое время дал местечку возможность разбогатеть. Теперь же этот перекресток проклинали все жители местечка. Немцы во что бы то ни стало старались удержать этот важный узел коммуникаций. Но наступавшие с еще большим упорством стремились овладеть им. Поэтому несколько раз за день в местечке налет советской авиации сменялся артналетом из тяжелых пушек, а затем начиналась новая бомбежка. Жители местечка, забрав с собой все самое ценное имущество, дневали и ночевали в «схронах»¹.

В самом надежнейшем во всем местечке схроне сидел пан ксендз. Завывание приближающихся тяжелых снарядов заставляли пана ксендза молниеносно удирать в самый дальний угол убежища и для большей безопасности закутываться в толстое ватное одеяло, на которое пани Ангелина сверху накладывала еще мягкий пуховик. Под такой защитой пан

¹*Схрон* — подвал, выкопанный на дворе недалеко от дома. Обычно имеет перекрытие, способное уберечь от пуль и осколков снарядов.

ксендз, скорчившись и крепко зажмурившись, чувствовал себя в относительной безопасности.

В момент редких затиший пан ксендз, как и все жители местечка, вылезал подышать свежим воздухом и посмотреть, что делается на белом свете. Впрочем, каждый смотрел по-разному. Большая часть жителей затаенно, но со страстной надеждой ждала прихода русских, а кое-кто, и пан ксендз больше, чем кто-либо, откровенно ожидали изменения ситуации в пользу фашистов и, вылезая, первым долгом осведомлялись: не отбросили ли большевиков? Не прибыли ли какие-либо сверхмощные танки? Не подошли ли к немцам подкрепления?

Но очередной артналет или бомбежка, вселяя надежду в большинство и лишая всякой надежды меньшинство, заставляли и тех, и других нырять в схроны, щели и прочие убежища.

Спокойнее всего чувствовали себя восемь ведер вина и золото, закопанные паном ксендзом на холме, в зарослях терновника.

В точно такую же темную ночь, в какую четыре года тому назад пан ксендз закапывал свое сокровище, десяток советских разведчиков, перешедших фронт со специальным заданием, с трудом пробравшись сквозь заросли терновника, расположились на заветной для пана ксендза полянке. Лейтенант Чернов шепотом, но достаточно убедительно приказал:

– Чтобы через два часа ни один поверх земли не торчал. Окопаться и замаскироваться.

Вот тут-то и произошло самое удивительное происшествие в жизни самого отважного разведчика одного из гвардейских соединений на Первом Белорусском фронте. Разведчик Белов, здоровенный тридцатипятилетний сибиряк, копая для себя окоп, вдруг наткнулся на какие-то странные предметы.

– Гвардии лейтенант, а гвардии лейтенант! Тут какая-то хреновина из земли лезет, – шепотом доложил он лейтенанту.

– Что там у тебя из земли лезет? – лейтенант спустился в наполовину открытый окоп и в темноте ощупал откопанные Беловым предметы.

– Вот тебе на, до войны три года занимался археологией, а такие экземпляры первый раз встречаю. Копай дальше, да осторожно. Повредить можешь.

Через час все четыре «отшельника» были извлечены на свет божий. Впрочем, свету было не более, чем в наглухо закрытом сундуке. Ночь была удивительно темной.

Потребовался всего десяток минут для того, чтобы установить, как открываются сосуды, извлеченные из земли, что в них налито и даже качество содержимого. Качество всем понравилось, и разведчик Белов выразил всеобщее мнение, заявив, что с таким «боекомплектом» здесь можно занимать круговую оборону и держаться до полного израсходования этого самого «боекомплекта».

Видя такое единодушие в своих подчиненных, лейтенант Чернов приказал расширить свой окоп и спустить туда все четыре посуды, заявив при этом, что до подхода полка каждый разведчик будет получать только по сто граммов «наркомовской» нормы, и ни грамма больше.

– Вот подойдет полк, так видно будет, – обнадеживающе закончил лейтенант Чернов и приказал продолжать окапываться.

Но в эту ночь Белову определенно везло по части археологии. Через несколько минут снова послышался его шепот:

– Гвардии лейтенант! Тут я, кажись, до закуски докопался.

Негромко прошуршал испарываемый острым ножом брезент, чуть треснула отдираемая крышка ящика, тонкий луч

фонарика на мгновение осветил ящик и дно прикрытого плащ-палаткой окопа, и даже привыкший ничему не удивляться лейтенант Чернов изумленно присвистнул.

– Да, это тебе не вино. Сколько тут этого добра? – Белов приподнял обеими руками ящик, покачал его и авторитетным тоном заявил:

– Пуда полтора будет, не меньше, ежели с тарой вместе считать. Ну, на ящик более пятисот граммов скидывать – грех. Он же фанерный.

Чернов с минуту подумал и приказал Белову:

– Закопай этот клад поглубже, только в другое место. Всякое может случиться. Если придется прорываться, не тащить же с собой. Но и прежнему хозяину оставлять его нет расчета. Пройдет полк – доложим командиру. Найдут этому добру настоящего хозяина.

Срок подхода полка во многом зависел от самих разведчиков. Холм, заросший терновником, с востока был прикрыт лесом, немецким наблюдателям бесполезен и не привлекал внимания фашистских офицеров. Но с него прекрасно просматривалось все местечко, и лучший пункт для корректировки огня тяжелой артиллерии трудно было придумать. А в группе Чернова кроме разведчиков находились два корректировщика и радист с рацией.

На следующий день немецкий гарнизон местечка убедился, что значит прицельный огонь тяжелой советской артиллерии. Танковая колонна и бензозаправщики, укрывавшиеся на день в кладбищенской роще, уже к восьми часам утра превратились в груды пылающего железного лома: штаб какого-то соединения, расположившийся в школе, был накрыт артиллерийским залпом столь основательно, что явившиеся через полчаса санитары только грустно покрутили головами и отправились обратно. А еще через десять минут разведчик Нурбаев, наблюдавший за этим

участком, доложил Чернову, что в развалинах школы ползает, видимо, немецкая похоронная команда, собирающая и складывающая в кучу все, что осталось от фашистских штабистов.

Движение по дорогам, проходившим через местечко, было совершенно прекращено артиллерийскими шквалами, разметывающими вдребезги пехотные, а заодно и все прочие колонны, осмелившиеся двигаться по этим дорогам. Важнейший дорожный узел советскими гвардейцами был действительно завязан таким узлом, что стал совершенно бесполезен для фашистской армии.

Умелая работа разведчиков-наблюдателей и меткий огонь дальнебоек оказали свое влияние на ускорение наступления советских войск. Уже к вечеру первого дня в местечко стали входить колонны отступавших фашистских полков. Правда, из местечка они не выходили, а удирали врассыпную, потеряв большую часть своего состава. А вслед им гремели разрывы тяжелых снарядов советской артиллерии.

К утру второго дня по местечку била прямой наводкой полковая артиллерия, а в полдень лейтенант Чернов рапортовал командиру полка о выполнении взводом разведки порученного задания.

Командир полка, подполковник Шатов, плотный сорокалетний крепыш из потомственных Кировских лесорубов, слушая рапорт лейтенанта Чернова, медленно ходил по просторной горнице в доме, занятом под командный пункт полка.

У ног Чернова стоял ящик с золотом. Когда Чернов, кончая рапортовать, доложил про выкопанные трофеи, Шатов резко остановился и спросил:

– Где золото?

Лейтенант, подняв тяжелый ящик с пола, поставил его на стол в переднем углу комнаты. Когда брезент и крыш-

ка ящика были сняты, подполковник, положив на широкую твердую ладонь три желтых тускло блестящих слитка, недоверчиво принялся рассматривать их. Вдруг он сбросил слитки с ладони в ящик и, слушая чистый приятный звон благородного металла, взглянул на лейтенанта непривычно растерянным взглядом.

– Ишь ты! А ведь и в самом деле золото. Какая же это гадина такое богатство в землю закопала? Сколько его тут?

– Сто двадцать семь слитков. Вес их примерно одинаков. Думаю, что килограммов двадцать пять будет, – ответил Чернов.

Подполковник с минуту помолчал, задумчиво вороша рукою слитки. Негромкий, приятный перезвон наполнил горницу.

– Сейчас доложу комдиву. Он укажет, куда это добро направить. Напиши письменный рапорт.

Подполковник вышел в соседнюю комнату к аппарату. Через полминуты послышался его низкий густой голос и смех. Чернов, присев к столу, торопливо писал рапорт о находке, и хотя, прежде чем идти к командиру полка, лейтенант сам в присутствии всего взвода трижды пересчитал слитки, но сейчас он недоверчиво косился на ящик.

«Не ошибся ли, когда считал? Черт его знает, не мешало бы пересчитать еще раз. Ведь это не что-нибудь, а золото». Но вошел командир полка и уже от двери заговорил:

– Комдив благодарит и велел представить к награде всех, кто участвовал в операции. Сейчас комиссию пришлет. Золото будет передано польскому демократическому правительству.

На прощанье подполковник спросил Чернова:

– А вина, говоришь, четыре бутылки было? А теперь сколько осталось? – подполковник хорошо знал возможности своих разведчиков.

– Все четыре бутылки почти полные, – не моргнув глазом, ответил лейтенант Чернов.

– А вино хорошее?

– Очень хорошее. Самого высшего сорта, – с глубоким убеждением подтвердил лейтенант.

Подполковник иронически покосился на своего любимца.

– Так хорошее, говоришь, вино высшего сорта? Ну что же, мы его на хорошее дело и употребим. Сдай его на склад ПФС да скажи там, что я приказал немедленно, слышишь, немедленно все вино отправить в медсанбат. Для раненых. Понял? Все!

Чернов повернул к выходу.

– Да стой-ка! – окликнул его вновь подполковник. – Мы здесь три дня простоим, пополнение получать будем. Всех своих в бане помыть и все прочее привести в порядок. А вино не забудь сейчас же отправить. Действуй...

Еще не затихли за дальней окраиной глухие раскаты рвущихся снарядов, а в улицы местечка уже стали втягиваться обозы и колонны войск второго эшелона Красной Армии. Пан ксендз тоже вылез из своего убежища. Пани Ангелина уже с полчаса шмыгала в домике, обливаясь потом и слезами. Нелегко было добродетельной пани убедиться в том, что недавние постояльцы, такие грозные фашистские офицеры, оказались просто воришками и, уходя, прихватили с собой на память три чайные и две столовые серебряные, но позолоченные ложки, купленные еще до войны пани Ангелиной поштучно на местечковом рынке. Хорошо еще, что пан ксендз в свое время закопал в подвале все столовое и чайное серебро.

К тому же очень трудно было пани Ангелине одной, без помощи пана ксендза, припрятывать основательный ворох добра, который не успели забрать постояльцы при поспешном отступлении.

А прятать нужно было понадежнее. Ведь все эти шубы, шали, отрезы, ткани, белье, обувь немцы реквизируют у соседей, жителей этого же местечка. Упаси бог, если кто-либо из прихожан увидит сейчас свое добро в доме пана ксендза. Разве мало завистников? Забыли люди бога и потеряли уважение к его служителям.

Поэтому, во избежание всяческих бед, пани Ангелина уже с полчаса усердно трудилась над укладыванием всего брошенного немцами добра в разные укромные уголки, с нетерпением ожидая, когда же пан ксендз решится покинуть свою нору и прийти ей на помощь.

Выбравшись из схрона и убедившись, что колесница войны уже прокатила через местечко и гроыхает далеко на западе, пан ксендз вознес господу богу горячую благодарственную молитву и направился в дом.

Вскоре он торопливой походкой семенил через выгон к холму. Светлы и праведны были мысли ксендза.

«Благодарение богу, золото удалось сохранить от бездонных немецких карманов, вино – от ненасытных немецких желудков. Можно спокойно перевезти свои сокровища обратно в подвал. Русских в этом отношении опасаться не приходится. Ведь в мародерстве даже он, пан ксендз, не мог упрекнуть русские войска. Кроме того, хорошо известно, что, изгоняя немцев, советские войска не препятствуют созданию польских органов власти».

А пан ксендз был уверен в том, что новая власть в Польше будет именно такой властью, которая все свои силы направит на то, чтобы сделать Польшу такой же, какой она была до войны. Над этим святым делом немало потрудились умные головы и в Ватикане, и в Лондоне. Да и сам пан ксендз, выполняя волю Рима, а заодно и Лондона, тоже приложил свою руку к святому делу. Даже военная рать для новой власти уже подготовлена. «Армия краева» и «Наро-

довы силы збройны» – это же сила. Недаром в них собрался весь свет старой доброй Польши. Правда, темный народ относится к этим организациям без должного почтения и зовет их просто бандами, но что может понимать простой народ в высокой политике? Пану ксендзу хорошо известно, кто дает средства на содержание армии, кто находится в ее рядах и какие цели она ставит перед собой. Одним словом, власть в послевоенной Польше будет иметь под собой прочную военную базу, и, конечно, это будет такая власть, какой именно такая база и нужна. Конечно, возглавлять местную власть в местечке будет или пан Паторжинский – владелец вальцевой мельницы, или пан Юзеф Крушевицкий – заводчик, кожевенный завод которого работал и при немцах. Пан Юзеф – очень деловой человек. Голова. Или уж, на худой конец, управлять местечком будет Станислав Семерка – местечковый адвокат, краснобай и любимец богатых паненок.

Пан ксендз поморщился. Не любит он этого Семерку. Болтун и выскочка, шелкопер к тому же. И все же Семерка, хотя и не очень богат, но из настоящей шляхетской семьи, всегда был на виду, всем умел угодить. Конечно, Семерка – это не Паторжинский, но и не какой-нибудь Ян Нехода, сын старого доктора, бунтовщик и безбожник. При воспоминании о Неходе пан ксендз передернул плечами, как от озноба. Еще мальчишкой, в благословенные времена ясно-вельможного маршала Пилсудского, этот самый Нехода или сидел в тюрьме, или разыскивался полицией на предмет безотлагательной посадки. Отпетая голова, по отцовской дороге пошел. Недаром немцы обещали за голову Яна двадцать тысяч марок, и не каких-нибудь оккупационных марок, а настоящих, в золотой валюте.

Хотя панский нунций, посланец святейшего римского папы в Варшаве, неоднократно настаивал на том, чтобы ка-

толическое духовенство помогало немецкому командованию вылавливать партизан, но что мог сделать пан ксендз, когда религиозные чувства в народе все больше и больше оскудевают. Даже глубоковерующие католики, открывая свою душу на исповеди, не бывают чистосердечными до конца. Пан ксендз чувствовал это и приходил в ярость, видя свое бессилие. В самом деле, ведь он всего лишь скромный служитель церкви, а не жандармский офицер. Да и весь народ в гестапо не отправить. Пожалуй, совсем без прихожан останешься. И так их с каждым днем становится все меньше и меньше.

Пан ксендз очень сожалеет, что никак не мог дознаться, где укрывался этот отчаянный Нехода.

«Подумать только, двадцать тысяч марок, да еще золотом, – сокрушался в душе пан ксендз, подходя к заветному холму, – капитал. Благодарение богу, о Неходе уже месяца три ничего не было слышно. Напоролась, видимо, его отчаянная головушка на случайную немецкую пулю. Может, так неопознанного и зарыли его в наспех вырытую яму. А то просто валяется где-нибудь в глухом углу леса тело страшного для немцев партизанского командира, не отпетое, не зарытое на радость воронам. Только даром двадцать тысяч пропало. Никому из хороших людей не пришлось воспользоваться.

Однако даже потеря двадцати тысяч марок золотом не нарушила благостного настроения пана ксендза. Он был человек не мелочный. Тем более что с каждым шагом пан ксендз приближался к месту, где лежали его сокровища. Идти оставалось совсем немного. Еще метров триста широкой ложиной выгона, затем узкая лента мелкой поросли орешника, и дальше начинается тот благословенный терновник, которым зарос весь холм, лежавший в самом конце выгона у опушки леса. На сердце пана ксендза стало легко, и

он с благосклонной улыбкой смотрел на окружающий мир. Солнце стояло еще довольно высоко. Пан ксендз взглянул на светило и с удовольствием подумал о том, что до заката еще не меньше трех-четырёх часов и, значит, он успеет не только проверить место, где зарыты его сокровища, но и засветло побывать кое у кого из нужных людей. Сейчас настало время действовать. Русская армия пришла и уйдет дальше, а Польша останется, и в ней надо налаживать старую благочестивую жизнь.

При своей ненависти к русским большевикам пан ксендз прекрасно понимал, что сила на их стороне, что фашистов вышибли навсегда, что они больше никогда не вернуться. Пришло время, о котором более полугодом назад был предупрежден пан ксендз, когда еще ранней весной ездил в Варшаву и был принят самим нунцием – посланцем святейшего папы.

Мысли ксендза опять вернулись к тому пункту, от которого были отвлечены воспоминаниями о нечестивце Яне Неходе. Конечно, к власти в отвоеванной от фашистов части Польши должны прийти наиболее уважаемые люди. Об этом уж позаботятся здесь, в Польше, все те, кто по своему священному сану призван господом влиять на сознание народа, просвещать и воспитывать его, – словом, все служители римско-католической церкви. Но помогут и друзья, находящиеся за пределами Польши. Благодарствие богу, который даже в самую тяжелую минуту не оставил Польшу во власти анархии. Творец всего существующего, даже отдав всю Польшу во власть фашистов-завоевателей, сохранил для нее ее правительство. Конечно, из Лондона оно должно вскоре приехать в Польшу, ибо страну, столько лет бывшую под игом завоевателей, нельзя надолго оставлять без центрального правительства. Ну, об этом, конечно, своевременно позаботятся союзники. Возможно, что

пан Миколайчик со своими министрами уже приближается к границам Польши. Пан ксендз попытался представить себе, откуда пан Миколайчик может приехать в Польшу. Неужели через эту богом проклятую большевистскую Россию? Пан ксендз даже с отвращением сплюнул в сторону. Нет, не может быть. Союзники найдут возможность перебросить польское правительство из Лондона в Польшу по воздуху. Конечно, жаль, что вошли в Польшу и гонят немецких фашистов не американцы, не англичане, а русские, большевики. Если бы судьбами мира управлял пан ксендз, то он обязательно устроил бы так, чтобы в Польшу пришли американцы или, на худой конец, англичане. Даже если бы и на год-два позже, не беда. Ведь терпела же Польша фашистское владычество более пяти лет, могла бы потерпеть еще немного...

По тут плавное течение мысли почтенного священнослужителя было нарушено. Нужно было взобраться на холм.

Разыскав еле заметную тропинку, бочком пробравшись сквозь колючие кусты, пан ксендз с трудом достиг макушки холма и замер в горестном недоумении.

Вся вершина холма была перекопана узкими, глубокими окопами. Окопы сверху были покрыты ветками еще не успевшего повянуть шиповника. Тайник был разрыт. Сокровища бесследно исчезли.

Прошло немало времени, пока пан ксендз, полностью осмыслив происшедшее, разразился проклятиями и такими изречениями, которым в силу их чрезвычайной эмоциональности абсолютно нет места в печати.

В воздухе на большой высоте гудели бомбардировщики. Десятки тяжелых советских машин шли на запад вслед за отступающими фашистами. Летчикам с их орлиной высоты был совсем не виден жирный обрюзглый человек, изрыгавший яростную хулу на все небесное и земное и бесновав-

шийся на маленькой полянке среди густых кустов терновника.

Пан ксендз прекрасно понимал, что разыскать людей, отрывших тайник, невозможно. Через местечко прошли десятки тысяч бойцов отступавшей и наступавшей армий, и любой из них мог оказаться тем самым человеком, который сейчас был более всего ненавистен пану ксендзу. В кармане любого из солдат, толпившихся у колодца, как раз против дома пана ксендза, мог лежать один из золотых слитков. В походной фляге любого проходившего через местечко пехотинца могло быть налито несравненное душистое Асти. Пан ксендз и не пытался разыскивать. Он только бледнел от ярости, слыша веселый смех и голоса проходивших мимо дома русских солдат. Когда же ярость доходила до высшей точки, пан ксендз семеня от калитки в тихие сонные комнаты своего дома и здесь дуэтом с пани Анжелиной призывал все кары небесные на головы нечестивцев, присвоивших себе имущество священника.

А между тем столь яростно проклиняемые нечестивцы жили всего за три двора от пана ксендза, в доме почтенного пана Ярошека, который, бросив усадьбу и дом, уехал вслед за отступающими немцами на восьми возах, нагруженных разным скарбом. Его пустой четырехкомнатный дом и облюбовали разведчики лейтенанта Чернова. Благо рядом с домом стояла прекрасная банька, а какой солдат откажется от хорошей баньки, особенно если в ней можно попариться.

Сдать в медсанбат выкопанное из земли вино Чернов поручил разведчику Белову. Благородный сок французских виноградников перешел во владение старшины медсанбата, но ведь подполковник ничего не говорил в отношении посуды. Поэтому хозяйственный Белов никак не мог расстаться

с вместительными, хотя и очень тяжелыми футлярами, в которых были запрятаны бутылки с вином. По его мнению, никакие термосы не могли идти в сравнение с этими емкостями и очень прочными посудинами. Чтобы доказать посмеивавшимся разведчикам свою правоту, Белов лично погрузил все четыре сосуда на обозную подводу и поехал к колодцу. Нужно было подвезти к бане холодной воды. А колодец находился как раз на площади против дома, у калитки которого ксендз грустил о своей невозвратимой пропаже.

Когда убитый горем священнослужитель увидел подводу, на которой чинно в ряд стояли четыре заветных сосуда, ему показалось, что это чудо. Ему показалось, что подводка сейчас повернет к воротам и... но она повернула к колодцу. Атлетического телосложения повозочный перекинулся парой слов со стоявшим у колодца часовым и начал наполнять сосуды водой. Пан ксендз решил, что чудо все же совершилось, что всевышний дал ему указание и теперь все зависит от умения и настойчивости его самого. Конечно, бесполезно говорить с солдатом, приехавшим за водой. Нужно посмотреть, куда он поедет. «Ведь есть же там офицеры», – решил пан ксендз, и надежда затеплилась в его сердце.

Через полчаса лейтенант Чернов, чертыхаясь в душе (черт его знает, как говорить с польскими попами), но с вежливой улыбкой (по мнению Чернова, дипломаты всегда вежливо улыбаются) осведомился у пана ксендза о его здоровье и о причинах, вызвавших появление священнослужителя в расположении взвода разведчиков.

Ксендз был вежлив, но напорист. Восстановив в памяти своей довольно обширный запас слов «кацапского» языка, он приветствовал лейтенанта с учтивостью человека, насчитывающего среди своих предков не один десяток иезуитов.

– Пан офицер знает, что это есть достояние нашего свято-

го костела? – спросил он, указывая на злополучные сосуды, после взаимного обмена любезностями.

«Похоже, влип поп со своим золотом, а теперь мечтает получить его обратно. Черта с два!» – подумал лейтенант и, по-прежнему вежливо улыбаясь, ответил:

– Разве вам, гражданин ксендз, не известно, что ни один советский боец не заходил в костел, а следовательно, и эти предметы не могут быть взяты из костела?

Ксендз поперхнулся и на минуту замялся, но быстро нашел выход и со слезами на глазах стал рассказывать, как августовскою ночью более четырех лет назад он с помощью одной благочестивой прихожанки прятал добро, принадлежащее костелу, дабы спасти его от «нечестивых филистимлян». Мельком, но сверля Чернова взглядом, пан ксендз упомянул и о том, что вместе с вином закопаны были и еще кое-какие принадлежащие костелу ценности.

Лейтенант, слушая причитания ксендза, соображал: «Вино-то, конечно, поповское, и свой костел он тут приплел напрасно, а вот золото, может быть, и впрямь из костела. Надо будет доложить подполковнику».

– Так вот что, гражданин ксендз, – официальным тоном обратился он к жалобно скулящему священнослужителю, – возвратить вино сейчас невозможно. Большая часть его была роздана бойцам во время боя, а все остальное отправлено в госпиталь. Оно там нужнее для поддержки сил людей, раненных в бою за ваше же местечко. Сегодня я доложу об этом командиру полка, и вам, безусловно, уплатят за вино хорошую цену, как за настоящее, ресторанное, – подчеркнул лейтенант. – По вкусу и градусам вино замечательное. Ранние очень довольны. Одобряют, одним словом.

Хотя, направляясь к лейтенанту Чернову, ксендз дал самому себе и пани Ангелине слово, что будет спокоен, что с русским офицером он будет говорить только тоном неспра-

ведливо обиженного, не требующего ничего лично для себя и поднявшего свой голос только в защиту попранной справедливости, в защиту интересов верующих прихожан своего костела, но последние слова лейтенанта окончательно вывели ксендза из равновесия, он схватился руками за голову и завопил:

– Матка боска! Езус сладчайший! Вино, выдержанное вино, прекрасное вино отправлено в госпиталь для простых солдат! Кроме того, ведь там было не только вино. Там было и еще кое-что. Где можно получить хотя бы то, что осталось? Может, пан офицер не откажется поспособствовать... не безвозмездно, конечно, совсем не безвозмездно. Со своей стороны я готов...

Чернов улыбнулся. Его забавляло то, что этот польский поп, подробно рассказав о вине, только мимоходом, как о чем-то незначительном, упомянул о более чем полутора пудах золота.

– А скажите, кстати, гражданин ксендз, – вежливым тоном, но глядя в упор на собеседника, спросил Чернов, – чье это было золото? Неужели ваше?

Пан ксендз смутился. Пытаясь скрыть свое смущение, он заговорил почти шепотом, но горячо жестикулируя руками:

– Прошу извинить пана офицера, но откуда у меня может быть столько золота? Это золото всей общины, вернее, костела. Пан офицер хорошо знает, что немцы не оставили бы в костеле золотые сосуды. Чтобы этого не получилось, мы зарыли золото в землю. Только прошу покорно пана офицера говорить негромко... хотя здесь только ваши солдаты... но я хотел бы...

Но Чернов не склонен был секретничать. Не понижая голоса, он продолжал:

– Тут вы что-то путаете, гражданин ксендз. То говорите о золотых сосудах, то о золоте. Это вещи разные. В каком

виде было золото: в виде сосудов или слитков? И сколько на вес?

– Умоляю пана офицера говорить тише, – испуганно зашептал пан ксендз. – Зачем наш разговор должны слышать ваши солдаты? Это совсем никому не нужно... я... вернее наша община сумеет отблагодарить пана офицера за помощь.

– Сколько у вас там было золота? – сухо повторил свой вопрос Чернов.

– Сто двадцать семь слитков, прошу извинения у пана офицера, а вес точно сказать не могу. Слитки все одинаковы, – ответил торопливым шепотом пан ксендз.

– Количество слитков указано верно, а вес я могу сообщить точный. Двадцать восемь килограммов шестьсот семьдесят пять граммов. – Чернов подчеркнуто взглянул на часы. – Два часа двадцать три минуты тому назад, ровно в пятнадцать часов по московскому времени, авторитетная комиссия из товарищей польского гражданства, организованная фронтовым командованием, приняла от нас это золото для передачи его законному польскому правительству.

Лейтенант, доверительно понизив голос, с легкой иронией закончил:

– Не беспокойтесь! Настоящему правительству. Не лондонскому. Так что золото в надежных руках. Будьте спокойны, гражданин ксендз.

Пан ксендз покачнулся. Внутри у него что-то оборвалось, тело стало сразу тяжелым-тяжелым, а ноги, особенно в коленях, слабыми, как будто из ваты. Как сквозь сон, он услышал встревоженный голос русского лейтенанта:

– Белов! Быстрее воды! Да куда ты целое ведро? Кружку зачерпни. Ведь не корове же...

Через полчаса, провожая до калитки мрачного, как туча, ксендза, лейтенант Чернов вежливо успокаивал его:

– Ну стоит ли так волноваться, пан ксендз, из-за како-

го-то золота? Здоровье, особенно в вашем возрасте, беречь надо. Его на золото не купишь. А чтобы не было никаких разногласий между вами и вашими верующими, то я доложу о вашем волнении по этому вопросу своему командиру, а он – вышестоящим командирам, и они найдут способ поставить в известность ваших прихожан, куда делись золотые сосуды из костела, переплавленные вами в слитки. Можете быть уверены, что вас в присвоении золота никто не заподозрит.

Позабыв про свою тучность и только что пережитую слабость, пан ксендз, не дослушав, пулей вылетел за калитку ворот.

Вечерело. Солнце уже скрылось за далекой темной полосой леса. Но, видимо, в этот день господь окончательно отвратил взоры от самого преданного слуги своего. Несчастье за несчастьем так и сыпалось на плечи убитого горем ксендза.

Еще когда священнослужитель только входил во двор занятого разведчиками дома, в калитку его собственного двора вошла группа людей, одетых в потрепанную одежду, но с оружием и бело-красными повязками на рукавах. Пани Ангелина была насмерть перепугана, когда увидела, что возглавляет группу не кто иной, как сам безбожный Ян Нехода. Заплетающимся от страха языком она ответила посетителям, что пан ксендз еще на рассвете пошел по прихожанам, чтобы успокоить их и направить на верный путь.

Однако это сообщение нисколько не удовлетворило, а, наоборот, казалось, встревожило незваных гостей. Они вышли на улицу и, отойдя от ксендзовского дома на противоположную сторону, остановились и начали тихо совещаться о том, кого в данное время наставляет на верный путь пан ксендз и какого рода эти «наставления».

– Проворонили!.. Упустили этого кровососа, и теперь он

опять везде гадить начнет, иезуит проклятый, – раздраженно говорил невысокий, болезненного вида пожилой партизан с чахоточным румянцем на глубоко запавших щеках. – Нечего было играть в законность. Какие законы могут быть для таких паразитов, как ксендз Поплавский? К стенке – и все!

– Правильно, Юзеф! К стенке, но по закону. Нехай и сама жаба, и весь народ знают, почему эту жабу к стенке ставят, – загудел низким басом черноволосый, могучего телосложения партизан.

В этом широкоплечем, нескладно скроенном, но крепко сшитом украинце все поражало своими размерами. Могучая грудь, широкие прямые плечи, длинные узловатые руки, ноги, обутые в сапоги чуть ли не пятидесятого размера, – все красноречиво говорило о несокрушимой мощи и завидном здоровье этого человека. Голова его была покрыта целой гривой черных с редкой проседью волос, которые, не отделяясь, переходили в такую же черную и такую же буйную бороду. В этой могучей заросли почти совсем спрятались слегка приплюснутый нос и маленькие, но зоркие глаза, смотревшие на мир с веселым добродушием и любопытством. Хотя все остальные партизаны были вооружены немецкими трофейными автоматами, в руках черноволосого партизана обязанность автомата исполнял обычный ручной пулемет. Было не заметно, чтобы эта замена сколько-нибудь стесняла движение богатыря.

Третий человек, стоявший в центре партизанской группы, невысокий кудрявый блондин, одетый в защитную красноармейскую телогрейку, и был знаменитый партизанский вождь – Ян Нехода.

Его лицо с тонким, немного с горбинкой носом и острым подбородком было сильно изнурено. Левая рука, забинтованная ослепительно белым бинтом, на котором проступала

кое-где пятнами кровь, висела на черной перевязи на груди. Покусывая кончик веточки, которую держал в правой руке, он, нахмурившись, смотрел на закрытые ставнями окна ксендзовского дома. Человек тридцать партизан, окруживших своего вожака, молчали.

– В доме его нет. Это ясно, – заговорил Нехода. – А схрон осмотрели? Может, он одурел от страха и все вылезти не решается.

– Все проверено. Весь двор обыскали. Нет его во дворе, – раздалось в ответ несколько голосов.

– Так куда же он сховался?

– Да куда он не ховался. Ось сам сюда мчится, як наскипидаренный, – снова загудел черноволосый. Будучи выше всех, он через головы товарищей увидел ксендза, высочившего из калитки дома, занятого разведчиками.

Почтенный пастырь не заметил группы партизан. Ему было не до этого. Он не шел, а мчался, не обращая внимания на окружающее. Однако, несмотря на быстроту движения, лицо его ни капельки не порозовело. Напротив, мертвенная бледность покрывала всю упитанную блинообразную физиономию служителя церкви. Его глаза, обычно взиравшие на мир то покровительственно, то строго, теперь почти выкатились из орбит от панического страха. Пан ксендз определенно был перепуган до последней степени.

Обещание русского офицера сообщить населению о золоте лишило ксендза последней надежды. Но теперь уж запахло кое-чем похуже простой утраты золота. Сообщить народу, что те старинные священные сосуды, которые были сделаны из чистого золота, давно прикарманены ксендзом и переплавлены в слитки, что при богослужении употребляют только копии этих сосудов из позолоченного свинца, что знаменитая реликвия костела – массивный золотой крест с вделанным в него кусочком «креста господня», подаренный

костелу еще в XIX веке какой-то благочестивой княгиней, давно уже исчез из костела и что вместо него пан ксендз в праздники благословляет народ простым свинцовым двойником святыни, сделанным по заказу талантливым варшавским ювелиром-евреем еще задолго до войны, сообщить обо всем этом народу... Пан ксендз чувствовал, что у него дух замирает и сердце останавливается при одной мысли о возможности этого.

Хотя расстояние от дома, где квартировали разведчики, до дома ксендза не превышало и сотни метров, хотя ксендз, забыв про приличествующую служителю божьему степенность, мчался с быстротой, которую едва ли развивает даже кот, неожиданно ошпаренный кипятком, все же за несколько секунд, потребовавшихся ему, чтобы домчаться до своего дома, в его голове с ужасающей четкостью возникали и пропадали картины одна другой страшнее.

Он уже видел, как его, посрамленного и униженного, выводят на чистую воду перед лицом всех прихожан костела, как оскорбленные за поругание своих религиозных чувств верующие требуют светского суда над своим провинившимся пастырем, как весть о его позоре доходит до папского нунция, а затем и до Ватикана. Хотя ксендз, замирая от страха, соображал, что если о его деле узнает Ватикан, то ему не избежать ответственности перед консисторской конгрегацией католической церкви, но все же считал, что это еще не самое страшное. В консисторской конгрегации сидят тоже служители церкви, и ксендз мог рассчитывать на благосклонность некоторых из них, правда, не безвозмездную, но все же достаточно надежную для того, чтобы отделаться сравнительно легко. Хорошо, если бы так. На самом деле все могло получиться гораздо хуже. Ведь сейчас, когда в Польшу пришла Красная Армия, а к руководству приходят те самые нечестивцы, с которыми

католическая церковь всегда вела непримиримую и кровавую борьбу, ксендз мог и не дожить до разбора дела в консисторской конгрегации.

Народу, в руки которого передавалась государственная власть в Польше, попросту наплевать на то, что священнослужителей может судить только сама святая католическая церковь. Пан ксендз чувствовал, что у него сердце перестает биться при одной мысли о возможности светского суда. Ведь все эти блюстители новой революционной законности не ограничатся только вопросом о золоте. О нет! Они выяснят и то, какими нитями был связан священнослужитель костела и с польской охранкой, и с фашистским гестапо. Тогда весь народ, все верующие католики узнают, каким образом и охранке, и гестапо становились известными те тайны, которые простодушные религиозные люди доверчиво разбалтывали своему духовному пастырю на святой исповеди.

При мысли об этом пан ксендз наддал из последних сил и устроил быстроту своего движения. Вот уже совсем близка спасительная калитка его дома. Забраться домой, затаиться до вечера, забрать все, что еще осталось самого ценного, и этой же ночью бежать прочь из проклятого местечка. Благодарение богу, пан ксендз не одинок. Только бы добраться до леса. Он знает некоторые потаенные места, где есть еще верные церкви и довоенной Польше люди. Только бы добраться до них, а с их помощью до Варшавы. Благодарение богу, там еще немцы, и красным туда скоро не добраться. О! Пан ксендз сумел бы рассказать папскому нунцию, что творится в Польше, отвоеванной Красной Армией. Уж он там расскажет такое, что ни один писака буржуазной газеты никогда выдумать не сможет. Все эти корреспонденты взвоют от зависти, перехватывая для своих газет сообщения «очевидца». Пан ксендз в тех случаях, когда дело касалось «красных без-

божников», не мог пожаловаться на недостаток фантазии и умел сочинять сенсационные небылицы.

Вот, наконец, и дом. Ксендз быстро и круто повернул к своей калитке. Но тут движение святого отца резко затормозилось. Пан ксендз почувствовал, что на его плечо легла чья-то огромная и твердая, как железо, рука.

– Зачем так спешите, уважаемый? – загудел над головой чей-то еще не опознанный, но почему-то знакомый бас, и ксендз сразу почувствовал, как у него ослабли колени и ноги сразу стали вялыми и непослушными. – Куда торопитесь? – продолжал тот же голос. – Будете перед народом ответ держать, святой отец. За все, сукин сын, сполна ответишь.

Ксендз попытался вывернуться. Ему казалось, что если он сумеет сделать еще два шага, захлопнуть за собой калитку своего двора, то никакой опасности не будет. Все будет так, как было до сих пор. Но вывернуться не удалось. Напротив, та же рука круто повернула ксендза в обратную сторону. Ксендз взглянул и понял, что погиб. Он сразу узнал в державшем его за плечо человеке черноволосого кузнеца, который, по всем данным, должен был быть расстрелян гестаповцами еще в 1943 году. Пан ксендз был уверен в этом. Ведь всего того, что узнало гестапо об этом местечковом подпольщике, было достаточно, чтобы расстрелять половину жителей местечка. А затем, взглянув на дорогу, увидел ксендз и чахоточного сапожника Юзефа, чья старуха выла у него во дворе, ползала на коленях, пытаясь целовать его ноги, билась головой о кирпичную дорожку у крыльца, вымаливая свободу и жизнь своему больному мужу. Увидел ксендз и Яна Неходу, и показалось ему: за спиной сына стоит сам старый доктор. Стоит, и нехорошо улыбается, и грозит ему огромным костлявым кулаком. Увидел ксендз и еще несколько десятков людей, которых давно уже вы-

черкнул из списка своих прихожан, да заодно и из списка живых.

Сейчас все они стоят, хмурые и молчаливые, как судьи, уже приговорившие обвиняемого. Пап ксендз почувствовал, что все его тело покрывается холодным липким потом, и уперся ногами в землю, как упирается конь, внезапно увидевший перед собою пропасть. А к партизанам со всех сторон подходили жители местечка, и небольшая вначале группа вооруженных людей сейчас стояла во главе огромной толпы поселян, бывших до этого верными прихожанами ксендза. Но ни в чьих глазах не встретил пан ксендз ни одобрения, ни поддержки.

Железная партизанская пятерня освободила плечо ксендза и в то же мгновение крепко схватила святого отца за шиворот, а гудящий, как труба судного дня, голос произнес:

– Ну что ж. Не хочешь сам идти – силком заставим. Даже потрудимся для вашего преподобия. На руках доставим.

В ту же минуту пятки пана ксендза, все еще упирившиеся в засохший суглинок дороги, оторвались от земли, и он почувствовал, что его тащат к молчаливой, нахмуренной толпе партизан. От ужаса и позора он закрыл глаза, чтобы не видеть эту грозно молчавшую, нахмуренную толпу.

– Вот, доставил! – удовлетворенно прогудел кузнец и поставил ксендза на землю перед партизанами. Но ксендз не устоял на ногах. Не открывая глаз, он покачнулся и, упав на колени, глухо стукнулся лбом о землю дороги.

В те несколько мгновений, которые потребовались кузнецу для того, чтобы донести папа ксендза от калитки дома до толпы, в душе служителя церкви произошел целый переворот.

Поднятый могучей рукою кузнеца на воздух, ксендз почувствовал, как воротник сутаны туго стянул ему горло.

Трудно, очень трудно стало дышать. Ксендзу показалось, что не мягкий, подбитый шелком обношенный воротник сдавил ему горло, а петля из жесткой колючей веревки. Пан ксендз почувствовал, что сейчас, в течение одной-двух минут, решится его судьба, а затем уже настоящая петля перетянет ему горло, и нет никакой возможности избежать этого.

С ужасающей беспощадной ясностью старый паук почувствовал, что для него нет спасения, что вся святая католическая церковь и даже сам папа римский не в силах помочь ему, что этой молчащей толпе не страшны ни проклятия церкви, ни грозные послания ватиканского святоши. Даже страшное для опростоволосившегося служителя церкви судилище консисторской конгрегации показалось пану ксендзу уютным и заманчиво недоступным. Жить! Любой ценой сохранить жизнь. На коленях, унижаясь, вымаливать себе возможность жить. Потом, когда изменятся обстоятельства, он все это припомнит, за все рассчитается, но сейчас какими угодно унижениями, каким угодно покаянием, только бы купить себе жизнь.

Падая ниц перед партизанами, ксендз даже не почувствовал боли, хотя весьма основательно боднул лбом утоптанную многими тысячами человеческих ног землю. Только по его жирной спине, выгнутой, как дуга, пробежала дрожь, когда он услышал над собой голос чахоточного сапожника:

– Что, страшно стало держать ответ перед народом? Вставай, не притворяйся. Мы тебя не самосудом, а всенародно судить будем. Всему народу покажем, какая ты гадина. Вставай, гадючье племя!

Одновременно пан ксендз почувствовал, что чей-то сапог непочтительно ткнул его в зад.

– Вставай, – загудел бас кузнеца.

Ксендз поднял голову и, стоя на коленях, посмотрел в лица стоявших перед ним судей. Ненависть и презрение прочел он во взглядах партизан и, вытянув вперед дрожащие руки, неожиданно охрипшим голосом взмолился:

– Пощадите! – и всхлипнул.

– А ты щадил?! – прозвенел в напряженной тишине голос Юзефа. – За сколько золотых ты меня, Иуда, пилсудчикам продал?

– Пощадите! – еще отчаяннее заскулил ксендз. – Я никого не продавал. Езусом сладчайшим, пречистой матерью его клянусь, не продавал! – снова боднул лбом землю. И тогда в возникшей вновь тишине прозвучал чей-то удивленный и одновременно насмешливо веселый возглас:

– Вот брешет, сука, вот брешет! Смотрите, люди добрые, все, как есть, брешет, а сам Езусом клянется.

В толпе, как первый отдаленный рокот надвигающейся бури, прокатился гул. Пан ксендз выпрямился и, стоя на коленях, протянул руки к Яну Неходе. Он чувствовал, что одно слово этого молчавшего, измученного лишениями человека способно или усмирить готовую прорваться ярость сотен людей и сохранить жизнь ксендзу, или, наоборот, отдать его во власть еще молчавшей, но уже готовой грозно зарычать толпы.

Пан ксендз потянулся, пытаясь обнять колени Неходы, но партизанский вожак брезгливо отступил назад, и одновременно с ним от ксендза отодвинулась вся толпа.

– Братья! – продолжал дрожащим голосом священнослужитель. – Пан Нехода! Пан Юзеф! Я ни в чем не виноват! Я вам все расскажу! Вы сами увидите, что я не делал ничего такого, что запрещено святой церковью! Я все делал так, как предписывает наша церковь! Ну зачем вы молчите, пан Нехода! Зачем вы молчите, панове прихожане!? Ведь я тридцать лет живу с вами! Ведь вы же меня хорошо знаете!

По толпе как будто прошел ток, и молчание сразу прорвало десятками злых голосов:

- Знаем, знаем!
- За тридцать лет-то узнали!
- Расскажи нам про Казимириху!
- А моего Гната за что повесили?
- А старого доктора забыл?
- А Кристофа с Паранькой помнишь?

И от каждого нового выкрика ксендз вздрагивал, как от удара метко кинутого камня. Он, задыхаясь, хрипя и всхлипывая, ползал на четвереньках, стараясь обнять колени Неходы или кого-либо из партизан, но они отходили в сторону. Отступая с презрением от ползающего ксендза, люди постепенно повернулись спиной к дороге. Казалось, большая толпа людей стоит и смотрит, а перед ней ползает какое-то противное и ядовитое насекомое, уже полураздавленное, но все еще живое и вредное. Молчавший до сих пор Нехода отбросил веточку, все еще бывшую в его руках, и заговорил. Народ сразу же смолк, внимательно слушал, что скажет партизанский вожак.

– Слушайте, ксендз Поплавский. Перестаньте голосить. Сейчас вас ни стрелять, ни вешать никто не будет, но в дальнейшем нам это, конечно, придется сделать. Именно повесить. Пули вы не достойны. Только это мы сделаем после суда, после открытого всенародного суда. А на суде вы, конечно, все расскажете народу. Да мы вам и не позволим врать или увертываться.

Обрадованный, что непосредственная угроза смерти миновала, ксендз закивал всем туловищем, не поднимаясь, однако, с колен.

– Благодарствую, пан Нехода! Благодарствую, панове партизаны! Я буду говорить, и вы сами увидите, что я всегда только был исполнителем указаний святой церкви и ее папы.

Но торопливых слов обрадованного ксендза никто не слышал. Еще тогда, когда начал говорить Нехода, до слуха стоящих на площади людей донесся отдаленный, но мощный гул. А сейчас этот гул превратился в непрерывный грохот, и из-за поворота улицы в центр местечка ворвались советские танки. Десятки тяжелых машин с ревом и гулом мчались по шоссе, пересекавшему местечко, по направлению к фронту. Танковые люки были открыты, и высунувшиеся до пояса танкисты о чем-то весело переговаривались с автоматчиками, сидевшими на броне. Не замедляя движения, колонна быстро проносилась мимо восторженно приветствовавших ее людей.

– Двадцать девятый... тридцатый, тридцать первый... – громко считал кузнец, но даже его необъятный бас слышали только рядом с ним стоявшие люди. – Вот силища прет! – восторженно заорал он, когда его счет перевалил за пятьдесят. – Давай, давай, хлопцы, жми!

Толпа восторженно приветствовала танки, шедшие к недалекому фронту. Все стояли спиной к пану ксендзу и не обращали на него никакого внимания. А он, видя, что никто на него не смотрит, поднялся с колен, тоже покрикивая что-то одобрительное и даже помахав рукой танкистам, воровато взглянул направо и налево.

«Слава Езусу! Вовремя подвернулись эти проклятые русские танки. Пока никто не смотрит, можно отойти в сторону. Только бы уйти за угол вон того дома, а там через выгон и до лесу».

Ксендз сделал один мелкий, еще нерешительный шагок в сторону. Нет, определенно никто на него не смотрит. Все вылупились на эти большевистские чудовища. Пан ксендз осмелел и сделал крупный шаг в сторону, чтобы бочком отойти от толпы, но в то же мгновение ему показалось, что его по правому боку резко ударили железной палкой. Ой-

кнув, ксендз оглянулся и торопливо поднял вверх обе руки, хотя никто ему этого не приказывал.

Сзади стояли два автоматчика-партизана. Один из них невежливым толчком ствола автомата вернул ксендза на прежнее место. Заглянув в глаза партизан, пан ксендз увидел в них что-то такое страшное для него, что так и остался стоять с поднятыми руками, повесив голову на грудь.

А по шоссе, через старинное польское местечко, под восторженные крики ликующего народа мчались на запад добивать врага советские танки.

АНАТОЛИЙ ЯНОВСКИЙ

Сорока
Снегирь
Портсигар
Пилотка
Косые дожди



Сорока

(рассказ)

Передвижной госпиталь, куда зимой сорок пятого привезли связного Сороку и автоматчика морской пехоты Ивана Межнева, располагался в старом замке в небольшом венгерском местечке с таким длинным названием, что сразу и не выговоришь. В этой же машине доставили четырех артиллеристов, но один из них через сутки умер, а двоих отправили в тыл. В палате теперь оставались старик, весь перебинтованный, из ездовых, подвозивших снаряды, Межнев и Сорока – совсем еще подросток. Осколок повредил ему коленку, и он стискивал зубы от боли, но не соглашался на операцию.

Сорока был откуда-то из-под Кром, ночью бредил, все вспоминал леса, поля да рыжую девчонку, с которой подружился в школе перед уходом на фронт.

– А без ноги мне на земле делать нечего, – убеждал он врача, уже немолодого, толстого и добродушного человека, недавно призванного в армию из запаса. Всю жизнь проработал Павел Сергеевич в сельской больнице и не мог не понять крестьянскую душу орловского паренька.

На пустую койку положили пожилого венгра из местных, пострадавшего при бомбежке. Медсестра, глазастая Тоня, узнала, что это известный художник Эндре. Он помогал партизанам и бежал сюда, в горы, спасаясь от фашистов.

Врачи занялись живописцем и Сороку вроде бы оставили в покое. В соседние палаты привезли еще раненых; медикам

прибавилось забот, тем более что часть персонала госпиталя куда-то передвинулась.

Быстрее всех пошел на поправку Иван Межнев. На своем длинном солдатском пути от Москвы до Волги, а затем через орловские поля и украинские степи до самого голубого Дуная он не раз попадал в медсанбаты и госпитали.

– На мне, как на собаке, заживает, – приговаривал он, поглядывая на Сороку. – Главное, чтобы ход сохранить, а там один курс – на запад.

Поднимая перебинтованную ногу, хватаясь за спинки кроватей, он подпрыгивал к длинному стрельчатому, как и полагается в замке, окну, вглядывался в почерневшие от ранней оттепели горы, настороженно прислушивался. В начале февраля еще доносились с Балатона глухие перекаты артканонады, а потом все смолкло.

– Возьмут без нас Будапешт, если уже не взяли. – Межнев присел на кровать ездового, едва не задев сложное сооружение из дощечек и марли.

– Тише, торопыга, – послышалось из-под одеяла. – Война кончается, а он все в огонь рвется...

– Глянь-ка, – удивился Межнев, – у нашего доходяги голос прорезался. Сигналы подает... Значит, дед, считаешь, торопиться больше не надо?

– И без тебя все дооформиат, как следует быть, – проворчал старик. – Благодарю, малый, что жив остался... Работать кому-то надо...

– А мне при шапочном разборе дюже побывать охота, – не унимался Иван. – После Будапешта, считай, вся наша лавина на Берлин хлынет. Хочу на рейхстаге якорек припечатать. На вечные времена.

Межнев посмотрел на соседние койки. Старый венгр – лицо, как скомканная бумага – облизывал пересохшие губы и закатывал глаза. Помалкивал и Сорока, устремив

неподвижный взгляд в серое небо над черными горами за окном.

– Да... Мертвая зыбь в нашей гавани. Отгородили скалами и в трюм загнали, – пробормотал Иван.

– Как в тюрьме, – прошептал Сорока, и голос его дрогнул. Межнев смутился:

– Ты что, салага, совсем флаг опустил? Еще повоюем, братишка!

А на утреннем обходе Павел Сергеевич дольше всего задержался возле Сороки и сердито хмурился. Паренька понесли на перевязку, а привезли его лишь к вечеру и уже из операционной. Наркоз долго не отходил, и Тоня отчаянно шлепала парня по щекам. Открыв глаза, он не сразу сообразил, где находится и что с ним. И вдруг опомнился и, перебивая самого себя, жарко заговорил:

– А нога цела?.. Ага, цела, – и обрадовался: – Я пятку чувствую, и коленка на месте...

Тоня молча опустила голову, и раненые все поняли, старались не смотреть на парня. А он, успокоенный, заснул.

Ночью, под утро, когда сизый туман за клубился в окнах, Межнев услышал жалкий детский плач. Одеяло, которое Сорока натянул на голову, содрогалось от рыданий.

– Что ты, братишка? Что ты, солдат? – успокаивал Иван.

А солдат плакал, уже не стесняясь, плакал о своей искалеченной юности, о рыжей девчонке, которая ждала его не таким, о груше-дикарке возле хаты, куда взбирался он, чтобы шире видеть мир, набравшие силу хлеба, сочные камыши у окуневых затонов Оки и пронизанные солнцем перелески.

И никто не спал, и все тоже думали и о себе, и об этом мальчишке, и о его разбитых мечтах.

Заглянула в палату Тоня и присела у Сорокиной койки.

– Ну зачем они так?! Зачем меня обманули?! – захлебывался он слезами. – Кому я нужен теперь?..

– Тебя от смерти спасли. И не кричи, – строго сказала Тоня.

Днем вся палата старалась отвлечь парнишку от его большой беды. Межнев травил анекдоты. Но они быстро гасли, вроде бы не к сроку рожденные, и наступали длинные, неуклюжие паузы.

Старик ездовой ударился было в далекие воспоминания о гражданской войне, о походах, перечислял города, где пришлось сражаться.

– А вы и под Нарвой были? – спросил вдруг на чистом русском языке старый венгр. – Я тоже там воевал. Связным, как и он... сынок наш. Наверно, столько же и мне было лет.

Это прозвучало так неожиданно, что все замолчали. Даже Сорока притих.

То, о чем рассказывал Эндре, ему вроде уже давно было знакомо. Еще в школе он читал, как рождалась Красная Армия. Но взволнованная речь художника совсем не была похожа на те страницы учебника. Эндре говорил о боях под Нарвой как о самом дорогом в своей жизни событии, вспоминал товарищей и командиров так сердечно, как говорят лишь об очень близких, о семье, о любимой.

Сорока неожиданно опять застонал и приподнялся.

– А я сон видел, – замотал он головой, словно умоляя его послушать. – Пашу я землю, а вся она кровью полита... Красная, как глина. А потом сеять стал. И спешу, кидаю горстями зерна, будто в старину, из лукошка, а позади меня красные маки так и всходят, одни маки...

Замолчал Сорока, набрал дыхания, несколько слов выдал:

– Неужто умру? Как же это так? И еще...

Не договорил молодой солдат, притянула его голову с легким льняным чубом тяжелая подушка.

Прибежали медики, увезли Сороку.

Тоня потом рассказала, что ему снова операцию сделали. Антонов огонь выше по ноге перекинулся. И лежит он теперь в изоляторе. Павел Сергеевич говорил, что шансов совсем мало, а Сорока в свою палату просится. «Я там, – говорит, – оживу».

– Пусть везут! Я пойду к самому начальнику, – вскочил и чуть было не свалился с кровати Межнев. Спасибо костыли выручили. С их помощью морячок последнее время все чаще пропадал за оградой госпиталя. Однако на этот раз он возвратился быстро. – Будапешт взяли! – закричал еще в дверях, размахивая бутылкой вина. – Настоящее, токайское. А на камбузе обед готовят праздничный. Отметим, братишки!

Дня через три художнику предложили переехать в столичную больницу, но он отказался. Тогда ему принесли трофейный радиоприемник, бумагу и краски. Он тут же начал рисовать, хотя пальцы обеих его рук еле выглядывали из-под гипсовых панцирей. Рисовал он раненых. Солдаты бережно свертывали свои портреты в трубочку и посылали домой.

Сорока, которого вернули все же в палату, был совсем плох. Ночью, натянув одеяло на голову, он тихо плакал, а днем молчал и никому ничего больше не рассказывал. На его койку частенько присаживался художник – он уже мог двигаться, – включал приемник, искал Москву.

Однажды передавали новую песню. Она пришлась солдатам по душе. Иван Межнев разучил ее и после очередного «прочесывания» окрестной местности яростно напевал:

*И под звездами балканскими
Вспоминаем неспроста
Ярославские, да брянские,
Да смоленские места...*

– Тише, Ваня, – попросил Сорока, едва шевеля губами и прислушиваясь.

За окном звонко стучала капель... Шла бурная венгерская весна с ее радостными криками на ожившей земле: крестьяне делили помещичьи хольды, поднимали дома. А где-то там, на севере, все еще умирали люди. Наши войска приближались к Берлину – завязывались последние бои.

...Сорока умер рано утром, когда все спали. Рука его прижимала к груди лист бумаги, на которой Эндре нарисовал русское поле, приземистую хату под золотой соломой и рядом, на косогоре, охваченную майским солнцем, в белом венчалном платье грушу-дикарку.

Снегирь

(рассказ)

На старости лет дали мне, как ветерану войны, уютную комнатку в микрорайоне, недалеко от новой больницы, куда кладут будущих матерей. Улица здесь очень оживленная. К большому серому зданию то и дело подкатывают машины «скорой помощи», автобусы, а то и такси, из которых молодые люди выводят своих изрядно располневших и подчас напуганных женушек. И затем каждый вечер приезжают к ним наведываться, стоят возле окон, машут руками, что-то кричат.

Я обычно хожу мимо них в булочную и невольно тоже волнуюсь, вспоминая прошлое, свою молодость.

С одним из молодых людей мне удалось познакомиться. Зовут его Сережа, работает он слесарем на «Химтекстильмаше». Ему приходится ездить через весь город, но он не унывает. Опечалил его лишь карантин из-за гриппа, неожиданно объявленный в больнице.

– Теперь я свою Наташу только через окно и увижу. А какое окно? Где она? Попробуй угадай, да еще на втором этаже...

Наташа его, как вскоре выяснилось, – молодая художница.

– Мы – худграфы... Худые графы, – говорила она потом, весело каламбуя, намекая то ли на художественно-графический факультет, который недавно окончила, то ли на не слишком еще устроенный быт. Но это было уже после, когда молодые зазвали меня к себе домой.

А пока Сережа не на шутку грустил, обшаривая взглядом окна больницы.

Однажды санитарка, принимавшая от Сережи передачу, сказала:

– Да, чуть не забыла. Просила твоя краски какие-то принести. Чудит девка...

Разумеется, краски в тот же день были доставлены. А утром – это было как раз воскресенье – по дороге из магазина я увидел нарисованного во все больничное окно настоящего, красногрудого, с веселыми глазками снегиря, а рядом, прилепившись к стеклу, грустно стояла девчушка в просторном халатике.

Минут через десять подъехал на такси Сережа и радостно замахал ей – это и была его Наташа. Она оторвалась от рамы и, порозовев, так же лихо жестикулировала.

Сергея попросил у меня костыль и написал на снегу крупными буквами: «Что купить?» Наташа кивнула головой и, на миг исчезнув, появилась с кисточкой в руке. Она быстро и умело нарисовала возле самого клюва снегиря булочку и лимон. Они так аппетитно выглядели, что я тут же предложил Сереже только что купленную свежую булку, чтобы он далеко за ней не бегал. Нашелся у меня и лимон.

– Бери, не стесняйся...

– Ясное дело, – согласился Сережа и, завернув все вместе с привезенными яблоками в одну газету, побежал к санитарке, собиравшей передачи.

Добрые вести никогда не задерживаются. С помощью снегиря и другие молодые быстро находили друг друга. Какие только девчонки не появлялись в окне рядом со снегирем: и рыжие, как солнце, и с черными, смоляными косами, и кудрявые, словно барашки. Множились и надписи на снегу. Благо он почти каждый день выпадал новый, свежий, чистый. Чего я только не читал, прогуливаясь за своим кефиром: «Купил куклу», «Дежурю как депутат», «Привет от мамы». Ласковые слова перемежались с наивно-требовательными: «Рожай пацана!»

Целых два дня Сережа не появлялся. Наташа прямо-таки завяла, прижимаясь к своему снегирию. Я, жалея девчущку, передал ей еще булочку и еще один лимон и погрозил, чтобы не скучала. А у самого щемило сердце: «Что случилось с Сережкой? Не позвонить ли на завод? Нельзя же волноваться роженицам...»

Сережа явился на следующий день сияющий. Он сразу написал на снегу метровыми буквами: «Получил квартиру. Ура!»

Наташа прижалась к снегирию и, наверное, от радости размазала слезами его клювик. Снегирь стал курносый.

Вскоре Наташу перевели на нижний этаж.

– Ближе к выходу, – заметил глубокомысленно Сережа.

На одном из окон, сверху занавески, появился новый снегирек, но такой маленький, взъерошенный. Видно, Наташе было уже трудно рисовать, и в тот день она так и не подошла к окошку. А вечером Сережа, перепрыгивая порожки, минуя двери лифта, ворвался в мою тихую обитель на пятом этаже и бросил на стол авоську с лимонами:

– Это ваши, дядя Коля... Ура!..

– Ты так спешил отдать долг? – спросил я, пожимая плечами.

Сережа остановился на миг в недоумении и, рассмеявшись, снова завертелся волчком:

– Я спешил сообщить главную новость: Наташка родила сына!

Через несколько дней я провожал молодую семью. Мартовское солнце распушилось золотым петухом, и снег вокруг выглядел погрустневшим, синим и сжавшимся, словно он приготовился улизнуть. Надписи потускнели, и только на брошенной строителями железобетонной плите победно сияли выведенные свежей масляной краской слова: «Спасибо, Наташа! Молодец! Ура!»

Солнце празднично лоснилось на всех окнах, и снегирь показался мне в тот час, когда мы ждали Наташу, удивительным и задорно-веселым. Уже в такси она приоткрыла краешек голубого одеяльца, и на нас глянуло похожее на снегиря румянощекое, курносое личико.

Худграфы жили неплохо. Я часто стал бывать у них. Подрастал их Сенечка, Сережа забросал его обновками. Каждый раз, принимая их, Наташа нарочно хмурилась:

– Опять не по Сеньке шапка.

А я все вспоминал ту прошлую морозную зиму, и холодно-серое здание больницы, и то единственное окно, куда тянулись искательно-просящие взоры будущих отцов. Я глядел на крепкого, румяного мальчугана, и мне так и хотелось назвать его Снегирем.

Портсигар

(рассказ)

Директор школы попросил преподавателя русского языка Виталия Евгеньевича Кубикова дать уроки в третьем классе. Там заболела учительница.

Виталий Евгеньевич с отличием окончил пединститут, работал в школе уже второй год, вел старшие классы и поэтому считал себя достаточно опытным педагогом.

Предложение директора поработать с малышами учитель встретил с некоторой обидой, но виду не показал. С деланным равнодушием он закрыл потрепанную книгу с названием, выведенным чернилами, «Хлеб ранних лет» и поправил высунувшиеся из-под коротких рукавов пиджачка манжеты с большими черными запонками, подаренными ему матерью. «В сущности, – подумал Виталий Евгеньевич, – это удобный случай узнать, почему так отстают ребята начальных классов».

Первый урок он решил посвятить знакомству с учениками. Третьеклассники встретили нового учителя с нескрываемым любопытством. Они молча разглядывали вытянутое, не в меру строгое лицо, очки в желтой оправе, которые учитель вертел в руках, и торчащие из-под рукавов белые манжеты с черными запонками.

Курносый мальчуган с веснушками во всю щеку, сидевший возле окна, первый нарушил молчание, бойко спросив, надолго ли заболела их учительница.

– Здоровьем своей учительницы вы могли бы, ребята, и сами поинтересоваться, – ответил Виталий Евгеньевич. – У Анны Петровны воспаление легких, и она лежит в больнице, – добавил он и посмотрел на маленькую беленькую девочку с топорщившимися косичками. Девочка подняла пухлую

руку и, не ожидая приглашения учителя, сказала тонким голосом, заметно волнуясь:

– Мы купим все вместе красивые-красивые цветы и отнесем их Анне Петровне.

«Благородное желание. Надо поощрить», – подумал Кубиков и тут же заметил на последней парте вертлявую фигурку в аккуратном темно-зеленом суконном костюме. Мальчик смотрел прямо на него, удивленно приподняв густые брови и не переставая перешептываться с соседом. Во рту, сверкавшем белизной, недоставало одного зуба, «Наверно, какой-нибудь избалованный сынок. Вертится, как угорь. И зуб рано потерял», – нахмурился учитель и подошел к мальчику:

– Тебя как зовут?

– Павел. А фамилия Басов, – ответил мальчик, вставая, все так же удивленно приподняв словно тушью подведенные брови.

– Ну, а ты пойдешь в больницу? – спросил учитель.

– Зачем?

– Он у нас новичок. Он к нам из Крыма приехал, – сказала все та же девочка с косичками и доверительно прибавила:

– Он и не видел нашу Анну Петровну.

– Не хочу я в больницу. Нечего мне там делать, – про бурчал вдруг Павел Басов и без разрешения учителя сел на место.

«Какой черствый и невоспитанный. Надо обратить на него внимание», – отметил про себя Виталий Евгеньевич и, раскрыв классный журнал, начал вызывать учащихся по списку, проверяя, все ли пришли.

Ребятам это быстро надоело, и вскоре по классу пошел шумок.

Кубиков оторвался от журнала, окинул взглядом класс. Басов, повернувшись, протягивал своему соседу массивный серебряный портсигар.

«Неужели он уже курит?» – ужаснулся Виталий Евгеньевич. Сосед Басова раскрыл портсигар, деловито щелкнул им, раскрыл снова и передал товарищу. Обойдя ребят, портсигар вернулся к Басову.

«Совершенно распушенный малый, – Кубиков припомнил, что Басов приехал из Крыма, и еще больше помрачнел. – Наверно, у папы там дача. У мамы райская жизнь и сплошное щебетание, а малым некому заняться. Ему все дозволено. А мы после этого удивляемся, откуда, мол, у нас всякие нарушители. Да, нарушители, – повторил учитель про себя. – Все потому, что вовремя не замечаем таких вот или стараемся не замечать, чтобы не портить отношения с «ответственными» родителями. Нет, у меня этого не будет!»

Виталий Евгеньевич решительно подошел к Павлу Басову, надул щеки, отчего вытянутое лицо педагога покраснело.

– Папиросками балуетесь, молодой человек? А не рано ли? Выкладывайте сюда ваше курево, – Кубиков строго постучал пальцем по исцарапанной парте.

Сосед Басова поспешно положил на парту руки.

– Вы что же молчите, молодой человек, а? – настойчиво спрашивал Виталий Евгеньевич. – Умейте держать ответ. Где портсигар? Дайте сюда!

Павел Басов поднялся с места и, не поднимая головы, угрюмо процедил сквозь зубы:

– Портсигар мой... Я... не дам.

В этот момент прозвенел звонок.

– Хорошо! – отчеканил Кубиков. – Об этом мы еще поговорим на следующем уроке.

Виталий Евгеньевич твердой походкой вышел из класса.

«Доложить сейчас же директору или потом? – размышлял он, подходя к учительской, и решил подождать. – Надо попытаться внушить хоть что-нибудь доброе этому Басову».

Однако все вышло не так, как предполагал учитель.

Басова в классе не оказалось. Курносый паренек в веснушках объяснил Кубикову, что Паша ушел домой.

– И еще сказал, что совсем не придет...

Виталий Евгеньевич строго взглянул на ученика:

– Тем хуже для него.

Как только окончился урок, Кубиков зашел в кабинет к директору и нервно рассказал ему о случившемся.

Директор школы, лысый, с клочковато-седой бородкой, быстрым жестом остановил учителя:

– Не будем спешить с выводами, Виталий Евгеньевич. Павла Басова мы плохо еще знаем, он из новоселов. Лучше всего сходите к нему домой. Зайдите сегодня же. Договорились? А?

Директор прищурил глаза и слегка приподнялся, опираясь на стол ладонью и давая тем самым понять, что разговор окончен.

К дому, где жил Павел Басов, Виталий Евгеньевич подходил с неохотой.

Возле подъезда стоял вороненый «ЗИЛ» с белой каемкой на колесах. В машину садились двое военных. Оба ладные, крепкие. Они громко смеялись. Кубиков оглядел их и нахмурился. Потом он взбирался по крутой лестнице, близоруко присматриваясь к медным и железным табличкам на дверях. Найдя наконец фамилию Басовых, Виталий Евгеньевич глубоко вздохнул, затем протер платком очки и только после этого осторожно надавил на кнопку звонка.

«Эти военные наверняка только что отсюда, – подумал Кубиков. – А может, один из них и есть отец Басова?..»

На звонок долго не отвечали. «А что если вовсе к себе не пустят?» – пришла вдруг нелепая мысль, и Виталий Евгеньевич вспомнил недавний рассказ своей знакомой, молодой учительницы. Одна дородная «руководящая» ма-

маша приняла ее в коридоре, снисходительно выслушала рассказ о «детских шалостях» сыночка и даже сесть не предложила...

Виталий Евгеньевич поежился, представил на миг, что сейчас выйдет к нему пышная дама в модной цветастой пижаме и спросит холодно: «Что вам угодно?» Кубиков со всей силой нажал на кнопку: «Нет уж, со мной они так не поступят. Если придется, я им и здесь, на лестнице, все как следует выскажу».

Звонок звенел не переставая. Дверь резко открылась, испуганно выглянула остроносая низенькая женщина в накинутом на голову черном шерстяном платке.

– Я учитель, – торжественно произнес Кубиков, раздувая щеки.

– Ах! Проходите, проходите, пожалуйста, – засуетилась женщина. – Мы вас ждали...

– Я по делу вашего сына, – начал быстро Кубиков.

– Да-да, я все знаю... Раздевайтесь, пожалуйста. И проходите сюда, садитесь.

«Странно... Что она знает?» – удивился Кубиков и, повесив на вешалку пальто и шляпу, прошел в комнату, половину которой занимал диван с аккуратно наложенной латкой на валике. Возле окна сидел Павел Басов. Он был все в том же защитного цвета костюмчике. Увидев учителя, Павел приподнялся, не выпуская из рук раскрытого портсигара.

– Паша мне все рассказал, – вздохнула женщина и, обратившись к сыну, сказала: – Пойди пока погуляй, сынок.

Мальчик откинул голову назад, покраснел и, оставив портсигар на столе, вышел из комнаты.

Виталий Евгеньевич, подойдя к столу, невольно взглянул в раскрытый портсигар. На одной стороне его была выгравирована надпись: «Берлин, 1945 год», к другой – аккуратно приклеена фотокарточка военного: изможденное лицо чело-

века с такими же густыми, черными, удивленно приподнятыми бровями, как и у Павла Басова.

– Это отец Паши и мой муж, – сказала женщина, зябко кутаясь в платок. – Он заболел еще на фронте, долго лежал в госпитале и недавно... умер... Похоронили мы его в Крыму. Фронтовой, трофейный портсигар – вот и все, что от него осталось. Мой мальчик хранит его... как память. Ах, зачем он только принес его в школу!..

Виталий Евгеньевич посмотрел на усталую женщину, поникшую, нахохлившуюся, как одинокая птица на ветке, хотел было что-то сказать утешительное, но язык его стал очень тяжелым. А Басова, словно почувствовав, что творится в душе молодого учителя, извинившись, быстро вышла из комнаты.

Кубиков подошел к окну и долго смотрел на улицу – на длинный ровный ряд недавно выстроенных многоэтажных домов. В начале этого ряда как-то неловко, боком выступал вперед старый низенький домик с полуобгоревшей каменной стеной – его опалила война.

Виталий Евгеньевич смотрел на эту обожженную стену и думал о том, сколько еще неизлеченных ран на земле и о том нелепом, что произошло в классе и вот сейчас, здесь, в этой семье.

Он нервно поправил манжеты, и что-то, звякнув, покатилося по полу.

В комнату вошел Павел. Он нагнулся и подал учителю запонку.

– Спасибо, – сказал Виталий Евгеньевич. И совсем уже просто добавил: – Ты уж не обижайся, Паша...

Пилотка

(рассказ)

Вы не знаете Пашку Лотохина? Нет? Односельчане мы с ним, из Борилова. Интересный парень, толковый специалист. Мы с ним из Алжира недавно вернулись. Туда Пашка поехал через год после окончания института вместе с москвичами-инженерами. Впрочем, этим теперь никого не удивишь. Много наших российских ребят ездит по белу свету.

Приехали. Духотища страшная. Такая, что и описать невозможно. Ну, ребятам сразу на пляж захотелось. Каждому интересно в Средиземном море искупаться. Как-никак это тебе не Ока. Экипироваться решили получше, чтобы особо не выделяться среди иностранцев своими шароварами.

Пошли, значит, молодцы наши в модный магазин плавки покупать. Вежливые продавцы и то, и другое предлагают. Знают, русские – народ денежный. Пашка выбрал себе самые что ни на есть яркие, из модерн-трикотажа и с «молнией» наискосок. Плавки что надо.

Купили ребята главные туалеты и отправились за шляпами, чтобы солнце мозги не кипятило. Пашка – он росточком не обижен – первый деликатно через прилавок перегнулся. Ему и подают для начала пробковый колониальный шлем. Знаете, англичане носили в былые времена. Пашка взял его в руки, подержал, вдруг позеленел весь – лица на нем нет, – положил то изделие молча на место и направился к выходу.

Мы ему кричим:

– Павел Николаевич, куда вы?

А он махнул рукой.

– У меня, – говорит, – свой убор получше есть.

И вот в воскресенье посольская «Чайка» подбросила на-

ших специалистов к самой середине золотого пляжа. Гулянье-загоранье тут давно уже началось. Разноголосый джаз надрывается, строгие официанты на верандах туда-сюда черный кофе со льдом носят. Лоточники фрукты предлагают: виноград, ананасы и всякое другое. Черномазые мальчишки с устрицами носятся, тоже свой маленький бизнес делают.

Простой рабочий люд так и льнет к нашему Пашке. Несут ему все в первую очередь и этак приятно, от всей души, улыбаются, и чувствуется по всему, что им самим радостно. И Пашка доволен. Мы никак не поймем, за что это ему такое предпочтение, а потом глянули на него, да так и ахнули. Вот чертяка! Плавки импортные надел, а на затылок вместо шляпы красноармейскую пилотку напялил.

Спрашиваем:

– Откуда это у вас, Павел Николаевич?

– Память, – отвечает.

– Со службы?

– Нет, – говорит, – с войны...

И рассказал он тут одну историю.

В армии Пашка не служил и на фронте не был. Посудите сами. В сорок третьем году, когда наши дугу-то Орловскую выпрямляли, ему всего десятый годок шел. Жил он тогда с матерью и с двумя младшими братьями в землянке. Не жили, а от смерти, можно сказать, отбивались. Распухли от голода, едва наружу из темной ямы выползали.

А дугу на том борилловском участке гитлеровцы сильно загнули да перевязали во всех направлениях колючей проволокой, а поля минами утыкали.

И все же пришло время, и драпанули фашистские ироды, почуяли, что в мешке огненном оказаться могут. Тут-то блиндаж немецкий, что за Борилловом, как мухомор, в землю врос, мигом очистился.

Пашка первым из пацанов догадался нос туда сунуть. Открыл дверь – видит, немец руки раскинул, глаза выкатил, лежит, не двигается, а возле него буханка хлеба. Вонзился в нее зубами мальчишка и ест, ест, все бы съел, да вовремя о матери и голодных братишках вспомнил.

Прихватил в качестве трофея еще и фрицевскую пилотку, напялил ее на себя – и скорее наружу. Выждал, пока стрелять перестанут, да по дороге, по лужам... А ему навстречу наши разведчики.

– Стой, парень! – кричат. – Аль своим не рад? Иди-ка сюда.

Подошел Пашка, хлеб к груди прижимает.

– Чего боишься? Не отнимем, еще дадим. А вот эту заразу зря напялил.

Разведчик схватил фрицевскую пилотку и в грязь ее затоптал.

– На, носи советскую, – и со своей головы командирскую пилотку снял да Лотохину вручил. – Носи, гордись и не забывай.

Нет, не забыл Пашка того дня. Только он в село-то вошел, а тут уж праздник. Бойцы полевые кухни расставили, голодных людей супом угощают. А Пашку увидели, так ему полную пилотку сахару насыпали. К матери прибежал – слова выговорить не может. А она как взглянула на звездочку, так и заплакала от радости.

Вот что за пилотка у него была!..

Море перед нами, слов нет, чтобы рассказать о нем, дельфины играют, кувыркаются. Красота! На цветастых ковриках пляжники один черней другого, и тощие, и толстые, с боку на бок переворачиваются, модными зонтиками прически прикрывают.

Смотрим, мальчишечка к нам подходит. Худищий такой, в чем только душа держится. Трусики на нем – одни запла-

ты. Устрицы его на лоточке совсем завяли. Видно, никто не польстился.

– Что, парень, плохо торговля идет? – спрашивает Пашка.

А тот смотрит, как зачарованный, на его голову и только одно слово повторяет:

– Москва... Москва...

– Правильно, – говорит Лотохин. – Ладно, бери. Помни Москву. – И протягивает ему вдруг свою пилотку. – Бери, парень, не стесняйся!

Тот схватил подарок и гладит, гладит ручонкой звездочку, а у самого слезы так и катятся. Надел он пилотку, и вмиг окружили его люди, по одежде видать, такие же работяги, и что-то по-своему лопочут. И товар его тут же в ход пошел. Совсем приободрился мальй, смотрит уже на всех с превеликой гордостью. Подошел к Пашке еще раз, руку ему протянул.

– Москва, – говорит, – салют...

Вот она какая, советская пилотка!

Косые дожди

(рассказ)

Май был светлым, просторным, солнечным. Ярким костром пылали тюльпаны в палисадниках рабочей слободки, примыкавшей к дачам нашего общества садоводов.

С осени я тоже подсаживал луковицы, но так и не дождался цветов: слишком уж густую тень бросали березы, разросшиеся у дачного домика. А в июле заладили дожди – длинные, нудные, холодные. Так и прошло лето.

На дачах копошились одни старики. Когда ветер начал ворошить мокрые тучи и слегка развиднелось, хлопали оконные рамы. По воскресеньям доносилась тоскливая мелодия одной и той же патефонной пластинки:

– А за окнами август...

Пенсионеры вяло переругивались, покусывая друг друга, как осенние мухи.

– Пора тебе, Титыч, убирать помидоры. А то к ноябрю завяжутся – и тогда банок для закрутки не хватит.

Тит Титыч, худой и желчный, бывший фининспектор, морщился и долго подыскивал ответ похлеще:

– А ты, Семь путевок, на свой огород посмотри. Лебеду в заготовку сдавать будешь? Али как?

Семь путевок – так прозвали румянощекого коротышку Пингвинова, любившего прихвастнуть. Со вкусом вспоминал он о тех временах, когда работал в райпотребсоюзе:

– Семь лет подряд получал бесплатные путевки в санатории. Вот где солнышко светило...

– Неужто семь лет лечился? – удивлялся старый водопроводчик, которого все звали просто Семеном, и поглядывал на свои пальцы, скрюченные артритом, коричневые от ржавчины. Семену общество садоводов отвело пол-участка и приплачивало к пенсии за ремонт вентиля и покраску труб. Работал он аккуратно, честно; видать, не случайно его столько лет в народный контроль избирали...

– В самом деле болезни тебя извели? А сейчас как? – недоверчиво переспрашивал Семен.

– Какие еще болезни? – усмехнулся Пингвинов. – Ну, ты и даешь, Семен... Путевки мне положены были...

– Кто же тебе положил-то? – рассердился вдруг Семен. – Мы, что ли? Молчи уж, Семь путевок.

Так с тех пор и прилипло прозвище.

Тит Титыч и Пингвинов, когда вспоминали прошлое,

уже не ссорились. Многое из того, что они пережили, казалось им лучше нынешнего. Скромно поддакивал и Семен, но иногда, как находило на него, упрямылся, не соглашался.

– Вот ты, Тит Титыч, лебеду позоришь, а зря, – говорил Семен, подрезая длинную от дождей картофельную ботву. – А ведь как она, лебеда-то, выручала в трудные годы. С отрубями да с очистками, бывало, смешивали и пекли...

– Бывало, – кивал головой Тит Титыч.

Ветер сыпанул с размаху дождем. Казалось, темный брезент с водой перевернулся. Старики торопливо расползлись по дачам и перекликались уже через размокшие огороды, проклиная грешную природу.

– Ты слышал, Титыч, – кричал Пингвинов, – как тот голубчик из Слободки нажился на тюльпанах? С пятнадцати соток собрал в мае и все как есть по рублю за штуку продал. А их там, бутонов, тысяч на пять будет.

– Тысяч на десять. За месяц «Волгу» заработал, – подсчитывал Тит Титыч. – И куда народный контроль смотрит? А еще почетный железнодорожник, говорят...

– Постой, – остановил его Семен, – а не ему квартиру в городе давали, а он отказался?

– Еще бы не отказаться. Такой домище отгрохал, да земля полевая при доме... Еще и депутат, оказывается, – размахивал руками Пингвинов, – а тут возишься возле леса, и ничего не растет. Еще штрафами угрожают за сорняки.

– Меры ж надо принимать, – поддакивал Семен.

– К кому меры-то? Фью-ю... – присвистнул Пингвинов. – К нам, что ли? Ты бы, Семен, подумал, прежде чем болтать. Меры... Помолчи уж.

И Семен замолчал. Всю неделю молчал, думал.

Первое сентябрьское воскресенье порадовало солнеч-

ным утром. Оказались мы с Семеном в одном автобусе. За разговором не заметили, как промелькнула наша дачная остановка, и проскочили мы прямо к Слободке. Не сговариваясь, пошли вдоль палисадников, присматриваясь к новым постройкам. Семен настойчиво расспрашивал прохожих, интересовался, у кого можно купить цветов или семян. Незаметно подошли к школе. Тут-то все и прояснилось.

Молодая, очень серьезная учительница с белым отложным воротничком повела нас к небольшому, но аккуратному домику, окруженному разливом золотых шаров.

– Удивительный человек здесь живет, – охотно рассказывала по дороге. – Машинист. Всю войну санитарные поезда водил. Двоих сыновей с фронта сам в госпиталь доставил. Только не выжили они, умерли от ран. Но не очерствел Поликарпыч душой. За доброе, отзывчивое сердце депутатом его в Слободке прозвали. И жена его, старушка, такой же щедрой была. Похоронил он ее. Как раз в этом мае. Любили ее мои ребята. Умела разводить цветы, особенно тюльпаны, и все как есть в школу приносила. «В память, – говорит, – о моих мальчиках, которые тоже на этих партах сидели».

Поликарпыч будто бы ждал нас. Пытливые глаза смотрели строго. Ни годы, ни горе не согнули старика. Выслушав учительницу, он улыбнулся, погладил седенькую донкихотскую бороденку и предложил нам отдохнуть на садовой скамейке.

– Значит, дачники за семенным материалом пожаловали? Доброе дело. Сколько ж вам луковиц? Берите больше. Деньги? Какие еще деньги? – глаза старика стали сердитыми. – Нет уж, дорогие товарищи, не обижайте.

...Возвращались мы к дачам молча. Семен все поглядывал

на собиравшиеся тучки, хмурил брови и наконец не выдержал:

– Жары бы на месячишко. Пингвины наши враз засуе-
тятся на ягодниках, а я их, болтунов, тут же от водокачки и
отключу. Чтобы у них языки завидущие отсохли!..

Но мальчишеское желание Семена так и не исполнилось.
В сентябре шли опять косые дожди. Били они землю наот-
машь, без разбора.

ЕВГЕНИЙ **ЗИБОРОВ**

Возвращение
Любка-санинструктор



Возвращение

(рассказ)

К рассвету они наткнулись на старый, покрытый бурым еловым лапником шалаш и заползли в него. Вдали, невидимое за ершистым массивом леса, гудело моторами шоссе, доносились гулкие залпы – немецкие дальнобойные батареи вели неспешный методический огонь. На белёсых облаках трепетали розоватые отсветы, постепенно они бледнели и вскоре исчезли – рассвет затмил их.

Жезлов лежал ничком, глядя сквозь просветы лапника. Его сосед – невысокий, смуглолицый, с темной щёткой усов солдат в новенькой, выпачканной землёй шинели – настороженно прислушивался.

– Нет, ты скажи, вот мы попали, а? Это ж надо! – солдат крутил головой и повторял вновь:

– Вот попали, так попали... Фу, чёрт!.. – Он ещё не остыл от того, что с ними случилось ночью, и сейчас отводил душу.

Жезлов молчал. Ноги его горели – мокрые портянки во время блуждания сбились и натёрли ступни. Он шевелил пальцами и думал о том, что его спутник прав: они действительно попали, и очень глупо, тогда, когда уже всё было сделано и они возвращались к линии фронта. А виноват Пашков, старший группы. Это он, торопясь, повёл разведчиков напрямик через шоссе. Конечно, так вдвое сокращалось расстояние, но... Впрочем, что теперь об этом говорить? И Пашков, и еще

пятеро бойцов остались там, у обочины, простроченные немецкими пулями. И только они двое успели прорваться через шоссе и укрыться в лесной чаще. Они шли всю ночь по студеной болотной воде, обходя немецкие посты.

Солдат наконец успокоился. Он снял с пояса фляжку, отвернул пробку, понюхал и сказал:

– Натуральный! Трофей у фрица снял. Давай, сержант, по глотку... – Солдат сделал большой глоток, и кадык на его жилистой шее дёрнулся. – Причащайся!.. Фу!.. – Солдат с шумом выдохнул воздух и зажмурился.

Жезлов взял флягу и удивился – она оказалась почти полной. Запах спирта-сырца зашекотал ноздри, Жезлов нюхнул и отрицательно покачал головой:

– Не время! Уснем. Он, проклятый, после такой ночи на обе лопатки уложит.

Солдат неодобрительно хмыкнул, но согласился:

– Ну, ежели так... Однако я ещё мало-мало...

Жезлов смотрел на его крупный кадык, на полное, с резкими чертами, из тех, что нравятся женщинам, лицо и подумал: а ведь любит выпить мужик. И вспомнил, что почти не знает этого живого, как ртуть, человека – ни имени, ни фамилии. Впрочем, это не так важно. Главное – солдат он правильный и стреляет без промаха. Не будь его – лежать бы сейчас Жезлову у обочины шоссе.

– А здорово ты пулеметчика срезал, – одобрительно сказал Жезлов. – Он, паразит, из куста как дал... Я успел только повернуться...

Ефрейтор оживился. По лицу пошли красные пятна – видимо, спирт уже зашумел в крови.

– Я за ним, гадом, следил: сначала тень увидел, а как он высунулся с ручным пулеметом, так и на мушку взял. Пятнадцатый по счету!.. – Ефрейтор негромко засмеялся. – Я, брат, считаю, когда вот так, один на один...

Жезлов кивнул. Что ж, и у него, Жезлова, тоже есть личный счет. Правда, не мертвяков, а живых, тех, кого он когда-либо волок с кляпом во рту. Жезлов машинально пощупал свою грудь – там, под гимнастеркой, лежали карта и пачка немецких документов. Что ж, не зря легли у шоссе его товарищи. Дело сделано, теперь осталось немного – скоротать этот тревожный, пахнувший сыростью осенний день и ночью выйти к реке. Там, в наших траншеях, уже заждались.

Однако благодушествовать не время. Сейчас они ещё в немецком тылу. И хоть вокруг один лес, надо быть начеку.

– А у меня здорово получилось... – Ефрейтор сверкнул белыми зубами. – Вообще у меня всё невзначай получается. Ведь я позавчера только из госпиталя... Попал прямо с корабля на бал. И сегодня влипли невзначай... И в госпиталь-то невзначай определился.

Ранение-то плёвое было. По знакомству врачаха из санбата устроила. – Ефрейтор опять ухмыльнулся, вновь засветились его ровные белые зубы. Видимо, воспоминание о врачахе было приятным, потому что ефрейтор сощурился и глаза его масляно заблестели.

Жезлов повернулся на бок – пусть поболтает, по крайней мере, не уснет, да и надо же убить время.

Ефрейтор поудобнее приладил автомат и, смачно зевнув, продолжал:

– В общем, бабеч – что струч сладкого перца... Пяток годков скинуть – была бы экстра-класс. Да... Бельё шелковое, сама – молоко... – Ефрейтор зажмурился.

Жезлов мотнул головой. Странно, нелепо звучали эти слова среди шума мрачного, мокрого леса, где пряталась тревога. И все-таки, несмотря на то, что здесь была не знакомая солдатская землянка, а всего лишь чужой дырявый шалаш и где-то в двух-трех километрах на огромных дизельных грузовиках катили гитлеровцы, Жезлов внима-

тельно вслушивался в журчавший ручейком голос ефрейтора. И по мере того, как тот, не смущаясь, рассказывал пикантные подробности, Жезлов, всё более поражаясь, с каким-то удивлением смотрел на собеседника. «Ну и хабло! – мысленно заключил он. – Ему бы экспертом в борделе быть»... Жезлов вдруг вспомнил Маринку, жену, её бархатные тёмно-коричневые глаза, пухлые пунцовые губы, ямочки на локтях и у левого соска небольшое, похожее на каплю фиолетовых чернил родимое пятнышко... Он так живо представил ее, сонную, раскинувшуюся на подушке, по-детски почмокивающую губами, что даже ощутил волнующую теплоту ее тела.

Быстро, как колодезный ворот, раскручивались мысли. Жезлов вновь увидел Маринку – еще девочкой-недотрогой, с насупленными бровями, с голубой ленточкой в толстом жгуте косы, гибкую, похожую на тростинку. Ну и доставалось от нее однокласснику Сашке Жезлову! И он платил ей тем же, устраивал разные ребячьи пакости, и дело дошло до того, что в восьмом классе они рассорились на всю жизнь... А жизнь, к удивлению, преподнесла сюрприз: спустя четыре года свела их так, что начали оба носить одну и ту же фамилию...

Жезлов мял травинку, лицо его подобрело, морщинки на нём разгладились, и лёгкая полуулыбка блуждала в уголках рта. Сейчас вспоминалось только светлое, хорошее, что было в их недолгой совместной жизни. Так уж, видно, устроена человеческая память – помнить приятное. Конечно, было и другое. Однако у кого его не было?.. Например, Маринка самозабвенно любила танцы. А Жезлов считал их не совсем невинными: многозначительные взгляды, пожатия рук, прикосновения, вроде было случайные, мимолетные, и прочее – все это он представлял очень живо и ревновал Маринку к партнерам. «Дурачок! – говорила в таких случаях Маринка. – Не будь скучным ревнивцем. Я не хочу скучного мужа!»...

Да, она, конечно, была права. И Жезлов приходил с ней на танцплощадку, раз-другой крутился в вальсе, потом ему это надоедало, он отходил, отворачивался и мучил себя глупыми мыслями, с нетерпением ожидая, когда наконец умолкнет оглушительный рёв репродуктора...

Жезлов вздохнул. Каким дураком он был тогда!.. Сейчас – да не только сейчас, это он понял еще в тот самый первый день, когда его, одетого в форму, крепко обняли горячие руки обеспамятевшей Маринки, – Жезлов понял, насколько был он слаб в борьбе с самим собой, несправедлив к Маринке и вообще...

Ему стало совестно – последнее письмо Маринки лежит без ответа уже две недели. «Век не прощу себе этого. Вернусь – сразу же два письма напишу, – решил Жезлов. – Пусть читает...»

В первое время они переписывались часто. Иногда, как и у всех, письма пропадали – кто знает, почему. Шла война, и исчезновение писем никого не удивляло. Потом треугольники стали ходить реже – Жезлова мотало по фронту, а Марина эвакуировалась куда-то в глухомань, где не было железной дороги. Теперь она в большом городе, да и Жезлов приписан не к полку, а к армейской разведгруппе, письма могли бы идти и почаще, однако они не спешили. Жезлов считал, что виной он сам: на письма следует отвечать сразу.

– Сержант! Дремлешь? – Жезлов очнулся от воспоминаний: ефрейтор потряс его за плечо. – Нет?.. Тогда слушай!.. В госпитале я познакомился с одной рыжей молодкой. Она из шефов была, шефы к нам часто ходили. То подарки принесут, то концерт организуют, то еще что-нибудь. В основном женский состав приходил. Ну а у нас в отделении выздоравливающие ребята собрались – на подбор. Были у меня три дружка, земляки, холостые. Ну, известно, терять им нечего, всё равно на фронт идти, почему и не погулять? Я, хоть и

женат, да холостяцкая закалка сказывается. Встрял и я раз с ними. И получилось в компании так, что нас четверо, а баб вдвое больше. И, понимаешь, среди них и оказалась эта рыженькая. Я как глянул – ахнул. Ну, думаю, не я буду, ежели не... Как выпили по второй, я её на танцы пригласил. Отказалась! Что такое? Сколько ключей перепробовал – все напрасно. Ну, думаю, нужна отмычка!.. На других-то я и не гляжу. Уж больно статью хороша, скромна и гордость в глазах. А всё дело в том, что муж у неё где-то, чуть ли не на нашем фронте воевал. У других-то кто убит, кто без вести, ясное дело, по ласке соскучились, да и горе надо развеять. Живые о живом думают. И представляешь, сколько я заходов сделал в тот вечер и после – ни в какую, как горохом об стенку... А я, надо сказать, по натуре охотник, меня хлебом не корми, дай поохотиться. Я, между прочим, по этой причине и в разведку пошёл... Да, значит, вовсе я пал было духом, а охотничья жилка – своё...

Жезлов теперь слушал со вниманием. Странное чувство владело им. Было не то чтобы противно, а словно по голому телу полз слизняк, и вместе с тем любопытно. Его, пожалуй, заинтересовал не столько рассказ, сколько судьба неведомой рыженькой женщины. История эта какими-то незримыми нитями связывалась с теми мыслями, которые несколько минут назад обуревали его.

Ефрейтор, щуря синий озорной глаз, смотрел сквозь лапник на редкую поросль отдаленных елочек и медленно, с паузами продолжал:

– Ну, короче говоря, я чуть себя не возненавидел. Какой я, думаю, к черту, мужик, ежели для бабы круглый нуль? Честно скажу: в первый раз почувствовал это... Ну как сказать, любовь, что ли... Лежу на койке ночами, не сплю, все её в разных видах представляю. А тут, понимаешь, время поджигает – дело к выписке пошло. И вот решился я на такой, между

прочим, тактический ход... Затеял я вечер на одной частной квартирке. Тут как раз праздник приспел – Новый год.

Раскололся, спирту достал, земляков с подружками пригласил. Всё чин-чином. Рыженькую свою, конечно же, в первую очередь. Угощаю – не пьет, чуть пригубит и в сторону. Ну, думаю, пора употреблять и отмычку. И предлагаю ей выпить за мужа, за то, чтоб был жив и здоров, за встречу после войны и тебе, и тебе... Ну, здесь она и не удержалась. Эх, брат, что с ней стало! Фейерверк!.. Затмила всех! Смеется, танцует, доброй стала и даже ласковой. «Спасибо, – говорит, – за теплые слова, Алексеюшка». Я молчу, жду. А дальше, известное дело, скисла она... Спирт девяностоградусный, я его чуть развёл. Мужики окосели, что говорить о женщинах? Ну, я вижу, что пора, оделся в чужое пальто (мы ведь в халатах явились, благо госпиталь в полста метрах находился) и пошел провожать.

Пришли на квартиру. Холодно. Темно. Видать, живет трудно. Зажгли коптилку. Она на постель села. «Не могу, – говорит, – голова кружится». Я открыл ещё одну склянку, что с собой прихватил, и говорю: так-то и так-то, послезавтра мне в маршевую роту, и кто знает, буду ли я живым. А поэтому не откажи за мое здоровье... Ну и выпили. Эх, сержант! Жаль мне, конечно, её мужика, а что поделаешь...

Ефрейтор умолк. Молчал и Жезлов. Ветер раскачивал сушь, мелкий дождь неслышно сыпался с затенённого кронами деревьев неба. Ефрейтор почесал переносицу и продолжал:

– Наутро проснулся я – рядом никого нет. Смотрю – у стола сидит. Лицо каменное, глаза огромные и синева под ними. Я на правах хозяина к ней и... Таковую оплеуху мне она отвесила – из глаз искры, как от точила. А потом всхлипнула и замерла... Полторы недели я к ней гостем ходил после того. А когда уехал, раза три письма посылал – не ответила. Гордая. Я-то понимаю: совестится. А чего совеститься? Живо человек, чего тут драмы устраивать? Ежели по такому

поводу переживать, человечеству конец пришел бы. А муж... Небось и он не отвернется, ежели подходящая юбка встретится. Уж я ей так и написать хотел, да раздумал. Оскорбится. А зачем мне плевать в колодец? Пригодится напиток. Верно?.. – Ефрейтор засмеялся и еще раз зевнул – видно было, что сон его начинал одолевать.

– Вот вернемся к своим в роту, – сказал ефрейтор, укладываясь поудобнее, – я тебе покажу ее фото. Когда уезжал, из ридикюля вытащил. На память. В полевой сумке и храню. Чтоб всегда при мне, как в песне поется...

Жезлов поморщился. История, конечно, была заурядной. Жизнь, она со всякими вывихами. И эта рыженькая не первая, да и не последняя. И ефрейтор – охотник, увы, не единственный. И всё-таки Жезлов не мог успокоиться. Словно холодок пробежал между лопатками. «Так, – спросил он себя, – вот ты слушал этого трепача, и довольно спокойно. А ежели б так случилось с Маринкой? – Жезлов ощутил, как кровь молоточками забила в висках. – Как бы, зная об этом, ты встретился с ней?.. Что сказал?.. И вообще как жил бы после этого?.. Простил?.. Застрелил?..» Скрипнув зубами, не найдя ответа, Жезлов почти зло толкнул ефрейтора.

– Не спать! Слышишь?.. – И, глядя в упор на сонное лицо очнувшегося ефрейтора, спросил: – Как тебя звать-то?.. Всё ты да ты, а как по-человечески?..

– Никитин Алексей Трофимыч... Ты чего это, сержант?.. – Ефрейтор недоуменно почесал обросшую щеку. – На, хлебни. Для сугрева. Ветер, дьявол, пробирает.

Жезлов взял протянутую ему баклажку и, ни слова не говоря, прицепил ее на свой пояс. Ефрейтор вскинул брови, но через минуту согласно кивнул.

– Точно! Она, дьявол, смущает меня. Вернёмся – утолим жажду. Верно, а?..

И опять они умолкли, поочередно выглядывая наружу,

вслушиваясь в шорохи и отдаленный гул, изредка перебрасываясь короткими фразами. Когда начало смеркаться, Жезлов встал на колени, перекинул на грудь успевший схватиться капельками ржавчины автомат и выбрался из шалаша. За ним на корточках выполз Никитин.

– Гляди влево... Я буду смотреть на правую сторону. Сейчас нам, самое главное, на патрулей не напороться бы... Ну, шагаем!..

Трудно сказать, сколько времени они двигались по сумрачному лесу. Казалось, прошла целая вечность. Лишь когда началась опушка, они легли на влажную, пахнущую гнилью листву и оставались неподвижными до тех пор, пока не стали различать низкие тени кустов, сбежавших на пологую кочковатую равнину. Там редко-редко трепетал желтый свет ракет, косые красные и голубые строчки трассирующих пуль взмывали куда-то к тучам и гасли...

– Опять болото, язвы ее мать!.. – Ефрейтор поёжился. Шинель его набухла, стала тяжелой. Жезлов давно сбросил свою, оставшись в одной плащ-палатке. Так было холоднее, зато идти было удобнее.

– Пошли!.. – решительно сказал Жезлов. – Там у них траншей сплошных нет, только ячейки...

Ефрейтор чертыхнулся сквозь зубы и сбросил с плеч тяжелую шинель.

– Пусть, дьяволы, пользуются... Ползём, сержант!..

Проваливаясь в жидкую, слабо отсвечивающую грязь, взбираясь на встречающиеся кочки, они приближались к невидимой отсюда реке.

– Тсс!.. – Жезлов припал к мшистой кочке. На той стороне взлетела ракета, и при ее свете неправдоподобно отчетливо и близко зачернели две фигуры.

– Патруль! – одними губами прошелестел Жезлов. – Возьмем?..

– Давай! – так же беззвучно ответил ефрейтор и кошкой пополз в сторону. Жезлов ощупал нож с наборной рукоятью и вытащил его из ножен.

Патрульные не ожидали нападения. Жезлов ящерицей подполз к одному из них и вскинулся, как разжавшаяся пружина. Одновременно с ним ефрейтор прикладом свалил и второго.

– Готов!

Жезлов стоял на коленях, прислушиваясь. И вдруг совсем рядом, словно из-под земли, раздалась автоматная очередь. Жезлову даже показалось, что струя трассирующих пуль прошла сквозь темную фигуру вставшего ефрейтора. В следующий миг Жезлов прыгнул вперед наугад и покатился вниз...

Это был третий патрульный, сидевший в воронке. От него пахло дерьмом, и Жезлов лишь потом сообразил, чем тот занимался. Покончив с немцем, он выскочил наверх, к Никитину. Тот лежал на животе и слабо постанывал.

– Живой?! – Жезлов склонился над раненым.

– Жив... Зараза, в задницу влепил! – Ефрейтор выругался зло, с каким-то сожалением, словно он очень хотел, чтобы пули угодили в иное место.

– Идти можешь?

– Давай помогай...

Обняв ефрейтора, Жезлов потащил его к черной воде по низкому песчаному берегу.

– Ничего, Никитин, держись... Только бы не мины...

Жезлов задыхался. Грузный Никитин оказался почти беспомощным, каждый шаг причинял ему острую боль.

– Зараза! – ругался он в ухо Жезлову. – Это же срам, а не рана!.. Совестно в санбате показывать! У, паразиты!..

Когда под ногами захлюпала вода, Жезлов перевел дыхание.

– Ну, кажись, пронесло. Теперь прямо, река неглубокая, пройдем...

Однако от дождей уровень воды оказался гораздо выше, чем обычно. И невысокий Никитин начал захлёбываться. Раза два они падали, оступаясь в донные ямы. Жезлов, набрав воздуха, нырял и вытаскивал ефрейтора, которого начало тошнить.

А позади обнаружили убитых патрульных. Взлетели ракеты, огненный шквал ударил по реке. Сначала это были только пули. Но затем посыпались мины. Вода с хлопотаньем поднималась фонтанами, потоками обдавая Жезлова, на плечах которого лежал ефрейтср.

Шаг за шагом сержант медленно приближался к берегу. Он шатался, ноги его оступались. Но вот уже и осока, а дальше – невысокий обрыв. Выше, на взгорке, – спирали Бруно и наша траншея... Опять оступившись, Жезлов упал в воду и, став на колени, поволок за собой ефрейтора, который пытался кое-как помогать ему.

– Еще чуть... Еще... – хрипел Жезлов. – Вот он, берег, слышишь?.. – Вытащив из воды Никитина, Жезлов без сил упал ничком на сырой берег.

И в этот момент между ними блеснула ослепительная вспышка и раздался звенящий удар...

Когда Жезлов пришел в себя, Никитин стонал – тонко, продолжительно, и голос его не был похож на человеческий.

Прижимая к себе онемевшую левую руку, Жезлов склонился над ефрейтором.

Тот смотрел широко раскрытыми глазами, и в них отражались всполохи ракет.

– Ты?.. – вдруг чуть слышно спросил слабым голосом Никитин. – А мне, брат ... живот распорол... Вот, вишь, опять невзначай... Ты напиши... В Ярославль... – он не договорил, судорога встряхнула его тело.

Жезлов выпрямился на негнущихся ногах и пошел прямо к чёрному горбу бруствера. Кто-то подхватил его, он почувствовал, как его осторожно спускают вниз, кладут на носилки и несут, несут по узкому коридору. Он думал, что умирает, – слишком уж мутилось сознание. Когда эта мысль осветила его мозг, он испугался. А документы?! И, превозмогая боль и усталость, свинцом налившую голову, он вскочил – нет, сполз с носилок, встал, опираясь о чьё-то плечо, и, как был непокрытый, с диким огоньком в запавших глазах, с кровоточащим свежим бинтом на левой руке, прихрамывая, вошел в низкую дверь блиндажа.

Скорее угадав, чем увидев, знакомое напряженное лицо с усталыми внимательными глазами, Жезлов вытянулся и, обрывая пуговицы, достал из-за пазухи клеенчатый сверток.

– Товарищ майор! Разрешите доложить: задание выполнено!.. – отчеканил он в настороженной тишине. Впрочем, так ему только казалось. На самом деле голос его был тих и хрипл, и говорил он с большими паузами. Жезлов подал сверток майору и прислонился к стене, слушая всплеснувшийся гул голосов. Сквозь синеватый туман, заволакивающий блиндаж, он видел расплывающиеся лица, ощущал рукопожатия, но всё это казалось призрачным. Ноги ослабели. Он медленно пополз вниз, мучительно думая, что сделал ещё не все, и напрягая поэтому свою память. И опять зарница вспышкой озарила его мозг, и он уперся ногами в пол.

– Никитин!.. – сказал он. – Его вещи... Где?

Через десяток минут Жезлов сидел на нарах в большом пустынном блиндаже, освещенном двумя светильниками – стаканами медных артиллерийских гильз. Черноусый старшина положил перед ним тугой новенький вещмешок и поблескивавшую коричнево-красным лаком полевую сумку. Старшина с минуту следил за движением руки Жезлова, потом перевел глаза на его лицо и, шевельнув усами, сказал:

– Вот... Все никитинское хозяйство!

Жезлов кивнул. Морщась, он отодвинул в сторону тяжёлый вещмешок и поднял сумку.

– Понимаешь, он просил написать... жене... – соврал почему-то сержант и потянул за ремешок. Старшина понимающе кашлянул и, помедлив, направился к двери.

Он стоял и курил у входа, слушая окопный шум. Мысли его были самые обыкновенные: сейчас надо будет написать рапортчку о наличии активных штыков, вычеркнуть из списка Никитина, Пашкова и ещё шестерых, собрать их вещи, сдать на склад и... Необычный звук, донесшийся из блиндажа, поразил его. Бросив окурок, старшина толкнул плечом дверь.

Жезлов сидел за столом по-прежнему. Перед ним валялась пустая баклажка, а в быстро сохнувшей лужице спирта мокли старые письма и тёмный прямоугольник фотографии. Поодаль, на сухом месте, – четвертушка бумаги. Узловатая, подрагивающая рука Жезлова водила по ней карандашом, оставляя кривые строчки.

Старшина остановился за спиной Жезлова. Взгляд черноусого упал на фотографию очень миловидной молодой женщины с большими выразительными глазами. Внизу, по белому обрезу, наискось расплылась фиолетовая строка: «Родному Саше. Маринка».

Жезлов поднял тяжелую голову и так посмотрел на старшину, что тот недоумённо пожал плечами и отступил к стене.

Мотнув головой, словно от приступа зубной боли, Жезлов вновь склонился над заскрипевшим фанерным столом. И еще раз странный звук, вырвавшийся из горла Жезлова, услышал старшина. Будто кто-то крикнул сквозь сдавленное цепкими пальцами горло, да и смолк...

Вновь побежало по бумаге ломкое острие карандаша. «...Со мной, Марина, всё в ажуре, продолжаю бить фрицев. И спешу сообщить, что лично знакомый тебе Алексей Ни-

китин, выполняя задание командования, нынешней ночью был тяжело ранен и умер на моих руках... Перед смертью он просил сообщить тебе, что умер как солдат. О чем я и пишу.

А если от меня долго не будет вестей – знай, что предстоит очень серьезное дело, при котором писать не будет возможности.

Желаю хорошей жизни и удачи. И помни, что еще есть на свете окопник по имени Сашка Жезлов...»

Карандаш с треском обломился, стол качнулся, и язычки пламени замигали над гильзами. Жезлов поднялся, взмахнул здоровой рукой, как птица подбитым крылом, и медленно начал валиться на спину...

Когда санитары унесли Жезлова, старшина сгреб со стола бумажки и сунул их в полевую сумку. Взяв полотенце, он начал вытирать стол и, шевеля расчесанными усами, проворчал:

– Чудак!.. Сил нет, а взялся письмо писать... Придется, видно, мне извещать жинку Никитина. Куда ж от своей доли деваться?.. Охо-хо!...

Любка-санинструктор

(рассказ)

Новый день начался дождем, прямым, сплошным и спокойным. За его мутным занавесом скрылись лохматые ракиты, поднявшиеся над косогором, по вершине которого тянулась немецкая траншея. Из седого зыбкого тумана выступали темными пятнами сгоревшие вчера танки. Оттуда еще острее тянуло тяжелым запахом – так пахнет только жжёное железо.

Булькала вода – ржавая, грязная, она стояла на дне траншеи. Любка поежилась от озноба и, пряча лицо от холодных брызг, надвинула капюшон плащ-палатки до самых бровей.

Со вздохом посмотрев на свои начищенные сапоги, она решительно ступила в ближайшую лужу и захлюпала вдоль траншеи. Где-то там находится блиндаж командира роты Воронова, и Любке надо было доложить ему о своем прибытии.

Из щелей и ниш доносился густой кашель, кто-то мурлыкал песенку. Солдаты молча провожали взглядами маленькую Любкину фигурку и равнодушно позёвывали – мало ли по траншее санитарок ходит.

Скользя по глинистому грунту, цепляясь рукой за осклизлые выступы, Любка шла уверенно, словно была уже в этой траншее неоднократно. Но, пройдя еще метров сорок, она остановилась. Здесь траншея разделилась на две. Мысленно обозвав себя дурёхой, Любка наугад повернула вправо. Здесь было безлюдно, и несколько минут спустя Любка уже решила возвратиться назад, к развилке, но, увидев низкий вход, завешенный плащ-палаткой, направилась к нему. Голоса, донёсшиеся до её слуха, заставили её осторожно откинуть край плащ-палатки. Она сунула голову и тотчас же отшатнулась.

– Черти! – прошептала Любка. – Любовь крутят. Нашли время!.. – Она уже намеревалась с шумом войти в блиндаж, но в это время несколько санитаров вышли из-за поворота траншеи с носилками и узлом.

– Эй! – окликнул кто-то из них Любку. – Без стука не входить. Он те, начмед-то, всыплет!..

В блиндаже раздался шорох, и плащ-палатка откинулась. В проёме появилось свежее, очень миловидное женское лицо. Большие голубые глаза на миг задержались на Любке и перекинулись на санитаров.

– Почему долго? – недовольно спросила женщина.

– Старшину ждали, товарищ младший лейтенант! – Санитар постарше опустил узел.

– Ждали... – с тем же недовольством продолжала незнакомка. – Сидели да раскуривали. Ладно, идите на капе

батальона... А вам что? – Вопрос относился к Любке. Незнакомка вышла из блиндажа и оказалась очень стройной молодой женщиной в щеголеватой офицерской форме. Из-под её пилотки выбились светлые волнистые волосы, и она небрежным жестом поправила их.

«Как у Любове Орловой. Красивая!» Однако, вспомнив увиденное, Любка нахмурила рыжие бровки и отрезала:

– Мне нужен командир третьей роты Воронов. Где его найти?

Младший лейтенант смерила Любку взглядом и сухо ответила:

– У себя в роте. Вот, идите за Старцевым, он покажет!.. – Круто повернувшись, она исчезла в блиндаже.

– Кто эта блондинка? – спросила спустя минуту Любка, шагая за провожатым – пожилым санитаром.

– Жена старшего лейтенанта Воронова... – Старцев почему-то крикнул.

– Фью... – присвистнула Любка. – Ловко!

– А что?

– Да так... Искала мужа, наткнулась на жену.

– Жена... Я на его месте... – Старцев вновь крикнул и, не договорив, остановился. – Мне дальше. А блиндаж Воронова – вон там, за поворотом.

Когда Любка спустилась по крутым ступеням, ведущим в блиндаж, она с минуту вглядывалась в полумрак и, приглядевшись, увидела нары, стол, несколько спавших солдат и двух офицеров. Не угадав, кто из них Воронов (наверно, брюнет, подумала она), Любка доложила о своем прибытии черноволосому офицеру.

– Ну что ж, – сказал брюнет, обращаясь к товарищу, – нашего полку прибыло. Ты, Воронов, прими товарища Любу. У твоего старшины есть куток. Ей места там хватит. А я пошел к комбату. Небось клянёт меня... – Брюнет накинул

плащ-палатку и вышел. Любка смутилась – опять обмишулилась.

Старший лейтенант неторопливо свернул карту, сложил в полевую сумку карандаши и целлулоидный транспортёр, щёлкнул кнопками планшета и только тогда спросил:

– Воевала? Ранена? Где?..

– Воевала под Новороссийском, Абинской, Крымской... Там, под Крымской, и была ранена.

– Ага! – Воронов кивнул. – Так вот, слышала, что адъютант комбата сказал? Сейчас старшину вызову... Петров! Бегом за Грозовым!

– Есть за Грозовым!

Лежавший на нарах солдат встал и направился к выходу. Пока он ходил за старшиной, Воронов более не проронил ни слова, и Любка достаточно хорошо рассмотрела своего командира.

Любке редко нравились люди с первого взгляда. Она знала, что ошибиться можно запросто. Но этот офицер сразу внушил ей доверие и несомненную симпатию. Впрочем, возможно, в этом сыграло свою роль то, что она увидела там, в блиндаже начмеда. «Дура! – безапелляционно решила Любка о жене Воронова. – Тьфу!» – Любка, забывшись, и в самом деле плюнула. Воронов удивленно вскинул широкие брови.

– Это по какому поводу?

– Так... – смешалась Любка и покраснела.

– Так и прыщик не вскочит, – Воронов усмехнулся.

И только сейчас Любка увидела под его глазами синеватые тени.

Вернулся Петров в сопровождении старшины – черноусого мужчины со шрамом над клокастой бровью, и Любка пошла вслед за ним обживать своё убежище. Выглядело оно неплохо: обшито фанерой, пол устлан досками. Лучшего Любка и желать не могла.

Старшина, дымя самокруткой, молча подождал, пока Любка устроила постель, разложила на столике медикаменты, и только после этого он сказал:

– Ты, дочка, вот что: приглядывай за командиром роты... Ну, в смысле постирать и так далее. Подворотнички там, носовые платки...

– Это почему? – взъерошилась Любка. – Если я санинструктор, значит...

– Тю!.. Забалабонила! Не санинструктор, а женщина, ясно? Себе будешь стирать, вот заодно... – Старшина досадливо крутнул головой.

– Никаких стирок. У него жена на то есть! – отрезала Любка.

Старшина потоптался на месте, покрутил ус и молча вышел.

Дождь лил по-прежнему. Его капли барабанили по брезенту, прикрывающему вход, где-то журчал ручей. На правом фланге изредка постукивал пулемёт – глухо, как в подушку...

Вторая половина дня прошла в хлопотах. Любка наводила в роте порядок. Старшина только побряхтывал от досады, но беспрекословно выполнял все требования ротного санинструктора: вызвал парикмахера, собрал грязное белье, выдал солдатам по куску мыла и сделал еще десяток разных дел. И уже под самый вечер, когда Любка решила уснуть, к ней пришел Воронов. Застигнутая врасплох, Любка накинула на голые плечи палатку и поджала ноги на своем узком ложе. Воронов, не замечая смущения санинструктора, присел у входа в уголке и закурил папиросу.

– Я на минуту, – начал он. – Это все хорошо: «Чистота – залог здоровья. Мухи – переносчики инфекции. Вошь – наш враг»...

Любка не выдержала и засмеялась. Воронов тоже усмехнулся.

– Ладно, – сказал он, – я в медицине не силен. Однако

вот что: с утра проверьте наличие санпакетов и постарайтесь получить недостающее количество.

Любка вспыхнула – именно об этом она и забыла. Прощапила!..

– Еще одно: вместе со старшиной соберите у солдат противопридную жидкость. Знаете такую? Ну вот. Есть случаи – пьют ее славяне. Нашлись химики и опыт свой распространили среди других. Этак мы без боя можем людей лишиться.

– Хорошо, товарищ старший лейтенант! – Любка поежилась от сырости и подхватила сползавшую с плеч палатку. – Да, – вдруг вспомнила она слова старшины, – вы завтра мне подворотнички оставьте... Я их выстираю.

Воронов внимательно посмотрел на Любку.

– Это кто ж распорядился? Старшина небось?

– Нет, нет, я сама... Я же вижу...

– Плохо!.. – Воронов нахмурился. – Ежели вы видите – плохо. Виноват, исправлюсь. – Он ухватил пальцами замусоленный подворотничок и с треском оторвал его. При этом он зацепил верхнюю пуговицу, и она со звоном покатила по полу.

– Вот тебе и на!.. Нашел работу! – Воронов пожал плечами, пытаясь застегнуть ворот гимнастерки.

– Эх вы, безрукий! – засмеялась Любка. – Кто теперь пришивать будет?

– Ординарец. Кто ж еще?

И тут Любка не удержалась:

– А жена для чего? Для мебели?

Воронов поднял голову. Его глаза встретились с Любкиными. Губы старшего лейтенанта шевельнулись, видимо, он хотел что-то сказать – злое и едкое, но промолчал, потому что Любка, забыв о смущении, соскочила на пол и сунула босые ноги в сапоги.

– Давайте-ка я пришью. Разве мужики на это способны?

Горе с вами! – Её руки быстро прихватили ниткой отскочившую пуговицу. – Только в следующий раз не приходите, когда я ложусь спать. – Любка зябко повела плечами и мальчишеским движением поддернула сползающую юбку. Струя холодного воздуха потянула из двери. Любка повернулась и увидела младшего лейтенанта с узкими погончиками – жену Воронова.

– Валентина? – удивленно сказал Воронов.

– Как видишь. – Вошедшая мельком окинула взглядом Любкино жилище. – Извини, что помешала... Извините! – подчеркнуто вежливо, с иронией сказала она Любке. – Я уведу от вас на несколько минут мужа.

Любка, поспешно натягивая для чего-то гимнастерку, растерянно посмотрела вслед вышедшим.

– Дура я! – опять выругала она себя. – Эта Валентина еще бог знает что подумает. Всё-таки жена...

Однако злость – почти беспричинная – заставила её довольно усмехнуться. Подумаешь! Сама с начмедом целуется!.. И Любка, загасив моргас, вновь разделась и уснула сном праведницы.

А Воронов шел с женой, посвечивая под ноги фонариком, и молчал. Говорила Валентина. И говорила она обычные бабьи слова, глупые, но поэтому особенно едкие и обидные, от которых хотелось ругаться. Однако он молчал и только поскрипывал зубами, когда уж очень хотелось выругаться.

– Скажи кто другой, я бы никогда не поверила, – говорила Валентина, – но я сама убедилась сейчас... Пользуешься своим положением? Какая-то рыжая девчонка, дрянь, полковая девка...

– Перестань! – морщась, словно от зубной боли, сказал Воронов. – Ну, перестань. Смотри – она за тебя мне пуговицу пришила...

– Ах, вот что?! Позволь спросить: она за меня будет и другие женские обязанности исполнять?

Воронов не выдержал и вполголоса выругался.

– Иди, – сказал он. – Иди! Если не хочешь услышать неприятности!

– Уйду... Только вот что: переведи свой аттестат на маму. Хорошо? Ты же обещал! Сестренка твоя взрослая, вот-вот замуж выскочит, зачем ей аттестат? А маме моей – большая помощь!

– Иди, сделаю хоть маме, хоть дяде, хоть черту!

Валентина остановилась и неожиданно засмеялась.

– Верю! Ладно, ухожу... Ох и разозлился ты! – Легкой походкой она пошла прочь. Воронов посвечивал ей фонариком и, когда затихли её шаги, с размаху влепил кулаком в глинистую стену траншеи.

А между тем над этим залитым дождём участком земли, над сидящими в траншеях и блиндажах людьми, над Вороновым и Валентиной, над Любкой и другими нависала тяжелая, посверкивающая огнем туча. Её край накатился в тот самый день, когда в роту Воронова пришла эта рыженькая казачка с Кубани, сержант санитарной службы Любка Гриценко. Всю ночь туча висела над траншеей, ниже и ниже опускались её свинцовые клубы. Когда на востоке за черными силуэтами деревьев только-только проклюнулся розоватый язычок зари, туча ухнула и высекла первую гремучую и ослепляющую молнию...

Воронов проснулся оттого, что кто-то ударил его по темени чем-то чугунным. Он открыл глаза, и первым, что отчётливо восприняло сознание, были бревна наката, с треском валившиеся с потолка. Потом мрак, пыль, грохот, стоны сопровождали его до тех пор, пока он на ощупь выбирался по ступеням вверх.

Над землёй повис железный гул. Но самого поля не было видно – стена огня и земли, изрыгающая осколки, заслонила и дальние ракитки, и силуэты танков. Пронзительно пахло гарью и пороховым чадом.

Удар сотен артиллерийских стволов сделал свое дело. Бруствер был смят, разбросан страшной силой рвущегося железа. В осыпавшихся ячейках у искореженных пулеметов лежали мёртвые пулеметчики. Стрелки втискивались в уцелевшие ниши и щели, стараясь укрыться от жужжащих осколков.

Нахлобучив первую попавшуюся под ноги каску, Воронов позвал ординарца. Но вместо него откуда-то вывернулась Любка – бледная, с расширенными глазами, теребящая санитарную сумку. Она что-то кричала и показывала в сторону немецких траншей. Воронов посмотрел и закричал, сразу сорвав себе голос и забыв об ординарце:

– По местам!.. Гранаты к бою!

Кучка грязных солдат рассыпалась вдоль траншеи. А со стороны поля приближался железный лязг. Там широкой дугой шли танки и бронетранспортёры. Позади них бежали цепи атакующих автоматчиков.

Стена взрывов перекатилась за спины солдат Воронова, и очевидность неизбежного холодком прошла по спине старшего лейтенанта. Правда, он еще надеялся на то, что комбат сейчас тоже видит это и что он уже требует огня и подкреплений. Но когда слева, оттуда, где был капе батальона, прибежали бледные, растерянные бойцы, неся на руках окровавленного брюнета – адъютанта комбата, Воронов понял, что теперь уже надеяться не на кого. «Вот, ведь говорил, что разведка боем нужна позарез... Нет, не решились. А теперь – как снег на голову...» – мелькнула и погасла мысль у Воронова. Погасла потому, что думать не осталось времени. Танки вползали на бруствер...

Когда ударили первые залпы, Валентина открыла глаза и увидела возле себя спокойный мужской профиль.

– Боря, проснись!

Борис сквозь сон улыбнулся голосу Валентины и вдруг,

приходя в себя, сел и прислушался. Лицо его, смуглое от природы, посерело.

– Одевайся! Быстро!.. Это артподготовка... – Звонящий звук близкого разрыва заглушил его голос. – Черт, проспал... Я же просил разбудить меня рано утром!

– Да еще утра нет!

Над ними затрещал накат, посыпалась земля. Натягивая сапоги, мечась по блиндажу, майор искал пистолет и не находил его. Одевшаяся Валентина вытащила кобуру из-под набитого сеном мешка, заменявшего им подушку. – Вот он, Борис!

Борис нацепил кобуру, кинулся к двери. Валентина повисла у него на плече.

– Куда? С ума сошел! Сейчас раненые начнут поступать! Товарищ начальник медицинской службы! – последнюю фразу Валентина выкрикнула дрожащим от обиды голосом, и это остановило Бориса.

– Прости... нервы...

Они забились в дальний от входа угол, боясь выбраться наверх, где творилось невообразимое. Они сидели до тех пор, пока с треском не оборвалась на двери плащ-палатка. Старцев с санитарями втащили бесчувственного, наспех перебинтованного человека. Это был комбат. А следом в дверь вползали новые и новые люди, бледные от пережитого и боли.

Майор набросил халат на плечи и встал у стола, где Валентина уже зажгла фонарь.

– Шприц!..

Старцев и Валентина потянулись за инструментом. Засучив по локоть рукава, майор склонился над комбатом.

Вверху неправдоподобно близко пролязгали гусеницы и раздалась автоматная очередь. Кто-то рухнул и покатился по порожкам. Чей-то крик резанул слух притихших людей:

– Немцы!..

Немцы вслед за танками прошли до траншеи Воронова. Машины здесь не задержались, они сделали свое дело и устремились дальше, встречаемые разрозненным огнем уцелевших противотанковых батарей. Автоматчики прыгали в полупустую траншею и то здесь, то там схватывались в рукопашной. Четыре на одного – вот что успел сообразить Воронов, отбиваясь от наседавших длинной саперной лопатой. Любка стреляла из пистолета в прыгающих сверху. Какой-то раненый солдат, лежа на спине, бил по брустверу из автомата, и оттуда падали, раскинув руки, убитые немцы.

Им удалось на какое-то мгновение остановить автоматчиков. Бросив переломленную лопату, Воронов скомандовал:
– Назад, во вторую линию!

Подхватив с земли автомат, он длинной очередью прикрыл небольшую группу своих бойцов и юркнул за поворот траншеи как раз в тот момент, когда сверху упали сразу две гранаты. Отплевываясь от грязи, поднятой взрывами, Воронов бежал вдоль хода сообщения, слыша за собой топот Любки.

– Беги! – крикнул Воронов. – Слышишь? – А сам рванулся вправо, туда, где находился блиндаж Валентины. Однако Любка последовала за ним. Путь им преградили трупы. Воронов вскинул автомат – у входа в блиндаж стояли немцы и полосовали дверь очередями. Воронов выругался и нажал на спуск...

...Когда Борис, Валентина и Старцев бросились к дверям, они услышали окрик:

– Хальт! Хенде хох!

Старцев ответил на крик очередью, и за дверью кто-то охнул. Затем затрещали автоматы. Пули высекали синие искры из стен, градом били по ступеням. Одна из них прошла Старцева, и он упал лицом вниз. А потом они услышали голос Воронова и, перепрыгивая через ступени, бросились наверх.

– Вовремя успели!.. – прокричал Воронов и, поддерживаемый Любкой, тяжело побежал за Валентиной и Борисом. Они добежали до минометных окопов. Здесь Воронов остановился, тяжело переводя дыхание.

– Дальше пойдем по верху. Там кустарник, а чуть выше – лесная балка. Уйдем, ни черта!..

Они вползли на бруствер и через минуту уже пробирались сквозь гущу колючих зарослей боярышника. Им оставалась еще сотня метров – по ложине, среди поредевшего кустарника, и они уже выбрались на её густую, наполненную холодной влагой травку, когда слева, не замеченный ими, выкатился, пятясь, танк. Люк на его башне был открыт, и танкист, высунувший голову, увидел бегущих.

Башня быстро развернулась, и орудийный хобот качнулся, целясь своим чёрным зрачком.

– Ложись!..

Это крикнула Любка, первой заметившая опасность. Дёрнув Воронова, она упала в траву, увлекая за собой лейтенанта. Гулкий треск, раздавшийся почти рядом, опрокинул на них небо...

Вновь развернув башню, танк начал пятиться. Однако вслед за тем броня его лопнула, с визгом пронеслись обломки рваного металла, и танк замер, выбросив в небо черный султан тяжелого дыма... И не только этот танк, но и другие в эти минуты остановились, запылали, из люков горохом посыпались обожженные танкисты, а по ним часто-часто били автоматы и пулеметы... Та скоротечная, но ожесточенная схватка, которая произошла в траншее Воронова, тоже сделала свое дело, и теперь солдаты второй линии поворачивали прорвавшегося врага назад.

Но всего этого не знали ни Любка, ни Воронов, ни Валентина. Майор же исчез. Там, где его застиг разрыв снаряда, осталась небольшая, с рваными краями воронка. Остальные

лежали без движения, постепенно возвращаясь к мысли, что они живы, что над ними серое, хмурое небо и что на этот раз все обошлось, а могло быть хуже...

Впрочем, так думала одна Любка. Воронов же сначала думал другое – почему это не его, а майора убило, потом он ужаснулся – почему так мертвенно бледна Валентина, что с ней, он хотел тронуть её, растормошить, но с удивлением убедился, что не может сделать ни малейшего движения, и от этого застонал. А Валентина, чувствуя удушье и ощущая, как чья-то безжалостная рука сжала её легкие, затухающим сознанием поняла, что ранена в грудь, что у неё пневмоторакс и, если сейчас не наложить на рану повязку, она может задохнуться... И ей было всё равно – умрет она или умрет лежавший рядом Воронов, чей локоть уперся в её бедро.

И только Любка, оглохшая, со звенящей болью в голове, соображала, что лежать им здесь нельзя; чего доброго, фрицы откроют огонь или снова пойдут с танками и добьют их, а поэтому надо уходить куда-нибудь в ближайшее укрытие. И ещё она обругала себя за то, что где-то утерья санитарную сумку и перевязку нечем делать, кроме как своей нижней рубахой или даже гимнастеркой.

Придя в себя окончательно, Любка сбросила гимнастерку, разорвала нижнюю рубаху и, помогая себе острыми зубами, начала перевязывать Воронова. Однако, заметив на груди Валентины кровь, подползла к ней и, плача и приговаривая, туго перетянула ей кровоточащую под самым соском левую грудь. Потом она наложила жгут на руку Воронова, еще раз осмотрела его и опять заплакала, потому что от рубахи остались обрывки, а у Воронова осколок пробил навылет правый бок. Тогда она разорвала и гимнастерку, кое-как приладила повязку и осмотрелась. Балка лежала где-то впереди, но тащить двоих Любка не могла, значит, надо было нести их поодиночке.

Когда Любкины руки приподняли Воронова, он скрипнул зубами от боли и только прохрипел:

– Её...

Любка, проклиная всех на свете фашистов, взвалила на свою голую спину беспомощную, теряющую сознание Валентину и потащила её поперек лощины, к балке. Пот заливал Любкины глаза, она задыхалась, в голове неумолчно звенели тоненькие звоночки, но она шла, спотыкаясь и приговаривая:

– Потерпи, потерпи, миленькая, сейчас, родненькая, сейчас, всё будет хорошо...

Оставив Валентину под темно-зеленой, со срезанной верхушкой елочкой, Любка вернулась опять, не замечая, что по лощине уже бьют минометы, что пули стелются низко, над самой травой, срезая влажные былинки и белые ромашки.

Воронова она уже не смогла нести и поэтому тащила его волоком, оставляя неширокий темный след в поникшей траве. И ему она говорила то же, что и Валентине, и даже целовала его в холодные запёкшиеся губы, потому что он стонал от боли, а она очень хотела скорее вынести его из этой проклятой лощины...

А когда из балки поднялись вслед за молоденьким лейтенантом такие же молоденькие бойцы, они остолбенели, удивленные тем, что увидели.

Под елкой лежали раненые офицеры – мужчина и женщина, их непокрытые головы покоились на коленях растрепанной полуголой рыжей девчонки, которая сама была без сознания и удерживалась сидя лишь потому, что прислонилась спиной к одинокому гладкому, как череп, валуну.

Когда солдаты подошли поближе, девчонка очнулась и огромные глаза ее наполнились слезами.

– Миленькие, – сказала она, – миленькие, скорей! Я уже больше не могу, миленькие... Скорей!..

НИКОЛАЙ **РОДИЧЕВ**

Алимушкины полушубки
Яшка и его отец



Алимушкины полушубки

(рассказ)

Случалось это в предзимье. Застуденит с тонким при-
свистом сиверко, прикоржавят осклизлые проселочные
тропы, задернет морозец мохнатым ледком копытные сле-
ды, а иногда и первым снежком тряхнет сверху – в эту пору
появлялся в нашей деревне гость. Был он уже немолод, су-
туловат, ходил вприпрыжку, с подволоком левой ноги, пе-
ребитой на японской войне. От прочих пожилых людей в
округе отличался тем, что сам себе укорачивал бороду и
носил очки.

Все его звали Алимушкой и не помнили отчества. Ни-
кто не знал, сколько ему лет, откуда родом, где пропадает
до холодов. Хорошо известно было лишь то, что Алимушка
немало годков оттрубил в царской армии. В японскую войну
под Мукденом был тяжело ранен и получил Георгиевский
крест. После излечения в госпитале уже не мог возвратиться
в строй и остался в родном полку портным.

Старик любил, когда его называли солдатом или просто
служивым.

В деревню гость предпочитал заходить без провожатых,
от случайного попутчика освобождался хитростью: притвор-
ится усталым или свернет в ярыжек по нужде.

Особая радость звучала в голосе отставного воина, когда
он, опершись на клюку и сбросив под ноги холщовую ко-

томку с инструментами, певуче возвещал от крайней избы о своем приходе:

– Полушубки!.. Эй, кому шить полушубки!..

Занятые нескончаемыми докучливыми заботами, сельчане за летнюю страду успевали забывать про швеца. Но, будто по команде, хлопали калитки, со скрипом распахивались двери. Одетые наспех, а то и босиком, чтобы не отстать от сверстников, мальчишки высыпали на дорогу, и крикливый их табунок окружал пришельца.

– К нам, дядя Алимужка! Нет, к нам... к нам!

Швец неторопливо развязывал котомку и одаривал детей тульскими жамками, которые, как и все его вещи, пахли овчиной. Потом он в окружении ребятни обходил изогнувшуюся по взгорью кривую улицу, останавливаясь у каждой избы. Кому степенным поклоном, а кому и соленой прибауткой он отвечал на приветствия. Успевшие принарядиться – мужчины в новых рубахах, женщины в цветастых полушалках – на разные лады шумели у распахнутых дверей:

– Не обойди мово двора, куманек!

– Заждались тебя, Алимужка!..

Самая расторопная из женщин выносила швецу новый березовый веник. Путник, крякнув от удовольствия, с превеликим тщанием обметал свои лапотки.

– Отлетай, пыль-дорога, у этого порога, а тебе, молодужка, что ни гость, то подмога...

Старый солдат переступал порог и с этой минуты считал свой марш оконченным. У догадливой хозяйки он мог выпить чарку и отобедать, но это не означало, что изба для продолжительного постоя найдена.

Привечать Алимужку считалось большой честью в любом доме. Ради него резали поросенка или барана, гостю стелили лучшую постель. Домочадцы наряжались по этому

случаю в праздничные одежды, а сама хозяйка развешивала по стенам вышивку. Гость не брезговал принять в дар пару чистого белья, не отговаривал, если добрые люди топили для него баньку.

За право приютить у себя швеца шли раздоры. Но Алимушка предпочитал выбирать себе место для работы сам. Чаще всего это был дом моего деда Данилы – человека чудаковатого и беспечного, любившего прихвастнуть, крепко знавшего свое плотницкое ремесло.

Сразу после молотьбы дед Данила выдалбливал в земляном полу избы три глубокие ямы, закреплял в них рядок толстых кругляков. Затем настилал на этих кругляках подобие нар или помоста. Для работы Алимушке хватило бы и обыкновенного стола, но дед знал: от любопытных не будет отбоя.

Поглядеть на швеца, послушать бывальщину о житье в других селениях, его рассказы о войне сходились и стар, и млад. Поэтому настил из свежих, гладко выструганных досок тянулся через всю избу – от иконного угла до порога. Не было случая, чтобы древний Данила употребил для этого сооружения прошлогодние доски или не обстругал их добела. Нередко гость, чтобы не стеснять хозяев дополнительными заботами о ночлеге, использовал этот помост как исполинскую постель, застлав его овчинами.

Швец приступал к делу не торопясь. Он выпивал рюмочку, сытно обедал, любил даже полежать немного после еды. Не обращая внимания на публику, которая к вечеру постепенно заполняла богатырское застолье, Алимушка размашисто крестил лоб, со строгим выражением лица сотворял шутливую молитву:

*Поклон тебе, боже,
За добрые кожи,
Божьему сыну
За мягкую овчину,*

*Хозяину за привет,
Хозяюшке за обед.*

Минуту или две он потом прохаживался по избе, не отвечая на добродушные реплики местных остряков. Когда он подходил к столу, лицо становилось одухотворенным, серые выцветшие глаза вспыхивали задорным блеском, как у артиста, готовящегося к импровизации.

Наконец наступала долгожданная минута. Алимужка за-сучивал выше локтя рукава, повязывал через лоб тесемкой волосы, чтобы не спадали на глаза, и небрежно швырял на стол овчину. Резкими, точными, размашистыми движениями он рассекал ее на несколько кусков по известным только одному ему мысленно начертанным линиям. И пускал в ход иглу.

Обычно неторопливый, Алимужка за рабочим столом становился совсем другим. Толстая, сверкающая в неярком свете керосиновой лампы игла описывала в воздухе замысловатые круги, исчезала в густых складках кожи, появлялась вновь. Руки швеца танцевали, кипели над шитвом. Овчина ворошилась, как живая, дышала под этими руками.

На глазах у изумленных, притихших людей разбросанные по столу куски и лоскутья срачивались, соединялись навсегда и в таком порядке, что овчина становилась красивой, ладно сшитой, ласкающей глаз обновкой. Не дай бог, если кто-нибудь в это время кинется помогать Алимужке и в чем-то нарушит строгий порядок на столе. Разве хозяйка догадается чистым рушником отереть повлажневший лоб мастера, да такой заботе своя пора.

Вот, откусив нитку зубами, простукав деревянным молотком швы, Алимужка вскидывал свое детище на руке и щедрым взмахом кидал полушубок по длинному столу. Десятки рук устремлялись навстречу обновке, каждый норо-

вил подержать ее, прежде чем она попадала в цепкие руки заказчика.

Брат моего отца, рослый парень Моисей, не очень сдержанный на слова, как-то сказал, обращаясь к соседу:

– Подумаешь, полушубок! Вот надену – и разойдется по швам.

Эти слова услышал Алимущка. Закончив работу, он подошел к Моисею:

– На, разорви, щенок!

Моисей, покраснев от обиды, стал напяливать только что снятую с иголки одежду. Дед Данила пытался урезонить Алимущку:

– Брось, служивый, с дураком тягаться!

– Рви, если сможешь! – упорствовал швец. – Я плачу за овчину!

Моисей с глуповатой ухмылкой застегнул на все клепушки нарядную обновку и шумно потянул в себя воздух, расправляя плечи. Однажды он согнул на своей груди стальной ломик, но тут, как ни приседал, перекашивая плечи, добиться своего не мог.

– Рвите вдвоем! – подзадоривал Алимущка.

Моисей сбросил полушубок, взялся за рукав. Его ровесник Демьян Сорокопуд схватился за полу. Парни забегали по избе, как бы отнимая полушубок друг у друга, изо всех сил тянули каждый к себе, дергали рывками. Наконец Моисей полетел в угол, к лохани, зажимая в руке кусок полушубка.

Все ахнули: рукав лопнул по целику!

Торжествующий Алимущка тут же притачал новый рукав и, подбросив свое изделие к потолку, крикнул:

– А ну, кто поймает?

Дождлся своей очереди заказчик Савелий Князьков. Он поднес к столу и расстелил перед мастером большую овчину,

которую все время держал под мышкой, скатав ее в трубку. Швец поправил тесемку на лбу и взялся было за ножницы. Но вдруг отложил инструмент в сторону:

– Надсмехаться над своим однополчанином вздумал, Савелий? Ни во что ставишь меня перед добрыми людьми! Овчина-то твоя ползет, как тесто. А одежда готовится не на один год. Не только для сугреву – ради красоты человеку я служу! Не удержит твоя овчина моих ниток – как струны они у меня!

Пристыженный Савелий тут же удалился, позабыв овчину, сброшенную на пол разгневанным мастером.

– Гляди-кось, бабка Алена, швец из твоей овчины черта стачал! – выкрикивал какой-нибудь озорник, чтобы разрядить неловкую обстановку. Из-под вороха порезанной кожи высовывались застежки, похожие на заячьи ушки.

– Цыцте, окаянные! – шумела с печки бабушка. – В урочный час нечистого не гневите... Алимужка – святой человек, безродный кругом... Всеинный он наш, богом для угождения людям послан...

Швец относился к такому заступничеству безучастно.

– Бога не видывал, про черта только слыхивал, а вот домовой мне сродни доводится...

– Ой ли?! – испуганно воскликнула, услышав такое, Настя Бородина, сидевшая поблизости от Алимужки.

– А то как же думаешь: вышел за деревню – и к облакам короткими перебежками? Я в овчинах у вас летом живу на потолке...

Швец, округлив глаза, испытующе уставился на Настю поверх очков.

– Хочешь, крестница, я прилюдно все твои секреты объявлю: сколько ты перемен белья своему суженому приспела, какой узор на свадебной сорочке выбила?..

– А вот скажи! – осмелела девушка.

– Так вот: четыре рубашки, да портов столько же, да онуч тринадцать аршин, да сукна на зипун...

Настя ликующе возразила:

– Ой, обмишулился, папаня крестный! Не в лад сказал!

– Одну-то ты успела подарить тайком от матери и подружек, – не сдавался Алимужка. – Хочешь скажу, как жениха звать?

Девушка, будто поперхнувшись, смолкла. Застолье взорвалось смехом.

– Крой подчистую, Алимужка! До конца говори... И про Евменью рассказывай, и про Катьку.

Рябая дебелия Катька, прозванная в деревне Воеводой, взмолилась сразу:

– Дядечка, милый, обо мне ни слова. Я верю, что ты домовой...

Раззадоренные мужчины кричали:

– И ведьмов наших небось знаешь наперечет?

– С ведьмами я в сговоре, – важно отвечивал швец.

На этот раз вступила в разговор бабка Алена, недовольная отношением самого Алимужки к ее заступничеству.

– Не беда бы в нашей деревне – так он в Сусловке, угодничек божий, ведьмаху завел: к солдатке Домахе пристроился, чаевничать к ней ходит...

Эта разоблачительная фраза, произнесенная хворой бабкой, уже давно не слазившей с печи, подняла на ноги всех в избе. У швеца даже очки свалились с носа от неистового хохота за длинным столом. Он с хрустом перекусил зубами суровую нитку и часто заморгал подслеповатыми глазами. Всем стал заметен испуг, хотя солдатская находчивость тут же пришла ему на помощь.

– Напраслину гнешь, кума, – поправляя очки, заметил он. – Домаха – баба честная, рукодельем ее люблюсь.

– Знаю я Домахино рукоделье! – подливала масла в огонь внезапно поздоровевшая бабка.

Мужики мудрствовали:

– Вот тебе и домовой... А Домахин-то Митька за Настей ухлестывает...

Дед Данила, насупившись, протиснулся к осажденному дружку, однако не затем, чтобы выручить его:

– Ежели на большой привал потянуло, пехота, то у нас и своих солдаток избыточно... Хату тебе всем миром отгрохаем! Петухов я ольховых срукодельничаю поузористей, чем Домаха на холсте...

Алимушка почтительно поклонился деду, сложив руки на груди:

– Каюсь, дорогие! Сдаюсь после жаркого боя... Открыться перед вами желаю...

Когда люди поуспокоились, продолжил:

– Была такая думка у меня... Позиция у соседей ваших приглянулась, окопаться вздумал там.

Дед Данила еще больше помрачнел:

– Это чего же у соседей?

– В коммунию суловцы всем обчеством собираются, одной семьей жить хотят.

– И овчины в кучу свалят? – выкрикнули от порога.

– Все, как есть! – весело блеснул очками швец.

За столом протяжно присвистнули. Дед Данила поскреб в затылке:

– Не пойму, служба, куда ты свою строчку в разговоре повел? Всем миром ладно получается хороводы водить на лугу, а полюшко, тебе не в обиду будь сказано, не овечья шкурка... За хлеб животы люди кладут, самому царю холку намылили.

Швец пожал плечами. Он, видимо, и сам не вполне представлял себе коммунию. Обдумывая свой ответ, он повертел

перед лицом почти готовое изделие и сказал искренне, душевно:

– Ремесло свое хочу обществу доверить, молодых шить научу, а там и в отставку без печали и вздыхания...

...Часто разговор уходил за полночь и прерывался лишь пением петухов или завершением начатого шитва.

Помнится, Алимужка никогда не начинал работу утром. После жаркого шитья, которое подчас продолжалось до полуночи, швец отсыпался, разбросав свои красные, вздрагивающие во сне руки. Женщины подоят коров, истопят печь, соберут на стол. А он все спит. Завтракали молча, переговариваясь шепотом, чтобы не потревожить покой своенравного старика.

Однажды, уловив момент, когда взрослые разошлись по своим делам, я залез к шведу на помост. Захотелось поглядеть на его руки – большие, с тонкими вытянутыми пальцами, пахнущие совсем иначе, чем у всех.

Это было неожиданно и показалось мне страшным. Руки старого Алимужки, те самые руки, веселой игрой которых мы любовались, руки эти были в синих крапинках уколов, будто посеченные дробью. Вдоль большого пальца тянулся свежий, еще не заживший шрам.

Дед Данила спозаранку уходил в свою камору, где стоял его деревянный токарный станок с ножным приводом. Там он мастерил прялки, вытачивал катушки для основы, строгал ножки к столам, делал игрушки маленьким. В избу проникал через сени еле уловимый шумок привода и шелест отлетающей стружки. Но и этого негромкого шума порой было достаточно, чтобы старый солдат с его по-особенному настроенным слухом просыпался. Плеснув себе в лицо холодной воды, он спешно утирался и семенил в каморку. Там он мог часами с детским очарованием

во взоре наблюдать, как обыкновенное березовое полено превращается в узорчатую ножку для прялки, миску или матрешку.

Дед Данила улавливал за спиной восторженный шепоток швеца. Замедлив вращение диска, он снимал с зажимов еще горячую, остро пахнущую березой деталь, кидал ее на руки другу. Если вещица особенно приходилась по вкусу шведу, дед уговаривал взять себе на память. Иногда Алимужка принимал дар, заворачивал деревянную миску или матрешку в кусок овчины, чтоб показать в другой деревне. Он хорошо знал в округе всех рукодельных вязальщиц, удалых медвежатников, пчеловодов, шорников, гордился дружеской близостью к ним, считал своею родней.

Был случай, когда Алимужка встал поутру раньше всех нас. Это произошло в начале марта. К тому времени захожий мастеровой обшил всю деревню и поговаривал о скорой разлуке. Чудаковатый старец мог запросто, втихую исчезнуть, не взяв ни с кого платы за свой труд. Поэтому мужики уговаривали деда присматривать за Алимужкой в последние дни постройке. Они собирались купить шведу в складчину лошадку, чтобы тому легче было передвигаться от села к селу в его подвижнической кочевой жизни.

Поднявшийся спозаранку отец обнаружил лежанку швеца пустой. Не было у изголовья и френча с «Георгием». Отец всполошился. Мы кинулись на розыски. Но тревога оказалась напрасной. Алимужка сидел на крыльце, накинув внапашку свою ветхую одежду.

– Чего всколготились! – набросился он на отца. – Послушайте-ка: весну везут... Отлетает моя пора... Машинами станут шить одежду артельные, как в городах.

По деревне вперемежку с петушиным криком разносился дробный перезвон кузнеца: «Длень-день, де-де-день!.. Длень-день, де-де-день!..»

Все это сливалось в музыку начинающегося трудового дня. Тонкий перезвон металла напоминал колокольчик извозчика, который будто в самом деле вез откуда-то издалека в нашу деревню весну.

– Эх выкомаривает, а?! – шумел старый швец. Он плотнее натянул на плечи армяк и будто прикипел ногами к промерзшим половицам крыльца. – Красив, должно быть, кузнец ваш, если он на наковальне, будто на гармошке, наигрывает!..

Деревенский коваль Аноха Дерюгин был крив на один глаз, страдал от запоя. Хоть и считался он отменным работником, никому в голову не приходило назвать этого страховидного человека красивым.

Лишь однажды я видел Алимущку разъяренным, как-то даже потерявшимся от возмущения. Приглядевшись к молодке, присланной за ним из соседнего села, Алимущка попросил ее показать свою шубейку. Чем-то не понравилась шведу обновка: неровные сборки по талии, уродующая статную фигуру молодой женщины одутловатость на спине.

Чем больше Алимущка разглядывал это изделие, тем сильнее закипала его несогласная со злом натура.

– Швы-то какие, а? Строчку повел аж отседова, стервец! А нитки! Неужто ссучить как следует поленился?!

Подняв глаза на сокрушенную владелицу шубейки, спросил строго:

– Чья работа, сказывай?

– Да нашенский человек готовил, Сутокин. Вдвоем они шьют – с сыном Ермолкой.

– Ермолка у меня в учениках ходил зиму – бездарь! – отрезал Алимущка. – Выгнал я его!.. Так и сказал: «Кру-у-гом! Марш отседова!»

Алимущка без особого напряжения растянул шубейку, и

она расползлась сверху донизу. Это вконец разъярило швеца. Он затрясся весь, ударяя себя в грудь.

– Иуды! – вскричал Алимужка. – Опозорили! Осрамили ремесло наше! На всю родную землю худую весть о швецах пустили!

Работа как-то не давалась ему в руки в этот день. Он часто вскакивал из-за стола, шептал ругательства. Под конец испортил овчину, чего с ним никогда прежде не случалось. К вечеру не выдержал, собрав пожитки, ушел с этой молодой, выпросив для нее зипун у моей матери.

Ходили слухи, что он все же «смерил» вдоль спины незадачливого Сутокина своим березовым аршином, которым брал мерку с заказчиков.

...Умер старый швец в мае, простудившись в дороге под весенним ливнем. Стояла теплынь, когда хоронили его, но кладбищенский холм ярче луговых венков пестрел полушубками.

Дядя Моисей, несший вместе с другими гроб от самого нашего дома, у могилы снял свой полушубок и укрыл им Алимужку.

Как-то мне пришлось побывать в родных местах. Дебелый крест, сработанный из сердцевины дуба моим дедом, за тридцать лет потемнел, покосился, взялся зеленым мхом. Поправляя крестовину, я разглядел на ней все еще заметные выжженные в кузнице раскаленным гвоздем прощальные слова...

В другой раз неожиданная встреча с Алимужкой выпала на ярмарке. Сквозь несмолкаемый базарный говор вдруг прозвучал хриловатый басок:

– Эй, навались, у кого деньги завелись! Полушубки! Алимужкины полушубки!..

В кузове грузовика, заваленного тряпьем, стоял мужчина (не Ермолка ли?), держа на руках одежду из яркой дубленой кожи. Несколько пожилых мужчин отделились от толпы и обступили машину. Шуба оказалась в жилистых руках седоволосого старика, одетого, как встарь, – в кожух и треух. Он долго крутил в руках привычную для него одежду, подслеповато приглядываясь к рубцам, мял кожу между пальцев. Потом молча возвратил продавцу. Уже отойдя в сторону, сказал:

– Шьешь, так шей, как можешь! А чужого имени не замай попусту! Алимужка небось космонавтам одежду мастерил бы, доживи он до наших ден...

И старик поправил на плечах уже выцветший, кое-где залатанный, но все еще ладно сидящий на нем полушубок...

Яшка и его отец

(рассказ)

Когда Сергей вышел из вагона и первый раз вдохнул настоящего степного воздуха, ощущение было такое, что его грубо обманули. По рассказам случайных собеседников, шахтерский край рисовался ему в виде гигантских угольных куч, между которыми с диким воем носятся раскаленные ветры...

На самом деле все оказалось иначе. Погода стояла солнечная, безветренная. От полустанка открывалось широкое, слегка бугрящееся поле. Где-то у горизонта поле было густо опушено темной грядой кустарников, а уже за этой грядой

виднелся некрутой, посеревший от зноя пригорок, застроенный белостенными зданиями. И только за поселком непривычно для глаза захожего человека возвышались две пирамидообразные горы, подернутые легкой синевой.

– Скажите, как добраться к Ново-Троицку? – спросил Сергей у железнодорожника, стоявшего на перроне с вытянутым в правой руке желтым флажком. Проводив строгим взглядом последний вагон отошедшего поезда, железнодорожник улыбнулся:

– На одиннадцатом номере!

Он прищелкнул каблуками и раздвинул свои ноги так, что они стали у него похожи на цифру «11».

– Ни бензина, ни мотора и не дорого, да скоро...

Сергей тоже улыбкой поблагодарил его за такое художественное разъяснение и по-войсковому откозырял.

Легкий чемодан оказался не в тягость. Поглядывая по сторонам, наслаждаясь птичьим гомоном, Сергей бодро двинулся к поселку.

Чуть заметные от полустанка заросли вблизи оказались вовсе не кустами, а дебелыми тополями. Издали виднелись только вершины деревьев, потому что они росли по крутому береговому скату обмелевшей речушки.

На неширокой тенистой пойме Сергей разглядел десятка два коров. Но пастухов собралось, пожалуй, побольше, чем скота. Это было крикливое сборище пестро одетых детей. Мальчишки играли в футбол. Мяч уже не раз побывал в воде, отяжелел и подскакивал с глухим утробным стуком. Дети несмело били по нему испачканными в болотной жиже ногами.

Лишь один мальчонка оставался безучастным к игре. Он сидел между стоек шаткого моста. Свесив ноги над водой, он удил рыбу. На рыболове – короткие неглаженные, сбжавшиеся в гармошку, потерявшие свой первоначальный

цвет штаны из грубого полотна. Майка висела поодаль, на перилах.

Сергей поздоровался с мальчиком, присел рядом. С минуту он тоже следил за поплавком, который приходилось часто подтягивать к мосту, – мелкая речушка была искриста, шумлива. Юный рыболлов не проявил ни малейшего интереса к Сергею. Только на миг он остановил свой взгляд на войсковой фуражке пришельца. Взгляд этот показался Сергею невеселым.

Рыба клевала хорошо. На сработанном из суровой нитки кукане уже сидело полсотни пескарей и плотичек. Время от времени, когда с луга доносился взрыв ликования, рыбацкая оставляла удочку, а сам минуту-другую смотрел в сторону сверстников. Но потом, словно спохватившись, опять подтягивал поплавок ближе к полоске воды, затененной мостом, – там поблескивали, как ножи, стремительные себеля.

– Афонька уже три гола забил, – сказал вдруг мальчонка с завистью.

Эти слова были, конечно, обращены к Сергею.

– Ты-то чего отстаешь? – любопытствовал Сергей.

– А рыбу кто ловить станет?

– Однако ты рыболлов заядлый, как погляжу. Каникулы-то еще месяц продлятся, наловишься...

– Да, еще целый месяц, – согласился мальчик и снова поглядел в сторону ребят. – А сколько сейчас часов? – осведомился он.

– Без двадцати четыре.

– Ого, уже четыре? К пяти нужно домой...

– С такой точностью?

Сергей уже улавливал в словах юного рыболлова какую-то неребяческую собранность, строгость к себе.

– Кто это тебе такие законы устанавливает?

– Тятка, – протяжным голосом пояснил рыболов.

В его голосе на этот раз прозвучала обреченность. Словно почувствовав сам, что сказал постороннему человеку лишнее, мальчик попытался исправить впечатление.

– Да он ничего... Только порядок любит... На рубль наловишь – и гуляй себе!..

– Он что же, не родной тебе?

– Кабы не родной...

Острое детское личико перекосила гримаса. Но мальчик скоро овладел собой. Вздыхнул, больно закусив губу.

Сергей подошел к рыболову и опустил руку на загорелые дочерна плечи мальчика. Кожица на острых лопатках была теплая, тонкая, как у неоперившегося птенца.

– Вот что, малыш, – решительно заявил Сергей. – Как тебя зовут? Яшей, говоришь? Иди-ка, Яша, побегай. А рыбой я займусь!

– Что вы! – испуганно вскрикнул Яша, сбрасывая движением плеч руку Сергея. – Тятка все видит. Во-он его кузница на горе. Глазищи – что твой бинокль! На войне наблюдателем был...

Сергей не понял, гордится мальчик этой особенностью отца или осуждает.

– А если я тебе денег дам? Ну, куплю рыбу, а? Держи-ка рубль и айда к ребятам! Слышишь, зовут.

Горластый Афонька в самом деле в это время дважды выкрикнул имя юного рыболова.

Яша вдруг вскочил на ноги и, взглядевшись в толчею вокруг мяча, закричал звонко, певуче, будто помолодевшим голосом:

– Афонька! Бей подъемом, с левой, с левой!

И он засмеялся, довольный, что Афонька послушался его совета. Но вдруг мальчик снова помрачнел, поглядев за реку.

– Денег тоже нельзя. Тятка не поверит. Скажет, что мелочь зажал...

– Ух ты!..

Сергей ругнулся с досады, хотя ему не следовало дурно отзываться о родителях.

В школе уже знали о приезде нового историка. Мария Герасимовна, седенькая старушка, коротко и неровно подстриженная, с тонкой морщинистой шеей, отвечая на приветствия Сергея, сразу назвала его по имени и отчеству. Это понравилось молодому педагогу.

– Школа у нас, Сергей Мартынович, типовая, просторная, – объяснила Мария Герасимовна. – Только одна беда: нет жилья для учителей. Устраиваемся, кто как может. Много чего запланировано в шахтном поселке, но строители не успевают... Удивляться нечему: прямо под кукурузой уголь нашли. Поселок на голом месте ставят.

Вскоре молодой педагог уже стучался в калитку неотштукатуренного цегляного дома, на повороте с главной улицы. Вышла розовощекая молодка с запачканными до локтей загорелыми руками. Через отворенную калитку Сергей заметил во дворе новое строение.

– Вы от кого? – загадочно спросила она, словно для разговора с ней требовался пароль.

Скрюченными пальцами, измазанными в глине, женщина пыталась загнать под косынку непокорную прядку русых волос, прилепившуюся к полной с румянцем щеке.

– Ищу комнату, – без лишних слов представился Сергей.

Глаза женщины были синими, пронзительными, вприщур.

– Семейный? – в тон ему коротко бросила молодайка.

– Семейный.

Это слово Сергей произнес нехотя, потому что врать не

хотелось, а к откровению женщина не расположила. У Сергея была невеста, которая обещала приехать к нему.

– Н-нет, нема отдельной комнаты, – заявила молодайка.

«Деловая баба, сразу сориентировалась», – подумал Сергей.

Разговор этот повторился и у другой калитки, только с пожилой женщиной.

– Бабушка, – позвал Сергей старуху, вышедшую на середину улицы к водопроводной колонке. – Почему в вашем поселке семейные люди не в почете?

– И-и, голубок, – бойко запричитала старая. – Для семейного подай отдельную хватуру. Он поживет месяц-другой да в Совет пожалуется. А там казенную плату назначат. Нет, голубок, дураков мало на белом свете осталось. Жить люди научились... С холостых иной спрос: он и уголком доволен будет, и спровадить его проще, коли что не так!..

Уже вечерело, когда Сергей завернул в чайную подкрепиться. «Переночую в школе, – решил он по дороге, – или прямо у реки. Там, кажется, стожок сена меж тополей виднелся...»

Ему вдруг захотелось снова повстречаться с тем юным рыболовом, которого он пытался выручить у реки.

Но все обернулось по-иному. В чайную вслед за ним не вошел – ввалился широкоплечий мужчина с колючими бровями, похожими на усы. На голове у него, некстати по летней поре, торчала, еле держась на темной копне волос, шапка-ушанка. На плечах – ватная фуфайка. Мужчина наскоро обвел глазами сидящих за столами посетителей и, не спросясь, опустил на стул рядом с Сергеем. Стул жалко заскрипел под ним.

– Оксана! – позвал пришелец грубовато. – Дай-ка там что-нибудь трудящемуся человеку.

Официантка почти сразу принесла полстакана водки и маленький, скрюченный, похожий на обрубок пальца огурец.

Мужчина, легко подхватив стакан двумя пальцами, опрокинул его. К огурцу даже не притронулся.

Сергей невольно залюбовался огромными руками, которые устало и покойно лежали на столе, занимая добрую четверть площади. Когда Оксана подошла к столу опять, владелец богатырских рук выхватил из верхнего кармана передника бумажку и сунул ее в растопыренную пригоршню женщины.

«Рубль!» – почему-то заметил Сергей. И тут же молодому педагогу вдруг вспомнились слова Яшки: «Чтоб рыбы принес на рубль, не меньше!»

«Шапка» наклонилась к Сергею через стол и заговорила добродушно, весело:

– Рубаем, значит? Хорошее дело... А я – простите за прямоту – слышал, что вы квартиру пристреливаете. Земля слухом полнится, хе-хе...

Они пошли по улице к центру, потом свернули в переулок и, миновав длинную хозяйскую постройку, остановились у высокого кирпичного дома, разместившегося почти у самого подножия террикона. Сергей уже знал, что эта дымящаяся гора вовсе не уголь, а порода. Угля в ней совсем немного.

– Вот здесь мы и заняли позицию, – прогудел под ухом голос кузнеца.

Они с минуту постояли у калитки. И вдруг, как бы сама собою, дверца без скрипа распахнулась перед хозяином. В сторонке от входа, словно прячась от Сергея, замерла женщина в выжидающей позе. Мужчина, широко вышагивая, будто измерял свои владения, прошел в глубь двора.

Звякнул металлический засов, и женщина куда-то исчезла.

Дом как бы рассекался на две неравные части узким несквозным коридором. Большая половина его служила жи-

льем для семьи владельца. В маленькую хозяйин провел Сергея.

Это была настоящая однокомнатная квартира – мечта молодоженов. Плитка, два невысоких столика, широкая полуторная кровать, застланная узорной кружевной накидкой. Сергей не мог скрыть своего удовлетворения.

– Ну, теперь давай знакомиться и торговаться, – предложил хозяйин. – Меня зовут Денис Моисеевич. Двадцать пять рубликов в месяц – и комната твоя.

Сергей решил не торговаться с ним. Денис Моисеевич, услышав о согласии, одобрительно крикнул:

– Капитулируешь, значит, безоговорочно? С хорошим человеком приятно серьезные дела делать.

Пожав Сергею руку, сославшись на домашние заботы, хозяйин вышел. Мощная фигура его мелькнула, словно тень, под окном. Через несколько минут в коридоре снова послышались его тяжелые шаги. Сквозь двери пробился басовитый и уже по-иному звучащий голос:

– Где Яшка?

Отвечала женщина:

– На терриконе он, с кошелкой...

Кузнец что-то проговорил, недовольный. Жена оправдывалась:

– Тяжело ему... А из меня какой помощник?

– Следи, чтобы набирал поменьше, а то заболит, хлопот с ним не оберешься. Да пусть воды в душевую кадку натаскает вечером – квартирант теперь у нас...

Сергей засыпал под звон ведер в саду. Колодец у кузнеца был свой, но мальчик почему-то ходил за водой на улицу, к колонке.

Утром квартирант пробудился от отчаянного крика. Вопил Яшка, истязаемый отцом. Сергей босиком, в одних трусах ворвался в хозяйскую половину.

– Не тронь, негодяй... Драться буду!

Вид у педагога был решительный.

Кузнец легонько повел рукой, и Сергей, наткнувшись на эту руку, ощутил барьерную твердость. Мальчонку все же отец отпустил.

Яшка, глухо всхлипывая и дрожа, уткнулся в коленки матери, сидевшей на табуретке у стола. Сергей с удивлением заметил, что жена кузнеца совсем не старая. Только лицо ее, затемненное тяжелым полушалком, было изрезано редкими глубокими складками.

Несколько дней квартирант избегал встреч с хозяином.

Денис Моисеевич первым зашел в Сергееву боковушку. Он был одет по-праздничному: в длинную расшитую косоворотку, в галифе, в новых скрипучих сапогах. Зашел он, как всегда, без стука, подчеркивая этим свое единоличное право на все, что выстроено его руками за дощатым забором.

– Вот вы заступились за мово мальчонку, – начал он, раздумывая вслух. – Оно с вашей стороны вроде и благородно получилось. Да только по причине нашей излишней жалости к детям сами опосля страдаем... Откуда всякие дармоеды в городах пошли? – спросил он и тут же сам ответил: – От слабохарактерности нашей. За что я, к примеру, свою Яшку наказал? За неуважение к отцовскому слову. Сказано: полная бочка воды должна быть – лопни, а наноси. Есть норма: килограмм рыбы наловить – умри, а выполни. Как оно все пойти могло, если бы мы в войну всяк по себе с немцем воевали?

– А детство, детство? – пробовал усостить кузнеца Сергей. – Вы же калечите душу ребенка! Ему многое просто непонятно, что вы от него хотите. За глоток водки для вас сидит, как прикованный, на мосту... На жаре!.. Потом в чад гоните, на террикон...

Кузнец несогласно мотал головой, сводил в одну лохматую гряду ощетилившиеся, как рыбы плавники, брови.

– У нас был командир батареи. Если, говорит, солдат не нагружен по завязку, сам себе дело найдет... А озорство до хорошего не доводит. Вырастет – дудочки зеленые напаялит, гриву, как у попа, заведет.

Чем больше спорил Сергей, тем отчетливее убеждался в непоколебимости Дениса Моисеевича. Хуже того, хозяин тщился житейскими примерами, грубо выхваченными им из памяти, доказать, что ошибается именно Сергей.

Молодому педагогу вскоре наскучила перепалка с кузнецом. Он даже подумывал: а не подыскать ли другую квартиру? Но борьба за мальчика, который все больше ему нравился, и тайная надежда каким-то образом повлиять на Дениса Моисеевича удерживали его от ухода из дома кузнеца.

Перед началом занятий в школе Сергей перезнакомился почти со всеми жителями поселка. Однажды он спустился из любопытства в шахту. Его пригласили в поселковый клуб прочесть лекцию. Это последнее событие изумило Дениса Моисеевича, который едва ли не в первый раз появился тогда в клубе.

– Складно вы говорили, Сергей Мартынович, – похвалил он квартиранта, назвав его по отчеству. – А так, промежду нами говоря, вы сами-то верите, что через двадцать лет вся наша жизнь переменится?

Сергей заметил в глубоко упрятанных глазах кузнеца насмешку.

– Если говорю, значит, верю... Убежден! – спокойно заявил педагог.

– И я убежден, – поспешил хозяин. – Только как его строить, коммунизм этот?

– Известно как: больше техники, больше материальных благ. А самое главное – в людях. Человек иной нужен, чтобы владеть материальным и духовным богатством при коммунизме.

Сергей чувствовал неловкость оттого, что ему приходится повторять свои мысли, высказанные в клубе и понятые, судя по аплодисментам, всеми.

Денис Моисеевич понял намек. Мотнув головой, он с ожесточением возразил:

– Ошибаетесь, молодежь!.. Не в этом главное. Человек-то сразу переменится – ты только дай ему пожить как следует... Мы в тридцатом с родителем своим чуть слышали про коммуны – и корову, и двух лошадей, и кур даже свели в артельный двор. И землю пахали скопом, и за стол садились рядышком, даже рубахи одинаковые шили, а коммунизма все-таки не вышло!

Кузнец встал из-за стола. Воспоминания о двух лошадях и корове взволновали его. Лицо зарделось, взмокло.

– Не это главное! – рычал, вышагивая по комнате, Денис Моисеевич. – Семья – вот где корень! Если сначала в каждой семье построить коммунизм, тогда только сложи – и всеобщая коммуна получится... Взять, например, меня. Как я приноравливаюсь ко времени? Есть нехватка продуктов у шахтеров – засеваю картошкой да баклажанами приусадебный участок... Вижу, что у государства кое до чего руки не доходят – выбираю уголек возле террикона и в общий баланс пускаю... Выходит полный расчет в доме, по потребности. Вот так. Или же взять, с другой стороны, насчет мяса и прочее. Мне и в магазин-то ходить незачем: своя живность имеется...

– Это еще подсчитать надо, во что обходится ваша живность государству! – протестовал Сергей. – И весь этот ваш домашний коммунизм...

Сергей хватал бумагу и карандаш, покрывал чистый тетрадный лист цифрами:

– Вот ваш кабан: хлеба печеного в сутки три килограмма, пятьсот граммов муки, молочком поите, чтоб сало было мягче. А куры? А корова?

Уязвленный и озадаченный доводами Сергея, хозяин квартиры иногда задумывался, еще реже соглашался.

Единственным результатом таких перепалок пока было то, что Денис Моисеевич стал реже наказывать Яшку. И супруга его сменила драный ватник на новенькую фуфайку. Но и в этом виделась победа.

Чтобы облегчить судьбу Яшки, квартирант сам наполнял водой бочку в саду. Для взрослого человека это не представляло особого труда, тем более что Сергей пользовался душем редко, предпочитая поутру и перед сном освежаться в речушке.

Просыпаясь, квартирант часто замечал на подоконнике тарелку свежих слив. Или гроздь винограда. В комнату учителя Яшке заходить не полагалось. Но он все же переступал заветный порог. Всякий раз мальчик сообщал что-нибудь невеселое, ошеломляющее. Он был по-отцовски невосприимчив к радостям.

– Не верьте тятке... Никакой коммунизм ему не нужен. В поселке его жлобом зовут. У него все от жадности. В кузнице колхозной работает ради земли и сада – тыщи за картошку да за яблоки с шахтеров дерет... И мамку погубил от жадности. Она первой звеньевой в колхозе считалась, а тятка, когда шахту здесь строить начали, запретил мамке в поле ходить. Говорит: уголь выгодней у террикона выбирать. Он и дом поближе к террикону поставил, хоть и воздух чадный здесь. Мамка поначалу не шла за углем – бил! Ой как бил!

Заслышав шорох в коридоре, мальчик метался по комна-

те, словно пойманная в клетку птица. Тоскливо было глядеть на него в эти минуты.

– У меня ведь старший брат есть, Шурик, – как-то заявил Яшка. – В армии служит. Третий год в гости не заявляется. Бойтся. Тятюку все в поселке не любят. Если что – он и украсть может. Мамку-то он украл!.. Она за него замуж не хотела идти, силком, говорят, уволок.

Как-то Яшка пришел с речки пустой, без удочки. Он молча достал из-за пазухи рубль:

– Спасибо, Сергей Мартынович, что выручили. Теперь я богатый. Небось побольше, чем у тятюки, денег у меня...

Он вытряхнул ворох смятых ассигнаций.

– Сейчас же отнеси назад! – строго потребовал Сергей. – Слышишь? Даже думать не смей об этих деньгах. Помни, что мать тоже знает, где кубышка с деньгами, но не трогает. Прибьет тебя отец, как котенка!

– Отец, отец! – с презрением произнес мальчик. – Ладно уж, если вы не велите, назад отнесу... – И вдруг он просиял, заговорив весело, озорно: – А может, мне зажечь курятник?

Глаза его по-прежнему оставались не улыбочивыми. Яшка не всегда перебарывал в себе желание отомстить нелюбимому отцу.

В последнее воскресенье августа кузнец, выгодно продавший на базаре бычка, купил двух поросят. Хозяин допоздна возился в сарае, переделывая и без того прочные засовы. Поросята попались резвые: они носились по просторному сараю, разбрасывая острыми копытцами солому, беспокойно повизгивали и тыкались пяточками всюду, ища выхода на свободу. Кузнец пробовал их кормить хлебом с руки, но животные горделиво отвергали его заботы.

– Яшка! – на радостях заявил кузнец, позвав сына. – Вот этот кабанчик с черным пятнышком под лопаткой –

твой. Выкормишь – на лето путевку в пионерский лагерь куплю...

Утром Сергея пробудили горестные причитания, пересыпанные отчаянной руганью.

– Эй, сосед, сосед! – голосил Денис Моисеевич. – Обворовали нас... Дочиста обообрали!..

Во дворе уже собралось несколько человек. Соседи, со званные кузнецом в свидетели, позевывая и ежась от утренней прохлады, скущаяще глядели в опустевший свинарник. Сергей заметил, что люди вовсе не сочувствуют беде кузнеца. Переговариваясь о чем-то своем, люди молча наблюдали, как кузнец ворошит кучу картофельной ботвы, надеясь отыскать под нею пропавших поросят. И только супруга Дениса Моисеевича беззвучно плакала, то ли по обязанности, то ли в ожидании расправы за недосмотр.

Сергей решил было по зову мятущегося кузнеца идти вслед за ним к реке. Но Яшка тронул учителя за рукав:

– Это я выпустил поросят ночью...

Наступило первое сентября. Яшка пришел в школу в новеньком костюме. Задолго купленный при каком-то случае на вырост, костюм так слежался в сундуке, что казался пережеванным. В этой обновке мальчик выглядел сиротой по сравнению со своими сверстниками из шестого «Б», которые щеголяли в новых форменных костюмчиках и фуражках с лакированными козырьками. Но Яшка не скрывал своего счастья:

– Кончились каникулы! Теперь за мною кроме уроков только два пудика угля. Чепуха!..

Предзимние короткие дни мелькали один за другим, словно кадры захватывающего кинофильма. Педсоветы, кружковая работа в группе продленного дня, встречи с родителями... Сергей возвращался домой уже затемно, когда в хозяйской половине спали. Лишь в сарайчике, освещен-

ном переносной лампой, глухо позвякивал металл. Денис Моисеевич дома обрабатывал заготовленные днем в кузнице поковки. Если бы не ожесточение и недобрый азарт, который овладевал кузнецом во время этих ночных бдений, трудом кузнеца можно было бы любоваться. До чего хороши сработанные Денисом Моисеевичем совки, тяпки, лопаты, замки!.. Пока в поселке не был открыт скобяной магазин, кузнец снабжал этими изделиями всю округу. И после открытия посудохозяйственной лавки заказчики не позабыли дороги к мастеровому, докучали ему неизбывными заботами по мелочам.

Сергей научился, не заглядывая в сарайчик, определять: один возится там кузнец или с мальчиком. Наедине со своей работой кузнец был спокоен, весел, мурлыкал какую-то песенку на манер: «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» При Яшке он часто ярился, кидал в сына грязные слова, недовольный тем, что Яшка без интереса относится к его ремеслу. После памятной стычки с квартирантом и нескольких неприятных объяснений кузнец не решался задерживать мальчика до поздна.

Если после проверки тетрадей Сергея не тянуло ко сну, он выходил во двор и садился на низкий порожек полураскрытой двери сарая. Денис Моисеевич, преисполненный уважения к себе, словно бы не замечал его присутствия. Закончив клепать или обтачивать, кузнец осматривал вещь со всех сторон, чмокал от удовольствия, пробовал на звон и лишь потом небрежно кидал к ногам Сергея.

– Ну, сколько поставишь? – ревниво допытывался мастеровой, добавляя заносчиво: – Свой дневник заведу для оценок!..

Учитель брал в руки ковшик или оконный шпингалет. Обработанные поверхности в полутьме сарая сверкали серебряным блеском, а сам кузнец, победно ворковавший над

кучей овеществленного железа, казался обладателем несметных сокровищ.

«Сколько тебе поставить за все это, неугомонный колдун, человечине со ржавчиной в душе? – думал Сергей. – Пятерку или единицу? На средний балл ты сам, Денис Моисеевич, не согласишься... Научился жить!..»

Правильно решить эту задачу учителю мешало и то, что кузнец сбывал свою продукцию почти по государственной цене. Но копейки своей зато никогда не уступал!

Иной раз казалось, что кузнец, насладившийся досыта серебряным блеском послушного ему металла, громово захочет и по-простецки душевно, как, может быть, случалось среди однополчан, заявит: «Да это же я пошутил, братцы!.. Я вам не жлоб какой-нибудь, перед деньгами на колени становиться!..»

Но что-то мешало Денису Моисеевичу сказать такие слова.

Однажды Сергей застал хозяина за выполнением необычной работы. Денис Моисеевич проткнул стальным пробойцем старую двадцатикопеечную монету и принялся легонько обстукивать ее по внешнему ободку. В грубых иссеченных окалиной руках кузнеца хрупкая монета поначалу сжалась, будто комочек теста, потом стала раздаваться вширь и вскоре превратилась в сверкающее нежным блеском обручальное колечко.

– Заказ чей-то? – со смешанным чувством недовольства и восхищения спросил учитель.

Кузнец, ослабившись широкой белозубой улыбкой, хитровато заметил:

– На базаре два дурака: один продает, другой покупает.

– А если один из них не дурак вовсе? – хмуро уточнил учитель. И, не дождавшись ответа, сказал: – Между прочим, это нехозяйственно – из денег колечки клепать.

Кузнец сделал вид, что не понял намека. Свернув козью ножку и затянувшись самосадам, он завистливо напомнил:

– Замоскворецкие купцы топили ассигнациями...

– Хотите потягаться с купцами? – настраивался на спор учитель.

Кузнец изучающе посмотрел в лицо собеседнику:

– С купцами мне слабо, да и, может, глупо это. А вот поспорить с теми, кто честным трудом да собственным горбом копейку добывает, не отказался бы.

Он подбросил над узеньким верстаком, обтянутым жемчугом, бывшую двадцатикопеечную монету, превращенную в рублевую вещь.

Сергей обронил тяжелые слова, о чем почти сразу пожалел:

– А вдруг вы, Денис Моисеевич, снова станете бедным...

Ну, скажем, как в сорок пятом, когда вернулись из армии с одним вещмешком?..

Кузнец вздрогнул:

– О реформе что-нито слышали?

– Нет! – успокоил его учитель. – Это я так просто... Деньги-то могут украсть... Или сгорят ненароком.

Кузнец сердито зашевелил ершистыми плавниками бровей и швырнул окурок вслед за кольцом за верстак:

– Это все Яшка, стервец. Ну, я его!..

Вопреки увещаниям учителя, кузнец, потеряв всякую бдительность, тут же пошел в курятник и долго копался там, присвечивая себе зажигалкой. Несколько дней он избегал встреч с Сергеем, как с человеком, посвященным в семейную тайну.

Несчастье обрушилось внезапно. Придя из школы, учитель застал кузнеца в неистовстве. Расшвыривая тряпье, хозяин метался по горнице. Сергей на столе увидел записку. Непривычно для Яшкиного почерка в рядок выстроились

решительные слова: «Денис Моисеевич! Не ищи нас. Мы с маманей уехали к Сашке. Насовсем».

– Вы пробовали разыскать их? – воскликнул Сергей.

– Да ищу же вот!.. – ожесточенно бросил через плечо кузнец. Вся его фигура была сейчас обмякшей, жалкой, словно у этого богатыря отняли не деньги, а часть скелета.

«Зачем Яшка унес кубышку со сбережениями отца? – недоумевал Сергей. – Может, бегство с матерью показалось мальчонке недостаточной мстью?»

Отчаянные поиски кузнеца были прерваны стуком в окно. Кузнеца вызывали в поселковый Совет. Вернулся он повеселевшим, выпрямившимся. Смущенно заталкивая на свои места чемоданы, Денис Моисеевич заявил:

– Магарыч с меня полагается, Сергей Мартынович... Полное наличие всей суммы... Яшка на интернат мои денежки хотел пожертвовать, но, поскольку несовершеннолетие у него... Одним словом, придется вас, Сережа, в свидетели звать. За мной бутылка коньяку... Только и делов.

Сергей осторожно посоветовал хозяину:

– А может, вы того... не возьмете деньги обратно?

– Как то есть «не возьмете»? – насторожился Денис Моисеевич.

– Может, это к лучшему все? – не унимался Сергей. – Не получилось у вас домашнего рая на рублях... Сыновья отказались, жена ушла... Да и я в советчики к вам не нанимался. Может, как по-иному попробуете жить? Если так, то я уж съездил бы поговорить с вашими.

Он обвел взглядом разворошенное, захламленное жильё и опять съезжился. Могучие руки его, обхватившие никелированную спинку кровати, конвульсивно сжимались и разжимались, будто кузнец пытался удержать руками что-то важное для него, ускользающее.

– Ну, это ты брось! – враждебно и вместе с тем пугливо

пророкотал он Сергею. – Все, как хотят, живут, а я по-иному? Не хочу... не умею...

Он даже сделал шаг к порогу, чтобы выйти, но, словно засомневавшись или поняв, что идти дальше некуда, вернулся и сел на кушетку напротив Сергея. Они молча глядели друг на друга – чужие, враждебные. Сергей понимал, что Денис Моисеевич действительно не может сейчас жить иначе. Глазами кузнец просил каких-то необычных слов, совета. Сергей не меньше самого кузнеца мучался оттого, что нужных слов не находилось...

ЛЕОНИД **САПРОНОВ**

Родители
Память прошлого
Белая дача



Родители

(рассказ)

Для того, чтобы узнать, как ты выглядишь, не обязательно смотреть в зеркало. Стоило Ане понаблюдать за прохожими, и она замечала восхищенные взгляды мужчин, завистливые лица немолодых женщин, которые косились на ее белое платье.

Девушка была в том возрасте, когда тело только что развилось, окрепло и расцвело, но еще не отвыкло от угловатых, порывистых движений подростка. В тени она казалась тоненькой, хрупкой, почти плоской, а под солнцем ее фигура и голенастые, загорелые ноги снова становились налитыми и округлыми.

Она шла медленно и плавно, иногда ее тугая коса сползала на грудь, и тогда Аня привычно скидывала голову, забрасывая волосы за спину. Сергей плелся позади, придерживал Анину сумочку локтем, смотрел себе под ноги и улыбался.

– Знаешь, Аня, – негромко заговорил он, – сегодня ты мне снова приснилась. Будто стоишь на сцене и распевашь...

– Опять сны! – насмешливо перебила она не оборачиваясь.

– Да я ничего... – спохватился Сергей и умолк.

На перекрестке, у перехода, Аня остановилась, загляделась туда, где сходились два ряда подернутых дымкой зданий, и наконец сказала:

– Все, Сергей. Дальше не провожай. Можешь возвращаться.

Заметив робкий, просительный жест его руки, она забрала у него сумочку и еще тверже добавила:

– Нет, не ходи, не надо. Я не хочу, чтобы отец видел тебя.

Сергей стоял перед ней, понунив голову, и носком ботинка рисовал на асфальте какой-то узор.

– Опять? – Аня указала глазами на его руки. Сергей покорно вынул их из карманов и вздохнул.

– Хочешь, завтра пойдем в кино? – смилостивилась она. Уныние и покорность на его лице сменились робкой надеждой, и тогда она заторопилась:

– До свидания...

– До завтра!

Он остался на перекрестке. Аня знала, что Сергей смотрит ей вслед, что будет провожать взглядом долго, пока не потеряет из виду. Но уже через несколько шагов она забыла о нем, перестала замечать прохожих, задумалась. Размышляла она о жизни, о себе, о своем отце и предстоящем свидании.

Встреча с отцом не радовала Аню.

В детстве она не знала его. Раньше она жила с матерью и бабушкой, сухонькой, доброй старушкой с близорукими глазами, не подозревала о его существовании. И только много позже к девочке пришла не по-детски серьезная и неприятная догадка: ее отец не умер, не убит, он где-то есть и все-таки не вернется к ним. Впервые она почувствовала, что ее жестоко обидели, отняли у нее человека, на которого она имела право.

После войны отец вернулся в город со своей второй женой. Коренастый мужчина в военном кителе, с шелковистыми, светлыми и реденькими, как у новорожденно-

го, волосами назвался отцом и непрошено ворвался в ее жизнь.

Иногда он приходил к ней в школу и каждый раз говорил Ане, словно оправдываясь:

– Был у полковника Синицына, по пути заглянул к тебе. Не помешал?

Она давно не верила в этого полковника, но виду не подавала.

– Нет, почему же... Пожалуйста, – отвечала она отцу и с усилием добавляла:

– Папа...

Отец торопливо расстегивал портфель и вручал девочке туфли или отрез на платье. Начинался разговор «ни о чем», как про себя называла эти беседы Аня: о ее успехах, одежде, новых кинофильмах, о таких мелочах, о которых, как ей казалось, не стоит говорить. Он был внимателен к ней, все помнил, все замечал, но разговора по душам, той сердечной родственной близости и понимания, какой хотелось Ане, у них не возникало, потому что оба избегали говорить о главном, о том, что их связывало: о прошлых отношениях отца и матери. «Ты» – было единственным словом, которое сблизало их, в сущности чужих людей, которых словно случайно свел и связал кто-то третий.

Лишь однажды отец долго и неумело расправлял кружевной воротничок ее платья, медлил, и сердечко у нее гулко забилося.

– Анечка, – начал он, мучительно подыскивая слова, – постарайся понять меня хоть когда-нибудь. Пойми...

Отец вдруг замолчал, отвернулся от нее и слишком грузно, сутулясь, заспешил к выходу.

Так они и не поговорили. Да и о чем говорить? Что понимать? От этого маме легче не станет... Она изменилась за последние годы, стала резкой и раздражительной. А недавно рассказывала соседке:

– Хотела пожить спокойно, как люди. Ходить в гости, выспаться по воскресеньям, летом отдыхать, хотела, чтобы и дом обставить не хуже, чем у других, и одеться прилично, чтобы вечера были свободные. А он учиться вздумал. Ну и поспорили. Раз, другой, третий. И вот однажды – ушел. Обиделась. Раз приходил, извинялся, – прогнала. Думала, блажь, одумается. А тут война... Так все и кончилось...

Бедная мама! А отец... Ну его, этого отца. Живет он отшельно, часто навещает Аню, неплохо помогает – и довольно с нее. Незачем ворошить старое, обвинять или оправдывать его.

А сегодня отец позвонил в школу и настойчиво звал ее к себе. Надо было отказаться хотя бы ради матери, которая, конечно, все узнает и непременно начнет упрекать Аню в неблагодарности, в невнимании к ней, к матери, к ее «несчастной, загубленной» из-за дочери жизни...

Аня разыскала нужное здание, остановилась возле акации с кривым стволом и осмотрелась.

Тени деревьев темными ручьями ложились на проезжую часть улицы. Знойный ветер забрасывал на шею горячий воротничок платья, каблуки туфель мягко погружались в асфальт.

– Девушка, вы не меня ждете? – игриво заговорил с ней парень в динамовской футболке. – Я пришел!

Аня нахмурилась, поправила узорный поясok из пластмассы и решительно вошла в дом. Дверь открыл отец.

– Входи, входи, – сказал он, запахнув полосатую пижаму. – Располагайся, я сейчас.

Шлепая туфлями, он вышел в другую комнату.

Аня увидела в зеркале свои синие, холодные глаза, враждебное выражение лица с высокими дугами бровей и, довольная собой, обвела взглядом комнату.

Стол. Стулья. Возле балконных дверей – пианино. Играй

и гляди в окно, на макушку акации, белоснежные горы облаков. Крышка инструмента откинута, на ней – нотный лист. И всюду – на этажерке, в шкафу, на окнах – книги, много книг. Аня попыталась прочесть ноты и даже, пошевелив растопыренными пальцами, беззвучно пробежала по клавишам, слегка касаясь их. Нет, Чайковский ей пока не под силу...

– Хотите попробовать? – прозвучал за ее спиной женский голос.

Аня обернулась и оказалась лицом к лицу с худенькой, маленькой женщиной.

– Нет, я просто так... – смутилась гостья.

– Вы не знакомы? – спросил успевший переодеться отец.
– Знакомься, Аня: моя жена Зинаида Петровна.

Зинаида Петровна подала руку, Аня ощутила легкое прикосновение мягких и, вероятно, чутких, как у слепого, пальцев. Женщина тревожно посмотрела на мужа.

– Ты побудь с нами, Зина, – успокоил ее отец, – мы ведь решили...

Женщина улыбнулась Ане и принялась хлопотать у стола, уставленного тарелками.

– Видишь ли, Аня, – начал отец, – дело в том... У тебя сейчас важное время. Ты кончаешь школу... Это – ответственный момент...

– Доклады натошак отменяются, – перебила его Зинаида Петровна.

Отец запнулся, развел руками, пожаловался:

– Затирают! Не дают слова сказать. Вот так и живу под обстрелом.

Он жаловался, но было понятно, что этот «обстрел» ему и приятен, и дорог.

– Прошу к столу, – сказала Зинаида Петровна. – За столом как-то веселее.

Отец обнял Аню за плечи, подвел к столу, усадил и усел-

ся рядом с женой. Она накладывала на тарелки рыбу, расставляла фужеры. Ее тонкие, худые руки неслышно и легко прикасались к посуде, тонконогим бокалам.

– Один экзамен остался? – спросила она у Ани. – Кажется, математика?

– Да, в четверг, – не поднимая ресниц, ответила она.

– Сдаст! – заверил отец. – Сдашь ведь?

Аня ответила. Потом она то поддакивала, то отрицательно качала головой и удивлялась, как это она ухитряется давать правильные ответы, если думает совсем о другом, о постороннем. Ведь перед ней женщина, которая разрушила ее и мамино счастье, которую можно только ненавидеть.

Обыкновенная женщина, каких тысячи. Гладко причесанные, с проседью волосы, худенькое, хрупкое тело. Темное, с глухим воротом платье отделано бархатной тесьмой. Все просто, обыденно, неприметно. Разве что плавная медлительность ее жестов да необычная белизна кожи, которая казалась влажной, точно Зинаида Петровна небрежно вытерла лицо после купанья, бросались в глаза.

Мама лучше. Еще и сейчас у нее пышные, покатые плечи, стройные ноги, белое, молодое лицо.

Нет, не красота вскружила голову отцу...

– Ну что ж, выпьем за твои успехи, дочка!

Отец разлил вино по бокалам и взглянул на жену. Женщина ободряюще склонила голову.

Аня подняла бокал последней.

Пить не спешили.

Зинаида Петровна держала бокал перед собой, вино вздрагивало мелкой зыбью, а она все медлила, точно ждала чего-то.

«Чокнуться или нет? – думала Аня. – Надо бы, только не я первая. Пусть она!»

Аня подняла бокал повыше, долго рассматривала вино на свет, будто оттягивала предстоящее удовольствие. Мельком она увидела ожидание на лице женщины и вдруг с какой-то дерзкой торопливостью выпила вино до дна.

Только после нее Зинаида Петровна поднесла бокал к губам.

– Ты, Анечка, не беспокойся, – заговорил минуту спустя отец. – Помогать я тебе буду. Ты уже взрослая, решай сама, учиться тебе или работать, выбирай, что нравится, а насчет денег не беспокойся. Так я говорю, Зина?

– Конечно!

– Да, еще вот что. У меня в Москве сестра. Приглашала тебя в гости. Хочешь съездить к ней во время каникул? Посмотришь Москву, музеи, побываешь в Кремле... Хочешь?

Аня задумалась.

Предложение заманчивое, но все же... Зачем ее позвали? Заискивают? Подлизываются? Вряд ли. И все же зачем?

Молчание становилось неловким, и Аня наконец произнесла:

– Я позвоню, если надумаю...

– Вот и договорились! – обрадовался отец и стал накладывать на тарелку жены винегрет.

Зинаида Петровна приняла у него тарелку, свободной рукой коснулась его локтя, словно беззвучно поблагодарила мужа.

В дверь постучали. Отец отодвинул стул, поднялся, но в комнату уже вошла Анина мать.

– Ну вот, – заговорила она. – Жду ее дома, волнуюсь, а она у чужих людей. Сдала экзамен?

Ее белое платье отделано красным шелком, на верхней губе высыпали крупинки пота.

– Какие же мы чужие, Тоня? – тихо возразил отец.

На лбу у него собрались морщины, лицо утомленное, серое. Старее уже, вон и лысеть начал...

– Конечно, чужие! Разве ты отец! Что ты знаешь о дочери? – Мать говорила уверенно, решительно, и правота ее казалась неоспоримой. – Небось только и ждешь, когда ей стукнет восемнадцать, чтоб алименты не платить...

– Мама!

– Что «мама»? Что я, не знаю мужчин? Все они хорошие!

Вот они, любимые изречения матери: «Мужчины все такие», «На чужом несчастье счастья не построишь». Она точно помешалась на них... Вырезает из газет и хранит статьи и фельетоны о разводах, бессердечных родителях, неверных мужьях...

– Вы бы присели, Антонина Саввична, – удастся вставить Зинаиде Петровне.

– Ничего, постоим, – ответила мать, но все же села, взглянула на отца и рассмеялась: – Чего надулся? Правда глаза колет?

Настала тишина.

Отец закурил папиросу, с силой, точно тяжелую гирию, бросил спичку за окно. Аня чувствовала на себе его тревожный, пристальный взгляд, но не повернула головы, наблюдая за облаками.

Оказывается, облака разные. Одно напоминает вздыбившегося заиндевелого коня, другое походит на замысловатое суденышко средневековья с причудливо изогнутым носом, третье – темное, грозное – хвостатым ископаемым ящером нависает над самым балконом. Разные, разные...

...Ах, какие они все путаники, эти люди! Разные, хорошие, а где-то напутали, что-то не поделили. Теперь сидят, переживают, и каждый по-своему прав, по-своему несчастен...

– А на улице уже темнеет, – не к месту сказал отец. – Мне, Зиночка, нужно к Синицыну. Я скоро!

– Ну вот, всегда так, – пожаловалась мать, когда за отцом захлопнулась дверь. – Уходит, не разговаривает... За что? Разве я не человек? Можно бы и по-хорошему... Хоть бы ребенка постеснялся...

– Мама, перестань!

Мать послушно умолкла, достала из отцовского портсигара папиросу, закурила, измазала гильзу помадой.

– Не расстраивайтесь, Антонина Саввична. Выпьем лучше за вашу дочь, за ее будущее.

Мать согласилась. После выпитой рюмки она оживилась, заговорила о модах, соленьях, семейных историях.

«Зачем она это говорит?» – возмущенно думала Аня.

Впервые она взглянула на мать как бы со стороны, глазами Зинаиды Петровны, словно впервые увидела маленькую шляпку, надетую набекрень, застывшие складки жира на шее. Аня вдруг поняла, как ненужно, как неуместно выглядит появление матери в этой уютной комнате, как нелепо звучат здесь ее категорические высказывания, рассуждения о ценах на фрукты, и пожалела о том, что разговор с отцом так некстати прервался.

А мать все говорила и говорила, с удивительной легкостью перескакивая с одной темы на другую.

Аня уронила вилку, вздрогнула от стука и, еще не сознавая, что сделает через минуту, с грохотом отодвинула стул, поднялась и охватила ладонью шею.

– Душно что-то...

Перед глазами поплыли черная глыба пианино, книги, лицо Зинаиды Петровны. Шагнув через порог, хлопнув дверью, девушка начала стремительно спускаться по лестнице. Только внизу, в темном тамбуре, она замедлила шаги, остановилась и, вытянув руки, нащупала ручку двери.

Где-то над ее головой со скрипом зажегся желтый косяк света, и голос матери окликнул:

– Погоди, Аня...

– Я вернусь, – заторопилась девушка, не желая объясняться. – Голова разболелась...

У крыльца сноп лучей от фонаря падал на акацию, отчего узкий круг листьев казался усыпанным снежинками. Было жарко и душно, как и днем.

Аня потеряла пальцами висок, словно перед экзаменами, когда нужно было вспомнить формулу или схему, но ощущение ясности не приходило.

«Ох уж эти умные дяди! – с горечью подумала она, вспомнив один из хранимых матерью фельетонов. – Как у них все просто: семья, долг, коллектив. «Чувства? – удивляются они. – Эка важность! Наступил на горло собственной песне – и делу конец...» А если песня удалась, если выпелась талантливо, от души, если дала человеку силы и счастье, тогда как?»

Она пыталась представить себя на месте человека, который не любит, а все-таки живет с нелюбимым, смирился, лицемерит, может быть, ненавидит другого и все-таки терпит ради долга, привычки, формальностей, – и не могла.

«Девчонка, совсем девчонка! – твердила она мысленно. – Скверная, капризная девчонка. Отчего не чокнулась с Зинаидой Петровной, что она тебе сделала плохого? Зачем постоянно изводишь Сергея? За что?»

Она обняла ствол акации, прижалась щекой к жесткой морщинистой коре, прислушиваясь к своему голосу, раздельно произнесла, словно пропела:

– Се-ре-жа...

Память прошлого

(рассказ)

Три дня Никитична прожила у сына в Москве и за это время ни разу не выходила из дому.

– Что я там забыла? – упрямо отказывалась она, когда сын уговаривал ее выйти на улицу, посмотреть на столицу, на москвичей. – Еще затолкают.

Сухощавая, махонькая, в гладком темном платье и фартуке с оборками, в толстых, домашней вязки, шерстяных чулках, она уже на другой день хлопотала на кухне, помогала невестке по хозяйству. Хитрые квартирные устройства неохотно подчинялись ее жилистым рукам: вентили выскальзывали из пальцев, огонь в газовой плите то угасал, то взрывался, форточки почему-то не затворялись, и Елена Владимировна частенько приходила свекрови на помощь. Скоро Никитична сама отступилась от мудреной городской механики и довольствовалась лишь черной работой: чистила картофель, убирала со стола, мыла посуду, подметала полы.

Женщина была она еще бодрая, крепкая, за ужином храбро опрокидывала рюмку водки и не торопилась закусывать. На ее желтом, пересошем от времени лице пятнами проступал румянец, глаза маслились, добрели, она ласково поглядывала на сына, на его жену и все гладила заскорузлой ладошкой внучку. В десятом часу ее уже морил сон, Никитична пристраивалась на диване и засыпала.

А хозяева выключали телевизор, совали дочери конфеты, укладывали девочку в постель, выходили на кухню и вполголоса переговаривались.

– Чем ее занять, собственно говоря? – рассуждал Дмитрий Алексеевич, худощавый мужчина лет сорока, с глубоки-

ми залысынами на висках и доверчивыми голубыми глазами.
– Просто ума не приложу.

– Ты, Митя, ее лучше знаешь, – говорила жена. – Тебе видней. Кровь-то родная...

– Да ведь заупрямится, не пойдет, куда ни позови! Я же знаю!

– Надо что-то придумать. А то еще обидится и уедет.

– Н-да... Проблема! – шептал он, поглядывая из коридора на узкую, с острыми лопатками спину матери.

Никитична проживала у старшего сына Василия, механика, в районном центре; Дмитрий Алексеевич не видел ее шесть лет, каждый год настойчиво звал к себе и очень обрадовался ее приезду. Первые дни он допоздна засиживался с ней, вспоминал общих знакомых, Никитична рассказывала о колхозе, новом председателе, заработках старшего сына, но уже на третьи сутки старушка начала скучать, вздыхать, беспокоиться об отъезде, да и Дмитрия Алексеевича уже тянуло почитать новый роман, послушать одну из своих любимых сонат и посмотреть с женой последний итальянский кинофильм.

До ночи так ничего и не придумали. Дмитрий Алексеевич долго лежал в темноте, слушал ровное, теплое дыхание жены и задумчиво следил, как размашисто и бесшумно рыскали по стенам лучи автомобильных фар.

А утром, отыскав сигареты, на ходу приглаживая спутанные волосы, он пошел курить на кухню и там наткнулся на мать. Повязав платочек, она сидела у окна, пригорюнясь, подперев кулаком щеку, и печально глядела на улицу.

Увидев сына, Никитична убрала руку, потуже затянула платок и сказала:

– А дома у нас, должно, вьюга пуржит...

Желание курить у него сразу пропало.

– Знаешь, мама, – тихо заговорил он, – а ведь мы с

тобой сегодня гулять пойдем. Побродим, поглядим на Москву... Схожу к начальству, отпрошусь на денек, и двинем. Хочешь?

– А тебя не заругают на службе?

Дмитрий Алексеевич только улыбнулся.

Через два часа он уже вернулся, разгоряченный, довольный, и, не раздеваясь, торжественно и широко провел рукою по воздуху.

– Собирайся, мать! – сказал он. – В Кремль поведу.

– Куда?

– В Кремль. Увидишь мавзолей, дворцы, царь-пушку, колокольню Ивана Великого. Интересно ведь, а? Там теперь даже иностранцы бывают.

– Иноземцы, стало быть? Небось и шапки в храмах не снимают!

– Шапки? Не знаю, право. Кажется, нет...

– И чего глядят на чужое? Чай, не в зверинце. Нет уж, Митрий, ступай один. А то еще сомлею в пути...

Дмитрий Алексеевич переглянулся с женой, ослабил шарф на шее и уже не так уверенно предложил:

– Давай хоть в кино сходим! Так сказать, всей семьей, по-праздничному...

– Да ить усну я там, милоч! Только зря потратишься на билет. Так в дрему и клонит без свету. Уж я знаю!

Сын опустил на стул, покачал головой, усмехнулся.

– Фу, запарился... Что еще? Может, в театр?

Он загляделся на пол, потом очнулся, прижал ладони к груди и снова заговорил:

– Послушай, ма, вспомни Ванюшку нашего! Как он живописью-то увлекался! Любил картины, художников, сам рисовал. Если б не погиб, он не пропустил бы сейчас ни одного музея, ни одной выставки. А мы живы остались – и не смотрим, не интересуемся. Тебя даже на улицу не вытя-

нешь... А не мешало бы побывать в картинной галерее. Ради Ванюшки, в его честь. Пойдем, а?

И Никитична согласилась. Спросила только, нельзя ли взять с собой внучку, сняла фартук, а от резиновых бот невестки отказалась:

– Застынут ноги-то.

Елена Владимировна проводила свекровь и мужа за порог, сказала:

– Только не увлекайся, Митя, помни: ты не один. Не держивайся долго.

С крыш капало, по водосточным трубам с грохотом скачивались сосульки. В тени зданий бойко приплясывали водяные фонтанчики, снег посерел, вздулся пупырышками и местами походил на разъеденный кипятком сахар. А на запыленных вывесках, затекших за зиму витринах, на черных от луж тротуарах потягивались, лучились солнечные звезды и до боли слепили глаза.

Пояснения сына трудно давались Никитичне. Лишь изредка мельком она окидывала взором какое-нибудь здание или памятник, о которых рассказывал Дмитрий Алексеевич, но больше глядела на прохожих, на тесные ряды норовистых автомашин, которым, казалось, никогда не выбраться из этой сутолоки, на маленьких, бесстрашно снующих под колесами милиционеров. В широконосых валенках с калошами, в черной шали с кистями, она шла неумоимо и ходко, с опаской обходила слишком шустрых молодых людей, изредка рукой отгоняла от себя струю синего отработанного газа.

– Люду-то, люду! Ах ты, господи! – не раз повторяла она, пережидая транспорт.

Дмитрий Алексеевич примерялся к ее шагам и все думал о том, до чего мать не похожа на тех бойких скупых баб и старух, которые торчат на городских рынках или толкаются в очередях, и как постарела в разлуке.

– Погоди чуток, умаялась я, – сказала она ему в вестибюле станции метро, зажатая встречными густыми потоками пассажиров. – Прямо закружил народ.

Сын отвел ее в сторону, постоял рядом и спросил:

– Лучше теперь?

– Да вроде полегшало.

Возле невысокого, изукрашенного пряничной резьбой здания Никитична вдруг остановилась, схватила сына за локоть.

– И куда меня, старую, занесло? – сказала она. – Чего я там пойму? Еще засмеют...

Она постояла, невесело взглянула на урезанное, сдавленное крышами небо и вздохнула:

– Веди уж...

Музейная обстановка всегда успокаивала и умиротворяла Дмитрия Алексеевича. Покой и простор залов, исполненное внутренней силы безмолвие отчеркнутых рамами полотен, учтивые лица служителей у каждого нового помещения словно отгораживали, очищали его от будничной суеты, мелочных забот и неурядиц. Вот и сегодня он снова ощутил радостное волнение, опять настроился на торжественный лад.

А Никитична без платка чувствовала себя неудобно, неустроенно, втягивала голову в плечи, поминутно проводила рукой по волосам, точно боялась, что их сдует ветром.

– Не робей, мама! – шепнул ей Дмитрий Алексеевич.

Первые комнаты Никитична прошла насквозь, не задерживаясь, мягко шаркая валенками по полу, неловкая, заброшенная сюда неведомо зачем, прошла, будто торопилась к выходу, и Дмитрий Алексеевич не решился ее остановить. Но потом она освоилась, замедлила шаги, осторожно поворачивая голову, заинтересовалась посетителями, стала осматривать полотна.

Возле экскурсовода, тоненькой женщины с короткой мужской прической, она остановилась, прислушалась, засмотрелась на ее фиолетовые губы. Сцепив кисти рук и глядя на пол, женщина обстоятельно рассказывала об известном художнике. Мальчики в белых рубашках и девочки в фартучках жались к ней и, задрвав головы, почтительно глазели на картину. Никитична тоже стала всматриваться в застывшие людские фигуры, словно разыскивала среди них чье-то знакомое лицо. Но люди на полотне все больше замыкались, угасали под слоем красок, и Никитична двинулась дальше.

В соседнем зале она задержалась возле небольшого, спокойного пейзажа, пытливо разглядывая его вблизи, точно ждала, что природа оживет.

– А похоже, – громко сказала она и обернулась к сыну.

– Вот видишь! – обрадовался Дмитрий Алексеевич, не обращая внимания на чей-то иронический взгляд.

Врубель не понравился Никитичне.

– Чегой-то он весь чешуей пошел? – спросила она, указывая на «Демона». – Чисто змея.

У левитановской рощи Никитична простояла долго. Склонив голову набок, приложив палец к губам, она медленно обдумывала свою трудную думу, о чем-то соображала про себя и под конец даже вздохнула.

Дмитрий Алексеевич терпеливо ожидал ее. Непосредственность матери трогала его и немного смущала, ему хотелось, чтобы она сегодня побольше поняла, чтобы в сознании у нее осталось хорошее, яркое, чтобы живопись хоть чуточку проняла и обрадовала ее.

Публика постепенно редела. В новом просторном зале они застали только маленькую девочку, которая сидела на стуле и болтала ногами, да седого осанистого мужчину в светлом костюме – он то подходил к большой позолоченной раме, то

отступал от нее на несколько шагов, изучая картину издали. Два рослых парня, остриженные под ежик, в распахнутых куртках, сидели рядом перед мольбертами и о чем-то весело переговаривались.

Никитична поначалу косилась в их сторону, затем зашла за их спины, придвинулась вплотную и заглянула поверх голов.

На загрунтованных холстах начаты были портреты какого-то знатного вельможи. Из ящичков торчали острые копыя кисточек, на дне валялись свернутые улитки полупустых тюбиков; пахло бензином и красками.

Никитична вдруг согнулась, опустила голову, лицо ее сморщилось, огрубело, стало совсем некрасивым.

– Что ты? – встревожился Дмитрий Алексеевич.

– Ванюшка-то наш... – еле выговорила она искривленными, дрожащими губами.

– Ну, не надо, мама, – говорил он, поддерживая ее за локти. – Ну, успокойся, прошу тебя. Зачем ты, право...

Девочка перестала болтать ногами, парни с любопытством обернулись.

Дмитрий Алексеевич вел Никитичну под руку, произносил какие-то ненужные, ласковые слова. Утешать было нелегко. Он и сам чувствовал себя так, словно только что получил «похоронную».

То, что погиб и лежит где-то в чужой земле Ванюшка, самый живой и веселый из братьев, что из-за его смерти подавлена горем именно она, их мать, сейчас казалось Дмитрию Алексеевичу особенно жестоким и обидным.

– Не буду, чего уж, – наконец сказала она.

Он хотел улыбнуться ей и не смог.

Незаметно они очутились в залах древней иконописи. И тогда Дмитрий Алексеевич спохватился, забеспокоился о том, как бы снова не расстроить мать.

– Это чего здесь? – неожиданно заинтересовалась она и первая пододвинулась к полотнам.

Возле изображения всадника в победно-праздничной, подхваченной ветром мантии, восседающего на тонконогом, с выгнутой шеей коне, Никитична изумленно прошептала:

– Егорий...

Она сложила руки перед собой и медленно, бочком поплыла вдоль стены, не пропуская ни одной картины. Ее лицо было суровым и словно отсутствующим, как и у тех святых, на которых она смотрела, да и все ее сухонькое, словно выжатое временем тельце в длинном, мешковатом платье оказалось под стать этому строгому и нерадостному залу.

Длинный рассказ нового экскурсовода об иконе Владимирской Божьей Матери, ее участии в сражениях Никитична терпеливо выстояла до конца, а потом даже провела ладонью по раме, но тут же испуганно отдернула руку, точно обожглась.

– Заступница, стало быть... Ах ты, господи! – потерянно проговорила она.

Дальше следовать за ней Дмитрий Алексеевич не решил. Он тоже был не прочь лишний раз поторчать возле работ Феофана Грека или Рублева, вволю насмотреться на каждое полотно в отдельности, взглядеться в каждую выразительную фигуру или удачную деталь.

В зале было светло. Солнце наискось рассекало стену, охватило у стула передние ножки и угол сиденья, ровными ковриками улеглось на полу. Казалось, что солнце поселилось в этой комнате с незапамятных времен и не покидало зал еще с той поры, когда писались картины.

Глаза непорочных дев и святых угодников будто и не замечали Дмитрия Алексеевича, не взирали на него строго

и не грозили ему загробной карой. Они словно прислушались к чему-то важному, сосредоточились на внутренней мысли, углубились в самих себя.

Дмитрий Алексеевич смотрел на блеклые лики апостолов, на предостерегающе поднятые персты Николая-Чудотворца, и на него вдруг повеяло стариной, дохнуло запахом лежалой древности, не затхлостью и тлением, а каким-то чистым добротным духом бережно хранимых семейных реликвий. Ему даже померещилось чье-то лицо, озаренное сполохами огня, чьи-то большие немигающие глаза. Какой-то предок мелькнул перед его взором, русоволосый, стриженный в скобу, в крепкой холщовой рубахе. Под медные звуки набата он словно всматривался в Дмитрия Алексеевича из-под руки, глядел на него пылливо и строго, и от этого призрачного видения у Дмитрия Алексеевича сильно забило сердце.

И сейчас же, без всякой связи, ему вспомнилось собственное детство, узкие листочки раakit над чахлой речонкой, спутанные ноги коней на лугу, нечесанные головы старших братьев.

Он уже корил себя за то, что давно не бывал на родине, что напрасно столько лет не навещал мамашу. Правда, работы в институте подвалило порядочно: почти вся страна переводила на газ отопительные котельные, приходилось много ездить, рыться в технической литературе, месяцами ломать голову над узлами и схемами надежной отечественной автоматики. И все же можно было выкроить время для поездки. Своим землякам он, вероятно, покажется чудаковатым и чересчур развязным, как и все горожане, да и для него в селе многое будет выглядеть нынче забавным. Но там, дома, станет звенеть в степи, стрекотать кузнечиками полуденный зной, размахнется в полнеба неправдоподобно роскошный закат, неброские с виду девчонки

заведут на посиделках будто бы и наивные, берущие за живое песни, на всю ночь примется утюжить землю за селом неугомонный трактор – все наше, кровное, русское, все то, чего не выбросить из головы, никогда не вытравить из сердца.

– Митрий! – теребила его за рукав Никитична. – Очнись, милый!

– А? Да, да, слушаю!

– Сберегли, говорю, иконы-то!

– Еще бы! Ведь это – искусство, ценности.

– Уважают, стало быть... Вот и дед наш тоже, уж на что дерзок был, сроду лоб не перекрестит, а образа не хаял. Людскими, говорит, руками делано, писано с душой...

Она еще раз обвела взглядом картины и фрески и сказала:

– Не пора ли идти-то?

На улице щеки Никитичны посвежели и разрумянились, глаза живо заблестели, она шла, не разбирая ни луж, ни тротуаров, с любопытством поглядывала вправо, за реку, и рассказывала о родственниках, о доме, о скотине, о том, что в Александровке открыли птицеферму и запрудили речку, а в Сокоревку наконец провели электричество. Знакомые сельские названия звучали для Дмитрия Алексеевича удивительно емко и певуче, ему уже виделось, что Никитична еще раз побывает в Москве, поглядит на столицу, что и сам он теперь частенько будет наезжать в родные места.

У перекрестка в ожидании зеленого света затаились легковые автомашины, их спины блестели и лоснились на солнце. А справа, за рекой, золотились в голубом небе кремлевские купола...

Белая дача

(рассказ)

Человек задыхался от кашля. Пенсне болталось у него на шнурке, лопата вздрагивала в руках, а он все кашлял, натужно и утомительно.

Кровь... Снова она, эта спутница болезни. Странно, что воспринимаешь ее уже привычно и спокойно. Кровь, идущая горлом, давно пугает других больше, чем его самого...

– Антон Палыч! – окликнули мужчину со стороны дома.

Человек приложил пенсне к глазам, всмотрелся. Молодая женщина в белом переднике спускалась вдоль ограды, придерживая пальцами длинную юбку, и отчитывала его издали:

– Антон Палыч, опять? Что я, сама не посажу?

Он выдернул из земли лопату, повернулся к женщине боком.

– Вы же знаете, доктор не велел утомляться. Вам отдыхать надо, а вы... Ей-богу, расскажу мамаше!

Она отобрала у него лопату. Чехов, отряхнув руки, направился к дому.

Снизу, из сада, легкое и даже в пасмурную погоду светлое здание с небольшой башенкой казалось высоким и внушительным на крутом участке крымской земли. Чехову хотелось постоять, полюбоваться своим детищем издали, но женщина шла следом, точно конвоир. Он поднялся на крыльцо, но и в коридоре слышал за спиной ее дыхание, чувствовал позади себя запах ее вымытых волос.

– Кушать будете?

– Нет, что вы, Марфуша! Не хочу, – решительно отказался он у двери своего кабинета.

Она стояла, скрестив руки под грудью, и неодобритель-

но смотрела на него. Чехов выдержал ее взгляд, тихонько кашлянул и пошел к себе. Непригнанная, неокрашенная дверь гулко захлопнулась за ним.

Солнца нет, нет и веселых ромбиков света на полу. Разноцветные оконные стекла сегодня лишь затемняют комнату. Пахнет стружкой и лекарствами.

Отсюда, со склона, на котором построен дом, виден весь город, прижатый подковой гор к морю. Разноликые строения беспорядочно набегают друг на друга, сталкиваются, теснятся, словно их стиснула и не отпускает чья-то крепкая, жесткая рука. Море тусклое, грязновато-синее, неприветливое. Вероятно, там, у берегов, оно неумолчно шумит и беснуется...

Однако нужно работать.

Чехов садится к столу. На столе полумрак. Чехов поочередно зажигает четыре свечи, устанавливает их так, чтобы тень руки не ложилась на бумагу.

Тускло блещут две темные египетские фигурки, поддерживающие свечи на стержнях, похожих на коромысла. На их лицах застыло выражение предупредительной покорности, безмолвия, и это сразу вводит в привычную рабочую колею.

Чехов охватывает ладонью бородку, точно выжимает из нее воду, глядит на дымчатые склоны гор за окном и размышляет.

...Люди и море. Грозная стихия и сезонные страстишки курортного городка, нечто могучее, величественное, извечное и сплетни, наряды, мелочная суета. Почти ничего сильного, свежего во всей Ялте, и редко кто спохватится, очнется от бессмысленной протрации. Заявится сюда новый человек, такой же сытый и равнодушный, как и другие, поначалу обомрет у моря, подивится небывалой силище, а уже на другой день будет самодовольно фланировать по набережной, раскланиваться со знакомыми, напиваться от

скуки и вожделенно взирать на дамские шляпки. И лишь кому-нибудь, возможно, повезет, он отыщет родственную женскую душу, и на него однажды снова повеет величием мироздания. И еще одна чуткая, обойденная судьбой приезжая дама вдруг тоже почувствует, что жила не напрасно, что действительно кому-то нужна и близка, что настоящее счастье возможно и люди могут, должны быть лучше, чище, светлее!

Нет, еще не перевелись на свете глубокие, любящие натуры. Как Лика, эта женщина с очень правильными, по-русски красивыми чертами лица, с русалочьими волосами-водорослями, собранными на затылке, и смешной неприязнью к крыжовнику. Отзывчивая, доверчивая душа, рвется к ускользящему от нее счастью, как птица с подрезанными крыльями в недоступное небо, и все впустую. Отчего? Жаль, что переписка с нею замирает и гаснет...

На четвертушку бумаги тесно ложатся косые строчки рассказа «Дама с собачкой», написанные мелким, тонким, без нажимов почерком. После каждой фразы рука останавливается, никнет, словно набирается сил, и снова быстро скользит по листу бумаги.

За стеной зацокали каблучки, скрипнула дверь, и в комнату заглянула Марфуша.

– Антон Палыч, птица пришла. Сказать, что вас нету?

«Птица Феникс» – частая гостья в этом доме. У нее гладкое, бронзовое, как у японки, лицо, тяжелые набухшие веки, от ее монотонных рассказней наваливается сонная одурь. Опять пойдут заунывные речи, жалобы, от беседы с ней начнется боль в висках. Можно было бы сказаться больным, но его, кажется, видели на улице...

– Нет, Марфуша, пусть войдет. Проси.

Чехов прикрывает газетой исписанные листки, двумя пальцами сбрасывает пенсне и откидывается на спинку сту-

ла. Глаза его становятся близоруко беспомощными, он щурит их, словно вглядывается в даль.

Женщина входит шумно, шелковые рукава ее платья шуршат на ходу.

– Добрый вечер, Антон Павлович. Разрешите?

Не дожидаясь ответа, женщина опускается на стул.

Его имя она всегда произносит с придыханием, смягченно, на иностранный манер – «Антюн». Лицо у нее застывшее, напряженное, точно она кому-то позирует.

– Какой ужасный день сегодня. Ветер, мгла, серое море, скучные люди... Какая тоска... И нет желаний...

Третьего дня она точно так же говорила о солнечном дне, «ужасном зное». Всегда одно и то же...

Чехов ощущает духоту как что-то живое, наседающее на него, расстегивает стоячий воротничок сорочки, с надеждой оглядывается на коробку телефона – может, выручит?

Голос женщины приторно-назойлив, ни прервать ее, ни вставить слово невозможно. Если при ней начать говорить, она повышает тон, заглушая собеседника. Хорошо бы, отбросив условности, вежливо указать ей на дверь... Но Чехов молчит, хотя глухое раздражение в нем нарастает, лицо горит, а к горлу снова подступает кашель.

– Как это все утомляет – духота, пыль, скука. Завидую служителям искусства. Только у них настоящая жизнь, великие идеалы, свой, особенный мир. Счастливы... Художнику и смерть легка...

Чехов досадливо морщится. Если бы не слышать ее, если бы разучиться понимать слова... Но, как нарочно, каждая фраза отчетливо доходит до сознания.

Где-то, в каком-нибудь Торжке, ее супруг из кожи лезет, чтобы содержать семью, пересчитывает по вечерам засаленные пятерки, с непостижимой изобретательностью добывает

деньги для того, чтобы эта пустая, презирующая мужа дама все лето лечила на юге свои мнимые болезни, льнула ко всяким шарлатанам, знаменитостям, «высшему» обществу. И это сейчас, когда по улицам Ялты ходят десятки чахоточных и голодных людей из России. На ее деньги можно было бы спасти нескольких...

Должно быть, в семье она очень властна, а дочь ее до смерти ненавидит репетиторов и учителей музыки.

– Послушайте, у вас есть дети? – наконец успевает сказать Чехов.

Вопрос застаёт женщину врасплох. Она замолкает, не докончив фразы, открывает рот, растерянно смотрит на Чехова.

– Дети? – переспрашивает она очень тихо, боится, что ее услышат. – Да, конечно. Сын, Сержик, десяти лет. – Она опускает глаза, ее крупное, не первой свежести лицо краснеет, как у молоденькой девушки.

– Уже читает по-французски!

– И любит яблочную пастилу, не так ли? – добавляет Чехов, оживляясь.

Снова заглядывает Марфуша.

– Барыня, вас спрашивает горничная.

– Меня?

– Сынок ваш приболел, что ли. Вас требует.

Женщина поспешно встает:

– Пардон, дорогой Антон Павлович, но... проза жизни... суета сует... Дети, знаете ли...

Теперь с ее лица исчезло все напускное. Брови выпрямились, нижняя губа озабоченно выдвинулась вперед – простая русская баба.

У двери она забывает о Чехове, придерживает платье, топчется. Он смотрит ей вслед задумчиво и грустно.

Голоса в коридоре удаляются и затихают. Чехов сидит не-

подвижно, пробует сосредоточиться на рассказе и невольно думает о словах женщины.

«Служители искусства», «счастливицы». Как это мило звучит! А на деле... Безденежная, веселая молодость, радостные минуты душевного подъема, жадности к жизни, сердечные беседы с друзьями – все ушло, минуло, растворилось в непрерывном труде, горах исписанной бумаги, ненужных знакомствах. А в настоящем – недостроенная, но уже заложенная дача, каторжная работа по редактированию, вместо любимой женщины – надоедливые поклонницы, целыми днями шныряющие за оградой...

Писатель... А сидишь без денег, без книг, без друзей, идти некуда, третий год не видишь обыкновенного ноздреватого снега и тоскуешь по нему...

Если бы знать, что его писанина нужна, нужна многим, если бы верить в это и написать что-нибудь необыкновенно бодрое и светлое...

Он выходит из-за стола и останавливается у окна.

На дворе сыро, ветрено. Марфуша выносит из флигеля стулья, ставит у стены. Перед ней только стебли глициний да пасмурное небо, а много ли нужно молодому? Марфуша без передника, на плечи накинут пуховый платок. Она призывно машет кому-то, и вскоре к ней подходит худощавый юноша в студенческом кителе с потертым воротником.

Студент косится на окна дома и нерешительно присаживается на стул. Теперь его лицо видно в профиль, и Чехов вспоминает, что видел его на приеме у врача Альтшуллера. Диагноз – чахотка. Интересно, знает ли она? Марфуша стягивает с плеча платок и набрасывает ему на шею.

– Тебе нельзя замерзать, – говорит она.

Студент конфузится, пробует сдернуть платок, но руки ее крепко держат его за плечи.

Он еще раз оглядывается на окна, неуверенно предлагает:

– Может, пойдём к морю?

– Не...

– Антона Павловича боишься? – спрашивает парень, улыбаясь.

Улыбка у него получается жалкая, вымученная, словно гримаса.

– А чего мне его бояться? Человек ведь. Душевный. – Она говорит убежденно, с гордостью: – Чехов! Нашу-то белую дачу, почитай, вся Ялта знает!

Чехов отворачивается, торопится отойти от окна. Чуть погода он надевает широкое, застегивающееся наглухо пальто, берет фуражку и трость.

За калиткой его ноги обнюхивает чужая тощая собака с облезлой шерстью и, не поднимая морды, лениво трусит прочь.

С моря дует влажный и крепкий ветер. Он настолько силен, что можно наклониться, опереться о него – и не упадешь.

Идти нелегко. Полы пальто липнут к ногам, путаются, мешают каждому шагу. Дышать сразу стало труднее, то и дело приходится останавливаться и умерять биение сердца. Если бы снова стать молодым, смело шагать навстречу ветру, если бы вернуть силы, которых остается все меньше...

Улица кружит, петляет, ей тесно среди оград из ноздреватого тесаного камня, похожих на бастионы крепости. Город необычный, многопалубный, с односкатными татарскими крышами, белизна и близость моря делают его похожим на солнечную голубоглазую Венецию.

Встречные попадают редко. Только у набережной какая-то девчушка в коричневом платье приседает перед Чеховым в реверансе, кланяется ему, новоиспеченному попечителю гимназии. Но почему без пальто в такую стужу?

– Оденьтесь! – кричит он ей вслед и сам не слышит своего голоса.

Море серое, яростное. Волна подхватывает прибрежную гальку, с грозным скрежетом волочит ее по дну, долю секунды медлит, точно готовится к прыжку, мятежным гребнем вздымается ввысь и вдруг, непокорная, гневная, неудержимо падает, с глухим раскатистым гулом обрушивается на камни. Лицо обдает солеными брызгами, и вот уже поседевшая, обессиленная волна, злобно шипя, стремительно откатывается обратно.

Чехов продвигается вдоль берега, останавливается, чтобы отдышаться, снова идет дальше.

Издали он замечает у парапета одинокую фигуру. Когда волна гаснет, исходит кружевной пеной, отчетливо проступают очертания юнкерской фуражки на незнакомце, вздыбленная ветром грива шинели.

Снова пересыхает горло, и Чехов, отворачивая голову от ветра, кашляет в платок.

Темнеет.

Над морем в стороне порта зажигаются тусклые огни, чуть ниже вспыхнул и закачался на волнах синий фонарик рыбацкого судна.

Чехов хотел было записать новую мысль, вынул записную книжку, но вдруг раздумал, заложил руки за спину и долго стоял не двигаясь, лицом к пронизывающему ветру.

– Шторм! – заметил он вслух, чтобы отвлечься от своих мыслей.

– Да, баллов шесть будет, – перекрикивая грохот волн, отозвался незнакомец.

Военный мельком взглянул на Чехова, тотчас оторвался от парапета, выпрямился, повернулся к нему лицом.

– Простите... Вы Антон Павлович Чехов?

– Да. Чем могу служить?

– Извините меня, но... мне так хочется пожать вашу руку!
Незнакомец придвинулся ближе, отыскал руку Чехова, осторожно пожал ее. Его лицо потемнело, словно от загара, он щелкнул каблуками и заторопился к городу.

– Послушайте... – запоздало проговорил ему вслед Чехов и умолк. Впервые за день на его лице появилась улыбка.

Он возвращался неторопливо.

Ветер ожесточенно толкал в спину, остервенело хлопал полою пальто, но идти уже было гораздо легче, веселее, и Чехов даже начал посвистывать.

Негромко, для себя.

ПЁТР ПРОСКУРИН

Огненный ангел
Аз воздам, Господи...



Огненный ангел

(рассказ)

В мире что-то случилось – в грязном, давно не мытом окне билась большая зеленая муха. Скурляев от этого проснулся и стал сочувственно глядеть на нее. «Странно, весьма странно», – подумал он. Окно грязное, и муха жирная, отъелась на перестроечных помойках и, очевидно, обрела бессмертие, – он безошибочно знал, что этой мухе уже много лет и она вовсе не муха, а нечто другое, пока ему неизвестное. Пожалуй, муха очень хочет вырваться на свободу, но для этого нужно встать и открыть форточку. «А может, она этого и не хочет? – засомневался он. – Сидит себе за стеклом и не понимает, да и никто не понимает, что это и есть подлинная модель устройства человечества, и формула ее проста – открывать форточку или не открывать? Какая разница, если это даже просто муха? Вот так же заперт и человек, и у кого-то ключи от клетки. Кончается второе тысячелетие, расплодилось еще больше президентов, словно вот таких же трупных, жирных мух, стало меньше хлеба и нефти и больше нищих, голодных орд самого разного цвета кожи, а избранные, сумевшие захватить власть теперь уже над миром, стали еще циничнее и развратнее, бедные же – еще беднее и покорнее, и, естественно, грядет апокалипсис».

Наслаждаясь и продлевая мгновение тишины и безмятежности, Скурляев сладко потянулся и опять замер – не

хотелось прерывать блаженство минуты, когда мозг только-только просыпается и самые невероятные захватывающие идеи зарождаются и оживают в его темной глубине, – Скурляев в свое время, лет десять назад, окончил философский факультет, но давно уже охладел и к Спинозе, и Карлу Марксу, Конфуцию и Будде, Озирису и Мардуку ассирийцев, и к украденному у них древними израильянами Саваофу. С приближением третьего тысячелетия все эти струнья философской проказы давно осыпались, только никто не хотел в этом признаться. Со временем не поспоришь, пришла пора новой цивилизации, все прежнее должно быть выжжено атомным огнем, и на этом космическом пепле вспыхнет огонек разума совершенно иной природы – скупой и рациональной....

В дверь тихонько поскреблись. Скурляев встал, накинул на плечи что-то вроде халата и стал молиться на темную икону с едва проступавшими от старости лицами, затем, не поднимаясь с колен, негромко спросил:

– Кто там, кто?

Дверь приоткрылась, в нее бочком протиснулась маленькая, вся в темном старушка и, тоже торопливо и истово перекрестившись на икону, поклонилась попутно и Скурляеву:

– Я тебе, батюшка, оладышек напекла, киселек клюквенный сварила, – сказала она. – Как, сюда дать или к столу пойдешь? Кормилец ты наш, охранитель, – благослови!

Старушка внезапно тюкнулась перед Скурляевым на колени и уронила голову в темном чепчике на грудь.

– Ну что ты, Трифоновна, – тихо посетовал Скурляев, вздергивая клочковатую бороденку. – Не чуди, я тебе не батюшка, не епископ... так, раб Божий... Вставай, вставай, вставай, – встань!

– Все одно, родимый, ты человек Божий, всю матуш-

ку-Русь окормляешь! Благослови! – заупрямилась старушка, и Скурляев, что-то неразборчивое бормоча, мелко перекрестил ее. Поймав его руку, она ткнулась в запястье ему сухими губами.

– Ну и хорошо, Господь благословит, ну и ладно, – сказал Скурляев, помогая маленькой Трифоновне привстать с полу. – Ну, ну, неси оладушки с кисельком, неси, да одеваться пора, к народу пора, неси.

– Ох, родимый, там к тебе кто-то припожаловал, не отходит от двери, – вспомнила Трифоновна. – Я его уж совестила, совестила, да как его усовестишь? Бормочет одно: из святого града соловьи прилетели...

Скурляев сам вышел к незнакомцу, терпеливо дожидавшемуся в крохотной прихожей, пропахшей кошками и еще какими-то древними запахами. Незнакомец вежливо встал ему навстречу, и Скурляев, перекрестив его, увел к себе, попросив Трифоновну подать оладышек и кисельку минут через десять на двоих, и, оказавшись со своим неожиданным гостем наедине, как-то неуловимо преобразился, усадил посетителя и, остановившись перед ним в смиренной позе – руки на груди, голова слегка набочок, – спросил:

– Что понадобилось Божьим странникам от такого муравьишки, как я? Говори, готов с почтением выслушать волю пославшего тебя, я его знаю. И фамилия у тебя славная, русская – Возинов...

– Вот и хорошо, – невозмутимо и вежливо согласился гость, с некоторой внутренней озабоченностью вглядываясь во всесильного, загадочного человека, стоящего перед ним, способного качнуть чаши весов в любую из сторон и в то же время совершенно ничем не защищенного – ни запоров, ни стражи вокруг или хотя бы рядом. ... Неуверенная улыбка шевельнула губы Возинова, мелькнула мысль о том, что надо собраться и держать ухо востро.

– Мне поручено передать, что вы становитесь поистине знаменитым, многие ваши прогнозы, публикуемые в газетах и по телевидению, сбылись или сбываются, – не спеша, стараясь выиграть время, чтобы окончательно успокоиться, сказал Воинов. – Есть основания опасаться ненужных для вас неприятностей в самом скором времени.

– Например? – голос Скурляева, казалось, едва прошеле-стел откуда-то со стороны или сверху, с потолка.

– Вас могут держать взаперти, в каком-нибудь тайном месте, – предположил Воинов, и Скурляев, остро глянув, перекрестился.

– На все воля Всевышнего, – сказал он смиренно.

– Мне уже был тайный знак. Сказано: ни один волос не упадет с головы твоей без воли Отца твоего Небесного. Аминь!

– Аминь, – подтвердил и Воинов. – Мне неудобно сидеть, когда вы стоите, у нас еще, отец Тихон, долгий разговор.

Лицо Скурляева как-то задрожало, стало двоиться, поплыло, и Воинов, пустивший в ход один из своих козырей, торопливо встал и даже шагнул к хозяину в тревоге, но тот поспешил успокоить своего гостя.

– Сиди, сиди, дорогой гость, – быстро сказал он, – лицо его успокаивалось и принимало свои прежние очертания. – Конечно, конечно, я должен был знать, что для Божьих странников нет невозможного. И неведомого тоже. Они всюду – и в земной юдоли, и в небесных сферах, они днем и ночью, а медок сносят в один священный сосуд. Был, был и отцом Тихоном, и покался в своих соблазнах и прегрешениях. А у тебя, брат мой, какие полномочия?

– Совершенно абсолютные, – быстро ответил Воинов.

– А знак?

И Воинов, еще больше сосредоточиваясь, раздвинул во-

рот рубашки, и лицо Скурляева как-то вновь стало дробиться и плыть – он увидел на груди у своего гостя идеальный квадрат из тусклого металла, размером с ноготь. Из такого же завораживающего голубоватого сплава была и цепочка.

Хозяин и гость церемонно поклонились друг другу и затем обменялись словами, значение которых, очевидно, понимали только они двое.

– Вечен и велик! – провозгласил Возинов, и хозяин, осеня себя широким крестом, эхом отозвался:

– Велик и вечен!

В это время старушка в черном принесла блюдо горячих сдобных оладьев, две кружки клюквенного киселька, и Скурляев со своим гостем с удовольствием позавтракали, притираясь и привыкая друг к другу. Старушка подала самовар, липовый мед в простой деревянной плошке, чашки, и все так же молча, забрав ненужную посуду, она невесомо удалась, и даже ее плоская худая спина выражала благоговение.

Отхлебнув душистого чаю, Возинов поднял глаза на хозяина, и тот кивнул:

– Говори, брат мой.

– Не мне, отец Тихон, напоминать вам о предельном упадке души человеческой, о силе зла в нашем мире; один из духовных столпов человечества, Россия, повержена, русский народ вымирает... Еще несколько десятилетий – и память о нем останется лишь в преданиях и легендах...

– А если это и есть исход, предопределение Божие? – подал голос и Скурляев, и в глазах у него появился лихорадочный блеск, а на щеки пробился неровный болезненный румянец. – Негоже смертному червю вникать в замыслы Создателя. Творец сам видит и ведает, что творит.

– И Божий странник вправе выбирать путь воина, лакея или Иуды. Ничего никому не возбраняется...

– Ты слишком много говоришь, брат мой, – мягко, но с тем же блеском в глазах заметил Скурляев. – А лучше – прямо. Какое же слово должен не опоздать и сказать я, грешный?

– О, отец Тихон! Божьи странники не настолько глупы и самонадеянны, чтобы диктовать такому человеку, как вы! – Возинов позволил себе улыбнуться. – Вы известны всему миру, в своих пророчествах вы никогда, насколько нам известно, не ошибались. Но вот уже три месяца вас не могут разыскать ни газетчики, ни эти вездесущие телерепортеры. Вы молчите, а между тем близится судный день.

– Хватит, брат, хватит, – попросил Скурляев, и лицо его пришло в неопишваемое волнение. – Мне страшно за твою бессмертную душу, брат мой. Я взглянул в нее и содрогнулся – она кипит ненавистью. Все силы мира не в состоянии осуществить приговор вашего трибунала – этот темный человек бессмертен, как бессмертен сам сатана! Остановитесь в своем замысле, брат мой, откажитесь от него! Вы все обречены на гибель! Хватит русской крови, брат мой, хватит!

Медленно бледнея, Возинов встал. Он ожидал многого, он раньше не верил рассказням и невероятным слухам об этом человеке, отце Тихоне, негласном властителе нищих и бомжей, но сейчас оцепенение охватило его...

Необходимо выяснить истинную суть отца Тихона до конца, кому он служит. Неужели только себе и своему честолюбию? Некоронованный царь нищих? И только? А не стоит ли трибуналу братства попристальнее взглянуть на эту мрачную фигуру, не ошибается ли служба прогнозирования? И пальцы Возинова неосознанно, инстинктивно уже нащупали на поясе в брючном ремне сигнальную панель и еле заметную выпуклость на ней – дальнейшее личное противостояние уже превращалось в слишком рискованную игру и могло стоить слишком дорого...

И тогда сквозь туман, наплывающий на сознание, он уловил в лице отца Тихона тихую блуждающую усмешку – хозяин был явно доволен своим превосходством, он брал верх и не хотел скрывать своей силы. Пожалуй, именно эта туманная мысль, проскользнувшая в сознание, и вызвала спасительный взрыв – пальцы шевельнулись. Тотчас в нем пробился далекий, ясный и тревожный голос:

– Что случилось? Два нуля, что случилось, два нуля, от-вечай! Включая спецзащиту, приготовиться.

И тогда туман, облегчающий сознание, с тихим шорохом стал рваться и клочьями оседать, – Возинов даже видел эти серые лохмотья. А в следующий миг перед ним проступило узкое, бледное лицо отца Тихона с выступившей на лбу испариной.

– С кем ты разговариваешь, брат мой? – почти закричал отец Тихон, глядя на своего гостя почти с мистическим ужасом.

– Простите, – устало, с трудом раздвинул губы Возинов. – Последнюю неделю я почти не спал... сейчас, кажется, просто на ходу задремал. И вас, пожалуй, напугал, на вас лица нет, садитесь, отец Тихон, садитесь. Сказано: каждому по вере его.

Хозяин опустился на свое место, узкой и нервной ладонью, с четко проступившими голубоватыми венами на тыльной стороне, огладил клочковатую бородку. Неожиданно сказал:

– Знаешь, брат мой, у меня иногда фантазии опережают здравый смысл. Мой древний недруг... Вот и сейчас мне что-то померещилось, а ты сам ничего определенного еще и не сказал.

– Не надо лукавить, отец Тихон, – улыбнулся Возинов, окончательно приходя в себя. – И большее не старайтесь меня трясти, ответ будет не очень приятным, а мы вас це-

ним и бережем. Да, вы угадали, именно этот страшный человек должен умереть, а почему он – вы, отец Тихон, сами знаете.

– Что ж, ты прав, брат мой... По его тайному указанию на свалки, приютившие сотни тысяч бездомных и обездоленных, стали вывозить пищевые отходы, сдобренные ядами. Умирают в мучениях тысячи и тысячи... Голодные ведь не слушают никаких разъяснений и уговоров. – Лицо хозяина подернулось печалью. – Известно ли Божьим странникам истинное имя этого посланца тьмы?

– Странникам известно все, – ответил Возинов, отмечая про себя неуловимый почти перелом в настроении хозяина, по-прежнему, казалось, чего-то выжидавшего, и, помедлив, обронил: – Казнь состоится вечером, в день русской скорби, четвертого октября до наступления сумерек.

– Да, да, – почти прошептал отец Тихон, и взгляд его стал пронизывающим, почти безумным, – он принял решение. – Этот проклятый, черный день России... Только ведь я не могу сам себе задавать вопросы и сам же на них отвечать, брат мой...

– Не беспокойтесь, отец Тихон, вас обязательно спросят, и даже не раз...

Отец Тихон вздохнул, и скорбь вновь проступила в его лице.

– Я еще никогда не ошибался, брат мой, – подумал он вслух и вопросительно, исподлобья глянул. – Как быть? Я уже все понял, только...

– О, отец Тихон! – улыбнулся Возинов, вызывая этой своей улыбкой озноб у Скурляева по всему позвоночнику. – Приговор будет исполнен, даже если все силы тьмы станут грудью вокруг черного координатора. Он будет исполнен, если даже вы сейчас побежите к нему и предупредите обо всем...

– А ты, брат мой, большой шутник! – укоризненно дернул бороденкой отец Тихон. – Это еще надо подумать, кто есть кто... И еще одно сомненьице – зачем же на весь мир заранее? Вот так кричать? Не лучше ли из российского мрака исподволь? Я за себя не боюсь, мало ли что может нагородить блаженный? Я учту волю странников, только не пойму...

– Они вселили дух обреченности и страха в душу целого народа – мы должны отплатить им тем же. И еще раз уверяю вас – ваши слова и предсказания не разойдутся с делом, – все с той же застывшей улыбкой сказал Возинов. – Вы станете по-настоящему знаменитым на весь мир, встречи с вами будут добиваться самые могущественнейшие люди планеты... наш президент – тоже...

– Господи помилуй! – перекрестился отец Тихон, скомкал свою бороденку и стал ее немилосердно терзать, – он начал понимать, и ему стало страшно.

Затем они, гость и хозяин, изысканно-церемонно распрощались. И едва неожиданный гость вышел, старушка в черном тотчас проникла в приоткрытую дверь и смиренно замерла, ожидая указаний. И тогда Скурляев, совершенно опустошенный, услышал непрерывное, назойливое жужжание большой зеленой мухи, теперь, правда, больше похожее на зубную боль, стоном отдающуюся в самом мозгу.

– Трифонова, ты знаешь, кто это? – спросил он с какой-то светлой тоской, указывая на муху, бойко ползущую в этот момент по оконному стеклу.

Раздумывая, старушка в черном пожевала провалившимся ртом.

– Тоже тварь Божья, батюшка, – с благоговением предположила она.

– Я ее, проказницу, вторую неделю выгоняю, а она тут как тут. Притаится и опять тут... Господи помилуй!

– Муха! Муха! – закричал Скурляев, и лицо его задергалось и пошло пятнами. – Какая муха! Князь мира сего, это я тебе говорю, несчастная! – тут он в сжигающем приступе ненависти рванулся вперед и, исступленно целясь в ползущее насекомое, изо всей силы ударил ладонью по стеклу, тотчас со звоном рассыпавшемуся. Скурляев поднес к глазам распяленную ладонь и торжествующе вскрикнул:

– Попал! Попал!

За его спиной в углу отчего-то оборвалась и с шумом свалилась на пол темная и тяжелая старая икона. Старушка, раскрыв рот, охнула, попятилась, хотела вынырнуть вон, но Скурляев уже успокоился, взгляд его просветлел и тяжело уставился в одну точку перед собой, – в следующее мгновение глаза его вновь невыносимо тяжело вспыхнули – он увидел, как рушатся вокруг от горизонта и до горизонта самые вечные устои, и понял, что его гость был прав и он выполнит просьбу Божьих странников. Пришла слава, и ее нельзя было ни обойти, ни отринуть.

Азь воздам, Господи...

(рассказ)

Над Москвою, бессонной и беззащитной, пластались низкие осенние тучи, высылая на первопрестольную ледяные пронизывающие потоки. Вспыхивала реклама прославленных международных картелей и фирм, клещнясто, как бы навечно впаявшихся в московское небо. Громоздясь на своем балконе на двенадцатом этаже, Тулубьев вновь и вновь оглядывал расстилавшийся перед ним, все более отторгавший-

ся от его сердца город. Он привычно скользил взглядом по знакомым очертаниям кремлевских башен и вновь в пронзительно короткий срок вознесшихся к небу куполов и крестов Храма Христа Спасителя, по привычному зубчатому рельефу сталинских высотных зданий с характерно избежавшими к их шпилям ленточками мерцающих огней, замыкавших центральное пространство Москвы от трех вокзалов до Поварской и дальше по кольцу, – архитектурская мысль советской эпохи, казалось бы, на вечные времена определила и утвердила опорные столбы в пространстве столицы, – но не успел завершиться неистовый двадцатый век, а уж по всей Москве, по всей России зазвучали совершенно другие гимны, опрокидывающие и оскверняющие всё прошлое отцов и дедов, и уже хищно возносились рядом со сталинскими высотками стоэтажные банковские чудища, призванные символизировать безоговорочную и всеобъемлющую власть капитала и наконец-то победившей и на российских просторах мировой идеи вседозволенности сильного и всепокорности слабого, недостаточной для утоления всех печалей, страстей и пороков, издревле гнездившихся в душе человека от самого его рождения...

На балконе, словно обрывающемся в знобящую пропасть, озоровал и посвистывал ветер, он почти не чувствовался внизу – у замусоренной, отравленной тяжелыми городскими испарениями, задушенной бетоном и асфальтом земли. Тулубьев был уже достаточно стар, чтобы не думать о смерти и не бояться её, но еще достаточно здоров и ожесточен духом для окончательного смирения и покорного ожидания. Он стремился понять, осмыслить происходящее, хотя и этого у него не доставало – высшей мудрости всё той же тишины души перед непостижимым, громадным и первородно проклятым окаянным миром.

Неровно заросшее, большое, скуластое лицо Тулубьева

тронула крупная рябь – это он решил поиздеваться над самим собою и тотчас перехватил и задавил смешок, – перед ним корчилась в конвульсиях великая империя, и нужно было соответствовать. «Да, старина, – сказал себе Тулубьев, – вот оно, видит око, да зуб неймёт. Не осилить тебе этот распад, нет, не осилить, не успеть переработать случившееся... Не хватит времени».

Усмешка тронула его потрескавшиеся от старости губы. Прежде чем вновь появится образ человека как эталон некой высокой пробы, пройдет слишком много времени. Не успеть! А просто наблюдать этот распад и гниение неинтересно! Хотя сам по себе путь по этому лабиринту под космическими сводами игры первородных сил любопытен. Хотя жить, не имея сил вмешаться в происходящее, неинтересно! Чего стоит одна Москва, вон как полыхает электронным разливом прельщения на любой вкус – ешьте, пейте, развратничайте, обогащайтесь, только не думайте ни о чем, все уже продумано за вас, взвешено, вперед по проторенному пути! Не оглядываться! – Тулубьев, выпрямившись, зябко поднял воротник когда-то дорогой и модной, а теперь вытершейся на локтях куртки, – он вспомил, что еще ничего не ел, и обрадовался – на кухне, на столе, лежало с полбулки белого хлеба и стоял пакет кефира, хорошо, что не нужно одеваться и спускаться в булочную, жаль времени, можно еще посидеть за столом, записать одну мысль, показавшуюся ему стоящей. И еще можно заварить чай – единственное, в чем он себе не отказывал даже теперь, когда из квартиры почти все, вплоть до известной всей Москве библиотеки, было вывезено и продано, кроме справочной литературы, энциклопедии и самых необходимых ему книг. Правда, оставалась еще сама пятикомнатная квартира – за нее ему всё настойчивее предлагали бешеные деньги, уже весь дом, можно считать, сменил своих доперестроечных

всяких там известных ранее народных художников, писателей и престарелых артистов да композиторов, весь дом уже давно заселили новые русские, миллиардеры и президенты различных отечественных и закордонных громких компаний и банков, и только он, старый чудак, упорно держался, без лишней фаты слов выставлял за порог юрких квартирных маклеров и сводников.

Приоткрыв балконную дверь и не зажигая света, Тулубьев по памяти двинулся через бывший свой кабинет, затем спальню, гостиную и прихожую на кухню. В окнах отсвечивала всё та же бессонная реклама и неровно озаряла пустынные углы совсем недавно ухоженного и благополучного жилища. Тулубьеву захотелось узнать точное время, и он уже было шагнул по привычке к телефону в прихожей, старинному, тяжелому от бронзы аппарату, висевшему на стене, и сразу остановился – телефон молчал, выключили за неуплату. Забыл вовремя уплатить, вот теперь надо ехать на телефонный узел, к черту на кулички, суетиться, писать заявление, а стоит ли? Телефон молчал как мертвый.

Проворчав себе под нос что-то невнятное, Тулубьев замер – рядом кто-то был, он это отчетливо чувствовал, и первой его мыслью была мысль о том, что пришли наконец крутые ребята, как сейчас принято выражаться, пришли прикончить его за несговорчивость, – таких случаев теперь сколько угодно в первопрестольной.

Протянув руку, он щелкнул выключателем и оторопел – недалеко от входной двери в прихожей стоял мальчик, самый настоящий живой мальчик лет десяти, чистенький, русоволосый, изысканно и модно одетый. В руках он держал меховую кепку и щурился от внезапного яркого света. Какой-то незнакомый холодок и нежность сжали уставшее и ожесточившееся сердце Тулубьева – он никогда не видел

таких хорошеньких мальчиков, таких мальчиков в жизни просто и не могло быть.

Глаза мальчика, широко расставленные, светились до прозрачности, и Тулубьев на какое-то время потерял дар речи – стоял и молча смотрел. Молчал и мальчик, не опуская странных прозрачных глаз, смотрел пристально и неотступно. И тогда в глубинах памяти Тулубьева что-то дрогнуло, ему показалось, что он узнал нежданного гостя, что это он сам, вернувшийся после утомительного, долгого пути к своим истокам, к началу самого себя. Тулубьев коротко и глубоко, с явным облегчением вздохнул – да, вот не хватало только такого ясного знака. Теперь он явлен, давно и с нетерпением ожидаемый знак.

– Ну, здравствуй, – обрадованно потянулся Тулубьев навстречу видению, в то же время страшась, что вот-вот все пропадет, рассеется, – ему больше не хотелось бесполезного продления. Мальчик не исчез, не растаял в воздухе, а переступил с ноги на ногу.

– Я звонил, – сказал он, по-прежнему не смыкая немигающих, наполненных светлой синевой глаз. – Правда, правда, раз пять звонил. Толкнул – дверь открылась. Простите, неплохо входить без разрешения. Я позвал – тихо... темно... А теперь – вы дома. Я знал. Простите...

– Значит, я забыл запереть дверь, – сказал Тулубьев. – Чем обязан, молодой человек?

– Я живу над вами, – сообщил мальчик, доверительно склонив голову набок. – Сережа, – добавил он. – Я много раз хотел прийти...

– А-а! – неопределенно протянул Тулубьев. – Значит, ты из этих – новых наших соседей? Ты, очевидно, ошибся дверью, тебе нужен кто-то другой.

– Нет, нет, Родион Афанасьевич! – возразил мальчик, и в глазах у него пробился горячий блеск. – Я к вам! Прочитал

вашу книгу «Идущий следом»... хотел спросить... Я не ошибся, вы добрый, вы все знаете... Пожалуйста, не прогоняйте меня!

– Ага, – догадался Тулубьев, – значит, тебе понравился Рыжик?

– Да! – обрадовался мальчик. – Сегодня, нет, вчера ночью опять приходил. Сел рядом, высунул язык и дышит... А потом лизнул ладонь и смотрит, я знаю, он сказать хотел: ничего не бойся.

– Погоди, погоди, – попросил Тулубьев, чувствуя, что в его мир вламывается что-то ненужное, лишнее, и не находя в себе сил сразу решительно его отсечь. – Погоди... Значит, ты Сережа? Слушай, у меня в глазах рябит. Ты хочешь выпить со мной чаю?

Мальчик обрадованно кивнул и вскоре уже осторожно держал в руках чашку с дымящимся чаем, дул на него и отхлебывал маленькими глотками, – в лице у него проступил лихорадочный румянец.

– К чаю у меня ничего нет, – сказал Тулубьев. – Ты уж прости, но я ведь тебя не ждал. А твои родители знают, что ты здесь?

Пристально и спокойно взглянув, Сережа промолчал – вопрос был ему явно неприятен, и в уголках губ мелькнуло недетское отчуждение.

– Нет, – ответил он не сразу, взглянув исподлобья. – Да им все равно, правда, правда...

Он оборвал, осторожно, без стука поставил чашку, осторожно отодвинул ее подальше от края стола. Тулубьев чувствовал, что его странный, непрошенный гость в чем-то совершенно не походил на мальчишек своего возраста, в нем все время шла напряженная внутренняя работа; и тут Тулубьев подумал, что за этим странным, взрослым не по годам ребенком стоит что-то больное, и от этого ему сделалось неудобно

и зябко. Он налил себе еще чаю, из-под бровей взглянул на Сережу, что-то проворчал себе под нос – его не устраивало даже поверхностное, мимолетное общение с верхними соседями, нахватавшими свои миллиарды и теперь считавшими себя владыками всего сущего, но нельзя было срывать свое раздражение на мальчугане, явно отмеченном какой-то болезненной тенью, так доверчиво и простодушно потянувшимся к нему, нельзя спугнуть душу ребенка, даже если тебе самому тяжело и неудобно в жизни. Их глаза встретились, и оба улыбнулись: Сережа – открыто и широко, а Тулубьев – неуверенно, с трудом преодолевая желание положить ладонь на голову мальчугана и ощутить его шелковистые мягкие волосы.

– Сережа, а почему тебе так уж понравился Рыжик? Ну, пес и пес...

– Он – верный, – быстро сказал Сережа. – Он теперь всегда рядом, такой верный и добрый. И когда спать – он рядом. Я его все время слышу. Я знаю, я скоро умру, а Рыжик все равно будет. С ним не страшно...

– Господи Боже, – сказал Тулубьев, растерянно глянув на своего гостя. – Что за бред? Ты о чем таком говоришь?

– Да, я знаю, – повторил Сережа бесцветным голосом. – Я подслушал недавно, мама говорила с доктором и плакала – у меня не та формула крови сделалась и ничему не поддается. Знаете, меня много лечили, в Израиль возили, в Германию. Папа говорит, все без толку. Мама, когда одна, плачет, а я не боюсь. Я знаю – Рыжик придет. Скажите, Родион Афанасьевич, он не пропал, как в книге у вас? Как же он мог пропасть? – тихо, словно самого себя или кого-нибудь совершенно невидимого Тулубьеву спросил Сережа. – Он, наверное, приходит к тем, ну, кто его любит. Сидит у двери, ждет... Нехорошо, он у вас совсем не вернулся...

Заставив себя через силу улыбнуться, Тулубьев почти явственно ощутил на себе пытливый взгляд из неведомого по-тустороннего мира, даже глазам стало горячо, он не опустил их, не отвел в сторону – он должен был принять вызов, не имел права уклониться. И в лицо ему словно пахнул порыв горьковатого сухого ветра.

– Что ты, Сережа, – сказал он спокойно. – Книга-то недо-писана, пока только первая часть. А вторую я как раз завер-шаю... вероятно, скоро сдам в издательство, вот ты и прочи-таешь дальше. Рыжик там такой забияка...

– Правда? – обрадовался Сережа, глаза у него брызнули ярким всплеском.

– Правда, – подтвердил Тулубьев весело, и в тот же мо-мент раздался слабый, неуверенный звонок в прихожей.

– Мама, – тихо подумал вслух Сережа и опустил глаза. – Она всегда знает, где я, даже если я ничего не говорю. Это как Рыжик... Вы откроете. Все равно теперь не уйдет...

Тулубьев кивнул, встал, пошел открывать и увидел в про-еме двери невысокую женщину с напряженно-приветливым лицом, в накинутой на плечи дорогой легкой шубе из мор-ского котика, её ворот она придерживала у самого подбород-ка.

– Простите, – сказала она, с надеждой и робко взгляды-ваясь в широкое небритое лицо Тулубьева. – Я за Сережей. Я сверху – ваша соседка по подъезду, Елена Викторовна... Сереже давно пора спать, вы простите...

Тулубьев слегка поклонился.

– Здравствуйте, Елена Викторовна... Проходите, пожа-луйста.

– Нет, нет, что вы! – заторопилась она, увидев сына, вы-шедшего в прихожую, и в одно мгновение становясь уверен-ной и оживленной. – Мы не должны вам больше мешать, поздно... Так, Сережа?

– Можно, Родион Афанасьевич, я еще приду к вам? – вместо ответа спросил Сережа.

– Приходи, когда хочешь, – быстро ответил Тулубьев, стараясь не смотреть в сторону женщины. Едва увидав её лицо, он сразу понял, что всё услышанное от мальчика правда. – Какие здесь могут быть церемонии, мы же, Сережа, с тобой друзья... так?

...Они распрощалась по-взрослому, пожав друг другу руки, и, оставшись один в своей громадной и гулкой от пустоты квартире, Тулубьев долго бродил из комнаты в комнату, не в силах остановиться и сосредоточиться, и только ближе к полуночи, когда Москва уже начинала слегка затихать, он, с трудом отыскав нужную ему сейчас папку со старыми, аккуратно собранными еще покойной женой бумагами, сел за стол и до самого утра, словно в незапамятной молодости, лихорадочно и торопливо, пропуская слова и почти не ставя запятых и точек, писал, отшвыривая прочь исписанные листы, – так он уже не работал много лет.

Все пространство затягивало золотым и зеленым, и только в ярком небе плыли густые облака, и из них сыпался теплый, крупный, прозрачный дождь. Открыв глаза, мальчик замер – совсем рядом весело журчал ручей; то и дело смахивая с лица прохладные брызги, Сережа весело смеялся. Ему было хорошо, высокая серебристая трава покрывала широкую равнину, переходившую постепенно в горы, зеленые, лохматые, с нависавшими над ними ослепительно белыми тучами, – с острых заоблачных вершин словно сыпался чистый хрустальный звон. Хватая воздух горячим ртом, Сережа с невероятно обострившимся сознанием, чувствуя свое окончательное исчезновение, вновь слышал завораживающие, волшебные, непрерывные звоны, сливавшиеся в один стройный, усыпляющий поток. Очевидно, это и есть таинственная необратимая формула,

которая должна оборвать его жизнь, и от этой недетской мысли ему не стало страшно, совсем наоборот – он даже почувствовал облегчение. Вот-вот должен был появиться кто-то большой и добрый, взять его на руки и унести за край земли, в бесконечный покой.

Острые вершины гор сдвигались и начинали куриться хрустальным сиянием. Вновь раздались протяжные звоны, и вокруг стали расти высокие блестящие сугробы. Сережа не успевал отгребать их от себя – они засыпали его со всех сторон, и тогда он из последних сил рванулся, упруго оттолкнулся от земли и в следующий момент взлетел, плавно и мерно взмахивая руками, ставшими сильными и гибкими, – они со свистом рассекали густой воздух. Необъятная и незнакомая земля простиралась внизу, вся лохматая, яркая, сине-зеленая, горы исчезли, и в небе высыпали крупные звезды. Свежий прохладный воздух лился в разгоряченную свободную грудь, тело, упругое и послушное, стремительно, как того хотелось Сереже, скользило вверх и вниз, и он захлебывался от восторга. Неожиданно перед ним встала отвесная стена, изрезанная прохладными, заросшими густой зеленью ущельями. Он видел внизу кипящие белозной водопады, извилистые горные потоки, стремящиеся к морю. Двумя сильными рывками разрезая воздух, он почти отвесно взмыл вверх, пронесся над самой вершиной, чуть ли не задел грудью за камни, и ему навстречу сразу же ринулось сияющее в потоках солнца неоглядное море. Оно билось о каменистый берег и было из края в край залито тяжелым золотисто-голубоватым огнем. С отчаянно веселым криком ужаса и восторга он устремился вниз, ударился о невысокую тугую волну и, набрав побольше воздуха в грудь, нырнул в глубину. Вода плотно обхватила его тело, стала выгалкивать из себя, и он подчинился, стремительно вынырнул и вновь взмыл в небо. За ним из воды выпрыг-

нуло несколько больших серебристых рыб, весело раскрывших зубастые пасти, но они тотчас шлепнулись назад и исчезли, а он, как сильная и ловкая птица, полетел над самой поверхностью моря, испытывая наслаждение и радость от стремительного полета и в то же время помня, что ему нельзя остановиться, иначе вновь появится загадочная формула, и всё погаснет и исчезнет...

Он не заметил, как у него появилось ощущение того, что теперь рядом с ним кто-то был, но сколько мальчик ни вертел головой, он никого видел, и вдруг почти рядом с ним вынырнула смеющаяся, симпатичная веселая песья морда. Это и был Рыжик, конечно же, он! С радостным визгом рванувшийся к Сереже и сразу же тесно обхвативший его сильными лохматыми лапами, в одну минуту он облизал длинным горячим языком мальчику лицо, и тот, с восторгом обхватив его за шею и уткнувшись носом в лохматое ухо, замер от наслаждения. Дальше они понеслись над морем вместе, крепко обнявшись, и Рыжик торопливо рассказывал другу на удивительно знакомом и абсолютно понятном языке о своих долгих странствиях, об отчаянии и одиночестве, говорил о том, что теперь они наконец встретились и никогда больше не расстанутся.

– Я знал! Я знал, что ты придешь, – кричал Сережа, и они неслись все дальше и дальше, кувыркаясь и дурачась. Больше им уже ничего не надо было говорить, – они как бы стали одним существом, одинаково чувствовали, думали и видели. Море внизу непрерывно вскидывало к ним пенистые веселые волны, они становились все выше и ближе, и теперь друзьям приходилось напрягаться – руки у Сережи стали неметь, в груди вспыхнула острая горячая боль. Невольно с тоскливым криком выпустив лапы лохматого друга, мальчик стал проваливаться.

– Рыжик! Рыжик! – отчаянно звал он, ударившись о тугу

взметнувшуюся ввысь пенистую волну, ушел под воду и задохнулся бессильным криком. От прихлынувшего удушья он стал отчаянно рваться наверх, вынырнул наконец из черной, тяжелой воды и увидел остановившиеся, провалившиеся глаза матери.

– Мама, – беззвучно сказал он, но Елена Викторовна услышала. – Нечем дышать... Открой балкон... мама... Задыхаюсь...

Елена Викторовна подхватила легкое, исхудавшее тело сына на руки, прижала к себе и выбежала в другую комнату, где теперь постоянно находился дежурный врач, – тот уже сам, услышав шум и голоса, вышел навстречу, слегка помятый и заспанный. Привычно и ловко перехватил мальчика, уложил его назад в постель, строго и непреклонно попросил Елену Викторовну удалиться, сделал все необходимое, и, когда серые губы больного слегка потеплели и дыхание выровнялось, врач еще подождал, присев рядом с кроватью.

– Спи, Сережа, спи, – сказал он негромко и бодро, подумав, что ложь бывает необходима и добрее правды. – Погода сейчас утрюмая, ни зима... ни лето... Скоро пойдет снег, белый-белый, станешь на лыжи – и под гору! Здорово! Солнце, знаешь, такое веселое... жжется морозцем... И на ветках пушистый мороз... снегири важные, совсем президенты... пухлые, красногрудые... красота кругом... светло...

Когда мальчик заснул, молодой врач задумчиво потерял свою интеллигентную рыжеватую бородку, заведенную для солидности, и вышел в гостиную, где его уже ждали. Ему было трудно встретиться с больными и ждущими глазами женщины, и поэтому он больше обращался к отцу мальчика, человеку, уверенному в себе, неторопливому, подтянутому, весьма преуспевающему в новой российской жизни, о чудовищном богатстве которого с оглядкой и недоумением шептались по

всей Москве. А еще врач обращался к главе семейства с неосознанным вызовом, стремясь хоть немного уравновесить причуды жизни и тем самым дать понять этому оказавшемуся на вершине могущества человеку, что самые крутые взлеты чреваты самыми головокружительными провалами, и здесь ничего не поделаешь, закон бытия неизблем.

– Уснул, слава Богу. Да, Георгий Павлович, – выждав соответствующую паузу и решившись, заговорил он. – Я понимаю, о чем вы хотели бы спросить, и медлите... Но я врач и должен. Это мой долг. Мальчика необходимо отправить в больницу, и чем скорее, тем лучше. Зачем подвергать и себя, и большого такому страданию?

– Нет! – Лицо Елены Викторовны исказилось. – Нет! Я не хочу! За наши грехи я отвечаю, я должна до конца пройти... Нет, нет... Боже мой, нет!

Она разрыдалась, вздрагивая худыми плечами. Муж шагнул к ней, обнял и стал молча поглаживать ее плечи, постепенно ее рыдания стихли.

– Сколько ему осталось, доктор? – ровным голосом спросила она, и ее тонкие пальцы, крепко стягивающие ворот блузки, побелели на суставах.

– Я полагаю, не более недели... А может быть, сутки или несколько часов. Этого никто не знает... Не может знать... Простите, я еще раз настойчиво советую вам...

– Нет! – теперь уже враждебно, с ненавистью сказала Елена Викторовна. – Нет! Сережа останется дома. Пусть... у меня на руках...

– Лена! – негромко подал голос Георгий Павлович. Она злобно отшатнулась, прошла к дивану с высокой гнутой спинкой и села. Врач незаметно вышел, и Георгий Павлович, сразу утративший свой молодцеватый независимый вид и постаревший, подошел и опустился с женой рядом.

– Лена...

– Молчи, ничего не говори, – остановила она. – Сережа будет здесь до последней секунды... да, вот она, роковая формула... Впрочем, это ни к чему тебя не обязывает. Я – справлюсь, я должна справиться... А ты можешь продолжать делать свои проклятые деньги!

– Лена, что ты такое говоришь, опомнись! – возмутился он и, тяжело поднявшись, сгорбившись, прошел в свой кабинет, плотно прикрыл за собой дверь и повалился на просторный кожаный диван. Да, он умел делать деньги, большие деньги и не видел в этом ничего предосудительного или греховного, но сейчас на него накатила волна нечеловеческого ужаса. Он мог исполнить любое свое фантастическое желание и не мог самого простого и необходимого – защитить и спасти дорогое – собственного сына. И он, усилием воли задавив рыдание, хотел помолиться, но не смог вспомнить ни одной молитвы и только между прорывающимися всхлипами шептал что-то невразумительное.

– Господи, – просил он, – только не это... все отдам... все отдам, только помоги... оставь мне его... Господи...

В косое пространство между неплотно задернутыми тяжелыми бархатными шторами рвался неровный багровый отсвет – безмолвный крик о помощи и сочувствии.

Рано утром, когда еще только-только начало светать, Тулубьева разбудил настойчивый звонок, и он, проклиная непрошеного гостя, с трудом влез в теплый стеганный халат и отправился открывать. Пришли дочь с зятем, который с самого первого знакомства вызывал у Тулубьева чувство острой опасности: глубоко посаженные маленькие, все щупывающие и просчитывающие глаза, квадратный чугунный подбородок и манера говорить короткими рублеными фразами из двух-трех слов, хотя бы речь шла о самых сложных материях, – все в этом человеке, ставшем по воле судьбы его зятем, было отвратительно Тулубьеву; зять был по-своему

мужик ловкий и разворотистый, цепко схватывающий суть происходящего. Так, не успели руководящие коммунисты перекраситься в демократов и смертельно возненавидеть родную советскую власть, как он тотчас уловил, куда дует ветер, и мгновенно открыл розыскное бюро по частным вопросам интимного свойства и через два года уже стоял во главе огромного дела – сотни сотрудников и безгласных подчиненных. Тайные и явные филиалы по всей Москве и далеко за её пределами множились и множились, словно грибы в урожайный год. Зять знал теперь всю подноготную самых высоких политиков и прочих знаменитостей, его тайная картотека разрасталась с ужасающей быстротой, о чем он проговорился Тулубьеву как-то в момент ненужной откровенности.

– Папа, мы на минутку! – защебетала дочь, теребя Тулубьева, в то время как шофер зятя, саженого роста молодец, с физиономией, источавшей, казалось бы, одно сплошное удовольствие и даже восторг жизни, внес в прихожую два объемистых картонных ящика, перевязанных шпагатом, и, весело поздоровавшись, неслышно удалился. Тулубьев знал, что это не только шофер, но и самый доверенный телохранитель зятя и что он теперь будет курить за дверью и бдительно охранять драгоценную личность своего шефа.

Плотнее запахивая старый халат, Тулубьев вопрошающе воззрится на гостей.

– Мы, папа, кое-что тебе подбросили, – все с той же непринужденной живостью стала объяснять дочь. – Зачем тебе лишний раз по магазинам таскаться? Грипп...

– Вы же знаете, я ничего не возьму, – сердито сдвинул брови Тулубьев. – Сейчас же забирайте обратно!

– Папа! Это же глупо! – бросились дочь в атаку, и глаза ее слегка разъехались. – В конце концов, сколько можно упрямиться. Ну что ты своим воздержанием докажешь?

– Ба! Что это с тобой, Вика! – изумился Тулубьев, пристально взглядываясь в лицо дочери с выступившим на щеках неровным румянцем. – Разумеется, спасибо, благодарю за внимание, хотя, право же, мне совершенно ничего не нужно, я ни в чем не нуждаюсь.

– Ты известный всей России человек, папа, Москва тебя знает! – не сдавалась дочь. – Ты не замечаешь, а тебя многие сотни людей видят, ты ведь на телевидении раньше был частым гостем! Да только позавчера меня одна знакомая спрашивает: а что, говорит, Виктория Родионовна, выхожу я недавно из Кропоткинского метро, гляжу, книгами торгует с рук человек, ну так на вашего батюшку, знаменитого писателя, похож. Один к одному! Бывает же такое сходство! Вот змея! Конечно, говорю, не может, Анастасия Федоровна, мало ли, говорю, на Москве сходных лиц? Да сколько угодно! Каково мне, дорогой папа, выслушивать, она даже не скрывала особенно, что ни одному моему слову не верит!

Неожиданно придя в отличное настроение, чем еще больше распалил и раздражил дочь, Тулубьев приветственно махнул рукой и отправился принимать душ; а Вика решительно приказала мужу распаковывать ящики, грузить продукты в холодильник, оказавшийся совершенно пустым и звонким, а сама стала хозяйничать на кухне, и скоро там был накрыт стол, дымился кофе, на большом блюде красовались бутерброды с лососиной и красной икрой, стояла бутылка хорошего кавказского вина, а на плите на двух сковородках шипели и скворчали телячьи отбивные. К тому времени забитый до отказа холодильник был уж включен на полную мощность и натруженно гудел, но за семейным столом, где Тулубьев и его дочь с мужем собрались наконец, позавтракав, разговор по-прежнему не клеился, и Вика после тщетных попыток разговорить отца опять, несмотря на иронические взгляды

мужа, бросилась врукопашную, доказывая необходимость беречь себя и свое имя, а Тулубьев, потягивая вино и с удовольствием вспоминая забытый вкус, с иронией поглядывал в сторону дочери – раньше за ней такой горячности он что-то не замечал.

– Ну, хорошо, хорошо, Вика, – остановил он её. – Не понимаю, куда ты клонишь? На содержание к вам я не пойду...

– И не надо, не надо, папа! – перебила его дочь. – Дорогой родитель, ты – тоже не подарок! Сам это знаешь, не обижайся... Мы с Игорем...

– Ну, ну, – поощрил Тулубьев и отхлебнул вина.

– Так вот, папа, у тебя пятикомнатная квартира в самом центре Москвы. Она, слава Богу, приватизирована, – с воодушевлением заговорила дочь. – Ты представляешь? Ты же богач! Меняем твою квартиру на две или три, в одной живешь ты, а две других мы сдаем, и у тебя будет пожизненный доход. Совершенно ни от кого не зависишь. Да, кстати, тебе завтра телефон включают, мы заплатили.

– Предлагаете мне на всю катушку включиться в новую жизнь, – раздумчиво сказал Тулубьев, и глаза у него насмешливо сощурились.

– Литература больше никому не нужна, будет ли когда нужна, еще неизвестно! – отрезала Вика. – В стране, где президент предпочитает голубую газету для сексуальных меньшинств всем остальным, духовность нации определяется именно этим примечательным фактом. Каков президент, таков и народ, на кой ему нужен Гоголь, Достоевский? Сейчас в твоей любимой России всё народонаселение сплошь состоит из Чичиковых – все покупают и продают мертвые души! Что делать – приспособливается, не помирать же на потеху новым неандертальцам! И самому надо...

– Становиться Чичиковым... Вот что значит молодые мозги! – Глаза Тулубьева еще больше помолодели, оста-

навливая порывающуюся сказать что-то дочь, он предостерегающе поднял руку. – У меня контрпредложение, вот... я соглашусь, родные мои, на любые ваши условия, если вы обзаведетесь потомством. Хотя бы одним для начала... Вот мое последнее слово, другого не будет, ты меня хорошо знаешь...

– О-о! – протянула Вика, высоко вздергивая брови и становясь похожей на отца. – Я тебя, папа, слишком хорошо знаю, не первая твоя кавалерийская атака по данному поводу!

– Как угодно, вам решать, дочка, – миролюбиво прогудел Тулубьев. – А ты мое слово знаешь. Стыдно, господа, русский народ вымирает, а два здоровых, полных сил человека, заметить хочу особо, обеспеченных сверх всякой меры, бояться завести ребенка! Позор!

– Да я что, – подал голос Игорь, поворачиваясь всем телом к Тулубьеву, и кожаный пиджак на его тугих плечах закрипел. – Я давно говорю Виктории...

– Ты не говори, а действуй! – сердито оборвал его Тулубьев. – Мужик ты или...

– Прекратите! – предостерегающе повысила голос Вика. – Еще одно слово, и я уйду!

– Ладно, спохватитесь, да поздно будет. Природа – самая высшая мудрость, у нас для всего свой, строго определенный срок. Эх вы, хозяева жизни! С собой ничего не унесете, ни полушки. Копите, копите, а оставить некому будет.

Неделю, забыв обо всем, Тулубьев работал с каким-то почти болезненным наслаждением, с небольшими перерывами на сон да на короткую вечернюю прогулку – он словно вернулся в привычную, необходимую и понятную ему жизнь и спешил вжиться как можно глубже в эту жизнь, не пропустить ни одного ее глухого угла, уловить все её запахи, разгадать и прочесть все её запутанные следы. В нем обострились

заглохшие, казалось, окончательно инстинкты, он сам почти превратился в собаку, весь его путь направлялся теперь не прекращающейся ни на секунду жадной цели, жадной возвращения в потерянный и постоянно зовущий бесконечный мир запахов и звуков. Ему снились теперь странные бесформенные сны, ветры, доносящие знакомые запахи, – они вели его все дальше и дальше, он петлял, путался, бесконечное число раз терял след и возвращался назад и всякий раз, преодолевая отчаяние и тоску, вновь отыскивал утерянное и устремлялся дальше, всё яснее ощущая желанную цель, и от этого всё больше метался и рвался на своей невидимой привязи, с тем отличием, что она не ограничивала перед ним простор поисков и не осаживала назад, а неудержимо влекла все дальше и дальше. Он не отвечал на телефонные звонки или даже стук в дверь – он их просто не слышал. Он был уже у цели, готовился, преодолевая дрожь нетерпения, перешагнуть последний рубеж – и именно в этот момент услышал длинный, настойчивый звонок в дверь. Чувствовалось по тоскливой безнадежной настойчивости, что звонили давно. Возвращаясь из своего затянувшегося отсутствия, Тулубьев взглянул на часы. Шел второй час пополудни, особенно провальный и гнетущий, и тогда Тулубьев, окончательно возвращаясь, ощутил и в себе, и вокруг особую тишину и неожиданно подумал, что случилось что-то непоправимое. Он прошел через пустынные, настывшие комнаты и быстро, не спрашивая и не всматриваясь в дверной зрачок, открыл. Увидев бледное и еще больше похudevшее лицо верхней соседки, он посторонился, пропуская:

– А-а, вы, Елена Викторовна... Почему-то так и подумал...

– Я много раз звонила, – шевельнула она сухими губами.

– Никто не отвечал. Я думала, вы уехали... Сережа хочет вас видеть... уверяет, что вы рядом, дома. Я умоляю вас, Родион Афанасьевич, сам он уже не встает...

– Да, да, я сейчас, сию минуту! – заторопился Тулубьев с мучительно засаднившим и словно куда-то покотившимся сердцем. – Запомню... Минутку, только что-нибудь накину на себя!

Пятью минутами позже он уже был у кровати больного мальчика и, присаживаясь рядом с его изголовьем, сказал:

– А знаешь, Сережа, нашелся Рыжик. Правда, совсем недавно, вчера...

Глаза у мальчика были уже нездешние, подернутые неземным успокоением, и Тулубьев помолился про себя, попросил Всевышнего дать мальчику силы выдержать.

– Я ждал, ждал... никого нет, – сказал Сережа. – Думал, вы не придете...

– Ну как так! – осторожно возразил Тулубьев, стараясь не допустить ни одного лишнего движения, заставляя себя предельно собраться.

Сережа не опустил глаз – смотрел все так же прямо перед собой, ровно и прямо.

– Знаете... скоро совсем умру... я знаю, – сказал он с детской прямоотой и бесстрашием, и Тулубьев ниже склонился к мальчику, гораздо ниже, чем требовалось, чтобы услышать. – Я эту формулу видел во сне, она была вся черная, черная звезда... яркая, но черная...

– Черная? – повторил Тулубьев не без удивления и осторожно погладил тонкую восковую руку мальчика, лежавшую поверх одеяла. – Ну, брат, чепуха! Поверь, никакой татой формулы нет, она действительно тебе только приснилась. Подумаешь, невидаль, черная звезда! Мы еще с тобой Рыжика не дождались, он ведь нашелся. Теперь у нас с тобой будет много дел, или ты уже забыл?

– Нет, не забыл, – медленно ответил мальчик и слегка шевельнул головой, поворачиваясь к Тулубьеву, – по истончившемуся лицу Сережи поползли тени, на голубом

персидском ковре, висевшем на стене за кроватью мальчика, четче проступил рисунок. Тулубьев подумал, что вот пришел срок и он обязан, ему предопределено вернуть этого уже ступившего за земную черту ребенка назад, в земной понятный мир, и что это может и обязан сделать только он. Сердце часто и сильно билось, глаза отяжелели, в них сейчас словно сосредоточилась вся его оставшаяся жизнь. Он не отпускал глаз мальчика, он должен был встряхнуть все его существо, вырвать из ледяной пустоты; взяв легкую, невесомую холодную руку Сережи в свои ладони, он стал согревать ее своим дыханием, не отпуская ни на минуту глаз мальчика. И вдруг в глазах его, где-то в самой их глубине, пробился легкий проблеск, и затем он уловил в своих ладонях едва ощутимое ответное тепло; усилием воли он приказал себе не расслабляться, улыбнулся в расплывающийся полумрак, и вдруг в шепоте Сережи послышалась иная нотка:

– Скажите, он вас сразу узнал? Рыжик?

– Еще как узнал! – быстро ответил Тулубьев. – Рыжик никогда ничего не забывает, как же! Давай я тебе почитаю все, как было с самого начала... вот. – Он достал из внутреннего кармана пиджака свернутую вдвое рукопись, расправил ее на коленях, и, нацепив на нос очки, взглянул поверх них и невольно задержал дыхание. Облик Сережи неуловимо переменялся, и этого нельзя было объяснить или выразить словами, это можно было только почувствовать; даже легчайший посторонний мимолетный вздох, дуновение могли нарушить это зыбкое равновесие, и все было бы кончено навсегда. В мальчике едва теплился последний, самый последний резерв продолжения жизни. Связанный нерасторжимо с умирающим ребенком этой грозящей вот-вот оборваться нитью, Тулубьев нарочито бодро прокашлялся и придвинул к себе ночник.

– Итак, пришла ночь, звезды льдисто мерцали по всему небу. Почти неделю Рыжик ничего не ел, он забился под занесенный снегом куст, прокопав себе ход в плотном снегу до самой земли, до прошлогодней, слежавшейся листвы, и, повозившись, свернувшись клубком, уткнув нос в брюхо, попытался согреться. Мороз крепчал, и особенно здесь, в лесу, примороженные стволы деревьев звонко потрескивали. Сначала Рыжик мелко дрожал всем телом, затем от голода и усталости задремал, и ему приснился большой кусок теплого мяса с торчащей из него костью. Рыжик тихонько взвизгнул от радости и щелкнул зубами. Проснуться он не смог и стал грызть сочную кость во сне, отрывать от нее большие куски мяса и жадно глотать...

Уловив какое-то слабое движение рядом, Тулубьев посмотрел поверх очков на мальчика. Помогая себе бессильными руками, Сережа старался приподняться и устроиться поудобнее.

– Погоди-ка, Сережа, – заторопился Тулубьев. – Дай-ка я тебе помогу... вот так... отлично.

– Сам, сам. – Увидев выступившую из-за спины Тулубьева, из полумрака мать, он попросил пить, и Елена Викторовна, с неживым, привычно улыбающимся лицом, тотчас подала ему брусничный сок, и Сережа, не отрываясь, выпил его до дна. Опустившись на подушку, он что-то прошептал – ни Тулубьев, ни Елена Викторовна не расслышали, глаза мальчика были закрыты, чашка из-под сока беззвучно скатилась на ковер. Никто этого не заметил – и Тулубьев, и Елена Викторовна не отрывались от лица Сережи. Спустя несколько минут Тулубьев беззвучно встал и вышел неслышно в другую комнату, почти насильно уводя за собой Елену Викторовну.

– Спит. Не трогайте его и никого не пускайте. Никого, ни врача, ни мужа! Пусть спит столько, сколько сможет. Глав-

ное, никого к нему не пускайте. Елена Викторовна, завели бы вы щенка, не с королевской родословной, а веселого такого, крепкого, от любой дворняжки. Завтра утром поговорите с Сережей, посоветуйтесь.

Даже в полумраке Тулубьев заметил, как мучительно вздрогнуло и стало еще строже лицо женщины; он кивнул, вышел. Елена Викторовна каким-то образом тотчас опередила его, и они оказались в ярко освещенном коридоре. Она лишь смотрела на него.

– Право, Елена Викторовна, веселого, рыжего щенка...

– Вы полагаете?

Тулубьев, мгновенно настраиваясь на готовность измученной, настрадавшейся души поверить в чудо, стараясь перебороть внезапно сжавшуюся в сердце тоску, не отводя и не преча потеплевших глаз, утвердительно кивнул:

– Вот именно! Голосистого, веселого... и рыжего. Как завтра проснется Сережа, зовите меня читать... Отпустите вы свою душу, Елена Викторовна, и сами отдохните, поспите немного, все будет хорошо, я ведь колдун, Сережа не зря меня позвал, дети это чувствуют. Помните, волхвы у славян были?

Елена Викторовна готовно закивала, сияясь улыбнуться, схватила обеими руками его руку прижалась к ней лицом.

– Ну это вы, сударыня, напрасно. Ну, будет, будет вам, голубушка, все же хорошо!

– Спасибо, спасибо, век буду за вас Бога молить. Пожизненно раба ваша... Мы с мужем... все, что угодно!

– Да будет вам! А то рассержусь. Ищите щенка. Купите, украдите, но чтобы завтра был. И непременно рыжий!

Ему показалось, что в одной из дверей, выходящих в парадный, широкий, уставленный мраморными бюстами и сплошь завешанный картинами, иконами коридор, мелькнуло чье-то крупное лицо, выразившее растерянность, изум-

ление, остолбенение, мелькнуло на мгновение и скрылось, – Тулубьев не успел разглядеть его подробно, хотя отметил какую-то тяжелую малоподвижность этого широкого ухоженного лица.

Было уже далеко за полночь, когда Тулубьев вышел на свой широкий балкон и стал вслушиваться в тихий, немолчный гул города. Внизу бессонно бежали огни и над Кремлем держалось мглистое неровное сияние. Где-то недалеко в ночном небе угадывалась темная громада Храма Христа Спасителя. Мысленно поклонившись ему, Тулубьев закрыл балкон и пошел спать.

Прошел день, второй и третий, каждый раз утром раздавался звонок, и Тулубьев, уже одетый, поднимался этажом выше, проходил в комнату больного мальчика и, поздоровавшись, устраивался удобно в кресле рядом с кроватью и начинал читать следующую главу о верном Рыжике, о его трудном, непреодолимом стремлении домой, к беспредельно любимому существу, слабому, полуслепому старику и к его осиротевшему маленькому внуку Сеньке, проказливому и неугомонному, как и все мальчишки в его возрасте.

Тулубьев не спешил, особое внутреннее чутье вело его, он по-прежнему нерасторжимо был связан с мальчиком, и с каждым днем затянувшееся глухое равновесие в состоянии больного мальчика капелька по капельке крепчало в сторону выздоровления. Он знал, что придет момент и наступит перелом, почти кожей он ощущал близость этого момента, и вот в конце срока, когда, по всем прогнозам врачей, профессоров и даже академиков, Сережа уже должен был умереть, Тулубьев добрался наконец до возвращения Рыжика домой, до его встречи с больным стариком и полуголодным внуком, ходившим каждое утро на вокзал просить милостыню. Исхудавший до костей Рыжик приполз к родному порогу одновременно с вернувшимся домой со своего промысла

Сенькой, купившим на сиротское подаяние хлеба, пакет кефира для деда и даже кусок дешевой колбасы. Маленький нищий сразу узнал своего верного друга и, остолбенев от радости, шлепнулся на колени, раскинул руки и крепко обнял Рыжика. Покупки посыпались прямо на грязный коврик перед порогом, а Рыжик, потрясенно взвизгивая, вскинул лапы мальчику на плечи и стал лихорадочно облизывать ему лицо горячим шершавым языком и плакать от радости...

– Рыжик, Рыжик, – обрел пропавший было голос Сенька.
– У меня колбаса есть... Хочешь? Ешь, ешь! Я еще куплю...

И тогда что-то случилось. Не решаясь взглянуть в сторону Сережи, Тулубьев не мог, однако, больше читать, челюсти у него свело. Он почувствовал робкое прикосновение тонких сухих пальцев мальчика к своей руке. Сережа лежал с широко открытыми глазами, и в них светилось столько выстраданной, тихой нежности, что Тулубьев сердито вытер повлажневшие глаза и услышал, как ручонки Сережи слабо обняли его шею.

– Ну, дорогой мой человечиче, – смущенно бухнул в разлившуюся гулкую пустоту Тулубьев. – Ну, ты, брат, силен... Молодец, молодец, дай-ка я тебя сам расцелую, богатырь ты мой...

Он подхватил исхудавшее, легкое тело больного с кровати, прижал к себе, походил с ним по комнате, что-то приговаривая, затем осторожно опустил Сережу на место. И мальчик, не сразу оторвав от шеи Тулубьева руки и уронив их вдоль тела, блаженно закрыл глаза, дыхание его понемногу успокоилось.

Стараясь не шелестеть, Тулубьев сложил рукопись, сунул ее в карман, взглянул в спокойное, истончившееся, сразу порозовевшее лицо уснувшего мальчика, неслышно перекрестил его и вышел.

Прошел год и второй, Сережа теперь превратился в крепкого подростка, и не было дня, чтобы он не заглянул к Тулубьеву хотя бы на несколько минут. Между ними установились совершенно особые отношения душевной близости; в лице Сережи теперь играл здоровый молодой румянец, он ходил в бассейн, отлично развивался и быстро рос. И вот однажды к Тулубьеву спустился отец Сережи – Георгий Павлович Никитин. С первого же мгновения, едва взглянув ему в широкое, холодно приветливое лицо, Тулубьев почувствовал себя неуютно. Никитин был у Тулубьева впервые, и в лице у него мелькнуло легкое удивление, хотя раньше жена ему о многом рассказывала. Просторная квартира была гулкой и пустой, почти вся мебель была давно продана и прожита, и гость присел на сохранившееся от старинного гарнитура высокое дубовое кресло.

– Слушаю вас, Георгий Павлович, – сухо и официально кивнул Тулубьев, все больше ощущая скрытую враждебность и неприязнь к гостю. – Чем обязан?

– Давайте, Родион Афанасьевич, напрямик, по-мужски. – Никитин небрежно окинул взглядом пустой кабинет с единственным приличным пейзажем на голой стене, с разлохматившимися и кое-где начавшими отставать обоями. – Я к вам посоветоваться. Вы отнимаете у меня единственного сына... Вы даже ключ к собственной квартире ему дали... Да, да, по вашему взгляду я вижу: вы всё понимаете. Вот я и хочу спросить у вас, что же мне делать?

– А что, господин Никитин, разве необходимо что-то делать? – спросил и Тулубьев, усаживаясь на второе кресло у письменного старинного мореного дуба стола из все того же фамильного проданного гарнитура и с неожиданной проснувшимся глубоким интересом всматриваясь в Никитина.

– Я полагаю – да. – Никитин стряхнул невидимую пыль

с брюк на колене. – Я не хочу, чтобы мой сын вырос слюнтяем и чтобы его тут же раздавили. Я внимательно изучил всё вами написанное, все ваши книги... Сознайтесь, Родион Афанасьевич, ваш прекраснотушный романтический мир давно рассыпался, исчез. Россия давно другая, теперь главное в России – деньги. Это и сила, и власть, и жизнь. Зря вы иронически усмежаетесь, всё вернулось на круги своя.

– Как вы ошибаетесь, господин Никитин! – покачал тяжелой головой Тулубьев. – Россия – это прежде всего Бог... Так было, так будет всегда. А все иное – это уже не Россия...

Втягиваясь помимо своей воли в ненужное и тягостное противостояние, Никитин все же не думал уступать, да и не мог, он не был согласен с упрямым и чудаковатым стариком, пережившим свое время и самого себя.

– Останемся, дорогой сосед, каждый при своем, ведь возможно сосуществовать и так, – сказал он примирительно. – У нас более конкретный вопрос. Как вы понимаете, я бы мог переменить квартиру, уехать в другой район Москвы или даже куда-нибудь за океан. Дело у меня налажено, и им можно управлять при нынешних средствах связи даже из Австралии. Вы понимаете, что это нашу проблему не решит... Так ведь, Родион Афанасьевич?

– У вас, я думаю, как у всякого очень делового человека, есть свои продуманные предложения, – еле заметно улыбнулся Тулубьев – Слушаю вас.

– Что ж, – повторил, как эхо, Никитин. – Что ж... Вы правы, действительно, есть. Мое предложение – вы должны подготовить Сережу и затем уехать на другое место, в другой город... Допустим, в Париж или Мадрид... или в кругосветное путешествие, как это часто делают состоятельные пожилые люди... Если не захочется, хотя бы в другой район Москвы или в Подмосковье, у меня есть возможность предо-

ставить вам в личную собственность жилье на выбор. Любое, хоть квартиру, хоть особняк. Разумеется, своего настоящего адреса вы Сереже не дадите...

– Вам, господин Никитин, не жалко сына? – спросил Тулубьев, глядя на своего гостя исподлобья.

– Жизнь жестока, Сережа скоро повзрослеет и будет мне благодарен, – ответил Никитин. – Другого выхода я не вижу. Я понимаю, вас деньги давно не интересуют, но вы ведь по-своему привязаны к Сереже, возможно, в глубине души крепко полюбили его. Мы с женой всегда будем помнить, что именно вы вернули его к жизни... Так ведь?

– Вполне возможно, – подтвердил Тулубьев. – А теперь я, знаете ли, быстро устаю. Я подумаю, господин Никитин, над вашим предложением.

Они встали, Никитин был пониже, и некоторое время они смотрели друг на друга молча и сосредоточенно, словно отдыхали от трудного разговора.

– Я вас, Родион Афанасьевич, очень прошу не тянуть, у человека так мало времени, – сказал Никитин и, поклонившись, быстро вышел, а Тулубьев, очнувшись, покачал головой:

– Вот негодай... а? Черт знает что происходит...

На следующей неделе он посоветовал своему всемогущему соседу, когда тот напомнил о себе телефонным звонком, никогда больше не обращаться к нему по этому поводу, и как-то сразу забыл о нем. Сережа продолжал заглядывать к Тулубьеву чуть ли не каждый вечер, рассказывал о своих делах, о закрытом колледже, в котором учился, и однажды, помявшись, сообщил, что отец уговаривает его уехать в Лондон и получить лучшее в мире образование и что он категорически отказался.

– Ведь я правильно сделал? – спросил он требовательно, и Тулубьев замялся, вот жизнь опять вынуждала его к

нелегкому противостоянию, почти к подвигу, скорее всего, бессмысленному.

– Да, – коротко и тяжело вздохнул он, хотя в душе ширилось и ширилось совершенно иное чувство сквозящего, почти солнечного простора. – Знаешь, Сережа, я задумал кое-что написать, собираюсь на несколько дней уехать к знакомым. Зовут к себе, на дачу, мне у них хорошо работается. Так что ты не тревожься. В Москве стало трудно работать – шумно, суета, гарь, все пронизано темными токами. Приеду – сразу дам знать, на той неделе сразу же и отправлюсь.

– Так это ведь еще на той неделе! – заметил Сережа. – А сейчас только среда... Я тут кое-что набросал, я вам оставлю тетрадку, вы посмотрите. Хорошо?

Захлопотавшись, совершенно запутался в вещах, которых оказалось неожиданно много, понимая, что нужно отобрать, отправляясь пожить на несколько дней в чужой дом, Тулубьев к концу недели, вечером, по своему обыкновению вышел на балкон. Темнело, пропархивал крупный редкий снег, залетая иногда в затишье и попадая на лицо и руки. Тулубьев представил себя в снежном лесу и улыбнулся – все-таки жизнь начинала понемногу налаживаться. Вчера звонила дочка и, задыхаясь от волнения, обещала завтра непременно заехать и сообщить ему нечто весьма и весьма важное, очень радостное, касающееся их всех.

Тулубьев усмехнулся; наконец-то сбывалась его мечта о внуке, поздненько, конечно, едва ли он успеет дожидаться, когда тот поднимется и хотя бы пойдет в школу, или колледж, или гимназию, что там они придумают. Но, слава Богу, еще одним москвичом станет больше. Москва-матушка, она всех укроет, и согреет, и даст дорогу в жизнь. До него долетел привычный скрип двери в передней. Ага,

пришел Сережа, и теперь они молча, два самых близких человека, постоят рядом, полюбуются вечерней Москвой, они давно понимали друг друга почти без слов. Тулубьев облокотился о решетку балкона – и в тот же миг тяжелая пуля, вылетевшая из мрака, тупо ударила его в середину лба и, выходя, выломила рваный кусок кости из затылка. Время вспыхнуло, рассыпалось и погасло. Он обвис на решетке, в одно мгновение разделившей два несовместимых, взаимно исключающих и непрерывно переливающихся друг в друга мира.

ЛЕОНИД **МОИСЕЕВ**

Разговоры с товарищем
Сталиным

Даниловы страдания



Разговоры с товарищем Сталиным

(рассказ)

1

«Во время оно», а впрочем, не так уж и давно, жила-была писательница Тэффи. Однажды она сочинила пародию на бульварный роман. В пародии есть такие слова: «Граф Пьетро остолбенел от ужаса. Его роскошные волосы встали дыбом».

Начальник орловского вокзала Петр К. графом не был, однако волосы его при одном случае тоже встали дыбом. Да еще так встали, да таким дыбом, что приподняли над головой форменную фуражку.

Хотите знать, как это было?

Немного терпения, и вы узнаете.

...Отдыхать на юг товарищ Сталин ездил поездом. На станцию Орел поезд приходил ночью, и товарищ Сталин выходил на перрон проветриться, повдыхать свежий воздух, поразмять затекшие части тела и конечности.

На перроне товарища Сталина встречали местные власти. Властей было двое – первый секретарь обкома партии и начальник НКВД. Находился здесь и начальник вокзала Петр К. Конечно, он никакой власти из себя не представлял. Ему положено было тут находиться по службе.

Товарищ Сталин вышел из вагона в сопровождении охра-

ны и соратников. То ли он целиком был погружен в глубины мысли, то ли просто пребывал в дурном расположении духа, только, вопреки обыкновению, прошествовал мимо местных руководителей, не сказав им – «здравствуйте» и даже не удостоив взглядом.

От такого сюрприза у секретаря обкома заурчало в животе. Не теряя времени, он напряг мышцы живота и пресек урчание. Начальник НКВД, услышав исходящие от соседа звуки, решил принять в отношении себя меры и загодя подтянул живот, в результате чего, к собственному изумлению, испустил газы. Обильно испустил. «Все, конец!» – подумал он. Но судьба его пощадила: газы испустились бесшумно и в момент, когда товарищ Сталин удалился на достаточно большое расстояние, чтобы их учуять.

Петр К. понимал, что он тут никто. Ни о каком внимании со стороны товарища Сталина он и не помышлял. Посему в его организме никаких происшествий не произошло.

Вдруг товарищ Сталин приостановился и поднял голову. Надолго поднял.

И все присутствующие на перроне тоже подняли.

Очень продолжительно помолчав, товарищ Сталин наконец произнес:

– Это что такое?

Поскольку вопрос не был обращен к кому-либо конкретно, а по своему тону не предвещал ничего хорошего, то первый секретарь обкома скосился на начальника НКВД, тот перевел взгляд на начальника вокзала, и Петр К. понял, что отвечать надлежит ему. Но что ответить, он решительно не знал, ибо, сколько ни всматривался, куда был устремлен взор товарища Сталина, кроме решетки над входом в зал ожидания, ничего не усматривал.

– Я спрашиваю, что это такое? – повторил свой вопрос

товарищ Сталин, и по тому, как это было сказано, без труда можно было услышать, что повторять вопросы товарищ Сталин не любил.

– Решетка, товарищ Сталин, – решился, наконец, ответить Петр К.

– Решетка. Вижу, что решетка, – отозвался товарищ Сталин. – А вот зачем она здесь? Что она символизирует? Что, тут у вас, в городе Орле, имеются узники мирового империализма? Или свирепствует фашистский террор? Если это так, тогда повесьте над решеткой флаг МОПРа!

– Повесим, товарищ Сталин. Сегодня же повесим, – заверил вождя начальник вокзала.

После такого ответа присутствующим на перроне показалось, что звезды на небе перестали мерцать, а ночное безмолвие беззвучно ахнуло, потому что не ахнуть не могло.

У секретаря обкома какой-то внутренний орган оторвался от других органов и стал прыгать от горла до мочевого пузыря, колотясь по пути о противоположные ребра. «Если сейчас меня хватит обморок, то товарищ Сталин подумает, что я связан с этим идиотом и что решетка сделана неспроста. И этот костолом из НКВД отвезет меня прямо отсюда к себе в подвал, откуда я живым не выйду...»

А у начальника НКВД после ответа Петра К. потекло что-то теплое по ногам. Донесшийся аромат не оставлял сомнений, что потекло. Посмотрев на Петра К., начальник НКВД подумал: «Если товарищ Сталин не прикажет меня расстрелять, я собственноручно расстреляю этого гада, этого махрового агента, прокравшегося на пост начальника вокзала, этого затаившегося врага народа. Расстреляю не в подвале НКВД, не в загородном овраге, а прямо тут, у этой вот стенки. Пусть только отойдет поезд с товарищем Сталиным...»

А товарищ Сталин тем временем развернулся в сторону начальника вокзала и очень внимательно посмотрел ему

в глаза. Так посмотрел, что от этого взгляда волосы Петра К. взметнулись вверх и приподняли над его головой форменную фуражку. Они встали дыбом еще сильнее, чем у графа Пьетро, которого сочинила писательница Тэффи. Ведь у того на голове даже шляпы не было. Мало того, в отличие от графа Пьетро, у которого были роскошные волосы, у Петра К. не только роскошных, но и вообще никаких волос не было. Единственно, чем он располагал, так это лысиной. И все же волосы дыбом стояли и держали над головой фуражку. Петр К. пытался нахлобучить ее на голову, но торчащие дыбом волосы, которых на самом деле не было, намерению этому стойко препятствовали, сопротивлялись, мешали.

Товарищ Сталин с интересом наблюдал за усилиями Петра К. Он видел, что на глазах его происходит нечто сверхъестественное. Явно и очевидно нарушаются элементарные законы природы.

Товарищ Сталин понял, почему это происходит, и это понимание удовлетворило его. Он кивнул головой Петру К. и пошел к вагону. Пройдя несколько шагов, остановился, обернулся и ободряюще приветливо махнул Петру К. У дверей вагона он снова обернулся и на сей раз, проницательно посмотрев на секретаря обкома и начальника НКВД, мягко сказал:

– Не трогать его. Товарищ пошутил. Шутки понимать надо.

2

Теперь-то уж на что угодно можно спорить, что никто из нынешних читателей и слыхом не слыхивал про Павла К. А когда был жив товарищ Сталин, этот стихотворец был и именит, и знаменит. Именно он, Павел К., переводил с казахского языка на русский Джамбула Джабаева, которого в ту

пору называли Гомером XX века. Это был тот самый Гомер, который слагал:

*Песня моя, ты лети по аулам!
Слушайте, степи, акына Джамбула!
Пойте, акыны! Пусть песни польются!
Пойте о Сталинской Конституции!*

Павел К. знал, кого переводить. Эти песнопения улаждали уши товарища Сталина, и по мановению его руки Джамбул обрел легендарную славу. Не был ущемлен и его переводчик. Товарищ Сталин назначил Павла К. редактором главного журнала страны. Журнал носил название «Советский Союз», выходил на многих языках мира, печатался на глянцевой бумаге и, в отличие от других журналов, был расцвечен иллюстрациями.

Павел К. стал вхож в самые охраняемые коридоры, вскарабкался на верхнюю палубу советской литературы и расхаживал по ней как адмирал, грузной поступью, монолитно, словно на нем был не простой пиджачок удачливого стихоплета, а мундир, расшитый позументами классика.

Пришел час, товарищ Сталин скончался. Вместе с ним кончился и Джамбул, и позументы. Остались одни воспоминания. И поскольку терять Павлу К. было уже нечего, то рассказывал он правдиво, без прикрас...

...Вызывает Хозяин. Меня и Р, директора издательства «Правда», в котором печатался журнал «Советский Союз».

Зачем вызвал? Неизвестно.

Едем.

Шепотом спрашиваю Р:

– После Кремля ты куда?

Р. ощерился и зашипел с присвистом:

– Когда к НЕМУ едешь, не закудыкивай! От НЕГО ника-

кие маршруты не заказаны. Пошлет по любому. И полетишь, будто в заднице у тебя пропеллер!

«Действительно, с пропеллером в заднице можно залететь далеко», – подумал я и замолчал.

Приехали. Впущены были в знаменитый дубопанельный кабинет. Сделали от порога по три шага, остановились. Вытянули руки по швам. Задрали подбородки.

Хозяин сидел за столом в углу и что-то писал. Он был в военном мундире. Хором, по-военному, произнесли:

– Здравия желаем, товарищ Сталин.

Ответа не последовало. Подъема головы тоже.

После долгой, тяжелой для нас паузы, продолжая писать, тихо спросил:

– Где для журнала «Советский Союз» печатаются цветные иллюстрации?

– В Лейпциге, товарищ Сталин. В трофейной типографии, – прохрипел Р. Хрип произошел оттого, что слишком высоко был задран подбородок.

– Если типография располагается в Лейпциге, значит, она не трофейная, – назидательно произнес товарищ Сталин. – Значит, она принадлежит немцам.

В голосе товарища Сталина слышалось вынужденное терпение, на которое он был обречен. Таким голосом обычно говорят воспитательницы в детских садах. Им ведь, бедным, приходится целыми днями вразумлять несмышленных малышей. То и дело повторять одно и то же, одно и то же... Поневолле утомишься. И даже взвоешь.

– Сколько понадобится времени, чтобы занять нашу цветную печать? Отечественную? – продолжая писать, так же тихо спросил товарищ Сталин.

– Два месяца, товарищ Сталин, – дал в ответ сиплого пехота Р.

«Боже! Неужели я не ослышался? Какую чушь он порет!

– мысленно ужаснулся я. – Да за два месяца и проект едва ли разработаешь... А технологическая линия? А строительство цеха? А химическое сырье?»

Когда до ушей товарища Сталина донеслось сказанное Р, рука его остановилась и перестала писать. Товарищ Сталин поднял голову и посмотрел на Р. Во взоре товарища Сталина просматривалась скорбь. Мне показалось, что товарищ Сталин скорбит по поводу дальнейшей участи моего товарища, и душа моя обмерла.

Товарищ Сталин вновь опустил голову, и рука его снова стала писать. Потом он произнес как бы с некоторой тоской:

– Даю полгода. Идите.

Мы резво исполнили команду – кругом. Правда, крутанулись в разные стороны. Вышли.

В машине я сказал Р:

– Как же ты мог такую глупость сморозить? А если б ОН согласился с твоим сроком, ты бы ведь и в самом деле получил в задницу пропеллер!

– ОН не мог согласиться на мой срок, – снисходительно ответил Р.

– Почему не мог?

– Потому что ОН мудрый, а я – дурачок. Я – щенок, а он – волкодав. Ничего-то ты не понимаешь в товарище Сталине. А еще писатель!

– Значит, ты нарочно сморозил глупость?

Р. усмехнулся:

– А вот этого я тебе не говорил и не скажу. Слишком много ты захотел!

Я задумался. Подумать было о чем. Р. сказал:

– А ты знаешь, какая теперь в моих руках сила, когда товарищ Сталин САМ назначил срок? Пусть теперь кто-нибудь попробует что-нибудь мне не в срок сделать... Да я пересажаю всех, вплоть до министров!

Мы махнули к Р. на дачу. Налили по стакану водки. Залпом выпили и посмотрели друг на друга, а потом на бутылку. Нам показалось, что в бутылке вместо водки была вода. Открыли другую бутылку. Выпили еще по стакану. И снова нам показалось, что и в этой бутылке вода. Открыли третью. Еще опрокинули по стакану. Впечатление такое же. После пятой бутылки ни он меня, ни я его уже разглядеть не могли...

... Хоронили товарища Жданова. Лежал он, согласно традиции, в Колонном зале Дома союзов.

Я стоял у гроба, в группе высокопоставленных товарищей. Появился товарищ Сталин. Приблизился к гробу. Опустил голову. В зале все замерло. Даже траурная музыка стала едва слышной, хотя и играла.

И вдруг мне захотелось помочиться. Да такая подперла охота, что терпеть стало никакой возможности. Низ живота судорогой свело. В глазах – то тьма, то – всполохи. Хоть умри, хоть в штанину дуй!

Припоминаю, что где-то здесь, за колоннами, есть дверь, через которую и в туалет можно попасть. Делаю движение к колонне... Переждав немного, делаю еще одно... Товарищ Сталин поднял голову и посмотрел на меня.

Ну и взгляд, я тебе скажу! Такой – один на всю жизнь... Другого не надо. Ты думаешь, человеческий это взгляд? Не-ет, какой угодно, только не человеческий. От этого взгляда в башку мою ворвалась дикая мысль: а вдруг это я виноват в безвременной кончине товарища Жданова? И товарищ Сталин об этом знает? От этой мысли внизу моего живота внезапно наступило облегчение. Желание помочиться прошло. Будто его и вовсе не было...

Я не мог помочиться с неделю. Чтобы не лопнул мочевого пузырь, пришлось мочу спускать катетером.

3

А в Уфе один башкирский литератор поведал мне следующее:

– Пока был жив товарищ Сталин, мы все находились на посту. Сам он ночами не спал и никому спать не давал. Все сидели у телефонов и днем, и – особенно – ночью. И у нас в башкирском республиканском Союзе писателей круглосуточно сидел у телефона дежурный литератор. Согласно графику, происходила пересменка членов Союза писателей, и телефон ни на минуту без рядом находящегося члена не оставался.

Вот однажды ночью и я своим чередом сижу себе, посиживаю, на телефон с благоговением поглядываю... Еще бы! Ведь по нему может позвонить сам товарищ Сталин, который за всех нас не спит и думает. Вдруг ему срочно понадобится сведения про уфимских писателей.

Телефон зазвонил.

Длинным, прерывистым звоном.

Междугородный!

Я вскочил со стула, схватил трубку.

– Это Союз писателей?

Голос в трубке – государственный. Это я сразу различил.

– Так точно, Союз писателей, – истово ответил я.

– Кто вы такой?

– Я? Дежурный член.

– С вами будет говорить товарищ Сталин.

...Вот оно!

Я вытянулся по стойке «смирно» и плотно притиснул к уху трубку. Раздался сталинский голос. Я перестал себя ощущать, целиком растворился в этом голосе!

– Здравствуйте.

... Ну кто еще мог так величественно и так просто, по-родственному поздороваться!

– Здравствуйте, товарищ Сталин! – с восторгом ответил я.

– Как ваша фамилия? – спросил товарищ Сталин.

... Он хочет знать мою фамилию! Вот оно! Сейчас я, кошка, приобщусь к истории!

– Моя фамилия? Моя фамилия...

... Черт! Фамилия выскочила из головы! От переживаний в голове пусто, как в заброшенном сарае: ни памяти, ни мыслей. Одни воробьи летают.

– Забыл фамилию, товарищ Сталин. Честное слово, забыл! – сквозь слезы, в отчаянии признался я.

Товарищ Сталин помолчал и мягко спросил:

– А какое ваше мнение о писателе Ф.?

... Так! спрашивает неспроста. Как бы не обмишуриться!

– О писателе Ф.? Мое мнение? Отрицательное, товарищ Сталин.

– Почему?

... А хрен его знает, почему. Потому что ты спрашиваешь, вот почему!

– Не внушает он, товарищ Сталин.

– Чего не внушает?

– Доверия.

– Что вы можете конкретно сказать? – допытывается товарищ Сталин.

...А конкретно я ничего о писателе Ф. не знаю – ни хорошего, ни плохого. Мы даже ни разу не выпивали вместе. И к бабам не ходили. Чего тут скажешь?

– Конкретно? Конкретно – ничего, товарищ Сталин. Классовое чутье говорит, что что-то не то. От масс оторвался. В коллективных мероприятиях не участвует. Думает. Все время о чем-то думает. А вот о чем думает – неизвестно!

Товарищ Сталин снова помолчал и по-прежнему тепло продолжил:

– Мы тут посоветовались и решили его книжку к Сталинской премии представить... Какое ваше мнение?

...Едрена мать! Вон куда стремнина-то несет! А я против гребу! Спасайся, дубина, скорей поворачивай, а то засосет тебя воронка, и сгинешь в пучине вод!

– Какое мое мнение? Самое положительное! Книга безусловно заслуживает этой высочайшей награды, товарищ Сталин!

– Народу книжка нравится? – поинтересовался товарищ Сталин.

– Очень нравится, товарищ Сталин. Народ просто в восторге! Читает. Выучивает наизусть. Зачитывает до дыр. Просит переиздать еще!

...Кидаю в трубку залепуху, а сам с ужасом думаю: вдруг что-нибудь спросит про содержание? Я ведь книжки-то, черт бы ее подрал, не читал!

– Вот и нам она понравилась, – произнес товарищ Сталин. – Передайте от нас привет автору. Всего хорошего!

– До свидания, товарищ Сталин!

В трубке наступила тишина.

Я опустил в кресло и стал думать, что мне дальше делать. Чтобы прийти в себя, позвонил жене.

– Ты знаешь, какое событие сейчас со мной произошло? – не своим голосом я спросил жену.

– Какое? – спросонья перепугалась она.

– Мне только что позвонил сам товарищ Сталин!

Жена помолчала, а потом сказала:

– Так я и знала! Ведь, уходя, ты клялся, что капли в рот не возьмешь...

– Замолчи! – заорал я в трубку. – Не опошляй мгновение, женщина! Я трезвый, как стекло! Со мной действительно говорил товарищ Сталин!

Жена снова замолчала и уже чуть робко спросила:

– Что же он тебе сказал?

– Что он мне сказал? Это не телефонный разговор. Приду домой, расскажу. Кстати, скажи-ка мне, как моя фамилия?

Жена рассмеялась:

– А я-то и впрямь поверила, что ты трезвый...

– Вызывай экспертизу! – задохнулся я. – Тебе стыдно будет! Вот уже сутки, как я спиртного в рот не брал!

– Если ты трезвый, значит, дело еще хуже, – сказала жена. – Значит, у тебя началось... То самое, что я тебе давно уж предрекала...

Я позвонил писателю Ф.

Он, собака, конечно, не спал. Работает, гадюка, как вол.

– Я выполняю поручение товарища Сталина, – сказал я ему. – Он сообщил мне, что выдвинул твою книжку на Сталинскую премию. Просил передать тебе привет.

Писатель Ф. обругал меня провокатором, интриганом и завистником. И добавил, что, если я не оставлю эти свои штучки, он сообщит обо мне «куда следует».

Наутро меня вызвали «куда следует» и ласково спросили, что за слухи я распространяю о товарище Сталине.

Я все чистосердечно рассказал.

Меня внимательно выслушали и посоветовали больше никому ничего про это не говорить. В моих же интересах.

Я пообещал.

Узнав об этой беседе, друзья присоветовали жене поместить меня в психбольницу.

Что жена и сделала.

А через несколько дней газеты опубликовали, что книжке писателя Ф. присуждена Сталинская премия.

Жена забрала меня из больницы. Смотрела на меня и поминутно вздрагивала. У нее то и дело наворачивались слезы.

Писатель Ф. заявился ко мне домой с цветами и шампан-

ским. Бухнулся на колени, просил прощения и просил передать товарищу Сталину большое спасибо.

Я пообещал.

Приехавший с визитом первый секретарь обкома партии обвинил меня в излишней скромности. Мне были предложены квартира «сталинских размеров», дача и автомобиль.

По распоряжению «органов» в моей квартире был установлен спецтелефон на тот случай, если товарищ Сталин еще позвонит мне. Или я сам пожелаю позвонить ему. Товарищ Сталин мне больше не звонил. Я ему тоже.

Даниловы страдания

(рассказ)

Чуя, как во всех его конечностях льётся и переливается могучая сила, Данила не сомневался, что его первенцем будет мальчик. Все одёжки по цвету и покрою были приготовлены для младенца мужеского полу.

Родилась девочка.

Удар судьбы покачнул Данилу, но не свалил. Данила даже виду не показал, что расстроился. На дочкиных крестинах радоваться не радовался, но и не горевал. Был он молод, от здоровья чуть ли не лопался, и жена была молодая, с тугими выпуклостями, налитыми жизненными соками...

Впереди рождений маячило много.

Жил Данила в богатой деревне. Ел за троих. Работал за семерых. Водку пил только по праздникам, да и то в вёселую меру. Дом его был полной чашей. Ограничивать себя в любовном производстве Данила не собирался.

Когда из роддома его оповестили, что у него родилась вторая дочка, Данила не поверил.

– Не перепутали? – переспросил он и добавил грозно: – Проверьте!

Проверили.

Дочка.

Данила приуныл.

Потом переборол себя и даже утешился:

– Всё к лучшему. У дальнейших парней будут свои няньки. Надежные, родные. Да не одна, а в пересменку, двое.

А парней, со злости, Данила уже решил нарожать бригаду.

После рождения третьей дочки в деревне захихикали. Данила запил.

Но остановился.

– Батяка меня здоровьем снабдил отменным, надобно его наследство потомству передать. Чтобы парни мои были такими же здоровыми, как я.

На то, что парни появятся, он нестигаемо надеялся.

После четвёртой дочки на деревне раздался хохот. Даниле привесили кличку – «бракодел». Данила стал сохнуть. Ему посоветовали обратиться к знахарке. Знахарка за солидную мзду изрекла верный рецепт:

– Перед зачатьем под зад жены подложи кепку. Аккурат малой выскочит.

Выскочила девочка.

Данила выворотил из телеги оглоблю и пошел убивать знахарку.

Знахарка спряталась на болоте. За ночь её едва не заели комары. Под утро с раздутым, как квашня, лицом она вылезла из болота и кинулась перед Данилой на колени. Данила, как хворостину, переломил оглоблю о колено и простил знахарку.

После пятой девочки смех на деревне стих. Люди стали сочувствовать бедолаге, сопереживать, приободрять.

Говорили, что строгать мальчишек – работа топорная, а выдeldывать девочек – занятие ювелирное... Но принадлежность к ювелирам Данилу не утешала. В работе он предпочитал топор.

После шестой девочки Данила уронил голову на колени своей матери и зарыдал.

Мать его приголубила и сказала:

– На жену обиды не держи. В этом деле, сынок, как на пашне: что посеешь, то и пожнёшь.

И на то, кто у него родится следующим, Данила махнул рукой. Ему стало всё равно. С судьбой не поспоришь!

И в самом деле. Как только Данила перестал с нею спорить, седьмым ребёнком у него родился мальчик.

Когда из роддома пришло это известие, Данила подумал, что его разыгрывают, и послал сообщившего... Ну, на Руси знают, куда посылают тех, кого хотят послать.

А когда сообщение оказалось правдой, то Данила стал заговариваться и чудить: то и дело подходил к кровати и проверял – на месте ли у ребёнка неоспоримое доказательство его мужского пола.

И пошли рождаться у Данилы мальчишки. Второй, третий... А потом жена преподнесла сразу двоих. Едва, бедная, разродилась. Младенцы оказались богатырями, прямёхонько в отца.

Данила приосанился и стал на других прочих мужиков посматривать свысока, будто уведал нечто такое, что они и в жисть не уведают.

Мужики со всей округи, те, которые впадали в печаль, что у них рождались одни девочки, приходили к Даниле за секретом. Приходили не с пустыми руками. Данила не соблазнялся подношениями, отклонял их и говорил:

– Способом располагаю. Но открыть не могу. Зарок дал. Выстрадайте с моё, самим откроется...

ЛЕОНАРД **ЗОЛОТАРЁВ**

Липа вековая
И ударили в колокола
Его голубая мечта



Липа вековая

(рассказ)

По проселку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется тощий и длинный старик. Ему помогает идти крючковатая палка – давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем, – беседует он со своей палкой, словно с живым существом. – Каждая нашей будет». Тыкаясь в придорожье, в еще не просохшую канаву, в бурьян и кустарник, палка тянет его все вперед, к горизонту, где на взлобке, подрагивая, разлилось по проселку водянистое мажево. Старик несет тело бережно, голову держит ровно и прямо; скашивая вбок глаза, жадно ловит широкими ноздрями густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо все еще – все дожди да дожди. На что полынть, а и та молодится. Хотя в это время ее, бывало, уже собирали да пихали под постели. От блох. А теперь чище жить стали, стоит – не нужна...

Вот из этих мест лет с полсотни тому, подперев калитку плетневую коромыслом, зашагал он, молодой да здоровый, в город. На деньги. Вон тех белых шиферных крыш тогда не было. И поселка того вон, и сада. И поля теперь гонями в два километра. Жили люди тут, пока ты раскатывал. Не сказать, чтоб боялся работы, – работал. Только чуть что, бывало, мастерок иль топор на плечо и айда в другие места,

прощевайте. Помотался от Турксиба до Воркуты. Ни с семьёю, ни с домом так и не получилось, потому-то и звал сам себя, где бы ни появлялся, Перекати-Колей. Звал невесело, с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей-привязанностей, кроме как одного: был любитель он книжек и читал их запойно, что попадая; в торбе его, которую звал Перекати-Коля «книжной лавкой», перебивала всякая всячина: по истории древнего мира, по учению Канта или про африканских термитов... Пробовал даже сам пописывать – с коих пор в торбе три толстенные тетради. А в последнее время его волновали стихи. Знакомый паренек Ленька Синяев, журналист, подарил ему «Песню о Гайавате». Интересная штука. Перевел ее с английского русский писатель Иван Алексеевич Бунин, когда в Орле жил и работал в газете. Бережет старик Ленкин подарок, завернул даже в целлофан. Увидел как-то на областной карте деревню с названием Бунино, удивился, собрался даже навестить ее, а пришлось тащиться сюда вот, к родимому корню, к своей изначальной земле. Остарел, заплошал Перекати-Коля в какой-нибудь год, по утрам уже не в подым, и воды – захворай – подать некому. Да куда, не в артельный же дом как безродственному, к старикам. Вот и шел теперь ближе к погосту, где лежат отец-матерь...

– Какая деревня? – спросил он рисовальщика-паренька возле пруда, чтобы как-то заговорить с ним, отпустить свою душу.

– А Полозово.

Постоял, посмотрел ему через плечо. Ловко орудует краской, возникают на бумаге дома под железо и шифер, и спросил, удивясь робости в голосе:

– На заказ, что ли?

– Нет, – сказал паренек и обернулся. Оглядел старика: – Учусь в Москве на художника... А деревня, дед, сия истори-

ческая. С нее писал Шварц – слышал, был такой в прошлом веке? Между прочим, – сыпал парнишка, – жил он тут рядом, в Белом Колодезе, в тридцать один год ходил в академиках, родоначальник русской исторической живописи. Известна его еще дорепинская картина «Иван Грозный у тела убитого им сына»... Так вот с нее, с этой Полозовой, и написал академик пейзаж к своей картине «Вешний поезд». Сирые хаты, к весне голые следи... А писалось им с этой же точки.

– Скажите, – вздохнул старик, потоптался на месте, оглядел еще раз деревню и опять зашагал, застучал по проселку своей крючковатой палкой.

– А мы-то с тобой, дураки, и не знали, – бранил он ее так, для порядка, беззлбно. – Исторический живописец!.. Ты-то, конечно, магнитогорская, а я, гляди, тутошний, мужлановский я...

В это самое время навстречу старику по дороге из Белого Колодезя двигались двое – садовод Семен Семеныч Чубаров и его внук Алешка. Их автобус полуденным рейсом в село почему-то не прибыл, и они шли на большак, чтобы сесть на какой-нибудь проходящий. Солнце висело по-над ракетами, оттого на проезжей тенистой плотине было зеленовато и зыбко. Недлинная улица, с давними каменными постройками-мезонинами в узорную кладку, с орнаментом, наполнилась нынешней жизнью: всезнающими ребяташками, тюлем на окнах, ящиками из-под вермута у магазина, обязательствами у отделенческой конторы...

Был самый сезон сбора яблок: бело-колодезский воздух бродил, словно сок отборной антоновки. И Чубаров вдыхал его, тяжелея, хмелея. Иногда блики ложились ему на расстегнутую у шеи ковбойку, на торчащий из-под нее треугольник тельняшки, как юпитером, выхватывали на переносице родинку, выделяли смуглость и пористость кожи. И странным было сочетание серебристых висков с темными,

буйными по-молодому бровями, и тело его было плотно, но сухо, подобрано – такие, говорят, легки на ногу. Он шел, слегка подаваясь к земле, словно тянули его большие, чугунные руки, и думы его были невеселы. Он представлял, как пройдет и этот сезон – его последний сезон. Полетят белые мухи, и некуда будет спешить утрами, некуда будет деть эти ставшие враз ненужными руки. Не прибавится дел ни весной, ни осенью. И он станет приходить сюда просто так, на прогулку.

Не ведал Алешка, что творилось в душе его деда.

Был паренек блондинист и круглолик, с чуть грустнееющим взглядом; губы сочны и крупны – верная примета доброты и покладистости человека, смеялись люди – ими хоть валенки подшивай. Шли Чубаровы каждый за своим делом: Семен Семеныч – в райсобес, насчет пенсии, Алешка ехал в город впервые – устраиваться.

Но вот и Мужлановский сверток. Стоит огромная липа, стоит распушается. Лет сто ей, а может, и двести. Кора ее обтрескана, обмыта, обтрепана ливнями и ветрами. Любит вверх-вниз по ней пробежаться всякое муравье, особо когда под напором сока лопнет где-либо сладкая кожа; тогда бегут на оказию взводы и батальоны – напрямик через ямы, шершавины...

Когда Чубаров с Алешкой подошли к липе, старик уже сидел под ней, задумчиво трогал своей крючковатой палкой муравьиную кучку. На развернутом вершке лежал кусок сахара. Старик наблюдал, как суетится вокруг него мелкая живность.

– Когда это они все зачинят? – присаживаясь на обочину, интересуется Семен Семеныч.

– А соберут совещание, составят смету, согласуют с начальством, – посмеивается глазами старик и вздыхает: – Гляди, бьются. И у них это так: кто кого смог, тот того с ног.

– Ишь ты, – косится на него Семен Семеныч, – сам-то, должно, натерпелся, вот и... Как зовут-то тебя?

– Перекати-Коля.

– Так и зовут?.. Мудреный ты дед, – сладко вытягивает Чубаров ноги. – А ну, Алешка, чего там у нас?

Алешка долго роется в сумке, наконец извлекает лепешки – свойские, пресные, в рубчик, потом появляются малосольные огурцы. Добрый хлебный дух перемешивается со сладковато-укропным, возбуждает слюну, рождает желание повернуть ее языком.

– Эх-хе-хе, – отворачивается Перекати-Коля. – А мне вот не естся-не пьется, никак не умрется. А что, яблок нетти у вас?

– Да ты, дед, еще справный, – улыбаясь, запускает Алешка свои крепкие зубы в лепешку. – Еще поживешь, потянешь. А что это в торбе?

– Деньки потянутся – ноги протянутся. С год назад внутренность тверже была, а теперь все дрожит... А в торбе-то книжка. Во! «Песня о Гайавате». Слыхал? «Дай коры мне, о береза! Дай мне, ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку...» А что, яблочка нетти?

– Эх, жисть, – жуя, вздыхает Чубаров и косит в сторону, откуда должен показаться автобус. – Молодой боится, что остареет, а старый – околеет.

Перекати-Коля прячет книгу обратно. Сидит молча, глядя прямо перед собой.

– Везу вот Алешку и свои документы, возвращусь обыкновенкой... На, жевни, – подает старику Семен Семеныч лепешку. – Отрываю внука от титьки. Нехай там учится справлять телевизоры.

– Эка куда, – оживает Перекати-Коля.

– Десятилетку закончил Алешка. Хочу, чтоб стал человеком. Вернется внук мой в деревню, наденет сверкальные очки, сядет в пузово личной машины, ха-ха...

– А как же, – в ответ посмеивается Алешка. – Сейчас материальная заинтересованность... Только я тебе уже сказал! – твердеет голос Алешкин. – Пойду на художника. Кистью пойду свое брать.

– Ишь ты, Александр Македонский, – удивляется Перекати-Коля. – Кистью города завоевывать! А скажи мне, чем знаменито здешнее Полозово? Молчишь? То-то... И я когда-то тоже был во! Усы аж за ухо закидывал. А теперь, гляди, на губе три хворостинки и спину колом поставило.

– Все гнулся, небось, – буркнул Алешка под нос себе, но Перекати-Коля услышал.

– Молодой человек! – старик, когда начинал закипать, всегда говорил неспешно, отделяя каждое слово. – Ты, скажу тебе, еще что картошка июльская: молода рубашка-то, р-раз и нетти. Губа толста, душа проста... Надо гнуться, не то любого поломает. Жизнь всякого производит восклицательным знаком! А получит человек в зубы – глядишь, погибается, ходит уже вопросительным. Так-то легче. А восклицательных, как гвоздей, в землю по самую шляпку...

– Каждого не загонишь, – потрянул головою Алешка. – Новые народятся... Стране нужны не загибшие, а здоровые, сильные!

Муравьи уже заделали вершок и по стариковой палке, прислоненной другим концом к липе, потекли жидкой струйкой к стволу, поползли в шелестящую высь. Призатихли путники, наблюдая за муравьиною братией, упорно лезущей к солнцу и листьям, туда, где крупнела широкая купа. Иногда полевой ветровей, налетая, задирает ее – сверху до низу начинали ходить полосатые волны, солнце вникало в матерые теми, где и лучилось в бисеринках еще не просохших утренних рос. Перебивая суету воробьиной компании, ссорящейся на самой макушке, шелестит, шумит липа, ходит волнами над головой – липа, липушка вековая. Лето – осень,

осень – лето пройдут, но все будет здесь, на скрещенье дорог, как и сейчас: муравьи струиться, шептаться над путником купа, но то будут иные люди и времена...

– Интересно узнать, чем все это кончится, – нарушил молчание Перекати-Коля. – Жилось и не думалось, а пришел час, жалко, что и ног на койку скоро не заведу... До погоста доберусь вот и лягу с отцом-матерью рядом. И с бугра все видать будет, и буду с полями я говорить-разговаривать, коли в жизни не наговорился, и ветра принесут дух мне полынный, ромашковый... Хорошо, Алешка, по белу свету побродить-поглазеть. Завоевывай город, а от земли своей ни-ни-ни. Да не шибко бери, а то мигом схрястают, скусят головушку.

– Сирота он у меня, – сказал Чубаров раздумчиво, – боюсь, дюже горяч. Весь какой-то зачитанный. Ищет смысл по книжкам, стало быть, правду жизни.

– Что ты знаешь! – вспыхнул Алешка. – Сам зарылся в сады, а меня в телемастера!.. Техника будет выращивать сады, убирать урожай, а людям – заниматься искусством, совершенствовать жизнь.

– На язык ты востер, – говорил с грустью Чубаров. – А вот когда дело – в кусты. Цельную зиму проучился на механизатора, а как лето – не на трактор, а в город. Художником ему! Не хочешь на этого... телемастера – сам тянись, на копейках. Скотину и ту держат впроголодь, чтобы на зов хозяина шла.

– В бригадиры б тебя, Семен Семенович, – не унимался Алешка. – А то управляющим...

– Порядок нужен, куда без него? Чего взмыкался: то тебе не так, это не так...

Перекати-Коля сидел затихший и строгий. Затем, словно вспомнив что-то, снял затертую шапку, достал из подкладки иголку с ниткой, принялся зашивать дыру на колене. Смахнул муху со лба:

– Мухи, гляжу, пошли дуже злые. Осень же. Не так кусаются, как щелокотно, полозиют – вроде как ногтями тебя.

– Куснет, брат, и до крови, – отозвался равнодушно Чубаров и, задумавшись, долго глядел на дорогу, сады, темневшие на горизонте.

– Да, кровь, брат ты мой, кого только не тянет... – живо подхватил Перекати-Коля. – Помнится, жил я на Днепрострое, так повадился заяц к хозяйке в сад глодать саженцы. А я возьми да намажь их бычиной кровью. Нашлось воронье, добела склевало кору...

Так сидели они, рассуждали. Речь то вспыхивала, то затухала. А липа прислушивалась да шевелилась каждым листом, каждою веткой – липа давняя, вековая.

Не дождавшись автобуса, Чубаров с внуком засобирались домой, позвали с собой и Перекати-Колю («а что, не проживешь нас, не объешь»). Но тот отказался, остался под липой, начал устраиваться на ночлег. И пошли они, дед с внуком, заторопились, чтоб дойти домой засветло, побрели по дороге на Белый Колодезь. Проходили поселком Кубанью, деревенькой Шишкино, мимо нового клуба. Поспешали липовым парком. Аллеи подводили к церквушке – крепенькой, из красного кирпича, со снесенным куполом, отчего она казалась незавершенной.

Замечательны вокруг были сады, новый цех-красавец по изготовлению соков. Шел Чубаров, отдыхая душой, радуясь, что идет с Алешкой снова садами. Редки были яблони здесь тогда, в сорок третьем. Полтора года стояла передовая, полтора года убивала сады. Здесь Чубаров высадил первый свой саженец, денно и ночью трудился. Были Почетные грамоты, ордена. И вот уберет урожай да на пенсию. Это его последняя осень в садах. Сады – вот что оставляет он людям. Разве этого мало – сады?..

Подобралась и ночь. Луна еще не взошла, оттого в парке

было глуховато и жутко. Ноги то уходили в пустоту, то спотыкались. При свете звезд увиделась кладка из светившихся слежек-берез. На бугре возник чубаровский дом-пятистенник. А позади, в парке, липы все так же стояли стеной; на одной из них репродуктор сочным, глубоким голосом, с затаенной страстью пел арию Далилы. Голос все закипал, закипал, взлетал ввысь, проходил над деревьями, утекал далеко-далеко, на Мужлановский сверток, к одинокой липе на перекрестке, по стволу от макушки спускался вниз к комелю, где приткнулся Перекати-Коля. Он лежал на бушлате, уперев голову в торбу – свою «книжную лавку», и, еще не остыв, продолжал вспоминать спор Чубарова с внуком Алешкой.

«Город тебя пережует да и выплюнет», – горячился Семен Семеныч. «А я костистый, кремнистый», – огрызнулся Алешка.

Старик лежал, заложив обе руки под затылок, и глядел вверх, и чуял сквозь липу немигающий свет Полярной звезды, и губы в такт шелестению листьев шептали:

– ...Пел мне песнь о Гайавате... Чтоб народ его был счастлив, Чтоб он шел к добру и правде...

И представлялось ему, что он, Николай Димитрич, в родимой Мужлановке, на бригадном дворе, пришел сюда с утречка, пока механизаторы еще не отправились в поле. Он читает односельчанам, и люди слушают, внемлют ему, как пророку. А облака все текут и текут, восходя от земли, проникая сквозь нее, как сквозь эту вот липу – липу давнюю, вековую. Были когда-то вон какие писатели – не стало, не станет и его, старика, и тело его исчезнет, сольется с землей, но влага душевная, перейдя вот в такие облака, будет плыть над людьми, над полями, над временем, пока не прольется где-нибудь благодатным потоком.

с. Белый Колодезь

И ударили в колокола

(рассказ)

Городку накатило тысячу лет.

Возник он на Руси еще до христианства в густых лесных дебрях на пути «из варяг в греки». Через него перекатывались вороги с огнем и мечом, от батыевских полчищ до наемников Лжедмитрия, и пропадали в вечности. Росли, вышались другие, соседние города, а Тучневск за тысячу лет едва ли прибавил и тысячу жителей. Как стоял на высоком откосе Десницы-реки черной хлебной коврижкой с церковными шпильями, так и остался стоять, созерцая спокойные, зеркально-зеленые воды Десницы. Правда, в последние годы шпилей поуменьшилось, зато выросло длинное белокирпичное здание – филиал одного из столичных заводов.

Местные власти решили придать юбилею тот размах, на который был только способен районный бюджет, при этом ресурсы филиала играли, безусловно, главную роль. В замысле отцов города венцом юбилейных торжеств намечалось стать открытие памятника Бояну. Все тучневцы всерьез считали его своим земляком. Почти каждый уже первоклассником повторял наизусть строки:

*Вещие персты он подымал
И на струны возлагал живые.*

На первую встречу с историческим бардом в вечный град спешили его нынешние единомышленники – поэты соседних городов и весей. Их оказалось не так уж много, всего трое: либо время открытия совпадало с «бархатным сезоном», либо на братию не хватило гладкой бумаги для приглашенных. Эти трое – бородач-мыслитель Матвей Дрынов,

предприимчивый Николай Рындин и легковесный Миша Капустин – въезжали в Тучневск на исходе дня, видели впереди «Колхиду» с сосновым ящиком в кузове и, конечно, не подозревали, что прибывают в родной город Бояна почти в одно время с его изваянием.

Как это часто бывает в русских народных сказках, памятник вырос на берегу Десницы-реки всего за ночь. Вернее, его только поставили на пьедестал, подготовленный прежде, и держали пока под полотном. Ветер с реки полоскал складками белой материи и возбуждал интерес. Гости и местные жители уже с утра прохаживались по подчищенному, умытому древнему городу, собирались кучками, схлестывались в спорах, с нетерпением ждали урочного часа. В это время похожий больше на попа-расстригу, чем на поэта, заматеревший Матвей Дрынов просыпался в отведенной ему резиденции. Лежал и смотрел в потолок, соображая. Ну, устроились в номере – помнит. Ну, Коля Рындин потащил выступать в райотделе внутренних дел («для налаживания контактов с сенью закона») – помнит. Ну, молоденький следователь милиции Вася Несмирнов читал стихи и краснел, словно девушка, – тоже помнит. Вася оказался земляком, из Матвеева города, даже в школе одной учились. Дальше была пустота, чернота, провал, Марракотова бездна...

Они вышли на центральную площадь Тучневска. Городок гудел, словно улей. Народ валом валил к Бояну, но, увидев его в полотне, а дощатую сцену перед ним покамест пустой, рассыпался на множество ручьев и ручейков. Песни, смех, подковырки. Кремплины, сапоги-чулки, сапоги на платформе. Где-то пискнула и закатилась гармонь, тут же взвилась частушка. Ринулся на звук Миша Капустин («медом его не корми, куплетиста»), Николай Рындин («тоже мне, артист») тут же подсел к девчатам на лавочку, и Матвей не заметил, как остался один. Он прошел глубже в парк, выбрал глухое местечко, присел.

Отсюда хорошо виден плес, плавный изгиб Десницы-реки, сквозь деревья едва угадывается белое пятнышко – вознесенный над землю Боян. Пока скрытый от глаз, пока в покрывале. На берегу приземистые лабазы, остатки крепостного вала, за бойницами голубой, с золотистыми блестками купол собора. Чист и прозрачен воздух бабьего лета, листья клена шуршат, шуршат, шевелятся, как и шуршали когда-то... Матвей сидел в оцепенении и чувствовал себя то самим собой, то Бояном, то снова самим собой, и все, о чем пели когда-то Бояновы струны, обернулось в нем осязаемой плотью, взвилось и затрепетало.

«О Русская земля! О тебе наши думы и боли, для тебя и живем. Костью своими стелем тебя из веков и в века. Вон стрелой целит в самое око половчанин-кочевник, вон несут латиняне смерть на кончиках копий. И корчатся в междоусобице княжества, хлыщут сабли кривые по серебру Дона, и вот-вот разметется – развеется и исчезнет народ, как стирались их тысячи на бессмертном лике степи. Но держит его, не дает пропасть кем-то сказанное впервые – о Русская земля! И уже воспеты слова-звоны вещими струнами, и уже клонятся, заслоняют их, будто червлёный стяг, люди, русичи, сдруженные в дружины, за дружинами стоит, упирается, выкрепает и здравится матушка Русь.

И ведь гусли твои, Боян, не сильнее шума дубрав, и ведь голос твой затопает в шорохе крыльев лебяжьих, да затронь лишь, дыхни словом-звоном где-то под Киевом, а услышат его аж у Великого Новгорода. И ведь очи твои, Боян, давно сгнули, лопнули, выкипели от трахомы, нещадных пожарищ, и ведь водит тебя в ночи малец-поводырь, да рассыпь по дорогам щедрые звоны – не князья, не советники княжеские, а ты, только ты, неподступный, и видишь горевые и светлые дали Руси. Лишь перстами своими ляг на струны – так и видишь, как баскаки по-сусличьи ускользают в свою

Золотую Орду, псов-рыцарей тянет на дно Чудского озера, и смывает ливнем ливонцев, накрывает снегами поляков, французов. Так и мнится, как Невский или Коловрат, Донской, Пожарский, Кутузов призывают его, ясновидца, перед сражением: «А ну вдарь, Боян, в свои вещие струны. А ну глянь в наши судьбы: что там скрыто за тучами туч?»

И плывет плач Боянов по русским пробитым кольчугам, восславляет Боянова песнь уснувшую и уже пробужденную жизнь.

Воспой же, Боян, праздник вечного города, каждый день прожитой тысячи лет.

Возговори же, положи в душу Слово!»

А люди мимо Матвея идут и идут по аллее в ожиданье урочного часа.

Стояч и прозрачен воздух бабьего лета. За валом словно врезалась в небеса колокольня – так явственно все на ней до малейшего, даже колокола. Говорят, собор стоит на фундаменте древней церквушки, звон которой, может, слышал Боян.

Листок упал на колено, и Матвея слегка подернуло от озноба, он встал. Приятели сидели на прежнем месте. Предложение Дрынова осмотреть колокольню, на которой бывал, по преданию, сам Боян, было встречено с энтузиазмом.

Прошли к крепостному валу, к Деснице-реке. Через буреки, куски труб и какие-то бревна подходили к собору. Миша Капустин, зацепившись за доску, чуть не влетел в яму с известкой.

– А что, если б влетел? – вертел копной темных кудрявых волос этот Миша.

– Кто бы тогда куплеты писал? – подковыривал его Коля Рындин.

Подошли к собору, к самой двери. Она была вся в известке, рядом высилась горка битого красного кирпича. Из

дошатай будки напротив выскочил щекастый маленький человек. Новая болоньевая курточка и болоньевая фуражка с лакированным козырьком.

– Вы от городских властей? – человек даже подпрыгнул от радости. – А мы ждем, ждем.

– Мы оттуда, – серьезно сказал Рындин и серьезно посмотрел на Матвея. – Мы комиссия отца Дионисия.

– Какого отца? – человек на миг приостановился, перевел взгляд на Мишу.

– Ну... это, – опустил глаза Миша Капустин. – От всех отцов сразу... от отцов города.

– А, ну будем знакомы, – суетливо подавал руку каждому маленький человек. – Прораб Перепелкин.

– Ну так что, товарищ прораб, – уже входил в роль Коля Рындин, – начнем без всяких-яких, с объекта? Переделки-перепелки, недоделки-недо...

– Я бы предложил, – Перепелкин перевалился с ноги на ногу, заглянул в глаза каждому, – предложил бы сначала в прорабскую. Документики, ради праздничка и т. д. и т. п.

– А что, указание какое? – спросил было Дрынов, но Коля Рындин уже вел за рукав Перепелкина. – Можно, понимаете, и без сокращений, понятно?

Стол в прорабской ломился от яств.

Выходили из прорабской в высочайшем расположении духа, всем хотелось на колокольню. Коля Рындин хлопал по плечу Перепелкина, говорил, что здесь не в пример другим прорабским участкам дело, пожалуй, поставлено хорошо, но еще не совсем, можно, конечно, поставить и лучше. Дрынов все хотел втолковать Перепелкину, что они никакая не комиссия, а всего-навсего гости города в связи с юбилеем, но Перепелкину так хотелось, чтобы это была непременно комиссия, и потому он не слушал Матвея. «А где лучше? В тресте по ремонту памятников мы вроде бы не из последних», – ставил

он в тупик Дрынова. «А везде хорошо, – отвечал за Матвея Коля Рындин. – Например, у Куропаткина... слышал такого?.. на ремонте этого... ихнего леса». – «Ты даешь, – улыбался Перепелкин сочувственно и подмигивал Матвею: – На объект сразу пойдем или так, на слово поверим?» – «На объект, – было сказано строго. – На колокольню».

Поднимались в темном и затхлом каменном мешке, по вконец разошедшейся лестнице. Доски под ногами всхлипывали, стонали. Эхо гудело в колодце, затихало где-то внизу. Матвей на минуту представил, что будет, если рухнет под ними все это гнилье, и махнул рукой: ладно. И едва поспевал за Перепелкиным. В спину Матвею противно сопел Миша Капустин, от него пахло кожей и еще чем-то гнилым, нехорошим, капустой, что ли? «Аденоиды, – раздраженно подумал Матвей. – Давно б выдрал, чертова бочка. От твоих куплетов моль в ушах заведется, никакой дуст не возьмет». Постепенно Матвеевы мысли обретали устойчивость, переходили на твердую юбилейную тему, из глубины подымался Боян, даже лицо воображалось отчетливо, явственно, копия соседский дед Митрофан – пшеничные брови, пшеничные усы, родинка на правой щеке... Вот поэт, из поэтов поэт. Золотое слово, со слезами смешанное...

Пахнуло воздухом, ослепило светом. Колокольня стояла на семи ветрах, кругом так и сквозило. Голуби с шумом бросались вниз, кружились взволнованно, совсем близко от тех, кто посмел нарушить их золотой покой. Весь Тучневск был как на ладони, со всеми своими улочками и закоулками, огородами и курганами, остатками вала и крепости. Далеко в голубые леса уходила Десница-река. Вот с таких сторожевых мест и оглядывали местность, бывало, их бородатые пращурсы, дымами подавали сигнал об опасности дальше по линии, до самой Москвы. Колокольня. Колокола. Вот они, большие и малые, бронзовое литье. В них душа певучая

предков, в каждом звуке глубинный смысл... Там, по кромке леса, враги, и когда удары частят, нагоняют тревогу, обгоняют друг друга, воедино сливаясь, срываются, переходят в набат. И тогда чье же русское сердце не вздрогнет, не навострит себя мужеством, чья рука не потянется к палице? Там они, те леса. Заколodило стежки-дорожки, блудит путник в измраке дебрей. И вдруг, как из сна, явью дедовой сказки где-то тут возникает этот малиновый звон.

Колокольня. Колокольное царство. Главный колокол в рост человека, остальные собратья поменьше – висят на черных дубовых брусах, молчаливо угрюмые, все в пятнах, в голубином помете, прозеленелые, полусъедены временем буквы. И немые – срезаны все языки. Не получится «русского звона». Где-то там, внизу, уже гудит площадь и трепещет белое полотно, все готово к апофеозу. «Как же так, без Бояна? – мечется Коля Рындин по колокольне. – Сейчас мы что-нить придумаем, голос его подадим». И сует Перепелкину ломик железный.

– Это как... по программе? – берет за локоть его прораб Перепелкин.

– По программе, по программе, – объясняет Коля Рындин популярно, с применением рук. – Как врежу в главный колокол – бум, так ты вот по этому – динь-линь-динь. Понял? Делаем благовест... Ну-ка, Миша, глянь, чего там на площади? Поползло полотно?

– Поползло, поползло! – закричал Миша.

– Ну, пошли! – Для торжественности Коля Рындин слегка задержался и, поймав настороженный взгляд Матвея, размахнулся, ударил в край главного колокола, сверху посыпались хворостинки и перья.

– Динь-линь-динь, – ответил массивному гулу тонкий колокол Перепелкина.

Коля Рындин метался по колокольне, показывал, кому за

кем вступать. Выходил, получался у них благовест, они это слышали. Гремели, пели свое колокола, Боян с колокольной подавал голос Бояну на площади. Звук главного колокола казался Матвею коричневым, Мишин – синим, этот – зеленым. Стали люди под древние звоны, вглядывались в изваяние, и не было на площади никого, кто бы до слез не гордился сегодня эпохальным, звонким своим земляком...

Под конец Коля дал команду ударить «всеми наличными средствами» – сделали перезвон. Трезвон еще долго стоял в воздухе, звенело в ушах.

– Где это ты наловчился? – спросил Матвей удовлетворенного Колю Рындина и слабо слышал свой голос.

– Потомственный музыкант, – смотрел весело Коля. Собрались опускаться на грешную землю.

– Шуму не будет? – заглядывал вниз Миша Капустин.

– Чего теперь? – утер Коля Рындина лоб тыльной стороной ладони.

– А вы что, ребята... не по программе? – беспокоясь, переводил с одного на другого свой взгляд прораб Перепелкин.

– Ладно, не помирай, – тряхнул головой Матвей Дрынов и улыбнулся прорабу: – Не бойсь, нас поймут. В такой день и не подать голос Бояну?

Шли парком к площади, к памятнику Бояну. В объятия бросился Вася, Василий Несмирянов, следовательно.

– Ищу-ищу, где хоть вы пропадаете?

И потащил всех в павильончик на главной аллее.

– Иже еси на небеси, – пропел Рындина и подморгнул Матвею.

– Я пас, ребята, – сдерживал шаг Миша Капустин. – У меня, ребята, желудок.

– А у нас, по-твоему, что – лоханки? – говорил Дрынов сердито. – Давай, брат, не отставай. Русь сегодня гуляет.

Шли, захватив в ширину половину аллеи. Василия тол-

кнул случайно мужчина средних лет, седоватый, в светлом плаще.

– Стоп! – остановил мужчину Василий. – А ты знаешь, кого толкаешь? Кто я?

Мужчина стоял и смотрел на него внимательно, очень внимательно.

– А ты знаешь, кто я? – выговорил, наконец, он спокойно и усмехнулся.

– И знать не хочу.

– То-то и оно, что не знаешь, – теперь уже твердо сказал мужчина. – Вот и я тебя тоже знать не хочу. Захочу – сам расскажешь.

И пошел своей дорогой.

Василий стоял без движения. Побежал догонять ребят.

– Ну, обменялись мнениями? – усмехнулся Миша Капустин.

– А-а, – раздвинул брови Василий и, хохоча, потащил всех к обрыву читать у обрыва стихи.

После вечера поэзии в местном Доме культуры они возвратились благополучно на свою базу, в гостиницу. В номер к ним в их отсутствие подселили еще одного «клиента», уложили дядечку на раскладушке. Администраторша извинялась, просила войти в положение: такая дата, все у них переполнено, а где-то надо же переночевать человеку, тем более тоже гость города: солидный дядечка, генерал в отставке. Миша Капустин, кровать которого прижали по такому случаю к печке, заворчал было на всех этих «солидных, от которых несолидным хоть в трубу лезь», но Коля Рындин прищипнул, сказал, что положит его к себе на постель, а его, Мишину, койку отдаст генералу. Генерал оказался тот самый, встреченный на аллее, – щупленький, подвижный, ничего мужичок. Во-первых, он наотрез отказался от Мишиной койки, во-вторых, так легко и просто вошел в разговор, что

даже Матвей Дрынов, который предпочитал в гостиницах больше внутренние монологи, и тот не заметил, как вскоре втянут был в разговор. Владимир Петрович – так звали нового жителя комнаты – попал в суть, словно в яблочко.

– Шутка ли, почти тридцать лет не быть на родине, – говорил он с волнением. – Тридцать лет! И теперь у меня здесь никого... Ах, какие тут молодцы, какой праздник устроили! Как гремели колокола! Помню с детства. Особенно этот, сиреневый, – динь-линь-динь...

– А вот за колокола надо бы взгреть кой-кого, – упершись в стену затылком, смотрел Матвей на Николая Рындина с легкой улыбкой.

– Как это взгреть? – забеспокоился Владимир Петрович и посмотрел на Матвея внимательно, очень внимательно. – Все, по-моему, к месту: открыли Бояна, ударили колокола.

– Религия – опиум для народа, – парировал бесстрастно Матвей.

– Э, батеньки-матеньки, позвольте с вами не согласиться, – пропел генерал и даже зажмурился от удовольствия. – Да, не согласиться... Вас, молодые люди, еще и на свете не было, когда я ходил в комсомольцах. Диспуты, атеистические вечера. Колоколам языки отрезали, даже сбрасывали на землю... В колоколах, батеньки мои, действительно, если глянуть в историю, есть и герои... Колокола, как людей, ссылали в Сибирь...

– Пусть висят, пусть звонят, – сказал Миша задумчиво.

– Нет, зачем же так иронично? – живо обернулся в его сторону Владимир Петрович. Переводил взгляд с Миши на Матвея и обратно на Мишу, оценивал каждого. – Я вот о чем. С уничтожением церкви мы зацепили многое из культуры. Иконы, сами здания, колокола, а это – живопись, архитектура, музыка... Поезжайте в Азию или Европу – вас непременно поведут смотреть пагоду или костел. А туризм, батеньки мои,

сейчас в моде... Есть и нам, конечно, что показать: Байкал, Кавказская ривьера. А им интересно посмотреть, что создано нами, нашим народом, и тут мы им новый аэропорт, новый квартал. Конечно, это интересно. Ну а что у нас с вами за дух? С чем идем, так сказать, из веков? Вот что, батеньки мои, нам никак нельзя упускать. И для туристов, и для себя. А вы говорите – колокола... Очень даже было сегодня волнующе. Я орган слушал в Домском соборе – хорошо. Но сегодня так прошибло: полотно скользит, открывается людям Боян, и гремит этот, коричневый: «Бум, бум!» А между ним голубые, сиреневые: «Динь-линь-динь, тинь-тинь-тлинь»...

Матвей слушал, соглашался, молчал. Все устали, и все соглашались.

Утром первым с постели схватился Миша Капустин, растолкал Дрынова. Набросили полотенца на шею, прошли на цыпочках к выходу. Пол в коридорчике был цементированный, скользкий, стены в полтора метра, не гостиница – крепость. Окатились ледяной водою до пояса – вмиг слетела дрема, постепенно снималась тяжесть с темени и висков, очищалась мысль. Что ни говори, а распрекрасное это средство – ледяная вода.

– О чем думаешь? – повернулся Матвей к Мише Капустину.

– Что-то не нравится мне этот генерал, – клацая зубами, ответил Миша Капустин. – Для генерала какой-то неправильный.

– И кто он тебе? – растирал полотенцем тело Матвей.

– Журналист, наверно, – пожал Миша Капустин плечами.

– По-моему, так.

Дверь выбросила их металлической пружиной на улицу. У парка они встретили Василия Несмирнова, как раз он шел к ним в гостиницу, теперь уже в милицейской форме.

– Ну что, микромайор, еще звездочку не поймал, не при-

весили? – задевал его Николай Рындин, всегда задирает, заноза.

– Последнюю, спасибо, не сняли, – сделал под козырек Василий и усмехнулся: – Вот что выручило. – И Василий вытащил из кармана газету. – Местная. «Голос Бояна». Видите, сверху крупными буквами «И ударили в колокола».

– Ну что я говорил? – крутанулся на каблуках торжествующе Николай Рындин.

– Высокие гости, в общем, довольны, – сделал бантиком губки Василий и засмеялся. – А отцы города мне пальчиком: это твои, мол, орлы?

– Все довольны, чего еще? – пожал плечами Матвей Дрынов и двинулся к площади, на которой был открыт теперь уже всем ветрам и взглядам этот вещей Боян.

Утро разгоралось. Солнце золотилось на листьях, безмятежно голубело небо. Голуби клубились над колокольней, видно, справляли гнезда. Бронзоволикий Боян сидел лицом к Деснице-реке, к лесным чащобам и поймам и словно бы видел сквозь время то, что каждому здесь, у его подножья, не дано было видеть. «О Русская земля, – шевелились сухие губы Матвея, – ты уже за холмом!»

Его голубая мечта

(рассказ)

Вся жизнь Матвея Митрофаньча прошла у культурного очага. Когда-то он был «избачом», потом избу-читальню сделали клубом, и его оставили в штате художественным руководителем. Когда же клуб возвели в ранг Дома культуры, ему, в знак особых заслуг, подыскали должность «технички». Матвей Митрофаньч не роптал, понимал, что пошел народ

грамотный – после курсов, техникумов, а директор даже со специальным образованием, отчего так и чешет: рампа, нон-аккорд, ватерклозет, система Станиславского и Мейерхольда. Но самое любимое его словечко – номенклатура...

Прежде Матвей Митрофаныч держал ключи, отпирал клуб и сейчас тоже держит и отпирает. Только разница в том, что над ним теперь вон сколько начальства. Зарплата почти такая же, зато никакой ответственности. Вымоешь ночью полы и день-деньской делай, что хочешь. А у него известная страсть: писать маслом картины. Матвей Митрофаныч всегда говорил, что рисует картины, но лет пять назад приезжал в Подолянь один художник, так он сказал: надо выражаться профессионально: картины пишут, да еще и маслом.

Матвей Митрофаныч пишет свои с незапамятных лет. Углем на бересте чертил острые лики в буденновках. Карандашом на бумаге рисовал бандитские кистени. А за маслом взялся не так давно, уже после войны. Столько всего за жизнь написал, если рассовать – каждому в избу перепадет.

Хата Матвея стоит напротив Дома культуры. Культурная точка при нем, и он при ней, вроде при деле. Главное – люди не упрекают, что у него, Аксенова, потомственного хлебороба, шлея хлеборобская с плеча соскочила. Чует в себе Матвей силы невероятные, готов объять душой все окружающее. Когда накатит на него вдохновение, хватается за кисть и работает без сна, без еды, до остервенения.

С тех пор, как померли отец-мать, а затем и жена Луша, не оставив ему никого, Матвею в хате и словом не с кем перемолвиться. Что скажешь стенкам про думу свою, про мечтания и замыслов очертания? Зазвал он к себе как-то директора, Станислава Степаныча (тот вуз заочный кончал, должен, кажется, понимать), но тот, как только увидел Матвеевы картины в комнате, в сенях, даже сарае, так сразу же впал в крайнее изумление:

– Это, понимаешь, номенклатура! Прет из тебя, брат, святое искусство.

И разрешил занять под мастерскую котельную, откуда заодно и продолжать отопление Дома культуры.

– Тепло, смешно, и мухи не покусают, – прицокнул он языком. – Не забудь пригласить на новоселье.

Просились к Матвею на квартиру то молодой зоотехник, то осиротевший ветеринар. Матвей никого не пускал: да ну их, мороки с ними, отрывать будут от дела. Но когда в передней появился директор – Номенклатура и сказал: «Принимай постояльца», – а за ним, щебетнув, влетела девчонка, оказалось, художественный руководитель, Матвей и слов не нашел для возражения.

– Наш работник Круглова, – сказал ему Станислав Степаныч и подмигнул: – Так что обожай, но не обижай.

Девушку звали Нина – светленькая, голубоглазая, в коротенькой юбочке, стояла, опустив голову: боялась, откажут.

– Располагайтесь, – как можно добрее сказал Матвей Митрофаныч и тут же ушел жить в сарай, за неделю в доме и не показался.

– Извините, Матвей Митрофаныч, – встречалась утрами с ним у умывальника Нина, – я вас выжила?

– Ничего, – бодрился Матвей Митрофаныч и отворачивался, боясь случайно увидеть голые девичьи плечики.

После первой полочки она пригласила его в комнату пить чай. «Неудобно как-то, Матвей Митрофаныч, – говорила она. – Чей дом – непонятно». Он пил, обжигался, стараясь скорее допить свое и уйти. Нина наливала еще и еще, затем кивнула на стенки:

– А это все вы нарисовали?

– Я, – сказал Матвей Митрофаныч.

– А-а, – протянула Нина. – А я думала, все это из магазина. Эти, как их... с картин репродукции.

– Нет, – улыбнулся Матвей Митрофаныч, – здесь в доме все только свое. – И начал зачем-то рассказывать про себя.

Нина слушала и удивлялась – никогда б не подумала: в деревне – и художник, неужели настоящий? У них в культпросветучилище, на библиотечном, рисовал парнишка – так, самую малость, и то все ходили смотреть на него как на мамонта.

Станислав Степаныч решил из Аксенова сделать, как он выразился при Нине, «номенклатуру». Развесил картины по всему Дому культуры: в зале, фойе и у себя в кабинете. Раззвонил по райцентру, что у них в студии при Доме культуры работает «дворцовый художник», народный умелец, «дитя того и этого света, а также мастер импровизации». Вскоре из областного радио прикатил в село корреспондент. Матвей Митрофаныч скрылся куда-то и целый день не показывался, за что получил нагоняй от директора «ввиду небывалой скромности, пагубной для всякого деятеля культуры».

– В следующий раз отражу на бюджете, – сказал он Матвею. – Наложу на зарплату секвестр, никакой арбитраж не поможет. Бьешься за вас лысиной о паркет, а вы с Ниной не воспринимаете.

– Мы воспринимаем, – стоял и переживал Матвей Митрофаныч перед собственной картиной «Розы в октябре», висевшей за спиной у директора. – Только, прошу вас, увольте от...

– И уволю, – согласилось начальство. И вдруг хлопнуло его по плечу, расхохоталось: – Ну да черт с ними, с этими корреспондентами! Мы, Митрофаныч, пьесу эпохальную грохаем, так ты это... оформи спектакль. Нарисуй декорацию, чтобы как в Большом театре, не хуже. Ну-ну... ты можешь, а, Митрофаныч?..

Надвигался районный смотр художественной самодеятельности. Станислав Степаныч выбрал для постановки драму Ф. Шиллера «Разбойники». Кое-что урезал, кой-чего

подпустил от себя, или, как он выразился, «подсовременил». И кружковцев для этого не хватило.

– Школьников мобилизнем, – прицокнув языком, сказал Матвею директор и тут же дал нагоняй: – Ты чего тянешь с оформлением, как бог с черепахой?

– Так ведь уже позабыл, какие они, средневековые замки: видел в Германии аж в сорок пятом.

Как только сшитые простыни были доведены до средневековой кондиции, Станислав Степаныч дал Матвею другое задание: выучить роль сына старика Моора – Франца.

Роль Матвею не нравилась. Он учил ее и проклинал тот день и час, когда свалился на его голову этот... Номенклатура. Замучил, спасу нет, теперь потащил на сцену. Кому нужна эта инсценировка, когда по телевизору хватает спектаклей московских театров? За месяц он к кисти не притронулся по-настоящему, а живописец как снайпер: ему глаз да глаз нужен...

На прогоне спектакля присутствовал инспектор райотдела культуры Востров. Зал был переполнен. Подняли занавес. Согласно инсценировке, Матвей должен был появиться на сцене в обществе старика Моора – директора и Амалии – Нины.

– На выход, – шепнули Аксенову и слегка подтолкнули.

– Не пойду, – побледнел вдруг Матвей Митрофаныч.

– На выход! – зашипели, замахали кружковцы – учителя, врачи, агрономы, схватили его под руки, подтащили к краю кулис.

– Все равно не пойду, – упирался ногами в рояль Матвей и смотрел на Нину – Амалию, на старика Моора – директора, на его руку у нее на плече.

Пауза затягивалась. В зале затрещали покашливания.

– Пойди сюда, Франц, – провозгласил со сцены старик Моор и скрипнул зубами.

– Не пойду, – замотал головою Матвей.

– О ужас! – воздел руки к небу старик Моор и опять опустил их на Амалию. – Я тебе говорю, Матвей, подойди!

Только Матвей хотел развернуться, как кто-то толкнул его в шею, так что он пробкой вылетел на сцену. Увидел совсем близко Нину – Амалию в голубом платье со шлейфом, гранд-даму, красивую, сероглазую, и все слова, которые учил он столько дней, разом вылетели из его головы. Он не слышал суфлера, слышал только ее...

– Ну вот и пришел, а ведь не хотел, – улыбнулся ехидно директор.

– Я уйду, – сунулся было назад Матвей Митрофаныч.

– Оставайся, – махнул директор, – да не упрячься.

– Я люблю тебя, Амалия, как себя самого, – шептала Францу суфлерша. – Я люблю тебя... люблю тебя...

– Убери руку, – входя в роль, сказал неожиданно Франц отцу – графу Моору, директору. – И вообще не могу говорить ей эти слова при тебе. Или я, или ты. В пьесе тут не должно быть, кроме нас, никого, я читал...

Зал умирал со смеху.

Франц – Матвей потоптался на месте, оглянулся назад: там его караулили. Тогда он поклонился зрителям, пересек сцену и исчез за другой кулисой.

После такой «самодеятельности» директор уволил Матвея Митрофаныча со всех должностей: уборщицы и истопника. Но через неделю сам пришел к нему просить прощения. Однако картины со всех стенок содрал, добрался даже до библиотеки, где висели Матвеевы натюрморты «Яблоко только что из кадушки» и «Вино и виноград».

– Уберите пачкотню, – указал он библиотекарше. – Возбуждает не аппетит, а рвоту. Тут у вас все-таки номенклатура – классики всевозможных мастей.

За Матвея Митрофаныча вступилась только Нина – Амалия.

В качестве меры наказания «злодею на сцене» Станислав Степаныч перевел Нину на другую квартиру, и в доме Матвея Митрофаныча опять стало пусто.

Матвей в котельной сидел теперь безвылазно, наверх и не показывался. Стадил к себе вниз свои впавшие в немилость картины, побросал их все в угол. Раскочегарив топку, долго смотрел на жар. Огонь возбуждал его, заставлял кипеть мысли и чувства. Он знал, что односельчане считают его чудаковатым: не пашет, как другие, не учит, не лечит, занимается тем, от чего ни проку, ни корму. Однако он знал и то, что в райцентре эти люди не преминут похвалиться, что мы-де подолянские, но не из подлесной, а из той Подоляни, где «Митрофаныч, который художник, живописует действительность резко и занимательно».

Нина ходила домой теперь через речку, на другой край села. Однако нет-нет да и забегала по старой памяти, просто так, в хатенку под двумя рыжими кленами. Если бы знала она, что значил для Матвея Митрофаныча каждый ее приход. Снова и снова воображал он ту сцену, Нину – Амалию в голубом, облокотившуюся на скамейку – гранд-даму, красивую, сероглазую. Как она взглянула тогда, будто обдала кипятком! Глаза – акварель, серые в синюю крапинку... Он создаст шедевр. Должен же быть у каждого в жизни, черт возьми, свой шедевр! Не для всех, только для нее! Есть же в мире у кого-то твой настрой, такое же ощущение жизни, как у тебя, родная тебе душа...

Прошла осень, на исходе была и зима. Матвей Митрофаныч писал картину, забыв обо всем на свете: лишь внушительный стук в котельную, в правую раму, напоминал ему иногда, что наверху стало холодновато, пора и топить. Нина стучала тюк-тюк-тюк, как синичка. «Вы тут совсем отощаете», – совала она ему то пирожок, то конфеты. Он отмахивался и сразу же переворачивал свое творение к стене. Ему

ничего не было нужно – только сидеть, смотреть на Нину, которая была тогда гранд-дамой, в голубом и со шлейфом. Акварель. Капельки улыграмарина, глаза с синим ободком...

Весна ли была тому виной, но Нина тоже вдруг стала внимательнее к снегу, деревьям и почкам. Идет по дороге, остановится, слушает, как в след от каблука, позванивая, на-текает голубовато-зеленая вода, как стекленеет в мартовских полях воздух, делает душу ее тяжелой, а голову легкой. И Нина окунулась в работу, она и не знала, что это так интересно – работать. Всего-то какой-нибудь свежий нюансик в их струнном квартете, а боже мой, сколько мучений. Оказывается, как здорово, когда отдаешься искусству, как, например, Матвей Митрофаныч. Этому в училище их не учили, этому и не научишь...

Матвей Митрофаныч закончил картину к началу апреля. Побаливала голова, поднялось кровяное давление. Но ничего, впереди – тепло, цветение садов. В субботу он сделал раму, натянул полотно. Ночью выбрался из котельной и, пройдя на цыпочках через фойе, подтянул к стене лестницу и укрепил картину на самом виду, над дверью в зрительный зал. А лестницу перенес через дорогу, домой.

Воскресным утром инспектор райотдела культуры Вос-тров заехал в Подолянь по вопросу завершения отопительного сезона. Вместе с директором они вошли в фойе клуба, и оба невольно остановились: перед ними, во всю стену над входом в зрительный зал, высвеченное через верхнее оконце солнечным лучом, сияло нечто такое голубое и праздничное, что дух захватило. В сторонке толклись любопытные, среди всех Нина, Матвей Митрофаныч.

– Что это? – сдвинул брови директор.

– Картина, – подошел к нему поспешно Матвей Митрофаныч. – Мой голубой, как говорится, шедевр.

– Шеде-е-евр?! – Станислав Степаныч от изумления с ми-

нугу не мог продыхнуть. – Да знаешь ли ты, отче, что такое шедевр? Но-мен-кла-ту-ра! Высшая и последняя стадия...

– Глупости, – подлетела веселая Нина. – У искусства не может быть последней стадии.

– Верно, – подтвердил Матвей Митрофаныч.

– Ох, эти мне злодеи на сцене! – наклонился Станислав Степаныч к Вострову и, уходя в кабинет, обернулся к Матвею:

– Убери стряпню, не срамись, Пикассо...

И Нина, как показалось Матвею Митрофанычу, засмеялась в угоду директору, а значит, и над тем, что висело в фойе на стене. И Матвей Митрофаныч уже не слышал ничего. «От тебя уходят в пространство струны, – мучительно думал он. – От другого уходят струны в пространство и где-то по звуку встречаются... Они не встретились, и я, выходит, прожил пустую жизнь, ничего не сумел»...

Матвей Митрофаныч перешел через дорогу, лег в постель и... умер.

Картину снять не успели. Она висела на самом видном месте в фойе, и все подолянцы, кто из ближних сел, кто из райцентра, шли взглянуть на «высшую и последнюю стадию Митрофаныча» – на его «голубой шедевр». Стояли, высоко подняв голову (ведь это же очень важно, как держишь голову, когда смотришь на настоящую вещь). Простой деревенский хлопчик тянулся с маленького островочка к простой деревенской хате, с которой стремился в голубизну аист – подломил крыло, оттолкнулся и на полувзмахе в крик...

Станислав Степаныч извлек из котельной остальные картины, отряхнул от угольной пыли, развесил их, где только можно, не забыл даже бильярдную. Ко входу придвинули стол с книгой отзывов: пожалуйста, записывайте свои мнения.

На следующей неделе в Доме культуры собралась сессия местного сельсовета. В конце ее подняли вопрос, как быть

дальше с «фондом Аксенова»: оставить его для внутреннего употребления или толкаться, если это действительно ценно, в район? Говорили охотно и много, все знали Аксенова и подозревать не могли, что жизнь его, оказывается, была «достоянием», гордостью их села Подолянь. Горячо за движение картин «куда-нибудь выше, в район и так далее» выступал Станислав Степаныч Рыкун, назвавший в горячке Аксенова даже «народным артистом», достойным воспитанником Подолянского Дома культуры, с которым тот не порывал тесных творческих связей до последнего вздоха.

– Это праведник, солнце нашего села Подолянь, – сказал он в заключение и сел, довольный произведенным эффектом.

– Э, куда хватил, – встал тут же бригадир подолянской полеводческой бригады. – У нас таких солнц знаешь сколько может набраться? В каждой бригаде. А солнце, товарищи, у нас, сами понимаете, только одно, – смотрел он куда-то мимо, на стенку. – А это был человек, художник, с отдельными недостатками. Хотя бы та сцена на сцене. Хм, народный артист! Сущие вы тогда, простите меня, Станислав Степаныч, сущие вы тогда оба были разбойники.

– Ну чего там, – зашумели в зале. – Кто старое помянет...

– А кто забудет, тому два глаза вон, – стоял на своем бригадир. – Я, товарищи, так вот приглядываюсь: чем-то это строеньице... в «голубом шедевре» скидывается на наш сельсовет, а? Скидывается. Но к чему на ней аист? Где вы видели у нас на сельсовете гнездо, товарищи, с аистом? Шутит, стало быть, автор? Что, без шуток нельзя? А что в действительности на сельсовете, товарищи? Флаг! А у него аист. Вы что-нибудь понимаете? Я лично – нет. Не понимаю я этого аиста. И вообще в широком смысле не понимаю искусства Аксенова. Сам Матвей Митрофаныч был человек неплохой, не возражаю. Но с фондом его, товарищ директор, надо поременить. У нас есть дела и поважнее...

Станислав Степаныч выходил из зала последним. Посредине фойе стоял человек средних лет, со светлой бородкой, явно не подолянский. Рассматривал «голубой шедевр» Митрофаныча.

– Вам чего, гражданин? – подошел к нему Станислав Степаныч. – Мы закрываем.

– Потрясающе! – сказал человек с бородкой. – Тонко, профессионально. Как он мог? Здесь, в деревне, один, без общения... Мне рассказали, и я специально приехал, – повернулся он к Станиславу Степанычу. – Я из области, из Союза художников... Вы не можете устроить мне встречу с теми, кто его близко знал?

На беседе Нина не выдержала, упрекнула: «Он же к вам туда не раз обращался. А теперь»... – «Да-да, я вас понимаю, – говорил художник задумчиво, – но я лично тут ни при чем»...

Был голубой майский день. В сторонке, перезваниваясь серебром, пролетали дикие гуси. Струна к струне, голос к голосу. Еще пару месяцев, и год Нининой работы уже позади. Первая встреча с творчеством у нее была здесь, в Подоляни. Перед глазами всю жизнь у нее будет тот мальчишка из «голубого шедевра», чем-то похожий на Митрофаныча. И вдруг ей захотелось увидеть его – всегда тихого, беззаветного, вечно с кистью в руке. Она вздрогнула, вникнув наконец в смысл его простого шедевра. Это в полотне не обязательно голубое – просто небо, просто воздух, просто надежды, осуществление замысла. Это все лучшее в человеке и человек, которого не вернуть.

д. Костюрино

ИВАН **РЫЖОВ**

Конь золотой
Аринкин хутор
Лебёдушки



Конь золотой

(рассказ)

Короткий убогий день. Был – не был. Гостил – уехал. На серо-зелёном лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь. Стоял, прядал – ноги стройные, в белых чулках, бока полные, атласные, хвост волончатый, грива ржаная, длинная, ляжки тугие, точно резиновые, ноздри широкие, мокрые, теплые, глаза карие, налитые, влажные, сам весь светло-рыжий, недоступный – сказка!

Подхожу, смотрю, трогаю – морозится, вздрагивает, напрягается... Глаза яркие, бешено-выпуклые, косят в мою сторону: вот-вот ударит литым тяжелым копытом. И в то же время ластится, тянется мягкими влажными толстыми губами.

Ласкаюсь, шепчу, трогаю, упиваюсь... «Конь, мой конь, упоительно-близкий, родной, древний!»

А он вдруг опять трусится, ржет, опять перебирает будылистыми, изумительно длинными ногами, напрягается, вытягивает крутую шелковистую гладкую шею. Гляжу, шепчу, даю старую засохшую корку хлеба.

Мокрый, пестрый, волнистый луг, травы теплые, светло-зеленые, пологие лысые бугры, уже истоптанные, небогатые; выпуклое, в редких дамасских облаках голубое небо, бледная даль; рядом темный шаткий деревянный мост, узкая спокойная речка, бывшая разоренная усадьба. Бегут и бегут

тени, что-то шуршит, скребется вокруг, струятся, блестят, переливаются листья редких берез. Тоска, пустая предосенняя пора, один...

А он снова и снова гулко, весело ржет – и окрест все вздрагивает, наполняется неземными звуками, и эти длинные звуки уносятся вдаль, куда-то ввысь, в поднебесье – и там наткаются на что-то и медленно возвращаются... Упоительно, неповторимо! И нежно, и тревожно отчего-то на душе.

Ползут, перебирают невидимыми ножками по блеклой унылой траве нарядные божьи коровки, стороной идут, куда-то убегают телефонные столбы, тонкие провода на них то серебряные на западной стороне, то темные вблизи – разные; тишь, великая глушь, немота. Почти ночь. Сине-бархатное небо уже дырявится, прокалывается мелкими звездами. Сверху глядит, тепло дышит плоская, с оранжевым кругом луна.

А он летит, несется, нежно осиянный месячным светом, мой древний близкий конь, длинные атласные бока дуются, круп лоснится, рыже-белый хвост изгибается, хлестает по стройным ногам – Господи, куда деться от счастья?

А на краю цветного луга, у самой кромки ленивой речки, сидят три мужика, пьют, закусывают, тяжело сопят...

Узкая гладь воды морщится от слабого ветра, переливается на середине тусклым серебром... Сладко-холодно пахнет уже увядшей поздней травой, остро, зло кусаются зелено-золотистые мухи... Несказанно грустная, печальная пора!

И вдруг опять ржание, звук – громкий, неожиданный, сладостный. Внутри что-то обрывается, замирает, на глаза навертываются легкие слезы. А мужики уже галдят, придираются друг к другу, о чем-то орут, чуть ли не дерутся... Что им эти закаты, дивная вековая глухая речка, этот небесный, воздушный, золотой от света конь...

Мой конь!..

Шелковый потертый луг, темно-лиловое небо, хрустальное бормотанье сонной птицы. Медленный хруст мертвого первобытного песка на берегу речки. Говор мужиков, это древнее ржание. Был – не был. Гостил – уехал. Куда?..

Аринкин хутор

(рассказ)

I

Вставала она затемно, часа в три, и с тех пор уже не присаживалась ни на минуту – делала бесконечные дела по дому, шла в поле, на ферму с бабами, возвращалась в короткие обеденные перерывы и опять что-то делала: убегала доить корову, кормила уток, кур, варила обед...

– Как заведенная – ни минуты покоя, – жаловалась она вечером дочери, но жаловалась мимоходом, не всерьез, все больше по привычке.

Была она уже не молода, чуть согбенна от времени и от работы, суха и жилиста вся, но крепка еще на вид, еще чувствовала в себе силы. И на просьбы дочери отдохнуть, бросить работу в колхозе, уйти на пенсию отвечала:

– Тебя-то доучить надоть, в люди вывести. А на пенсию рази проживешь? Рази проживешь-то на сорок рублей?

Дочь Тая оканчивала десятый класс, и Матрена души в ней не чаяла: и хороша-то была, и пригожа-то, и смышлена. Тая и впрямь была хороша: тонка и смугла лицом, не по годам высока, стройна телом. И училась она хорошо. И давно решила про себя: закончит школу – поедет в город, устроится на работу или учиться, заберет к себе мать. В деревне

молодежь не оставалась, и Тая тоже не хотела оставаться в Аринкином хуторе. Но Матрена сердилась, когда Тая говорила об этом.

– И не думай, что я уеду, – ругалась она. – Что я не видела в этом городе?

– Но, мама, – протестующе говорила Тая. – Вон все же уезжают, а я что тут буду делать одна?

– А я рази держу тебя здесь? – смягчалась Матрена. – Поезжай, учись... А я отседа помогать буду. Яичков, сальца когда пришлю...

– Но ты же больная, отдохнуть пора, – возражала Тая.

– И не думай про это, – Матрена весело проходила по комнате, весело смотрела на дочь. – Силы ишо есть, из рук не валится...

И поругавшись, поспорив незло, они успокаивались, строили планы Тайкиного городского житья. Жили они одиноко, вдвоем – отца своего Тая не знала, не видела ни разу.

– А какой он тебе отец? – отвечала Матрена, – Так, случайный человек.

Мужа своего она и не считала мужем. Да и была ли замужем – она и сама ответить не могла. До войны Матрена не успела выйти замуж, а после войны мужиков почти не вернулось, убило и жениха ее, и она смирилась уже, решила, что проживет свой век вековухой, как жили многие, не одна она.

– Где их взять-то, мужиков, когда дед Михей проходит за первый сорт? – смеялись, горько шутили женщины.

И горько, жутко оплакивали иногда судьбу свою, когда собирались на вечеринку, покупали вина... Ох и проклинали они войну, ненавистных немцев тогда! Но что толку в этих плачах-проклятиях! И Матрена ожесточилась, не жалела себя в работе: и пахала на себе, и бригадиром была... И деревня возрождалась, оживала – забывалась уже война. Не совсем забывалась, а притуплялась как-то, отходила в сто-

рону до поры до времени, до новых бабьих вечеринок, до коротких одиноких ночей в пустом доме...

Так бы и жила Матрена одна. Но как-то остановился у нее на постой проходящий плотник – ходил он из деревни в деревню, подряжался строить. Матрена и сама удивлялась: как это она сошлась с пьяницей-пустоболтом, как оказалось, женатым уже человеком? Сойтись-то сошлась, да жить не стала – выгнала его через месяц.

– Вот тебе Бог, а вот порог, – твердо сказала она, когда узнала, что он женат, что есть у него дети.

– Ты это чтой-то? – удивились на деревне. – Аль мужиков много – бросаешься...

– А и мы не обсевки какие, – гордо отвечала она и прикрикивала: – Хватит чесать языками-то.

А скоро и совсем забылось бы скоротечное житье с плотником, да родилась у Матрены от плотника дочка. С тех пор не узнать стало Матрену – будто переменили ее, наполнили чем – засветилась она вся, повеселела, любая работа так и спорилась у нее.

– Гляди-ка, без мужика-то, а живет не хуже, – одобряли на деревне.

Матрена нарадоваться не могла: дочь росла послушная, ласковая.

– И до ученья охочая, – хвалилась она. – Вырастет – дальше учиться отдам. На учительшу или на бухгалтершу выучится.

– А ты как же – одна останешься? – спрашивали ее.

– А так, – неопределенно отвечала она, а внутри что-то сосало, ныло: ей хотелось и не хотелось отпускать Таю.

Хотелось ей видеть дочь свою не простой колхозницей, зачем тогда и учиться, а сидящей в конторе, чисто и нарядно одетой, с белыми нежными руками – не такими, как у нее, темными от земли, от работы.

«Хватит, что я погорбачила за свой век, – думала она. – Пусть ей-то полегче будет...»

Но и не хотелось ей отпускать Таю – боялась она, что уедет в город, попадетсЯ ей там пустой человек – жизнь испортит...

«Молодая ишо, гляди да гляди», – пугалась она.

А Тайку сместили ее страхи, спала и видела она уже себя в городе, ясно представляла уже: как учиться в институте, как приезжает на каникулы и все завидуют ей, как завидовала и она, когда приезжали в Аринкин хутор в отпуск из города. Ходили отпускники важные, по-городскому культурные.

И в последние дни перед экзаменами Тая стала рассеянна, невнимательна, весела-возбуждена – виделся ей уж скорый отъезд.

– Смотри, ишо не уехала, а нос воротишь, – обижалась Матрена.

– Ну что ты, мамочка, – ластилась, обнималась Тая.

II

«Зря обижалась, – думает теперь Матрена, лежа неподвижно на печке. – Вот Бог-то и наказал...»

Лежит она неподвижно вот уже второй год – отнялись ноги, парализовало правую сторону тела. Кто бы мог подумать, что такое может приключиться? Не думала не гадала и сама Матрена, пошла полоть свеклу и свалилась. Думала, что пройдет, что ненадолго это, – мало ли приходилось прихварывать, а вот все не проходит, и нет никакой надежды, что пройдет, что встанет она. И Матрена мучается нестерпимо. Мучается она не от боли, не от неподвижности своей, давно уж привыкла, а от дум всяких. Переживает она за Таю, видя, как терзается та, ухаживает за ней денно и ночью.

«Хоть бы скорей прибрал Господь, развязал руки, – молит она. – Девка-то совсем замучилась...»

– Тася, ты сходила бы куда, в клуб на танцы, – слабо говорит она по вечерам.

– Лежи, лежи, мама, – отвечает каждый раз Тая. – Ну куда я пойду за пять километров? Устала чтой-то.

Вот и сегодня Тая только что вернулась с поля – работала на току, – ей лень было двигаться, что-то делать, наморилась она за длинный день, наработалась... Да и заела, заглодала ее в последнее время тоска-кручинушка. Разъехались, разлетелись в разные стороны ее школьные подружки – кто поступил учиться в институт, кто устроился на заводы, на стройки – совсем опустел без молодых Аринкин хутор.

И Тая часто достает свой слегка уже выцветший, пожелтевший аттестат и остро, до явственности вспоминает школу, выпускной вечер, как выдавали аттестаты и директор школы сказал: «А вам, Тая, прямая дорога в институт. Закончили школу лучше всех, на одни пятерки». «Кому они теперь нужны, эти пятерки?» – Тая зло засовывает аттестат в стол, и слезы проступают у нее на глазах, и вот-вот она уже разревется, но в это время Матрена окликает ее, просит:

– Тася, подай водички, чтой-то сохнет и сохнет во рту...

Тая поспешно вытирает слезы, зачерпывает из ведра холодной воды и, подавая, говорит:

– Может, доктора вызвать?

– Э-е, Тасенька, зачем он нужен, – отмахивается Матрена. – Один мне доктор – могила...

– Ну зачем ты так, мама? – протестует Тая, а сама знает, что никакой доктор уж не поможет матери.

В первые дни она тоже думала, надеялась, что мама скоро встанет, поправится, но доктора, приехавшие из района, сказали, что это серьезно и организм уже изно-

сился, не молодой... Но Тая не отчаивалась, тайно ждала какого-то чуда.

Но теперь и она не ждет его. Она слегка изменилась, по-смуглела еще больше от солнца, руки ее погрубели от работы, пошершавели от ветров, и стала она выше, как-то длинней ростом, но стройна, легка была по-прежнему. И невеста уже. Уже приходили к ней свататься. Жених был из соседней деревни, только что демобилизовался из армии. Был он тоже высок, русоголов, пышный чуб так и лез из-под фуражки, и самодоволен – знал, что хорош, что ни одна девка не откажется пойти за него. Тая и видела его всего лишь раз в клубе, когда он пьяный подошел к ней пригласить ее на танцы, а она отказалась тогда. И уже уходя из клуба, слышала, как он громко, будто нарочно для нее, спрашивал:

– Чья это такая больно гордая? И не таких видал, обламывал.

Но Тая больше в клуб не ходила и совсем уж забыла о нем, об этой мимолетной встрече, и сейчас с интересом смотрела, встретила сватов. Она хотела и не хотела замуж – тоска, одиночество заели ее. «А что? Стерпится – слюбится. Рожу детишек, сразу веселей, легче станет», – усмехается она, видя, как уверенно, по-хозяйски усаживается жених на лавку, будто и муж уже.

– Ну что, Матрена, лежишь все? – спрашивают, мнутя сваты.

– Лежу, родимые. Залежалась уже, – отвечает Матрена с печки.

Она еще не видит, не догадывается, зачем пришли к ним из соседней деревни, а Тая молчит, ничего не говорит ей.

– Ну это ты зря. Находишься ишо, – успокаивают гости и все никак не могут, не решаются приступить к делу, а жених подмигивает им, достает бутылку водки из кармана и ставит на стол. И сваты сразу веселеют и громко кричат:

– А мы, Матрена, к тебе по делу. Значит, у тебя товар, тоись дочка... Вон какая красавица, пора и замуж ей...

И они что-то еще весело и долго говорят о ней, расхваливают жениха – и какой он работающий, умный... Но Тая плохо слушает их. Что-то сосет, сдавливает внутри, слезы застилают глаза, и опять почему-то хочется разреветься и убежать куда-нибудь, куда глаза глядят...

– А что, дочка, парень он, кажись, неплохой, родителей его знаю, – глухо доносится до нее голос матери.

Тая встряхивает головой, будто отходит от нехорошего сна, смотрит на сватов, на жениха и видит, что все ждут ее слов, а жених уже возле стола – приготовился разливать водку.

– А жених как – к нам перейдет жить? – грубо спрашивает Тая.

– Что ты, что ты, – машут сваты руками. – В примачи он не пойдет. Он один у своих...

– Не пойдет и не надо, – еще грубей выпроваживает Тая сватов.

– Ну что ты, доченька... Не гляди ты на меня, старую. Обуза я тебе, – заплакала, запричитала Матрена.

– Лежи, – прикрикивает Тая. – Буровишь лишнее.

А сама затосковала еще больше.

«Может, и зря не пошла, – думает она теперь. – Женихи-то вон все укатили в город. Хутор вон будто вымер...»

Аринкин хутор не велик – всего дворов тридцать. Днем он и впрямь будто вымирает, становится пустынным, тихим – все уходит на работу в поле, на фермы... Остаются одни лишь старики да дети, но и они сидят все больше по домам, копаются на огородах, греются на завалинках. И только под вечер ненадолго оживает деревня, когда пригоняют стадо. Выскакивают тогда из домов женщины, ребятишки и суматошно кричат:

- Милка, Милка...
- Оря, оря, черт бы вас побрал...
- Васька, барана нашего нету. Поищи барана-то...

Пахнет тогда молоком, овечьей шерстью, коровьими «лепешками». Но скоро зацыркают подоиники, еще сильнее запахнет молоком, и все сядут ужинать – загорятся ярко окна электрическим светом. Но и они светятся, горят недолго – в деревне рано ложатся спать. Нет в Аринкином хуторе обычных матань с гармошками, нет клуба, где бы плясали, танцевали до полуночи. Клуб расположен в соседней деревне, за пять километров, но и туда ходить некому – разъехалась молодежь из Аринкина хутора. Кто уехал учиться, кто не вернулся из армии – остался в городе работать. Тоскливы и неуютны вечера в Аринкином хуторе. Сидит Тая, читает долго, подаст что матери, поправит подушки и опять читает... «Ах, тоска, тоска-кручинушка..» – с этими мыслями, вздыхая, Тая ложится спать... И так изо дня в день. Так и сегодня...

III

– Эй, Тайка! – внезапно раздается голос под окном. – Пойдем в Муравлево, говорят, артисты из райцентра приехали.

Тая выглядывает и видит соседку Анюточку, незамужнюю сорокалетнюю женщину. Анюточка принаряжена, надушена, неумело завита. На ней темно-синее шелковое платье, новые полусапожки.

- Не хочется, – отвечает Тая. – Да и концерт плохой.
- Откудова знаешь? – возражает Анюточка.
- А-а, знаю...
- А что мы лучше-то видим, – сердито говорит Анюточка, – один раз в год и ходим на какие концерты-то.
- Сходи, Тая, сходи, – просит и мать.
- Эй, девки, на концерт, что ль, собрались? – спрашивает

подошедшая почтальонша Татьяна Кузовкова и раздумчиво говорит: – И мне с вами, что ль.

И Тая решается, начинает собираться. Надевает она выходящее белое платье, лаковые черные туфли.

– Ой, Тайка, туфли-то какие! – восхищается Анюточка. – Когда купила-то?

– Давно, – недовольно отвечает Тая.

Ей уже почему-то не хочется идти, но прибегает запыхавшаяся Татьяна Кузовкова, и они идут.

Уже поздно, а идти лесом возле речки пять километров, и они торопятся, чтобы не опоздать. На траву уже пала роса, и Тая снимает туфли, идет босиком. Снимают обувь и женщины. От речки тянет сыростью, прохладой, но лес за день нагрелся, наполнился духотой, и прохлады не чувствуется.

В Муравлево они приходят вовремя, клуб густо, как мухами, облеплен мальчишками. В коридоре тоже тесно от столпившихся парней, мужиков, они стоят курят – ждут артистов. И Тая с женщинами с трудом протискиваются сквозь этот строй, отыскивают свободное место и усаживаются. В клубе жарко, пахнет потными телами, дымом, духами, и запах этот плотен, тяжел.

«Зря я пошла, – сердится Тая. – Ничего хорошего...»

– А-а, Тая, здравствуй, – окликает ее белесая, модно одетая девушка.

Она радостно улыбается, продвигается к Тае и усаживается рядом.

– Как живешь? – спрашивает она.

– Ничего, – неопределенно отвечает Тая и нехотя подвигается, уступает место.

Девушка эта когда-то училась с Таей в школе, а сейчас она учится в институте – приехала на каникулы. И Тая остро, враждебно завидует ей.

– Концерт, говорят, муровый, – говорит веселая Нина.

– Что ж тогда пришла? – злорадно спрашивает Тая.

– А-а, от нечего делать...

– Очень хороший концерт, – горячо защищает Тая. – Может, получше ваших городских.

– Ну,хватила, – не соглашается Нина.

А Тая обиженно замолкает, отворачивается, с нетерпением ждет артистов: ей хочется, чтобы они были хороши, красивые, талантливы...

Но самодеятельные артисты из райцентра зло разочаровывают ее: молодых среди них почти нет, все больше пожилые, почему-то толстые, часто сбиваются, и ей обидно, стыдно за них. Ей хочется подняться, уйти, но рядом сидит Нина, и она терпеливо смотрит, громко аплодирует каждому номеру.

После концерта начинаются танцы, и Нина спрашивает ее:

– Останешься? Потанцуем?

На Таю находит непонятное ей какое-то бешенство, желание перещеголять в чем-то модную Нину, и она говорит рядом стоящей Анюточке:

– Ты иди, а я останусь еще, потанцую.

– Гляди, а я пойду, завтра рано вставать, – отвечает Анюточка.

Танцы долго не начинаются, ждут, когда уберут со сцены, отодвинут к стенкам скамейки. Наконец все готово, и баянист начинает играть, но никто не решается первым выйти в круг, девчата жмутся друг к другу, робко поглядывают на парней, а те будто и не слышат баяниста, не видят девчат.

– Пойдем? – предлагает Нина.

И они выходят, кружатся одни. Постепенно смелеют и другие, и вальс уже танцуют в тесноте. Таю приглашают наперебой, и она довольна, счастлива, что ее замечают, и танцует она не хуже Нины. Но ей упорно хочется чем-то

поразить, уколоть Нину, быть лучше ее. Напряжена, нервна она сейчас, как струна, что кажется: задень, нажми посильнее – и лопнет, не выдержит она. Знает она, что Нина опять уедет скоро в город, а она останется в Аринкином хуторе, будет ходить с пожилыми женщинами на однообразную, скучную работу, будет ухаживать за больной матерью, будет одна-одинешенька... К сердцу что-то подступает, становится горько, щемяще-тоскливо... Она подходит к баянисту и просит:

– Сыграй-ка барыню.

– Барыню, барыню! – дружно подхватывают все. Баянист отнекивается, говорит, что играет барыню плохо, но все настаивают, и он начинает играть, но не барыню, а цыганочку, но Тае все равно.

Она выходит в круг и, притопывая стройными ногами, озорно выкрикивает:

– Ну, кто смелый? Давай, кто кого перепляшет? Может, ты, Нина?

Нина выходит, но выходит как-то робко, неумело – отвыкла уже, скоро устает, убегает в толпу, а Тая торжествующе усмехается и пляшет, пляшет. Нину сменяет парень, потом другой, а Тая неутомима, будто влили в нее живые соки.

Ай, дай дробану,

Пока молодая.

Стара буду – позабуду

И плясать тогда не буду, –

звонко выговаривает она и идет, идет по кругу. Наконец не выдерживает, замолкает и баянист, а Тая победно говорит:

– Эх вы! Жилы тонки...

Но устала и она. Прошло возбуждение, желание поразить Нину, всех, и она вяло отмахивается на предложение парня, бывшего жениха ее, проводить, побыть с ней и быстро,

не попросившись, уходит. Слезы душат ее. И в лесу она не выдерживает, всхлипывает, всхлипы учащаются, сотрясают тело, и она начинает рыдать. Рыдает она громко, взхлеб, все никак не может остановиться.

«Боже мой, – шепотом причитает она. – Когда же кончатся мои муки...»

И ей на миг приходит страшная, пугающая мысль о матери: «Хоть бы поскорей отмучилась. Все равно теперь не жилец». Мысль эта обжигает ее, радует в первую секунду, но она тотчас спохватывается, ненавидит себя. «Ах ты, тварь несчастная, – истязает она себя. – И как только могла подумать такое...» И она бежит, спотыкаясь, домой. Топот ее туфель по сухой дороге вспугивает уснувших птиц, и они шумно поднимаются с земли, взлетают с деревьев.

– Ма-ма! – кричит она еще в сенцах.

– Это ты, дочка? – отзывается Матрена. – Ну как – весело было?

Она облегченно вздыхает, ничего не отвечает, проходит к себе и долго сидит молча, неподвижно...

IV

А скоро у Матрены отнимаются и руки, парализует ее всю, и она умирает. Умирает она тихо, спокойно, под вечер. Тая заходится в припадке, истошно, дурно голосит, кричит всю ночь, и похороны, поминки организует Анюточка. На поминки приходит почти вся деревня.

– Отмучилась, слава тебе, Господи, – шепчутся женщины и жалостно, испуганно поглядывают на Таю.

Тая каменеет, молчит днями, тупо смотрит на всех, лицо ее опухло от слез.

– Не свихнулась бы девка-то, – говорят про нее. И Анюточка оставляет на время свой дом, переходит жить к Тае.

Всю неделю Тая ходит потерянная, убитая горем, по но-

чам плохо спит, часто вскрикивает от испуга, от нехороших снов. А через месяц заколачивает дом, отдает корову, кур Анюточке.

– Что ты, Тайка, – отказывается та. – Продала бы кому, а я где денег столько возьму...

– Бери, бери, – настаивает Тая. – В гости когда приеду..
И уезжает в город.

Так неожиданно и нелепо сбывается ее мечта...

Лебёдушки

(рассказ)

I

Все началось хорошо. Звонили колокола, съезжались гости, родственники. Венчался молодой писатель Иван Бунин с гречанкой Анной Цакни. В церкви было много народу, было душно, пахло ладаном, свечками, отвесные золотые лучи света празднично озаряли лица гостей, жениха, невесты. Сладко пел церковный хор, густо и приятно басил дьякон, но Иван Бунин, обычно любивший церковное пение, службу, сегодня не замечал всего этого, был занят другим. Тонкое нервное лицо его было возбуждено, темно-синие глаза блестели и все время смотрели в сторону. Там стоял его новый тесть Николай Петрович Цакни. Перед этим Николай Петрович и Бунин много говорили и спорили о России, о ее народе, и что придавлен и забит он необыкновенно, и нищает, разоряется матушка Русь не по дням, а по часам.

– Мужика разбудить, поднять надо! – горячо восклицал Николай Петрович.

Слыл он революционером, народником и даже, кажется, одно время был в опале, в ссылке. Но народа, мужика он по-настоящему не знал и все представлял себе отдаленно, розово. И Иван Алексеевич не верил в его народнические проповеди, не верил он, что только революция может что-то изменить, переделать мужика, жизнь. Деревню он знал лучше. Но и он смутно чувствовал, что так, как сейчас, продолжаться не может, что-то нужно делать, нужны какие-то меры. Какие? Что? Мысли эти не дают покоя и просят выхода, столкновения. Иван Алексеевич страстен, нетерпелив, порывист.

И как только заканчивается венчание, Бунин тотчас оказывается возле Николая Петровича, и они опять увлеченно начинают говорить о мужике, о России, ругают правительство и высший свет, начинают спорить. Николай Петрович тоже горяч, тоже увлекается, и они уже забывают о свадьбе, о гостях и что Бунину непременно нужно быть с молодой, и, выйдя на парапет, не замечают ни карет, ничего, продолжают идти, продолжают спорить.

Дома их встречают разгневанные родственники, заплаканная жена, и на свадебном пиру разгорается скандал. Начинает скандал его новая теща.

– Ах, Иван Алексеевич, вы совсем не любите нашу прелестную кроткую Аню, – томно, нараспев говорит она.

Иван Алексеевич пробует оправдаться, сказать, что произошло все нечаянно и не знал он вовсе, что ему непременно надо было ехать с молодой, со всеми вместе. Пробует вмешаться и Николай Петрович, но все напрасно, все безуспешно.

– Вы не уважаете и нас, и наших гостей, – уже визжит Элеонора Павловна.

– Да, да, это подло так поступать с вашей стороны, – дружно вторят многочисленные родственники.

Взбешенный, доведенный до крайности, Бунин покидает столовую, запирается в гостиной и не выходит до утра.

Так несчастливо заканчивается так хорошо начавшаяся свадьба. Так несчастливо закончится и их совместная жизнь с Анной Цакни. Но это произойдет потом, несколько лет спустя.

А на другое утро, помирившись, они укладывают вещи и уезжают в свадебное путешествие. Едут они к многочисленным родственникам – грекам в Балаклаву, в Крым, потом в Севастополь, Ялту, потом в Москву. И всюду его жена имеет успех, всюду восхищаются ее смуглой красотой. И Иван Алексеевич забывает свадебную ссору, молодящуюся и горделивую тещу, Николая Петровича, все...

Но месяц прошел быстро, незаметно, и уже нужно было возвращаться домой, в Одессу, уже нужно было работать, писать. Карьера его писательская только-только начиналась и виделась ему долгой, блистательной. Верил в себя он, как никто.

Приехали в Одессу Бунины радостные, оживленные, тотчас нанесли визиты знакомым – упростила об этом их Элеонора Павловна. Была она приветлива, как всегда, говорлива, много смеялась. На другой, третий... день опять пришли гости, опять было шумно, а Бунину уже хотелось уединения, тишины, уже хотелось работать, но скоро он понял, что заняться литературным трудом он здесь по-настоящему не сможет.

Элеонора Павловна оказалась не менее честолюбива, чем он. Мнила она себя знатоком музыки, искусства, постоянно устраивала в доме оперные репетиции и, развалившись на диване, томно повторяла:

– Я ужасная театралка, я, знаете, такая театралка...

А ему нужны были тишина, покой.

Театралкой становилась и Анна. По приезде она как-то

сразу отдалилась, стала невнимательна, беспощадно безучастна к его замыслам, надеждам. И когда он начинал упрекать ее, говорить, что она переменялась, что ей безразличны и он, и его творчество, она неизменно отвечала:

– Все-то ты недоволен мной. Поди ко мне... поцелуй.

И он целовал ее, но целовал неохотно, холодно – мало ему уже было физической близости, ее смуглой красоты. Все чаще и чаще уходил он из дому в порт, к морю, к художникам, подружился с Куровским, Нилусом. С ними ему было близко и приятно.

Все чаще и чаще Бунин стал думать о деревне, воображать Огневку, томительно-тихие вечера, сладкое цоканье словьев, зеленовато-бледные, долго, почти до утра, не гаснущие закаты, вяканье гармошки и как, старательно и дробно топоча по твердой, прибитой земле, пляшут девки, поют задорные частушки. Стал он воображать дорогу, глянцевитые, сухо позванивающие овсы, сизо-зыбкие дали, пухлые, похожие на разрывы от снарядов облака, серую и самую любимую им птичку овсянку, и ему страстно, до боли захотелось в деревню, к своим. Стал он искать предлога уехать, стал часто ссориться с тещей.

«Пустая и вздорная актерка, – злобно думает он каждый раз, слыша, как теща, гости репетируют новую оперу. – И эти жалкие, претенциозные потуги играть. Вам бы в деревню – посмотреть, как водят хороводы бабы, как играют "Лебедушек"».

«В деревню, скорей в деревню, – окончательно решает Бунин. – Там только можно отдохнуть, послушать настоящие русские песни, заняться настоящим делом». А решив, он веселеет, оживляется и скоро находит случай уехать.

В поезде он садится возле окна, и внутри у него что-то обрывается, сладостно замирает: он любит дороги, мягкое покачивание вагона, любит подолгу, пристально смотреть,

как мелькают навстречу безлюдные станции и полустанки, металлически-темные речки, желто-песчаные хлеба... И все это через минуту исчезает, остается позади. И грустно думать, что так и в жизни – все с годами стирается, уходит, исчезает, и не успеешь оглянуться, как наступит старость, смерть, и хорошо, если жизнь была интересна, богата встречами, событиями и ты успел что-то сделать, оставить какой-то след после себя.

Все вышло так, как он представлял. На станции в тени от акации стояла лохматая пузатая лошаденка, запряженная в старую, уже разбитую телегу. В телеге, свесив босые грязные ноги, дремал, посапывая плоским носом, мужик. Был он горбат, раскос, давно нечесан.

– За полтинник довезу, – буркнул он угрюмо, протирая глаза спросонья.

Не торгуясь, Бунин быстро сел в телегу, и, громыхая, скрипя колесами, шатаясь из стороны в сторону, телега покатила в Огневку. Полевой ветерок ласково касался лица, приятно охлаждал щеки, сладко пахло спелой рожью, теплой землей, сладко колотилось сердце от близкий встречи. В поле темнели косяками мужики, широко и солнечно блестели косами, и после них оставались пустые полосы желтого жнивья, открывая новые виды, новые дали.

Дома ему радостно сказали:

– И чудесно, что вовремя приехал. Завтра престольный праздник.

– Как завтра? – не поверил, переспросил он. Все у него от радости затрепетало, заныло. Значит, завтра он увидит на лугу нарядных баб, мужиков, услышит их песни.

– Да, да, завтра, – весело подтвердил Евгений.

– И в Торцово тоже? – спросил Бунин.

– Да, и в Торцово, – опять подтвердил Евгений. В Торцово жила давняя и хорошо знакомая Бунину Настя Карева, к

которой он еще гимназистом ездил не раз и не раз слушал ее удивительно мягкий голос, ее удивительно старинные песни.

– Тогда едем немедленно, тотчас в Торцово, – весело объявил Бунин.

– Как в Торцово? Ты же с дороги, устал, – дружно запротестовали родные.

– И поздно уже, а ехать десять верст, – запротивился Евгений.

– Нет, нет, едем в Торцово к Насте Каревой, – настаивал Бунин и мечтательно, тихо произнес: – Давненько я не слышал ее дивных песен.

И, обратись к Евгению, сказал:

– Запрягай лошадей.

Евгений же еще противился, еще не хотел ехать.

– А где ночевать будем? Помещики Русиновы уехали и заколотили свой дом. Теперь там только сторож живет.

– Вот и чудесно, – обрадовался Бунин. – Попросимся у него переночевать.

В Торцово встречает их все перебивающий остросладкий запах белого налива, антоновки. Село потонуло в садах и зелени. И только что было сухо, пыльно, а здесь свежо и приятно. Какая-то старушка собирает в саду падалицы, они спрашивают: «Дома ли Карева?» – и старушка охотно поясняет: «Дома, барин, дома» – и угощает их падалицами.

– Они, барин, вкусные, чисто мед.

Бунин охотно берет и с наслаждением вгрызается в сочные бледно-желтые от лежания на земле яблоки.

Настя Карева встречает их радушно, гостеприимно, охотно и подробно отвечает на расспросы Бунина.

– Живу-то как? А ничего, Иван Ляксеич, живем помаленьку. Мужик вон с сыном в поле жнут, а я дома, все по хозяйству хлопочу. Вон этих проклятущих доглядываю, – она отгоняет маленьких повизгивающих поросят.

Поросята и большая рыхлая свинья находятся тут же, в хате, рядом с печкой, на которой спят хозяева. И пахнет от этого в хате удушливо, кисло-остро, неприятно.

– А куды их денешь? – поясняет она. – Счас еще ничего. Зимой хуже, тесней бывает. Овцы окотятся, корова отелится, и прямо чистый ад настанет.

Настя приглашает их в горницу.

– Тут чище, просторно, – говорит она и спрашивает:

– А вы, Иван Ляксеич, как живете? Не женились ишо?

– Женился, Настя, женился, – смеется Бунин. – А песни все по-прежнему люблю. Поете?

– Песни-то? Как же – ишо играем.

Бунин сразу же оживляется, глаза его начинают блестеть, и он просит:

– Настя, голубушка, может, что-нибудь споете?

Карева сразу же соглашается и начинает тихонько и хорошо напевать и тут же поясняет:

– Это швыдкие, а когда собираемся – и протяжные играем.

Бунин доволен и радостен и уже нетерпеливо перебивает:

– Настя, а вы не поясняйте. Спойте лучше что-нибудь грустное, а? Хорошо бы «Ничто в полюшке не колышется».

Насте уже под пятьдесят, но она подвижна и с виду еще молода. Лицо ее, полное и доброе, с густым румянцем на щеках, краснеет еще больше, руки суетливо мельтешатся, и она вдруг спохватывается:

– Батюшки святы, что же вы стоите? Присаживайтесь, а то я, баба-дура, заговорила, заболталась совсем.

Евгений усаживается в углу под образами, Бунин садится рядом с ним, а Настя как-то сразу каменеет, замирает неподвижно у окна и тихонько, едва слышно начинает:

*Ничто в полюшке не колышется,
Только грустный напев где-то слышится...*

Потом голос ее приближается, крепнет, все больше и больше тоскует он:

*Пастушок напевал песню дивную,
В этой песне вспоминал свою милую.*

И Бунин, закрыв глаза, поблуднев, видит уже широкий лилово-сиреневый луг и молодого высокого пастушка, с пшеничными кудрями, нежным лицом, синеглазого, и как он, медленно бредя за стадом, играет протяжно на рожке, вспоминает свою неразделенную любовь, свою милую... А Настя уже разошлась, распелась, и голос ее так сладко щиплет за сердце, и уже слезы подступают к глазам, туманят взор:

*Как напала на меня грусть жестокая,
Разлюбила меня черноокая.*

Ах, эта смуглая, черноокая! Неужели разлюбила совсем, навсегда? Нет, нет... А сердцу так больно, так хочется разрыдаться, вот-вот оно разорвется на части. Скорей, скорей бы кончилась эта песня, не слышать бы уже этот стонущий, этот дивный голос. А Настя будто не слышит эти мольбы, опять тихо, едва слышно тоскует:

*Ничто в полюшке не колышется,
Только грустный напев где-то слышится.*

Долго они еще сидят молча, никак не могут опомниться от песни, никак не могут прийти в себя.

«Вот это и есть настоящее, подлинное искусство, – думает Бунин. – И прекрасно только то, что идет из глубины, создается веками. Прекрасны эти песни, сказки, «Слово о полку Игореве», прекрасна Библия, прекрасна Настя и другие женщины, хранящие все это, передающие свои песни, молитвы из поколения в поколение. И жалко рядом с этим кривляние Элеоноры Павловны, всяческих снобов».

Ему вспоминаются вещие и мудрые слова Глеба Успенского: «Смотрите на мужика... Все-таки надо... Надо смотреть на

мужика...» Когда-нибудь он поставит эти слова эпитафией к своей книге. И что бы ни писал и как ни писал, мужик, душа мужицкая – русская, славянская – всегда будут на первом месте.

Он так задумывается, уходит в себя, что не сразу слышит, как Настя говорит, робко спрашивает:

– Иван Ляксеич, может, баб покликать, вместе песни покричим.

И, будто оправдываясь, добавляет:

– Вместях лучше получается.

– Спасибо, голубушка. Непременно позовите, – глухо отзывается Бунин.

– Эй, Нюрка, куда-то ты запропастилась, сатана? – кричит она куда-то во двор. – Поди покликай баб, скажи, барин Иван Ляксеич желает песни послушать.

Под окном появляется белобрысая босая девочка лет восьми. Шмыгая обгоревшим, облупившимся носом, недовольно спрашивает:

– Каво кликать-то?

Настя долго и торопливо перечисляет, и, мелькнув грязно-выцветшим платицем, грязными в цыпках ногами, девочка скрывается за плетнем.

Женщины собираются неторопливо, по одной и сначала отнекиваются, не хотят петь. Они принаряжены, разны по возрасту, все обветренны, загорелы, повязаны платками.

– Чтой-то горло дерет, – говорит одна из них, должно быть, самая бойкая. – Кабы барин винцом угостил – горло промочить, тада можно спеть.

Бунин посылает за вином. Выпив, женщины оживляются, перешептываются, переругиваются и идут в избу, садятся в кружок лицом к окну и спрашивают:

– Котору будем кричать?

Бунин, почему-то волнуясь, предлагает:

– Любую, только старинную.

– Давай, Настя, зачинай, – обращаются они к Каревой и удобней и шумно усаживаются.

И Настя начинает. Сначала опять негромко, как-то нехотя, как-то лениво и небрежно, но потом все громче, все сильнее:

Калинка с малинкой – лазоревый цвет...

И вторую строку подхватывают все и тянут, тянут...

*Вырастала девушка шестнадцати лет,
Шестнадцати лет, эх...*

И столько горя и безнадежной тоски и в их голосе, и в лицах. Они уже забыли обо всем на свете и полностью отдались песне, своей прошедшей молодости, которая у них была и горька, и тяжела.

*Ох, куда с горя ни пойду,
Дороженьки нет...*

Поют они скорбно, протяжно, и не остановить их, не узнать минуту назад веселых и шумных.

*Любила молодчика семнадцати, семнадцати лет,
Такого хорошего – лучше в свете нет.*

А еще через минуту-две они опять шумно и незлобливо переругиваются:

– Марусь, ты чтой-то различишь.

– Да будя тебе трепать-то. Я втору давала.

Лица их меняются вместе с песней, и Бунину приятно, хорошо здесь. А бабы песен знают много: и протяжных, и величальных, и дорожных, и плясовых – и поют без усталости, без конца. И в который уж раз Бунин восклицает про себя: «Ах, как удивительно богат песнями русский человек, и как удивительна, несравненна русская песня».

Уходя, женщины приглашают:

– А вы, барин, приходите завтра на луг, хороводы будем водить. Завтра – престольный праздник.

Бунин охотно соглашается. Лицо его радостно, темно-синие глаза смеются, блестят. Прилив сил чувствует необыкновенный.

На улице уже темно, все фиолетово: дорога, леса, сумерки. На западе еще узко тлеет, зеленовато-желто светится закат, и деревья, сады от этого с запада светло-мягки, а с востока темно-зелены, холодны. Возле усадьбы сонно и устало кричат грачи, угольно чернея на верхушках засохших тополей. Чернеет, но уже слабо, табун лошадей на седом от росы лугу, и слабо, как свечка, горит маленький костер.

Сторож долго не мог понять – кто они, что им нужно, долго не пускал их в усадьбу. Был он стар, глух, жидкая борода его постоянно тряслась, тряслись и его слабые старческие ноги. Кругом чувствовалось запустение, заброшенность, давно чувствовал себя заброшенным, забытым всеми на свете и он, и давно, должно быть, отвык он от людей, всяких визитов. Большой двухэтажный дом был еще крепок, но как-то слеп и одинок – в нем тоже не было жизни, тепла. И Бунина на миг пронзила такая непонятная горечь, грусть, вообразил он великолепный, теперь уже заросший парк, и как бывало шумно, весело в нем от гостей, вообразил высокого рыжеусого хозяина, его красавиц дочерей и постоянные музыкальные вечера, охоты – Русиновы слыли богачами, хлебо-солами.

Где они теперь? Что с ними? И эта пронзительно-горькая грусть останется у него навсегда.

II

Утром Бунин просыпается поздно. Сад жарко залит солнцем, жарко блестит, липовая аллея усыпана большими золотисто-медными монетами. В комнате душно, влажно. Он

быстро одевается, зовет Евгения и торопится на луг. На лугу уже шумно, играют гармошки, уже пестро от сарафанов и ярко-красных рубах, нарядных панев. Трава скошена, и от серых, разбросанных по всему лугу копен тонко и хорошо пахнет сеном, ягодами.

– Здравствуйте, барин, – низко кланяются женщины. – Счас начнем.

И у Бунина, как и вчера, сладостно пухнет сердце, радостный озноб пробегает по телу – сейчас он увидит и услышит хороводный танец-песню «Лебедушки». Ничего прекраснее он не видел!

Лебедушки все как на подбор молоды, стройны, тугощечки, все в легких белых платьях. Возле них толкуются, похотывают парни. Сапоги их густо смазаны дегтем, блестят, чубы пышно, картинно выпущены из-под фуражек – они слегка пьяны, празднично возбуждены.

Празднично возбуждены и девки. К ним пристаёт, дурашливо куражится какой-то мужичонка.

– Слухай, девки, я рупь нашел, вы делите, а я пошел, – пьяно-счастливо бормочет он.

– Буровь, буровь, счас за ноги и у ров, – грозятся девки, но грозятся незлобливо, шутя, и мужичонка, зная это, пьяно заливается смехом.

И долго еще шутят, прыскают девки, куражится мужичок, долго еще не начинают «Лебедушек», все кого-то ждут.

– Главную Лебедь, – поясняет Настя.

Но вот наконец показывается и она. Бог мой! Как стройна, как черноброва она! Как алы губы, румяны щеки – кровь с молоком! Как туга она вся! На голове, на смоляных волосах ее полумесяцем бисерная корона, платье бело-бело, стройные полные ноги обуты в легкие расшитые серебром полусапожки.

«Ну и лебедь», – ахает про себя Бунин.

– Попова дочка, – шепчет Настя.

Женщины шумно выстраиваются позади лебедушек, откашливаются и начинают:

*Вдоль по морю,
Вдоль по морю, морю синему...*

Поют они нежно, любовно-грустно и нежно, как-то печально, будто чувствуя уже близкое расставание, лебедушки взмахивают руками-крылами и, мелко-мелко перебирая стройными ногами, плывут и плывут по морю Хвалынскому, по лугу зеленому.

Что за диво, что за чудо и эти лебедушки, сестрицы-девичи, и этот луг – сине море, эти голоса. А женщины, о чем-то тоскуя, и тоска их приятна, сладка, рассказывают: как хороша, как красива стая лебединая, лебединая-гусиная, а спереди стаи – самая лучшая, самая красивая – Главная Лебедь, молодаяшка Марьюшка свет Ивановна...

Замолкли гармошки, не куражится больше корявый мужичонка – все покорены, захвачены танцем, песней.

А в голосах женщин уже слышится тревога, опасение за что-то, испуганно жмутся лебедушки к Главной Лебеди.

*Откуль взялись,
Откуль взялись два сокола...
С какой стороны, края прилетели они, –*

плачут женщины.

Зачем, зачем им Лебедь белая, – но и в плаче, в стоне их слышится восхищенье: соколы оба стройные, высокие, один сокол черный, другой сокол русский.

*Ты скажи нам,
Ты скажи нам слово верное свое, –*

стонут уже, бешено поглядывают друг на друга соколы. Оба сильные, пригожие, оба готовые биться не на жизнь, а на смерть за любовь единственную, неразделимую.

Заметалась Марьюшка свет Ивановна, горько плачут лебедушки, сестры-девицы, скорбны их лица: вот-вот покинет их на веки вечные старшая сестрица, вот-вот выберет себе суженого.

Бунин пристально, не отрываясь, смотрит на главную Лебедь, будто хочет прочесть на ее лице, кого же она выбрала, кого предпочла. Он почему-то волнуется, переживает все происходящее остро, близко и, не желая, все-таки вспоминает свадьбу, Анну, свою ссору с ней.

Лебедушка поклонилась чернобровому...

Ах, как поник, загрустил, зашатался синеглазый, какой болью исказилось его лицо! Но что это? «Поклонилась, белу ручку подала синеглазому, синеглазому».

*Ах, любовь, любовь,
Бываешь как ты зла, –*

опять нежно-грустно поют женщины. И когда песня заканчивается, оцепенение долго еще не проходит, долго еще ждут чего-то, кажется, что томительно-любовному танцу не будет конца.

Грусть, навеянная песней, не проходит и у Бунина: тревожно, как-то беспокойно на сердце, хочется плакать...

«Вот не гадал, что такое приключится», – смущенно думает он, вспоминая Анну, ее смуглую красоту.

– Поедем, Иван, – зовет Евгений. – Дома уж заждались тебя.

– Да, да, едем, – рассеянно отвечает Бунин, а сам все смотрит, все никак не может оторвать взгляда от нарядного карагода, поповой дочки, и что-то шепчут его губы, бормочет он какие-то слова.

Но уехать им скоро не пришлось. Перед самой деревней они вдруг услышали отчаянный детский вопль, тотчас увидели, как, дико топоча сапогами, шатаясь из стороны в сто-

рону, гнался за девочкой низкий, коренастый мужик. Лицо его было тупо-злобно, брови искажены, рот хрипел.

– Стой, стерва, убью! Кому говорят, стой...

Девочка вся посинела, вся зашла от страха, уже бежала из последних сил. В руках у мужика был кол.

«Каревы», – догадался, узнал Бунин. Весь вспыхнув, задрожав от гнева, бросился он наперерез, подхватив девочку на руки, бешено, задыхаясь, крикнул:

– Ты что делаешь, негодяй?

Лицо его, руки дрожали, пылали жаром, никак он не мог успокоиться, прийти в себя.

Мужик, будто наткнулся на что-то невидимое, бессмысленно остановился, не понимая, что случилось, еще не остыв от злобы, от желания расправиться со своей жертвой.

– А, барин, – узнал он. – Мое вам, – он хотел поклониться, но, чуть не упав, выпрямился и, увидев девочку, дико завопил:

– А-а, стерва, я те покажу, как чужих гусей пускать на огород, я те...

И вдруг внезапно заплакал, замотал лохматой, с узким лбом, с узкими пьяными глазами головой, начал просить:

– Пусти ее, барин, а? Пусти, я маленько проучу.

И так ему хотелось проучить, побить ее, что он долго то злобно, дико вопил, угрожал, то, пьяно рыдая, упрашивал отпустить, отдать ему Катьку, но подойти близко, драться не решался.

И Бунин долго не уезжал, был с Катей. «Что за народ такой? – думал он. – То талантлив неуемно, по-славянски широко, то дремуч, невежествен, первобытно жесток... Будто две души у него».

Уезжали они уже под вечер, когда солнце, багровея, медленно вдавливалось, входило в землю, и поля, деревни – все было полосато – тени и свет чередовались. И там, где

была теневая полоска, казалось холодно, серо-сине, где светло-красная – мягко, приветливо. Воздух был сух, тепел, а в лощинах свеж и прохладен, и эти частые резкие переходы от тепла к холоду вызывали озноб.

Но вот солнце скрылось, ушло за горизонт, и там, где оно только что было, будто кто разлил густое красное вино, и оно медленно растекалось вглубь, вширь – по всему горизонту. Восток же был мутно-сер, бледен, и только редкие легкие облака розовели от далеких, уже невидимых лучей солнца. Где-то близко гулко, словно в пустую бочку, закуковала кукушка, и Бунин, улыбаясь, тревожась, как в детстве, загадал: «Кукушка, кукушка, сколько я лет проживу?» И, замирая, вслушиваясь, начал считать, не досчитав до пятидесяти пяти, сбился со счета, а кукушка все куковала, долго, упорно, предрекая жизнь ему длинную, столетнюю. И Бунин, поверив этому предсказанию, вспомнив песни, лебедушек, корявого мужичонку и как он все приставал к девкам, вспомнив красавицу попову дочку, счастливо засмеялся: жизнь у него впереди долгая, интересная – будут и радости, и печали, встречи и разлуки, успехи и неудачи – все у него будет впереди...

III

А через неделю Бунин заскучал, затосковал по Анне – виделась она ему каждый день, по ночам во снах особенно. Становится он постоянно хмур, раздражителен – пишет мало, а написанное тотчас рвет, бросает в печку. Хочется ему в Одессу, хочется, чтобы приехала Анна сюда, в Огневку, но он знает, что в Огневку она не поедет, боится деревни она ужасно, а в Одессе все будет по-прежнему – гости, оперные занятия, Элеонора Павловна...

Как убедить Анну, что ему нужны тишина, покой, ее работа, любовь, а у Элеоноры Павловны напрасно надеяться на это, и им непременно следует съезжать, снять какую-ни-

будь квартиру, жить вдвоем. Знает он, что и это невозможно, что Анна никогда не решится порвать с домом, с Элеонорой Павловной, и он долго колеблется, не решается предпринять что-то определенное.

А осенью решается, говорит сам себе: «Чем черт не шутит», – и уезжает в Одессу.

Но все вышло так, как он предполагал. Еще молчаливей, капризней стала Анна, все чаще упрекала его:

– Ты абсолютно безразличен к нам и напрасно манкируешь Элеонору Павловну, ее увлечение музыкой.

Более вздорной, пустой стала и Элеонора Павловна.

И Бунина опять потянуло в порт – к морю, художникам, в рестораны – стал он пить, по целым дням пропадать где попало. Пропасть между ним и Анной росла с каждым днем.

Опять начались ссоры, взаимные упреки, опять он начал думать об отъезде. И теперь уж навсегда, окончательно.

В январе Бунин узнал, что Анна беременна и что ссоры их могут плохо отразиться на ее здоровье, на здоровье будущего ребенка, и, еще колеблясь, мучительно раздумывая, но уже понимая, что никогда у них не будет душевной близости, не будет настоящей жизни, уезжает в Москву, потом в Огневку.

«То драма с Варей, теперь с Анной. Неужели так будет всю жизнь?» – мрачно думает Бунин. Душевно болен, разбит он неимоверно и долго не может оправиться, прийти в себя.

В деревне он уединяется, много бродит, много и читает, в который уж раз перечитывает Библию и в который раз восхищается ее прекрасным языком, невероятной музыкальностью ее стиля.

«Вот бы так научиться писать. Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, уныния», – просит он. Больше ему ничего не надо, всё есть у него – талант, зоркость невероятная, слова вещице, одному ему ведомые...

Изумляет, поражает его вновь в эти дни и деревня, ее язык, ее нравы. Он записывает: «А какая нелепая и чудесная образность была в языке деревни! Идет босая девка – подтянуто стройно, виляя только кострецами: на правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье.

– Кудай-то ты?

– На речку белье полоскать.

– Да ведь нынче праздник, грех работать.

– Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у родных гощу?

– Тебе, говорят, просватали. Что ж, хорош твой жених?

– Какой там черт хорош! Рот толстый, в нос гудит.

Было это и в крестьянском языке.

Мужики лентяя и нищего называли:

– Пустой малый! Изгой, неudelный!

Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь. А то кто-нибудь, бывало, говорит:

– Хочу в Киев сходить, Богу помолиться...

И невольно вспоминаешь Бяше возле града Киева лес и бор велик...»

И забывалась Анна, обиды, куда-то уходила, исчезала душевная боль, начинал он уже шутить, смеяться, начинал писать – сначала помаленьку, понемногу, потом все втягиваясь, все больше.

«Засыпаю с мыслью о радостях завтрашнего дня – о радостях своих вымыслов», – записывает он.

Дни проходят незаметно, в трудах. Однажды ему приносят газеты, и Бунин читает, узнает вдруг, как какой-то критик ругает его, пишет, что он подражает Чехову, рассказы его мрачны, беспросветны, он не знает, клеветает на мужика, на Россию.

«Черт знает что, – ругается Бунин, с раздражением отбрасывая газету. – Бегают по салонам, лижут зад всем, кто

приласкает, подает им, и поучают, как надо писать о мужике, о России. А видели ли они живого мужика, были ли хоть раз у него в избе, где он живет с овцами, свиньями, беспробудно пьет, бывает невероятно жесток? И все это от нищеты, вековой дикости, какой-то неустроенности...»

«Черта с два его затынешь в деревню, – Бунин зло, презрительно усмехается, но успокоиться никак не может. – Зачислили чуть ли не во врага, космополита, а они патриоты, истинные радетели российские. Мошенники и лизоблюды, подлые, как шакалы. Россия есть и будет всегда для меня дороже всего на свете».

Ему вспоминается Чехов и как он грустно, с горечью говорил:

– Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – «Студент»... И слово-то противное: «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры. А ведь знаете, актеры на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. И, помолчав, прибавлял:

– Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

«А есть ли сейчас писатель лучше и поэтичнее Чехова? Милый и мудрый Антон Павлович как в воду смотрел: вот и он дождался нытика, мрачного человека...»

«Поеду-ка я в Ялту, к Антону Павловичу, – решает Бунин. – Его разговоры так чудесно успокаивают, бодрят, такую зарядку получаешь после. А потом махну в Москву – давно уж не слышал песен Федора».

Бунин оживляется, вообразив встречу с Чеховым, с Шаляпиным, но на глаза ему опять попадает газета, и он опять раздражается, волнуясь, ходит по комнате: «И это я не знаю мужика, деревни. А может, прав был Николай Петрович в том далеком споре? Может, и вправду нужна революция?» Он отчетливо представляет мужиков, и как они разоряют, уничтожают дотла барские усадьбы и наступает хаос, вавилонское столпотворение... «Нет, нет, только не это, – пугается Бунин. – Нужно что-то другое, только не это...»

На другой день он собирается и уезжает в Ялту, потом в Москву.

IV

Прошло много, десятки лет.

– Ну что, как я пел, Ваня? – тихо, волнуясь, спрашивает Шаляпин.

Он только что со сцены, крупное красиво-выразительное лицо его еще бледно, возбуждено, все в поту.

«Бог мой, как он сдал», – удивляется Бунин. Оба они знамениты – знают их во всем свете, – оба грустно-печальны сейчас. Сам он еще крепок, подвижен, горяч еще и вспыльчив по-прежнему. И только тонкое нервное лицо сделалось мягче, как-то темнее, острее и пристальнее стал взгляд.

– Конечно, превосходно, – ответил Бунин и, помолчав, вдруг сказал: – Сейчас бы, Федя, в деревню, на луг, – послушать лебедушек.

– Каких лебедушек? – спрашивает Шаляпин, но, взглянув на Бунина, должно быть, что-то вспомнив, тотчас умолкает.

Но молчит недолго.

– Эх, Ваня, и хочется, и колется... Мы с тобой как бездомные собаки, знаменитые, породистые, но бездомные...

«Да, черт возьми, – Бунин нервно разминает длинными

пальцами папиросу и торопливо, глубоко затягивается дымом. – Все, кажется, есть – талант, известность, слава, но нет главного – России...»

– На Волгу хочется, Ваня, – с тоской говорит Шаляпин. – Помнишь, ты меня все называл: «Ой ты гой еси, добрый молодец», а я все спрашивал: «За что, Ваня?», а ты, смеясь, отвечал: «За то, что не щеголяй в поддевках, лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясами, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем..» А я сейчас, Ваня, с удовольствием нарядился да на Волгу махнул бы, сел на пароход – и в Астрахань к рыбакам...

И Шаляпин долго, радостно-горько вспоминает и их кутежи в ресторанах, и телешовские среды, где они так хорошо играли с Сережей Рахманиновым, больше он так никогда не сплет, и как он первый раз пошел с Буниным к Чехову, а потом сказал: «Вот это человек, вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов», и Бунин, смеясь, отвечал: «Спасибо, Федя». И воспоминаниям этим, пронзительно-горьким, сладостно-печальным, нет конца...

Помнишь... И Бунин рассеянно отвечал: «Да, да, конечно», а самому все почему-то хотелось вспомнить, представить узкую полевую тропку во ржи, серую с желтой грудкой овсянку, луг возле речки. И на лугу нарядный хоровод баб, девок, и как они танцуют, поют «Лебедушек». И он видит, воображает все это ясно, отчетливо.

*Плывет стая, плывет стая лебединая,
Лебединая, лебединая, гусиная, –*

нежно-печально, как во сне, поют бабы, и плывут-плывут по морю синему, лугу зеленому девицы-лебедушки, а впереди стройная чернобровая попова дочка...

ИВАН **ПОДСВИРОВ**

Старший сын
Анфисы Егоровны

Киевский вокзал
Фея в радужном платье



Старший сын Анфисы Егоровны

(рассказ)

Отличник боевой и политической подготовки ефрейтор Олег Самарин ехал домой на побывку. В крымских степях он удачно поразил цели из танка «Т-54», и командование наградило его именными часами и отпуском на десять дней. До родного села Вышнее Ольшаное осталось одиннадцать километров, и вдруг заглох мотор. Самарин не стал дожидаться, когда исправят поломку, взял чемодан и вышел из автобуса. Дальше он решил идти в парадном кителе танкиста и в кирзовых сапогах пешком.

На вольном просторе его охватило необыкновенное волнение. По обеим сторонам изумрудно-зелёной долины колосились хлеба, цвели подсолнухи, трещали, заливались сверчки, гудели шмели и пчёлы. Повсюду порхали мелкие пташки, мелькали стрекозы, разноцветные бабочки... На пологом возвышении, среди ракии и садов, лепились избы и дома. Окна играли отражённым светом солнца, сквозь листья на ветках проглядывали набирающие зрелость яблоки...

Самарин огляделся, послушал живые звуки и подумал: «Зачем люди ищут рай? Вот он – рядом, вокруг нас».

Вместе с обычными вещами ефрейтор нёс в чемодане шёлковую воздушную косынку и пуховую, из ангорской шерсти кофту – для матери, электрическую бритву и военную рубашку – отцу, любившему по фронтовой привычке одежду защит-

ного цвета. В селе Нижнее Ольшаное Самарину захотелось напиться холодной воды и немного отдохнуть. Издали у колодца с журавлём он увидел старуху в длинном, как у цыганки, платье с оборочками и широкими рукавами. Подойдя ближе, разглядел пепельно-сивые волосы, кое-как собранные в пучок на затылке, измождённое, сморщенное лицо...

По всей видимости, это была Анфиса Егоровна Кривцова, о которой ещё в детстве ему рассказывала мать. В войну оккупанты выгнали Кривцову на снег, босую и неодетую, с двенадцатилетней дочкой, и так держали на ветру, пытаясь узнать, кто в селе имеет связь с партизанами. Ничего не попытали, вырвали из окостеневших рук и расстреляли на её глазах дочь... Василий, старший сын Анфисы Егоровны, воевал на Ленинградском фронте и пропал без вести. Младший сын Тимофей скончался в 1948 году от туберкулёза.

Жила Анфиса Егоровна в покосившейся избе с тремя окошками: два смотрели на улицу, одно – на колодезный журавель.

Из писем родных Самарину было известно, что в последнее время с одряхлевшей женщиной стали приключаться разные истории: то она вырядится во что попало, в мужские кальсоны или в исподницу, и явится в Совет с вестью о приходе фашистов, даже совестно и жалко на неё глядеть; то бежит в церковь молиться, у алтаря просить Всевышнего, чтобы ей вернули сыновей и дочь. На месяц-другой мутился у Анфисы Егоровны рассудок, потом наступало просветление. Она становилась прежней – работающей и разумной старушкой. С утра до ночи, как заводная, колготилась по хозяйству, рассудительно толковала с соседками – ни в одном слове нельзя было уловить признаков помешательства.

Ефрейтор Самарин жадно припал к ведру и начал пить кристальную воду, ломившую зубы. Анфиса Егоровна не сводила с него пристальных синих глаз. Напившись, он отчего-то

смутился и приготовился откланяться. Вся душа его изнывала в предчувствии встречи с родителями, и ему не хотелось затевать разговор с Анфисой Егоровной, которую жалел всем сердцем. Старуха отстранилась от сруба, выпрямилась и выпустила из рук цепь. Конец журавля, черкнув по небу, метнулся вверх, а ведро, звеня, полетело в глубь колодца.

– Сыночек... Васенька! Вернулси-и! – полоснулся ликующей старухи.

Звенела кольцами натянутая цепь, билось в глубине колодца ведро, расплёскивая чистую, как литое серебро, воду... С раскрытыми объятиями Анфиса Егоровна кинулась к нему, припала к груди. Опустилась на колени, ощупала сапоги, ладонью радостно стёрла с них пыль, вскочила на ноги и цепкими руками поймала его руку, потянула за собою в избу. Лицо её светилось невыразимым материнским счастьем. Годков-то старухе под девяносто, в чём душа держится, но какая проворная.

– Сыночек... родненький! Касатик, да откель ты? – приговаривала она, задыхаясь от безмерного упоения.

– Отпуск дали... – едва выговорил Самарин.

– Отпуск? Да сколько воевать, Васенька... Спасибо, што наведалси... Ой, батюшки! Родненький мой, а я ничего не спекла, не сварила! – испугалась Анфиса Егоровна. Во дворе, скоком пройдя через калитку, повернула его лицом к себе, робко, как бы не веря и желая удостовериться, что он рядом, дотронулась пальцами до густых русых бровей, погладила лоб и горбинку носа пощупала. Весело засмеялась, всхлипнула, концом платка утёрла глаза. – Проходи, Васенька, – локтем толкнула перед ним скрипнувшую дверь в тёмные сени.

Приглядываясь к Анфисе Егоровне, оглушённый Самарин проследовал за нею в аккуратно прибранную избу с постиранными половиками, застеленной кроватью белым, с кружевами покрывалом и уселся возле стола на лавке, по-

ставив у ног чемодан. Пол в избе был земляной, гладко смазанный жёлтой глиной, на узких подоконниках в горшках, обернутых бумагой, цвели примулы. Анфиса Егоровна рядышком примостилась, щекою потёрлась о плечо. Фуражку с его головы сняла, сдула приставшую пушинку, бережно на стол положила. Метнулась из комнаты в сени, мигом вернулась оттуда, подскочила к нему, любовно оглядывая ефрейторские лычки.

– Ты уж, сынок, прости старую, – сказала счастливым голосом. – Совсем очумела, дай оклемаюсь. Не знаю, за что и взяться-то, руки, глянь-ко, трясутся. А иде твой шрамик? – в недоумении спросила она, приблизив к нему лицо. – Сошёл, што ль, затянулси? – Пальцем коснулась лба поверх левой брови и पुще удивилась: – Был шрамик и нетути.

– Какой шрамик? – не подумавши, спросил Самарин.

– Ай забыл? Родимчик... красненький шрамик-то. Затяжелела тобой, надумала в погреб лезть, полезла, а лестница – трах и обломилась. Я животом обзёмь и в крик. Ой, страху натерпелась, страху-то! Думала, дитёнка задавила, не-е, всё обошлось. Только шрамик у тебя над бровкой синееет-краснеет, – взахлёб говорила Анфиса Егоровна.

Отвёл Самарин беспокойный взгляд, выдавил через силу:

– Сошёл...

– Надо ж... Родимчик – и сошёл...

– Всякое, мать, бывает на свете, – входя в роль сына, сказал ефрейтор Самарин.

– Ой, Васенька, и правда! – Анфиса Егоровна затрясла седенькой куделькой, скорбно руки на груди сложила. – Вот ты в каких землях странствовал... служил. А мать всё жди тебя. Иде ж ты воевал?

Ещё немного, и Самарин сорвал бы роль и признался, что он не тот, за которого она его принимает, что её Василий в отцы ему годится, но глянул в глаза Анфисы Егоровны, сия-

ющие неистраченной любовью к сыну, таившие в глубине горечь и муку нестерпимо-долгого ожидания, и по мягкости сердца дрогнул, проговорил сорвавшимся голосом:

– Долго, мать, рассказывать... По всей Европе шагал. Бил выродков... проклятых фашистов.

Так сказал, с таким искренним чувством, что и сам пове-рил: шагал.

– Слава Богу, живёхонький... Про сестричку-то што не спросишь?

– Знаю, всё знаю...

– Ай писал кто?

– Сообщали люди добрые.

– Ты любил её. Всё, бывало, конфетами угощал.

Глаза Анфисы Егоровны заволокло слезой, лицо померкло.

– Румыны, ироды... мучили меня, хоронить Надюшу не велели... А на третью-то ночь – ветрено было! – выбегла я из хаты да к Надюшке-то. На себе и отнесла бедняжку. Несу, слезами обливаюсь, ничего перед собой не вижу. Как в тумане, всё расплывается. А снег глубокий, до пояса сугробы намело, не продерёшься. В огороде ямку выдолбила, засыпала доченьку и в хату. На лежанку снопом повалилась, криком кричу, рот зажимаю. Не приведи Господь... А партизаны в колхозной конюшне укрывались. Один лётчик на парашюте к нам залетел, ранетый... Мы ему с соседкой, с Паней Боровой, голову обвязали, последней краюхой хлеба накормили. Ночью в конюшню бедолагу отвели. Было страху-то!

Слушая, ефрейтор Самарин сжимал кулаки, зубами скрипел. Он был воин твёрдый, волевой, занимался боксом, на учениях, сидя за наводчика, с ходу, после водной преграды, точными выстрелами поражал доты и движущиеся мишени противника. Рука и глаз не давали осечки, ни один мускул не вздрагивал при наводке, каждый нерв в нём сосредоточивался на стремлении уничтожить вражескую оборону. Когда

он был за командира танка, в наступлении распоряжался чётко и хладнокровно, сминая, размалывая окопы грозно лязгающими гусеницами.

При подводном вождении на Южном Буге головной танк из их роты затянуло в осевший на дно ил. Начали его вытаскивать – оборвался стальной трос. Водолазы прицепили другой трос – и тот лопнул. Пока возились, кончился кислород, и весь экипаж, трое солдат, задохнулись в противогазах. Нижний люк механика-водителя и верхние люки под толщей воды нельзя было открыть, их наглухо заклинило.

Чрезвычайное происшествие не отменило учений. Процент потерь личного состава учтён заранее. Самарин горевал по товарищам, но позже рассудил: так, значит, на роду им написано, чему быть, того не миновать. И он сделался крепче нервами... А тут, в гостях у старухи, нервы сдали. Олег, которого сослуживцы шутя называли вещим, ощутил в горле сухость, судорожно глотнул воздуха. Он открыл чемодан, вынул из него пуховую ангорскую кофту.

– Глянь, мать, что я тебе привез. Носи! – И накинул ей кофточку на плечи, обнял и привлёк к себе. – Примерь. По твоему размеру купил в Виннице на базаре... Примерь!

Улыбка скользнула по морщинам Анфисы Егоровны, заиграла в оживших глазах. Подхватилась она с лавки и к зеркалу, блестящему на стене. Выходным платком повязалась, одёрнула концы, огладила кофточку на груди. Прихорашивалась, тихо посмеивалась да бочком, бочком похаживала, будто в пляс собиралась пуститься, озорно оглядывалась на солдата.

– Красивенькая... Уважил, сынок. На матаню завееюсь, ей-право! – Подбоченясь, поступью лебёдушки подступила к нему и тут же встревожилась: – Ох, соколик мой! Сказано – дурёха старая, из ума выжила. Ты ить голоднёнький. Я шас, шас! – И кинулась к печи, деловито заслонкою загреме-

ла. – Потерпи, Васенька. Растоплю дрова... блинцов испеку. А ты покель полежи, отдохни на кровати. Давно бы затопить – не догадалась... Ох, головушка горькая!

С этими словами Анфиса Егоровна нашарила под лавкою топор и в чём была побежала щепок на растопку добыть. Самарин следом за нею, отобрал топор – и ну щепки на дрово-секе тесать. Отойдя к порогу, старуха с умилением следила за его спорой работой. Самарин натесал охапку щепок, сгрёб их и отнёс в комнату. Анфиса Егоровна печь разожгла, заболтала в кастрюле тесто.

– Председатель у нас, Васенька, бедовый... верный мужик, – рассказывала Анфиса Егоровна, озарённая отблесками за-полыхавшего огня. Поддела чаплейкой сковороду, смазала маслом, деревянным половником зачерпнула тесто, разлила ровным слоем и в печь сковороду, к нагоревшему жару. – Тихон Кузьмич, председатель, ластится: «Вы у нас почётная пенсионерка. Переселяйтесь, – говорит, – Егоровна, в новый дом, на второй этаж. Там все удобства: привозной газ, кан-товая вода... радио». А иде курицу держать, иде моя хохлатка яичко снесёт? «Нет, – говорю, – спасибо вам, Тихон Кузьмич, за доброе отношение, но я и тута пережду. Сынок придёт с фронта, построим себе отдельный дом. Небось не лодыри, не голоштаные»... Плотничать не отвык?

Самарин с детства умел плотничать и ответил охотно, без натуги:

– Могу... Дом отгрохаем всем на загляденье!

– Потихоньку да помаленьку и построимси. Нам тепери-ча, Васенька, жить не тужить. Хватит, отгоревалась... За все мои слёзы такая благодать.

Анфиса Егоровна накрыла стол праздничной клеёнкой, поставила чашку с блинами, задумалась:

– Позвать, што ль, Паню? Помнишь-то Паню? Она и ме-довухой угостит... Была Паня писаной красавицей, на тебя

всё заглядалась. Глазищами так и зыркает... Опоздал, сынок. Чужая! Замужняя... Ну што, кликнуть Паню?

– Мать, давай побудем вдвоём, – с тоскою сказал Самарин.

Анфиса Егоровна сняла с ног обувку, влезла на кровать, по-детски поджала ноги, седая и сухонькая. Присмирела в пуховой кофте, сомкнула веки. Самарин встал и отошёл к окну. Старуха спросила сквозь дрёму:

– Сынок, ты иде?

– Тут я, мать, тут...

– Присядь, в ногах-то правды нет.

Самарин выглянул во двор. Возле повалившегося плетня доживала свой век ракета с расщепленным, искорёженным – бурей, грозой ли – обугленным стволом. Дерево с отслоившейся трухлявой корой, казалось, было иссушено до сердцевины. С виду ни одной живой клеточки в раките, и непонятно, чем поддерживается в ней жизнь, откуда у неё берётся сила шуметь зелёными листьями на ветру. Перви в ней одну ниточку, связывающую её с невидимыми соками земли, – и погибнет ракета.

Уснула Анфиса Егоровна. Дыхание у неё было ровным, лицо, отмеченное печатью бесконечного ожидания, выражало наступивший покой. В уголках губ таилась блаженная улыбка матери, надежды которой наконец-то исполнились.

Ефрейтор Самарин осторожно взял чемодан и крадучись направился к выходу. Старуха встрепенулась, открыла глаза, с тревогой спросила:

– Васенька, ты куды?

– На службу, – сказал Самарин.

– Ох, сынок, добей фашистов и вертайси, – прошептала Анфиса Егоровна. – Ты вернёшьси-и? Я буду ждать.

– Вернусь, вернусь... – вторил ей Самарин, теряясь от вранья и заведомо зная, что больше никогда не увидится с Анфисой Егоровной. Какое-то неизъяснимое, древнее чув-

ство подсказывало ему неизбежность того, что случится, должно непременно случиться с этой одинокой, не в меру живучей старухой.

– До свиданья, мать, – попрощался он у дверей и, не оглядываясь, вышел. Путь его лежал в село Вышнее Ольшаное – к родителям. Солнце заметно склонилось вправо, повернув к себе оранжевые шапки подсолнухов. Его снова сопровождали неумолчный гуд шмелей и пчёл, слитная трескотня кузнечиков. В висках стучало, и в чудесные полевые звуки назойливо вторгался сонный голос старухи, пытавшей его: «Ты вернёшься-и?»

Ефрейтор Самарин сжал пальцами виски, постоял среди благоухающей долины и внезапно улыбнулся подсолнухам. Они цвели так ярко и вместе с пенем невидимых существ согласно говорили о торжестве вечной, неувядающей жизни. Самарин почему-то подумал, что скоро старухе станет хорошо и она будет счастливее живых. Мысль странная и нелепая, но она взбодрила его, и он весело зашагал домой.

1965 – 1968 гг.

Ливны – Долгое – Орёл

Киевский вокзал

(рассказ)

Отставной дипломат Минаев получил простенькое, в самодельном конверте, письмо из Киева. Писала одна знакомая, в юности черноглазая, изумительная девушка, мечта поэта. Минаев так взволновался, что у него вспотела лысина. Несколько раз он отирал её платком голландского полотна, наконец, буквы перестали прыгать и расплываться, и он уразумел смысл послания: «Голубчик Виссарион Ильич, лежу я

прикованная к постели, всеми забытая, брошенная. Будьте ласковы, приезжайте повидаться. Я хриплю, нужна операция на щитовидке, но грошей нет, и я погибаю. Помогите!»

Боже праведный, мог ли представить себе Минаев чудное создание, с голоском-колокольчиком, с влекущей родинкой над верхней губой, в которую он впивался, как уж, с ненасытной жаждой молодости, – мог ли тогда вообразить Юленьку нищей, больной, хрипатой... Он вспомнил, как в солдатской форме, прямо из винницкой казармы, приехал сдавать экзамены в Московский университет. На подходе к столице звучала праздничная песня: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...» Стоя у окна, браво подтянутый, весь устремлённый в будущее, он чувствовал родственную слитность с людьми, ехавшими в поезде, и даже с медленно, торжественно надвигающимися в сиреновой дымке силуэтами высотных домов, слитность со всем миром и страной – от Киева и Минска до Алма-Аты, Хабаровска и горячей Кушки... Всемирность, всеотзывчивость русской души – это не придумка, не фантазия. Душа в нём играла, и трепетала, и возносила ввысь, чтобы всех понять, и полюбить, и заранее простить.

Утро зарождалось ясное, с розоватой поволокой на восходе. Виссарион впервые ступил на московскую землю и поразился её державному величию и вместе с тем чистоте, ухоженности платформ, строгой приветливости сероватого здания Киевского вокзала, нетронутости унизанных крупной росой алых роз в сквере, где по дорожкам и вокруг клумб были расставлены скамейки для приезжих.

Посидев на лавочке и оглядевшись, Виссарион догадался, что при такой столичной чистоте и лоске оскорбительно быть заросшим, как Тарзан. Он отыскал глазами парикмахерскую, и там еврей-цирюльник в накрахмаленном халате, с седыми, нависшими бровями постриг его под знаменитого Раджа Капура – «чтоб все девушки были ваши и профес-

сор поставил вам пятёрку». В довершение добрый старик побрил Виссариона бритвой-опаской и, между прочим, наотрез отказался брать с него деньги: «Молодой человек, вам они ещё пригодятся. Две большие разницы – пойдёте вы с девушкой в кино или в Большой театр!»

И словно по его напутствию, у клумбы с жёлто-горячими цветами возникла перед ним Юленька, в цветной блузке и коротком ситцевом платье, в туфлях на шпильках, с загорелыми икрами ног. Надо же: в руках у неё был чемодан, и она тоже приехала поступать в университет!

Когда она присела на лавочку, Минаев ощутил у своего лица её волнующее земляничное дыхание и ошалел от близости худеньких плеч, приоткрывшихся на миг маленьких и, наверное, тугих грудей, форма и прелесть которых подействовали на него сильнее хмеля. Он не помнил, о чём она рассказывала ему и что он говорил сам; в памяти лишь остались ясное утро, трепетные блики взошедшего солнца на листьях и подстриженной траве, на погашенных фонарях... Вокзал, с его подметёнными платформами, вымытыми каменными лестницами и с тяжёлыми, под тёмно-ореховый цвет дверьми, через которые беспрестанно вваливался и выходил возбуждённый народ, незаметно отодвинулся и будто исчез, растворился в радужном блеске, в дымчатой синеве раннего дня... Опомившись (уж больно горячо припекало солнце, и рядом, на их лавочке, объявились какие-то люди), они встали и побежали к автобусу. Весело уселись на заднем сиденье и покатали к Ленинским горам, навстречу судьбе.

Потом были сумасшедшие экзамены, ночные прогулки по гаревым дорожкам, поцелуи в тени лип, объяснения в любви... и внезапное исчезновение Юленьки после двойки по химии. Виссариону предстоял последний экзамен по истории, и нельзя было терять драгоценных минут на подготовку. Нельзя было расслабляться перед финишем, когда цель так

близка, и он собрался из последних солдатских сил и сдал экзамен на «отлично». Сдал, очумел от невероятной удачи, даже захопал себе в ладоши и усовестился: а где же Юленька, где? «Ах ты, Минаев... Эгоист, индюк и сущий прохвост! Упивался личным успехом и не понял чужого горя, не стал разыскивать бедную девушку», – сказал ему внутренний голос. «Может, я и прохвост, – запротестовал вяло другой голос. – Но попробуй отыщи её в таком мегаполисе. Муравья в муравьиной кочке сумеешь найти?»

Спустя три года Юленька отозвалась сама. На цветной открытке с изображением чайной розы она уведомила, что жива-здорова, вышла замуж, устроилась на кондитерской фабрике. Через лет десять снова неожиданная весть от неё: с мужем развелась, одна растит дочку и заочно учится в пединституте. «А как твои дела, Виссарион? Напиши, как зовут твою милую супругу».

Минаев ответил: жену зовут Элла Леонидовна, она искусствовед, кандидат наук, занимается гимнастикой. Одарённая натура. Благодаря её приближенности к высшим кругам он без особой натуги стал советником в посольстве, объездил Европу и Латинскую Америку, в своё удовольствие пожил в Париже, Лондоне и Гааге.

Однако перестройка застала Виссариона Ильича врасплох, он потерял место и заодно Элли Леонидовну, с достоинством ушедшую к банкиру. Элла оставила за ним квартиру на Фрунзенской набережной, и с той поры Виссарион Ильич вошёл в роль холостяка – облысевшего, несколько озлобленного и всё же благополучного, с валютными счетами в «Мост-банке» и в Швейцарии. В любое ненастье, при всплеске возмущённой народной энергии он бы, по крайней мере, спокойно отсиделся взаперти годков семь.

И вдруг это письмо из Киева, столицы иностранного государства. Оно внесло в привычное течение дней некоторую

нервозность. Минаев и раньше не однажды ловил себя на мысли, что, при всём уважении к родовитой Эллочке, к её манерам светской львицы, в семье не хватало взаимности, что ли, и он втайне грустил о потерянном счастье, о родинке-капельке над верхней губой. Невинность персиковых щёк Юленьки всё чаще тревожила воображение, подтачивая солидность и довольство собой, отчего роскошь в доме, с редчайшим антиквариатом и картинами авангардистов, казалась иногда вычурной либо вовсе ненужной. Это трудно было выразить словами: так сладко и больно защемит в груди – и отпустит. И снова защемит, и содрогнёшься: жизнь-то прожита зря, вхолостую, без ощущения естества природы, земли под ногами.

Внутренний голос издевался над ним: «Виссарион, какой ты Виссарион? Тварь дрожащая... Ну сделай хоть раз в жизни мужской поступок. Не уберёг со своей камарильей государство – так застрелись или хотя бы спаси Юленьку. Будь христианином, а не змием кровососущим».

В каком-то душевном иступлении, подстрекаемый чувством вины, Минаев оформил необходимые документы, взял билет на ночной поезд и стал лихорадочно собираться в путь. Лететь не решился потому, что начали регулярно падать самолёты, а помирать бездарно в воздухе по чьей-то безалаберности не очень-то хотелось. Из-за придурков надо остерегаться, терпеть неудобства.

По старой дружбе на Киевский вокзал его доставили на мидовской машине, между прочим, бронированной. Несмотря на служебное крушение, Минаев продолжал находиться в мире, почти не пересекающемся с обычным растительным существованием миллионов. Если бы и вознамерился снизойти к ним, ему бы не позволили. Следует уважать клановые традиции. Он вылез из «броневичка», деликатно раскланялся с шофёром и подумал, что на этом вокзале не бывал лет этак пятнадцать, просто не доводилось иметь честь посещать его.

Поезд задерживался, что было теперь в норме. От нечего делать Минаев разминался вокруг вокзала. Очутившись поздней ночью возле отеля «Radisson-Slavianskaya», он сначала даже не понял, где он, – так всё переменялось. Рядом сверканье неоновых реклам, массивные двери с медными ручками, а в глубине, сквозь узорные стёкла, видны изысканная мозаика мраморного пола, бордовые ковры на лестницах. Собственно, его знакомая стихия. Он знал, что здесь любят останавливаться «новые русские», шейхи из Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Неподалёку же, в сумеречной мгле, обозначалась иная жизнь: дорога с неубранными мусорными кучами, за нею, на месте прежнего сквера, нелепое нагромождение ларьков, вывесок, стоек. Финансовый кризис, дефолт... Знаменитый рынок для плебса. Третий Рим рухнул, но традиции сословности должны жить. Минаева неудержимо потянуло туда, где был сквер. Что там, сохранилась ли цветочная клумба? Клумбы, конечно, не было. У пивных стоек копошились непричёсанные, неумытые личности. Удачливые босяки распивали водку, пиво и горилку, с остервенением рвали зубами каменно засушенную воблю, а голодные бомжи плотоядно смотрели на них и слгатывали слюни.

Минаев обогнул стойки и на освещённом месте, как раз у той клумбы, где впервые показалась ему пёстрая, как бабочка, Юленька, стал читать на ржавом железном щите изречения и лозунги. Обнажалось кипение человеческих страстей: отчаянье, глупость, наивные надежды, тёмное кликушество. Народ потешается в безрассудстве и хлёткости суждений, и неизвестно, к чему это приведёт. «Ельцин, Чечня тебе не простит!» – напоминал кто-то президенту. Другой подзаборный писатель внушал любимому вождю: «Пахан Зюганов, возьми дубину и шарахни!» Ещё один призыв гласил: «Сионисты, убирайтесь в Израиль!» Рядом мелом было начерта-

но: «Враги, трепещите, русские идут!» А внизу щита кем-то прибавлено в духе толерантности: «Братья россияне, давайте жить дружно! Мы хорошие».

Под щитом, в снеговой луже, распластался в рваной куртке не то бомж, не то горький пропойца из «хрущёбы». Дальше фонари горели тускло и неровно, как на городской свалке.

В своём шикарном длинном пальто из тонкого сукна, с кожаной сумкой на ремне, Минаев производил странное впечатление на припозднившихся забулдыг и воробьёв, бесцеремонно скакавших по стойкам и прилавкам. Бомжи находились и выжидательно замерли. Он отвернулся от людей и птиц и ускорил шаг, но в это время наперерез ему выбежала девчужка, весьма симпатичная, круглолицая. Играючись, она расставила перед ним руки и засмеялась: «Дяденька, хотите, я обийму вас. Хотите?» Дивно прозвенел певучий южный говорок. Минаеву почудился натуральный голос Юленьки, и он остолбенел, растерянно озираясь. Между тем девчужка поймала его за руку – в пальцах её была неистраченная нежность и теплота – и потянула за собой. «Пойдёмте туды... я знаю доброе местечко, – полушёпотом говорила она и, вздрагивая, тихонько, заманчиво посмеивалась. – Я недорого визьму... Гривнами, долларами, а то и рубликами».

До его сознания ещё не успел дойти смысл происходящего, как выросли, точно из-под земли, фигуры омовцев в пятнистых бушлатах, с резиновыми дубинками наготове. Они молча сграбастали девчужку, подхватили её под мышки и поволокли куда-то (на спине её беззащитно болталась светлая коса). «Бугаи... Котяры! – раздался пронзительный, по-детски отчаянный визг. – Задурно лапать, вот вам! Дяденька-а... дяденька-а-а!» – Она уже голосила навзрыд, безнадёжно.

По инерции Минаев двигался за ними следом, затем повернулся и пошёл через дорогу к платформам. Толпа валила к поезду. Его толкали чемоданами, клетчатými сумками,

дышали в лицо перегаром с запахом чеснока и прокисшего кетчупа. Кто-то предлагал на дорожку «огирки», кто-то фигурно, с надрывом матерился. Бесцеремонно оттиснутый в сторону, Минаев прислонился к стене здания, к холодному граниту, и с ненавистью, злобно стал оглядывать окрестности ставшего ему чужим, враждебным вокзала. Да кто эти люди, бестолково снующие мимо него взад и вперёд? Соотечественники, иностранцы, прохожие? Так, муравьи. Они уже не способны ни очнуться от летаргического сна, ни задуматься о своём положении.

Следом явилась другая мысль: пожалуй, с него довольно, он не поедет в Киев. Худшее свершилось. Ибо, как сказано, всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падёт. «Не поеду, – уже твёрдо решил Минаев. – Пошлю ей перевод». Юленька... да какая теперь Юленька – несчастная, больная женщина. Она обречена, как и тысячи ей подобных. Молох истории ненасытен. Всех не спасёшь, каждому не протянешь кусок хлеба, ампулу с пенициллином. Да и сам он разве не гибнет... не погиб уже? Погибшему не спасти гибнущих.

Минаев затаился, вдруг испугавшись дьявольского наваждения и того, что он здесь же, на этой грязной, оплётанной привокзальной дороге-площади, сойдёт с ума. Он махнул рукой проезжающему мимо такси. Машина резко притормозила у бордюра, и Виссарион Ильич, собравшись с духом, на ходу, как человек, за которым гонятся мстители, вскочил на заднее сиденье.

– Гражданин, сколько дадите? За так не повезу. Бензин дорогой... кусается! – Шофёр обернулся к нему и осёкся, увидев прилично одетого господина.

– Плачу валютой, – внушительно сказал Минаев и помахал перед его носом долларовой бумажкой.

Шофёр подобострастно закивал, ужал плечи, и на его ис-

питом, жульническом лице выразилось непомерное почтение.

«Поездка в Киев – глупость... интеллигентская блажь», – убеждал себя Минаев, продолжая думать о бывшей, уже не существующей Юленьке. Альтруизм непригоден, когда во круг сталкиваются и крошатся безжалостные льды. Бурное течение готово поглотить всякого, кто окажется на стремнине, вдали от берега.

Домой, быстрее домой, на Фрунзенскую!

1998 г.
Москва

Фея в радужном платье

(рассказ)

Давние, студенческих лет приятели, один – заядлый «либерал», другой – упрямый «почвенник», проще сказать, патриот, зашли в кабачок «Стойло Пегаса». Оба принадлежали к сословию пишущей братии и в литературном оазисе чувствовали себя как дома. Спустившись вниз, в укромный подвальчик с тускло мерцающими бра, они заняли стол в углу, чтобы не маячить на виду, а то будут приставать к ним слетевшие с катушек «гении». Либерал достал сигареты «Парламент», патриот – «Приму». Закурили.

– Что будем пить, чем закусывать? – спросил либерал, оглядывая редких посетителей.

– Для заправки по сто пятьдесят «Столичной», пиво «Невское» или «Золотую бочку» – на твой просвещённый выбор, – сказал патриот. – Ни в коем случае заграничное, это табу... Да возьми фисташек, бутерброды с сыром.

У благополучного либерала была моральная обязанность

угощать и обслуживать обедневшего друга, что он делал с некоторым мазохистским удовольствием. Докурив, он встал и вальяжно направился к стойке бара, колыхая отвисшим животом. Непомерно толст, рыхловат телом, зато смотрится внушительно: новенький, с сизовой изморозью бархатный пиджак, такие же брюки с подтяжками, блестящие остроносые туфли и на руке швейцарские часы. Приметив их, бармен заранее начал ему кланяться. Самовольно он заказал не «Столичной», а «Посольской водки», всё-таки она чище; для себя хотел взять американское пиво в жестяных банках, но решил не сердить приятеля и ограничился «Золотыми бочками».

Одетый в серый пиджак и водолазку неопределенного цвета, патриот скромно сидел в углу, больше похожий на обыкновенного работягу, чем на писателя. Однако этому впечатлению противоречила матерчатая, разлинованная на цветные квадраты кепка – явный признак бывлой поэтической избранности. Кепку он так и не снял с головы. Из-под неё выбивались русые взлохмаченные волосы, к ним, пожалуй, забыл прикоснуться гребешок. В выжидательном напряжении он водил синими глазами по стенам и думал о превратностях жизни. Со стен были смыты шаржи и портреты советских писателей заодно с их автографами, стихами и каламбурами; это нравилось ему – туда им и дорога. И всё же как-то щемило в груди, образовалась голая удручающая пустота, чего-то не стало хватать на стенах.

– А почему, Валериан Степанович, не тебя намалевать здесь? – съязвил он, как только либерал появился с подносом.

– Исключено. Без твоей персоны, мой бесценный друг, совершенно исключено. Не та получится композиция!.. Они всех кумиров свергли, но ничего не могут предложить взамен.

– Кто «они»? А ты? Выходит, ты ни при чём, вроде посторонний... Нашкодил – и в кусты.

– Ох, Андрюша, все мы нынче посторонние. Лучше не думать об этом.

– Вурдалаки... упыри погубительных времён! – выругался патриот.

– Времена не имеют определения. Они безлики.

Либерал внимательно присмотрелся к нему и с горечью подумал: сдаёт Андрюша, Андрей Иванович. От постоянного недоедания (нашёлся святой мученик!) его спортивная, литая фигура отошла, живот впал, подобрался до неприличия. Только на лице, заострившемся на скулах и подбородке, молодежavo плескалась синь беспокойных глаз. Раньше, когда они встречались, Валериан пытался затащить поэта в пегасовский ресторан, посидеть там, как белые люди, при скатертях, но бывший сокурсник наотрез, даже со злобой отказывался. Он считал недопустимым излишеством поощрять «буржуазные замашки», сорить деньгами, в то время как брошенные дети и старики роются в помойках. «Тебе-то что? – недоумевал Валериан. – Деньги-то мои. Как хочу, так и распоряжаюсь ими». – «Деньги не твои, а народные, – с непонятным остервенением возражал упрямец. – Настанет день, и ты спокойно вернёшь их в государственную казну».

В общем, предъявлял к нему немислимые претензии, будто Валериан Степанович долларoвый туз, олигарх.

На этой почве у приятелей случались нешуточные размолвки, после чего они разбегались надолго или шли мириться в «Стойло». Отходчивый Валериан прощал глупые выходки своему дружкy. Всё-таки их связывали романтические воспоминания об университете, не забылись золотые деньки.

Возвысившись, иногда либерал печатал в глянцеvых журналах стихи и язвительные заметки старого товарища (разумеется, под псевдонимами – в «глянцах» не любили патриотов). Чтобы поэт совсем не зачах, выписывал ему

повышенные гонорары. Учитывал его чистоплюйский нрав: дружескую помощь в виде купюр с презрением отвергнет, но лично заработанное примет охотно.

Для разгона либерал и патриот уговорили водку, затем приступили к пиву. Пили они самобытно, каждый на свой манер. Либерал струйкой нацеживал пиво в гранёный стакан (бокалов и кружек в кабачке не имелось) и поднимал его на просвет. Задумчиво любовался игрою золотистых пузырьков под оседающей пеной и, дождавшись, пока она спадёт, угомонится, потихоньку начинал прихлебывать глотками дегустатора-гурмана. Патриот же не церемонился: судорожно хватал бутылку за горло, будто хотел задушить её, как неверную женщину в объятиях, и, запрокинув дном кверху, в один дух до капельки опорожнял. При этом хрящеватый кадык его бугрился, дёргался рывками. Страстная натура...

Мало-помалу патриот ожил, хотя в глазах продолжала тлеть тоска и в жестах угадывалось остаточное напряжение. Либерал подумал и отнёс это состояние к холостяцкому прозябанию Андрея: от него на сдобные хлеба безвозвратно ушла жена.

– Вот ты говоришь, что никто ни в чём не виноват. Гнилая толстовская идея!.. – вдруг задиристо, без артподготовки перешёл в наступление патриот. – По-твоему, полезнее искать прегрешения в себе, а не в ближних своих, тем паче в дальних. Не в расхитителях и ворах, не в их пособниках. Прощай всем и кайся, кайся до посинения. Будь ангельским голубком... Ничего себе – позиция! А я, Валериан Степанович, не желаю каяться и не буду! Кайся ты, если такой всепрощенец. Но ответь: чем я виноват, допустим, перед Чубайсом и Березовским? Я с ними делишек не обтяпывал.

– Я тоже не имел чести быть их партнёром... Ты всё заостряешь, доводишь до абсурда. Тебе же ясно: Чубайс – пеш-

ка, проблема гораздо сложнее... Одна из причин помрачения и хаоса – расположение планет в Галактике, действие тонких миров. Повелитель энергий Никола Тесла это уразумел раньше нас, смертных, и прекратил возбуждать электрическую материю. Тоже покаяться... А ты, мой друг, возбуждаешь...

– Я возбуждаю?! – вскипел патриот и, передёрнув плечами, встал. – Тесла...Тесла – гений, не от мира сего. Не прикрывайся им... А я реалист, бью в одну точку и добиваюсь земной правды. Правда, как сказано, бог человека. Тебе она, хитрому котяре, припекает задницу!

Расслабленно сидевший либерал застыл в неудобной позе, а патриот над ним уже производил руками угрожающие манипуляции. Студентом он занимался самбо – видно, не пропали даром прежние уроки. Сцена могла перерасти в драку, но именно в это мгновение над головами приятелей зажужжала муха. Очевидно, она была размером с майского жука. Её противное жужжание заполонило, оглушило весь кабачок, как оглушает путников в степи невесть откуда взявшийся боевой вертолёт. Онемев, приятели подняли глаза к потолку и наблюдали за полётом мухи. Она произвела несколько виражей, описала над столом круг и прицельно спланировала на бутерброд патриота.

– А-а, тварь! – вскричал он и, норовя немедля её прихлопнуть, со страшной силой ударил ладонью по столу. Тарелка с бутербродом взвизгнула, повертелась волчком и свалилась под ноги; едва не скатились на пол и бутылки, но либерал, изловчившись, удержал их. В ту же секунду муха взвилась, с торжествующим гудом просквозила над публикой и скрылась.

Это происшествие разрядило обстановку. Либерал нервно, с облегчением засмеялся, принёс ещё пару бутербродов.

И тут произошло чудо, на всю жизнь запечатленное в

сердце патриота. На пороге кабачка, в сигаретном волнообразном дыму, возникла привлекательная, бальзаковского возраста особа, немного уставшая от поклонников и ожидания счастья. Патриот взглянул и обмер: этакая спелая, сочная, чуть-чуть тронутая солнцепёком вишня. Она показалась ему натуральной феей – в радужном струящемся платье, в розовых с бантиками туфлях и с крохотной розовой сумочкой через плечо.

В знак приветствия фея помахала рукой в их сторону и стала грациозно приближаться к столу. Либерал выказал невероятную прыть: сорвался с места, расшаркался и услужливо подвинул ей свободное креслице. Фея благосклонно улыбнулась. Шелестя платьем, овевая мужчин волнующим запахом духов, села. Взгляд её встретился с глазами патриота, и она про себя изумилась: «Какой занятный экземпляр!» Интуитивно он угадал значение невысказанных слов и подумал: «Это судьба. Она будет моей женщиной!»

Занятый своими мыслями, либерал не заметил проскочившей между двоими искры. Несколько лет он подбивал клинья к Алине (так звали фею), которая обладала опытом светской дамы, весьма утончённой, начитанной, любившей музыку и литературу и, кроме всего прочего, имевшей достоинства крутой миллионерши и перспективной невесты.

– Алина, тебя сам бог послал, – растроганно, скороговоркой зачастил либерал. («И это правда», – подумал патриот, не отрывавший от феи синюющих сумасшедших глаз). – Знаешь, утром думал о тебе... так славно, весело думал... Извини, мелю чепуху... – продолжал Валериан, ставший неумеренно суетливым. – Что заказать? Грибки в сметане... кофе... персиковый сок?

– Сначала представь своего друга.

– Ах, да! – спохватился Валериан, и на его монгольском загорелом лице мелькнула растерянность. – Это Андрей Ро-

гачевский, в прошлом знаменитый публицист, поэт. Ты, кажется, читала его.

– В прошлом? А сейчас? – Фея перевела взор на патриота в кепке и одарила его благосклонной улыбкой.

– Сейчас я лишён имени и денег, – сказал Рогачевский и тоже улыбнулся, иронически. – Признаюсь вам: я так верил в благо человечества, что остался без штанов.

Фея оценила юмор и рассмеялась. Смех её, заразительный, влекущий, обласкал, обворожил патриота, но больно задел самолюбие либерала. Он насторожился, ревниво покосился на Алину. Между тем его бесшабашный приятель был в ударе, спешил поведать о себе и своих чувствах несравненной фее:

– Меня предала жена, подло предала... Я воспринял это как всемирную катастрофу. Полезли стихи о смерти, о гробах и вампирах... Сегодня сожгу их. Отныне я ваш раб. Буду воспевать вас, как Петрарка Лауру...

– Вы это серьёзно?

– Серьёзнее не бывает. Я не умею ловчить, любить наполовину.

Этот простец всё больше нравился Алине – прямоотой, мужской основательностью, в нём был стержень, характер, природная физическая сила. Не какой-нибудь слизняк-импотент. «Ему слегка бы почистить неухоженные копытца... откормить, приодеть – и взбрыкнёт бычок, – по-женски цинично размышляла миллионерша. – Чего и желать другого: потенциальный любовник, муж, охранник. Для имиджа ещё и писатель... Всегда мужик под боком – и на работе, и в машине, и дома».

Вслух же произнесла, смущённо опуская глаза:

– Ох, Андрей Рогачевский, какой вы, право, нетерпеливый... С места в карьер. Не годится так вести себя с незнакомыми девушками. – И погрозив ему пальчиком, невинно полюбопытствовала: – Вы умеете водить машину?

– О чём спрашиваете! Шофёр с двадцатилетним стажем. Спортсмен. Комсомолец.

– Очень приятно...

«Моя женщина, моя!» – как молитву, твердил про себя патриот.

Потрясённый либерал, окончательно обо всём догадавшийся, вдруг сказал ей, что ночью же поедет к себе на дачу и утопится в озере. «Успокойся, этого с тобой не случится, – шепнула ему на ушко Алина. – Разумненький, не обижайся. Я же тебя предупреждала: ты не в моём вкусе».

Словно скрадывая неловкость их трогательного объяснения, снова зажужжала муха, покружилась и бесцеремонно села на стол. На этот раз патриот не тронул её. «Вот и не верь суевериям, – с гулким сердцебиением подумал он. – Возможно, это насекомое прислано для подсказки из другого измерения, даёт мне условный знак».

Муха прошлась победным скоком, спружинила и вертикально взмыла вверх. Проследив за нею подозрительным взглядом, Алина встала:

– Нет, мальчики, сегодня здесь неуютно. Приглашаю в итальянский ресторан на ланч!

У либерала пробудилась надежда, что приятель откажется. Нет, он, дубина, даже возрадовался! Понятно, чего не делаешь ради женщины. Можно и поступиться принципами.

Компания вышла на улицу. Весенний вечер был свеж и прохладен, как берёзовая роща, омытая дождём. Жадно вдыхая воздух, никто не заметил, как за приунывшим либералом увязался пьяный амбал, баснописец. В карманах его куртки позвякивали оставленные ими «Золотые бочки». Либерал презрительно сунул ему сторублёвку, но тот ухватил его за полу пиджака и потребовал валюты. Услышав возню, патриот быстро подошёл к амбалу, неуловимым движением сшиб его с ног в маслянистую лужу и, не оглянувшись, вернулся

к фее. «Боец... защитник!» – восхитилась Алина, стоявшая у своего белого «Лексуса».

С этого момента Валериан понял: шансы его беспощадно сведены к нулю и надо смириться.

В Лопухинском переулке они посетили чистенький ресторанчик, где кроме белого и красного вина подавались всевозможные супы – огуречный и с креветками, даже окрошка по-милански и по-веронски, а в прибавку наша, кубанская; из салатов были итальянский, сардинский и оливье Нуво, из горячего – мидии запечённые, баклажаны с морепродуктами, равиоли мясные острые и равиоли с трюфелями; на десерт предлагались безе с мороженым и клубникой, профитроли, фруктовый салат – словом, всякая всячина, чему не только патриот, но и либерал не знали названий. Отдохнули на славу. Алина пообещала каждую субботу возить их по иностранным ресторанам и таким образом познавать кухни мира. У неё было такое хобби.

...Через два или три месяца она вышла замуж за Андрея Рогачевского. Свадьбу сыграли скромно, среди своих, на Канарах или Азорских островах – это до сих пор не выяснено и не вошло в газетные хроники. Говорят, дружком у жениха был Валериан Степанович. Ему повязали красную ленту через плечо, и он ходил вальсяжный и в меру хмельной. Больше они с Андреем Ивановичем не дискутируют, тем более не ссорятся. Хотя их роли поменялись, но дружба превыше всего. Да и надоело толочь воду в ступе. По этому поводу Андрей Иванович иногда мудро изрекает: «Надо, братцы, делом заниматься!»

Вот что бывает с человеком, которому удалось встретить добрую фею.

*2009 г.
Москва*

ВЛАДИМИР **МУССАЛИТИН**

Лунные коноплянки

Боб



Лунные коноплянки

(рассказ)

Середина августа. Полнолуние. Дикая, непривычная деревенская тишина. Густые запахи уходящего лета. И самый сильный – запах конопли, наносимый от реки снизу. Терпкий, густо-смолянистый, он перебивает все другие и, кажется, проникает во все поры.

«Да что же это такое?» – изумляется Сухоруков, вновь, как и в прошлую ночь, испытывая странное, необъяснимое возбуждение, которое, как уже знает он, кончится бесконечным ворочанием с боку на бок и в конечном счёте бессонницей.

Он какую-то секунду напряжённо вслушивается в себя, затем резко отбрасывает на сторону лёгкое пикейное одеяло и встаёт в полный рост у слухового окна. В комнатах душно, и по его просьбе хозяйка стелит ему на сеновале.

Глубоко вздохнув, Сухоруков чуть ли не разом ощущает весь этот сложный запах травы в соседстве с иван-чаем, чабрецом, ромашкой и невольно думает, что эти колдовские запахи также отчасти виноваты в его бессоннице.

«Ну и ничего страшного, что не спится, – думает он, озирая с высоты притихшую деревню, залитую из конца в конец лунным светом. – Ничего страшного... Зато где еще увидишь такую красоту, такой спелый, щедрый на краски и запахи август? Где? Ну, конечно же, не в городе, заставлен-

ном до горизонта однообразными кирпичными и бетонными коробками, навевающими скуку и уныние, лишаящими возможности видеть, казалось бы, обыденное, но столь впечатляющее явление, как восход или закат солнца? В городе-то как? Скрылось солнце за стеной соседней девятиэтажки – и баста! – включай свет, ибо вот он, вечер, хотя в деревне до него ещё далеко. Солнце здесь будет садиться, играть с облаками, красить их во всевозможные немислимые цвета, когда каждый очередной ярче, красочней, фантастичней, удивительней предыдущего.

Нет, всё же стоит иногда поступиться сном, покоем ради такой красоты. А луна вон как вызолотила, высеребрила конопляники, тяжёлым, даже и не тёмно-зелёным, а скорее жирным чёрным цветом налила мощные рослые стебли. Ах ты, боже мой, как всё-таки славно, как прекрасно жить на белом свете, видеть, понимать и чувствовать до горловых спазм, до сладкого сердечного мления всю эту неповторимую земную красоту!

И какой резон вот так столбом торчать у чердачного окна? Скорее, скорее на улицу, в эту сказочную, дивную ночь».

Сухоруков поспешно натягивает брюки, надевает лёгкие разношенные туфли и, стараясь не скрипеть лестницей, осторожно спускается вниз, нащупывает щеколду, легонько толкает сенную дверь.

Завидев его, легко вскакивает и бросается в ноги, выражая свою радость по случаю появления в столь поздний час знакомого человека, молодой хозяйский пёс, уместившийся на крыльце на деревянной решетке.

– Что, тоже не спится? – шепчет Сухоруков и треплет пушистый собачий загривок. – Также маешься бессонницей? Ах ты, бедолага! Тебе тоже мешает луна?

Пёс, словно понимая, о чём с ним говорят, радостно по-

фыркивает, дёргается мордой, туловищем, постукивает по решётке хвостом.

– Ну ладно, ладно! – увещевает его Сухоруков и легонько похлопывает по доверчиво подставленной собачьей скуле. – Сиди, карауль, бедолага, а я маленько прогуляюсь.

Пёс услужливо семенит за Сухоруковым до самой калитки, беспрестанно тыкаясь ему в ноги, он готов следовать за ним и дальше, но Сухоруков, не желая привлекать к своему провожатому внимание многочисленной деревенской псарни, отгоняет добродушного пса от садовой калитки.

Улица пустынна и загадочна в этом обилии лунного света. Какое-то время Сухоруков раздумывает, куда бы пойти, но затем ноги сами ведут его вниз к реке, к конопляникам.

«Нет, это надо же!» – продолжает изумляться Сухоруков, как бы заново видя сказочную ночную картину с рельефными, будто вырезанными для спектакля декорациями – деревьями, домами, огромной, ослепительно-яркой, невиданной ещё такой прежде луной, которая всякий раз видится и ощущается по-новому. Вот сейчас это его ощущение близко к тому, что он испытывал в молодые годы, лет где-то в семнадцать, когда их десятый «Б» послали в колхоз на уборку. Так и остались в памяти вот такая же огромная завораживающая луна, бескрайние, таящие в себе что-то сладостно-щемящее конопляники и милая девчонка из их класса, что так чертовски нравилась ему, но, разумеется, не догадывалась, да и не могла догадаться об этом по причине его излишней стеснительности.

Какое там подойти или заговорить! Он краснел при одной мысли о ней. Ему тогда казалось, что такие красавицы, как Валя Долженкова, не для него, хотя потом, спустя какие-нибудь пять-шесть лет после окончания школы, с изумлением узнал, что Долженкова вышла замуж за отчаянного забулдыгу, который не только попивает да погуливает, но нередко

и поколачивает их первую школьную красавицу. Нелестно отзывались и о самой Вале, которая-де сама хороша, которая якобы своим поведением давала основание для подобного обращения с ней.

Но, странное дело, эти очень даже, может быть, и правдивые рассказы одноклассников, которые, казалось, должны были пригасить то давнее, пережитое когда-то им чувство первой любви, тем более что было оно безответным и, стало быть, подразумевало во имя торжества справедливости какое-то отмщение, так вот, эти рассказы не только не поколебали его прежнего нежного и светлого чувства к первой школьной красавице, у которой неожиданно открылось столько разных пороков и изъянов, что их с лихвой хватило бы на добрый десяток женщин, но, наоборот, еще сильнее всколыхнули прежнее чувство, добавив к нему отнюдь не злорадства или тщеславного торжества, а горечи и сожаления за столь нескладную судьбу одноклассницы, достойной, конечно же, гораздо лучшей, чем досталась ей, доли.

Он жалел её за столь неразумный выбор и был уверен: свяжи она свою судьбу с ним, и всё, абсолютно всё было бы совершенно иначе. Не тяготился бы так, как теперь, семейной жизнью он, и, самое главное, была бы счастлива она. Он несколько не сомневался в том, что сумел бы сделать счастливой её, и потому, как только услышал всё это невеселое о ней, решил, что ничего ещё не поздно, что всё ещё можно поправить и в своей судьбе, и в судьбе той, которую так долго и безответно любил; что готов был прямо сейчас же из школы, с традиционного вечера-встречи выпускников, проводившегося у них по обыкновению в первую субботу февраля, бежать к ней, но беда в том, что никто из собравшихся не знал её нового адреса. Доподлинно было известно лишь то, что их бывшая одноклассница, уставшая от прежней жизни, оставила мужа и завербовалась куда-то

на Север в один из гарнизонов. «Но зачем так далеко и почему именно в гарнизон?» – недоумевал он. «Известное дело, зачем», – прозрачно намекнул кто-то из школьных приятелей.

Быть может, он был и прав. Но тогда до всего этого, до этой горькой правды было так далеко. И так было славно не знать, не ведать всего этого. Жить безоглядно, жадно, с верой в справедливость, основательность мира, в котором были и эти дивные ночи с колдовскими, завораживающими запахами, и эта русая роздымь над ясным, спокойным и красивым личиком Вали Долженковой, в которую он был безнадёжно и тайно влюблён и которая, не зная этого, не догадываясь о его муках и страданиях, словно бы назло ему тихо ускальзывала из дома, где квартировали они, девятиклассники, присланные в деревню на уборку конопли, на очередное свидание или же на танцы, что стихийно устраивались тогда чуть ли не каждый вечер в старом липовом парке, принадлежавшем когда-то местному барину. Она возвращалась иногда слишком поздно, и он, стыдно признаться, терпеливо ждал-поджидал её, притворившись безмятежно спящим на их ребячьей половине или сторожа её за углом хозяйского дома, так чтобы в то же время остаться совершенно незамеченным. И она, конечно же, ничего не знала и не подозревала.

Да нет, пожалуй, подозревала. Он прекрасно помнит тот вечер, когда она, неожиданно рано вернувшись с танцев одна, без провожатых, завидев его, прислонившегося в тоске и отчаянии к хозяйской изгороди, молча стала рядом и долго стояла так. Он думал, что она о чём-то его спросит, заговорит с ним, и боялся этого, потому что не знал, о чем может быть этот разговор, во что выльется, он боялся и не хотел этого разговора и в душе заклинал её об одном – ни о чём не говорить, просто молча постоять рядом. Но ей, видимо, не терпелось как-то выразить свои чувства, то, что испытывала

она в эти минуты. У него была плохая память на стихи, ему приходилось по нескольку раз зубрить какое-нибудь четверостишие, чтобы запомнить, но эти странные строчки почему-то мигом запомнились, вошли в память напрочь вместе с лунным завораживающим светом, с её загадочным в этом свете лицом, жарко упрямо-дерзко шепчущими чуть ли не в каком-то полубезумстве-полубреду губами:

*А ты думал – я тоже такая,
 Что можно забыть меня
 И что брошусь, моля и рыдая,
 Под копыта гнедого коня.
 Или стану просить у знахарок
 В наговорной воде корешок
 И пришлю тебе страшный подарок –
 Мой душистый заветный платок.*

«Ты чего это?» – задал он тогда свой дурацкий, нелепейший вопрос и спугнул её этим вопросом. Она тотчас резко повернулась и торопливо ушла в дом, словно бы он чем-то рассердил, обидел, словно он был в чём-то виноват. Но в чём? А эти стихи? Почему она решила читать именно ему, именно эти стихи? Временами он пытал своих приятелей и знакомых, не знают ли они вот эти стихи, но они не знали, откуда и чье это.

Сухоруков некоторое время потоптался вблизи конопляников, хотя прекрасно знал, что не тут надобно быть сейчас ему, а совершенно в ином месте и что воспоминания о далёкой юношеской поре, о несбывшихся надеждах отнюдь не случайны. И виновата в том женщина, встреченная им тут на прошлой неделе. Тщетно было бы искать прямого сходства между ней и Долженковой, но что-то то ли в облике, то ли во взгляде этой женщины оказалось до боли знакомым, таким, которое он помнил, желал и страдал от сознания того, что все это безнадежно, безвозвратно потеряно.

Но все же есть чудеса, думал он, увидев эту незнакомую женщину, спускавшуюся со ступенек крыльца сельмага навстречу ему и так хорошо, приветливо, как давнему знакомому, улыбнувшуюся, что Сухоруков понял, что им не разминуться. И забыв, зачем шёл в магазин, словно заворожённый, последовал за ней.

Разговор их был недолгим, пока шли рядом из магазина. Говорили о чём-то необязательном, малозначительном, лишь только для того, чтобы поддержать беседу, снять неловкость первых минут столь неожиданного, стихийного знакомства, которое, как сразу же почудилось Сухорукову, таило взаимный интерес, тем не менее старательно скрываемый обоими.

И, быть может, по этой причине он мало что узнал о ней, её личной жизни. Приехала сюда, в деревню, на отдых к своей дальней родне с Украины, из неизвестного, загадочного, интригующего звучным названием Кременчуга...

Но и то, что узнал, не на шутку разволновало его. Не зная почему, с какой стати, он вдруг стал читать ей то давнее, слышанное от Долженковой.

Она приостановилась, в некоем изумлении уставилась на него. Сухоруков с чувством прочёл то, что помнил. «Что же вы, читайте дальше! – властно потребовала она. – Не помните?» – «Забыл», – соврал Сухоруков. «А дальше так», – сказала она и на одном дыхании, отчаянно-раскованно, совсем по-долженковски качнув глазами, досказала:

*Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснись,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенных чадом –
Я к тебе никогда не вернусь.*

«Как странно», – сказала она. «Что именно?» – уточнил он. «А то, что вам это тоже нравится...»

Удивительное дело, как вообще Сухоруков, не отличавшийся никогда красноречием, нашёл слова для этого разговора. Как ему удалось перебороть, казалось бы, совсем уже неуместное для его лет волнение, которое, кстати, охватывало его помимо воли и в другие встречи с ней. А встречи эти, надо сказать, были просто фантастическими. Стоило только ему, выйдя за калитку, подумать о ней, как чуть ли не тут же на улице или во дворе дома своих родственников появлялась она, тревожа и вконец смущая его.

Лёгким кивком, с чуть приметной загадочной усмешкой здоровалась с ним, и этого было достаточно, чтобы на весь день занять его воображение, которое было услужливым и податливым и которому было достаточно самой малости для энергичной безостановочной работы, торопливой сменя одной впечатляющих эпизодов их романтических свиданий не менее впечатляющими другими. Всё было красиво, сладостно-волнующе, прямо-таки на старинный манер нежно-щемяще в этих свиданиях, которыми прямо-таки грезил наяву, но на которые никак не мог отчаяться Сухоруков. «Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь...» Нет, это просто удивительно. Эта встреча, эти стихи. Он должен во что бы то ни стало увидеться с этой женщиной. Ведь она интересна ему, как, впрочем, и он ей. Но его всё время что-то останавливало, заставляло иронизировать, подтрунивать над столь неожиданно вспыхнувшим в нём чувством.

Да и потом, вдруг думалось ему, как бы не подвела его эта игра воображения. Быть может, ему только почудился, показался этот её интерес, быть может, это всего-навсего элементарное любопытство к свежему человеку, а он вон как распалил, разогрел своё воображение. Хотя почему так плохо он думает о себе? Разве как мужчина он уже ничего не стоит? И вполне возможно, что он мог хотя бы немно-

го понравиться этой загадочной, встревожившей его душу женщине. Тогда чего же он медлит? Чего ждёт? Он ведь не знает того, как долго намерена пробыть здесь она. Его же командировка закончится через неделю, как только завершат монтаж оборудования на животноводческом комплексе.

И впрямь, чего же он, чужак, тогда ждёт, на что надеется? Или же на то, что она подойдёт и всё скажет сама. «...Но клянусь тебе ангельским садом...»

«А всему виной, пожалуй, эта луна, этот запах спелых конопляников», – думает Сухоруков.

Он отыскивает в уличном порядке её дом и долго не спускает с него глаз, пытаясь угадать, что делает – спит или бодрствует сейчас она. Ему начинает казаться, что одно из окон отсвечивает. «То ли это лунный отсвет, – думает он, – то ли это приглушённый свет лампочки? Как бы там ни было, уже поздно. Добрые люди давно спят». И он тоже невольно зеваёт и, совершенно убеждённый в том, что теперь-то непременно уснёт, забирается на сеновал, ложится на смятую, изрядно избурованную недавней бессонницей постель. «...Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь...»

«Спать, спать!» – приказывает он, возвращаясь на сеновал, повторяя это сквозь лёгкую дрему, и сознательно весь расслабляется в ожидании этого сладостного, желанного мига скатывания в зыбуче-затягивающий омут. Но тут же неожиданно для себя вновь резко отбрасывает одеяло и рывком садится. «Скотина, какая же скотина! Там женщина, а он, видите ли, устраивается сладко поспать. Вот они, рыцари двадцатого века! Да, да, рыцари прекрасного образа, готовые на всё ради женщины, во имя её... Нет, это надо же уродиться такой бесчувственной чуркой, таким безмозглым чурбаном, – самому себе ужасается Сухоруков, – чтобы не понимать

самых простых вещей, бояться того, чему надобно радоваться! Она там, быть может, все дни напролёт думает о нём, а он... нет, это только подумать...»

Сухоруков подрагивающими от волнения пальцами нащупывает одежду, путаясь ногами в штанинах, натягивает брюки, торопливо заправляет за пояс рубаху и, не замечая ступенек, чуть ли не спиной соскальзывает по лестнице. «Скорее, скорее!» – словно и впрямь опаздывая, торопит он себя, плохо соображая, что именно должен он сейчас предпринять.

Луна стала словно бы ярче. И ещё более пронзителен её свет. И Сухоруков думает, что его одинокая фигура на пустынной деревенской улице, должно быть, сейчас смешна и нелепа. «Ну так что? – он обегает глазами привычный порядок домов не ахти какой длинной деревенской улицы. – Ну так что?» – чуть ли не в голос выдыхает он, осекшись взглядом о широкий, несколько выступающий из общего ряда угол внушительного, на совесть рубленного дома, в котором живёт она. «Ну так что?» – вновь повторяет он, чувствуя, как млеет его сердце и слабеют в коленях ноги. Пожалуй, его уже заметили и из-за какой-нибудь занавески потихоньку разглядывают, раздумывают, что же такое намерен делать он. «Ну и что, смотрите, сколько вам влезет», – с внутренним вызовом бросает Сухоруков, досадуя на себя за то, что всё ещё не в силах совладать со своим волнением. «Старик, но так же нельзя! – стыдит он себя. – Ты же не вьюнош какой-нибудь, чтобы вот так, до неприличия волноваться. Да и потом, неизвестно, ради чего. Возьми себя немедленно в руки! Слышишь!»

Сухоруков шумно вздыхает, дабы отвлечься, поднимает голову к небу, где сверкает-сияет, чуть ли не смеясь над ним, полношарая спелая августовская луна.

Боб

(рассказ)

К спиртному Юрлов особого пристрастия не имел. Выпить мог и умел. Никогда не позволяя себе лишку, помня давно и крепко усвоенное: пьян да умён – два угодыя в ём... Ему нравилось состояние лёгкого хмеля, когда хотелось забыть разом все неприятности, простить давних и недавних обидчиков (вообще-то долго обижаться на кого-либо он не умел), когда тянуло всех обнять, всех любить, говорить всем только хорошее.

Юрлов, как правило, был душой компании – весёлым, задорным, умел задать и песняка, а то, чего доброго, и сплясать. Не станцевать, а именно сплясать, с выходом, пристукивая каблуками, прихлопывая ладошками о те же каблучки, ну и, само собой, пуститься вприсядку. Он мог хорошо сплясать, зажечь, как модно говорить сейчас, если к тому же находилась достойная напарница, которая также понимала толк в пляске.

Причём плясал он отчаянно, нисколько не стесняясь своей пляски, которая с головой выдавала его деревенскую натуру. Но этого он также нисколько не стыдился. Более того, гордился этим. А откуда, как не из деревни, вышла Россия!

Так что Пётр Николаевич Юрлов головы никогда не терял и до дома, какая бы там пьянка-гулянка ни случалась, добирался на своих двоих. А тут то ли меры не рассчитал, то ли водочка оказалась палёной, грубой очистки, что теперь, при отсутствии всяких ГОСТов и стандартов, основательного контроля за производством продуктов вообще, а этого деликатного в частности, не редкость. Как бы там ни было, его самым натуральным образом развезло...

Потому-то так долго и не мог сообразить, где он и что от него требует совершенно незнакомый человек в изрядно потертой милицейской форме при лейтенантских погонах. Юрлов пристально смотрел на него, пытаясь понять, откуда и с какой стати взялся этот милицейский чин. Вроде бы на их товарищескую вечеринку они никаких ментов не приглашали, потому что вечеринка носила сугубо корпоративный характер. Ни чужих баб, ни мужиков. Только свои...

Помнится, и не мешал он водку. Пил лишь достаточно хорошо проверенный «Русский стандарт», которому его сослуживцы вполне доверяли, как, впрочем, и он сам. «Русский стандарт» был их уровень, напиток их круга – деловых и в общем-то не последнего ряда людей...

Поскольку предполагалась дружеская вечеринка, то машину свою он со стоянки не трогал. Да и вообще из-за этих идиотских столичных пробок, возникших в течение последних трёх-четырёх лет (что значит почувствовали люди вкус к красивой жизни, притом, куда ни глянь – одни иномарки и одна другой краше!)...

Так вот, из-за этих треклятых пробок Юрлов старался как можно реже тревожить свою новенькую, добротную «маздовку» пятой модели. Офис его находился в центре, и добраться туда на своих колёсах что в утренние, что в вечерние часы было настоящей проблемой, как, впрочем, и припарковаться. Подобная рулежка занимала у него в оба конца часа полтора, если не все два... А на метро от силы полчаса. Едешь себе – ни о чём не думаешь, глазешь по сторонам, а нет, то, как в былые времена, почитываешь

И поскольку Юрлов был не за рулём, то мог позволить себе оттянуться по полной, если бы этот неладный «стандарт» не подвёл его...

Было это во всех смыслах нехстати. Они с Нелей только начали притираться друг к другу. И поскольку это был его

второй брак и, как думалось ему, наконец-то он нашел то, что искал, то ему, естественно, ничем не хотелось омрачить свою новую половинку. Неля ему очень нравилась, как и он ей. Это он прекрасно чувствовал. И всё это было искренне, без всякой натяжки и наигранности. Они любили друг друга, нисколько не стыдясь своих чувств, несмотря на то, что оба вошли в хорошие лета. Ему – сорок семь, она, правда, почти на десять лет моложе. Он, стало быть, уже вовсю щёлкал мудрёные задачки, она же, лежа в колыбельке, забавно перебирала пухлыми ножонками, агукала и пускала пузыри...

Юрлов и относился-то к ней как к меньшей, со всей нежностью и добротой. И ни разу не явилось у него желания что-то утаить от неё, соврать или же совершить некий недостойный поступок. А тут? Как и что скажет он в своё оправдание?

Весьма невесёлые мысли стали посещать его по мере того, как хмель выветривался... Больше всего и не на шутку занимало: за какую же провинность очутился в этом странном заведении? Что такое недостойное мог совершить на самом деле? Подрался с кем-либо из сослуживцев или случайных прохожих? Полез на рожон к кому-либо из милицейских чинов?

Как и у кого мог узнать он, за что его поместили в этот так называемый «обезьянник»? Пожалуй, только лишь у этого самого милицейского лейтенанта, который, нисколько того не смущаясь, весьма охотно и даже с неким азартом проверил содержимое его карманов, как только Юрлова привели сюда.

Юрлова эта бесцеремонность, быстрота действий лейтенанта просто покорила. Он бы и сам вывернул карманы, попроси его об этом. Но лейтенанту, видимо, этот шмон доставлял особое удовольствие. Он, странно ухмыляясь, вы-

валил содержимое карманов поначалу на стол, а затем и в ящик стола, тотчас торопливо задвинув его, словно боясь, как бы вещицы Юрлова, чего доброго, не дали дёру...

Юрлов смутно припомнил, как лейтенант несколько замешкался, взяв в руки его мобильник. Ему даже подумалось, что тот намерен вернуть телефон. Но нет, лейтенант, с неким любопытством повертев его, тоже весьма небрежно кинул в стол, пояснив, что мобильный ему без надобности. Эти-то слова чаще всего приходили теперь на ум. Что значит без надобности? На какое время?

И вообще с мобильником получалась настоящая ерунда... Спихватится жена, встревожатся друзья-приятели, станут названивать, а он никому ни слова, ни полслова.

Уж не собирается ли сам лейтенант отвечать на все входящие? Этот вопрос больше всего тревожил его, и именно на него он хотел бы получить ответ. Но как задать вопрос этому лейтенанту, если он сидит в другом конце коридора?

– Эй, вы там! – неуверенно подал голос Юрлов, встав с деревянной скамьи, ухватившись руками за железные прутья. Но возглас его остался без ответа.

Это худо, что он не знает причины, по которой доставлен сюда, и, стало быть, не может знать и того, как долго его продержат тут.

– Эй, вы! – он снова подал голос. Громче, резче. И это, как ни странно, возымело действие.

– Чего орешь? – строго спросил неизвестно откуда взявшийся сержант, которого Юрлов до этого не видел.

– Объясните хоть, за что взяли меня?

– Во-первых, не взяли, а задержали. За хулиганство!

– Какое? – подавленно уточнил Юрлов.

– Расстегнул ширинку и вообразил себя поливальщиком. Прямо на площади перед «Макдоналдсом».

В эту чушь Юрлов не хотел и не мог поверить. Он был достаточно воспитанным и культурным человеком, чтобы опуститься до такого свинства.

Тем временем из того конца, где властвовал лейтенант, донеслось:

– Петрухин, принимай пополнение.

Сержант тотчас удалился. Послышались возня, мужская брань, редкие женские вскрики. Сержант вернулся, сопровождая довольно-таки странную пару – изрядно взлохмаченную бабёнку с рыжими космами и опухшим лицом и мужика в потёртой и довольно засаленной «аляске» весьма непонятного цвета. Мужик весьма равнодушно взглянул на Юрлова и тотчас отвел лицо в сторону.

«И наградила же природа таким рубильничком», – усмехнулся про себя Юрлов, отметив и внушительных размеров нос неизвестного соседа, и приметный косо́й шрам на правой щеке. Незнакомец часто, возбуждённо дышал, и крупные хищные закрылки носа ходили нервно и шумно. Кого-то и чем-то он напомнил Юрлову, но кого именно, как ни напрягал память, так и не мог вспомнить. И потому решил, что перед ним весьма распространённый тип алкаша. И если есть какое-то отличие – так вот этот шрам, который придаёт мужику некий шарм.

«Шрам – шарм», – тихо усмехнулся он лежащей на поверхности рифме. На досуге он иногда довольно неплохо рифмовал. Для себя, на потеху друзьям-приятелям. «Шрам – шарм», – повторил он про себя, с тем и успокоился, прислонясь затылком к холодной стене, которая так, кстати, холодила и освежала голову.

Юрлов прикрыл глаза, стараясь привести в порядок мысли.

Однако в таком состоянии пребывал недолго. Мешал чужой взгляд. Юрлов полуоткрыл глаза. Оказывается, его со

вниманием рассматривал новенький. Стало быть, и его посетила какая-то догадка.

«А вообще чем чёрт не шутит, – подумал устало Юрлов, – возможно, где-то и могли пересечься наши пути-дороги». Мало ли пришлось постранствовать по свету, прежде чем заякорился в столице. Были и Архангельск, и Мурманск... В основном портовые города, поскольку в своё время окончил в Питере морской вуз и по специальности своей был работником порта. Ходил и в подчинённых, занимал и руководящие должности, пока на пике перестройки, аккурат развала Союза, в самом начале восьмидесят девятого, ему основательно не подфартило. Тогда-то к ним в Мурманский торговый порт прибыл в командировку первый заместитель министра. Ему и приглянулся Юрлов. Понравился и тем, как держался, и как отвечал на поставленные вопросы, но больше всего, конечно же, своими деловыми качествами, тем, как была поставлена работа на вверенном ему участке.

Примерно через неделю из министерства раздался звонок, а затем пришла и правительственная телеграмма, в которой ему, заместителю начальника порта, предлагалось явиться в столицу. Телеграмма эта взбудоражила многих. Особенно начальника порта, который и первым высказал предположение, что на Юрлова в столице глаз положили и здесь он долго не засидится.

Да и Юрлов, честно признаться, втайне надеялся на это. Как и многие молодые, был честолюбив, мечтал о достойной карьере. А на что здесь мог рассчитывать он, если начальник порта был достаточно молод и до пенсии тому было трубить и трубить...

Как вскоре понял Юрлов, замминистра замыслил его перевод в министерство на должность начальника одного из ведущих отделов не без корысти, а с тем, чтобы еще больше укрепить своё положение в тайной подковёрной борьбе с

другим замом, человеком тёртым, эрудированным, весьма и весьма влиятельным, к тому же умело опекавшим самого министра, внимательно отслеживающим ситуацию и в самом министерстве, и вокруг него. И тайный покровитель Юрлова, и первый зам министра были еще те интриганы... Юрлов, конечно же, немало был обязан высокому опекуну, но, перебравшись в столицу, вскоре дал понять: его дело – сторона и, мол, лучше всего придерживаться нейтралитета...

Будь они трижды неладны, все эти разборки! Столько крови испортили, столько сил поотнимали! Из-за этих самых разборок, больших и малых интриг и склок они и профукали великую страну. А может, и сознательно делали всё это, полагая, что каждый для себя может достичь чего-то большего, чем имел в той, неплохой в общем-то жизни. Какими всё же были они дураками!

Стыд и срам! Непривычно заломило в висках. Он прикрыл глаза, плотнее прижался к стене и не заметил, как задремал.

Очнулся от колкого, пристального взгляда соседа. Носатый одобрительно ухмыльнулся, подсел вплотную.

– Крепкие нервишки! А я разучился вот так отключаться. Да и вообще нормально спать.

– Что пристал к человеку! – резко подала голос неряшливая бабенка.

– Но тебя же никто не спрашивает!

– Совесть поимей, – вновь подала голос бабёнка, которую Юрлов успел хорошо рассмотреть. Была она в лёгкой, заметно засаленной на обшлагах болоньевой куртке. Короткие сапожки на высоких громоздких каблуках были сбиты, стёртые набойки лохматились. Эта неряшливость в одежде, неряшливые путаные космы, как искрой, выбили: лахудра. Именно: лахудра!

Бабенка же на свой лад расценила изучающий взгляд Юрлова и кокетливо улыбнулась.

– А ты меня действительно не признал? Или делаешь вид?

Юрлова резануло это неожиданное панибратское тыканье. Он хотел было поставить незнакомца на место, но передумал.

– Хотя чему удивляться! Однако моя внешность... Это самое, – он полусогнутым средним пальцем тронул шрам, – и тогда присутствовало... Припоминай! Мурманск, трёхэтажная общага на улице Полярных зорь. Ты – желторотый. Баб не нюхавший, пить не умеющий. Тебя тогда не на шутку занимало, как это так можно пить одеколон. И приходилось учить... К тому же, заметь, пил твой, халявный, которым ты после бритья обильно поливался, столь неразумно переводя добро.

Ну как мог я, сидевший третий месяц на биче, выдержать подобное? А в какой ужас ты пришёл, когда я, чтобы получше, покрепче забрало, решил оприходовать две пачки «Белого лебедя», на которые ссудили хорошие люди. А белый лебедь на пруду... «Белая лебедь»... Такая шикарная пудра в треугольной коробочке! Всего лишь одну пачку на полстакана тёплой кипяченой водицы, а каков дурман! А ежели две? Так уж точно: ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи! Допель – самое оно! Но на «Белого лебедя» я тебя не сумел уговорить. И вообще-то правильно поступил, что устоял. Я этой дрянью весь желудок сжёг. Нет у меня теперь его. Какой-то бычий пузырь подшили. С тем и живу.

Он тут же с детской непосредственностью большим пальцем ковырнул пуговицу рубашки и выставил напоказ сизый грубый рубец посреди живота.

– Вот она, плата! – Он как-то нехорошо, бесовски хохотнул.

Стоило лишь незнакомому мужику вспомнить парфюмерный ряд, как тотчас пришла отгадка. Да это же не кто иной, как Борис, первый его сосед по морфлотовскому общежитию, где кантовался Юрлов по приезду в Мурманск из Питера. Да, да, Борис, тот самый Борис, которому хотелось, чтобы звали его на иностранный манер Бобом.

Было тому и объяснение. Ходил Боря в моря, ходил подолгу, вдалеке от родных берегов.

– Да это же я, Боб! – он решительно протянул свою короткую жилистую руку, и Юрлов, невольно повинувшись, покорно поднялся с деревянной скамейки.

– Лет двадцать, поди, не виделась. Как ты двухкомнатную квартиру в доме на этом самом проспекте, вылетело из головы, как его там, получил. Однако новоселье зажал, хотя и клялся пригласить. Да мало ли мы кому чего обещаем. Суть не в этом! А в том, что Земля круглая. Не хотели, да встретились.

– Причем где! – вставила попутчица Бориса.

– Ты на неё внимания не обращай. Ей бы лишь язык почесать.

– Не меньше твоего, – парировала баба.

– Между прочим, я твой должник, – заметил Борис. – Ты мне, как из нашего общежития съехать, червонец ссудил. Это ж интересно – сколько, если на нынешние перевести? Тысяча, а может, больше? Но не думай, выйдем отсюда, поднесу куда скажешь!

– Тоже хренов богатей выискался! Интересно знать, откуда ты эту самую тыщу возьмёшь?

– От верблюда! – не счёл нужным объяснять он своей подруге. – Да ты не слушай. У неё точно без костей. Любого перебрешет. Может до самого утра без умолку балабонить, что твоё радио!

Он полуобернулся к своей попутчице. Та выразительно

покрутила указательным пальцем у правого виска.

– Крути ни крути, но что есть, то есть!

– Надоела, да? Пора разбежаться?

– И разбежимся!

– Интересно, где ещё такую дуру сыщешь?

– И не подумаю искать. Не нужен мне никто! Да и отстань ты от меня.

Ругаться для них, видимо, было делом привычным. Едва успев отпарировать Бобу, его спутница чуть ли не тут же впала в дрёму.

– Хрен знает что! – воскликнул Боб. – Так ли думал встретить старость!

Юрлов хотел возразить, мол, до старости тебе ещё далеко. Разница в годах у них, кажется, была не такая уж большая – лет семь-восемь. Но передумал.

– А ведь всё было как у нормальных людей. Но после той истории, да ты ее знаешь, всё наперекосяк пошло.

Юрлову, честно, весьма смутно помнилась эта история. Какая-то мимолётная любовь, какая-то женщина или даже совсем девчонка, которую Боб не хотел, но вынужден был оставить. То ли в Дании, то ли в Норвегии.

Когда-то эта история чуть ли не на шутку захватила его. Он даже, помнится, при случае охотно пересказывал её другим. Причём реакция была неоднозначной. Кто-то одобрял Боба, кто-то осуждал. А кое-кто совершенно искренне удивлялся его поступку, находя его весьма чудаческим. Были и такие, что просто пожимали плечами, не зная, что и сказать, а возможно, и зная, но не решаясь высказать свою точку зрения.

– Я тебе тогда подробно, во всех деталях рассказал, – с некой досадой заметил Боб. – А ты всё наседали: напиши да напиши! Всё равно, мол, делать нечего. На биче сидишь! Времени навалом! И для примера Джека Лондона, его «Мар-

тина Идена» подсовывал, чтобы, так сказать, зажечь, чтобы страх перед писаниной преодолеть. Да я бы и написал... Уж в этом нисколько не сомневайся! Но страх, понимаешь ли, не в тетрадке торчал, а вот тут, – Боб выразительно постучал кулаком в грудь, перейдя чуть ли не на крик...

– Чего шумим? – тотчас возник за решеткой сержант.

– Да не шумлю я, – возразил Боб, – просто темперамент такой. А ты, служивый, пожалуйста, не волнуйся!

– Смотри! – назидательно заметил сержант. – А то на прошлой неделе тут тоже двое таких темпераментных сошлись. Опоздай малость – катафалк пришлось бы заказывать!

– Однако и юмор у тебя, командир! – натуженно усмехнулся Борис.

– Какой есть! Однако я предупредил! – сержант удалился.

Боб молчал. Молчал и Юрлов. Лишь слышалось равномерное посапывание спутницы Боба.

Юрлов тем временем раздумывал над избирательностью памяти, её умением заталкивать всё ненужное на задворки. Вот этот Борис, этот Боб, чуть ли не напрочь забылся им, почти что выветрился из памяти, поскольку давно отпала необходимость пересказывать при случае ту давнишнюю любовную историю, приключившуюся с этим самым Бобом на чужом берегу; историю, воспринимаемую теперь чуть ли не как анахронизм, поскольку время на дворе иное, когда трудно объяснить нынешним молодым, что может помешать людям быть вместе, если они любят друг друга.

Сон вконец одолел спутницу Боба. Та всю спала с полуоткрытым ртом, изредка чуть ли не по-мужски всхрапывая. «Нет бы закрыть ей рот», – раздражённо подумывал Юрлов, помимо воли разглядывая редкие трухлявые пеньки основательно съеденных зубов. Боб перехватил взгляд Юрлова и устало махнул.

– Пусть лучше дрыхнет себе! Всё не будет мешать. Годы вообще мало кого красят! Иногда подумаю: ведь и та моя красавица уже не молода. А может, всё так же хороша и всю блистает-сверкает своими нарядами в этих своих трепанных фиордах... Что ни говори, женщины там за собой особо следят. Да и отношение к ним там совершенно иное... Да и не только к ним. Вообще к человеку! У нас на словах вся эта забота. А они делом доказывают. Э-эх! – он резко выдохнул, и поперечная складка резко обозначилась посреди крутого, высокого лба.

– Послушай Боб, я малость призабыл, – признался Юрлов, – что у тебя там такое приключилось?

– Влюбился, как самый последний дурак!

– Говоришь так, будто случилось это впервой!

– Представь себе!

– А с чего ты оказался в этой самой Норвегии? Рыбачили никак?

– Ну да! Я же тогда на СРТ – среднем рыболовном траулере – ходил. Рыбку всякую в северных морях лавливали. Селёдку там, треску... И, надо сказать, дело ладилось. Мы уже были близки к завершению плана, да случилась авария. У винта лопасть словно бритвой срезало.

– Сеть на винт намотало?

– Да нет, там иное было. Но я не по этой части. Если помнишь, я из палубной команды. Был матросом, был и боцманом. Относительно поломки на траулере потом ещё долго выясняли, что да как. Всё виноватых искали. Да так и не нашли. Одним словом, сломался винт... Ну а без него, сам понимаешь. Связались с нашими, объяснили, что и как. Те уточнили наши координаты, пообещали подослать ремонтное судно. Мы легли в дрейф, поскольку ничего другого не оставалось...

Ожидание, знаешь, не самая приятная штука. Время тя-

нется медленно. Особенно в море. Когда на ходу, куда бы ни шло! А так... Куда ни кинь – вода. Сплошная вода! Ждешь не дождешься краешек земли увидеть. И наплевать тебе, чужой ли, свой. И мудрёное ли дело среди всего этого безмерного массива воды эту самую морскую болезнь испытать? Она любого, даже самого матёрого морского волка, хоть раз в жизни да навестит и слегка подомнёт. Досталось тогда и мне...

Дрейф дрейфом, но каждый надеялся, что рано или поздно прибудем к берегу. И на третий день нашего дрейфа обозначился впереди довольно приличный клочок земли...

– Остров Кристиансунн, – заглянув в карту, сообщил штурман Белов. И не ошибся.

Хоть и порадовались, что наконец прибились к берегу, но и тревоги хватало. Не у себя же дома. Страна чужая. Опять же помполит Збаркин напомнил: Королевство Норвегия – член НАТО. И, следовательно, во избежание провокаций ухо держать востро.

После всяких необходимых формальностей, после переговоров нашего экипажа с местным начальством, чтобы как-то скрасить наш досуг, решили нас более подробно познакомиться с этим самым островом. Население там – лютеране. И так случилось, что мы оказались у них в день почитания одного из их праведников, кажись, Патрика.

В церковь, хотя на острове она и была, нас никто идти не неволил, зато мы от души помянули их святого прекрасным пивком в местной таверне... Да и не только пивом! Кое-что и покрепче выкатили! Рыбак, он всюду рыбак! Да и как на берегу, тем более в праздник, без этого?

Спутница Боба заворочалась на жесткой скамейке, полусонно почесалась спиной о стену, ненадолго приоткрыла заплывшие глаза и вновь уткнулась головой в грудь.

– Одним словом, недурно отметили мы знакомство с

этим самым Кристиансунном, многие так и не поняли, как до своих коек на судне добрались. А кое-кто так и в гостях заночевал.

Боб усмехнулся, усиленно потёр подбородок.

– Приглянулся я соседу своему по столу, такому дюжему клешеногому рыбаку по имени Карл. Он постоянно, чтобы я за этим самым дурманом имени его не забыл, то и дело постукивал себя в грудь: Карл, мол, я, Карл, понял? Чего ж тут было не понять? Яснее ясного: ты – Карл! Я – Боб! По этому поводу на брудершафт выпили. И он меня, ясное дело, в охапку и к себе домой. Я ему кричу, мол, мое место на судне, там я должен быть... А он, мол, по закону гостеприимства должен я уважить его. Ну не драться же с ним! Я кричу кэпу: как, мол, прикажешь? А кэп, хоть и принял изрядно на грудь, кричит: «Поступай как знаешь, но только помни, кто ты и откуда!» Да я и никогда не забывал об этом! И кэп это прекрасно знал. Не первый год ходили вместе! А кричал так не столько для меня, сколько для других.

Юрлов невольно усмехнулся, вспомнив этот излюбленный глагол «кричал» вместо более уместного и точного в подобном случае «сказал». Этот глагол, помнится, поначалу резал слух, но потом Юрлов привык к этому резкому, экспрессивному глаголу, который тем не менее весьма точно передавал задиристый, неуравновешенный, да, впрочем, и весьма сумасбродный характер Боба.

Пожалуй, чуть ли не с полгода Боб был его соседом по комнате в морском общежитии, не переставая вслух удивляться тому, что между ними полное взаимопонимание, не то что с другими. Да и было чему удивляться и самому Юрлову, ибо редкая неделя обходилась без какой-либо очередной выходки Боба, очередной истории, в которые он всякий раз умудрялся попадать по пьяни. Поутру же, на трезвую голову, непременно сурово осуждал себя. И пил-де не с теми,

и зря перечил тому, кто от души угощал, а он, этакий свинтус, испортил всю обедню...

– Так вот! – сказал Боб после продолжительной паузы, видимо, выстраивая события той давней поры. – Так вот, у этого Карла были жена Элиза и дочь Марта. Я как только увидел её, так и потерял дар речи. Глаза голубые, ясные. Как заглянул в них, так и понял: погиб. Бесповоротно! Большеей красавицы в жизни не встречал! Носик точёный, волосы белые, пышные. И как она умудрилась задержаться в этом самом Кристиансунне, как это не выскочила замуж? Хотя, как оказалось потом, ей за неделю до нашего знакомства исполнилось всего восемнадцать... Я же к тридцатнику подбирался. (Почти такая же разница, как у него с Неллей, отметил Юрлов, вновь досадуя на себя за случившееся.)

Боб усмехнулся.

– Когда мы начали с грехом пополам объясняться, путая немецкий с английским, а в основном с помощью пальцев, то мне и неловко было сознаться в своём возрасте.

Тем паче что я успел уже к своим тридцати кое-что повидать. Баб не скажу чтобы великое множество, но всё же!.. Когда ты молод и к тому же холост, когда по полгода болтаешься в море, то понятно желание за месяц-полтора, что проведёшь на берегу, сполна компенсировать то, что недополучил. Се ля ви!

Юрлову показалось, что спутница Боба успела очнуться, однако не подаёт вида, но это, как понял он, для Боба, пустившегося в романтическое воспоминание, не имело никакого значения. Но, возможно, его спутница и в курсе давнишней любовной истории. Притворялась же спящей приличия ради.

– Марта сразила меня наповал. Но, честно признаться, не думал, что вызову взаимный интерес. Я никогда не обольщался относительно своей внешности. Не то чтобы черти на

моей роже горох молотили, но всё же оставляла желать лучшего. И дело не только в этом рубце.

Но их же, баб, не разберешь! Иногда мужичонка такой невзрачный, смотреть не на что, а за него самая что ни есть первостатейная красавица цепко держится, чуть ли не в рот заглядывает! Так что, считай, выпал мне в жизни счастливый билетик. Самая красивая из всех, кого когда-либо встречал, и вдруг и словами, и взглядами кричит: «Боб, ты мне нравишься! Боб, ты ни на кого не похож! Боб, ты не такой, как все!» Я и сам поверил в это. И понял, что жизни мне не будет, если пройду мимо подарка судьбы...

А жизнь между тем шла своим чередом. Все были заняты своими делами. Элиза, жена Карла, хлопотала на кухне, постоянно что-то паря-жаря. Как-никак два мужика в доме. К тому же один гость. Да не откуда-нибудь, из России. Надо сказать, с большим уважением относились они тогда к нам, помнили, что именно мы турнули немцев с их земли. И всякий раз, когда садились за стол, Карл поднимал свою кружку и с чувством кричал: «За русского солдата! За нашу Норвегию... Дай Бог, чтобы память не изменила им, как некоторым нашим братушкам... Эх, стыдоба!»

Может, и в Норвегии сейчас по-другому на нас смотрят. Но ведь они и тогда были приписаны к НАТО... Но всё же помнили люди, кто кровь свою за них проливал...

Дружная, работающая семья была. Элиза – на кухне! Марта – на местном телефонном узле. А мы с Карлом – у сетей. Просторный сарай, и весь от пола до потолка завешан рыбацкими сетями... Стыдно было сидеть сложа руки, когда другие заняты работой. И я охотно помогал ему в этой починке, хотя, честно, никогда этим прежде не занимался.

Карл поначалу настороженно смотрел на то, как я крючком в этих самых ячейках ковыряюсь, но потом одобритель-

но стал кивать, мол, нормально, Боб! Даже хорошо. Так что мы с ним не одну сеть в надлежащий вид привели.

Радист же наш тем временем продолжал держать связь с берегом. Мы уже знали: всё необходимое для ремонта траулера нашлось, более того, погружено на ремонтное судно, дело лишь за погодой. А она разгулялась, должен сказать, не на шутку. Домик Карла стоял на самом берегу. И грохотало так, что разговаривать нормальным голосом было невозможно. Да и чего без толку кричать! Опять же, когда Марта со своей телефонной станции прибежала домой, никаких слов не требовалось. Всё, что необходимо было сказать, глаза откровенно говорили. Причём Марта нисколько не стеснялась своих родителей, которым наши отношения, кажется, пришлось по душе.

И я уже не на шутку стал подумывать о том, что мне, возможно, придётся породниться с ними и, чем черт не шутит, войти в этот дом на правах зятя. Хотя прекрасно понимал всю абсурдность этих мыслей, но всё же не мог избавиться от них.

Это сейчас всё просто: бери в жёны хоть негритянку с каких-нибудь затерянных в океане островов и носись за ней хоть нагишом под этими самыми пальмами... А тогда? Да что об этом... До траулера меньше полмили, тем не менее дважды в день, утром и вечером, перед нашим кэпом возникал доложить, что жив-здоров, и попросить ещё немного погостевать у добрых людей. Но видел, не нравится всё это кэпу. Очень даже не нравится! Видел, как желваки у него ходят, с таким трудом сдерживает себя. И догадывался: для меня эта загранка, хотя ничего такого недозволенного не сотворил, может стать последней...

Крепко, однако, задела меня Марта. Настолько крепко... Считай, по-настоящему первая любовь. Поздновато, конечно. Да раньше как-то не получалось. Семь классов кончил, прямиком в ремеслуху, после нее год с небольшим на нашем

Красном Сормове, что под славным городом Горьким, который вновь Нижним нарекли, повкалывал, а там и на флот призвали. А после дембеля в этот самый тралфлот ребята сманили.

Работа, конечно, не из лёгких, но зато и копеечка стоящая, и те, кто разумно с той копеечкой обходился, хорошенько укрепились, жирком обросли. Многие из нашего брата уже тогда на собственные колеса стали. Я, правда, по причине тесной дружбы с зелёным змием предпочитал пользоваться такси. Даже тогда, когда до того или иного злачного местечка можно было свободно на своих двоих добраться. Такая уж дурацкая натура!

Но, встретив Марту, я на многое в жизни по-иному взглянул. И дошло до меня, что невозможно дальше так жить. Ну никак невозможно! И так стыдно за многое стало. Особенно за то, что я, скотина безмозглая, не только матери ни разу копеечки не послал, даже лишнего письмишка не отписал, вообще редко вспоминал о ней. Будто и не было её в природе, будто сам по себе на свет белый появился... А ведь она жилы последние тянула, воспитывая нас троих без отца. И, как ни странно, я об этом самом незнакомом мне человеке, приходившемся мне отцом, гораздо чаще думал, нежели о ней!

А всё – Марта! А может, и время пришло на себя со стороны взглянуть. Кто ты есть? Не зря ли небо коптишь? Однако не сегодня-завтра должно было подвалить ремонтное судно, и надлежало отчалить восвояси. И чертовски не хотелось этого!

Понимал: вряд ли когда больше переступлю порог этого дома. А если и переступлю, то всё тут будет по-иному. Станут другими и Карл с Элизой, но прежде всего Марта, которая, ясное дело, выйдет замуж за кого-либо из местных парней, нарожает ему кучу детишек и начисто забудет, что был у неё незатейливый роман с неким мореманом из России...

Мысль о расставании не давала покоя и Марте. По всему было видно, что и она страдает и не знает, бедняжка, как ей поступить, как быть со всем разом свалившимся на неё? По вечерам мы нередко оставались наедине. Карл с Элизой ложились спать рано. А мы подолгу сидели в той небольшой комнатке, что определил мне Карл: просторный диван, кресло, столик и на нём массивный под красное дерево приёмник. Сидели, слушали. Джаз в основном. Нравился обоим. Я обычно на диване, Марта напротив, в старинном кожаном кресле, закинув голову, слегка прикрыв глаза. А там такие вещи отливали, а саксофон так вообще сводил с ума, убеждая, что жизнь – сон, сладкий краткий сон, не более...

Марта была рядом, на расстоянии вытянутой руки, и больших трудов стоило совладать с собой. Не раз приходили греховные мысли... Но всякий раз решительно пресекал их – ведь гость я. Гость в доме хороших людей... И не должен дать ни малейшего повода усомниться в своей порядочности.

В тот вечер мы, как всегда, сидели у приёмника. Марта – в кресле, облокотившись одной рукой о подлокотник. Я не мог оторвать взгляд от её красивой руки. Трудно было удержаться, чтобы не дотронуться до неё. И, пробормотав сотню извинений, я кинулся к её ногам... Ожидал всего и готов был понести любое наказание. А она обвила мою шею и принялась осыпать поцелуями. В щеки, в затылок мой топорный, крича самые ласковые, самые нежные слова, какие когда-либо слышал. И то лишь от матери, в самом раннем детстве...

«Боб, милый... Неужели уедешь? Но зачем? Сделай что-нибудь, чтобы нам не расставаться!..» Но что мог сделать я? Взять и свалить с траулера? Но это значило задать серьёзную задачку многим из наших. И не только на траулере или там в тралфлоте. Да что об этом! Сам прекрасно понимаешь...

Хотя всякие блажные мысли посещали. Ну хотя бы сослаться на резкие боли в том же правом боку, где прячется этот проклятый аппендикс. Тем паче месяца три назад, когда мы прохлаждались в Мурманске, он начал потихоньку подалбливать, и хирург в нашей поликлинике стал разоряться: шутки, мол, шутишь, парень, со своим аппендиксом, а ежели в море прихватит? Да ещё во время шторма, когда никто подойти не сможет, тогда, считай, кранты! Так запугал, что я согласился тут же к больничке подгрести, но на самом пороге боль отпустила, так что я задний ход дал...

Этот самый подлый аппендикс мог запросто напомнить о себе и на чужом берегу. К тому же, как нам подвалить к Кристиансунну, у меня чуть ли не полдня поднывал и крепко потягивал правый бок. Но, как сойти на берег, прошло...

У ног Марты в тот вечер я голову начисто потерял. И не думал, и не помышлял о том, что случилось между нами, как не думала о том и Марта. А произошло то, что и происходит между двоими, когда они поверили друг другу... Помню лишь, как торопливо схватила она простынь с дивана и стыдливо запрятала за пазуху... И не игра то была. Какая уж тут игра, когда решилась на такое? И стало ясно мне, что теперь всё не так будет просто. И с Мартой, и с её родителями, да в общем и со мной. Мужик непременно должен отвечать за свои поступки.

Марта ждала от меня поступка, достойного мужского поступка. А меня мандраж охватил, и я ничего другого умнее не придумал, как тихонько слинять из дома Марты на наш траулер и, забившись в каюте, молить всех богов поскорее отчалить от этого Кристиансунна. Забыть всё и всех. И, как ни странно, был услышан.

Ремонтник благополучно подвалил к нашему траулеру, и починились мы раньше намеченного. Команда наша

тотчас собралась на борту. Норвежцы, несмотря на свою внешнюю суровость, народ всё же эмоциональный. Те из рыбаков, что вышли на пирс нас проводить, ясное дело, кулаками глаза не тёрли, но было видно по глазам – жалеют о нашем уходе.

Карла с Элизой я на берегу не заметил, не было на пирсе и Марты. Наши все сбились на палубе, руками норвежцам машут, а я скатился в кубрик и, как дурак, головой о стойку бьюсь... Потом выскочил на палубу и, как шальной, от носа на корму стал кидаться. Как в горячке, как в бреду каком-то. Ребята потом рассказывали, что будто бы я, как скаженный, вопил, кричал что-то непонятное, даже кинулся за борт, да успели вовремя за штанину схватить...

«Чему удивляться, – пояснял потом в больнице дружба-нам моим доктор, – столько пить». Да разве в выпивке дело? Вовсе не в ней... А в том, что я дурак, самый настоящий дурак! – Боб невесело усмехнулся. – По сей день клянусь себя... Да что об этом! Сложилось, как сложилось. Как нас тогда воспитывали? Чему учили? Прежде думай о Родине... Так ведь? Не как сейчас! Где хорошо, там и Родина. И опять же прежде я, а потом уж эта самая Родина. А тот, кто похитрее, и тогда уже всё для себя решил, местами эти понятия за просто переставил и жил и живёт в своё удовольствие. Где выгоднее, комфортней. А то и сразу постоянное гражданство в двух странах. Живут, сорят нашими кровными... Эти их мать!

В коридоре вновь послышались шаги. У решётки «обезьянника» опять замаячил сержант.

– Чего расшумелся? Что за митинг?

Сержант сунул руку в карман. Юрлова охватило недоброе предчувствие. Он вновь ощутил на шее нехороший холодок. Не так ему мечталось провести нынешний вечер. Совершенно не так!

Юрлов немало слышал и читал о беззакониях, нередко имевших место в органах. Теперь, видимо, придётся испытать это на собственной шкуре.

Сержант неспешно вытащил руку из кармана, встряхнул связкой ключей, определяя нужный, вставил его в замочный проём, распахнул дверцу и, придерживая её левой рукой, обвёл цепким взглядом каждого.

– Ну что, господа, притомились? На волю, поди, захотелось?

– Ещё бы! – встрепенулась первой спутница Боба, недобро взглянув на своего приятеля. – Хоть бы малость отдохнуть от разных брехунов.

Боб сердито кашлянул в кулак, видимо, оставив последнее слово на потом.

– А у меня для вас новость! – сержант как-то странно ухмыльнулся, ещё больше интригуя, так что трудно было понять, что это за новость – хорошая или плохая.

Сержант выдержал долгую паузу и нехотя обронил:

– Вы, как это ни жаль, свободны.

– Все? – осведомился Юрлов.

Сержант не счёл нужным уточнять.

Первой из «обезьянника» выскользнула спутница Боба, затем в некоем раздумье Боб. А за ним и Юрлов, веря и не веря случившемуся, лишь догадываясь, что проступок его был не таким уж значительным, если всё решилось вот так просто, без каких-либо последствий. Но ведь всему должно быть объяснение? Видимо, произошло нечто из ряда вон выходящее. Возможно, наши вновь одержали неожиданную победу на мировом уровне. Хотя, кажись, все мыслимое на ближайšie годы и в хоккее, и в футболе взяли. Да разве за всем творящимся в мире уследишь! А радостная весточка любое, даже каменное сердце тронет. Над ними взяли и смилоствились. Решили: достаточно и того, что на первый случай проучили.

Выходит, и не такое уж зверьё в этих самых органах! Юрлов вновь ощутил, как грудь обволакивает знакомое щемящее чувство любви ко всем, даже к этому в мятом пиджачке лейтенанту, который совсем недавно обшаривал его, а сейчас вернул назад всё, даже мобильник, за который он более всего переживал, заставив расписаться за изъятые и возвращенные вещи.

Однако по всему чувствовалось, что сержант и лейтенант отпускают их без особой охоты. Да лейтенант и не скрывал этого, слегка барабанил пальцами по краю стола.

– Скажите спасибо начальнику нашему, майору Стрюкову... Первенец у него родился. По этому случаю он всех задержанных за мелкие проступки решил освободить. Под собственную ответственность. Так что валяйте отсюда, пока майор не передумал.

Юрлов невольно хмыкнул, потирая правой ладонью слегка занемевшую шею, прикидывая, как объяснить жене свою невольную задержку, хотя получилась она и не столь уж долгой. Сослаться на столь неожиданную встречу с давним знакомцем, опустив лишь место, где случилась она. Или вообще умолчать. Просто решил не спеша прогуляться по полуночной столице, подышать свежим воздухом...

Боб тем временем терпеливо ожидал его на выходе. Там, в «обезьяннике», слушая повествование своего давнишнего соседа по мурманскому общежитию, Юрлов нет-нет да и подумывал о том, как надлежит более деликатно, когда их выпустят отсюда, проститься с Бобом, дабы ненароком не обидеть того, не дать понять тому всей разницы в их нынешнем положении...

Нет-нет, Юрлов никогда никого не делил на людей первого и второго сорта, но тем не менее нетрудно было догадаться, что Боб если не бомжует, то близок к этому, о чём наглядно свидетельствует и его внешний вид. Та слабо уга-

дываемая грань между неряшливо, скудно одетым до начинающего проседать в явную нищету... Может, подбросить бедолаге малость деньжонок, какую-нибудь сотню-другую? Или же помочь с работой? Но какой? Что может и умеет этот Боб?

– Ну ладно, не поминай лихом! – опередил его Боб. – Да и оставь номерок телефончика, чтобы вернуть тот самый должок!

– Да брось ты! – невольно отмахнулся Юрлов. – Я, наоборот, хотел тебе ещё малость ссудить...

– Это совершенно лишнее, – неуверенно обронил Боб, поспешно оглядываясь по сторонам. Однако никого поблизости не было. Спутница Боба, надо полагать, оставила его.

– А номерок ты свой всё же черкни, – напомнил Боб. – Без надобности беспокоить не стану, но долг..

– Какой там долг! – не на шутку рассердился Юрлов.

– Как знаешь! – бросил глуховато Боб, по-своему расценив нежелание Юрлова оставить номер телефона. – Ну, я двинул!

Юрлов молчаливо кивнул, чуть ли не тотчас пожалев. Хотя о чём? Друзьями никогда не были, да и быть не могли! Не было у них и ничего такого, что бы могло серьёзно связать их. Да и мало ли людей встречает каждый в своей жизни. И что из того?

И всё же странное чувство сожаления не отпускало его. Он сожалел. Но о чём? О чужой незадачливой судьбе? О том, что она могла бы сложиться совершенно иначе и тогда, возможно, одним несчастным стало бы меньше... А впрочем, какое ему дело до этого самого Боба? На кой шут он ему... У него другое должно быть сейчас на уме. Ему сейчас важнее всего поскорее добраться до дому. Как ни странно, за то время, что он отсутствовал, жена ни разу не позвонила ему. Быть может, не хотела зря беспокоить? А возможно, и оби-

делась на него, на существующие в их фирме порядки – проводить корпоративные вечеринки без домашних?

Да, да, надо поскорее добраться до дому. Увидеть вновь свою любимую, которую так долго искал...

Юрлов бросил торопливый взгляд на странное заведение, в котором прежде никогда доводиться не приходилось и в котором больше никогда не хотел бы оказаться, торопливо заспешил в сторону неожиданно и радостно угаданной станции метро, её широко распахнутого зева, пахнувшего знакомыми, слитыми чуть ли не воедино запахами человеческого тела и разогретого металла.

ИГОРЬ **ЛОБОДИН**

Дни листопада

Подснежники

Перепёлка во ржи



Дни листопада

(рассказ)

I

Последние дни листопада были началом наших скитаний по дорогам войны. В ту осень бабушка все реже вспоминала заповеди Священного писания. Что знал я о значении той первой увиденной книги? Не более, чем подсказывало мое детское воображение: ее листы, закапанные воском, были обыкновенной бумагой, из которой можно было делать множество забавных вещиц. Правда, я уже знал, что книги существуют для чтения, но читать еще не умел, а из листов, вырванных тайком, с увлечением вырезал бабушкиными ножницами фигурки солдат, танки и лошадей, которые удавались мне больше. Между дел бабушка иногда смотрела на мою забаву и просила об одном: не потерять ножницы. Это было как похвала. Я молча с особым старанием налегал на непослушные ножницы с тугой заклепкой, с обломанной стрелкой и просторными кольцами, которые больно давили на мои маленькие, вечно исцарапанные пальцы.

И о самой войне я мало что знал в ту осень. С известием о ней связаны лишь кое-какие картины, да и они смутны и большей частью, верно, не имеют отношения к тем дням. Помню дальнейшее – проводы на фронт. Это было два года спустя. Наш дом опустел в одно лето: вслед за отцом и тремя его братьями – Иваном, Денисом, Дми-

трием – из Росстани, нашей деревни, ушли на призывной пункт мать и тетя Маруся – они перед самой войной окончили курсы медсестер. В пустых комнатах нашего дома, ставших вдруг просторными и неудобными, надолго установилась тишина.

Так остался я с дедушкой и бабушкой. Остальных родных, чьи голоса, шаги мне долго чудились, мы проводили по одному за Росстань, до одинокой дикой груши на развилке двух дорог: одна узкая, в пепельных свечках подорожника, – Родительская дорожка, – вела на погост; другая, столбовой большак, – в город, в безвестное пространство. По Родительской дорожке проносили мертвых, по большаку вдоль телеграфных проволок, униженных щебетавшими ласточками, живые уходили на войну.

Третьей дороги из Росстани в ту пору не было.

Далекая война, на которую ушло полдеревни, неожиданно стала близкой. Наши, отступая, прошли мимо на восток. Ясным утром глубокой осени, с первым инеем на зелёной траве, в деревню въехали немцы. В то утро бабушка взяла меня с собой за ручей рубить капусту. Когда послышался шум моторов и по бревенчатому мосту прогрехотал первый грузовик с рядами солдатских касок, я с испугом заметил, как бабушка, охнув, выронила из рук заиндевелый кочан; дедушка, глядя на колонну автомашин, побледнел, что было приметой гнева, и до белизны суставов сжал в кулаке черенок топора, отполированный, как кость.

Грузовики вскоре укатили своей дорогой. В деревне осталось полсотни солдат. Их полевая кухня с утра до вечера дымила перед нашими окнами. Ели немцы шумно, со смехом швыряя кости на обвислые, пришибленные морозом лопухи. Глядя на них, мне всегда хотелось есть. Но бабушка, грозя самой суровой карой – вот пропишу, мол, отцу с матерью, как бабку казнишь, – заказала даже близко подходить к нем-

цам. Сама же, как родных, привечала побирушек, странниц, калек: «Прозящему дай, а от хотящего знать не отворачивайся...»

Однажды зимой в окно нашего дома кто-то робко постучал. Вслед за скрипом снега под чьими-то ногами в сенцах раздались волнующие, как плач журавлей, звуки шарманки. В морозном пару, хлынувшем в распахнутую дверь, под отрывистые, в два тона, звуки зазвенел женский голос, вместе с песней в дом, казалось, ступила сама скорбь в облике двух человеческих существ, похожих на привидения. Когда пар рассеялся, привидения оказались страшным стариком с чуть откинутой назад, как у всех слепых, головой, и посиневшей от холода девочкой в саване заиндевевших лохмотьев, которая со скорбью повидавшей жизнь женщины пела о «сырой матери-земле» и своей сиротской доле. Сквозь ее лохмотья проступало голое тело.

Сухой блеск голодных глаз девочки, пепельные, как у мертвой, губы, ее пение – и вечная иллюзия счастья, связанная у людей с детством!.. Как потом преобразилась она, похорошела в тепле неведомого ей дома, за чужим столом, у которого, роняя от поспешности ложки, хлопотала бабушка. Кто эта девочка и откуда она, я не знал, как не мог знать, что через неделю от тифа умрет слепой старик и сиротка останется в нашем доме.

После еды девочка, её звали Танькой, тотчас заснула, склонившись на стол, не выпуская мокрую деревянную ложку, зажатую в худом кулачке, на котором проступала каждая косточка. Сдерживая слезы, бабушка будто невесомую взяла ее на руки и, неся на теплую печку, поцеловала в светлую завитушку волос на лбу. Это я заметил с острой болью ревности, с осязаемым теплом бабушкиных губ, ее дыхания и уже с мучительным безразличием отвернулся к окну, зачем-то соскабливая ногтем морозные узоры на стекле, слушая, од-

нако, как слепой странник, тоже вызывавший мою ревность, говорил бабушке то, что она знала давно:

– Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. – И, крестясь, сообщал ей со странническим откровением, как тайну: – Но это еще не конец...

Та ревность была зарницей любви к бабушке, существу бесценному, единственному, теперь – уже навек исчезнувшему из мира.

Что случилось с ней под крестом в конце Родительской дорожки, на кладбище безвестном, старом, где в сравнении с вечностью мгновенно один за другим рассеялись ночные фосфоресцирующие миражи над могилами тех, кто из глубины веков вел наш род, и где, быть может, в безвестный миг истает и мой мираж?..

II

Серые с туманами дни листопада были началом и новых испытаний: прежняя жизнь наша кончилась, начиналась иная, страшная, без крыши над головой.

Росстань мы покидали рано утром. Таков был приказ немцев накануне. По словам дедушки, они выселяли нас, мирных жителей, потому что с востока надвигался фронт и деревня попадала в зону военных действий.

Готовый в дорогу, я бесцельно обошел гулкий опустевший дом с распахнутыми настезь дверями, опрокинутыми в суматохе стульями, голыми стенами, на которых еще вчера висели фотокарточки в ореховых рамках, тусклое зеркало, икона под рушниками в святом углу, украшенном соломенными жаворонками с веерными из бумажного крепа крыльями. Этот угол, сиявший по утрам лампадой, теплой позолотой витого оклада иконы, теперь был сумрачный, пустой. В одном из окон пузырилась занавеска; она то падала, прилипала

к выбитой щибке, то поднималась, открывала подоконник. На ней в пустой бутылке отчаянно жужжала муха, лежали забытые ножницы и Танькина тряпичная матрешка с яблочно-круглой головой и полуоторванной, на живой нитке ногой. В разбитое окно тянуло сырым холодом, едва заметным паром тумана. Вместе с теплом из дома, казалось, ушли его прежние запахи. В пустых комнатах уже поселился и сквозил землисто-тяжелый запах покинутого жилья.

Снаружи доносился шум приготовлений к отъезду. Я прислушался и, вопреки приказанию бабушки ожидать ее в доме, несмело вышел на крыльцо.

Посреди двора темнел перетянутый веревками большой воз с впряженным в него чубарым, в белых пятнах меринном, который, задирая голову, грыз крепкий, как сахар, осколок бурака. Дедушка, по-зимнему одетый в полушубок, стёганные штаны, сапоги и лохматую баранью шапку, упирая ногой в клешню хомута, сильным движением рук поспешно затягивал супонь. Бабушка, тоже толсто повязанная теплой клетчатой шалью, заметив меня, торопливо перекрестила, подхватила под мышки и усадила на возу рядом с Танькой на шубу, припорошенную желтым березовым листом.

– Пора, что ли? – крикнул дедушка, обходя воз и глядя себе под ноги.

По голосу я догадался, что дедушка не в духе, что ехать давно пора, но что-то задерживало, и виной был сам дедушка: в спешке он потерял кнут – он всегда что-нибудь терял – и не мог его найти.

– погоди, залотошил, – отозвалась бабушка и, оглядев поклажу, быстрым шагом зашуршала листвою, направляясь к облетевшей березе. Под ней в поводу стояла наша корова Динка: рыже-пегая, с курчавой завитушкой на лбу. На спине в глубоких впадинах меж худыми кострецами – на них хоть сумки вешай – желтели листья. Отвязывая корову и

все поглядывая на воз со стороны, бабушка вдруг всплеснула руками:

– Старик, икону-то забыли!.. Ах ты, Господи, Господи!

– Кнут пропал, а она про Богородицу...

– Ему говорю кошенное, а он стриженное, – засуетилась бабушка, растерянно оглядываясь по сторонам: – Вот он, кнут, тетеря!

Она указала на кнут, по-утиному пробегая через двор. Бабушка всегда находила чужие пропажи: то дедушкину свайку, то сапожный молоток, то мою часто пропадавшую шапку. Принимая находку, дедушка, бывало, клонил голову, пряча виноватую улыбку. Теперь он лишь покашлял, разбирая спутанные вожжи.

Бабушка вынесла икону, причитая на ходу:

– Грех-то какой! На край света без Богородицы... Храни нас, святая дева Мария, упаси, владыко, от зверя лютого и человека недоброго...

Возок тронулся, съехал со двора. Внутри поклажи толкнулись порожние чугуны. Ржаная былинка принялась считать спицы в заднем колесе.

– Куда мы? – спросила Танька, озираясь на выгон, откуда доносились крики, рев скота и разноголосый плач.

Я промолчал, ёжась от холода.

– Скажи, куда?.. – всхлипнула Танька, готовясь заплакать.

– На кудыкину гору, – ответил я.

Бабушка отучила меня спрашивать, куда она иногда уходила. Это не сулило удачи. Но Танька не отступилась, глядя на меня широко раскрытыми глазами с мокрыми ресницами.

– Туда... – махнул я рукой.

– А где это?

– За горой.

– А гора где?

– Черви поточили.

– А черви где?

– Гуси поклевали.

– Не-ет! – крикнула Танька, сморгнув слезинку.

– Уже не поладили? – нахмурилась бабушка, шедшая вслед за возом. – Обоим руки свяжу, нехристи!..

Бабушка все собиралась крестить нас в церкви, да попа на войну забрали, и мы остались с Танькой некрещенные.

– Держи яблоко да не урони.

Бабушка подала мне большое краснобокое яблоко. «В рукаве согрела», – догадался я и по привычке встряхнул яблоко над ухом.

– Зернышки звенят, спелое! – шепнул Таньке.

Гостинцы бабушка всегда объявляла неожиданно, держа в тайне прятаные-перепрятанные свои клады. Там были орехи, семечки, сахар, леденцы. Да мало чего в них не было! Однажды в моих руках очутился целый пудовик орехов. Ударить кулаком – звенят! Орешки один к одному, ядреные. В тот раз я отгреб немало: себе и Таньке. Орехи мы пощелкали в лопухах. Бабушка и скорлупок не нашла; после неделю скулья болели. Вскоре я опять заглянул в чулан, но орехов уже не было. Бабушка догадалась перепрятать в надежное место. «Нужно было! – думал я. – Одно – немцам достались. А орехи через семь лет родят, да тут еще война. Может, орехам повредит, кругом стреляют... Скорей бы кончилась!..»

– Не урони яблок-то, – повторила бабушка, обходя моток колючей проволоки.

«Не уроню! – отвечал ей про себя. – Если б сахару кусочек, было бы совсем хорошо».

Но сахар, знал я, был в сундуке, на самом доньшке. Далеко доставать, верно б, не пожалела. «Да и что его жалеть, сахар? – думал я. – Вырасту большой, и тебя, и дедушку одним сахаром кормить буду... Хоть с чаем пейте, хоть так, без

чаю, – трескайте на здоровье!» Я побил яблоко по заплате на коленке – чтоб соку было больше – и прокусил мягкую кожуру.

– Сладко? – спросила Танька и сглотнула слюну.

– Лазовка, есть можно.

Я положил на яблоко указательный палец, ударил кулаком. Сок брызнул Таньке в глаз, но она не заплакала. Лишь прищурила его, а другим поглядывала, какую половинку ей дам.

Я протянул ей пол-яблока с черенком. Потом обтер о штанину ладонь с прилипшими яблочными семечками. Танька стала бережно жевать яблоко и уже не спрашивала, куда и зачем мы уезжали из деревни.

III

В каждом событии тех дней все было ново, как открытие вещей, о существовании которых я даже не подозревал. И не случайно даже теперь самые простые предметы порой влекут за собой многое другое, что связано с открытием их в детстве. Ведь вызывает же во мне один вид черного винограда картину глубокой осени, полевою дорогу под серым небом среди зеленей, посыпанных снежной крупой, – ту самую, какую видел я, открыв существование винограда. А как связан приход настоящей весны, вид первых сыроватых дорожек с запахом сапожного крема! И не в этой ли новизне тайна, какую мы зовем любовью к жизни, миру? Как сера была бы моя жизнь, привелась ей повториться сначала, – та жизнь, в которой уже не существовало бы тайны даже обыкновенного сапожного крема!

В то утро, когда мы уезжали из Росстани, все куда-то двигалось, ехало, бежало, и в этом беспорядочном устремлении множества людей, лошадей, впряженных в телеги, катимых вручную тачек, ревущих на бегу коров было еще

какое-то внутреннее движение. То внутреннее движение сообщало происходившему еще большую сумятицу, неразбериху, переполох. Немецкие солдаты – пешие, конные и на мотоциклах – сновали меж ехавших подвод, стараясь прикладами как-то упорядочить это движение, на ходу выстроить сотню подвод в один управляемый ими обоз. Но этому противилось все, начиная от ездовых на каждой телеге, которые не знали толком, куда и зачем едут, – а ехали лишь потому, что ехали остальные, – и кончая чьей-то обезумевшей от страха козой, которая в отчаянии металась между подводами и которую за нашим возком уложил немец выстрелом из пистолета.

Тихо плакавшая Танька вдруг вскрикнула, закрыла лицо руками. От неожиданности я вздрогнул, не заметив, как трое немецких солдат схватили рослого старика с непокрытой, в сивых космах головой. Заломив ему руки, толкая в спину прикладами автоматов, они повели его к подводе, мимо которой мы проезжали. В старике я узнал деда Калашнина, самого загадочного человека в Росстане. Говорили, он колдун, и, как о каждом колдуне, о нем ходили разные слухи: он предсказывал неурожаи, войны, судьбы людей, заговаривал раны, лечил кликуш от «черной болезни», был у него серебряный крест в бутылке, и за полночь вылетал он сам из трубы на метле. Порой к нему в Росстань заходили странницы даже из Тихоновой пустыни, куда и бабушка ходила на богомолье. Как-то ранней весной мне даже посчастливилось указать хату Калашнина двум странницам с пучками распускавшейся вербы в руках. Обе в один голос проговорили, протягивая мне по прутику вербы: «Спасибо, ангел».

Немцы скрутили руки Калашнину и привязали его веревкой к телеге, за которой он шел, спотыкаясь. Как потом мне сказала бабушка, вся вина его была в том, что он не хо-

тел уезжать из Росстани. Потеряв из виду старика, я стал глядеть по сторонам, но в тесноте невозможно было ничего увидеть, кроме часто обгонявших нас подвод, лошадиных храпов с падавшей на дорогу пеной да дырявых мешков. Из них струйками бежало жито, сеялась мука, оставляя за собой тонкий след.

– Прохорыч! Аи знаешь, куда теперь? – окликнула дедушку соседка, бабка Калина, поравнявшись с нашим возом.

– Говорят, в лес до Подсечена дуба, – отозвался дедушка.

– А там – куда глаза глядят...

– Не гони, не гони! – покрикивала Калина на своего старика Петрушку, ехавшего на телеге вслед за нами. – Ивановна, от детей что слышно? – спросила она бабушку, на ходу поправляя упавшую на плечи шаль.

– Старший в госпитале, контужен... Внуча, все забываю, где отец с матерью? – спросила бабушка, взглянув на меня.

– Кинешма, – ответил я, радуясь, что пригодился бабушке.

– От Ивана ни слуху ни духу...

Об остальных – Денисе и Дмитриии – Калина не спрашивала: они погибли в первый год войны под Вязьмой.

За мостом через ручей подводы наконец вытянулись в длинный обоз, который сопровождали солдаты в плащ-палатках.

IV

За деревней начался мелкий осенний дождь. Бабушка укрыла нас брезентовой накидкой. Спорый дождь все сыпал, сыпал, точно над брезентом сквозь сито сеяли мак. Временами потрескивали сурожьи капли покрупнее – верно, из другого сита, потом опять мелкие и покрупнее чуть – пшено.

Под накидкой было уютно и темно. Одно худо – ногам холодно. Обутка наша квёлая, чуники. Бабушка сама связала из суровья. «Не беда, – думал я, шевеля пальцами. – Пора

б нам и хлеба дать. Скорей бы бабушка догадалась. Холодно как...» Я стал размышлять, что сахару, верно, не будет. Хлеб да соль – и все. Танька без сладкого жить не может, все сахару канючит. Хорошо, что спит. Во сне сахару не хочется. Правда, иногда я просыпался оттого, что хотелось есть. Да разве ночью кого добудишься!

Танька спала, свернувшись под шубой калачиком. Возок шел на подъем. Время от времени дедушка натуженным голосом понукал лошадь, помогал ей. Тяжело и часто переступая ногами, она наконец осилила гору.

Я отодвинул накидку. Динка, шедшая вслед за возом, устало носила мокрыми потемневшими боками, тяжело дышала густым паром. Вдали за пеленой дождя стогами проглядывали крайние строения нашей деревни. Я искал глазами свой дом, но не нашел и опустил брезент.

– Сто-ой! Стой, Прохорыч! – полоснул вдруг чей-то тревожный крик.

Со стороны деревни слышались частые хлопки выстрелов.

– Горим, батюшки светы! Стой!..

– Останови, горим!..

– Пожар, горим! – прорывались в суматохе разноголосые крики.

Откинув брезент, я не сразу сообразил, что горит. Со стороны деревни несло дымом, черными хлопьями пожара. Прорвав клубившуюся тучу дыма, в разных местах встали слепящие султаны огня.

– Моя, как порошинка, занялась, – различил я голос бабки Калины.

По четкому на фоне пламени стволу березы я угадал наш дом, охваченный языками огня.

– Господи, что деется!.. Ясным днем зажгли, супостаты! – вскрикнула бабушка, схватившись за голову.

Крыша под березой рухнула, взметнула рой искр. Бабушка вздохнула, затрясла головой. Потом оторвала руки от лица, стала креститься, шепча, как молитву:

– Заступница милосердная! Не прости, небесная, злодеяния... покарай, срази врага лютого!.. Покарай! Воздай, Господи!..

Меж яркими кострами под черным накатом дыма мелькали люди, хлопали выстрелы.

– Зажигалки пуляют, собаки! – сказал дедушка, щелкая спичкою по коробку. Руки его дрожали, и он долго не мог прикурить.

– Моя-то, Прохорыч, как свечка... Из всех хат была, – причитала Калина, разумея свою самую ветхую во всей Ростани хатенку.

– И конюшню запалили, – сказал кто-то.

– Правление колхозное не трогают...

– Там склад военный.

– И церковь... Аи нет, горит!

– Горит, родимая!

Я толкнул Таньку:

– Хаты горят! Пожар...

Она разлепила веки, заморгала.

– Чтой-то?

– Пожар, горит.

Танька зажмурилась, уткнулась в шубу лицом с отпечатанной на щеке пуговицей. Бабушка сунула нам по куску хлеба, протянула бутылку молока.

– Пусть Танька сперва... – сказал я.

Танька отпила полбутылки, перевела дух:

– Теперь ты пей...

Мимо нас, размахивая дубинкой, пробежал рослый немец, заросший щетиной.

– Шнель! Шнель! – прокричал он.

Под его ударами наша лошадь торопнулась, рванула повозку. Из-под колес полетели ошметья грязи с влипшей в них соломою. Возок миновал дикую грушу на развилке двух дорог из Росстани. С мокрых веток падали крупные капли. Мы повернули на столбовую дорогу – ту, что вела на войну.

V

Это была моя первая большая дорога.

В тот день по ней уезжала вся Росстань. То, что случилось с деревней, – пепельно-черная туча дыма давно рассеялась, скрылась из виду. Вдоль дороги потянулись поля с мокрым жнивьем и разбросанными как попало почерневшими кучами соломы. Над ними с криком носились большие, невесомые в полете вороны. Они взвивались черным роем, подолгу стояли над какой-нибудь кучей соломы и, снижаясь, изредка взмахивали распростертыми крыльями. Низко над землей птицы вытягивали голенастые ноги и, встав на них, смыкали крылья, становились меньше на вид. Вороны неуклюже вышагивали по соломе, кивая при каждом шаге серыми клювами, и, не пугаясь людей, отыскивали какой-нибудь колосок или выводок полевых мышей.

В ту минуту мне особенно хотелось чем-нибудь угодить бабушке, облегчить ее горе. Но чем? Я лишь посмотрел на бабушку, решив, что с этой минуты буду во всем слушаться ее. Один вид ворон у меня и теперь связан с приближением сумерек и ожиданием тревоги.

Дождь постепенно иссяк. Воздух стал мягче, слышнее – запахи и звуки. Где-то в конце обоза позванивало пустое ведро. То там, то тут часто раздавались громкие голоса немцев, после которых следовали гулкие удары. Иногда после удара слышался чей-нибудь стон, плач или крик ребенка. При этом бабушка, оглядываясь на нас с Танькою, вздыхала, поправляла сползавшую накидку, заляпанную грязью.

Танька заснула, уткнувшись лицом в шубу. Я отодвинул накидку. Бабушка заметила это.

– Все не спишь? – спросила она.

Бабушка застала меня врасплох: не успел притвориться спящим и несмело подал голос:

– Рано еще спать-то...

– Тебе нигде не спится. Вот погоди, пропишу матери, как бабуку не слушать! Чистая правда, пропишу. Пусть подивится на это дитё...

Бабушка укрыла меня рваной тужуркой, поверх брезент зачем-то накинула.

– Погоди, вот мать приедет, по головке не погладит...

Мое прежнее намерение во всем слушаться бабушку тотчас пропало. «Зачем было еще брезентом? – думал я, ежась в темноте. – Все равно спать нельзя, холод какой... Может, во сне замерзну до смерти или задохнусь... Пусть тогда мать приезжает. Спасибо не скажет. Может, под брезентом умру скорей, тогда вспомните: хороший был, послушный ребенок, ангельская душа, да поздно уже будет...»

Мне даже захотелось, чтобы со мною случилось что-нибудь такое, от чего бабушка сжалилась бы надо мной. Мне даже захотелось на время умереть, чтобы бабушка поняла, что не следовало укрывать меня с головой. Но эта мысль испугала меня, однако, не тем, что я и вправду умру, – я верил, что и после смерти обязательно буду жить, – а тем, что такое наказание показалось мне слишком тяжелым для бабушки. После этих размышлений я почувствовал, что люблю бабушку сильнее, чем раньше.

Я-то знал: бабушка никуда не напишет. Она и писать-то не умела, неграмотная. Я тоже не знал еще ни одной буквы, лишь крючки выводил кое-как. «Но не беда! – думал я. – Еще научусь, стану грамотным. Вот война кончится, в школу пойдем с Танькой. Дедушка, может, портфель с замком

купит или свой шорницкий ранец откажет. А в ранце пока всякие шилья, дратва, клещи, иголки, кленовые гвозди. Да мало чего дедушке нужно! Дедушка – шорник, любую сбрую сшить может. Он и столяр, и плотник, и кровельщик. Мировой мастер дедушка! И каменные, и малярные работы знает, даже на церквах купола чистым золотом крыл!..»

В школу мне было давно пора, я был уже переросток. Перед войной всего две недели ходил в школу, пока немцы не пришли в деревню. «А при немцах какое ученье! Лучше уж дома сидеть, пока наши вернуться. Да и учить нас некому. Учитель Иван Денисович в партизаны ушел. Живой бы вернулся, учитель. Всю азбуку выучу и таблицу умножения. Тогда сам напишу матери, отошлю ей письмо по почте...»

VI

Глухо ночью в осеннем лесу.

В лунном свете порой тускло вспыхивала калина, то зажигались самоцветные сережки на корявых ветках бересклета, то бледнело яблоко, покрытое тусклым осенним налетом. Я узнал, что, если подышать на яблоко, отпотеет, заблестит. А под яблоней в листве, верно, яблочный ворох насыпан. Яблоки уже улежались, даже издали слышно, как пахнут.

Я даже ощутил на похолодевших зубах оскомину и привкус яблочного сока. Хорошо бы забраться в ворох! Да разве бабушка с воза отпустит... Лес теперь наш дом, раз хата сгорела. И чего в лесу бояться? Правда, дедушка говорил, что за войну волков развелось, так и рыщут, – надо ухо держать востро!

Уже в темноте вслед за передними подводами мы въехали в густой туман, нависший над логом. Тотчас возок наш занесло, потом встряхнуло, и, заваливаясь, он рухнул на заднюю ось.

– Дед! – вскрикнула бабушка из темноты. – Ай заехал куда?..

– Колесо рассыпалось! – отозвался дедушка, освещая спичкой пустую ступицу.

– Детей не зашибло?

– Спят...

Бабушка подбежала, приоткрыла брезент.

– Спят! Тебе всегда спят, подивуйся на это дите!

Я взглянул на бабушку, поджал рассеченную губу.

– На дворе ночь-полночь, а он все на бабку таращится. Скорей бы мать приезжала, вот пропишу...

– Сказано – и будет! – вступился за меня дедушка, укладывая на руку, как дрова, рассыпанные спицы колеса.

– И ты заодно с этим дитем! С вами разве вдаль ехать?

– Спать бы стлала, ехать некуда.

Дедушка стал распрягать лошадь.

– Стлать-то где?

– Под кустом и стели, где посуше...

– Поморозим детей, Ивановна, – засуетилась подошедшая Калина. – Ах, Господи! Как жить-то теперь без хат...

Калина с бабушкой долго шуршали листвой. Проснувшаяся Танька безголово плакала, вздрагивала. Стреножив лошадь, дедушка отпустил ее в тумане.

– Пора спать, – сказал он, подхватив меня и Таньку сильными руками.

Он опустил нас на шубу под куст с мохнатыми ветками.

– Укладывайтесь, сейчас костерок распалю, будет тепло!..

Дедушка ушел за валежником. Я слышал, как под его ногами шуршала листва и трещал сушняк.

Где-то внизу в тумане облегченно фыркала стреноженная лошадь, позванивая уздечкой.

– Спите, спите, – наклонилась над нами бабушка, укрывая тяжелой шубой. – К утру дед справит колесо; на ране поедем дальше...

Подснежники

(рассказ)

Тесовая сторожка лодочной станции стояла на пригорке в осиннике, сбегавшем к Дону. Казалось, осинки, как на переправе, столпились у самого берега. Тут их застало половодье. Неповоротливые льдины толкали, ранили тонкие осины. Они вздрагивали, качая отраженными в воде голыми ветками. Вода потемнела, уже пошла на убыль, а с верховья река все гнала мраморно-тяжелые, покрытые снегом льдины.

Петрович, сторож, проснулся не рано. В сумраке выпростал занемевшее тело из-под полушубка и сразу почувствовал, что хворь его прошла.

– Отпустила, неладная, а? – пробормотал старик с облегчением, потирая раненную при форсировании Одера правую ногу. Засевшие в ней мелкие, с пшено, осколки перед паводком на изломе погоды точно ожили, лишая сна, отзываясь неотступной млеющей болью в ревматических суставах. Прошлой осенью ему сделали операцию. Перед выпиской хирург передал на память завернутый в чистую марлю оплавленный, слепой, как веко, осколок немецкого снаряда. Осколок всю зиму валялся на подоконнике, потом пропал.

– Должно быть, с мусором вымел, – догадался старик.

Почуяв, что хозяин проснулся, в сенцах стала царапаться в дверь и взвизгивать Пчелка. Петрович откинул к прохладному комлю печки одеяло, горбясь, всунул ноги в валенки и толчками отворил забухшую дверь, впустил вымокшую каштановую дворняжку. Вбежав в сторожку, она встряхнулась, заметалась, оставляя на полу мокрые следы.

– Обрадовалась, вижу... Проголодалась за недугом старика.

Петрович нашарил в целлофановом мешке кусок сухой

булки, макнул в остатки грибного варева и кинул в миску на полу. Неспешно закурив, покойно глядел, как собака хрустела сухарем.

В сторожке постепенно светлело. С крыши перед окном падали светлые крупные капли. В осиннике стоял паводковый туман, за которым, казалось, темнела стена.

– Проспали паводок за недугом, ледоход, чуешь, проморгали... – проговорил Петрович, оживляясь, что хворь отступила и через минуту они с Пчелкой будут обходить свои владения.

С порога он услышал, как заурчал на подоконнике телефон. Вернулся, заломил на затылок порыжелую ушанку, приложил трубку к уху.

– Это ты, Саша, тарабанишь? – Петрович узнал голос внука и туже прижал трубку. – Из автомата звонишь? А? Нынче воскресенье. Приедешь?.. Плохо слышно, Сашк!

Петрович отстранил трубку и положил ее на рычаг с петлистыми ржавыми ушками. Радуюсь, что скоро сюда прибежит Сашка, старик натянул глубоко шапку и, выходя, ладно притворил за собою дверь. «Славный пострел... Не забывает деда», – подумал он, оглядывая потемневший густой осинник, дощатый сарай под мокрой шиферной крышей, где хранились моторные лодки, весла, спасательные круги и мелкий «плавинвентарь», который он охранял с осени до весны, когда на водной станции открывался сезон.

На пригорке Пчелка, метнувшись, побежала вприпрыжку навстречу шагавшему к сторожке мальчику в голубой куртке.

Разрумяненный Сашка по-взрослому протянул руку:

– Здравствуй, деда! Нынче я с третьего раза дозвонился. Только опять было плохо слышно.

– Какой там слышно, все забываю сказать, чтоб прислали мастера прочистить аппарат.

– Это ж не ходики, телефон.

– В осиннике старая лодка застряла, паводком отнесло. Зачалим да пойдем в сторожку липовнику заварим. Давно, Саш, не чаевничал у меня, – приговаривал Петрович, снимая с пожарного щита багор подлиннее.

Осины, стоя по колено в воде, глядели на опрокинутое небо, на свои тонкие ветки с набухающими острыми почками. Сквозь туманную хмурию чувствовалось солнце. Противоположный берег, поросший вербами и лозняком, порыжел и придавал всему массиву янтарный отсвет.

Зачалив лодку, Петрович с внуком присели на корме. Старик долго раскуривал трубку и смотрел мимо осин, вверх по течению, где вода кружила на повороте.

– Видишь, петляет в этом месте река, – размышляя о чем-то, сказал старик. Дым из трубки вился вверх и таял в ветках осин. – Знаешь, как Дон в лесу плутал, искал дорогу? – Петрович посмотрел на засмиревшего Сашку, перевел взгляд на стремнину, по которой плыла большая льдина-плита.

– Давным-давно это было... Еще татары топтали эти берега копытами коней своих. Кровянился Дон горячей кровью русской. Бывало, в лютые морозы, закипая гневом к татарам, река выходила из берегов... Не было города и малого селенья на берегах Сейма, Десны, Сулы, при Стужени и Днепре, где б не ковался меч иль копьё на врага. На Калке наши ратники напоили кровью незваных гостей и сами полегли там. И опять вороньем слетелись татары, стали неволить народ русский.

На Дон пришел Ахмет-хан с силой несметной. По осени, справив дела, пастухи и пахари курские, липецкие, воргольские надели кольчуги, собрали доспехи воинские, попрощались с женами, невестами, сели на коней и поклялись изгнать татар с земли дедов своих. День и ночь стонала степь

за Доном, где сошлись две силы. Не было числа перебитым татарам, да поредели полки и наших ратников. К вечеру второго дня дозорные заметили перед Доном новое войско татарское – на подмогу спешило Ахмет-хану. Не справиться нашим полкам с такой силою. Как тут быть? Собрались старейшины на совет и порешили послать гонцов к Дону просить помощи.

...Остановил волну Дон, заслышав топот знакомых коней. Гонцов выслушал и велел землякам на свой правый берег поставить заслон, чтоб помочь ему задержать подкрепление татарское. На заре зашумел камыш, по реке пошла играть крутая волна... Да поздно хватились татары. К утру плоты их и лодки уже нес Дон в море-океан...

...Потом три дня пировал Дон с земляками. Пировали победу и поминали убитых ратников. На проводы послали с ним провожатых – две речки. Долго плутали они в темном бору, пока хмель прошел.

...А ранней весной на его берега пришли невесты убитых ратников да вдовы. Вместе с ними темнел, кручинился Дон седой. Много слез было уронено на его берега. И где падала вдовья слеза или девичья, там поднялся цветок самый ранний по весне...

– Дедушка, осколок тот, немецкий, я в школу отнёс, в наш уголок краеведения, – неожиданно сказал Сашка.

– Осколок?.. – машинально повторил Петрович и показал рукой на пригорок. – Смотри сколько!..

Сашка подбежал к пригорку. И вблизи пробившиеся сквозь прошлогоднюю листву подснежники так доверчиво и так удивленно взглянули ему в глаза, что Сашка не решился их сорвать...

Перепёлка во ржи

(рассказ)

*Что там шумит,
Что там звенит издалика
Рано перед зорями?..*

«Слово о полку Игореве»

Летом сорок третьего года в бою под Орлом на ржаном поле, изуродованном танками и взрывами, обмолоченном тысячами солдатских сапог, был убит рядовой Иван Жилин.

Вечером, накануне наступления, он рыл окоп вблизи замаскированной пушки, вслушиваясь, как полковой почтальон, невидимый в кругу солдат, весело выкликивал фамилии адресатов. В соседнем окопе уже кто-то читал вслух очередное письмо лейтенанту Дронникову, погибшему еще под Волоколамском, уже поредела толпа, когда Жилин, боясь ослышаться, угадал свою фамилию, которую почтальон выкрикнул, как и остальные, весело.

Сбоку кто-то протянул Жилину полуоткрытый мятый треугольник, прибавил глухим голосом:

– Последнее, браток...

На батарее каждый знал, что последнее письмо считалось несчастливym, что почтовую брезентовую сумку порою трясли и подкидывали на руках вместе с почтальоном, чтобы это последнее, будто написанное на роду письмо выпадало случайно, как жребий – по судьбе.

Отложив саперную лопатку, Жилин неловкими пальцами развернул сложенный треугольником двойной лист из школьной тетрадки. Это было известие, блуждавшее третью неделю по следам солдата, что в бомбежку при налете немецких самолетов погибла его жена Фрося.

Жилин долго каменел над изогнутым листом, потом сунул его за ворот гимнастерки и, будто заторопившись ку-

да-то, стал швырять земляное крошево из начатого окопа вверх, на бруствер. Он не заметил, как кончился чернозем и пошел гудящий могильный суглинок, как низко над полем встала багровая луна, перечеркнутая черным колосом, и пошла ночь, последняя перед боем...

В ту ночь, тихую и звездную, объявшую лунным сиянием всю холмистую равнину с изломистыми траншеями, провалами порушенных городов, Жилин на четвереньках выбрался из своего окопа, тяжело распрямился и долго стоял привидением на свежевырытой пахучей земле, привалившей ржаные стебли с редкими, смутно белевшими колосками. Невысокий, с покатыми медвежьими плечами, в которых угадывалась заматерелая сила, он стоял лицом к луне, и его тень, уродливо перегнутая через холмик, обрывалась в зиявшем окопе. Руки были опущены, стоял он, подавшись вперед, в расстегнутой мешковатой гимнастерке. При лунном неверном свете были заметны складки морщин меж сдвинутыми бровями, из-под которых блестели недвижные глаза.

В сквозном сиянии луны Жилин долго стоял без движения. Земля, будто качаясь, уходила из-под ног. С тупой непокорностью беде он силился устоять, удержаться на ногах. Машинально нащупал под гимнастеркой письмо. Перед глазами поплыли кривые строчки, написанные старческой рукой его отца. При свете луны строчки сливались, и солдат читал, спотыкаясь на каждом слове:

«Наша Фрося погибла в бомбежку, – писал отец, – Попала бомба в соседский двор, и в тот час была там Фрося. Пошла попытать сольцы хворому Мите, они еще ни разу в том не отказывали. Мальчишка весь заплосал и в сильном жару... Кричал по матери и спрашивал все, когда она придет... Теперь не отхожу от него и ночью караулю подать воды...»

Жилин передернул лист, ладонью провел по воспаленным, в холодной испарине векам, сияясь дочитать письмо до конца.

«Ты про нас не горюй сильно, – плыли перед глазами

строчки. – С внука теперь глаз не спущу, как оздоровеет. А ты, сынок, добивай фашистов и живой вертайся домой. Немец тут все порушил, кругом один разор. Фросю похоронили рядом с братской могилой...»

Жилин растерянно взглянул на звезды, наискось падавшие трассирующими пулями, потом шагнул в сторону, привалился на свежеврытый холмик за окопом.

Ближе к полуночи небо стало покрываться плитами облаков. Меж ними, то скрываясь, то медленно выплывая, высветивая рваные края глыб, тихо шла луна. Из низины, со стороны высоты, которую предстояло занять утром, на ржаное поле потянул ночной ветерок. Но измятое поле, по которому прошли танки и пехота, не отзывалось обычным шуршанием спелых колосьев. Высокие былинки вздрагивали, говорили что-то безголосо и молчали, качаясь.

В этой тишине, над великим покоем степи несмело подала голос перепелка. «Как же так, как же так?» – тихо встрепенулась птица. Смолкнув, потом, как после раздумья, ее голос раздался ближе, громче, будто спрашивал у людей от века неизменным волнующим криком: «Как же так, как же так?!»

Неожиданно где-то близко откликнулась пара перепелов, и гремящие ладные удары крепили, заполняли собою округу с далекими вспышками осветительных ракет. Вслушиваясь в близкий перепелиный бой, Жилин машинально нащупал ком сухой земли, еще хранившей тепло минувшего знойного дня. Он сжал теплую землю, глядя в звездное небо, различая с давней мальчишеской радостью в сенокос голос молодой перепелки, вопрошавшей одно, свое:

«Как же так! Как же так!..»

Зеленовато мерцая звездами, светлело предрассветное небо. Шли последние минуты перед боем за нашу русскую землю, горсть которой, словно боясь просыпаться, Жилин сжимал в своей руке.

СЕРГЕЙ ПИСКУНОВ

Утренняя песня
Холодно
Вешние пути
На Непрядве



Утренняя песня

(рассказ)

Проснулся я от странного ощущения, что вроде кто-то незнакомый наблюдает за мной, и некоторое время в ленивом полусне силился догадаться, что бы это такое могло быть.

И неожиданно меня увлекла мысль, что пробуждение – это удивительное и странное состояние. Вдруг всем существом своим начинаешь едва чувствовать отделение от бескрайней тьмы небытия. Состояние, смутно похожее на ту картину, когда из-за горизонта начинает чуть высвечивать еще не взошедшая полная луна. Сначала, как слабым светом, очерчиваются твои едва различимые пределы – где-то вокруг, дальше и выше тебя. Потом просыпаются отдельные ощущения (они начинают вспыхивать одно за другим, как зажигаются ряды ламп в большом темном зале): вдруг начинаешь чувствовать тепло ступни, утомление прижатого локтя или плеча, знакомую всем утреннюю истому.

Затем возникают первые мысли, которые легко подчиняются твоему велению, быстро скользя, мерцают, не успевая даже явственно обозначиться. Сначала они идут почти неуловимые, а даже отчетливо проступив, внезапно исчезают, улечиваются, тают совершенно произвольно, и лишь некоторые из них, приятные, привлекательные, играя на фоне

быстро меняющихся цветов – радужно-оранжевого, лазурно-незабудкового, нежно-василькового, оставляют кроткое ласковое ощущение, чем-то похожее на прикосновение птичьим перышком к лицу.

Но вот в сознании что-то переменялось, как будто добавилось энергии, – и ты уже свободно можешь задержать любую мысль, бегущую в глубине головы, возвратить ее назад, разглядеть, окрасить настроением, представить в образе и цвете, пробудить в себе воспоминание сопутствующих запахов.

Вот ты видишь ночное море, мерцание лунных бликов на его поверхности, различаешь оттенки серебристого цвета – от тускло-матовых переливов до ослепительно молниеносных всплесков. Слышишь упругий густой шум прокатывающейся вдоль берега ленивой ночной волны, и в лицо тебе пахнет солоноватая острая свежесть морского ветра.

И когда воображение разгуляется до такой степени, то начинаешь медленно втягиваться, возвращаться в окружающий мир: где-то хлопнули двери, прошумела машина, или донесся басовитый гудок электровоза. И уже прежнее твое состояние начинает осознаваться несоответствующим, отстающим ото всего ожившего, что ты легко и просто обрываешь череду картин, рождаемых воображением, и подчиняешься внутреннему побуждению: пора вставать!

Добравшись в своих размышлениях до такого момента, я открыл глаза и догадался, что это незнакомое – наступающий рассвет. В воздухе почти неуловимо чувствовался едва заметный трепет утра. Робкий свет, с росяницей, быстро проникавший, будто возвратившийся с вечера, протянул свою серо-голубоватую, влажную, прохладную руку, коснулся моего лица и стал отделять меня от ласкового беспамятства сна. Скоро от разлива бодрости я ожил

совсем и стал оглядывать мир, в который только что явился вновь.

Полы нашей палатки, где вповалку, обнявшись во сне и тихо посапывая, спали еще пятеро парней и девчат, были настезь распахнуты, и в нее уже проникли первые струйки неслышного дыхания наступавшего дня. Они мягко пронзили легкую серую полутьму коротенькой безлунной майской ночи.

Не было видно зари: солнце должно всходить со стороны леса. Небо, похожее на расколотый пласт чистого льда, стало проясняться. Одна за другой тускнели и исчезали в его серых волнах крупные, как капли дождя, редкие светленькие звезды. Светло-серым воздухом стало заполнять просветы меж деревьев. В березовых ветках утренний ветерок, как на воде, гонял мелкую рябь. Ночь мягко отходила, оставляя впечатление размашистого созидания. В весенней ночи много творящей воли, работного настроения. Чистые и свежие ароматы весны несли потоки радостной бодрости, вздымавшей в человеке настроение первозданной могучести, ощущение необычайной силы.

Палатка наша стояла на краю березняка, в котором росло много кленов, крушины, лесной лозы, орешника, дубовых и липовых кустов. А напротив тянулась большая выруб-ка, уходившая до болотистой низины. Несколько лет назад здесь стоял густой осинник, непролазный, неприветливый, без единой ягоды и гриба. Потом лесники в одно лето смахнули его и посеяли всякого лесного благородия: сосны, дуба, вяза, ясеня. Но быстрее посадок вырос березняк, а с ним поднялись в человеческий рост полевая рябинка, полынь, костер и звербой.

Место это стало настоящим птичьим царством, так как в посаженный молодняк мало кто ходил, да и кому охота прыгать по огромным грядам, навороченным трактором.

По правде говоря, вероятно, птичье многоголосье и разбудило меня, но почему-то почудилось, что сильнее оказался свет.

Скоро стало чувствоваться, что взошло солнце. Верхушки стоявших рядом берез, высоких, напоминавших следы ракет, умчавшихся в небо, сотканые из крохотных листочков, осветились нежно-зеленым светом.

И вот первый луч коснулся вершин деревьев, рванул ослепительно-зеленый взрыв света, ярко и весело рассыпавшийся вспышками изумрудных искр. Листья играли искристыми ответами, как крылья стрекозы. Солнце поднималось выше и все сильнее било в кристальную прозрачность листвы яркими, частыми, упругими лучами, обрушивая водопад света. Деревья стояли воздушно-торжественно, словно висели на солнечных лучах.

Порывом прошел ветер-верховик. Заиграл ковер полутеней в трепещущих кронах. Дрогнули и закачались ветви, поднимая метель зеленого света, застилая оливковой дымкой голубые просветы неба. Сильнее потянуло влажным дыханием леса с мягкими запахами майского разнотравья, развеивая курившийся между стволов легкий ночной холодок.

Солнечные лучи стали падать на просторные поляны, на заросшую колею лесной дороги, на траву в бисерной росе, высвечивая васильковую синеву отцветавших медуниц, кудрявую бахрому цветов хохлатки и мышинового горошка.

И только теперь, перебивая радостный праздник света, стало громче звучать ликующее птичье многоголосье. Робкие серебряные ниточки песен зарянок и горихвосток, будто свитые из зыбкой дрожи рассвета, подхватили самые неприметные и старательные певцы: пеночки и славки. А под звон лесного оркестра начинали фантазировать мелодии певчие

дрозды, ворковали лесные голуби, громко перекликались кукушки, синицы и зяблики.

День надвигался под этот гимн раскатным валом, увлекая радостной мощью все живое вокруг. От капли рассветного самоощущения до могучей лавины из солнца, неба, зелени, света вобрало в себя тогда и вновь рассыпало Бог знает куда невозвратное утро неизвестного теперь, потерявшегося майского дня.

1980, д. Черногрязка

Холодно

(рассказ)

У каждого человека есть в памяти событие, с которого он стал ясно осознавать себя в окружающем мире. Такое мое первое жизненное впечатление – это долгий, длиною в день, переезд на санях в нашу деревню. Мне шел тогда пятый год.

Было это в конце марта, когда человек, утомленный зимой, улавливает в особенной чистоте и легкости мартовского дня несмелое и почти незримое присутствие весны. Теперь мне легко говорить об этой еле уловимой хрупкости марта, потому что в памяти остались наблюдения многих лет. А тогда мне было просто холодно.

Однажды утром мать сказала, что нас освободили, отбили у немцев и что нам нужно теперь добираться домой. Вместе с нами расходилось и разъезжалось, кто куда знал и кто куда мог податься, много людей, отбитых нашими войсками.

Мы ехали на корове, запряженной в сани, в свою де-

ревню. В старых розвальнях на охалке соломы стояли небольшой узел, завязанный черным цветастым полушалком, и кошелка. И сидели мы с матерью. Я был одет в фуфайку и помню, что мне всю дорогу было холодно, а на санях ничего не было, чем можно было бы укрыться и накрыть ноги.

Моей матери тоже, наверное, было холодно. Она то подолгу стояла на коленях, придерживая рукой вожжи, то садилась на солому, кутаясь полами старой плюшки. А может, ее больше холода тревожило, что вдруг деревня сожжена немцами и тогда неизвестно где придется устраиваться.

Мартовский холодок незаметно подобрался ко мне почти в начале пути, и я скоро почувствовал, что стал мерзнуть. Я прислонялся спиной то к узлу, то к ногам матери, стремясь выгнать холод из-под фуфайки, кутался, прижимая каждую складку одежды к телу, затягивая короткий тоненький воротничок, прятал руки в карманы, стараясь засунуть их вместе с обшлагами рукавов.

Холод был не настолько силен, чтобы заплакать, но он студил мне лицо, локти, колени, причиняя ноющую боль. Мне было очень неудобно; я ежился и вздрагивал, ворочался с боку на бок. И каждый раз от неловкости открывалось где-то новое окошко, и я догадывался об этом, когда начинала стынуть поясница, застывала шея или зябли руки.

Я старательно дышал себе за пазуху теплым воздухом, но от этого только становилось холоднее и по телу начинали пробегать мурашки леденящего озноба.

Ветер был не сильным, но тоже по-весеннему особенным. Он не метался, не утихал, он сквозил упорно, каким-то единым студеным дыханием, как будто плотно и стремительно летели мелкие льдистые колючки. От него

было холодно, как от прикосновения снега. Он опускал мне за шиворот сосульки ледяных пальцев; брызгал капельками холода в лицо, просовывал к позвоночнику холодную ладонь и круто щипал, вызывая дрожь. Я отчаянно вбирал голову в себя, прижимал озябшие колени к самой груди, укутывал их полами фуфайки. Но холод настырно забирался за пазуху, пытаясь выстудить оставшееся во мне тепло. Так, лихорадочно вздрагивая, мне приходилось ехать целый день.

Потом я уже безучастно сносил холод, почти непроизвольно подергивал плечами, все время чувствуя, как меня то и дело охватывает озноб, и с удивлением глядел на свои озябшие руки, покрытые шершавой сизоватой гусиной кожей, когда приходилось подкладывать горсть соломы, чтобы поудобнее сидеть на горбатых слегах.

Даже солома, которую я уже знал как теплую и мягкую, на которой обычно хорошо спалось, была гладко-холодной. Из-за нее, удобно пристроившись, я вдруг на ухабах дороги соскальзывал в конец саней, и мне снова приходилось устраиваться и согреться.

Холодно было и оттого, что светило солнце. Небо приветливо и лучисто голубело. Солнце, конечно, могло согреть. Я сам видел по краям дороги подтаявшие огромные глыбы снега, покрытые черным налетом и ноздреватой рыхлой коркой, обтаявшие лунки следов, слышал шарканье коровы, как она, медленно ступая, с хрустом обламывала льдинки-стеклышки обледеневшего снега.

В ложбинах снежное одеяло уже промокло от собравшейся талой воды, окрасилось в грязно-зеленоватый цвет. Уже сидели грачи на деревьях черными яблоками, и с веток свисали слезы сосуллек.

Я почти с замиранием ждал, когда солнечные лучи при-

греют мне плечи. Но солнце тогда не грело, и тепла от него не было.

Мне уже ничего не хотелось, только бы согреться. Я с нетерпением провожал глазами телеграфные столбы и огорчался оттого, как медленно они шли навстречу. И когда с пригорка я видел, что впереди еще долина, а за ней новый взгорок и опять не видно ни одного домика, мне становилось горше и холоднее: почему же так длинна дорога?

Было безлюдно. За весь путь встретилась одна подвода. Мужик ехал на санях лежа, навалившись на локоть. Лошадь у него была с бахромой включенной потной шерсти под животом. Она бежала, спотыкаясь, проваливаясь в снег, тяжело дыша и фыркая. Встречный даже не сказал «здравствуй», а только пристально проводил нас глазами.

Наступал вечер, а мы все еще ехали. При вечернем солнце льдистый наст сверкал каждой неровностью, каждым выступом, то горел алыми огоньками, то отливал золотом.

Вечер долго струился синевой, в которой все было далеко и ясно видно. Он был чист и прозрачен. Темные силуэты деревьев вырисовывались необыкновенно четко, каждой веточкой, каждым узлом сучка. Они словно тонкой иглой были выжжены на фоне неба.

Потом солнце село где-то за холмом, далеко позади саней. Край небосклона опоясала розовая полоска заката, а все остальное небо стало меркнуть и тускнеть.

И было по-прежнему холодно. Пронизывающая стынь леденила все вокруг. Видно, была такая пора, что для того, чтобы согреться, не хватало тепла матери, тепла земли.

1969, г. Москва

Вешние пути

(рассказ)

В равнинных просторах человеку иногда навеваются особенно редкие и хрупкие состояния и хрустально-родниковые настроения. Ничем другим их не вызвать.

В равнине есть песенность, пробуждающая напевные величавые мелодии. А желание петь – не частое, и его легко спугнуть.

Кажущейся внешней монотонностью, однообразием равнина незаметно-ласково привлекает к себе, воссоздает, возрождает заслеженную буднями великую основательность в человеке, подобную ее бескрайности. И то могучее человеческое легко слаживается с ширью, его хватает на весь необъятный простор от смутной черточки горизонта позади тебя до загадочной дали перед глазами, когда отовсюду празднично и радостно веет особое равнинное спокойство.

Величава тишина раздолья. В ней присутствуют, чувствуются какие-то ароматы вечности, что-то величаво-вселенское. Все сопутствующее кажется случайным, малозначащим и даже не отвлекает взора. Здесь над всем владычествуют лишь две стихии: земля – более переменчивая и доступная бескрайность, будь то снежная равнина, пашенный простор или раздолье сжатых полей, и небо – голубая безбрежность, тоже изменчивая, но обманчиво кажущаяся вековечной. А солнце и облака лишь помогают уверовать в эту величавость небес.

Даже ветер на равнинах особый. Казалось бы, ему стремительно носиться, не встречая препятствия, метаться изо дня в день. Это бывает. А зато какая бывает тишь, когда не чувствуешь даже воздуха, его прикосновения к глазам, к лицу.

И самое волшебное – когда две стихии сближаются, становятся похожими, когда в безлунную ночь безмятежная, добрая темнота сливает их, порождая странный, тревожный зов маняще-близкого сверканья звезд и отрешенно-далеких земных звуков. А если еще увидеть полную луну в позднюю ночь, сияющую в темном обрамлении из неба и земли?

Ну разве можно, оказавшись в этом безбрежии, кипеть злостью или клокотать ненавистью? Или досадовать? Или завидовать? Разве можно в эти минуты посылать кому-то проклятия?

Как бы жили люди, если бы не было равнин?

Однажды в начале апреля мне пришлось долго ехать по полевому простору. Деревень почти не было видно. Они прятались в плавных низинах, изредка выдавая себя одним-двумя высунувшимися дворами или макушками тополей и ракиит. Перелесков не встречалось, а посадки вдалеке ничуть не беспокоили, не тревожили ровного разлива простора.

Пашни отлеживались, высыхая под ветерком и прозрачным солнечным светом. Стояли те немногие апрельские дни, когда не сегодня-завтра можно попробовать размять комок земли и он будет рассыпаться в ладони, а это значит – пора за работу в полях.

Вблизи было видно, как борозды покрывались серым налетом, исчезали влажное отсвечивание и черно-сырая тусклость пахоты. От нее поднимались густые дрожащие струйки воздуха, заметные даже рядом, словно дымки, струйки дыма незаметных костров.

Даль мерцала такими волнующими переливами, каких потом уже не увидать даже в июльскую жару. Тогда в воздухе нет той пронзительной чистоты, прозрачности, а трепет зноя – томно-густой, обещающий жаркое утомление. Теперь же неспешный ветерок, скользя по пашне, нес прохладную свежесть с неповторимыми запахами сырой пробуждающей-

ся земли. И когда солнце поднималось выше, она начинала дышать, как встревоженная человеческая грудь.

Но таких дней в апреле немного, и не всегда они выдаются ясными и покойными. Иногда ветер бывает резким и холодным, небо – тусклым, почти пасмурным.

А тот день был тихим и ясным. Солнце поднялось и разгулялось во весь простор безоблачного, свежего, сочно-голубого неба, с каким-то запалом на лето. В вышине перекатывались-переливались огромные волны света.

На одном из покатых долгих взгорков шедший далеко впереди нашей машины автобус остановился, и от него отдалилось белое пятнышко. Конечно, это была девчонка, потому что в деревнях ни парни, ни взрослые женщины в белом, да еще в такую пору, не ходят. Понятно, что она возвращалась из города и пообвыкла там, так как в такую весьма прохладную пору опрометчиво отправляться в деревню в легком белом наряде. Она ехала в гости на выходные; в этом мы убедились, увидев в ее руке дорожную сумку.

Вид удалявшейся хрупкой белой фигурки на черной равнине был незабываемо красив. Мы остановились, не сговариваясь, вышли из машины и молча, любуясь, провожали ее глазами. В движениях девушки, в вольном размахе свободной руки чувствовалось, что ей нравится идти в весеннем воздухе. Она шла неровно, потому что был еще нетверд и неровен вешний путь – невысохшая деревенская дорога, распаханная с осени.

Белая фигурка медленно удалялась, становилась меньше, а рядом и вокруг нее все заметнее проступали струйки дрожи от пахоты, синеватые, лиловые, фиолетовые, розоватые блики растепленной земли, знаки ее пробуждения, восставания. И все больше обозначались небеса – эта вечная голубая незримость, несущность, которая каждую весну пробуждает тяжелую сырую неповоротливую землю. Почудилось даль-

нее соприкосновение этих двух стихий, и меж ними, их вечностью – белая фигурка – человек, чья-то кровинка, пущенная в этот огромный мир, чья-то жалость и, наверное, уже чья-то любовь. Вот бы хорошо спросить, как ее зовут, узнать, какие волосы, глаза. Все было близко – и все невозможно.

Хотелось помчаться вслед, попросить остановиться. Но представьте: мчатся два дуралея друг за дружкой по тропе, крича и размахивая руками. Любому придет пугливая, недобрая мысль, а не только этому светлому, праздничному существу.

Ну, если бы и догнали и сбивчиво-запыхавшимися словами спросили, как звать. Предположим, ответила бы она оторопело, оробев, назвала бы имя. Румянец озарил бы ее лик, заволновался бы взгляд, губы, матово-чистая кожа возле ключиц. Поглядела бы на нас. Увидели бы мы, что в ее взоре такая весенняя голубая распутица. Ну а дальше что?

Но вот на контуре уходившего вниз склона платянце затрепетало, виясь в язычках пламени улетавшего ввысь влажного воздуха, потом белым пятнышком задрожало на кромке и истаяло – так растекается алое пятнышко солнца на закате. И все.

Шофер Федька бросил недокуренную сигарету и сосредоточенно вдавил ее в мягко-рыхлую обочину, как бы досадливо совлекая с себя неожиданно напавшее беспокойствие. Он сел в машину, не закрывая дверцу, положил руки на руль и молча смотрел отрешенно невидящим взглядом.

Я еще постоял немного и стал чувствовать, как обдувает прохладой ветер. Он доносил обрывки далеких трелей жаворонков. Резче стало пахнуть на обочине глиной, на которой желтели редкие цветки мать-и-мачехи. Я заметил перезимовавший облезлый спичечный коробок, Федыкин окуроч...

И вдруг странно подумалось: неужели через двадцать или тридцать лет вспомнится это видение, это соприкосновение

с апрелем, что все это может быть облечено в слова?.. Неужели в мыслях и воображении проступят мгновенно мелькнувшие имена-времена?

И, представьте, – вспоминалось. И не раз. И Федьке, и мне. Иначе к чему бы эти строки?

Да, как бы жили люди, если бы не было равнин?..

1983, н. Паведники

На Непрядве

(рассказ)

По пути к Куликову полю настрой на древнюю былль великих и горестных дней возникает как-то сам собой.

Безмятежное волнение спелой ржи под горячим июльским солнцем, медленные тени облаков, тихие встречи дорог и тропок, зыбкая дрожь далее с чуть приметными поселками на трепещущем, словно паутинка, горизонте вызывают вольный разлив воображения.

Темные очертания дубовых роц и посадок пробуждают воспоминание-веру о миновалых дремучих лесах. Деревня с ласковым именем Татьянавка, прижившаяся на краю Дикого поля, глядится приветливым, но беззащитным уютом, одиноким цветком на былом пожарище. И кажется, что широкие вмятины на необозримой равнине оставлены шедшими сюда ордами Мамаю.

Река Птань пугливо юркнула под мост из горбатых бревен, связанных проволокой и сбитых скобами. Спеша по известняковым камням, петляя в отмелинах, она промыла за века такое глубокое русло, что образовался провал в равнине, похожий на ущелье с осевшими пологими боками.

Когда-то река невольницей несла свои воды как дань диким властелинам степей и сейчас остается позади как тревожный рубеж и страж времен.

В райцентре продавщица у пивной бочки обожгла серо-зеленоватым холодным взглядом, сверкнувшим из раскосых глаз, молча бросила монеты в пивную жижицу и дала мокрую мелочь сдачи. Неужели живой ответ былого? И эти глаза могут вздрогнуть и озариться тем донесенным через века, отрешенно-далеким огнем жестокого ликования?

На разбитом куске дороги девчонка в джинсах записывала выгрузку сухого асфальта. И тоже – карие раскосые огоньки на скуластом лице. Все-таки, скорее всего, это отзвук тех дней.

Их вековечным заказом-напоминанием стали и величальная колонна князю, мудро замыслившему битву-победу, и храм во имя вещего старца, укреплявшего тогдашним знаменем и призывным словом дух русских воинов.

Но самой высокой памятью, подобной тревожным сполохам зарниц, исполнена эта земля – когда-то сырая, в высокой болотной траве равнина, с которой уже нельзя было отступить, отшатнуться назад, и эта вода – потоки Непрядвы и Дона, вселившие не обречение, а веру в необходимость победить.

Теперь речушка-подросток, отдающая свое имя и свои струи набирающему сил великану, может разочаровать своей неказистостью. Едва приметное русло в раздольной долине, редкие кустики ивняка на ее берегах, полуободранные после половодья, в хлопьях похожей на паклю засохшей тины, белесое мерцание журчащего на перекатах потока – вот и все, что запомнит торопливый взгляд.

Удивленная мысль невольно и робко сжимается до странного вопроса: а было ли это? Какой-то дьявольский

соблазн, искушение так подумать возникает от звучного вторжения в чувствования теперешнего, знакомого, привычного.

Асфальт от полуденного зноя сверкал плешинами растопленного гудрона и парил густым запахом. В Монастырщине загоняли коров в прохладные подворья. Теленок, натянув привязь, стоя на коленях, поддавал ведро, вылизывая остатки пойла. Звякнул лист меди, упавший с лесов церкви Рождества Богородицы. Гудели машины. На съезжей дороге к Непрядве куском запыленной помятой фанеры валялась высохшая шкура давно раздавленной собаки. В людских голосах и других звуках слышалось обычное, всedневное течение жизни.

День сиял ликующим светом, будто он был всегда и был только таким. И это нынешнее время отделялось завесой неверия от минувшего, далекого былого – как вроде бы ничего никогда не было и не могло быть за краем далей, за дымкой голубоватого зноя.

Но там, где случается таинство слияния двух рек, на берегу, заслоненном высоким зеленым обрывом в известняковых камнях, где звуки нынешнего жительствова почти не слышны, а только простор перед взором, взметающий в человеке тревожное и томительное уныние, – начинает вдруг чудиться: а ведь это могло быть...

Подумать ведь только: в эту же долину сегодня на ночь ляжет такой же туман, медленно разольется белыми клубами, застелит кулиги, окутает луговые стога, заслонит дальние огни и застынет влажной тишь. Далекое тревожное ржанье лошадей, перекликающихся в молочно-слепой мгле, напомнит о приближении полков и дружин Дмитрия, перешедшего здесь Дон мостами и бродами к месту битвы.

И небо то же. И сегодня по его белесому простору ред-

кой вереницей плывут густо-белые крутобокие облака. Над краем рязанской земли они клубятся, свиваясь в грозную тучу, и выплывают, направляясь к Мамаеву стану. Как отряды отступника нашего Олега окаянного. Тогда, в первые дни сентября, небо было таким же жарким и белесым, потому что семнадцатый год подряд эту землю иссушало зноем.

Тенью татарских конников мелькнула над обрывом стая грачей. Да, а сколько птиц, доживших с тех времен, не покидает окрестных мест! По их гнездам тоже не раз проходила татарская конница. Над говорливой рябью серых волн Непрядвы, похожих на кольца кольчуги, кричат в пугливом полете чибисы, реют ласточки-береговушки. Тревожно вскрикивают трясогузки, прыгая по прибрежной глине. В зарослях крапивы и череды бесконечно и торопливо, как кузнечики, трещат камышовки. Ветерок, метнувшийся по берегу, дохнул сыростью и мятой.

Кроткий ропот и веселое воркованье обмелевших шелковистых вод в кисейной шали ивнякового пуха, сладко-ленивый вздох шевельнувшегося на перекате камня, укромный всплеск рыбки в заводи навсегда скрыли затихающий гомон ушедшей в Москву победной рати.

Неужели это все, что осталось от высокой судьбы Непрядвы?

Нет, это было. Об этом напоминает гордый древнесловенный клич старого памятника:

«Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех, обретших ны зело, сего ради неж убоимся – господь сил с нами!».

Это было. И не так давно. Семь-восемь глубоких стариков, только не собравшихся на завалинке теплым вечером, а вытянувшись нитью во времени от стара к малу, могли бы поведать нам о грозных былях словами участников и очевидцев.

Может быть, и ныне в одной из здешних деревень седой старец передает внуку отдаленные предания Куликовской битвы, перемежая их с рассказами о минувшей войне.

И во взорах и памяти будущих поколений вновь и вновь будут повторяться незабываемые минуты роковых событий, кровавых напряжений и обретений. Непотемневшим воспоминанием старинных времен для них это будет.

Для них только в одном из грядущих сентябрей настанет ночь безмерных тревог, ожиданий и святых таинств молчания перед битвой. А поле человеческого побоища, поле предопределения судеб, боязливо затихшее в горестном ожидании, зашелестит затаенными вздохами.

В эту великую тишость несколько теней всадников проступят из мрака и замрут, а одна из них, слившись с безмолвной землей, по ее лихорадочному биению угадает и прошепчет о победе и под горстью пониклых звезд на краю неба молча укажет место засадному полку.

И приказано будет назавтра всем надеть праздничные одежды. И поведется потом так всегда.

А наутро, раздвигая густой, осклизлый туман щитами, подминая его копытами коней, развеивая знаменами, рассеивая, расталкивая плечами, топорами, копьями и мечами, выйдут в сырое поле тысячи и тысячи серпуховских, московских, суздальских, ярославских, нижегородских и иных мужиков и станут нерушимой стеной.

Мамай, ревя гневом, разъярясь взором и помутнев умом, пошлет навстречу тьмы и орды татарские, а сам возвысится на холме, чтобы видеть кровопролитие человеческое.

В шесть утра по древнему времени, то есть близко к полудню, когда немного развиднеется, русский богатырь Александр на глазах у всех, первым пролив кровь, сокрушит врага в поединке, и начнется битва. Большинство из пришедших

на Куликово поле погибнет, недоев свой хлеб на земле, недолюбив, недоносив рубах, недорастив ребят.

Сюда, на берег Непрядвы, притеснит их татарская конница, и воины после трехчасового сражения, в доспехах, думая-боясь, что все кончено, спасаясь от вражьих сабель, криками давя боль ран, прощально вспоминая лики жизни, станут бросаться и скатываться с высокой кручи по бело-рыжеватым выступам камней в протянутые ладони листьев мать-и-мачехи.

А потом ударит засадный полк, сметая врага. И уже татарские кони и всадники под стремительным натиском будут лететь с обрыва в воды Непрядвы и Дона. В страхе рассеются хищники по дикой степи, а Мамай серым волком сбежит с поля брани.

Здесь на высоком берегу в великих ямах похоронят всех павших, а повозки с прахами богатырей и князей-героев под победными стягами отправят в Москву и другие русские земли. И озарит печальные взоры людей радостное, хоть и недолгое ликование. Но как дороги победы, освященные высшими жертвами, как укрепляют они мужество: сего ради неж убоимся...

Тихо на Непрядве. Говорливый поток, ворча, омывает старинный мельничный жернов, чуть торчащий из воды. На том берегу, уже за Доном, лошадь, приподняв ноги в путах, скакнула с тихим ржаньем. Дремавший жеребенок приподнял голову из высокой травы. Солнце незаметно скрылось за кручей.

И все же в очертаниях здешних мест, в приметах сегодняшней жизни чувствуется едва уловимое присутствие той далекой тревожности: и в молчаливости вечеров, и в притихшей походке деревенских баб. Эта тревога таится в здешнем воздухе вдоль речных долин. Ее не унесло отсюда, не развеяло. Чуть, может быть, разбавило временем. На ночь

она оседает вместе с сонно-ленивыми разлиivistыми туманами по вольным придонским лугам, томится в руслах пропавших речек, прячется в старые и новые овраги, висит в пологе дубрав, в рощицах и посадках. Но не улетает. Совестьливое беспокойство вселяется здесь, что можно отважиться на многие перемены в своем сердце, но только не на забвение далекого дня восьмого сентября.

Потому нет покоя на Непрядве. Нет покоя от Куликова поля.

1983, г. Москва

МИХАИЛ **ТУРБИН**

Слободчане



Слободчане

Митьку Матрасова по-уличному заглазно зовут Быком. Увидит его издали соседка и говорит другой:

– Вон, Митька-Бык идёт, чемоданом машет!

– Понятно! – кивает та. – Со смены возвращается чумазый...

Порвняется он с ними, поздоровается, начнутся расспросы:

– Как, Митенька, съездилось, чего новенького на дальней стороне увиделось?

Коротко расскажет, шутливо поинтересуется, чем они жили в его отсутствие, не видели ли его во снах, не вспоминали ли, потому что ему в пути икалось.

Нет ничего бычьего в Митькином обличии – мужик как мужик: не мал, не велик, не молод, не стар и силёнок в меру. Глаза, правда, примечательные: карие, с настороженным прищуром, и нос – картошка приляпистая с «глазками-бургками» – того и гляди прорастёт на весеннем солнышке.

Прозвище носит недаром. Получил его за дурную привычку: прежде чем произнесет слово, начинает малость сопеть, урчать, вертеть головой, словно освобождается от незримой верёвки, и лишь потом хрипасто, но членораздельно ответит на вопрос или сам о чём-либо спросит, отмычав быком. Эта придумка улицы закрепила за ним с детских лет. О прозвище своём Митька знает и, имея доброжелательный характер, не обижается, но не любит, когда с этим

лезут напрямую. Он так прищурит свои глаза, что станет ясно – разговора не выйдет. Вернее, разговор дальше пойдёт руками...

Митька – паровозный кочегар. Он больше похож на чёрта, особенно зимой, когда издали хорошо заметна его фигура среди сугробов. При нём всегда небольшой железный ящик, что чемодан, нужный в пути. Он же по нескольку дней не бывает дома. Всё в дороге и в дороге: чистит колосники, швыряет лопатой уголь из тендера в топку паровоза или отбрасывает шлак. Домой со станции идёт весело, широко размахивая ящичком-чемоданчиком, словно вот-вот зашвырнёт его в ближайшие кусты.

Дома ставит его за дверь веранды, улыбаясь, входит в комнату и начинает приплясывать, а то и выделывать кренделя с присядкой. Его глухонемая сестра Татьяна – красивая девка на выданье, завидев брата, издаёт радостное мычание, похожее на смех. Вертится вокруг него, тоже пританцовывая, одновременно помогая ему снять верхнюю одежду, чёрную от копоти и сажи. Мать их, Степанида Захаровна, довольная зрелищем, спешит вытащить из сундука узелок с чистым бельём для бани.

Деповская баня неподалеку. Митька посещает её с удовольствием. К тому же она бесплатная для железнодорожников. Он долго мылится, трёт себя мочалкой, льёт шайку за шайкой горячую воду на своё расслабленное мускулистое тело. Мало того – идёт в парную и там, на верхней полке, долго, с кряхтением по-стариковски, будет охлопывать себя веником, пока хватит терпежа и дыха. Потом, вылив на себя шайку прохладной воды, спешит в раздевалку, чтобы чуть-чуть очахнуть на лавке. Как всегда, знакомый банщик выплывет из клубов пара, осмотрит его и сделает замечание:

– Митя!.. Загривок-то не отёр – чернота, да и за ушами поработал плохо, надо бы домыться...

– Спасибо, Иван Григорьевич, – скажет за подсказку и ошибётся.

– Обознался, дорогой! Иван завтра на смену выйдет, сегодня я хозяин.

– Извини Петр Григорьевич, не рассмотрел, в пару ни хрена не видно...

А чего извиняться? Банщики похожи друг на друга, как две капли воды. Одни и те же тела и мордасы. Два брата-фронтовика с небольшой разницей в возрасте. Оба с протезами. Война оттяпала Петру Григорьевичу левую ногу, а Ивану Григорьевичу – правую. Поди рассмотри в полумраке, кто из них кто? В баню в основном ходят жители Стрелецкой и Черкасской слобод. Банщики всех знают, работают без номерков, безошибочно выдают вещи помывшимся из деревянных клетушек-полок. Провожают слободчан на выход тепло. Каждому пожимают руку на прощанье, словно дорогим гостям.

После бани Митька, как всегда неторопливо, шагает к невзрачному домику с крылечком – «Закусочной». Нинка-продавщица в белом халате с замызганными рукавами, наброшенном поверх фуфайчонки, завидев его, заулыбается, затараторит, но Матрасов лишь густо хмыкнет. Отвечать ей не будет, обождёт – человек из бани, понимать должна. Самое время наливать... Нинка, не закрывая рта, быстренько нальёт ему стакан «перцовки» или «зубровки». А он с достоинством момента употребит янтарную жидкость, зажуёт конфеткой, подождет нутряного тепла, чтобы потом поделиться им с кем-нибудь. Вот теперь он в равновесии с целым миром, а это – самое нормальное состояние. Зря Нинка холостяка испытывает, всё равно на свою сторону не перетянет – серьёзности нет у неё...

Выйдет на крылечко, постоит, подождёт, пока телегу обгонит полуторка, и спустится на тропинку Черкасской сло-

боды, вслед прошедшей какой-то старушки. Митька её знает – Вертикалиха, подруга его матери. Окликнет:

– Матвеевна, погоди, притормози! Шибко торопишься, давай помогу...

Вот и сегодня на его оклик остановилась, опустила на-земь тяжёлый мешок. Махонькая старушонка, хоть в рукавицу сажай, а тяговая сила – ещё та.

– Спасибочки, Митя, что распознал меня, старую, а я прошла мимо, не распознавши тебя. Вон ты какой стал возмужавший – жених! Цены нет. Таньку выдашь и сам женишься – детки пойдут, Степаниде – внучата. Радость прибавится...

Матрасов в это время одной рукой забрасывает себе за спину мешок:

– Пуда полтора будет. Зерно? Гляжу, идёшь, скочерёжилась. Дай, думаю, помогу!

– Подсоби, подсоби, он – не тяжёлый, коли уж так, по ходу сустретившись. Это я зернишко намела на элеваторе, курам. Не одним же воробьям его расклеивать. Там бегают мальцы с рогатками – того и гляди бабке глаз выбьют!

– Серёжка твой обленился за зерном ходить, поди, опять голубей гоняет?

– Голубёв нетти, опустела крыша, я ж говорю – курам. Пораздал Серёжа своих сизарей, уехал учиться на лётчика. Посчитай, одна осталась в хате.

– Вот те на! Не знал, не знал, что на лётчика. Молоток! Первый раз слышу. Давно уехал?

– Намедни, пока ты паровозил.

– Ну, дела! На глазах парень вырос. В школу-то недавно ходил. Молоток Серега! Теперь, Матвеевна, он сам крылатым сизарём станет, не то что я: моюсь, моюсь, а всё в саже...

Идут, разговоры разговаривают о том, о сём. И донесёт Митька мешок до порога её дома, и повернёт к себе, но не пройдёт и ста шагов с остатками тепла, как увидит впереди,

в пыльной траве, лежащего Тараса в позе утробного младенца. Дом его – рукой подать, сразу за акацией, нет же, каждый раз Тарас норовит упасть на одном и том же месте. Что за привычка недотягивать до собственной кровати? Растянулся, как напоказ, у края дороги. Нехорошо, надо сдать его Машке.

– Тарас, слышь, Тарас! Вставай, сучий кот, дом-то рядом, ну-ка!..

А в ответ летит нелицеприятное:

– Не тормози, Бык, мои хрущёвские кости! Думаешь, я пьян? Ничуть! Не понимаешь ты ход моих мыслей...

Как-то зимой в давке за мукой у заводского магазина Тарас вопил подобное: «Ой-ой, не дави-и-и, трещат мои родные хрущёвские косточки! Не дави-и-и!..» И полез по головам очереди к единственному окошечку, врезанному в дверь магазина, держа в зубах холстяной мешочек и двадцатипятирублевку с Ильичом. Шурок его за валенки поддерживал. Заводчане, как положено, обматюкали: куда прёшь?.. А он: «Моя очередь настала, вы что? Меня не узнаете? Смотрите!» Снял ушанку с головы, кинул её Шурку. Рассмеялся народ, уж больно схож Тарас с Первым – вылитый Хрущёв: и низенький, и толстенький, и лысый, и даже бородавка там же.

Вот и сейчас воображает из себя белую кость – лежу, не трогайте!

Митька его в охапку. Дотащил кое-как эти кости с требухой до двери, стукнул в окно:

– Мария! Выходи, принимай ненаглядного живчика!

Но Маша не оценила такую доставку мужа на дом, выглянула из окна и завопила:

– А-а-а, чертов Бык, напоил мужика, а сам на ногах, ну, погоди!..

Митька ждать не будет. Что он, Машу-Бандитку не знает, эту красавицу? Любо-дорого посмотреть на неё, да веса

в ней полтора центнера. Залепит – не очухаешься. Отошёл в сторонку на всякий случай. Издали смотрит, как Маша за шкуру поволокла Тараса во тьму дверного проёма на расправу. Ох уж эта Маша-Бандитка, известная чуть ли не полгороду. В девичестве своём однажды, когда к ней пристал похотливый армянин, так отдубасила его, что он лимоны бросил и убежал с базара. Потом, люди говорят, вышла замуж, но за другого армянина. Уехала с ним, а вернулась одна. И снова, прельщённая очередным южанином, укатила в горы. Опять вернулась одна. На этот раз переключилась на местных парней, захомотала Тараса. Уживутся ли? Или прибьёт муженька, не поняв направление его мысли...

Уже подходя к своей калитке, Митька подумал: странная эта Маша, ведь точно знала, когда выходила за Тараса, что все мужики в его роду беспотомственные. На что надеялась? Вот и живут, как мучаются.

Тарас, которого Митька сдал тепленьким Маше, работал токарем на заводе, но всё своё свободное время отдавал певчим птицам. Это была его страсть с детства. Без устали мастерил клетки, западни, плёл сетки для ловли. Особенно удавалась ему ловля чижей весной на удочку. В апреле чижи настолько беспечные, что чуть ли не сами подставляют шейки под волосяную петлю. Как правило, из пяти пойманных чижей трое бывают задушенными. Тарас же вправе похвастаться: за все годы варварской ловли нечаянно задушил лишь одного чижа – так наловчился легко снимать их с ветвей. А щеглов любил ловить сетью, края которой схватывал репьями по всему периметру рамы. Оставалось только ждать прилёта стайки, держа в руках верёвочку, замаскировавшись в бурьяне. Ловля сеткой требует терпения, как на рыбалке, зато результат лучше, чем ловля западней. Сеткой можно накрыть сразу несколько птах. Тарас их продавал, обменивал, дарил. В городе знал всех стоящих птицеловов, и его они знали. Ему не

составляло труда помочь мальчишкам определить, кого они поймали в свои неказистые «хлопалки»: самку или самца? Понятно, что самка не поет и держать ее в неволе нет смысла – надо отпускать, выдрав напоследок хвост для опознания издала половой принадлежности. Тарас щеголихам хвосты никогда не рвал, жалел за красоту. Мальцам сердито внушал: «Бестолочи, не уродуйте птиц! Вам кому-нибудь, к примеру, из задницы ногу вырвать – понравится?»

Иногда приглашал домой какого-нибудь заядлого подростка-птицелова, чтобы послушать любопытное колечко щегла или кенаря. До его женитьбы на Маше Митька не раз бывал у него дома, слушал его певунов, понимая в них толк. Когда-то оба учились в одной «семилетке» и вместе ловили и держали птиц. У Тараса это увлечение затянулось, а Митька охладел к клеткам и держал только одного щегла.

С воцарением жены прослушки чижей и щеглов в доме закончились. Многим друзьям Тараса не нравилось видеть её строгий внимательный взгляд. И Тарас время от времени запивал, растягиваясь на подступах к дому, а наутро незаметно от жены занимал рубль у соседки – Домны Павловны, чтобы по пути на завод забежать в «Закусочную». Жила Домна Павловна сразу за стеной – дом был на две половины. Домна была грозная старуха, дородная, как и Маша. К Тарасу благоволила: он ей то электропроводку починит, то таз запаяет, то курице голову отрубит. Чего рубль не дать в долг? На его половину дома не заглядывала годами, а как-то зашла и увидела на стенах клетки с чижами, щеглами, юрками, чечётками, канарейками. Вытаращила глаза и ахнула:

– Господи, боже мой, что это такое?

– Птицы, птицы, Павловна, певчие...

– Пошто ж ты их неволишь, басурман этакий?

– Как пошто? – Тарас даже удивился. – Содержу для души...

– Для душ-и-и – ехидно протянула она. – А жена на что? Тебя бы посадить за прутья без божьего света – не песни бы пел – выл по-волчьи! Курица и то вольно по двору шастает, а ты таких крохотулек в теснотище держишь. Совести у тебя нет. Немедля выпусти! Не то больше на вино не получишь...

Ушла Домна Павловна расстроенная, забыв, зачем шла. Жизнь прожившая в деревне и только после войны перебравшаяся с дочерьми в город, оставшись одна после их замужества, она не могла взять в толк, как взрослый мужик может заниматься такими пустяками?

И Тарасу невдомёк – с чего взъярилась соседка? Исстари в городе ловили и держали птиц. Какая же радость без них дома?

С грустью подумал: Павловна – серьёзная бабка, слов на ветер не бросает. Теперь до полочки деньжат у неё не перехватишь, затаила обиду, а за что? Со временем узнает Тарас, что после её гневного ухода она будет открыто называть его Чижом и постепенно приклеится к нему это птичье прозвище.

* * *

Время движется быстрее паровоза по незримым рельсам Вечного Пути, не делая нигде остановок, лишь мелькают годовые круги. Осень прошла, зима кончается, предвесенье, весна.

На высоком берегу Быстрой Сосны до позднего вечера толпятся горожане, всматриваются в зареченскую даль Беломестной, словно ожидают появления татарской конницы. Приходят многие, чтобы лично убедиться: река посинела, вздулась льдом, он начал трескаться, вот-вот стронется...

По центральному городскому бульвару оживлённое хождение. Так много жителей города собирается лишь в дни общих праздников или футбольных матчей. И вот уже передают друг другу весть: лёд пошёл!

Посмотреть на ледоход идут семьями, идут с друзьями и знакомыми или просто влюблёнными парами. Идут горожане всех возрастов в силу вековой традиции, в силу извечной тяги русского человека к разбушевавшейся стихии. Заканчивается сон природы, и начинается оживление – встряска души перед активным трудовым периодом.

Но вот лёд ушёл, содрав брёвна с пролётов моста, соединяющего Беломестную с городом. То же самое он проделал с мостами через Ливенку. Заливенская часть оказалась отрезанной от остальных, и начинается лодочное сообщение. Остатки льда белеют по берегам – сочатся в окружении грязи. Дымятся костры, жгут мальчишки прошлогоднюю траву, подсохшую на солнечных буграх. Обнажения девонского камня на крутом склоне берега Сосны точат упорно последние ручейки, а чуть выше между подпалинами старой травы уже видны зелёные пятна молодой поросли. В городском саду оглушительно орут грачи, сталкивая друг друга с ветвей, и никак не могут угнездиться.

Вот и последний день Великого поста. К единственной уцелевшей от войн Сергиевской церкви потянулись верующие со всех окрестных мест с белыми узелочками, в которых аккуратно завернуты куличи и крашеные яйца. Несут бережно, как самое дорогое, что у них осталось. Идут и идут. Шествие это в основном пожилое, женское, но неудержимое, как ледоход.

В этот день Митька-Бык прошёл мимо закуской после очередной банной помывки: недосуг, ждут его соседи – Илюнчик с Шурком. Им предстоит в его палисаднике сделать круговину для катания яиц на Пасху. День светоносный, золотистоголовый, зелёнокудрый, с голубовато-стальными метёлками полыни вдоль широкого большака Черкасской слободы, с пылью больших изумрудных лопухов, с густым серебром окрестных одуванчиков.

Митьке до дома рукой подать, так нет же, не дают добраться, бегут навстречу две знакомые тётки-слободчанки, машут руками, просят, возбуждённые:

– Митенька, дорогой, помоги, растащи дураков окаянных... Бьются незнамо за что, до крови! Окна друг другу поколотили, народ собрался, глазают, а толку никакого... Ну что ты сопишь? Поспеши!

– Кто сцепился, с кем? – наконец вопрошает Митька.

– Афанасьев с Лаптевым – шофера с автобазы.

– Г-г-м-м... Ну их, – бугаи известные, самому наложат по первое число...

– На ногах еле стоят, нажрались...

Не хочется, а куда деваться? Надо идти. Оно, конечно, «двое дерутся – третий не мешайся», но женщины просят, придётся взглянуть...

И вправду дерутся. Оба разукрашены фонарями подглазными, из носов красная жижка сочится. Распаренные, как в бане, ходят кругами друг за другом, тяжело дыша, чувствуется, что руки у них вялые. Им бы разойтись, да гордыня не позволяет, несмотря на обступивший их увещательный народ. В основном собрались бабы и ребятишки, а серьёзных мужиков никого. Завидев Матрасова, махонькая Вертикалиха оживилась:

– Давно такого не было, Митя, – ни стыда, ни совести у них. На Страстную неделю лупцуются, да ещё у детей на виду! Ах, пьянчужники-безобразники, ах, неукоротники! Как же так можно, а?

Митька густо засопел, замычал, набычился, пробираясь через круг к дерущимся, и вдруг разом грозно рывкнул:

– Отставить! Боевая ничья!

– Отойди, Бык, вружу, – неуверенно обещает Лаптев.

– На ничью не согласен? – спросил Митька у Афанасьева.

– Отметелю! – определённо бросил тот и замахнулся...

Только кто ж ему позволит? Митька его реакцию предвидел, отклонился от вялого выброса руки, дал подножку. Повалился сном боец. Тут же Митька толчком головы двинул Лаптева на лежащего. Оба не успели сообразить, что произошло, – лежат беспомощно на земле, копаются, как жуки перевёрнутые, пытаются найти опору. Два отмучившихся здоровяка дают увязать себя верёвками, невесть откуда приготовленными. Общими усилиями потащили их на отсыпку по домам, а перед этим они для вида попытались освободиться от пут. Митьку-Быка обматерили, пообещали прибить.

Интересно, с чего завелись дружки-бугаи? Митька не раз видел, как в пивной они терпеливо стоят в очереди, не лезут нахрапом вперёд, как некоторые отсидевшие своё урки. При этих шоферах никто свои права не качает, не то без слов за шкуру и на свежий воздух! Хоть ты трижды блатной, значения не имеет. Оба, конечно, подраться могут спьяну, но чтобы друг с другом? Что-то не помнится...

На станции Митька иногда узнавал их в кабинах грузовиков среди гор паровозного шлака. Скапливалось его много, а стоил копейки. Можно сказать, бери бесплатно – не успевают очищаться от него паровозы. Шлак да известь – вот и всё, что надо для постройки коробки дома. Из этого материала, считай, после войны третью часть города возвели. Впору только за это паровозным кочегарам памятник поставить. В топку – уголь, а из-под – шлак. День и ночь руками своими, а морда – чёрная...

Взгрустнулось Митьке. Лаптев с Афанасьевым хоть в войне поучаствовали, правда, в конце её. Три месяца снаряды на фронте возили, а он по малолетству на паровоз попал. Только и видел разбитые станции от Москвы до Харькова. Серёга-голубевод на лётчика уехал учиться. Может, себе пойти – на машиниста? Нет, опоздал: дом, огород, мать, Татьяна...

– Долго парился! – весело встретили его друзья.

Пока Митька банился да умирал пьяных, в его палисаднике уже шла подготовительная работа: Шурок сгрёб мусор, очистил площадку от сохлой травы. Илюнчик ладил над площадкой навес из отходов пиломатериалов и кусков рубероида. Навес они всегда делали на случай дождя.

Главную работу только начали. Митька определил центр, воткнул штырь и кружалом начертил на земле круг полутораметрового диаметра. На штык лопаты принялись выбирать грунт, вынося его подальше от места игры. Дно круговины выровняли и уплотнили, чтобы не было раковин и комочков земли. Тут требовалась особая тщательность. Илюнчик своим плотницким уровнем выверил дно. Нормально. Потом сделали наклонный врез и установили разгонную доску с желобком. Посидели, покурили, обсудили угол наклона доски. Эта доска с отполированным желобком для скатывания яиц служила им не один год и хранилась в сарае от игры до игры. Её установить надо с нужным наклоном, добываясь скатывания яйца с ускорением, без подскоков при вхождении в круговину. Потом надо проверить прокат его на вираже – нет ли помех, вызывающих тряску гонка.

Убедившись в хорошем разгоне и прокате, Митька наполнил сухим гусиным крылом вымел соринки и прикрыл круговину жостью до утра.

* * *

Наутро Пасха – Светлое Христово Воскресение.

Митька успел похристосываться с матерью и сестрой. Степанида Захаровна нашла за иконой прошлогоднее крашеное яйцо и подставила сыну – стукни-ка! Тюкнул новым, освящённым накануне. Оно выдержало удар. Положила мать его за икону до следующей Пасхи, а треснувшее старое отложила на подоконник. Потом рассмотрит, оставить себе

либо курам раскрошить. Так у них повелось с того времени, когда был ещё жив хозяин.

Сели в радостном настроении за стол. Разговение начали с кутьи. Митька разлил водку по стопкам. Почокались семейно: «Христос воскрес!» – как же без этого? Митька, в отличие от матери и Татьяны, не постился, не говел, не видел связи между пищей и верой, как и его погибший на войне отец. Из православных праздников он знал основные: Рождество, Крещение и Пасху. С Красной горкой и то путался, забывал день. На Красную – тоже надо катать яйца. Это он перенял от отца.

Сестра с матерью лишь пригубили вино – здоровье не позволяет. Митька на пальцах показал сестре: «Выпей чуть-чуть».

– Ны-ы-ы! – в ответ.

– Кум с воза – кобыле легче!

Налил себе вторую, потянулся за картофелиной и куском курицы...

А на Степаниду Захаровну нашло несветлое настроение.

– Господи! – шепчет губами, чуть не вслух. – За что такая судьба? Сидел бы Антон рядом, радовался на детей – нет, война приключилась. Ушёл, как не было. За какие грехи твоя любимица стала глухонемой? Кто замуж возьмёт? Заглядываются парни, да отваливают. Правда, один молодой, без ноги, утрёпывает за ней настойчиво. А толку? Таньке, видно, не люб, а Митька молчит, не поймешь, на чьей стороне. Я бы не возражала, пусть ходит, может, добьётся своего упорничеством. Господи...

Митька поднялся из-за стола.

– Насытился! Спасибо. Вы сидите, а мне надо Илюху проведать с Шуркой. Потороплю их. Меня, если кто из игроков придёт, пусть подождут. Я не надолго...

Шлаковая неоштукатуренная хатенка Ильи издали тор-

чала во рту улицы, как темный зуб. Илья возвёл её после войны на месте старого фундамента, а дом его в 1942 году «языком слизала немецкая крылатая королева», по выражению его жены Веры. Она с дочкой в это время находились в каменном погребе соседки-подруги. Немецкие лётчики частенько кидали бомбы на станцию, а попадали в дома, прилегающие к ней. Вернувшись с фронта, он, где только мог, собирал материал: по камешку-кирпичику, по досточке и брёвнышку, но так до конца не достроил начатый дом. Илья – и плотник, и столяр, и на все руки мастер. Ему заказы по столярке идут бесперебойно, а свою хатку доделать не хватает времени. Лицом цыганистый, но характер не взрывной – славянский, спокойный, уступчивый. Илья – молчун с бородавкой на правом верхнем веке. Глаз от этого непрерывно помаргивает, не поймёшь, то ли Илья одобряет собеседника, то ли наоборот. Зато его Вера – сущая трещотка, большая любопытница ко всему на свете и энергичная на разные начинания. В округе её ласково называют Верунчиком, а мужа заодно – Илюнчиком. Часто говорят: «Верунчик и Илюнчик – два сапога – пара». На работу и с работы шагают вместе. Илья работает на заводе в столярке, а Вера – в токарке наладчицей станков. Своё дело знает лучше мужиков – война научила.

Илья уже ждал Митьку на пороге дома. Верунчик с дочерью ушли одаривать многочисленных крестников пирожками и конфетами.

Приятели разом отправились к Шурку, чтобы оторвать его от стола. Дом Шурка, такой же неказистый, как и дом Ильи, скрывался под густыми раkitами и вдобавок окружался заборами, заборчиками, сарайчиками, калиточками, так что сразу двери не найдёшь. Шурок с Нюрой, детьми и тёщей жили по-крестьянски. Хозяйской живности во дворе

полно: куры, утки, кролики, свинья, собака. Не успел Илья открыть калитку, как загавкал пёс, и тут же рябенкий петух шустро вскочил на плечи столяра. Но не опешил он, а мгновенно сбросил с плеч петуха, отшвырнул ногой прочь:

– Как Шурок терпит этого бандюгу? Я-то к нему привык, а зайдёт малец? Глаз же ему выклюет! Петуху в суп пора...

В комнатёнке за столом семья заканчивала завтрак. Над скоблёным столом висел в деревянной рамке усатый вождь, направляя свой заинтересованный взгляд в сторону угла с лампадой – в иконный лик Николая Чудотворца. Под образом стояла ножная зингеровская швейная машина – богатство тёщи и жены, постоянный объект интереса фининспекторов. В подвесной люльке посапывала последняя дочка, а две другие уплетали за столом холодец.

Вечно улыбающийся Шурок предложил друзьям выпить, но Митька решительно воспротивился:

– Давай без этого, день только начинается, успеется!

Тёща поддержала Митьку, завидев суету невестки:

– Не по-людски, хоть и праздник, нажираться с утра...

Еще еле оторвали Шурка от стола, подождали, пока он искал свою плетенку с раскрашенными яйцами для игры. Прижимистая Нюра в это время наблюдала: не засунет ли он в неё бутылку? Наблюдение продолжала до самой калитки. Шурок в чём сидел за столом, в том и вышел. Друзья в свитерах поверх рубах, а он – во фланелевой навывпуск. Дни весногонные хотя и солнечные, но всё же зябко без поддёвок. Шурок хил телом, но никогда не кутается, даже зимой, – грудь нараспашку. У жены с тёщей – сирота сиротой, ходит обтрёпанный, но этого не замечает, улыбается, как блажной. Друзья знают – не блажной, а с кучей медалей за взятие разных городов. Хлебнул горюшка предостаточно и работает в горячем цеху, откуда через год-другой уходят даже здоровые мужики, а он всё ещё трудится. Правда, к концу недели

не добирается до дома, спяну заваливается в кусты отсыпаться. В этом он не уступает Тарасу.

Возле Митькиного палисадника уже топчется в валенках Игнат Иванович, ожидая хозяина. Этого деда Митька недолюбливал за отстрел собак. Дом его в конце улицы над оврагом. Местные бродячие собаки нередко искали в овраге отбросы и рыскали по огороду деда. Он, как видел собак, так прямо с крыльца палил в них из двустволки. Говорили, потом выделывал собачьи шкуры и шил шапки на продажу. Митька не раз корил его:

– Тебе что, зайцев мало? Всю зиму ходишь по посадкам, высматриваешь и добываешь их, нет же – на псов перешёл, помешали тебе чем-то?..

– Кому жалко псов, пусть их на привязи держит. Через овраг коротким путём ребятишки в школу ходят и из школы возвращаются. Кобелюги дичают от голода, мало ли что может случиться? Закусают или напугают! – парировал он.

Валенки Игнат Иванович до жары не снимает – ревматизм. На голове сегодня картуза нет. Треплет апрельский ветерок на макушке хохолок седых его волос: ни дать ни взять – полководец Суворов. И Тарас пришёл, греет хрущёвскую лысину, а лицом что-то хмурый.

Несколько соседок с детворой в палисаднике, как в прошлом году, тоже ждут начала игры.

Расселись игроки на табуретках, придвинув каждый к себе сумки с крашеными яйцами. Зрителям отведено место на завалинке и за палисадником, чтоб не мешали, не сыпали соринки в круговину. Матрасов взял красное яйцо, показал его игрокам:

– Всем видно? Пускаю...

С жёлоба оно с ускорением вошло в круг, прижимаясь к земляным стенкам круговины, прокатилось по полному кругу, завернулось спирально и остановилось.

– Как видите, катится без фокусов. Начнём? – предложил он.

Кивнули, приготавливая своих гонков. Митька напомнил правила игры. Правило основное – не лезь со своими правилами, они давно отработаны. Гонок запрещается подталкивать руками. Поставил его на разгонную доску в желобок – убирай руку. А как его ставить – тупым концом к себе или острым – дело твоё. С какой высоты запускать – тоже твоё дело: хоть с начала доски, хоть с середины и ниже. Яйца должны быть только куриные, а не гусиные, индюшачьи и прочей птицы. И потом: сумел твой гонок чужой тюкнуть – забирай его, не важно, чья скорлупа повредилась или обе целыми оказались. Следующий ход твой, а теряешь его тогда, когда твой гонок пробежал впустую. Засчитывается первый тюк, второй при отскоке – нет. Обычно споры возникают при вовлечении в игру малознакомых, желающих поучаствовать в катании на чужой территории. Митька им сразу говорит: «Правила наши, а яйца – ваши. Не нравится – не играй!»

Пока начали игру впятером.

– По-старшинству, – предлагает Шурок. – Гони, Игнат Иванович!

Пошла игра. Первые прогоны гонков идут формально, круговина ещё пуста, но вот набежало в неё с полдюжины разноцветных яиц-гонков, и луковый посланец Шурка, отскочив от земляного бортика, пошёл в центр круговины, тюкнул светло-коричневое яйцо:

– Мой, долгожданный!

– Забирай и гони дальше! – командует Матрасов.

Запускает Шурок, но на этот раз безрезультатно.

Катают мужики деловито с попеременным успехом. В круговине уже достаточно неподвижных гонков. Теперь игра обострится, гонки при нескольких пробегах начнут терять

скорлуповую крепость, выходить из строя и отправляться, как негодные, в корзины. Станет виднее, чья берёт. Игроки знают цвет своих гонков: у Митьки – красный, у Шурка – луковый, у Ильи – коричневый, у Тараса – голубой и синий, у Игната Ивановича – пёстрые. Так они решили накануне.

Николай-инвалид подошёл к палисаднику. Поздоровался, стоит, высматривает Татьяну. Нога, с детства сухая, покоится на выступе костыля. Он с ним ходит быстро, легко. На вид мальчишка, а на самом деле ему под тридцать. Работает часовщиком. На Митькиной улице многие знают его жениховское увлечение Татьяной.

У Тараса на лысине бисерки-испарины, во рту сухота. Оторваться хочет от игры. Обрадовался приходу Николая, просит за него поиграть. Получив согласие, побрёл, понурый. На пути, у завалинки, Домна Павловна сидит на скамеечке. Ноги, как брёвна, вытянула в шерстяных чулках, на Тараса косится, чтобы не перешагнул.

– С праздничком, Павловна, – вежливо говорит он, обходя её ножищи.

– И тебя, Чижик, с Пасхой, хотя ты нехристь... Птиц-то выпустил?

– Э-к-к, хватилась! – на Благовещенье клетки распахнул, одни кенари остались.

– А энтих што?

– Комнатные, не для воли.

– Молодец, коли так...

Тарас метит в двери Митькиного дома, за ним – Татьяна, уже понявшая, что ему плохо. Налила стопку, сочувственно смотрит, как Тарас, морщась, берёт и опрокидывает её в рот. Огурец подаёт и жестом на дверь выпроваживает. Пожёвывая солёный огурец, он успеваает заметить на стене клетку с щеглом. Удивлённый, подумал: «Гляди-ко, Бык не выпускает его второй год, а мне говорил, что одни куры остались».

Игра оживилась. Митьке начинает везти. Его вызывающе красный гонок успел расколошматить несколько чужих и всё ещё цел. Идут разговоры зрителей:

– Каждый год обыгрывает всех. Видать, яйца умеет отбирать...

– У хорошего гонка носик должен быть востренький, сморщенный!

– Чепуха! Стучаются боками, а не носиками...

– За курами уход требуется особый. Небось он подсыпает им что-то, оттого у яиц скорлупа прочная. А что подсыпает, разве узнаешь?

У Матрасова красный гонок наконец уgomонился – обошёл других, не задев их, затих в центре круговины. Очередь за Игнатом Ивановичем. Роемся он неспешно в сумке, выбирает среди пестроты своей нужный гонок, откладывает, потом ищет другой. Шурку невтерпёж:

– Неживой ты, дед, заснуть можно!

– Поспи, Сашок, поспи, будет твой черёд – разбужу.

Митька тоже медляков не любит, но молчит. Под себя других не подстроишь, да и куда торопиться – вечер впереди.

Шурку же хочется последовать Тарасову примеру. Он тоже собирается на своё место временно посадить Николая, опять стоящего у палисадника. Илья это замечает.

– Куда потащишься? Бутылка у меня в сумке. Возьми, отойди в сторонку, хлебни и сразу сюда. Оставь Коляшу в покое, не затем парень пришёл сюда...

Митьке не нравятся разговоры о выпивке раньше срока.

– Взворковались... Попозже нельзя?

– Пока бабы соорганизуются, это ж сколько пройдёт? – замечает Шурок.

Он в сторонку не отошёл, а на месте откупорил бутылку.

– Кому влить?

– Лакай, нам не к спеху, – повернулся к нему Игнат Иванович.

А в это время Митька мастерство показывает. Вот он вынимает из корзины новый красный гонок, на зуб пробует тюканьем – крепкий. Объявляет во всеуслышание:

– Сейчас этим вертуном возьму... вон то, тёмно-луковое!

И показывает, какое именно. Ставит вертуна на две трети доски. Покатилось яйцо вниз, выделявая странные петли вокруг неподвижных яиц, а потом оттолкнулось от бортика круговины, развернулось и – надо же! – взапрямь толкнуло тёмно-луковое!

– Видел, чижик-пыжик, как надо играть! – подмигнул Митька Тарасу. – Учись, пока я жив... А я вертуном своим возьму сейчас опять Шурковое – салатовое...

Как сказал, так и вышло: тюкнул его вертун салатовое у всех на виду. Забрал добычу под притихший шумок зрителей.

– Везёт! – вздохнул Игнат Иванович. – А попробуй-ка угадать в третий раз! Признаю, что нет тебе равных среди нас...

Матрасов внимательно окинул взглядом яйцевой расклад в круговине. Что-то прикинул в уме. Смотрит на игроков, потом опять вниз и на доску с желобом. Наконец решается:

– Тихо! Вы не поверите, но вон то – последнее, слева от центра на дорожке, крапчатое – моё!

Мать честная! Как это у него выходит? Поставил на полдоски гонка-вертуна, и он покатился ровненько, не выписывая петли, и в аккурат стукнул крапчатое яйцо. Между прочим, заказчика угадал, Игната Ивановича. Взял Тарас Митькиного вертуна в руки, смотрит, ничего не понимает: яйцо как яйцо, разве что форма малость странная. Глаз токаря видит в нём разнобокость и чуть смещённый «носик».

Митька рад, что смутил и посрамил игроков. Притихли они, не знают, что сказать, а Тарас вдруг выпалил:

– Бык, а это у тебя не спорыш?

– Какой ещё спорыш? – недоуменно спрашивает и нахмуривается Митька. – Ты о чём, Чиж?

– У деда спроси или у Домны Павловны, если не знаешь! Игнат Иванович тут же важно поясняет:

– Бывает такое. Это когда петух снесёт яйцо, а курица высидит не цыплёнка, а василиска. Беды жди от него!

Илюнчик радостно вскинул цыганистые брови:

– Шурок, иди сюда! Смотри, твоего петуха работа. Тебе давно говорили: оторви ему голову! Это же он пробрался в Митькин сарай и отложил вертуна. Твой огород как раз к его примыкает...

Шурок, успевший приложиться к бутылке, подходит, улыбаясь во весь рот, и говорит Матрасову:

– Антонович! Что же получается? Сам говорил: играем только куриными, а выставил петушиное. Доказывай, что не так!

– Мужики! Вы что, серьёзно? – Митька обвёл их взглядом, оглянулся на зрителей. – Какие петушинные? Дед для понта сказал, а вы рады стараться – спорыш! Петухи пошли у вас нестись, застрекотали языками. Играть надо уметь!

– Если не веришь, спроси у знающих! – возразил Шурок.

– Домна – человек сельский, врать не будет, прояснит.

– Пална! Домна Пална! – зовёт он задремавшую на солнышке старуху. – Подойди.

Услышала, нехотя подошла с завалинки.

– Вопрос имеем. Разреши. Ответь, петух яйца может нести? – спрашивает Шурок.

– Ты же носишь, а он что, в карман кладёт?

Хохот.

– Не поняла ты! Вот это красное, говорят, петушиное.

Из него выходит какой-то василиск. Может такое быть? – Митька съёт ей вертуна.

– Тыфу! Убери гадость! – морщится Домна Павловна. – Вспомнил про нечистую силу на Пасху, прости, Господи...

– Нет, ты ответь, бывают ли петушинные?

– Возьми да расколошмать, – советует посредница. – Ежель желточное сплошь да с дурным запахом, стало быть, сносок – змеиный оборотень. Сжечь такого на огне – и вся недолга!

– Слышал? – радуется Тарас. – Разбивай, Бык, яйцо и показывай начинку! Ход мыслей не понимаешь?..

Жалко Митьке хорошего гонка, да начальная шутка обернулась серьёзом – как в капкан залетел. В сердцах стукнул яйцом об скамейку, скovyрнул скорлупу:

– На, Чиж, нюхай, баламут!

Тарас нюхнул и передал Шурку.

– Нормальное! – изрёк тот и откусил половинку. – Гореть василиску в брюхе!

Игра возобновилась, но Митькино победное шествие превалось. Везти стало меньше, зато другие заиграли внимательнее, посылая гонки с разной высоты разгонной доски. Шурка развезло, потянуло на разговоры. Он окончательно усадил на своё место Николая-инвалида и отошёл к женщинам. Они уже накрывали два больших стола белой простынёю, громоздили на них тарелки с закусками, тащили лавки в сад. Степанида Захаровна не собиралась устраивать общее застолье, но пришедшая из города Верунчик поглазела на игру мужиков и тут же начала распоряжаться:

– Ну-ка, бабы, тащите из домов кто что может. Небось наготовили всего. Не скупердяйничайте, устроим себе веселые праздничное. Дело к обеду идёт! Пошевеливайтесь! Мужиков кормить пора...

К палисаднику тем временем подъехали на велосипедах

два брата: Петр Григорьевич и Иван Григорьевич. Умудряются они каким-то образом ездить на своих машинах, вращая педаль одной ногой. Костыли приторочены к рамам.

– Привет честной компании! – здороваются они, приставляя велосипеды к забору и высвобождаясь из велосипедов. Сообщают:

– На Выгонке тоже ребята катают, на лугу меж домами...

– У них понятия не те, – отзывается Игнат Иванович, – полтинники берут за выигрыши. Это же не лото. Удумали в праздник такой – на деньги!

Банщики костыли отвязали, сумки с крашеными яйцами сняли с багажников. Подвинулись игроки, брёвнышко притащил Илюнчик из сарая. Фронтовики – свои игроки, порядок знают. Сразу вошли в суть катания: кто за кем, кому меньше всего везёт, кто готов вылететь из игры. На вылет готов Николай, он больше поглядывал на Татьяну, чем в круговину. Шурок тоже – на вылет. У него остался один гонок.

Веселее стало. Братья – известные анекдотчики: один закончит – другой подхватит в продолжение темы, переходя на смежную. Конца и края темам нет. Игра игрой, а смех смехом. У Шурка рот до ушей. Илюнчик беззвучно, животно трясется от смеха, Тарас хихикает, на Домну поглядывает. Не услышала бы непристойности, не то вмиг устыдит, угомонит разошедшихся рассказчиков. Не слышит Домна Павловна, дремлет. Другие женщины заняты хлопотами в саду. Митька доволен. Опять ему везет. Смех у него басистый, короткий, для поддержания общего настроения. Он эти анекдоты не раз слышал в бане. А вот Игнат Иванович смеётся лишь временами. Скабрёзные шутки-прибаутки пропускает мимо ушей, приговаривая:

– Ну и безбожники, ну и язычники! Гореть вам в аду синим пламенем...

Прохожие заглядывают в глубь палисадника с любопыт-

ством. Их привлекает игра, задерживаются, смотрят, что получается. Неожиданно Лаптев с Афанасьевым пожаловали, Митьку окликнули.

«Чего им нужно? – думает он. – Нашли когда припереться...»

Нехотя оставил палисадник, пробрался через толпу ребятишек.

– Ну, что надо?

– Ты, это... – Афанасьев говорит, протягивая ему руку поздороваться, а другой рукой картузом прикрывает подбитый глаз. – Не подумай что зря, мы пришли по делу...

Лаптев издали кивнул Матрасову, как старому знакомому. Синяк подглазный у него заметно пожелтел.

– Коли по делу, зайдем в хату, – приглашает Матрасов. – Шумно здесь.

На ходу Афанасьев смущённо бормочет:

– Ты извини, мы давеча с Иваном малость повздорили... Ты правильно влез в это дело. Сам знаешь участкового. Служака! Нары нам были бы обеспечены – к этому шло и продвигалось.

– Ни хрена себе повздорили! – Митька хмыкнул удивлённо. – Бой затеяли по всем правилам! С чего раскипятились-то?

Они вошли в комнату, Матрасов предложил им сесть, а сам полез в синий буфет за бутылкой.

– Спяну привиделось мне, что Надька Козлова сидит в хате у Лаптя, а до этого она у меня месяц жила. Дёрнул дверь – заперта изнутри, ну я по окнам дрыном прошёлся. Потом только выяснилось, что Надька у матери своей ошивалась три дня...

– Пустяковая деваха! – подал голос Лаптев. – Нашёл себе заботу: Надьку караулить! Стану я с ней заниматься...

– По сто грамм в честь праздника и мира? – Митька по-

ставил бутылку и стаканы на стол. Оба шофера разом замотали головами, а Лаптев пояснил:

– Ни грамма! Завтра, рано утром, в рейс. Пришли по делу. У тебя есть друг столяр и стекольщик?

Матрасов подошёл к окну, показал:

– Вон, в фуфайке, кучерявый. Ильёй зовут. Классный столяр и стекло режет точно.

– Ему надо объяснять, что да как, а ты в курсе нашей драки: окна побиты, рамы выломаны... – Афанасьев снял картуз и опять надел. – Тебе Лапоть даст ключи, а мои у Надьки, она тебя знает, утром занесёт. Ты попроси Илью застеклить и рамы исправить. Работать можно в любое время. Старики наши уехали в деревню, не скоро вернуться. Не хочется, чтобы они видели безобразие. За работу мы заплатим, не сомневайся.

– Ладно, порешили, – понял Митька, – никакой платы, а вот хорошего речного песка у Илюнчика нет. Хата его стоит обшарпанная! Давно он собирается отштукатурить, да песка нет. Пару машин достаточно...

– Какой разговор? Покажешь его дом, и через неделю ссыплем!

Татьяна зашла, косясь на Лаптева с Афанасьевым. Приметила синяки у них под глазами. Зашла как бы случайно за посудой. Погремела и вышла. Митькин щегол коленце выдал в наступившей тишине.

– Хороша у тебя сеструха, – заметил Лаптев и добавил ни к селу ни к городу:

– Жаль, щегла не слышит...

– Она, Иван, чуёт пение лучше нашего, – вздохнул Митька. – Из-за неё держу, выпускать поздно, одомашился.

Добавил, чтобы закончить разговор:

– У нас в палисаднике игра идёт по старинке. Желание есть поиграть?

– Нет, нет, машины надо готовить в рейс, надолго уезжаем...

Грачи расшумелись на ясенях, кленах и дубах в старом заводском саду. Забор его как раз напротив Митькиного дома. Улица-то однорядная. Вдоль забора по тропинке почти никто не ходит в апреле, опасаясь обильных грачиных «капель». Идут и идут прохожие мимо Митькиного палисадника.

На фоне голубого неба вьётся слабослюдяной дымок из высокой трубы спиртзавода. Оттуда ветерок иногда доносит едкий запах барды. Митькина улица оглашается не только грачами, но и долгими лязгами вагонных буферов, гудками паровозов.

Игрокам звуки привычны, не замечают их. Скорее удивились бы, если бы вдруг они смолкли.

Прерывается игра на обед. Она будет продолжена после него до глубокого вечера, когда под устроенным навесом над круговиной зажжется электролампочка. Потом круговину забросят и восстановят ещё раз на Красную горку.

Хорошо сидят соседи за общим длинным столом. Лица светлеют. Нахваливают то сало с чесноком и горчицей, то розовую картошку в мундире, то винегрет, то холодец. Оттерпелись слободчане за годы войны и первые послевоенные. Светлеют души, несмотря на неустроенность быта. Восстанавливают разворошенное. Что ни день – прочнее становятся на ноги.

Татьяну посадили рядом с Николаем и Митькой. Она изредка показывает Николаю рукой: ешь, мол, нечего на меня смотреть. Вторую руку держит у брата на плече, время от времени подкладывает ему в тарелку солёные огурцы, помидоры...

Митька улыбается, незаметно отправляет их вилкой чашовщику. Идет что-то вроде игры.

Верунчик запела, и подхватили разом: «По берлинской мостовой кони шли на водопой. Шли, потряхивая гривы, кони-дончаки... Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки». Потом пошли: «Тёмная ночь», «Огонёк» и Митькина любимая – «Степь да степь кругом»...

Задушевные песни трогают Игната Ивановича, и вот уже посылает он племянника за самоваром, чтобы, значит, под вечер сообща пить чай в саду на свежем воздухе.

Отвели души песнями и вновь игроки расселись у круговины. Последние катальщики на окраине древнего русского города.

АНАТОЛИЙ **ЗАГОРОДНИЙ**

Гроза



Гроза

(рассказ)

Проселочной дорогой, петлявшей меж березовых островов, то взбираясь на пригорки, то опускаясь с них, на поворотах едва не заезжая в тихую мгlistую неглубокую речку, местами даже пересохшую, катила низкая брiчка, и в ней, на мешках с помолом, сидели двое. Один на передке, держа в руках обвисшие вожжи и на ходу подремывая, далеко еще не старый и кряжистый – дед Арсений. Второй – хлопчик Матвейка, примостившись на заднем борту, спиной к деду, свесив с брiчки босые ноги, болтал ими, так что на рытвинах пальцами и пятками загребал пыль со взбитой, как перина, колеи и глядел, как уходит назад дорога...

Только раз обочиной их обогнала полуторка с деревянной кабиной-скворешней да показался вдали обьездчик с ружьем, тут же и пропавший в лощине за речкой под темной тучкой, от которой иногда слабо потягивало душным ветерком, а так все было до одури покойно, все были одни примолкшие березовые колки, да тянулась неспешно дорога с потерявшейся брiчкой на ней. Дед Арсений с Матвейкой ехали с мельницы, возвращались из чужого села, а выехали туда еще прошлым вечером, позади были вечер, ночь и утро, и Матвейка уже истомился по дому, по двору, по мамке. И, может, оттого, что было жарко, хотелось ему попасть в большую прихожую дома, где по вечерам перегоняли на сепара-

торе молоко, в нижнюю половину его с земляным глубоким полом, на котором он любил катать тыквы, а из угла, от ямы с горшками и кринками, тянуло холодом и чем-то страшным, будто от полыньи зимой на речке. Но стоило толкнуть дверь и ступить за высокий порог, как схватывало все зно-ем, как попадал Матвейка на самый солнцепек, вздрагивая от озноба да замирая от ералаша бросавшихся врассыпную кур, замирая от взмахов потных, нагретых крыльев, из которых летела пыль, от дурного крика и пуха, летевшего в глаза, от всего этого разморенного, сонного, вдруг взрывавшегося царства глупой птицы, торчавшей все время у порога. Иные же из хохлаток так и дремали себе на завалинке в короткой тени, в давно уже высиженных лунках. Матвейка злился на кур, но привык к ним, к тому, что они всегда возятся в мусоре у порога, хотя бабушка каждый день мела от дверей этот мусор, да они его снова тут же наносили, нагребали бог знает откуда. Но как пройдешь кур и солнцепек, а он всегда, солнцепек этот, у самых дверей при всех хатах и во всех дворах, как пройдешь его, ноги утопают в зеленой, густой, мягкой кашке, застлавшей весь верхний двор напротив дома, а нижний двор, нижний начинался от задов дома – темным колодцем, раскидистой старой вербой над ним, корни которой выходили внутри колодца, в глуби его, как бы образуя из себя стенки его – витые, плетеные, черные. Дугообразные и твердые, как железо. От этих стенок со звоном отскакивали полные ведра, а пустые мялись и будто прилипали к ним. Эти же корни выходили из стены дома, тоже внутри его. Они даже подвинули от стены ларь с хлебом – тяжелый, обитый медными полосами, к которому сроду никто не подходил, кроме старшего в доме.

С этим ларем произошла целая история. Правда, во всех подробностях Матвейка узнал о ней позже, но случилась она при нем и еще до мельницы. Дед тогда проверил навесной

замок, оказавшийся целым, налег плечом на ларь и подвинул его к стенке, а потом уж с сумрачным лицом поднялся в верхнюю половину дома, обошел всех, кто был там, поглядел на всех и начал с бабушки. Бабушка забожилась, что не трогала ларя, да и не под силу ей. «Разве что молодые, – предположила она, – да ведь молодые – свои же – сыны да дочери, свои же, разве что только невестка чужая, за старшим сыном которая, да ведь она – баба. А сыну старшему, Матвейкину отцу, отцу внука твоего старшего, – плела бабушка, – какой ему резон хлеб красть у своего же отца? Разве не в одном доме живем? И вроде мирно. Да и сын он тебе. А ты отец ему. Ну а Матвейка – малец совсем, внук твой. Старшая же дочь с зятем в город переехали. А эти, – поглядела она на других детей, – Нюрка, Васька, Алешка, боятся тебя». Заговорила совсем бабушка деда Арсения. Не стал он шума в доме поднимать да из дома выносить этот разговор. Только когда вернулся с поля Николай, старший его сын, отец Матвейкин, еще раз осмотрели они ларь вместе. Убедились, что замок не сбит, доски нигде не сорваны, открыли ларь, хлеб оказался не тронут, следов чужих тоже нигде никаких не заметили.

– Кто же тогда ларь трогал? Как, что он подвинулся? – поглядел на Николая дед Арсений, разогнувшись над ларем, и повел по сторонам набрякшей шеей. – А? Кто же на хлеб позарился? Или сам?.. – Дед сдавленно хохотнул, взбросив вверх, к небу, пудовый кулак с отставленным пальцем и как бы отдернул кулак тут же. Дед явно намекал на Господа. – Сам почистить захотел? Оголодал!..

Зыркнув по ларю и деду синими очами, Николай поддержал этот разговор.

– Может, землетрясение, отец? – сказал он, склоняясь над ларем.

– Что? – откликнулся дед, а сам подумал, что, может, и вправду землетрясение было. И вспомнил, как баба ему

сегодня между прочими делами говорила про вербу, вроде как вздрогнуло в какой-то момент дерево, и сверху листья посыпались. Бабушка сама это видела, хотела кликнуть, позвать Арсения, но не нашла его сразу. «Это у тебя сердце бабье отчего-то екнуло да дрогнуло», – шумнул он на нее тогда, а теперь вроде все сходилось, не врала баба – было землетрясение. Корней же, подвинувших ларь, дед Арсений с Николаем не увидели за своей работой, хотя и осматривали ларь и с тыла, и с пода его. А увидели – может, тогда б все и объяснилось. Когда налег дед Арсений плечом на ларь – еще в первый раз, он и задвинул их, корни, вогнал обратно в стену, да в землю, да в дерево само, может, оттого оно и дрогнуло, дрогнуло, когда на него поглядела бабушка. Может, так на самом деле и было, а может, и почудилось бабе – дед Арсений не стал выяснять того вопроса: зачем зря голову забивать? Землетрясение так землетрясение. А как оно делается – про то другим лучше знать.

Однако и во второй раз ларь отодвинулся от стены да будто прыгнул от нее – на ладонь сразу отошел и еще накренился малость; вспомнил тут дед про землетрясение – частенько что-то – да с тем и налег на ларь. Бабушка в это время второй замес делала во дворе, чтобы стены дома зашпаровать, – что-то глина стала отлетать от них. Налег дед и не понял: то ли крик со двора услышал, то ли сам так матерно крикнул да крякнул – не поддавался ларь. Еще уперся дед – вроде задрожал ларь, вроде стронулся с места, но уж понял дед Арсений – дальше либо сам надорвется, либо с ларем что-то сделается, либо третье – бог знает что – худшее стрясется. Но что из трех – неведомо. Что зря дурную силу пытаться? Надо по-умному. Тут и увидел дед Арсений эти корни, несколько их было – остренькие и тупые, как рыльца или копытца, крепкие. Рубить? Новые отрастут. Назад задвинуть? Так всю жизнь будешь с ними тягаться. А и задвинешь ли?

Опасался дед: и впрямь беда великая может случиться. А самолюбие тоже не позволяло ларь с места убрать. Подумал, подумал дед Арсений и пустил их в землю – корни. Хитро пустил: через ларь. Просверлил в нем дыры, расширил их круглым рашпилем – по нескольку в тыльной стенке и по столыку же в поде вдоль тыльной стенки, пропустил через них, через отверстия, корни и, пропустив, подвинул ларь к стене, слегка повисший на корнях, затем же погнул отростки, погнул, наклонил книзу и через отверстия вниз, как через колодцы, в землю пустил. Тогда уж и выпрямился и вздохнул глубоко – непростая была эта работа, да и впрямь – невиданная. Да, крепко держали с тех пор вербные корни и дом их, и ларь с хлебом.

И все то время, пока дед занимался своей работой, Матвейка крутился рядом. Потом же, ухватившись за край рядна, на котором перед тем проветривали и просушивали зерно из ларя, помогал нести его обратно в дом и ссыпать в ларь и видел, как двигались под ним корни, покрываясь чистым зерном, и все чудилось Матвейке – шевелились они, как живые, или то от движения зерна происходило... «Ох, дед, – сказала напоследок бабушка, – как бы не просохла верба пшеницей». И Матвейка так и представил, как высоко и широко в небе на вербном кругу зацветают и шумят колосья, наливаются и зреют, а дед идет по кругу и жнет их и бросает на землю. И Матвейка даже не удивился, как это дед идет над землей, по веткам да прямо по воздуху, потому что верил: дедушка Арсений все может, только не хочет этого показывать, многое еще он от Матвейки в тайне держит...

Удобно примостившись на мешке с теплым помолом и следя за тем, как из-под железного плоского обода колеса ложится на дорогу ровная полоса, будто отставая от обода, Матвейка тихо позвал:

– Деда! А деда!

Дед Арсений дремал на передке и не откликнулся. Но Матвейке стало спокойней. И легче оттого, что он обратился к деду, что дед был рядом – все знающий, все умеющий, здоровый и сильный, только что старый. Матвейка оглянулся на него, на широкую дедову спину, и ему стало еще легче. Матвейка опять стал следить за ободом, за тем, как он раскручивается, ложась на дорогу. Взгляд Матвейки отбежал от обода, дальше по следу, назад, еще дальше, прямо к чужому большому селу, из которого они ехали. Матвейка уже совсем расхрабрился. Вспомнились ему мельница, ночь, крупные звезды над ветряком и их бричка под ними на земле, когда они остановились у мельницы. Дед натянул вожжи и с возгласом «Тпру... Стой!» первым соскочил с брички. Матвейка же помедлил, робея.

Когда они въезжали в чужое село – а мельница стояла за ним, – то было уже совсем темно. И света совсем нигде не было. То выплывал край хаты перед конем, то стог сена на задах двора, то, провиснув, плыли над бричкой, по краю ее, косматые подсолнухи, стоявшие при дороге. И Матвейка пригибал голову, спасаясь от их наждачных шкурок и битья по голове. Тут нельзя было зевать. Дорога была незнакомая. Село чужое. Никогда еще Матвейка так далеко не уезжал из дому. Кругом было темно и все настороженно тихо. Только собаки иногда взлаивали. За длинным серым строением, когда они его миновали, завернув вправо, открылась вдруг одна ночь, ничего, никаких хат, ни улочек дальше не было, только мигала лампа прямо перед ними в поле, делавшая ночь еще черней и гуще. Вскрапнули чужие невидимые кони, и длинные безобразные тени мелькнули за лампой, куда-то выросли вверх – Матвейка не сразу сообразил, что это по стене, – выросли и пропали вверх, в провале огромного косога креста над куполом мельницы. А внизу не то двое мед-

ведей, не то двое мужиков, горбатые и толстые, как медведи, от вскинутых на спины мешков, согнувшись, пошли вверх вдоль стены по шаткой лестнице, и заскрипела и зашаталась не то лестница, не то мельница. «Тпру!» – будто не дед, а сама лошадь фыркнула глубоко и долго, и остановилась бричка.

Матвейка понял, что перед ними и есть мельница, что доехали они, на месте уже, и надо вроде спрыгивать с брички, но смелости недоставало. Так он и оставался в повозке, пока дед распрягал лошадь, отводил ее куда-то и ходил улаживать свои дела. Да опять что-то фыркнуло из темноты, где-то дальше, Матвейка поднял голову и увидел вдруг белую длинную поляну, будто серебро волновалось, из него и фыркало. «Лошадь в реке», – обрадовался Матвейка и увидел ее голову над водой. «Глянь, деда, – сказал он, как только появился дед Арсений. – Глянь-ка туда. Видишь, деда?» «Илия, – сказал дед. – Илия это течет. Куда поболее, чем в наших местах!» И тут зашумело от реки, всколыхнулась вся она, и на берег вышло животное. «Гнедой купался», – сказал кто-то, показавшись из-за спины дедовой, в гимнастерке и сапогах, припорошенных мукой, и позвал лошадь к себе. И точно, животное пошло к нему. Вышло из мрака, в котором пропало, отойдя от реки, резко обрисовалось, подойдя ближе, вытянуло морду и ткнулось губами в человека, отступило назад да затрясло головой и задрожало крупом, отчего все пространство справа, слева и над ним засеребрилось водой, и Матвейка радостно засмеялся. «До стекла как бы не достала», – метнулся человек к лампе на приступке, увернул фитиль, а потом и вовсе притушил лампу, унес ее куда-то. И стало совсем темно. Только от реки по-прежнему светилось.

– Мельник с колхоза это был, – объяснил дед. – А ты никак спать хочешь? Пришибла дорога...

– Напужался я, деда, – быстро заговорил Матвейка, по-

глядывая, идет мельник или нет. – Глянул на воду – лошадь сгнула. А где мужики, деда?

– Какие мужики? – не понял дед. – А, энти? Разошлись кто куда. Да ты не бойся.

– А лошадь мельникова, деда, ушла... – Матвейка примолк на бричке, и где-то звякнуло не то уздечкой, не то цепью. – Ты, деда, че не мелешь? Баба нас ждет. Сказывала, побыстрей.

– Шплинт. Хэ, – улыбнулся в темноте дед. – Ветряк стоит, Матвей, или не видишь? Хоть так он... для красоты оставлен, а движет мельницу электричество. Беда только. Что-то сломалось там в механизме... Но Иван обещался помолоть. С нашего села он. – Дед помолчал. – Я его хорошо знаю... А ты вот, Матвей, не можешь знать. По той причине, что в войну появился ты и подрастать стал, а он ее на фронте отбыл. А вернулся – сразу сюда определен был. Как фронтовик! – голос деда дрогнул. – Сам военком его на пост до мельницы поставил. Хлеб – такое дело... – Дед сапогом подвигал оглоблю по земле, и жалобно пискнула уключина. – Тут и остался он...

– Что, как дитя, возишь оглоблей? – появился мельник. – Под утро привезут шестерню из кузни, – мельник задрал голову к небу, – первыми вас и пропущу.

Дед полез под передок за сумкой, сразу вынимая и сумку, и бутылъ из нее. Мельник внимательно следил за тем, как дед достает добро из брички, спросил же совсем о другом и прямо касающемся Матвейки.

– А что он у тебя с брички не сойдет? – осведомился мельник. И, не дожидаясь ответа, обратился уж к Матвейке:

– Первый раз у меня на мельнице?

Матвейка поглядел на деда. Дед и ответил за него:

– Первый. Он ишо так далеко не уезжал из дому, чтоб село с глаз пропадало.

– Нда, это дело серьезное, – сказал мельник.

Дед поставил сумку и бутыль на траву меж оглоблей, затем снял с брички Матвейку: «Побегай!», вдвоем с мельником подняли они и опустили на землю мешки с зерном. Мельник опять пропал и вернулся с огромным, тяжелым тулупом, расстелил его в бричке так, чтоб на одной поле можно было лежать, другой укрываться. «Ну так что, давай!» – сказал дед Арсений, взял в руки бутыль, потянул за деревянную высокую пробку, окутанную марлей, набулькал в кружку и подал мельнику... Затем сам выпил. Втроем они поужинали. Потом Матвейка лег в тулуп, а дед с мельником говорили рядом, устроившись на мешках и допивая из бутылки.

В тулупе сразу стало жарко и душно, и Матвейка раскрылся, ветерок обдул его, да от реки потянуло на лицо, когда Матвейка приподнял голову над бортом брички. Он лег на спину, сцепил руки за головой и стал смотреть на ветряк, на крест в звездах – он четко выделялся на небе, а внизу говорили, где-то шумно вздыхало и иногда глухо било о землю, пролетали над бричкой запахи пыли, травы и чего-то прогорклого и родного, потягивало кизяком и огородной ботвой, все запахи были родные, и Матвейке так и показалось, что он дома, во дворе спит, а дед с бабой говорят внутри дома под открытым окном, только что у бабы голос осип, стал как у мужика. Что-то пронеслось над Матвейкиным лицом и слабо пискнуло, затем потянуло табачным дымом: дед на ночь закурил, ходит по избе, сейчас тоже ложиться будет. Матвейка даже подвинулся в тулупе к мягкому борту, хотя дед и отдельно от Матвейки спал, подвинулся, свернулся да на том уже и засыпать стал и заснул уже, как вдруг качнулся над ним ветряк, качнулся и застрявшим в ворохе звезд верхним крылом своим потянул небо книзу за собой, сместил его, да так низко, что лицо Матвейки вроде погрузилось в туман, и у него дух захватило от холода и восторга. Да стал ветряк, повисло у него черное небо со льдами звезд

на крыле, и тогда дед Матвейкин, раскрутив, бросил кверху веревку – какую-то узловатую и темную, вроде тех вербных корней, – забросил ее на другое, противоположное крыло и потянул его книзу, да поднялось небо с краю другого, а то уж совсем заохлоло оно Матвейку, приподнялось оно, и Матвейка свободно вздохнул. И тут отчего-то ветряк затрясло, как если бы снизу кто ствол яблони тряс, и посыпалось с креста вниз со звоном...

– Ни одной звезды уж нет, – сказал голос над Матвейкой.

– Хо, звезды! Солнце уже с час как встало.

– Ладно, шут с ним, потряси еще.

Открыл глаза Матвейка, а над ним дед Арсений и мельник стоят, сбросили с него тулуп, легонько трясут его за плечо: «Вставай, весь помол проспидь».

И правда, утро уже давно на дворе. Перво-наперво бричка, в которой он лежал, стала меньше против той, что была ночью, а все вокруг раздвинулось и прояснело, но мельница тоже как бы села, а река голубинно и глубоко катилась рядом, и от воды как бы дышало все вокруг, прозрачнело, наливалось упругой ясной силой. И враз взбодрел Матвейка, глотнул, потянув от реки воздуха, и, переведя дух, покосился взглядом на лестницу, по которой ему, верно, надо было взбираться, – екнуло в груди у него. Вскинул он голову вверх – крутился тихо ветряк, будто во сне. Всеми своими деревянными частями посапывал. Да спал на ходу и словно клонился от этого, тихо падал на Матвейку. Это только дед так умел – ехать, править лошадью и спать. Точно, ветряк напоминал деда – хотя дед был поменьше, но тоже высокий, а руки у деда как у ветряка. И взял Матвейка да и себя так примерил к ветряку – мал еще. И прямо на него упал Матвейка взглядом – да врезался будто ветряк в синь небесную. Отпечатался на сини, будто был вырублен в ней, проявляя ее далекую звездную черную глубину. Прыгнул

Матвейка с брички, кое-как накинув на себя одежонку, и пошagal к лестнице и с каждой ступенькой становился ближе к куполу мельницы и ветряку тому.

Дед первым нырнул в проем двери, за ним Матвейка, а далее уж мельник вошел и захлопнул за ними дверь. Да еще куда-то выше они поднялись, как уже задуло в Матвейку снизу, и сверху, и с боков нутра мельницы, словно при поземке, бросило будто крупой, и так все было, как если бы вышел Матвейка, вывалился из дому на улицу, прямо в пургу, только улица как жерло или холодный дымоход, в котором все и отовсюду тянет, и все в нем ходит и мечется, и не только глаза видят, но и ноги под собой чувят толчки и дрожь, и передается она телу, и тело само тем жерлом становится. А лестница, перильца, подмости – все шатко, качается, и кажется Матвейке – сейчас он полетит вниз, опрокинется мельница, и воткнется ветряк в землю. «Ух-ух!» – ходят и вздыхают жернова под полом внизу. На самый верх взобрались Матвейка с дедом, а мельник ниже где-то остался. Попробовал Матвейка глянуть вниз сквозь щель, что там внизу, а тут сверху над ним да прямо на него наезжать что-то стало, будто колодезный журавль заскрипел. Задрал он голову кверху, а на него в воздушной фортке вверху прямо на него крыло ветряка опускается, вот-вот ударит. «Хх», – проехало совсем рядом, провернулось над ним. Пригнулся Матвейка, присел даже. А дед ему: «Не гнись. До времени гнешься, Матвей! Пособи лучше!» – позвал дед, а сам уж поднял на руках перед животом полмешка зерна, оставшегося непомотым, поднял и вскинул на грудь, положил боком на решето, взялся за нижние углы мешка, дернул, зерно и легло на решето холмом. «Повороши!» – приподнял дед Матвейку над решетом, и Матвейка погреб руками зерно со стороны на сторону, и сыпануло оно вниз сквозь сито, а за ним разглядел Матвейка подвижный деревянный кожух, сходящийся

четырьмя плашками книзу, к дыре, и пшеница, как в прорву, уходила в нее, в черную дыру. Будто из колодца дохнуло на Матвейку оттуда. Погреб еще Матвейка, а внизу быстрый легкий затор из зерна образовался, да увидел Матвейка, как затягивало зерно в дыру, как шевелилось оно и опадало и разом рухнуло в узкую мглу. «Теперь вниз, – гуднул дед, – собирать помол». Чуть задержался Матвейка на лестнице у медленно едущих жерновов да попробовал встрять взглядом меж камней, чтобы зерно увидеть, как оно трется там, ничего не разглядел и, жалея о том, спеша за дедом, озираясь кругом, слетел вниз, очутился уже у открытого ларя, и уже подхватил его дед и поставил в ларь босыми ногами прямо в помол, да порхнуло ему еще на ноги мукой из обвисшего брезентового рукава. Раскрыл дед, поставил перед ним пустой мешок, тот самый, из которого зерно в решето ссыпали, вогнал Матвейка, как в масло, легкий совок в помол. Поднять его – а он не подымается, пристал будто. «Посунь», – посоветовал дед. А Матвейка сторяча прямо вверх рвет его, присел аж, порхнуло на него снова из рукава, и Матвейка вдруг понял, откуда так горьковато несло с вечера на него. С мельницы – мукой. «Посунь совок! Не рви к небу! – крикнул дед. – Сцепление в нем крепкое, как в цементе». Посунул Матвейка, и совок легко вышел из помола, как из масла. Набрали они полмешка и на свет вышли, а там, наверху, уж другие люди ссыпали зерно в решето. Вышли они, а кругом все тихо, и мельница даже не дрожит, стоит себе, и не подумаешь, что там, внутри, такой сквозняк, гул, пурга. Тихо кругом, и телега покойно стоит под мельницей.

Снес дед мешки на бричку, запряг лошадь, вышел мельник попрощаться с ними, и тронулись они обратно в дорогу, домой теперь. Ехал Матвейка – а дед подремывал впереди на мешках, всю ночь-то не спал, – отъезжал Матвейка от мельницы, от чужого села, от последних хат его под раскидистыми

зелеными деревьями. Взобралась бричка на широкий холм, перевалила через него, и пропало все. Глядел Матвейка на обод, на ленту под ним, убегающую назад к чужому селу, и верил и не верил, что все это с ним было. А было ведь!

Переживал Матвейка наново свою дорогу, и все вспоминалась она ему опять. И уж забыл он как-то даже про дом, про мамку, про двор свой таинственный. Совсем расхрабрился. Как петушок, поглядывал с брички. И так полагал, что чуть ли не с дедом сравнился: и зерно отвез на мельницу, и помолот его, и собрал в мешки. Да, было дело, что там говорить. Вон мельник как расспрашивал про жизнь, пытал его. Любопытно мельнику знать про него. И за руку попрощался, как с дедом. Оно б надо деда посадить назад – пусть себе спит, – а Матвейке сесть на передок и править бричкой.

Хотел оглянуться Матвейка на деда и отвлекся: от куста чилиги, обсыпанного желтенькими цветочками, то ли выпав из него, то ли схоронившись под ним от солнца и напугавшись брички, запрыгал неровно птенец. Высоко скакнув, упал на голый бугорок, да прямо грудкой. Ударился о землю и вроде мертвый лег там. Оглянулся Матвейка на деда – дремал дед – да спрыгнул Матвейка на дорогу поглядеть на птенца. Немного неловко спрыгнул, вскочил на ноги, а уж потерял из виду бугорок. Туда-сюда пробежал – нет нигде птенца. Глядь под ноги, а он прямо тут, под ним. Дышит часто птенец и смотрит на Матвейку – замер Матвейка, шагнул к птенцу, чтоб взять его, протянул руку, а тот «фырк» и взлетел прямо из-под руки. Оторопел Матвейка. И за птенцом. В балочку тот вроде упал. Осторожно пошел Матвейка по траве, вынося, поднимая ногу над травой и ставя ее впереди на пятку, да прежде разглядывая то место, куда ставил, чтоб не хрустнуло там, – не спугнуть бы птенца. Только что рой кузнечиков мешал Матвейке, подвигаясь впереди него. Да сухая трава понизу шуршала все же и колола пятки. Из-за

этого Матвейке приходилось мельчить шаги, пяткой, и той всей сразу не ступишь, надо прежде поскользнуть ею, примять колкий прошлогодний сухостой. Бегом ничего, а когда осторожно – колет. Зато зеленая трава повыше ласкала ноги, но, когда попадался ковыль, уж больно щекотал он под самым коленом, попадая прямо под сгиб распушившимися прозрачными метелками, – Матвейка б и не замечал, может, его прикосновений, но этим ковылем всегда щекотал его дед, водя им по Матвейке в самых щекотных местах – под тем же коленом или у шеи, где понежней была кожа. Меж тем Матвейка продолжал красться и уж очутился на краю балки, небольшой и продолговатой, густо забитой зеленым, из которого посередке поднималось дерево. С верха его, толкнув ветку, снялась крупная птица и низом полетела по-над полем. Матвейка вздрогнул и проводил ее взглядом. Взглядом искал птенца. Но не нашел его. А в балку не решился спуститься, обошел ее. Поглядел лишь, как вылетали из нее жуки, висела, дрожала над балкой мошкара, – парно там было, как в сарае. Трава такая, что в нее провалиться можно с головой. Лопухи бывают высокие да на кочке растут, а сами не держат – только ноги и подворачивать. Может змея быть. Может, и птенца она уже съела. Да трепет пробежал по траве, вроде кто задергал ее снизу. Отбежал Матвейка, птясь, повернулся – мамочки! – повязало язык Матвейке.

А кто хоть раз рвал ягоду в лесу ли, в поле, в степи, по балкам и лощинам, по рекам, по обрывистым берегам, берегам пологим, скользким и черным или из песка одного – мелкого, чистого, сыпучего, с кем хоть раз такое было, тот вспомнит, как дрогнет при виде места такого в груди и как кисло вдруг станет на языке, сведет горло, сглотнется, делаешь шаг-другой да припадешь к кусту, и глаза ничего не видят, кроме ягоды, которую рвут, хватают руки, бросают ее в рот, и жуется, и глотается она, меж тем как глаза ищут, а

руки снова рвут. Бредет человек от куста к кусту, пока первый приступ ягодной лихорадки пройдет. То и с Матвейкой случилось. Оказался он у пустышного обрывчика, по отвесу обрывчик с голень или и того меньше, а дальше медленный спуск к пересохшей в этом месте речке, дно которой из песка, покрыто редкими лопушками и все просматривается, а весь спуск к нему сплошь одного вида ползучим пышным листом покрылся – ежевичник, – и сквозь него издали видно – накрапано. Будто крупный дождь прошел, пролившись с черных туч, да застряло по капле там и сям, провисло. Спрыгнул Матвейка с обрывчика, раздвинул листья, слегка отдававшие пылью, а там будто дегтем измазано все – и песок, и шершавые тылы листьев, и бегущие от куста к кусту плети. Дергал Матвейка ежевику, а далеко у поворота реки отзывалось – крупная дрожь, затихая, бежала по плетям во все стороны, будто ожил склон, задвигался и пополз куда-то. А начавшийся уже легкий ветерок помогал этому движению. Да ничего не замечал Матвейка.

Сперва без разбора рвал ягоду, а как свело рот и совсем повязало язык, стал выбирать покрупнее, поспелее ежевику, с лопнувшими и опавшими уже чуть ячейками, размягченную, похожую на округлые черные соты, когда осы только начинают вить свои гнезда, прилепившись где-нибудь под веткой, а бывает, и на видном месте – под дверным косяком или еще, как видел раз Матвейка, под оглоблей, когда бричка долго стояла без дела у них во дворе. Только черные эти соты, полные и закрытые.

Стал перебегать Матвейка с места на место, от куста к кусту, дошел до поворота, за ним ниже вода блеснула. Матвейка уже и не рвал всякую ягоду, а высматривал какую-то необычную, особенную, должна же была быть хоть одна такая. То он еще поверху шел, а тут внизу очутился, у самой воды. У небольшого озерца. И на другой склон поднялся.

Там тоже стлалось и чернело. Но прежде напился Матвейка. И на лицо поплескал воды, и руки он пробовал отмыть от ежевики, но застыли у него руки в воде. Он не в самом озерце с водой возился, а чуть над ним. Чуть над ним родничок пробивался из земли и стекал в озерцо, и не родничок, бочажок даже, заросший упругой зеленой травой, стоявшей на мшистых кочках. Чернела кружком вода. Полон был бочажок. А в середине иногда серовато булькало. Да застыли руки у Матвейки. Макушку напекло, а руки даже померзли от воды. Воду он замутил. Присел на корточки и стал ждать, пока она отстоится. Отстоялась она, а Матвейка все смотрит на воду и чувствует, как она тянет к себе. Отодвинулся он от бочажка, а нестерпимо ему снова пить хочется. Да стало все как-то иначе... Как под вербой у колодца.

Матвейка всегда с боязнью подходил к колодцу. К нему были проложены мостки поперечными горбыльками, и до половины они тонули, хлюпали в воде и сами же на корнях вербы лежали. Что там, под ними, да под чавкающей водой, да за корнями, – и не видно, но чудилось Матвейке – ниже – пусто все, обломятся корни, на которых лежат горбыльки, и он провалится вниз, не дойдя до колодца. И даже сны ему такие снились. Вот почему, когда он облакачивался о сруб колодца и смотрел в него, то не забывал и о ногах, о горбыльках, на которых стоял, смотрел вниз, а носками щупал за колодезем и ждал, не уйдет ли там все из-под ног. И крепко держался за сруб на всякий случай.

И теперь Матвейке почудилось, будто может уйти из-под ног земля. А не было ему за что уцепиться. Скрепился Матвейка, прогнал страх, да не чавкало же здесь под ногами. И бочажок был мал. Нашарил Матвейка рукой прутик, ткнул им в воду, и не весь он намок даже. Еще потыкал им Матвейка, а тогда уж оперся у самого края бочажка на руки, склонился лицом над ним и принялся пить, ловя самый

столб бочажка, место, где вода была сероватой, как снег весной, когда он протаивает.

Пьешь когда так воду, вроде не видишь в это время ничего, а напьешься, глянешь вниз на воду... Глянул Матвейка и уперся взглядом в верхнюю стенку бочажка под водой. Как тень вроде там прошла, остановилась, заколебалась, и уж различил Матвейка вроде щупальца что-то, отростка противного, точно корень то колебался, выходил из стенки, – неужто так далеко верба распустила корни свои? А дерев рядом нету... или что-то другое то?! Отпрынул Матвейка. Встал на ноги, еще задержал взгляд на бочажке, на том, как выталкивает столбик из земли, а кругом него темно и будто кружение идет, и не столб там, а воронка чудится. На миг задержался Матвейка, а уж почувствовал, как голова кружится. Не быстро, не сразу, опять пяясь, отошел он от бочажка и стал взбираться по склону наверх. И пока он был внизу, еще не замечал перемены в погоде, и пока лез, не замечал, так и думал, что склон ползет оттого, что он дергает ногами ежевику и все это движение на склоне от него идет. Однако заспешил он. И холодно стало. От бочажка, видно, набрался холода. Не замечал еще Матвейка холодного ветра. Пробрал его бочажок. Только когда стал на гребне, обернулся назад, а под ним ежевичник ходит волнами и плывет склон. Гоняет ветер листья, треплет их, бьет друг о дружку, гнет к земле, а то отрывает от земли полегшие плети, обнажая землю, да будто стегает ими ее. Застыл Матвейка над склоном, глаз не может оторвать от него – рубашонка надулась, волос отлетает от головки, – а расходившийся склон вздымается, вскидывается, цепляется языками за гребень, сейчас одолеет, перевалит его, в степь подвинется, запутает ее – не проберешься. Отшагнул Матвейка от гребня, стал на ровное место, оглянулся в последний раз – да бежать к брличке...

А ни дороги, ни брлички, ни деда – никого кругом... Один

Матвейка в мире! Посередине земли и неба, на ветру. А гонит тучи вверх. И низ клубится пылью. Темнеет воздух. Бочажным холодом наливается. Вот-вот первые капли падут.

Поглядел Матвейка в одну сторону – вроде он не был здесь никогда, не проезжал, поглядел в другую – чужое все. Оглянулся на речку – и к ней, родной она уже ему стала. Перевел взгляд на ту сторону, а та сторона пониже – показалось или нет? – балочка там с деревом. Там деда!

Матвейка к ежевичнику. Бежать через него. Но он кипит листвою весь! И бочажок же там, внизу, прикрытый полегшей травой, – не разглядишь его. А озерцо как с землей слилось – потемнело, не видно границы воды. Заметался Матвейка по берегу. Перебежал дальше. Там тоже ежевичник. Остановился он. Собрался с духом. Собрался с духом Матвейка, закрыл глаза и нырнул в ежевичник...

А как нырнул он в ежевичник, тут и задергало его, ухватилось за Матвейку, потянуло к себе. Рванул Матвейка руку – повисло на ней. Да опять его крутануло, повлекло куда-то, обвилось вокруг тела, и задержало, и с разных сторон потыкалось, поколотилось об него. Крепко зажмурился Матвейка. Господь с ним, что там тыкается, только б не открыть глаз и не перепугаться вконец. Не удержишься, разлепишь веки – хуже станет, на месте кончишься, слышал Матвейка про то. Вон оно как делается что-то вокруг него, шушукается, пересвистывает зелено-темно, тонко-тонко, да шмыгает все, шлепается рядом и на него, облепило уж, попристало, внутрь скользнуло за рубашку – рази шкурки листа? рази плети бегут, ищут его? Да отчего-то опять на миг вспомнились ему корни вербные, будто в них это он осел, схватили они его и не отпускают. И все как мордочками кто-то тычется, да клювами долбит, да ноготками – цап-царап, лапками – шлеп-шлеп, ручками – хватъ-похватъ, муторно стало Матвейке, крикнул он, рванулся – отстало все от него, хрястнуло, пере-

ломилось, утянулось назад, отпало – стал падать Матвейка, точно в дедов колодец его забрасывало. Долго он летел вниз, окутанный враз тишиной, будто в пустой, длинный, как в сказке, колодец падал. Как упал, расширился колодец во все стороны, стал землей, и все как на земле здесь, только сказка это – видит он сквозь ресницы или то уже через травяные нити? – видит он, открыв глаза, прямо перед собой, перед лицом бочажок. А по нему – клеп-кляп, клеп-кляп и закапало, и каждая капля, упавшая в воду, чуть углубляла место, в которое падала, и чудилось оно новым бочажком, только народившимся, да западали бочажки с туч, зарябило от них в глазах Матвейки. Пошел дождь. Уж в шум превратился. И в шуме этом прогрохотало над Матвейкой глухо и отдаленно. Не то всадник скакал где-то, не то гром перекатывался по небу, не то дождь так сильно стучал.

А скакал за берегом по дороге дед Арсений. В село чужое. Назад. За ним, Матвейкой.

Дремал дед Арсений на повозке, дремал, а как налетел ветер да трянуло еще бричку на рытвине – пришел в себя он, а уж гроза начинается. Проснешься так и прямо в грозу попадешь. Крикнул дед Матвейке, чтоб держался тот крепче, стеганул лошадь – быстрее до села надо, – рванула лошадь, с ходу взяла, и полетела бричка вперед. Да не сбросило ли там Матвейку? Оглянулся дед назад, и, как вкопанная, стала бричка. Протер глаза дед да выругался – не было Матвейки. Пошумел, покричал дед Матвейку. Развернул бричку да бросил ее там, распрягши коня. Вскочил на него и погнал коня галопом, да назад, назад – может, где на дороге выпал Матвейка, а может, и в селе остался.

Стегал дед коня, и чем дале, тем сильнее гнал, и чем дале, тем более росла тревога, чем дале – все меньше оставалось надежды: сгинул внук, что ж ему в селе оставаться? Сгинул! Хлестал дед коня, а деда ветер и вода хлестали, и безнадежно

он гнал коня, уж так гнал, словно и коня, и себя решил заморить... Чтоб пал конь посередине дороги, а с ним и сам дед, да грохнулся б с коня наземь так, чтоб и костей не собрать, и праха, не все ль равно теперь. Безнадежно гнал он коня. А глянул бы кто со стороны – всадник с почерневшим лютым старым лицом скакал по дороге. И то ли безмерная тоска вычернила его, то ли время, решив обессмертить, слило лицо его с темной водой и ветром. Да дало силы ему безмерные. И тысячу коней загнал бы, чудилось, всадник, а все б скакал, и ничто б не остановило его, пока сам бы себя не пожег он огнем. Тем огнем, что горел в глазах его на темном лице, подобном тому огню, что копится в небе перед грозой, да уходит потом в землю, да проливается дождем, да сам себя же пожигает.

Прогрохотало над Матвейкой. Опалило огнем. Вскочил он на ноги, прыгнув от бочажка, от темной воды, в которой полыхнул холодный небесный огонь. Загрохотало, засверкало по всему небу. Зачастили капли, забарабанили по листе, прибили ее. Не помня себя и не ведая уж, как взбежал, взлетел Матвейка по склону, по листьям, по плетям вверх. Глянул – никого...

А уж внизу полным стало озерцо и слилось с бочажком, и скоро уж из озерца должна была пролиться вода, верно, с шумом и ревом ринуться по тому месту, где только что был Матвейка.

Глянул Матвейка вниз – жутко. Глянул Матвейка над собой – и там все бушует, клокочет, бегут косматые тучи, будто ежевичник ползет по небу и сыплется вниз черный дождь. А брички с дедом нет. Бросил Матвейку дед. Или ветром сдуло его, смело с земли. Да поклонилась трава к земле, и намокла, отяжелела земля, попримчалась к ней дорога, поклонились за дорогой, погнулись книзу косяки дерев, пораспластались, порасшумелись, зароптали. Повытягивались, повытянулись ветви с листьями вдоль земли, как кочующие куда-то птицы.

И черно было в их стороне, черно от деревьев, особенно там, где теснее смыкались они, шел оттуда стон, треск и свист, протяжно вздыхало там и ворочалось, будто залегло в этой зеленой исчерненной массе тяжелое и огромное животное и пыталось встать и выйти оттуда. И грозно шумело от еще полой реки. И все ниже нависали водяной толщей тучи. А между всем на голом ровном месте дрожал Матвейка. И нигде никого, ни одной живой души не было. То ли попряталось все живое, то ли оборотилось этими деревьями, травой, землей и всем, что на ней было зеленого и трепещущего. Образовалось вокруг Матвейки движение безостановочное, многозвучный стоязычный говор, дыхание и биение, и огонь, как в кузне, и ворчание, как в котле, и урчание пса, и птичий клекот. А нигде ни птицы, ни зверя. И остро схватило сердце Матвейки. Темная сила приковала его взгляд к траве и смутно обозначила в нем желание стать травой. Слиться с нею. Оборотиться травой, стеблем, листом. Или еще глубже спрятаться – стать сеткой корешков или даже теми страшными вербными корнями, засевшими во тьме и разбредшимися по ней. Так страх приковал его к корням, от которых он набрался страха. Да в какой-то миг так и показалось Матвейке: уходит он в землю, во тьму, возносясь в одно время над нею. Точно деревом стал Матвейка. Да острым было то желание. Впрямь слился он с корнями, стволом и подрагивающими побегами его. И в миг слияния этого и возврата к тьме отпустили его все страхи (чего ж ему было теперь бояться?), и в самый миг отпущения этого, немедля, тотчас озарило все небо, озарило пышную зеленую крону, обожгло косым синеватым светом ее, встопорщились, ощетинились, встали ребрами к свету листья и пропустили свет к земле. В налетевшем ветре засияла крона, разбилась о нее ветер, и помножился общий шум. И отнесенное ветром пламя, косо прогнувшись, вошло в землю и будто на миг высветило тем-

ные недра ее, в которых, как в воде, повисли тугие мутные клубки. Будто в себя заглянул Матвейка. Закружилась у него голова. Затрепетал он в ужасе и восторге. Сами брызнули слезы и смешались с черной водой. Брызнули слезы, и всхлипнули далеко внизу корни. Всхлипнули, втянули в себя влагу земли, неся ее кверху, и сверху же лило вниз. Бурлила земля. Но сладко ныло сердце у Матвейки. Повязался он с дремучей силой. Да большее желание схватывало его. Будто не вокруг него, а в нем, внутри, в глубинах его, разверзлось и высвободилось, в темных недрах его забушевал тот огонь и тихий свет его, – зашумело, загрохотало, началась гроза. И было два мира, а стал один. Сам Матвейка стал той силой, стал Матвейка огнем, водой и ветром, метал громы и молнии, гнул деревья да вырывал их с корнем из земли и ворочал по ней, разносил в щепы да пожигал их, а уж новые корни затачивал вниз и возносил кроны над землей. Эге-гей! Хорошо бушевать на земле. Бежал Матвейка по дороге, сжав кулачки, в потоках воды, сам синий и черный, как молния, как та сила, что рождает этот пронзительный свет, да жадно ловил ртом тугой воздух, задышался в каком-то смертном, искупающем все восторге. И упал так Матвейка набок, на землю, на миг утратив сознание, – точно ком грязи, опутанный травами, покрытый соками их, и уж правда не отличим был от земли. А все продолжали вертеться в нем огненные волчки, бежали огненные токи крови и бурлила жизнь – как в начале своем, также похожем на смерть. И так же, как вначале, охватил Матвейку страх. Еще и не приходя в себя, почувствовал он всем тельцем, как томится и вздрагивает земля, как пошевеливает его, подвигает куда-то, и все под ним бурлит, переливается, несутся вокруг токи земные...

Словно был он в той горячей кузне или даже в мехах, которые сдавливали его, в каком-то безмерном брюхе, где все животворилось. Где было горячо и жарко, и только он один

дрожал, и только ему было страшно, только его давило со всех сторон, отторгало, отчуждало, выбрасывало, будто выталкивало его из корней, из воды, из огня, из земли, в которых он был еще так недавно, и все мучительно в нем и вокруг него содрогалось. Закричал он и с тем криком пришел в себя.

Снова побежал той же дорогой. И не видел, как настигал его дед, скачущий обратно из села. Только чуял Матвейка за спиной грохот, все нараставший, и все быстрее бежал до брички, в которой не было никого, и как увидел он, что пуста она, тут и настиг его грохот. Сжался Матвейка – снова бы ему в землю! Оглянулся назад да увидел деда, и в тот же миг обожгло его, опалило: хлестанул его дед кнутом поперек спины. Кинулся под ноги ему Матвейка, и всхлипывал, и дрожал. А дед обнимал его, глядя по спине, и что-то говорил ему, и потухали в очах его молнии, в то время как дождевая влага застилала их.

С той поры стал запоминать Матвейка дни своей жизни. С той грозы память пришла к нему. И уж долго, а пожалуй, что и никогда не проходило у него такое чувство, словно тогда только он и родился, когда почувствовал, как отторгает, не принимает его земля, как нет места ему в корешках, как холодно и сиро ему на земле... И уж никогда не проходило совсем это чувство, от которого хотелось плакать и в обычные дни... От полного и ничем не восполнимого одиночества на земле, а может, и в мире всем, которое особенно дает знать себя весной, в дни полнолуний и повсеместного цветения, в дни весенних гроз, которые словно напоминают о порушенных связях с землей, о том, что были и они когда-то! Может быть, затем и бушуют грозы в небе, чтоб напомнить о том...

1978

АЛЕКСАНДР **ЛЫСЕНКО**

Маршал и тромбонист

Экспромт

О том, чего не знает
Василий Катанов



Маршал и тромбонист

(рассказ)

Дождь моросил вторую неделю. Свинцовое небо, казалось, никогда не было голубым и высоким, а солнце оставило этот чешский городок навсегда.

Как на старинных фотографиях, все цвета находились в диапазоне двух красок – черной и белой.

Даже яркие пятна одежды блекли от влаги и превращались в серые. Одни августовские цветы стойко защищали свою палитру красок, хотя туман и морось старались укутать и их.

Два флага – СССР и Чехословацкой Советской Социалистической Республики ниспадали по огромным флагштокам на плацу военного городка, где остановился Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств – участников Варшавского Договора. Маршал прилетел в ясную погоду и вторую неделю не улетал по причине ее нелетности. Конечно же, маршала могли отправить чрезвычайными мерами в любую минуту, но такой необходимости не было, все дела Главнокомандующий решал спокойно в уютной резиденции, одной из многих, разбросанных по всему миру, а в свободную минуту прогуливался в спортивном костюме один по близлежащим местам, отдыхал от постоянного сопровождения охраны и прочей

военной челяди, которая неизменно сопровождает высшие военные чины.

В одну из таких минут маршал забрел в дальний уголок яблоневого сада, за которым бодро играл оркестр. Когда он подошел к ограде, уже стояла тишина, музыканты разбрелись, и только тромбонист по-прежнему что-то наигрывал.

Главнокомандующий с удовольствием стал наблюдать за тромбонистом, который, не видя свидетеля, так резво работал выдвигной кулисой, что все три с лишним октавы звуков, казалось, были охвачены разнообразными мелодиями. Звучали отрывки из довольно трудных маршей Чернецкого «Парад», «Вступление Красной Армии в Будапешт», «Салют, Москва»...

Только один раз была чуть сфальшивлена ля-бемоль первой октавы первой позиции. «Губами надо подтягивать, губами!» – не удержавшись, проговорил вслух маршал.

Тромбонист с удивлением посмотрел на немолодого мужчину в спортивном костюме.

– Ты кто? – спросил он на чешском, подойдя к забору.

– Сотрудник из резиденции Главнокомандующего, – ответил маршал.

– А играть умеешь? – спросил тромбонист.

– Не пробовал, может, и умею, – как-то неловко сострил маршал.

– На, попробуй! – протянул тромбон чех. Главнокомандующий не оробел, взял инструмент, повертел в руках. Это был прекрасный французский «Сельмер» с баховским мундштуком. Сразу вспомнились годы молодости, когда учился играть на тромбоне у императорского тромбониста и о таких инструментах, как сейчас, можно было только мечтать...

Музыкант ждал, когда русский заиграет, а маршал брал в руки инструмент очень редко, лишь в минуты воспоминаний, прекрасно понимая, что его «мастерство» даже не подлежит критике. Смело поднеся к губам тромбон, Главнокомандующий сыграл маленький отрывок из марша «Парад», потом еще отрывок, где сложные «верхи», и закончил губной трелью – все, что помнил от своего учителя-виртуоза.

– Неплохо! – заключил тромбонист. – А где ты сейчас играешь?

– Да практически нигде. А скажи, какой инструмент сейчас лучший в мире?

Несмотря на разницу языков, они неплохо понимали друг друга.

– Есть неплохие «Велтклян», американские «Сельмер», японские «Ямахи»... – начал перечислять чех.

– Вот с мундштуками проблема, я свой выменял на серебряный портсигар, доставшийся от деда. Все, что в магазине, – ерунда: то полнота чашки маленькая, то дырка маленькая.

Так они разговорились о жизни, что маршал чуть не опоздал на ужин и могло быть «ЧП» в резиденции Главнокомандующего.

В первую очередь поговорили о марках тромбонов, о мундштуках, о репертуаре. Тромбонист пожаловался, что не может найти новый квартвинтель и что тот дорого стоит, а заполнять звук от ми-бекар большой октавы до си-бекар контроктавы больше нечем. Далее перешли на бытовые темы. Очень понравилось чеху, когда маршал спросил про жену, назвав ее по-чешски – манжелкой. Расставались они уже друзьями, и маршал обещал завтра в это же время навестить тромбониста. Музыканты были в режиме повышен-

ной готовности, оркестр всегда сопровождал отъезд Главнокомандующего, а тут из-за плохой погоды вылет самолета постоянно откладывали.

– Когда улетит этот маршал? – посетовал музыкант новому другу. – А то мы торчим здесь, как на учениях, даже домой не отпускают...

Маршал улыбнулся, сочувственно покачал головой и под большим черным зонтом, который спас его с тромбонистом от дождя, отправился в резиденцию.

Настроение Главнокомандующего поднялось, перед глазами вставали картины далекой юности...

Вот старинная русская деревня Верхняя Любовша, на Орловщине, золотистые вечера, склонившиеся ивы у реки в лучах малинового заката, запах спелой пшеницы и желтые звезды подсолнухов.

Вот поверженный рейхстаг, на стенах которого он, подполковник, ставит свою подпись солдата-победителя...

Вот он – Главнокомандующий Группой советских войск в Германии, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны СССР, теперь Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств – участников Варшавского Договора, Маршал Советского Союза...

Везде, где ни приходилось служить, маршал старался не уронить достоинство советского солдата. По всему миру авторитет советского воина был так высок, что иного достойного и уважаемого противника солдату Запада не было ни в литературе, ни в кино, ни в драматургии того времени.

А в жизни было еще нагляднее. Мало кто осмеливался перечить советским военачальникам или даже солдату в мелких бытовых ситуациях. И мир на планете стал реален,

исчезли большие войны, а мелкие быстро «тушились», не успев разгореться.

Правда, все это давалось нелегко и не так просто, но в целом, казалось, жизнь, уже достаточно большая, была прожита не зря... Вот и тромбонист напомнил о далекой молодости кстати...

На следующий день маршал, как и обещал, пришел к заветному забору один, с зонтиком и почти в таком же спортивном костюме. Тромбонист не заставил себя ждать и вскоре оказался рядом, обогнув где-то забор. Они пожали друг другу руки и опять углубились в дебри музыки и жизненных вопросов. В конце встречи маршал вдруг сказал: «А что до советского Главнокомандующего – не волнуйся, завтра он улетает, ваша жизнь будет снова спокойной!» «Не может быть! – воскликнул тромбонист. – Смотри, какие тучи!» «Улетит, улетит!» – махнул он на прощание рукой.

Не прошло и суток, как тучи над городком стали рассеиваться, дождь полностью прекратился, на аэродром привезли оркестр и солдат почетного караула. Начался процесс торжественных проводов Главнокомандующего. Вдруг во время пути по ярко-красному настилу маршал стремительно свернул к оркестру, только что сделавшему паузу по протоколу. Никто не мог сообразить, в чем дело, а Главнокомандующий напрямик направился к тромбонисту, замершему от удивления. Теперь он, конечно же, узнал своего русского друга, только был он не в спортивном костюме, а в великолепном парадном мундире Маршала СССР со всеми регалиями и наградами. Маршал дружески пожал ему руку: «Привет! Я же сказал тебе вчера, что Главнокомандующий улетит. Вот видишь!»

Над аэродромом повисла мертвая тишина. Глаза тромбониста, кажется, издавали легкий хрустящий звон...

– Та, та, та... – только и мог произнести музыкант.

– Ну, пока! – рассмеялся маршал и пошел восстанавливать протокол отбытия Главнокомандующего.

После последних аккордов, прозвучавших вслед исчезающему самолету, весь оркестр бросился к тромбонисту:

– Ты что? Знаком с самим Главнокомандующим?! Откуда? Почему скрывал все это время? Мы тут две недели репетировали, как заведенные!

А музыкант, уже оправившись от такой встречи, произнес густым басом:

– Это старый друг мой, репетировали вместе, он тоже тромбонист. Вот и общались эти дни, не до вас, братцы, было!

На следующее утро тромбониста вызвали в штаб, где вручили ему ключи от новой квартиры и погоны следующего воинского звания, – так, на всякий случай, а то вдруг Главнокомандующий спросит: «А как там мой друг-тромбонист?»

Экспромт

(рассказ)

Медицинская комиссия в армии – лёгкое приседание по сравнению с фронтальной проверкой школы, во время которой каждый учитель чувствует себя словно просвеченным рентгеновскими лучами, когда оценивается не его физическое здоровье, а умственные способности и опыт работы. И необходимо выдержать этот двухнедельный (иногда более продолжительный) кошмарный марафон, когда двадцать четыре часа в сутки только и думаешь, как дать поинтереснее уроки, да чтобы методически они были на

высоте, а дисциплина была идеальной у твоих чад, которым по барабану, как тебя оценит комиссия, ибо это вопрос конфиденциальный.

Проверка приходит внезапно, как сигнал боевой тревоги, – уже на первый урок высаживается десант проверяющих, и ты не знаешь, на какие уроки и сколько «гостей» к тебе придут.

Я, молодой учитель математики, работающий третий год в школе, уже не боялся никаких проверок. Предмет свой любил, к урокам готовился серьёзно, с учениками контакт был нормальным.

Проверяющая пришла на первый же урок в 10-й «Б». Тема урока «Тригонометрические функции». На доске уже красовались задания, графики, по бокам доски развешаны плакаты; проверенные, лучшие ученики бойко отвечали на вопросы. В середине урока я блеснул применением ТСО (технические средства обучения) – включил магнитофон с записью математического диктанта, и пять минут был слышен лишь скрип шариковых ручек сосредоточившихся десятиклассников. Конец урока, домашнее задание, выставление оценок прошли безукоризненно, со словами «До следующего урока!» прозвенел звонок.

Проверяющая вышла из класса, я чувствовал себя прекрасно – вроде все получилось, и тут...

В аудиторию влетела Раиса Ивановна – учитель труда.

– Сергей Иванович! К вам сейчас в 7-й «А» на пение идет заместитель директора института усовершенствования учителей Рыбакова Тамара Абрамовна с Юлией Всеволодовной (директором школы)!

По тому, как на третий этаж взлетела эта немолодая, тучная, но при этом очень обаятельная женщина, я понял, что коллеги за меня переживают. Тут в моей душе проснулся азарт мушкетерского экспромта. Я уже не слушал, как Раиса

Ивановна тараторила о том, что директор пыталась отговорить Рыбакову идти ко мне на урок пения, – ведь я учитель математики, а пение веду как бы временно, ввиду отсутствия специалиста, но проверяющая показала на расписание уроков и заявила, что имеет право проверять всё, что в расписании.

В голове мгновенно созрел план. Послав гонца за набором пластинок, лежащих на моем столе в учительской, я, прихватив магнитофон, пошёл за баяном в кабинет литературы, где накануне был музыкально-литературный вечер.

Перемена пролетела мгновенно, но к началу урока я был в классе со всеми пособиями, и семиклассники, привыкшие к моему требованию не опаздывать, уже стояли навытяжку, когда со звоном в аудиторию вошли директор школы и Рыбакова.

С притворным вдохновенно-творческим выражением лица я движением руки усадил класс на места, будто не заметив двух инспекторов.

– Так, распелись быстренько: до – ре – ми – фа – соль – ля – си – до. Повторим два раза.

Теперь последнюю разученную песню: «Зарю встречает поезд наш, летит в просторы светлые. Мы взяли в путь один багаж: свои мечты, свои мечты, мечты заветные...»

Краем глаза я видел, что ребятам понравилось, что я не замечал проверяющих и общался с ними как всегда, только вот мой задор сегодня им передался моментально. Седьмой класс – это уже не малыши, а рослые ребята, некоторые были даже выше меня. Как стройные деревца, стояли рядами девочки и мальчишки и вдохновенно пели все до одного.

– Достаточно! Теперь переходим к разучиванию новой песни.

Вдруг я вспомнил, как пионервожатая просила меня разучить с семиклассниками «Гимн демократической молодежи».

жи». «Вот что надо! – пронеслось в голове, а не запланированную "Осеннюю песню"». Слава, слава Богу, все было в конспектах.

Подхожу к доске, пишу название и первый куплет. Прогрываю мелодию и негромко требую напеть:

*«Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем...»*

Далее, как девятый вал, подходит эмоционально окрашенный припев:

*«Эту песню запекает молодежь,
Молодежь, молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь.
Нам, молодым, вторит песней той
Весь шар земной».*

Чувствую, ребятам понравилась песня, и они с чувством подхватывают мелодию. Когда пропели всю песню, я вспомнил про магнитофон:

– А теперь собрались, споем и запишем новую песню!

Песня была исполнена и записана, я включил магнитофон, и класс при полной тишине прослушал ее, затем началось бурное обсуждение. Были критические замечания, но не меньше и слов восхищения по поводу своего дружного пения.

– Вот видите, сколько надо работать над песней, – заключил я этот этап урока.

Смотрю на часы. Время как будто не движется – еще 22 минуты до конца урока.

Лихорадочно соображаю: ведь просто петь подряд разученные песни – неинтересно для проверяющих, да и темп урока идет высокий.

– Так, достали тетради, переходим к продолжению изучения нотной грамоты.

Дети не подали вида, что никогда на уроках пения ника-

кой грамоты не изучали, но молча достали кто какие тетради, и на их лицах отразилась неподдельная заинтересованность.

Я вдохновенно рисую на доске знаки форто, фортиссимо, пиано, пианиссимо и т. д. Все записывают. Чувствую, долго нельзя, скучно будет. Смотрю на часы – прошло всего пять минут.

Стоп. Пластинки! Подхожу к проигрывателю, беру в руки пластинки, что принесла Раиса Ивановна, скоропалительно читаю названия и останавливаюсь почему-то на «Эй, ухнем!» в исполнении Федора Шаляпина.

– Итак, сегодня продолжим изучение русской классической музыки на примере народной песни «Эй, ухнем!».

Класс замер, наполовину огорошенный еще одним новшеством, ведь за три месяца моего преподавания пения мы только пели песни.

Зазвучал великолепный голос Шаляпина.

– А теперь ответьте на вопросы: о чем эта песня? что вы знаете о жизни простого народа в те времена? кто знает о певце – исполнителе этой песни?

Когда мои семиклассники дружно заклеямили угнетателей и тяжелое царское время, рассказали о великом певце Шаляпине, я увидел, что осталось четыре минуты до конца урока.

– Закончили обсуждать классическую музыку и закрепим новую песню.

Класс снова встал, дружно подхватил «Эту песню не задушишь, не убьешь!», благо на доске были все слова песни, и тут повезло со звонком на последней ноте.

«Все!– промелькнуло у меня в голове. – Если что, скажу, что только три месяца веду уроки пения и готов передать предмет в любые музыкальные руки».

Секретарь директора застала меня в учительской:

– Сергей Иванович, вас приглашают в кабинет директора.

Захожу, директор и Рыбакова улыбаются.

– Вы никогда не думали, Сергей Иванович, – говорит Рыбакова, – посвятить себя целиком преподаванию пения в школе? У вас прекрасно это получается. В школах области проблема с учителями пения, многие из них не владеют инструментом, не имеют высшего педагогического образования, уроки пения превращают в балаган. А у вас все поют, и поют с удовольствием, нет проблемы с дисциплиной. Вы просто прирожденный учитель пения. Я приглашаю вас на курсы учителей пения, которые пройдут через два месяца в институте усовершенствования учителей. Вам предложат новую школьную программу Кабалевского, которую рекомендует Министерство просвещения.

Я был ошарашен. Вместо разноса и замечаний такая оценка! Мой экспромт посчитали за мастерство. Чего только не бывает. Хотя сознание того, что я не халтурил и искренне старался и научил детей нормально петь хорошие песни, позволяло мне сильно себя не ругать.

О том, чего не знает Василий Катанов...

(историческая юмореска)

Наш край славен не только рождением великих писателей. Вряд ли есть на провинциальной Руси еще одна такая местность, где бы жило и, слава Богу, здравствовало такое ожерелье великолепных краеведов.

Виталий Сидоров, Владимир Власов, Виктор Ливцов, Александр Венедиктов...

Звездой первой величины сияет среди этих достославных имен имя Василия Катанова. Уверяю вас, нет ничего про Орловский край такого, чего бы не знал Василий Катанов.

Несколько раз бывало при мне, как некоторые досужие доки пытались сообщить Василию Катанову нечто об Орловском крае такое, что бы явилось для него новостью.

С чисто русской деликатной терпеливостью Василий Катанов выслушивал это сообщение, выслушивал до конца, а потом в ответ приводил к сведению сообщателя такие подробности сообщенного им факта, о которых тот и понятия не имел.

Подвигло меня к перу как раз желание поведать нашим читателям факт, о котором наши краеведы, даже сам Василий Катанов, смею думать, не знают.

Не могли знать, потому что об этом мало кто знал. А те, кто знал, предпочитали помалкивать, ибо пускаться в разговоры об этом было не принято.

...На сверкающем полировкой столике, плотно придвинутом к подоконнику, в кабинете первого секретаря Орловского обкома партии расположился макет.

Макет изображал будущую центральную площадь Орла, ту самую, что поныне зовется площадью Ленина и по которой с удовольствием и достоинством прохаживаются нынешние орловцы.

А в те дни, о которых идет речь, на месте этой ныне красивой просторной площади тарахтели трамваи, гудели автомобили, сновали полчища делового, спешащего люда.

Площади не было, была безалаберная, шумная, грязная улица... Площадь была изображена на макете, вокруг которого степенно стояли члены бюро Орловского обкома, тогдашнего высшего арсенала, в руках которого была сосредоточена верховная орловская власть.

Члены бюро стояли вокруг макета в строгом порядке. Каждый четко знал свое место.

Доминировал, разумеется, человек, которого за глаза коротко именовали «Первый», «Сам», «Хозяин», «Отец». А в глаза называли по-сыновьи: Федор Степанович.

Был он массивен, сед, величав и молчалив.

Он вдумчиво рассматривал макет и медленно переводил взгляд на то место за окном, где этот макет должен был найти воплощение.

Разница между красивым макетом и безобразием, которое простиралось за окном, была настолько разительная, что это вносило в душу полное успокоение.

Трезво и твердо можно было поручиться, что беспорядок, сутолока, транспортно-человеческое месиво за окном преобразуются в прекрасную, тихую, бестранспортную площадь не раньше, чем через сто лет.

Эта очевидность внушила Первому хорошее отношение к макету.

Макет был утвержден.

Все члены дружно поздравили инициатора идеи и проекта создания площади, самого молодого среди властного арсенала – первого секретаря горкома партии Альберта Петровича Иванова.

Этот человек разительно отличался от остальных присутствующих. И не только молодостью. Если все другие члены бюро были монументальны и как бы марионеточны, то Альберт Петрович был живой, непосредственный, с веселым, озорным блеском в глазах.

Он часто заставлял морщиться, но его терпели.

Он нужен был Первому, потому что был талантливый специалист-строитель. А строили в ту пору много, вся страна была стройкой, и наш город, и область тоже.

Серьезным недостатком Альберта Иванова в глазах Первого была чрезмерная решительность в осуществлении идей. А от идей светлую голову Альберта Иванова прямо распирало.

Когда он входил в кабинет к Первому, тот пугался: «Опять с идеей пришел!»

И после ухода Альберта Иванова долго приходил в себя.

Но все же терпел. На съедение не отдавал и даже про-двигал.

Имело значение и то, что в ЦК партии знали Альберта Иванова. Знали, что в области строительства это голова.

И даже однажды дали орден за блестяще организованную стройку.

«Он нам нужен, как дрожжи, – думалось Первому. – Тесто замешивать из него опасно, от таких всего ожидать можно, а для встряски-будоражки нужен...»

Недаром, недаром опасался Первый Альберта Иванова.

Первый проживал в доме напротив обкома и с работы и на работу хаживал пешком.

Когда он выходил из обкома, милиционер-охранник звонил другому милиционеру-охраннику, который располагался в подъезде:

– Вышел.

А когда Первый скрывался в квартире, милиционер-охранник из подъезда докладывал в обком:

– Пришел.

Первого сторожили, так было положено.

Пересекая трамвайные пути и наблюдая людское столпотворение, Первый мечтательно вспомнил макет будущей площади и вдруг с сожалением подумал, что до того, когда макет превратится в площадь, он, разумеется, не доживет...

Но сожаление это мигом прошло, когда Первый предста-

вил себе, какая будет изнурительная суета и вселенский переполох при создании площади...

Котлованы, стройматериалы, гравий, песок, асфальт...
Экскаваторы, бульдозеры, катки...

Все будет разворочено, разбито. Воздух пропитается соляровкой, битумом...

«И, как говорится, слава Богу, что я до этой канители не доживу», – облегченно подумал Первый и заснул.

Но он все же недооценил Альберта Иванова.

Альберт Иванов по природе своей не походил на дрожжи.
Это был динамит.

Вернувшись с утвержденным макетом к себе в горком партии, он скомандовал строителям аврал. Под прикрытием темноты на площадь были стянуты сотни самых квалифицированных строителей, мощная строительная техника и стройматериалы.

По четко и заранее продуманному графику началась работа.

Убраны были трамвайные рельсы, различные убогие строения и будки. Пространство перед обкомом партии было очищено, выровнено, утрамбовано и заасфальтировано. Площадь была облицована гранитом. Высажены ели, разбиты клумбы.

Альберт Иванов руководил сооружением площади, как маршал Жуков сражением.

Как маршал Жуков, он превосходно разбирался в профессиональных и человеческих качествах своих подчиненных. И они действовали самостоятельно.

К утру все было сделано. Родилась площадь, которую мы сейчас видим и которой любимся.

Строители облизали площадь, убрали технику и ушли спать.

Ушел спать и Альберт Иванов.

Дело было сделано, оставалось ждать последствий.

«Самоволки не было. Макет был утвержден», – успокоил он себя.

Но последствий, конечно, не могло не быть.

Революционных скачков Первый не выносил...

Федор Степанович проснулся, как всегда, рано. Сказывалась деревенская привычка. Попил чаю и вышел на лестницу.

Сторожевой милиционер вытянулся и поздравил с добрым утром. Федор Степанович поздоровался с ним за руку и спустился вниз.

Милиционер доложил в трубку:

– Вышел.

На улице сверкало солнце, ярко синело свежее небо, плыли белым-белые облака. На душе Первого было благостно и тихо. Он сделал несколько шагов по направлению к обкому – и ноги его отказались дальше идти. Федор Степанович перестал соображать, где он находится, в какой стороне, в каком городе... Перед ним маячило видение, мираж, сильно напоминающий вчерашний макет. Он крепко зажмурил глаза, энергично распахнул веки – мираж не исчезал.

Федор Степанович протер глаза, достал из кармана и надел очки. Мираж оказывался явным. Вместо грязной, трамвайно-автомобильной улицы перед Первым простиралась новенькая, чистая, прекрасная площадь. «А может, у меня того? Склеротическое явление?..» – подумалось Первому.

Как человек сугубо основательный, он решил в этом убедиться.

Вернулся в подъезд и посмотрел на милиционера.

Тот вытянулся, как всегда, по стойке «смирно!» и предупредительно спросил:

– Вызвать машину?

Федор Степанович продолжительно посмотрел на него и, махнув рукой, сказал:

– Не надо.

Повернулся и вновь вышел на площадь. Милиционер снова доложил в трубку:

– Возвращался. От машины отказался. Снова вышел.

Федор Степанович оглядывал площадь, и в душе его закипело раздражение, потом гнев, потом ярость.

Отчего – он не знал.

У него было ощущение, что кто-то из-под его ног вытащил твердую дорогу и заставил идти по болоту, прыгая по мшистым кочкам и раскачиваясь среди топи...

Он взглянул на горком партии и подумал:

«Ну, стервец, погоди... Зарвался! Закину в прорабы, никакой ЦК не поможет!»

– Ты никак из начальства? – услышал он голос старушки. Старушка стояла рядом и тоже, разинув рот, оглядывала площадь.

– Это вы ладно учинили, – не дожидаясь ответа, продолжала старушка. – Слава Пресвятой Богородице, что привелось до смерти такую красоту увидеть. Дай вам Бог здоровья и успехов в руках и делах!

Старушка низко, в пояс поклонилась Федору Степановичу.

С легкой руки старушки около Первого мгновенно образовалась толпа прохожих. Слышались искреннее, единодушное одобрение и благодарность.

– Вот так бы всегда о людях заботились! – по-доброму гудела толпа.

– Спасибо, Федор Степанович!

– Дай Бог тебе здоровья, родной!
– Сердечный ты человек!
– Оттого, видать, и поседел, что за людей стараешься!
– Подольше сиди наверху, не покидай нас!
– А его и не отпустим. До Москвы дойдем!
– Какую красоту в городе соорудил! Его не только мы, его наши внуки и правнуки будут помнить!

Спасибо.

Окруженный восторженной толпой, Федор Степанович проследовал в обком.

В приемной его ожидали все члены бюро. Кроме Альберта Иванова.

Лица у всех были строгие, бледные, возмущенно-обиженные.

Все приготовились к расправе над политическим хулиганом.

К Федору Степановичу подпорхнул гладкий помощник.

– Я вызывал Иванова. Он спит. Сказал жене, чтоб не будили.

Члены злобно зашипели:

– Бандит!

– Самоуправец!

– Надо за ним милицейский наряд послать!

Помощник спросил:

– Приказать разбудить?

Федор Степанович ответил:

– Зачем будить? Пусть отоспится. Мы ночью спали, а он работал. Результативно. Вот если бы все наши решения так быстро и качественно претворялись в жизнь, у нас бы давно коммунизм наступил... А вам, уважаемые члены бюро, надо поучиться у Иванова заботиться о народе. Пойдите на площадь, послушайте...

И Федор Степанович скрылся в кабинете.

Члены бюро кинулись к телефонам поздравить жену Альберта Иванова.

А Альберт Иванов спал.

Есть свидетельства, что после сражений полководцы тоже спали.

Но уж это-то для Василия Катанова, конечно, не в новость...

ВАЛЕНТИНА **АМИРГУЛОВА**

Розы для Георгия



Розы для Георгия

(рассказ)

Георгий Басов всегда называл себя истинным россиянином. И с радостью заявлял, что он живет в центре России, на берегу реки Оки, в замечательном месте, в Монастырской слободе. Это место он называл еще Монастырской Венецией. Когда здесь был разлив реки, Георгий вместе с друзьями курсировал по реке на самодельных дощатых плотках. А когда вода сходила, Георгий со своей матерью много копошился на своем огороде. Сын сажал по углам огорода цветы. И это у него получалось очень удачно. Такими красивыми, пышными вырастали гортензии, гладиолусы, что на цветы Басовых любовались все соседи. Но мать осаживала сына нещадно:

– Что ты тратишь нашу землю впустую? Раз сажаешь цветы, то продавай их на базаре.

Но Георгий не продавал цветы, а дарил многим. И еще привадились кошек бездомных собирать. Их ведь в речных зарослях шляется столько, что впору было бы зверинец открывать. А Георгий мало того, что для кошек из дома утаскивал пропитание, так еще в дом стал таскать больных бомжей и покалеченных. Тогда матушка устраивала ему головомойку:

– Ты что, родной дом хочешь превратить в непотребное общежитие? Где ты сам будешь обитать? Не делай свой дом тюрьмой.

Георгий ответил, будто ему кто-то подсказал:

- Не буду делать тюрьмой, а сам окажусь в тюрьме.
- За какое преступление? – удивленно воскликнула мать.
- За собственное правосудие.

Так и случилось на самом деле. Злоключение у Георгия началось, когда он стал дружить с православным священником Василием. Его прислали в Монастырский приход издалека. Он сразу всем понравился за свое милосердие и заботливость о прихожанах. Батюшка был седовласый, с пышной бородой и с ясными синими глазами. Говорил он неспешно, но очень внушительно. Вначале народ повалил в храм поглазеть на нового священника. А потом все увлеклись его речами. Он так интересно рассказывал библейские истории, будто сам был их свидетелем и участником. А потом некоторые стали обходить храм, когда батюшка начал сокрушаться, что слобода будто без головы живет, потому что на монастырском храме нет купола. Он заявлял, что на слободе живут дети и внуки тех, кто разрушал храм, вот им и нужно его восстановить.

– Люди добрые, кому не жалко на богоугодное дело приносить копеечки трудовые, несите. Мы обязательно соберем столько денег, что сможем восстановить храм во всей былой красе.

Старушки в толпе подтверждали, что храм был прекрасен, а золотая его голова отражалась в реке. Георгий, стоящий среди народа, так зримо представил эту красоту, что у него аж затрепетало сердце. Он первым после молебна подбежал к батюшке. И тот сразу обратил на него свой пронзительный взор.

– Я, батюшка, хочу, очень хочу помочь в таком деле. Правда, я только недавно школу окончил, и денег у меня пока что нет.

Отец Василий с сияющей улыбкой произнес:

– Ты молод и силен, нам твои руки очень быгодились. Твое сердце откликнулось, значит, будешь помогать нам в строительстве. Люди нам на стройку уже и денег дают...

И вправду, все, к кому обращался батюшка, окунались в свои кошельки, складывали денежные бумаги и монеты в жертвенный ящик. Давать деньги на будущую красоту было не жалко жителям слободы, которым надоело зреть только унылые многоэтажки, обступившие их дома со всех сторон. А одна женщина, у которой сын был владельцем магазина, расположенного неподалеку от храма, подала батюшке несколько стоцолларовых бумажек, сказав радостно:

– Магазин рядом, и храм, получается, наш. У вас дела пойдут, авось и наши тронутся.

Батюшка поблагодарил женщину и произнес:

– Дай Бог, чтоб Он принял вашу жертву. А вы, люди добрые, не смущайтесь, что мало можете дать. Иногда и копейка дело вершит.

Георгию в самое сердце запали эти слова батюшки. Он был счастлив, что ему разрешили работать для восстановления храма. И он со всем пылом молодой, стремящейся к добру души начал работать так, что отец Василий постоянно остерегал его:

– Ну что ты так ломишься? За тобой никто не может угнаться. Нечего спешить себе и другим во вред. Вон как ты раствор месил, что на ладонях мозоли и язвы до крови набил. Кирпич так спешил подавать, что один даже на себя уронил и фингалом лицо разукрасил. Людей ты так уже загонял, что просто жалуются на тебя.

Но Георгий не мог работать без особого рвения. Ему так хотелось, чтобы люди побыстрее смогли любоваться на красоту храма.

Ругала сына и мать, не желая понять его горячей устремленности:

– Ну что ты от светла до темна торчишь на церковном дворе? Больше всех там готов расстелиться.

А сосед Георгия, дядя Ваня, очень одобрял ретивую настроенность юноши:

– Как хорошо, Георгий, что ты при храме пристроился. Там нет алкашей, они кого угодно собьют с пути. Вот такой захлебуха моей дочери Нины муж. У него трое детей, их даже кормить-то нечем. Как дочь приходит ко мне, то такой рев устраивает! А я сам инвалид никчемный. На одну мою маленькую пенсию все живут. Да разве такую ораву прокормишь?

Нина каждый раз, когда приходила к отцу, во дворе устраивала публичную истерику.

– Что мне делать? В петлю полезу, больше некуда. И побросаю в речку детей, как котят. Пусть лучше умрут, чем живут впроголодь с нашим алкашом. Все из дома утянул, там хоть шаром покати. А лучше нам всем в речке утопиться, чтоб не мучиться изо дня в день.

Соседи привыкли к Нининым воплям. У той и мать всегда орала, как оглашенная, на весь двор. А у Георгия душа рывалась, когда он слышал вопли Нины. А вдруг и вправду она окончательно очумеет и ребят побросает в речку? Они сопливые, оголтелые, но забавные. Несколько раз попадали мячом в окно дома Георгия, а однажды разбили его вдребезги, за что мать Георгия бросилась на Нину чуть ли не с кулаками. А та взревела настоящей короной, так что матери пришлось ее же и утешать.

Георгий потихоньку из своего буфета утаскивал детям конфеты. Самому маленькому, но самому чумазому давал три штучки, среднему, задиристому, вручал две, а старшему неслуху оставалась одна, на разживу. Но он у братьев выманивал по одной конфетке. Они потом жаловались Георгию. Но он всех успокаивал будущими подачками:

– Скоро я заработаю много денег, и всем достанется много конфет. Будете есть, сколько захотите.

– Я могу съесть целый мешок, – заявил маленький мальчик.

– А я на спор три мешка проглочу, – заявил старший ребенок.

Они верили, что Георгий устроит им скоро конфетную обедаловку, и матери меньше надоедали, выпрашивая куски хлеба.

А мать Георгия будто почувствовала беду от этого семейства, ругала сына с невиданной злостью:

– Ты не приваживал бы эту босоту. Глазищи у них отцовские, непутевые, того и гляди что-нибудь сотворят или из дома утащат.

Может, и права была мать, только Георгию было жалко детишек. Наверное, он не переживал бы, если бы они и в самом деле что-нибудь утащили из его дома. Только чем они могли поживиться себе на утеху? Разве что птичкой на крышке будильника, который подарили матери, когда она уходила на пенсию из «Вторчермета». Она, глядя на часы, часто вздыхала:

– Всю жизнь болванки грузчицей таскала. Тонны перегрузила, болванкой и наградили.

Георгий отвечал:

– Да нет, мама, какая это болванка? Посмотри, птичка как настоящая. Смотришь на нее, а она будто сейчас и запоет.

Мать вздыхала. Да, сынок как есть ребенок, в отца, наверное. Тот, непутевый, на игрушечную фабрику устроился работать, хотя там копейки платят. Вот семья и жила на зарплату грузчицы. А когда муж попал под машину, погиб и схоронили его на монастырском кладбище, им легче не стало жить. Мать так и осталась главной добытчицей для семьи и надеялась, что сын все же освободит ее от груза забот.

Мать утешал отец Василий:

– У вас, Елизавета Петровна, парень редкостной души. Такому юноше место в монастыре.

– Еще чего, не пуцу. Да дурной же он.

– Он людей очень жалеет. Сам богатство не наживет, но всегда будет богат радостью.

Елизавета Петровна не пожелала спорить с батюшкой. Ему, наверное, все виднее. Ему люди доверяют свои деньги. Он сделает купол церкви, который будет виден по всей округе. Может, Георгия он вразумит?

Отец Василий на проповедях был многоглаголив. Георгий любил его слушать. Много он разговаривал с батюшкой и наедине. Батюшка говорил ему:

– Вот посмотри, Георгий, на картинке, какой красивый у нас будет иконостас. Я выбрал иконы древнего письма. Наш-то храм – самый древний во всем городе.

Батюшка радовался, когда лицо Георгия тоже освещалось радостью. Георгий прямо-таки приходил в умилительный восторг:

– Да, да, я вспомнил, такая красота однажды мне приснилась. Я помню, я тогда будто в сказке побывал, так весело, радостно было там.

– А ты, Григорий, призван создать эту красоту.

Слова батюшки только усиливали его рвение. А домой эту радость и доносить порой не удавалось. Вот и в этот раз дядя Ваня сидел на лавочке, словно гриб сморчок, сморщенный и насупленный, и с болью в голосе сообщил:

– Опять Нину изверг избил, детей исколошматил. Все подчистую из дома утащил. Вот такие тяжкие дела происходят, Георгий. Старшему мальчику нужно в школу идти, а у него голый пупок. А сейчас дети какие – обсмеют малого, как гадкого утенка, он и в школу не станет ходить. А знаешь, сколько учебники стоят? Моей пенсии не хватит. Но больше всего я за Нину боюсь. Ополоумела совсем девка.

И тут Нина сама выскочила из подъезда, растрепанная, как лахудра, зареванная, с красным носом, как у Деда Мороза, да еще украшенная синяком под правым глазом. А недавно ее королевой двора величали. Губки ее были красивым бантиком, а носик – легким крантиком. А теперь она только сопли собирала и, рыдая, выкрикивала:

– Это не жизнь, ничего мне теперь не мило.

И поглядывала она на речку с такой злобой, что сердце у Георгия начинало бухать погребальным звоном. Он садился на лавочку рядом с Ниной и начинал ее спокойно и терпеливо утешать, как отец Василий:

– Ты бы, Нина, в храм теперь ходила. Это тебя успокоит.

– Не хочу.

Нина отворачивалась от Георгия. И остервенело начинала растирать свой синяк. А чего его тереть, он же сильнее засемафорит, если ему покоя не дать. Но Нина не хотела успокаиваться ни одной своей клеточкой:

– Я уже себе веревку приготовила. Чтоб долго ее не искать.

– Ты бы поставила в церкви свечку, чтоб успокоилась твоя душа.

Нина обернулась и стала смотреть на Георгия с такой огромной печалью и попросила его:

– Ставь за меня сейчас свечки за здравие, а скоро поставишь за упокой.

Дядя Ваня за спиной дочери крутил пальцем у виска, показывая, что Нина совсем свихнулась. Последние дни никак ее нельзя было успокоить.

Георгий воскликнул:

– Зачем ты так говоришь, Нина, у тебя же дети?

Нина резко припечатала рукой по лавке и воскликнула:

– Детям я дорога, как и папаша. Штанов им не могу купить. И это тогда, когда у других дети с жиру бесятся, по

заграницам и курортам мотаются. Я – самая разнесчастная, и некому мне помочь.

– Я помогу тебе, – сказал Георгий.

– Ты? – удивленно спросила Нина. И посмотрела на тонкие руки Георгия, легонько теребящие стебелек. – Когда мне сможешь?

Георгий, не задумываясь, с ходу ответил:

– На той неделе я дам тебе денег. Подождешь?

– Подожду, – с готовностью ответила Нина и тут же спохватилась и спросила: – Где же ты возьмешь денег?

Нина пристально смотрела на Георгия. Уж не смеется ли он над нею? За такую насмешку и взбучки мало.

– Всегда найдутся хорошие люди.

– Да где ж они? Я не вижу их.

Нина пыталась поймать устремленный вперед взгляд Георгия. Она спросила озадаченно:

– Может, Козлов из своей крепости что-нибудь подкинет?

Нина кивнула на соседний громадный дом, который строил новый деляга Паша Козлов – крупный бизнесмен.

Но Георгий не стал ничего объяснять, он встал и пошел прочь, сказав Нине:

– Жди, я принесу тебе денег сам.

– А ты не брешь? – крикнула вдогонку Нина.

Вот задачу задал себе Георгий, пообещав снабдить Нину, хотя сам, по ее выражению, был голозадый и лопухий. Но разве мог он не пообещать ей, когда она была в таком отчаянии? Но где же взять столько денег? Его зарплату ходила получать в храм сама мать. Не доверяла своему оболтусу ни копейки, которые он всем раздавал. Конечно, малые деньги прибывали, но хоть на стол можно было что-нибудь поставить. Но у матушки из ее цепких рук ничего нельзя было выманить.

Долго, целую ночь думал Георгий о помощи Нине и наконец придумал, как найти для нее денег.

Уже через неделю он зашел к дяде Ване в комнату, где за столом с пустой миской сидела зареванная Нина. Она даже не посмотрела в сторону Георгия и что-то бубнила с остервенением, зачем-то оттирала цветок на старой клеенке.

Георгий положил около миски пачку денег и сказал:

– Вот принес деньги, хватит тебе на расходы, Нина?

Она очумело воззрилась на деньги, как на невиданный дар, привстала и рухнула на стул. Еще бы не рухнуть, она таких денег сроду не видела.

Она спросила таким ангельским голоском:

– Эти деньги мне?

– А кому ж еще?

Нина перевела вопросительный взгляд на отца, но тот был ошарашен еще больше дочери, так что онемел, наверное, надолго.

– Когда вы пойдете покупать вещи детям? – ненавязчиво поинтересовался Георгий.

– Вещи? – Нина все еще не могла прийти в себя, но вдруг живо-живо затараторила: – Да, сейчас, сейчас пойду покупать вещи и еду. А где ты, Георгий, взял деньги? У Козлова в долг?

Этот вопрос вывел отца Нины из оцепенения, и он воскликнул:

– Козлов не даст денег.

Но у Нины пропало желание пытать Георгия. Она подхватила деньги и закружилась, как бабочка перед светом, перед Георгием, собираясь за покупками. Она натянула поношенную кофтенку, полыхавшую розовым цветом, видно, любимым Ниной, о чем ей сейчас захотелось почему-то себе напомнить.

– Нина, тебе денег и на платье хватит, – сказал Георгий.

– Хватит! – радостно воскликнула Нина. Легким движением руки она пригладила свои лохмы, отчего они легли нужной волной, и, вся устремившись вперед, упорхнула, словно птица.

Георгий, не мешкая, вышел вслед за Ниной. Не хотелось ему терять ее радость, которая дала искру и в его сердце. А под обстрел дяди Ваниных расспросов ему тоже не хотелось попадать. Но Георгий, в отличие от Нины, не полетел, а вроде пополз вдоль монастырского бульвара, в сторону обшарпанного желтого здания, куда жители слободы так не любили приходить, разве если только великая нужда не заставит.

Георгий выразил желание охраннику, что ему необходимо попасть к начальнику УВД. Тот ответил:

– Сегодня неприемный день у Кузина.

– Но у меня важное для начальника дело.

Охранник пропустил Георгия. Он зашел в просторный кабинет, где большой вентилятор гонял свежий воздух. Толстый начальник сидел в кресле и шевелил бумаги на столе. Кузин не мог найти повод для разрядки после полученного нагоняя от генерала. Тот на оперативном заседании, как оглашенный, накричал на Кузина при всех, что у него низкая раскрываемость преступлений и его давно пора гнать из органов за профнепригодность, не дожидаясь полковничьей пенсии.

– Что тебе нужно? – раздраженно воскликнул Кузин. Просители и жалобщики почище летних мух одолевали начальника с утра и до вечера.

Георгий остановился у двери и сокрушенно произнес:

– Я пришел рассказать о преступлении.

– О преступлении? О всяке? – Кузин имел в виду, что не раскрытое еще одно преступление снова повиснет на его многострадальных погонах. Но Георгий был не искушен в юридических терминах блюстителей закона и поэтому не знал, что ответить, пока Кузин не заорал на него:

- Преступник опять не найден?
- Найден, конечно, найден, – живо подтвердил Георгий.
- Где же он? – сразу же встрепенулся Кузин.
- Вот он, перед вами.

Кузин помолчал, прикидывая, что за его бытность начальником никто не приходил сдавать себя так решительно.

– А ну рассказывай поподробнее! – скомандовал Кузин, глядя на пришельца как на лопуха или на прожженного хитреца.

Георгий тихо произнес:

– Рассказывать мне нечего. Я подобрал ключ к церковной кассе.

– Где ключ? – вскрикнул, словно выстрелил, начальник.

– Ключ я выбросил в речку, чтоб никто другой не мог вскрыть.

– Много денег взял? – начальник знал, что быстрыми вопросами можно обезоружить преступника.

– Денег много, но я их не считал.

– Так, все ясно.

Кузин с удовольствием нажал кнопку вызова. Вошел следователь Седов, высокий и широкий, как шкаф. Кузин коротко распорядился:

– Здесь повинная, возьми объяснение, потом поговоришь со священником. Парня в камеру. А потом действуй по обстановке. Вот и будет у нас раскрытие преступления – кражи в особо крупных размерах.

– Слушаюсь, – Седов моментально расположился рядом с Георгием, чтобы пресечь все его действия к побегу или насилию. Георгий стоял рядом с ним обреченно, как агнец на заклание, но в его лице не было ни страха, ни потерянности. Кузина это даже смутило, но все же он не мог не выразить радости ловца, которому попался отличный улов.

– Ну, вот и генералу будет улада.

– Что? – не понял Седов.

– Ничего! – закричал Кузин. – Вы мух там ловите, а я за все должен отдуваться, преступников ловить!

Все закрутилось так быстро, что никто и осознать ничего не успел, как раздулось большое уголовное дело.

Отец Василий был ошарашен, когда узнал, что у него очистили кассу. И кто? Обожаемый Георгий, с которым он постоянно делил радость восстановления храма.

– Этого быть не может! – со слезами в голосе воскликнул отец Василий. И тут же в сокрушении обхватил свою седую голову. – Неужто и эту чистую душу так злобно искусил дьявол?

Следователь, привыкший из всех рассуждений выуживать сухой остаток, не прореагировал на эмоциональные выводы батюшки, коротко заметил:

– Ваш подопечный пришел с повинной.

Батюшка встрепенулся и от лица прихода поспешно заявил:

– Ах, так, ну, мы прощаем Георгия.

– Простить может суд, а он учтет все обстоятельства, – настороженно произнес Седов. Он боялся, что священник что-нибудь придумает, как бы вытащить парня из юридической удавки. И тогда Кузин накинёт эту удавку на Седова.

– Но как же так, Георгий еще так юн, и вдруг суд? – Батюшка не мог понять, как же теперь помочь бедолаге, который совершил что-то непостижимое и ужасное.

– Это опасный преступник, – заявил Седов. Он всей своей массивной фигурой почти насел на священника. – У вас много было в кассе денег?

– Много.

– Ну вот, кража в особо крупных размерах, а вы покрываете соучастника преступления. Архиерей вас же будет судить за эту кражу. К тому же восстановление храма теперь

надолго приостановится. И какой вы будете иметь вид, если станете выгораживать особо опасного преступника?

– А куда Георгий дел деньги? – недоуменно спросил священник. Он ведь знал, что юноша к мамоне был совсем равнодушен.

– Он врет, как все ворюги. Говорит, что кому-то отдал. Но сообщников не открывает, тем хуже для него, – твердо произнес Седов, видно, давно излечившийся от сострадания к преступникам, которые мешают жить обществу.

– Но ведь это повинная, – батюшка все не мог смириться с таким поворотом дел.

– Наш гуманный суд рассмотрит все смягчающие обстоятельства, – объявил Седов.

Георгия осудили на три года. Он отсидел от звонка до звонка и пришел как раз через месяц после того, как отец Василий совершил торжественное богослужение в храме уже под новым куполом. Георгий появился перед священником таким веселым и возбужденным от встречи, словно он приехал после увлекательного путешествия, о перипетиях которого ему вроде не терпелось поведать дорогому батюшке. Георгий, конечно, возмужал, даже на казенных харчах, но его глаза по-прежнему светились детской радостью. Отец Василий даже растерялся от такого впечатления. Но и ему не удалось взять суровый тон, и священник почти ласково обратился к парню:

– Ну, Георгий, ты готов каяться?

– Еще как готов!

– А оплакивал ты свои великие грехи?

– Еще как оплакивал! Иногда от слез у меня вся подушка была мокрая.

Отец Василий не торопился задавать вопрос, почему же такой радостный вид у парня, словно он стяжал какой-то великий приз. Но парень все ему сам объяснил:

– Я, конечно, плакал, отец Василий. Нина на украденные мною деньги купила квартиру. Брошенный ею муж совсем спился и умер. Дети ее учились.

Но про деньги она не спрашивала Георгия, будто и не было того дня, когда он принес ей ту пачку купюр, которую она спрятала в кошелку. На суд она не ходила. И теперь здоровалась с Георгием как с обыкновенным соседом. А вот ее ребята, счастливые и довольные, встретили Георгия во дворе, будто к ним вернулся отец родной. Они теперь не грозились есть по мешку конфет, но было видно, что они сыты и по-детски беззаботны, хотя старший уже вымахал по плечо Георгию. И он радостно сообщил батюшке:

– Я рад, что у Нины в семье все благополучно.

Батюшка уже и забыл, какие чистые и прозрачные глаза у Георгия.

– Ах ты, мой милый глупец! – воскликнул отец Василий почти с умилением. – Да ты хоть понимаешь, что совершил грех? Купол на нашем храме появился на два года позже.

– О, еще как понимаю! Самая большая мука там, в тюрьме, мне была, когда я мысленно представлял, какой красоты я лишил храм. Но если бы Нина поубивала своих детей? Отец Василий, поверьте, она была близка к этому.

– Ах ты, дурачок, – снова умилился батюшка. – Но что сделаешь, если на таких дурачках еще свет наш держится? А теперь расскажи мне: тебя обижали в тюрьме?

– Поначалу совсем тяжело было, а потом отстали все и называли меня, как вы, дурачком. А с дурачка что взять? Но вот если письмо печальное получали из дома, ко мне шли для утешения. А как их не утешить? Все преступники жалкие, такие же, как и я. Вместе поплачем, посмеемся. Мне радостно было, когда они успокаивались. Я их всегда прощал, когда они меня обманывали, обворовывали... Мне даже нравилось, что они меня считали за дурачка.

– Ты дитя, хоть и был в камере. – Отец Василий вдруг стал печальным и грустно произнес:

– Мне страшно за тебя, Георгий, как ты будешь теперь на воле? Приходи в храм как можно чаще. Слышишь, почаще, понял?

– Я вам, конечно же, надоем, отец Василий, но никто меня не любит так, как вы. А я ведь хоть и дурачок, а тоже хочу понимания.

Так и расстались они, ошастливленные своей дивной дружбой, не ведая, что это начальное объяснение у них было перед новой долгой разлукой. Георгий после того посещения батюшки в храме пропал начисто. Его все не было и не было. Отец Василий уже очень сильно разволновался: куда же сгинул Георгий опять? Батюшка пошел разыскивать его. Где был дом и комната Георгия, ему показали первые встречные.

Елизавета Петровна сидела в комнате одна, горестно подпирая свою уже поседевшую голову. Она была в темном стареньком платье. Отец Василий оглядел эту чистую комнату со старенькой мебелью, будто надеясь увидеть хоть какие-нибудь следы пребывания своего юного друга. В комнате не было даже его одежды.

– Где Георгий?

– Где ж ему быть? В тюрьме, – обреченно произнесла Елизавета Петровна. – Вот родила сынка, чтоб носить ему передачи по тюрьмам. Рецидивист он у нас...

Отец Василий был так опечален, что впору Елизавете Петровне самой было его утешать:

– Что теперь делать, батюшка, коль ему тюрьма стала домом родным? Знаете, мне даже легче стало, когда его взяли. А то что может еще натворить этот дурачок?..

Отец Василий явно затруднился ответить на этот вопрос. Елизавета Петровна бросила взгляд за окно и печально произнесла:

– Некому теперь разводить цветы на нашем огороде. Пробовала я, но они у меня почему-то не цветут.

...Через четыре года Георгий появился снова в храме. За хорошее поведение его из тюрьмы отпустили раньше. Глаза его смотрели на все так, будто он знал что-то такое, что другим было неизвестно. Отец Василий просто бросился ему навстречу со слезами на глазах, так, наверное, отец встречал своего блудного сына. И у парня на лице расцвела такая неопишуемая радость!

– Как я счастлив вас видеть, батюшка! Как я мечтал снова оказаться в своем родном храме! Вот сейчас я будто заново родился. Так хорошо снова оказаться дома.

Отец Василий тут же поставил парня на исповедь, но был от нее сам в полной растерянности. Оказывается, парень повторной кражи не совершал. А служители Фемиды умудрились повесить на него чужое преступление. На суде он отнекивался, но кто поверит уголовнику? На него даже нашлись свидетели. И как их было жалко Георгию за их ложь! Как же их затерзала жизнь, что они решились на такое!

– После приговора я испугался. А потом вспомнил ваши слова о несправедливых наказаниях. Вы говорили, что тогда сам Господь утешает обиженных. И я это почувствовал, отец Василий. Там, за решеткой, мне было так спокойно и радостно, будто я оказался у Бога за пазухой. Все мучились, страдали. А я их утешал. Отец Василий, я даже не знал, что так может утешить Господь.

– Невинные страдания, когда человек переносит их благодушно, приносят ему радость, – задумчиво произнес отец Василий, будто он сам по-особому узрел эту истину в глазах Георгия, истину, которую он часто изрекал только устами, а теперь она сама заговорила в его сердце. Батюшка вдруг встрепенулся и воскликнул:

– Георгий, ты должен уехать.

– Как уехать, я только вернулся.

– Хочешь опять оказаться в тюрьме? На тебя, рецидивиста, проще всего повесить любое преступление, даже убийство. Уезжай, милый. У меня мама живет в деревне в Брянской области. Вот к ней ты и поедешь, будешь ухаживать за одиноким, беспомощным человеком. С Елизаветой Петровной я сам поговорю. Все, завтра же я сам тебя и отвезу в деревню.

Так Георгий оказался за три сотни километров от родного города. Он писал и матери, и отцу Василию радостные письма, называя свое житье райским. Он сажал огород, косил траву, ходил за грибами в лес. Научился многим сельским работам. Помогал не только матушке отца Василия, но всем старушкам села – кому воду носить, кому дом подправить. Старушки ласково называли его сыночком. А мужчины удивлялись: что за парень, не пьет, не курит, по бабам не ходит? То ли монах, то ли больной какой? Но все же уважали его. Ну к кому обратиться, если нужна какая помощь? В деревне она всегда нужна.

Так прошло еще три года. Отец Василий каждый месяц навещал свою матушку. Она встречала его всегда с радостью:

– А вот и второй сыночек приехал.

Она целовала сыну руки, но не так, как прихожане, с благоговением, а с материнской лаской.

– Я, сынок, по тебе скучаю. Если б не Георгий, извелась бы. Он мне несет твою любовь. Как же могли его у вас так обижать?

– Мама, жизнь теперь такая сложная. Я тоже, мама, скучаю по тебе, по Георгию. Я будто чувствую, что это мой сын. Господь не дал мне кровных детей, но я чувствую, что мой духовный сын очень дорог мне, как и ты, матушка. Я даже боюсь сильной привязанности к нему. Все земные излишние привязанности греховны. Но когда я гляжу в его глаза, вижу ангельский свет.

Матушка всей душой понимала своего сына:

– Я сама люблю Георгия такой же любовью, как и тебя. Он убрал мое одиночество. Ты выпросил мне у Бога утешение, когда кругом все походили с ума, все им мало денег да почета. А нашему Георгию все хорошо. Он особо рад, когда помогает людям.

– Я учусь у него служению людям. И все же у него все не по разуму. А может, это у нас все не по разуму, у боящихся положить душу за други свои?

И с Георгием батюшка тоже беседовал о духовном. Всем парень был всегда доволен. А что ему еще желать, когда такая красота вокруг, и когда дождь идет, и когда солнце светит? К чему печалиться, когда такой замечательный батюшка любит его всей душой? Заботится о нем и его матушка, ласковая, нежная.

Отец Василий опекал и Елизавету Петровну. И она его постоянно благодарила:

– Вы для меня как сынок родной, не то что мой оболтус. Спасибо, что вы и обо мне, и о нем так сердечно заботитесь. И его не забываете.

– Я к нему как на крыльях лечу. Это не обуза. Вымотаешься в трудах, а посмотришь в его глаза и радостью напитаться.

Елизавета Петровна отвечала:

– Мой сын полоумный, но не злой...

Да, батюшка то ли опекал, то ли опекался у своего новорожденного сына. И как бы научился по-детски смотреть на мир.

Но наступил день, когда отец Василий вернулся из родной деревни в трауре... Его вызвали телеграммой, в которой сообщили, что Георгий находится в больнице. Парень лежал в самом Брянске, в ожоговом отделении. Его ждала медаль «За отвагу на пожаре». Отцу Василию рассказали все подробно. В

селе загорелся двухэтажный дом фермера Килова. Дома были двое маленьких мальчиков. До приезда пожарных из райцентра они бы погибли. Георгий вытащил их из горящего дома. А сам сильно обгорел. Милиция стала вести следствие. Было подозрение, что фермеру отомстили за какие-то делишки.

– А жертвой опять оказался Георгий. Неужели его нельзя спасти? – вопрошал отец Василий жалобно.

– Надежды мало, – отвечал врач, видно, опытный и не из тех, кто не борется за пациента до последнего. – Он погибает, Георгию отказывают почки. Но я мало видел таких мужественных больных.

– Его можно увидеть? – спросил отец Василий.

– Он в реанимации и без сознания. Вы отец?

– Да.

– Ну, тогда я провожу вас.

Георгий лежал на кушетке, спеленатый бинтами. Его лицо, покрытое какой-то белой мазью, как маской, трудно было узнать. Видно было, что он сильно страдает. По лицу ходили судороги.

Отец Василий с непередаваемой душевной болью стоял рядом и молился, чтобы Господь облегчил страдания раба Божия Георгия.

– Сынок, я все-таки не смог тебя спасти, – чуть слышно произнес батюшка.

Неожиданно Георгий открыл глаза, как и прежде, небесно чистые. При виде отца Василия они с такой радостью вспыхнули, и блаженство разлилось по лицу Георгия.

– Я все-таки спас деток, – произнес Георгий внятно и снова потерял сознание.

Через два часа он умер, и отец Василий впервые в своей взрослой жизни рыдал, как ребенок.

– Умер сын радости, – повторял он с невыразимой болью.

– Нет, не умер, он всегда будет жить в моем сердце.

ЮРИЙ **ОНОПРИЕНКО**

Влажные глаза
Анисим
Ласковый Зина



Влажные глаза

(рассказ)

Дочиста протертые морозом дни в конце февраля стали тихо разбухать, словно молодые почки. Сквозь их полуденный излом мечтательно лилась солнечная дума о весне. Сразу начинал пахнуть затоптанный до желтизны снег, и воздух на эти полуденные полчаса делался мягким и вкусным.

Теми днями Акимов отличился в стрельбе. В морозном дощатом тире, куда привел техникумцев старый нелепый военрук, Акимов вогнал в десятку почти все пульки. Отставник тут же вывел зачет и передал Акимова своему помощнику, доке стрелкового спорта. Помощнику приказано было собрать техникумскую команду для каких-то весенних игр.

Команда сколотилась быстро, в каждой из шести групп нашлись нечаянные умельцы вроде Акимова. Трижды в неделю их освобождали от кой-каких лекций, и они, пять поджарых мальчишек и пухленькая девушка, были всерьез счастливы такой своей удачей.

Стреляли из положения лежа. Стволы малокалиберок вкрадчиво высовывались из-под козырька, зависали над снеговой кромкой и, слегка подумав, щелкали сипло, простуженно – и по ту сторону площадки, у невозможно белого от солнца стылого забора, на каждый щелчок мгновенно от-

кликалась упругая невидимая сила, резкая, угрюмая, злая. Было страшновато разглядывать мишень с ее свинцовыми ранками, и непонятной казалась хищная ловкость пули, прилетевшей именно сюда, в эту бумажную точку, придуманную как замена чьей-то живой плоти.

Иногда такая мысль приходила в неподходящее время. Палец, неслышно жмуций холодную жилку курка, нехвата замирал, и жилка эта, кравшаяся к спуску с привычной миролюбивой податливостью, тоже досадливо замирала и срабатывала позднее обычного.

Дока стрелкового спорта, разглядывая мишень в трубу, говорил Акимову:

– Зацелился. Дохленькая такая семерка на пять часов.

Это значило, что малодушная пауза свалила мушку чуть вправо и сильно вниз.

На рубеж выходили по трое, потому как и винтовок команде дали всего три. Акимов делил свою с Ниной, изготовка у них оказалась одинаковой, и пристреливать винтовку друг после друга почти не надо было. Отстрелявшись, Акимов клал приклад теплой от щеки стороной вверх, хотя это и было неправильно, потому что затвор оказывался внизу. Нина уютно плюхалась крутым пузечком в разогретый акимовский ватник и тут же нетерпеливо прислоняла щечку к прикладу. И атомы акимовского румянца, притаившиеся на благородной деревянной глади, смешивались с жаркой девичьей мечтой.

Нина была маленькой и доброй. Она ни с кем никогда не пикировалась. Мягкость, с которой она отвергала происки дежурных повес, смущала и отрезвляла их лучше самых резких слов. Других девчонок привычно и шутливо тискали, а Нину как-то берегли, и это служило доказательством того, что многие были в нее попросту тайком влюблены.

Улегшись поудобнее, сбив первую, мгновенную и жадную тягу взглянуть на мишень сквозь прицел, Нина затем поворачивалась на бочок и продевала левый локоть в винтовочный ремень, делая из руки и ремня жесткий треугольник-изготовку. Потом опять перекатывалась на живот, с полминуты еще копошилась, будто курочка, на ощупь подтыкаясь правой рукой где-то возле бедер. Она знала, что мальчишки не сводят глаз с нее, волшебным образом распластавшейся в своих тертых теплых брючках прямо у них под ногами.

Дока, его звали Костя, с ласковой улыбкой подходил к Нине и по одному ронял в ее вывернутую кверху розовую ладонку тринадцать патронов, стандартную горсть увесистых зернышек – с учетом трех на пристрелку.

Нина благодарно кивала, а Костя не спешил отойти и тоже смотрел на милую сдобную девчонку, на ее спину в синем свитере, волнующе обтянувшем теплые девичьи лопатки. И думы у взрослого Кости были совсем не те, что у сопливой команды, и мальчишки наблюдали и за ним, пытаясь представить, что испытывает опытный мужчина при взгляде на юную женскую сдобу.

Однажды, перехватив эти взгляды мальчишек, Костя с кривлянием сделал беззвучный похабный жест, знакомый и короткий. Стоящая сзади команда с готовностью приняла шутку, одновременно и беззвучно же ощерившись, и усиленно вытаращенными глазами показывая, что все рады бы расхохотаться, да нельзя. Это все было пошло, привычно-пошло, чисто мужская вечная игра, игра в общем-то невинная, ведь Нина ничего не видела и, значит, не могла оскорбиться.

Оскорбился Акимов. Он не подал виду, но худенькие скулы его дрогнули, и челюсти по-бульдожьей сомкнулись, хавкнув пустоту. С этой минуты Акимов возненавидел Костю.

Косте было лет тридцать, и слыл он в техникуме мировым мужиком. Он был невысок, весело щелкал пальцами, всем улыбался и всем с радостью подавал руку. Кое-кто говорил, что Костя – человек без принципов, но это скорее всего было сказано из зависти. Когда надо, Костя умел быть твердым. Как-то Костю сам директор техникума допрашивал насчет его нелепого шефа-военрука, напившегося с дипломниками. Костя наотрез отказался отвечать, заявил гордо и красиво: «Это для меня свято». Между тем желторотым техникумцам Костя запросто открывал занятные секреты об отставнике и вообще о многих своих коллегах. И это тоже говорило о бесстрашии.

Но особенно любил Костя рассказывать о женщинах. Бывало, шагая через улицу к тире, он со смехом прятался за какого-нибудь широкоплечего старшекурсника, шепча: «Прикрой скорее, вон пошла одна моя, она меня чуть из чайника не ошпарила от ревности» либо тому подобную интригующую чушь.

Этим своим мастерством молоть веселую чепуху с ласковым выражением глаз Костя обаял почти всех техникумских девчонок. Притом он действовал не таясь, без оглядки на жену, о которой он тоже при случае говорил что-то притворно-обиженное, трагически понижая голос, и глаза у него наполнялись водицей. Ошеломленные этим напором веселой ласки и слезливой исповедальности, девчонки одна за одной попадались в тенета и вместе с дипломом уносили из техникума воспоминания о коротконогом Косте как главным своим впечатлением от лет учебы.

Нина тоже влюбилась – быстро, отчаянно, как и бывает это в восемнадцать лет. Она училась только лишь на втором курсе.

Как многого о техникуме и Косте она не знала, а если и успела узнать, услышать, то, конечно, не верила. Рядом

с нею и другим не верилось в пошлость, свинство, двуличие, не хотелось думать, что все это есть где-то. Ее глазенки были всегда как у доверчивого комнатного зверька, не ведающего законных холодных ветров, сотканных из разлитых по миру зависти и злобы. Ушлые простаки-сверстники тушевались под светом этой доверчивости – Костю же здесь ждал пир, ждало кострище, на углях которого вкусно обугливалось жаркое из детского сердца и сочной девичьей души.

Акимов со страхом смотрел, как по-охотничьи преобразается Костя при виде Нины, как он, только что выплевывавший пачкающие анекдоты, начинает вдруг говорить с мурлыкающим придыханием, насквозь фальшивым, но безотказным. Удивительно прост был инструментарий оболъщения. Костя никогда не расходовался на сложные ужимки и прыжки, он обходился «птичкой» и «рыбкой», даже иногда вкладывал в них подспудную издевку. Ее не замечали, жертва съедала угощение с жадностью и ждала еще и еще, с каждым разом становясь все ненасытнее. А когда эти пошленькие «рыбки» вдруг кончались, девчонка чуть не лезла в петлю из-за обманутой любви, конечно, единственной и неповторимой.

Акимов видел, как при Костином появлении у Нины пунцовеют щеки, как, словно теплый шоколад, плавится вся ее лежащая ничком фигурка от падающих сверху игриво-грозных Костиных словечек о дохленькой восьмерочке, за которую «надо бы одной маленькой девочке нашлапать попку». В такие минуты немеющий от ярости Акимов явно чувствовал, как мишень превращается в Костино лицо. Он думал, что и Нина должна возмутиться, поежиться от столь дрянных шуточек. Но Нина млела от самого Костиного голоса. Предложенная Костей игра разрушала некий барьер и разрешала что-то манящее, обещала без

обязательств, обнимала без прикосновений... Полоумный старик Фрейд все это здорово растолковал, но только к чему и зачем? Ни Акимов, ни Костя с Ниной о Фрейде и слыхом не слыхивали, да если б и услышали, сочли б его толкования за бред, ведь Акимов любил Нину как будто не за глубокие влажные глаза и чудесную, не сминаемую даже от долгого лежания грудку, на которую Акимов боялся и смотреть, – а за честный характер. И Нина любила Костю не за наркотические слова, улыбки и горячие руки, смело поправляющие изготровку юной снайперши, – а опять же за честный характер.

– Какой он молодец, как он спас Василича, – в который раз вспоминала она, идя с Акимовым к прогорклой автобусной остановке со свернутой набок синей табличкой на бетонном столбе. – Он что, вправду так и сказал директору: «Это для меня свято, ничего говорить не буду»?

Василич был военрук, и о его пьяном проколе знал весь техникум. Зато никто не ведал, скажем, о том, как Василич выдергивал Костю из милицейских объятий. Впрочем, знай Нина и об этом, ореол несколько бы не померк. Разрешение на любовь может быть выдано с помощью чего угодно: не подходит восхищение – в самую пору будет жалость. Не все ли равно, из чего сделана ширма, только бы она хоть на первых порах скрыла от тебя волнующую наготу твоего же чувства.

Считать Костю честным Нина решила только лишь потому, что сама, несмотря на всю свою мягкость, была весьма щепетильна в вопросах бытовой чести и не простила лопухим однокурсникам даже списанной лабораторки.

Тем временем февраль издох, за ним и март прошел, словно быстрой солнечной лентой просочился сквозь темное окошко прицела. Струны пахучей капли нетерпеливо дрожали, светились прямо возле мокрой ружейной муш-

ки. Капель весь день чертила вдоль огневого рубежа полосу из глубоких серых вулканчиков. К вечеру эти до конца промокшие бороздки бессильно леденели. Они хрустально крошились, когда вороненый ствол, уставший выслеживать мишень из своего теплого низкого укрытия, нечаянно на секунду поникал, ложился тонким своим носом прямо на ледяную корку, сквозь которую, как эмбрион, уже проглядывала темная, отоспавшаяся за зиму земля.

– Опять, опять зацепился, ослабла рука, – с привычно скрытой досадой сказал в один такой момент Костя Акимову.

И тот вдруг почувствовал, что больше не придет сюда, в этот опостылевший тир с надоедливymi сквозняками и разбросанными по дощатому полу ватниками. Больше не хотелось прикасаться к винтовке, и даже патроны то и дело не желали ложиться в кругленькую пастку затвора, они то и дело бесшумно, внатяг заклинивали, и затвору приходилось до срока выплевывать их на холодный выцветший настил.

Акимов пропустил сразу неделю, и его вычеркнули из команды.

Но пришла пора стрелкового игрища, на турнир приехали из других городов, сразу из восьми родственных техникумов. Надо было показывать им город, и Акимова записали запасным и поручили ему стайку гостей. Он старательно показал хилые местные достопримечательности, на которые, впрочем, мало кто смотрел, ведь гости тоже радовались прежде всего тому, что им выпало уехать от зачетов, от лекций.

А в день турнира Акимова посадили в траншею менять мишени. Стреляли одновременно все команды, и под мишенями таились запасные, чтоб после каждого отстрелявшегося своего участника быстренько крутнуть винт, схватить грохнувшуюся вниз фанерку со свежепродырявленной,

пахнувшей ветром и сыростью мишенью и нести ее судьям, в низкий бункер на выходе из неудобной, слякотной траншеи. Задрав голову, Акимов смотрел, как в двух метрах над ним на паутиново разрисованном глазу очередной мишени рождаются внезапные дыры-кровоподтеки. Ему казалось, что иногда он даже видит пулю, тенью скользнувшую через узкую голубую щель неба и коротким злым шепотком сказавшую что-то мишени, мимоходом укушенной, получившей еще одну сквозную, вмятую по краям смертельную роспись. Мучило странное желание подставить ладонь, изведать, так ли опасна эта тень, рвущая щепы из фанерки и чмокающая в задний бугор, серый и кисельно теплый от весеннего солнца.

Дела шли быстро, четыре расстрелянные мишени отнес Акимов судьям и взял у них пятую, последнюю. Он прикрепил ее стальными холодными скобками к еле живой фанере, повесил на щит и выдвинул его наверх в голубую щель. На свежем бумажном квадрате пока не было ни следочка, лишь чернильная печать в углу сумрачно тарачилась, словно ждущая подвоха кошка на плетне.

Сочно, мясисто щелкнуло, родилась дырка, за ней вторая, третья – на мишени привычно нарисовалось тугое созвездие. Но красивым оно было недолго, вдруг полезло в сторону, сделалось рыхлым и с каждым выстрелом нехорошо расширялось, как безнадежно больная вселенная.

Последней стреляла Нина. Она очень готовилась к сегодняшнему дню. Она лучше других чувствовала, как важны для Кости соревнования. Костя с утра был взъерошен, взволнован, словно мальчик-солист на детском утреннике, и Нина горячим шепотом жалела его. И Акимову поневоле передавалась эта ее жалость. Он слышал, что турнир может открыть Косте какие-то смутные для Акимова горизонты, какие-то двери, – в общем, это гораздо серьезнее, чем по-

лагали сами стрелки, юнцы, вполне счастливые одной лишь свободой от нудных аудиторий.

Нина убеждала себя, что волнуется, конечно, больше не о Косте, а о техникуме. У нее и впрямь сердечко было не на месте, и неудачно исполненные выстрелы она воспримет как проваленный экзамен, причем проваленный не ею лично, что тоже, конечно, было недопустимо, а всем техникумом, и это было уже просто катастрофой.

И вот катастрофа совершалась прямо на глазах у Акимова. Он представил, как смотрит сейчас Костя в трубу, как ненавидяще косится на распластавшуюся у его ног влюбленную девчонку, рушащую все Костины мечты. Костя тоскливо молчит, потому что поправить ничего нельзя, мишень увешана теми самыми «дохленькими», то есть едва зацепившимися за линию семерками и восьмерками, позорно раскиданными по всему циферблату, если представить мишень в виде часов.

Уже почти все мишени были спущены, в темной истолченной траншее оставались лишь Акимов да пара приезжих запасных, унылых, продрогших от льющихся за воротник с дощатого перекрытия сиреневых колких струек.

У Нины оставался последний выстрел. Акимов уже держал руку на винте, когда сквозь ржавый лаз-предбанник в траншее втиснулся Костя. Он был улыбочив, из голубых глаз шла привычная греющая доброта.

Мертво тюкнула последняя пуля. Акимов крутнул винт, и щит с фанеркой и мишенью, хрипло крикнув, соскользнул к его рукам.

– Плохо... – виновато сказал Акимов Косте, но Костя приложил палец к губам и ответил бодро, протяжно, как дрессировщик, хвалящий послушных медведей:

– Хорошо, хорошо-о...

Просто и спокойно он вытащил из-под своей распахнутой

куртки ровненькую бумажку. Это была мишень с такой же фиолетовой печатью-кошкой в верхнем углу и с десятью могуче сцепившимися пробоинами в самом центре. Костя сам снял скобки с фанеры, скомкал только что отстрелянную неудачную мишень, взамен прикрепил принесенную и сунул Акимову, дружески подтолкнув его:

– Неси, Колюня.

И ушастый Акимов, дергая тонкой шеей, рысцой побежал к судьям, сдал фанерку с фальшивой мишенью и выскочил на воздух. Костя же подошел к двум оставшимся гостям, застывшим с запрокинутыми головами, тоже чуть посмотрел на их еще маячащие вверху мишени и сказал, чтобы, уходя, не забыли закрыть свои щели вот этими заслонками, – и сам повозился возле нескольких покинутых щелей.

Нина была радостна, тормошила Акимова. А ему почему-то вдруг захотелось спать. Он дремотно, оцепенело слушал шуршание голосов. Нина говорила, что Костя хвалил ее, когда стреляла, и всех хвалил, все стреляли здорово, и теперь у техникума большие виды на победу.

Судьи подсчет результатов вели по-домашнему, без секретности, и уже до построения команды узнали, что, да, хозяева победили, вторая команда отстала на пять очков, турнир удался, все очень мило, и всех гостей ждет уютная техникумская столовая.

Построение для вручения дешевеньких призов проходило прямо на той площадке, через которую полчаса назад летели тяжелые шмельки с рубчатыми животиками и свинцовым нравом. Сейчас тут, на укрытом четырьмя крепкими стенами островке, счастливо томилось апрельское солнце, жгучее, молодое. Нина жмурилась, влажными от света и любви глазами смотрела на Костю. Акимов видел эти взгляды, хотя старался смотреть лишь на черную землю, от которой шел

мохнатый пар и пахло ожиданием травы, лета, жизни. И был во всем этом обман.

На мгновение Акимов очнулся от мысли: это одним словом может остановить происходящее. Даже нет, пускай вручатся картонные призы и грамоты, пускай ласковый, всеми любимый Костя прыгнет в какое-то свое, такое необходимое ему служебное счастье, но вот Нину, добрую и неподкупную Нину, можно спасти одной лишь фразой. И сгинет ее любовь, рассеется, как этот невесомый пар, который к ночи оборачивается слабо хрустящим инейком и никакой мечты о вечном тепле уже не обещает.

– Колюня, идем с нами, – сказала Нина, держа Костю под руку и рая Акимова Костиным притворно-нежным толкованием его имени. – У нас будет сегодня отличный вечер, Колюня!

Акимов побрел за командой, слушающей милого счастливого Костю. Костя был по-настоящему счастлив и от этого был сейчас по-настоящему же красив. И Акимов понял, что ничего нельзя остановить, что сегодня между Костей и Ниной произойдет что-то неотвратимо-нестерпимое, неодолимое.

В тихом сквере Акимов незаметно отстал, прислонился к плачущему от весенней истомы деревцу. Он стоял долго, пока дерево не выплакалось. Сырость уже сделалась колючей, солнце перестало радоваться и покорно смотрело в задымленный горизонт. Впереди была тьма, сильная, плотная.

Анисим

(рассказ)

Анисиму сверкнуло шестьдесят, когда он похоронил жену.

Без нее долго протянуть не думал. Время пришло судорожное, знобкое, сберкнижки за год будто в печке погорели; денег ни у кого не стало, цены так росли, что ни одной не упомнить.

Решил Анисим разом с могилкой жены и собственную обозначить загодя, пока хоть какая копейюшка есть. Памятник супруге поставил – рядом и себе тоже.

Портрет с надписью ей прикрепил, надо вроде и себе вешать, чтобы сторонний глаз безымянностью не влечь. Памятник без надписи как паспорт без печати.

Так и обиходились обе могилы, покрашены, в оградке стройной алюминиевой.

Анисим на кладбище заглядывал часто. Чуток диковато на свою-то, как говорил, «смертную одру» глядеть, так ведь год-другой – и всё, бывайте. А вечный домик готов, ждёт.

Кроме самого Анисима, никто бы ему его не поставил, нет наследника; а село уж нищее, безденежных бабок в простынях хоронят, куда ещё тебе портрет с оградкой.

Так что поглядели-поглядели односельцы на Анисимов дальний расчёт, да и одобрили.

Одна загвоздка: не умирает старый хрыч. Десять лет на своё пустое надгробье ходит, ругается всё лиловей, аж до черноты: покраска идет в двойную трату.

И вообще десять лет не два, пошучивать улица стала, глупо Анисим глядится у своей могилы, особо на общих поминальных днях, когда всё село тут.

Детвора повалилось: то бороду, то бородавку на фотке до-рисуют. А что, когда живой?

Потом и шутки в сторону, одна грусть пошла. Стали по-вально красть вздоржавший цветной металл, провода пря-мо под током выкусывать, святые бронзовые надгробья сни-мать, походя, будто закупорки винные.

Выломали вот так и Анисимову оградку.

Дед во зле отнёс в милицию заявление, длинное, как ме-муар. Райцентр сидел под боком, через речку, и участковый в село явился скоро.

Смешливый без повода, он мельком оглядел выпцветшее фото, блаженно растянул губы, прищурился на сутулого, ко-ряжистого старика:

– Анисим Чумихин – это покойник или заявитель?

– Я, я и заявитель, и... этот, – деду давно надоело отвечать на всякие такие вопросы. – Какая тебе разница, ты люминий давай ищи.

В сумрачном или, как он говорил, лиловом настрое Ани-сим всегда грубил до хамства, а этот сержант-дурносмех был его моложе втрое и уже с бабьим любопытством.

В общем, они разругались в крошево прямо на погосте; милиционер убрался, ничего не обещая, но всё такой же не-пробиваемо-веселый, а Анисим раскачал свой печальный обелиск, с рыком взвалил на квадратное плечо и уволок до-мой, в курятник.

Было это в масленом феврале, а в постном апреле Чуми-хин обнаружил, что его не взяли на концерт.

Надо сказать, он с ума сходил по гармошкам, сам ла-дил, сам играл на них сутками; гулял с гармонью по двору в полночь, будто лунатик, особенно теперь, вдовцом. Норо-вил быть душою всех клубных вечеров и жидких нынешних свадеб.

Правда, в самостоятельность его пускали с неохотой, по-

тому как Анисим любил покучерявить, то бишь без спросу спеть со сцены неприличную частушку.

Вот и теперь клубники уехали в райцентр без Анисима, обманули, смылись тишком, словно от мальчика пушистого.

Но с ним этого нельзя. Он справедливо обижается и делает наперекор.

Так что схватил Анисим гармонь за самую большую заплатку и бегом к залитому дубовому мостку. Пока они семь километров кругая на большой мост дадут, Анисим через умирающий паводок в минуту перешагнёт и на концерт раньше тех поспеет.

Паводок и вправду сходил; выныривали чёрные берега, река была в жирной илистой кайме, отвратительной, будто крашенная бровь старой цыганки.

Но переправу вода еще не открыла, шла верхом через узкий полуметровый настил без поручней. Так что вместо настила – певучий пенный вал сквозь всю реку.

По этому валу, бьющему выше колен, и двинул азартный старикан. Клееные сапоги с портами были скинуты и в страхе лежали на гармонии, а гармонь – на горбу.

Главное было не стать на какой-нибудь подводный дощатый сучок и не шатнуться – иначе, как соринку, в реку смое. И на перекат, по которому идёшь, лучше не глядеть: шныряющие перед глазом бурунчики кружат башку хуже телевизиорной рекламы.

Ноги зажглись до самых корней, но скоро облегченно ступили из воды в липкий ил, показавшийся парным. Анисим кое-как оскреб пятки сухим прибрежным быллем, облачился – и рысью в РДК.

Показывало без трёх минут шесть; как раз впору первым выпрыгнуть на сцену, сделать им негладко. Будет хохоту.

Он и выпрыгнул: колдобистый, красный. Развернул меха, разинул рот... А голоса-то и нет.

Вода леденящая съела голос, посадила горло намертво. Не то что слово сказать – мокрецу прокашлять не выходит.

Сыграл Анисим переборов пять, да и слез молча, дурак дураком. Не вышла колдобина. Стоящий у занавеса язвенный завклуб Иван даже лаяться не стал, понял: какой-то промах у вредного деда.

Привычно завели селяне свои пляски волынистые, почти подневольные, а Анисим из РДК уполз в магазин.

Мимо бесшумно и упруго просеменила собачья свадьба; у псин были одинаково раскрыты пасти, из которых одинаково свисали языки.

Стакан душистой водки оттяжки ни горлу, ни настроению не дал. В Анисиме и в трезвом энергия всегда вот такой живою шавкой наружу рвалась, а уж после спиртного прямо как гиена лютая нутро грызла и ждала чего-то немедля слопать.

Давать пеший семикилометровый круг к дому желанья не было, а вновь форсировать взятый пеной мосток уж и думать нельзя.

Тут вспомнил старик про своё до сих пор безответное заявление в милицию и решил опять обидеть участкового – всё легче станет.

Отправился в райотдел. Но наводить правду там уже было не с кем – день кончился, в милиции сидел только волохатый дежурный, сказавший, чтоб приходил завтра.

– Куда завтра? – злобно засипел Анисим. – Я из деревни, мне вёрсты мотать сил нету... Оставляй меня ночевать в кутузке!

Дежурный потёр свою обросшую волоснёй шею и посмотрел с большим напряжением.

Пару месяцев назад этот лейтенант вернулся из чеченской командировки, где на него от взрыва упали человечьи ошмётки. Теперь на него часто валится багровое мясо. Он

никому не говорит, не хочет в дурдом; однако рваной человечины с каждым днём становится больше, она лепит в лицо и бьёт с ног.

– Не положено, – трудно сказал дежурный, отстранясь от стола и гадая, правильно ли поступает.

– В штаны наложено, – передразнил сипучий Анисим. – Я простудный, мне надо огреться. А то вымру, а из-за участкового мой памятник куры засидели.

Дежурный удивился, зачем мясу памятник. Однако испугался такой мысли и очень медленно, будто читая словарь иностранных слов, произнёс:

– В КПЗ сажают нарушителей общественного порядка.

– Так я же пьяный, – Анисим обрадованнодохнул на милиционера.

– Ерунда, – сказал лейтенант, с усилием стирая ладонью, отлепляя от лица дедов ароматный дым и опять пугаясь этого своего движенья. – Дедуль, иди домой от греха.

Сейчас откуда-то с потолка ему на стол должна была упасть дымящаяся рука с проволочным обрывком вены, и дежурный не имел права показать, что он увидел эту руку, жутко побелевшую в ногтях.

– Тебе нарушение надо? Будет, – сказал между тем Анисим, раздёрнул гармонь и безобразно закричал, перемогая сип: – Мой милёнок от тоски выбил хреном две доски! Возрастает год от года мощь советского народа!

Передохнул, завершил победно:

– Понял? Любимая частушка моей покойницы. Пускай в камеру! Нечего мне дома делать.

Из солидной, как-то мраморно лязгнувшей боковушки на шум с интересом вышли четверо в пухлых бронежилетах и с короткими, будто фига, автоматами.

– Ёшь моёшь, – изумился таким силам Анисим. – Чего ж вы, герои, в Чечении-то увязли?

Лейтенант хотел ткнуть нахала в рыхлую морщинистую челюсть, но от гнева пришёл в себя и увидел вместо ошкуренной мясной туши обычного старика, избитого одиночеством.

– Отвезите его к дому, – устало и внятно сказал он бронжилетам. – Тут близко, за речкой. Да растирки ему купите, что ли... А то он уже про памятники что-то бредит.

Ласковый Зина

(рассказ)

Камень лежал косматый и насквозь больной. За двести неподвижных лет его нутро проели трещины, и по трещинам тем сейчас ползала разная мягкая мышва.

Пришел новый апрель, новое солнце ударило в луч, и из камня глянула бело-рыжая ласка-подросток. Две брезентовые ящерики пробежали по камню наперегонки и ленточками упали в трехдневную траву.

Ласка худа и любопытна. Нырнувши внутрь, шмыгнула по больным каменным потрохам, высунулась уже внизу – ловко, сторожко, вполголовы. Тут сидел лимонный мотылек и мерно вздыхал крыльями. Раскрыл их – будто бы вдох, закрыл – выдох. И весь свет дышал в такт этим невесомым крыльцам.

Здесь семипудовый валун дрогнул и поднялся на воздух. Человек, ступивший сзади, нес его в обхват, медленно, с динозавровой силой сжав пальцами камню бока. Ухнул, кинул под откос – вековой старик покатился, теряя куски.

Валун был последним, что мешало человеку на этом склоне. Человека зовут Зиновий.

Никто не ведает, откуда он. Говорят, в порту такелажил, да сорвал канат кораблю. Тут уже пятый год, взял у власти пустой недалний лог и устроил в нем царство. Сначала извел весь бурьян, каждый корень рыл пальцами, они у него тверже копалки. На спине носил от города мотищи железной сетки – из нее стал по склонам забор.

В одно лето лог сделался сладким куском голландского сыра. Вверху бычки пасутся, низ весь лопатой – не плугом – вспущён, и на нем помидоры вот такие: всего два в ведро влазят.

Местный мужик врага учуял сразу. Прежде чем паковать по-крупному, своровать ту же сетку или стог поджечь, деревенские сделали разведку: подпустили двух своих телок попасться у Зиновия на сдобной безбурьянной травке.

Бурёны к домам не воротились. Нашли их на краю лога челехоньких, но мертвых; что с ними случилось – не поняли.

А Зиновий просто хлопнул каждую кулаком по лбу, сверху вниз, по пушистой звездочке. Животинки тотчас пали от сотрясения коровьего мозга; а на звездочках ни вмятины, ни красного следа – не молотом же бил.

Зиновия сразу оставили в покое. Его угрюмое бирюковство и нечеловечьи размеры – ладонь в сковородку – пугали всерьез. Но еще страшней была его работящность.

Он постоянно что-то делал. Движения его были медленны, но неостановимы. Если даже он и садился на минутку, то держал в руке топор, скребок, шило, гвоздь либо просто щепу, которую сейчас надо кинуть в огонь иль мусор.

Природа его не занимала. Над апрельским полем себребрился жаворонок, он кружился и журчал и вместе со своей песенкой взбирался – словно по ступеням винтовой лестницы – всё выше в небо; потом крылышки его замирали, распластавшаяся птаха журчащим парашюти-

ком спускалась по прямой. В самый момент посадки журчанье обрывалось – приходила целебная пауза, нужная и полю, и жаворонку; пауза, чтобы подивиться миру, самому себе, вдохнуть воздуха для новой песни и нового полета в жизнь.

Зиновию таких передышек не требовалось, и в этом крылась какая-то болезнь, какая-то боль и беда. Работал он – сразу было видно – не для богатств, потому что лишнего не строил, копался во всем без машин и механики, первобытно, видать, его само занятие грело.

Невест к нему не подпускали; хоть видный и на дело, и на облик, а дико с ним рядом, как в клетки с волком. В разговор ни с кем не идет, смотрит в глубь себя.

Сошелся с ним бродячий городской художник. Как-то рисовал тутошные репы на продажу и подивился его логу.

– Я и во Франциях такого порядка не видел, – поздоровался через сетку. – Давайте вас нарисую.

Малевал он плохо, но ярко. Лицо хозяина в картине вышло в один цвет с его сортовым помидором, Зиновий тому умилился и сказал художнику приходить, когда хочет.

Пухлый живописец, его звали Редникин, стал и вправду навещать бирюка. Невкусный свой дар он сдабривал сладким говором. Будто соусом, обильно поливал он восторгами и закат, и деревья, и воздух – и Зиновий вслед за гостем тоже удивленно смотрел на закат, деревья и воздух.

– Это же краса, краса... – тонко повторял художник слюдяным облакам, кленовым венчикам и томному ручью. – Это же в километре от города такая краса.

Он по полдня сидел где-нибудь в травах, поклёвывая кистью холст; вечером приносил готовый пейзаж, такой же яростно яркий, как прочие.

– А где ты вон ровчик не рисуешь? – спрашивал Зиновий. – Густое место. Головой прыгнуть хочется.

– Нет, Зина, свет не тот, – отвечал Редникин. – Да и кто купит обрыв? Глина... Нет, краса нужна.

За прошлое лето он наведывался вот так раза три, однажды даже с ночевкой. И в этом году явился уже в апреле, такой же приветливый, с редкой кружавчатой бородкой, – известно, творцам без бороды не творенье.

Вчера деревенские пустили по бросовым лугам обычный свой весенний пал. Сухая путань былья горела трескучим фронтом, зачернила пустоши до тоски. Фронт угас только у Зиновьева лога, потому что дальше шло не перезимовавшее горячее быльё, а ребёночья зелень, ухоженность.

– Ну, Зина, ты трудяга, – сказал привычное Редникин, явившись.

– Это не труд, а так... возца, – ответил Зиновий тоже привычно и ровно.

– Нет, не возня. Надо тебя покрупней нарисовать, оставить для истории.

– И это возца.

– Что, не хочешь для вечности остаться?

– Какая там увечность, один сор. Зачем все после себя хотят следы оставить? Живи почтенно, не мусорь. Уходишь – убери бумажки, оставь полянку, как была... На ней еще другим жить и в солнце глядеть.

Тирада была длинной для Зиновия, да и некстати. Редникин махнул коротенькой ручкой и обернулся: он привел двух спутниц.

Этих пятнадцатилетних девчушек Зиновий осенью видал на селе, но не особо запомнил; он не любил смотреть на чужое.

Сейчас глаза не спрячешь: гости ждали. Одна была обычный подросток, травинка-пылинка; а вот вторая чем-то брала – то ль худобой светлой, то ли взглядом светящим.

– Видишь, какие ангелки у тебя в соседях. Привел вот порисовать их. Можно на твоей зелени?

Зиновий кивнул и пошел по делам.

Работа его была все так же проста и бездумна. Он обрубал на пробуждающихся придорожных яблонях-дичках отжившие ветки, крошил их в мелкую растопку и, завернув пятиметровой полотняниной, сносил огромными скрипучими кипами к себе под навес, где складывал ровно, край в край. Потом черпал скоту питьё в низине, в старчески ворчливом ключе, выливал в большой железный короб, и вода из ведер падала на рыжее дно так же ровно, с одинаковым глухим плеском.

Движения и само лицо Зиновия были будто в дрёме, но и вниз к роднику, и обратно в гору он шел одним спокойным шагом, не чуя ни тяжести, ни скуки. К полудню навес забился высокими стопами хвороста, спичечные концы рубленых веток торчали в лад, как щетинка; а короб раздул бока и взялся росой.

Редникин все это время прыскал по склону, усаживал девчонок на траву то там, то здесь и торопливо малевал у себя в фанерке. Подбегал, трепал за щеки ловкой ладошкой, поворачивал покорные головки, прося показать лицом мечтанья.

Девочки издали виделись Зиновию цветными карамельками, а рисовальщик – хлопотливым блестящим жучком, обалдевшим от столь сахарной находки.

Потом они поднялись ко двору. Редникин нес в руке свою скомканную куртку, у крыльца потрянул ею – наземь упал зверек с белой мордочкой и злым отчаянным взглядом.

– Не убежит, лапа разбита. Под камнем лежал, хорек вредный.

– Это не хорь, это ласковая, – ответил художнику Зиновий. – Пусть они домой возьмут, коту.

– Кот с ней не сладит, – торопливо сказала травинка-пы-

линка и отвела синие глазенки; видно, Зиновий ее страшил своими размерами.

– У нас ее сразу поросенку кинут, чтоб затоптал, – добавила вторая; эта смотрела прямо и доверчиво, и Зиновию отчего-то стало хорошо. – Посадите ее тут где-нибудь, а то жалко. Мы к ней приходите будем.

– Да и посади, что ли, – поддержал Редников.

Зиновий с той же дремой на лице взял изогнувшуюся кольцом ласку и мягко бросил в пустую молочную флягу; а кровь, до которой зверь в эти секунды крепко достал всеми своими клычками, стряхнул ленивым взмахом руки, словно это была не его родная кровь, а так, привычный телячий пот.

Гости чуть вздрогнули от того, что хозяин даже не поморщился на боль. Рисовальщик быстро перевел к более нужному:

– Ну ладно, девы, а красить ваши портретики я буду у себя. Вы должны и там попозировать. Вон где моя мастерская...

Он достал из сумаря черный бинокль, при виде которого деревенские подружки вмиг забыли о раненом Зиновии, навел его на город и дал каждой глянуть в окуляры:

– Вон та зеленая трехэтажка, ближний подъезд. Час ходу. Жду на той неделе.

И они ушли. А Зиновий, не умевший отдохнуть, стал рыть ненужный пень.

Шагнул на землю май, спустил округу. Поплыли теплые дни. Лез могучий и смелый сорняк, но ему не было жизни: хозяин рвал его в хруст, где только видел, и на грядке, и сбоку по тропе. Бычок с козой пошли на выпас, ласка во фляге поправила лапку и тоже затосковала по воле.

Зиновию эта хищная тварь нужна была не больше, чем сорняк, однако ходил он к ней, как к другой живности, спо-

койно и в срок; кидал обильно пожевать вареный куриный желток, отнимал для нее у кошки придушенную полевку, плескал молочного питва. А увидав ласкину тоску, опустошил водный короб, выстелил свежей косовицей и посадил зверька туда.

Вечерами оба несколько минут смотрели друг на друга. Глаза у ласки при виде своего тюремщика тревожно тускнели, и она грызла угол; а Зиновий лапичей тёр по стенке, рубчатое лицо его становилось сладко-бесмысленным, как у младенца, сосущего палец, и он ронял сверху вниз:

– Сиди. А то придут – тебя нет. Жалковать девка будет, нельзя.

Дни плыли, как кораблики; никто не шел. Зверь успокоился и стал делать столба – стоять у железной стены на задних и тянуть к Зиновию белые передние коготки-пальчики. Медуница ударила в запах, трава пошла колосить. Поспело везти перекупщику первые укропы – и Зиновий отправился в город.

Там управился скоро, у него все получалось быстро, потому что не суетился. Налегке выходя из города, увидел пузатый и зеленый, в цвет листвы, дом – тот, когда-то промаячивший в окуляре. Зиновий без особых мыслей глянул в крайний подъезд; там сбоку мелькнула дверь, вымазанная знакомыми яркими красками, отчего сама напоминала редникинскую картину.

Зиновий ткнул дверь пальцем – она разинулась, впустила вниз, в долгий подвальный коридор, пахнувший не по-подвальному сухо и даже вкусновато. Где-то в последнем углу торчала еще дверца, покрепче, пофигурнее, с буквами и ладным замком; но и тут замок разом отщелкнулся, вежливо пуская Зиновия напрямиком в гнездо приятеля.

Художник был и точно здесь. Он стоял вполоборота, голый и студенистый опарыш. Коленки его были белы, как

выварившаяся кость. На уровне этих своих гнусных колен он держал блюдце с большими яркими черешнями и нежно бубнил кому-то:

– Ну-ка, деточка, возьми сладенького...

Перед ним и перед пустой бутылью марочного портвейна сидели сразу три полуодетых ребенка с испуганно-веселыми, красно-круглыми и бестолковыми глазками. Редникин, дряблый и мясной, заторможенно обернулся на стук двери, поперхнулся словом и взвизгнул:

– Сашка, чего дверь не заперта!

Из-за шторок, мольбертов и исклеванных грязной кистью холстов пьяно выскочил какой-то Сашка без подштанников, увидел громадного Зиновия – и ужас тотчас колыхнул его обратно. У Редникина на рожице тоже мелькнуло дикое, предсмертное, как у оглушенного кабанчика.

– Ой, Зина ласковый пришел, заходи, Зина... – мямлил он, но Зиновий в ответ повернулся, вышел и пошел к себе в лог тем же нескорым и неостановимым шагом.

На полдороге с него вдруг закапал пот; это Зиновий только сейчас осознал, что из тех трех напоенных девчонок две были его знакомые малолетки, для которых жила у него ласка.

Когда Зиновий пришел к подворью, испарина уже слетела с его дубленого морщинного лба. Зиновий взял секиру, подошел к ручной своей козе и одним коротким взмахом отшиб ее рогатую головку.

Бычок, увидевший это, сразу зарыдал, крупная слеза выкатилась из-под его белых ресниц, и все четыре ноги пошли дрожью. Зиновий убил его мгновенно, без мук; потом зашел в свой крепчайший дом и стал размеренно таранить печку и стены.

Матица упала ему на плечо, он ее сбросил, облил все из канистры и поджег. Пламя взревело, Зиновий вышел и впер-

вые оцепенел на целых полчаса, тупо глядя, как все сильнее бесится пожар.

– След оставить... Нет, все чисто будет, без сору... – говорил, как бредил.

Кинул за пазуху ласку и сгинул.

В логоу сейчас вправду чисто. Если не считать радостных мужиков, валяющихся в сизом бурьяне.

ТАТЬЯНА **ГРИБАНОВА**

От Рождества до Покрова
Китайские фонарики
Анисовые туманы



От Рождества до Покрова (Родные запахи)

Под Рождество каждая половица нашего старенького домишки, каждая занавеска на окошке, где меж рам созревают подмёрзшие рябиновые гроздья, каждая крошечная, но уютная, словно бабушкина душегрейка, комнатка напитывается смолистым сосновым духом.

Отец загодя, с утра, становится на широкие охотничьи лыжи, затыкает топор за солдатский ремень, подпоясывающий собачий тулуп. Подламывая корочку хрусткого наста, идёт через игинское поле в Хильмечки – ближайшую рощу. К обеду притаскивает на липовых салазках, справленных для хозяйских дел, сосну. Размашистую, под потолок. Приносит из амбара заготовленное ещё по осени на Жёлтом ведро песка. Сосёнку устанавливаем в горнице на самом видном месте.

Ледышки и снег обтаивают, хвоя разомлевает в тепле и источает такой аромат, что замороженный происходящим кот Патефон выгибает спину и замирает на пороге. Принюхивается, а потом – боком, боком пробирается знакомиться с новой пушистой жиличкой.

Отец спускается в погреб и возвращается с ящиком синапа. Это особые яблоки, отборные, рождественские. Завёрнуты в бумагу, пересыпаны ржаной соломой. Дождались своего часу.

К палочке привязываю прочным, хитрым узлом нитку и украшаю жёлтыми, с румяными бочками синапками сос-

ну. Шишки оборачиваю припасённой за год шоколадочной фольгой.

Пахнет клеем, гуашью. Маленький братишка перепачкан красками с головы до пят. Колечки гирлянд, сугробы ваты, ливень серебристого дождика, стаи замысловатых легкокрылых снежинок...

– Принимайте с пылу с жару, – мама вносит большущее блюдо. Золотистая гора печенья: зверюшки, звёздочки, ёлки, сказочные герои – свойские игрушки из нашей печки. Духовитая сдоба не даёт покоя коту, устроившемуся под сосной на куче ваты. Он подбирается и уносит-таки пухленькую белочку.

– Пока не затвердели, продевай цыганской иглой тесёмочки, – командует мама.

Развешиваю украшенные помадкой-глазурью печенюшки на колючих лапах. Ароматы сосны, синапа, ванили кружат голову. К ним примешивается запах плавящегося воска. Потрескивают свечи, пощёлкивают на кухне берёзовые полешки. Скрипят под окнами валенки, распахиваются промёрзшие сенные двери. С каляным морозным духом вваливаются ряженые. Шутят-дурачатся, распевают старые-престарые песни. Рассыпают по хате овёс, приговаривают: «Роди, Боже, жить, пшеницу, всяку пашницу».

Братишка прячется за мамин подол, боится размалёванной, с пеньковой бородой «козы». Из-под её вывернутого наизнанку овчинного тулупа выглядывают стёганные в ёлочку приметные бурки деда Зуба. «Коза» склоняется к маленькому Андриюше, запускает руку в карман и вынимает горсть ирисок.

– Коза-дереза! – пыхтит мальчишка, но от конфет не отказывается.

– Угощайтесь, гости дорогие! – мама выставляет приготовленные вкусности.

Ряженные ссыпают сласти-угощенья в огромный мешок и, поблагодарив хозяев, пожелав им светлого Рождества, выкатываются в сенцы. А мы подбираем просыпанное зерно и храним его до весны.

Укладываюсь в горнице у разряженной сосны, чтобы не проспять праздник. В окно глядится яркая-преярая Рождественская звезда, и я улываю навстречу ей по густым смолистым волнам.

* * *

Что означает фраза «ломать косарецкого», для меня и в детстве было тайной, и до сих пор остаётся непонятным. На Крещение зять в нашей деревне едет к тёще ломать этого самого косарецкого.

За несколько дней до праздника в кухне ко вбитому в потолок кольцу подвешивают гуся. На пол расстилают холстину, и мама с бабушкой щиплют птицу. Пух ложится на табуретки, на стол, на загнетку и сундук. Ресницы, брови и волосы женщин становятся белыми-белыми. По дому, будто в форточку намело, порхают пушинки.

Железным крюком надёргивает дедушка в стогу за амбаром вязанку соломы и, когда тушку выносят на двор, разводит костёр. На большие вилы укладывает ощипанного гуся и палит на огне. Пахнет горелым пером, пушинки на гусе тают, словно снег, а дедушка знай поворачивает птицу то одним, то другим боком. Пламя слизывает пух и перья, гусь лоснится от вытопленного жира. Бабушка забирает его на кухню, добела натирает отрубями, гремит чугунками. А дедушка старается над очередным гуськом.

Спустя пару часов сквозь приоткрытую дверь на улицу выползает такой дух, что у меня текут слюнки, словно у соседского кутёнка Мухтара. Я бросаю салазки и спешу в хату.

– Проголодалась, поди, на морозе? – торопится подкормить бабушка. – Бульонцу гусяного съешь-ка, голубка, мясу-то ещё томиться и томиться.

Только к вечеру поспекает долгожданный холодец. Мама помогает бабушке его разбирать, а я кручусь рядом: то лапку погрызть дадут, то кусочек печёночки обломится. Пока женщины стряпают, я уж и сыта.

«Может, зять приезжает к тёще на Крещение не косарецко-го ломать, а просто духовитый холодец есть?» – размышляю я, укладываясь на печке с объевшимся котейкой Патефоном.

Наступает Крещенское утро. Дедушка ещё вчера, пробравшись сквозь прибрежные лозьяки на Кромку, вырубил во льду Иордань – двухметровый крест. Церковь на Поповке давным-давно взорвали, водички святой взять неоткуда. В Крещенский Сочельник берёт бабушка воду из Иордани и кропит ею скот, хлев, дом и двор. А на само Крещение мы отправляемся умываться на реку. Набираем водицы у ключей на весь год. Когда бы ни пробовала я крещенскую воду, хоть в июльскую жару, кажется мне, пахнет она январскими сугробами да метелями. Ледяная, аж дух захватывает.

* * *

Сколько себя помню, под Сретенье всегда метёт, куролесит, будто старается зима на прощанье такого наворотить, чтоб запомнили её надолго. В такой व्यужный день я и родилась. Предпраздничная, значит.

На Сретенье успокаивается, любо-дорого поглядеть за окно – тишь да благодать. Солнце лупастит, на весну перелом. Середина февраля, а весна рядом бродит.

В хату со двора, чтоб не подмёрзли, приносят новорожденных козлят. От них пахнет парным. Кухня пропитывается козым духом.

Просыпаюсь поутру и чувствую: бабушка стряпает на завтрак омлет из молозива – первого коровьего молока. Значит, дождалась она таки, ночью отелилась Зорька. Бегу в хлев. Уже обсохший, чёрненький с белой звёздочкой во весь крутой лоб бычок мукает навстречу, взбрыкивает и прячется за опавшие мамкины бока. В честь ли моего дня рождения, по случаю ли появления на свет Зорькиного Маврика в кормушке настоящее лакомство – июньское сенцо с разнотравья.

– Не сено, а чай. Хоть в самоваре заваривай, – улыбается дедушка, зашедший взглянуть на телёночка.

Копаясь в хоботной плетушке. Собираю праздничный букет – сухие кукушкины слёзки, иван-чай, лисохвост, клубника луговая (даже с ягодками!), чуть поблёкшие васильки и целая охапка ромашек. Закрываю глаза, принимаю: букет дышит летом, Ярочкиным логом, сенокосом.

Днём на припёке взопревает навоз. Из-под сарая от гречишной соломы тянет мёдом. Или кажется? Может, просто хочется тепла и я тороплюсь почувствовать ещё не ощутимые запахи?

Порывом ветра доносит от сирени, что за верандой, тонкую-тонкую горечь побуревших почек. Чудится еле уловимый терпкий аромат пробуждающихся внешних соков.

На улицу из кухонной форточки вслед растолстевшему за зиму Патефону вышмыгивает запах поспевших тыквенных пирогов-гарбузят. Мама манит из окна перепачканной в муке рукой:

– Помоги-ка стол накрыть да за Андрюшей под горку сбегай. Укатался, наверно, валенки не стащишь.

Пьём чай. Наш фирменный: липа, мята, зверобой да щепоть земляничного цвета. Вспоминаем, улетая пироги, как растили для них духовитые медовые тыквы. Вымахали громадные. В сентябре отец с трудом погрузил на телегу да перевёз дозревать под сарай.

* * *

За неделю до Великого поста днями напролёт рычит маслобойка, разливается по кринкам, густеет сметана. Топится масло. В дуршлаг откидывается творог, выкатывается снежными шарами из марли на кухонный стол. Отец собственноручно, никому не доверяя, варит сыр: долго бьёт масло, творог и яйца в ведерной круглой макитре, следуя каким-то замысловатым прадедовским рецептам.

Сырная неделя – широкая Масленица. Кот лоснится от постоянного облизывания вкуснящих остатков, на столе не переводятся рыба, масло, молоко, яйца и сыр.

Накануне вечером, с появлением первых звёзд, бабушка идёт к колодцу и потихоньку, чтобы никто не слышал, просит месяц заглянуть в кухонное окошко, осветить опару да подуть на неё. Бабушка ставит опару на чистейшем снегу, собранном на дальних огородах, пришёптывает: «Месяц ты месяц, золотые твои рожки, загляни в окошко, подуи на опару».

Дрожжевой дух бродит по дому, пьянит и дурманит.

– Отнеси-ка, Таня, блинчик на поветь, да гляди, чтоб Пателефон не стащил, – подаёт мне бабушка первый блин, – на помин усопших.

Несу горячий с пылу с жару блинок на улицу и слышу бабушкину присказку:

– Честные родители наши, вот для вашей душки блинок.

Бабуля напекает целую стопу тонюсеньких дырчатых блинов. Поедаем одним махом.

– Блин не клин, живота не расколет, – подшучивает дедушка.

На другой день к печке заступает мама. Она жарит маленькие пышные оладушки. К ним подаёт бережливое к Маслене любимое лакомство – земляничное варенье. Кубаны с томлёным молоком опорожняются быстро под мамины олады.

Отец запрягает Воронка, и мы отправляемся под Гнездилово на кулачки. Отведав кучу блинов, поднакопив силушки, местные мужички пытаются её в кулачных боях, ходят стенка на стенку, деревня на деревню.

Вечером – катанье с горок на санках, костры и опять – блины, блины. С рыбой, с мёдом, с сыром, с творогом... Гречневые и пшеничные, кукурузные и овсяные – на любой вкус. И каждый день непременно другие.

Заканчивается Масленица. Патефон подбирает недоеденные блины. Мама обходит дом, вымывает подоконники и половицы уксусной водой – выгоняет масляный дух. Пахнет кислым. Начинается Великий пост.

* * *

Сходят снега, после первого тёплого дождичка проклёвывается робкая зелень. Мимо тополя не пройдёшь: дышишь не насытишься пахучей клейковиной, не насмотришься, глаз радуют крошечные листики.

Из корзинки высаживаю на лужок желтопузиков – гусятток. Беру тёплый, махонький комочек, солнечный, словно одуванчик. Подношу к щеке – и пахнет одуванчиком.

По лознякам ползут длинные мохнатые гусеницы, кишмя кишат. Присматриваюсь: да это цветы. Ива цветёт. А запах!.. Вжикают, облётываются первые пчёлы. Наголодались за зиму, будоражат их весенние ароматы.

Припекает. Мама выкатывает из чулана квасную кадку. Заправляет первый квас – с мятой, с изюмом.

Во время Великого поста начинается работа на земле. Чтобы поддержать семью, придумывает мама постные вкусоности-разности.

А что тут мудрить? Рыжики, например, и в праздник, и в будень – одно объеденье. Мама жарит картошку на конопляном масле (запах к соседям за забор идёт), ры-

жики посыпает мелконарубленным чесноком. За уши не оттянешь!

Как уж умудряется она капусту засаливать – до самой Пасхи хрустящая. Ешь и ещё хочется.

Особая гордость отца – мочёная антоновка. Разломишь яблочко – белое, сахарное, духовитое.

А на Благовещенье, когда «и птица гнезда не вьёт, и девица косы не плетёт», приносит дедушка с прудка, что у старой мельницы, десяток-другой краснопёрок. В саду на собственноручно слаженной печурке коптит их на яблоневого веточках.

Обрезая сад, собирает поленницу, даже хмызник от яблонь и вишен не выбрасывает, складывает под сарай. Что на копченье пригодится, что в печи в холода сгорит, напитает хату ароматным садовым духом.

– На Благовещенье работать не след, – считает дедушка, – кукушка завет нарушила, вот и скитается теперь без родного гнезда, Господь наказал. Детей по чужим гнёздам раскидывает.

Сидеть сложа руки весь большой весенний день он не выдерживает, поэтому и приловчился на рыбалку ходить.

Бабушка на Благовещенье пережигает соль в печи, добавляет в тесто, печёт большие хлеба – «бляшки», угощает ими скотину от всевозможных хворей. Ставит образок в закрое с яровым зерном, приговаривает:

*Мать Божья!
Гавриил-архангел!
Благословите,
Благословите,
Нас урожаем благословите:
Овсом да рожью,
Ячменём, пшеницей
И всякого жита сторицей!*

На восходе выносит отец клетку с синицами во двор, даёт нам с братом по птице, чтобы выпустили на волю.

День-деньской подкарауливает кот диких горлинок, слетающихся покормиться к куриной кормушке. От Патефона пахнет свежей рыбой, на морде сверкают серебристые чешуйки.

Вдоль стёжки, от клёна до ворот, натянута верёвка. Полощется свежевystиранное бельё. Вчера затеяла мама большую стирку, весь день колотила вальком на омуте. От подсохших занавесок и покрывал тянет свежестью, речкой. А клеверный стог в углу двора задышал, подсыхая после первого дождика, парной мякиной.

* * *

В Чистый четверг с утра бабушка готовит кринки и махотки. В печки томится молоко, откидывается творог, собираются в узелочки яйца. Под Светлое воскресенье идём с ней к одиноким и хворым, несём угощения к празднику. Бабушка разливает по пузырьёчкам какое-то благовонное снадобье, которое накануне варила под шёпот молитв. Может быть, в нём и не хватает всех компонентов, но она уверенно называет его «миро» и одаривает в Великий четверг односельчан. А ещё пережигает спозаранку в печи соль с квасною гущей.

– Осквернил её Иуда-предатель, надобно очистить, – растолковывает бабуля.

Хранит в коробочке на божничке и лечит ею от всевозможных болезней. Запах и свойства этой соли особые, и называется она Великочетверговая.

Хата к этому дню пахнет чистотой. Вымыты окна и полы, развешены праздничные занавески, из сундука вынута пасхальная скатерть: по домотканому льняному полю вышиты мелкие крестики, а по уголкам – ХВ. Она дышит прошлогодней пасхой и свечами.

В кухне стоит крутой луковый дух – мама красит настоем из шелухи десятков пять яиц. Несколько, смочив, обваливает в пшёнке, помещает в тугий марлевый мешочек. Весёлые яйца «в крапку» раздарит в Велик день маленьким крестникам.

Отец топит баню. Вечером смываем грехи, паримся берёзовым веничком, на голышики плещем мятным квасом.

– Теперь можно и Велик день встречать, – замечает бабушка, расчёсывая сполоснутые травяным взваром волосы.

* * *

В правом ящике резного буфета и сейчас могу на ощупь сыскать холщовый мешочек. В нём испокон веку хранится деревянная пасочница. Потемневшая от времени, с небольшой выщерблинкой по верхнему краю. На боках резные витиеватые буквы. Как только бабуля к ней прикасается, начинается священнодействие. Это случается раз в году – в пятницу перед самым большим праздником.

Накануне бабушка не ложится спать. Стоит в Красном углу и читает. С первыми петухами, обрядившись в свежий передник, убирает штапельным платочком волосы.

Выскоблив ещё на неделе стол, в большой с мелкими розанами таз выкладывает из-под трёхсуточного гнёта тугие плюшки белоснежного творога. Кисловатый запах его смешивается с запахом ванили, размоченного изюма. Липовой с прорезью ложечкой выкладывает она в тесто дышащий донником мёд. Совсем чуть-чуть, «коли переборщить – потечёт пасха, не собрать». Долго размешивает-соединяет. Наконец, вкуснящей массой заполняет пасочницу, поверх выкладывает изюмом православный крестик, освящает. А чтобы пасха укрепилась, затвердела, выносит до вечера на холод, в подвал.

И только теперь растапливает печь. Наступает черёд куличам. Из эмалированного ведра выпирает пушистой

шапкой тесто. Бабуля обминает его ещё разок, добавляет изюмцу, маслица, яицек, сахарку и чего-то такого, от чего у меня на печке сосёт под ложечкой, и я вскакиваю ни свет ни заря стащить горсточку ненашенских сластей, облизать ложки-миски из-под взбитых белков, поковырять ложечкой в махотке с зернистым засахаренным мёдом.

Часа через два бабуля вынимает куличи из протопленной по особому случаю вишнёвым хворостом печи. Поверх румяной сдобы толстым жгутом выпирают крест и маленькие букочки хв и вв. Белки молочными реками стекают по бокам, искрятся на весёлом апрельском солнышке, заглядывающем в оконце справиться, готова ли хозяйка ко встрече Пасхи.

Бабушка кропит куличики святой водицей, что хранится у неё для особых случаев за образком Анны Кашинской. В сенцах приготовлен стол. Выносим куличи, прикрываем полотенцем – доходить.

Бегаю мимо, принохиваюсь. И опять, кажется мне, нынче куличи лучше прежних: и душистее, и пышнее, и краше.

Пасох и куличиков хватает на всю Святую неделю. До самой Красной горки стоит в хате и во дворе дух Светлого праздника.

* * *

С первыми летними радостями – Троицей и Духовым днём связаны самые яркие, самые душистые воспоминания.

Природа утопает в цвету. Зелень ещё молода и свежа. С утра бабушка связывает в пучок четыре травки: зорю, калуфер, мяту и кадило. В середину ставит большую Троицкую свечу и поджигает её свечкой, привезённой для неё кем-то от Гроба Господня.

Травы, соприкасаясь с огнём, источают благовония. Бабуля заканчивает молиться, убирает обожжённые стебельки в

резной ларчик и хранит для лечения разных болезней. Свеча же прячется в дальний угол (разыскивается лишь для того, чтобы дать в руки умирающему).

Хата разряжена спозаранку, что девка на выданье. Пахнет цветочным сенцом: отец окосил Мишкин бугор. Притащил хоботную охাপку лютиков, колокольчиков да кашки. Полы устланы цветами. Стол накрыт весёлой скатертью, расшитой синеглазыми васильками, пшеничными колосками да молочными ромашками. Красиво и радостно.

Повсюду берёзовые косицы. В сенцах тоже благоухают травы. Тут и мимоза нашенских оврагов – прогорклая польнь, и лесная затворница – душица, и дикая мята-мелисса, и терпкий любимец ребятни – анис.

А за окнами – липы в цвету. Тихий летний вечер. Ещё сильнее раздушиваются в палисаде махровые жасмины. Кремовые пионы приманивают своим колдовским ароматом десятки изумрудных светлячков, охочих до их вкуснящего клейкого лакомства.

Чуден и прекрасен твой мир, Господи! Век бы сидеть на лавочке у крылечка, слушать перещёлк неумолчного соловья, дышать не надыхаться дедовой махровой черёмухой, купаться в ароматах резеды и притулившихся в тенёчке под кряжистой дулькой заблудших когда-то из Ярочкина леска белоснежных ландышей, сдув к противоположному краю пушистую пену, пить прямо из ведёрка пахнущее Зорькой парное...

* * *

Природа, предчувствуя неминучие холода, в июле торопится жить в полную силу. В ночь на Ивана Купалу поспевают большинство целебных трав.

Бабуля ходит по вечерней заре и, различая в сумерках лишь по ароматам нужные травки, собирает их целую плетушку. Поутру связывает пучками и развешивает в полумраке

на амбарном чердаке, «на вольном духу». Тут же подсыхают пахучие связки белых да подберёзовиков, проветриваются какие-то душистые коренья.

Из молодых сосновых шишек варим на сурепочном меду снадобье-варенье. Скольких на деревне поднимает бабуля своими микстурами от простуд! Пахнет смолой. Забористый сосновый дух пробирается во все уголки нашей кухоньки, ползёт за ворота.

В теньке под сиренью усаживаемся перебирать луговую землянику. Ягоды переспели, аж вишнёвые. Нюхаю выкрашенные земляничкой ладони. Что за дух! Пахнет лесом, землёй, летом, солнцем, июльскими грозами, чем-то очень любимым, знакомым с раннего детства.

А бабуля тем временем толкует о том, что солнце в этот день выезжает из своих чертогов на трёх конях: серебряном, золотом и бриллиантовом. Пляшет «Русскую», рассыпает в небесах огненные звёзды и едет к супругу месяцу.

Видать, она взаправду во всё это верит, если вечером на Ивана Купалу, запалив во дворе костёр, сжигает на нём дедушкину рубашку, в которой лежал он хворый прошлую зиму, «чтоб болезнь не возвернулась». Потом идёт в дом, молится у иконки Иоанна Крестителя, чтобы зло в эту ночь не смогло причинить вреда нашей деревне.

* * *

Не менее богатый на ароматы август. На него приходится три Спаса.

Самый первый – «Спас на воде» – «медовым» называют. Отец говорит, что с этого дня пчёлы перестают носить взяток с цветов.

Последний раз качаем мёд. С разнотравья: с донника, с душицы, с переспевших летних цветов. В беседке, где жужжит медогонка, воздух пропитан густым медовым духом. От

отца пахнет дымом и вощиной. От переполненных баков тянет лугом.

Девятнадцатого августа – «Спас на горе» – Преображение Господне, или яблочный Спас.

Под сучья в саду ставим подпорки. Яровые яблоньки и груши гнутся от созревших плодов. Вороха медовки и белого налива. Пипин-шафран просвечивается насквозь, видны карие семечки. Тряхнёшь яблоком у уха – семечки звенят, понюхаешь – и есть жалко. Яблоки падают, бьются в крошево. Прожорливые осы зундящим скопом наваливаются на переспевшие плоды, выгрызают мясистые дюшесы и дули, оставляя в них глубокие дырочки.

Третий Спас – «полотняный» – следует за днём Успенья, в самом конце августа.

Из раннего детства припоминается в углу горницы огромный стан. Бабушка ткала половики, покрывала и тонкие скатёрные-полотенечные ткани. До сих пор стелются на печку её домотканые постилки, ещё в ходу замашные рушники.

В нашей местности третий Спас называют ещё «ореховым». В эту пору подходит в Горонях и в Плоцком лещина. Весь неработный люд пускается за орехами. Расстилают вокруг куста холстинку и трясут ветки, обивают орехи. Набрав пудовичок, усаживаются на опушке. Чистят-лушат, откидывают «молоньёвые». Домой принесут, на печь, на камешки сушить-жарить под постилки рассыпят. В сказке принцесса спать на горошине не могла, а у нас ребятня на орехах год напролёт дрыхнет, и хоть бы что. Подсыхают орешки – по хатам щёлк идёт. И пахнет лесом, лещинкой.

* * *

А уж в пору бабьего лета дня не пройдёт, чтобы мы с отцом в лесу не отметились. Руки от грибов чёрные, месяц не

отмываются. Опята, маслята, рыжики! Для каждого гриба свой черёд. У каждого свой аромат.

Входишь поутру в Хильмечки и чувствуешь: воздух распирает от терпкого хвойного духа, замешанного на густом грибном запахе. Среди рыжей палой хвои россыпь крупнящих тёмно-коричневых бусин-маслят. Тут же, только наклонись, подними лапник, – яркие блюдца молочных рыжиков. По берёзовым да по дубовым пням гранки тонконогих веснушчатых опёнок.

Потянет опавшим листом, спелым грибом. Задышат овраги прелью, дохнёт с огородов костром, печёной картошкой. А там, глядишь, засеменит дробный ситничек, рассопливятся дороги, а вскорости и морозец почувешь.

* * *

Пора справлять Покров, Зазимки по-нашему.

На дворе кучи подваленных берёз. Отец и дедушка возьят их на Буянке из лесу. Пилят на раскатайки-кругляши. В доме слышны тугие удары колуна, звонкие щелчки лёгонького топорика. Под сараем под самую крышу вырастает белоснежная поленница. Двор затапливает берёзовый аромат. Над трубой поплясывает лёгонький дымок – мама стряпает пироги к празднику. С чем только не придумает! Но вкуснее всех – с капустой. Вчера занесли её с улицы. Дозревала на дворе. Поципали морозцы, забелела, подоспела. Целый день рубил её отец в деревянном корыте. Всем хватило работы: тёрли морковку, резали яблоки, грызли сахарные кочерыжки. В середине бочонка целиком уложили дробные кочанчики. Посыпали душистым тмином. От бочонка ещё не пахнет, как зимой, кислым, а капустно-морковно-яблочный сок, в котором утонул гнёт-голышек, кажется самым вкусным напитком на свете.

В другой кадушке, перестлав ржаной соломой, залил ключевой водой, замачиваем антоновку. Целый месяц стояли

под моей кроватью ящики с яблоками. Проснусь ночью – как пахнет! – не удержусь, опущу руку, нащупаю самое лучшее и схрумкаю.

Бабушка входит в кухню, придерживает передник, напленный полосатым штрифелем. Надкусываю яблочко – хрусткий запах поздней осени. Штрифелина гладкая, блестящая, внутри – розовая-перерозовая.

Бабушка усаживается перед окном передохнуть, размышляет:

– Журавлей не слышать, спровадились до Покрова. Знать, зима ляжет ранняя да студёная...

А мама накрывает на стол. Покров – последний большой праздник в году. Сытный, вкусный. По первому снежку закололи кабанчика – тушится печёнка, пошипывают зажаристые шкварки. Грузди, источая ароматы укропа, зарылись в листья смородины и хрена, разлеглись на блюде, словно недельные поросята. А рядом – лупастые пельмени. Мама любит пошутить над домашними и в один из них вместо мяса заворачивает какой-нибудь сюрприз: школьный ластик или кусочек морковки. И я с нетерпением ожидаю, кому же на этот раз посчастливится. На вид все пельмешки одинаковы: перепачканы чуть кисловатой сметаной, пахнут молотым перчиком, посыпаны какими-то бабушкиными духовитыми травками. Из чулана дедушка приносит бутылочку калиновки. С прошлого года. Нынешняя ещё не готовилась.

Ляжет потвёрже наст, ударят покрепче морозы – поедем в Плоцкий за ягодой калиной. На Святках настряпаем с нею пирогов-ватрушек, наварим душистого варенья, наготовим вкуснящего квасу-морсу. Как же без калины? Без неё, без терпкого её вкуса-запаха и год не завершится.

Повяжем пучками, подвесим за наличник снегирей при-манивать. И станем дожидаться Рождества: смолистой сосны, душистого маминого печенья, аромата переспелых синапок.

Китайские фонарики

(рассказ)

С майских не унимались дожди. Не просыхало до самых Петровок.

Наконец скомканное кучее лето порскнуло ржаной куропаткой в переспелые августовские травы. Облудившись, выпорхнув роем перламутровых мотыльков, зацвёл Косёнихин шиповник. Зашебуршала деревня. Спихватилась, бросилась догонять упущенное тепло. Словно молодуха, заболтавшись с товаркой, кинулась собирать уплывающее по течению бельё.

Бабка Анисья, накопошившись в палисаде, присела было у крыльца перевести дух. Но не прошло и минуты, как спихватилась, всплеснула руками, не привыкшими к безделью, и, поставив наземь перед лавкой полную плетушку, защёлкала поспевшими стручками. Заквохтали куры, не доверяя Аниске, зашуршали скрюченными шелушками, выискивая оставленные по бабкиному недогляду фасолины.

Старушка кышкала наглых, норовивших запрыгнуть в корзинку кур. Звенела о дно эмалированной кастрюльки ядрёная рябая фасоль. Нежилось, раскачиваясь, словно в люльке, в Кузиных ракичках, незрелое солнце.

На ворохе почерневшего серебристого тёса Анискина соседка, хлопотная Степановна, разостлала справленную лет пятнадцать назад перину. Накидала подушек-думок – дочернино приданое.

Ей без надобностей в городской фатери, а матери маета с ними. Соседка ворчала, поворачивала добро с боку на бок. Отсырели, небось, за дожди-то в кладовке. На кой ляд ентакую агроменную свостожила? Тягай теперь!

– Сдам закупчику, как пить, сдам! – серчала она на «пастелю».

Но не успела Степановна «как следно перо прожарить», снова заненастило. Только теперь по-осеннему, с хрусткими утренниками, с печалью потянувших за Дмитровские леса журавлей.

– Год натужный. В численнике прописано – високосный, – просвещала Степановна подругу, бабу Анисию.

Некошеные травы, вымахавшие за мокрое лето, полегли, спутались от заморозков. Сник не ко времени расхорохорившийся шиповник. И только китайские фонарики, заплонившие Анискин палисадник, всё никак не гасли.

Много лет назад, когда перестали вызревать помидоры, зачернели прямо на корню и соседки плетухами потащили гниль за бакшу, завезла Нина, Анискина дочка, невиданный на деревне овощ – физалис. Пообвыклись деревенские, полюбили им физалис. С картошечкой в холода – только подавай!

Как уж затесались семена другого сорта, неизвестно, только на некоторых растениях высыпали ягодки с ноготок. Душистые, земляничкой отдают. Бабы наострились из них варенье стряпать.

А уж после этих чудо-ягод объявились пустышки – фонарики. Польшнул по осени палисадник у Анисии – подивилась деревня, закалякала, мол, всегда бабка выдумщицей была. Даже физалис у неё не как у всех. Охапками таскали букеты с её усадьбы. И светили Анискины фонарики на кухнях зиму напролёт, и радовали глаз под заунывные страдания ветродуев.

...Размиселило дороги. Грачи, заложив крылья за спину, будто фермер Петрович натруженные за уборку руки, осматривали пахоту, пробегались вдоль озимых, взмывали и терялись за погасшими перелесками. Голосившие за амбаром вётлы, повязав чёрные вдовьи платки, срывали с себя поседевшую заскорузлую листву, сметали с упавшего неба грязные ошлётки туч.

Из города за Степановной прикатила дочка Раиска. Посбивав хархары, Степановна заглянула к Анисье попрощаться, завсхлипывала:

– Ну, прощай, подруга... Годы наши какие... Не поминай лихом, коли чего... Может, и свидеться не придётся...

Вздумала было попытать, нет ли весточки от Нинки «запропашшай», но, взглянув на Аниску, не решилась. Подбросила ей двух хохлаток да кота Дармоода. С тем и отбыла.

...Остались на их урынке две хаты топлёные. В одной – Аниска с оглохшим «посля фронтовой контузии» дедом Грихой, в другой – бедолажный сыч – дед Филька. Старуха его, Пантелеевна, под Красную горку преставилась, наказав «блюсти как следно» двор, не оставлять без пригляду хату, не иссушить гераньки.

Сентябрь хрустко ложился на ступеньки крыльца, покрывал изморозью истончённые многолетними дождями перильца. Попервости Аниска до свету выползала посыпать курам пшенички, выпустить по нужде кота. Кое-как она спускалась со склизкого камня, лет пятьдесят назад положенного мужем заместо первого порожка к новой хате. Останавливалась у знакомой до каждой трещинки скамьи. Смотрела, как колышутся на ветру лёгкие коробочки физалисов – бумажные китайские фонарики.

К октябрю ноги её совсем перестали «слухать». Кое-как Аниска ещё перебиралась от кровати до печки, но в сенцы выйти уже не пыталась.

Хата зачуяла неладное. Сникли бальзамины на оконцах. Кот Дармоод, шаркающий с сундука в печурку, поднимал пыльное облако пыли. И без того кашляющий от свойского забористого табака дед Гриха начинал перхать и вышвыривал «фатиранта» в сенцы «на прогул». Самовар, оставшийся ещё от Анискиной матушки, напрочь запоматовал любимую

«кадрель», прикорнул на полке, загрустил, роняя горемычную старческую слезу. Не пахло вишнёвыми веточками. Чай в закопчённом чайнике, с загнетки, отдавал помоями, словно Гриха заваривал его не из пачки со слоном, а тайком от бабки кидал в его утробу горсть прошлогодней сенной трухи.

Петухи на рушниках поплёкли, облияли.

То ли свет перестал проникать сквозь дырочки ришелье на ситцевых занавесках, то ли бабка совсем обезглазела: не различала уже китаянку на купленном в молодости плакате. Но до мельчайшей подробности помнила (в такие-то годы!) и кимоно, изукрашенное невиданными зверями, и многоярусную пагоду, и цветущую сливу, и фарфоровое лицо улыбчивой девчонки.

Когда-то белёные стены деревенских хат увешивали плакатами с корявыми буквами-пауками и приветливыми узкоглазыми девушками. Теперь, поди, не сыскать таких картинок! Только Анисья не смогла расстаться с той красотой. Так и прижилась в её горенке красавица-чужеземка, напоминая бабке о бесследно канувших годах её молодости.

...Аниска, как больной младенец, путала день с ночью. Неразговорчивая всю жизнь старушка, не умолкая, часами рассказывала деду посередь глухой ночи о годах работы на донбасских шахтах, о том, как в сорок втором фашисты под дулами автоматов затолкали её с подругой в товарняк и угнали в неметчину.

Деду Грихе казалось, что старуха его вообще перестала спать. Всё говорила и говорила. Вспоминала, как увидела его, сержанта Григория Трифонова, в августе сорок пятого. Как спустя год, подгуляв на радостях, плясал он «Барыню» под окнами роддома. Как ведро молока парного принёс, велел акушеркам новорожденную поить, не жалеть.

– А помнишь, Гриша, какого ты петушка вырезал на новое

крылечко? – умилялась бабка, впадая в детство. – Наш-то горлопан обознался, крыльями захлопал, на крышу вскочил, давай на него налетать, думал, всамделишный.

Иногда захаживал одинокий Филя. Садился на табуретку у двери, чтобы «не загварыздать половики», скручивал цыгарку, угощаясь хозяйским табачком.

Затянувшись, дед Филя откашливался и, подступаясь к больному вопросу, начинал издалека.

– А что же Зинаида не появлялась? – пытал он о почтальонке. – Пенсию добавили, нет?

Аниска наперёд знала все его ухищрения. От скуки дед днями слушал радио, был в курсе всех надбавок и добавок, просвещал и соседей. Но как же он мог напрямки спросить о соседском горе? Жалостливый Филя притворялся, что не знает о муках стариков – об исчезновении их беспутной дочери. Этот невынутый крыжовниковый шип рвёт дни и ночи души стариков. Ни запить, ни заесть.

Зинаиду в забытой Богом деревеньке ожидали, словно во время войны Ньюру-почтальонку. Ну могла же она, наконец, порадовать угасающую Аниску весточкой, сыскать её никудышнюю Нинку! Мало ли – ссора вышла! «Свое ведь. Как бывает... Отойдут, опять ладят. А тут – смертная обида. Да на кого? На мать родную!» – возмущался про себя Филя.

– Нет ли чего от дочери? – виновато поглядывая на Аниску, наконец-то насмеливался дед.

Бабка затихала, казалось, даже переставала дышать. Выручал Гриха.

– Вот диву даюсь, Хвилипп Николаич, сколько годков бок о бок земельку топчем, а на огороде твоём век табаку не видывал.

– Так я его за бакшой, подале от бабки сеял, дужа ворчала... Теперь вот и поворчат некому...

– А скажи, мил человек, почему жа ты мой изводишь?

– Чужой завсегда скуснея! И подмешиваешь ты, Гриша, чегой-то, – ох, и духмяный! У меня послая твоего табачку усы неделю пахнуть.

– Чего, чего? Донничку, ясно дело, – важничал довольный похвалой Гриха. – Тольки непременно жёлтого, с Плоцкой ложбины. Аккурат щепоть на сигарку.

Скрутив пару козбих ножек про запас, Филя отправлялся «за гусьми». Возвращаясь с копаней, швыдко гнал табун мимо соседского двора, стараясь, чтобы гуси не какакали, «не докучали» хворой Анисье.

По весне, как преставилась старуха, остался он неприкаянным сиротой. Детей Бог не дал. Из родных – соседи – Аниска да Гриха. Вместе хаты отстраивали после войны, вместе на сенокосе управлялись, вместе радовались урожайным годам и перебивались в лихолетье. Припомнилось, как обучала Аниска его старуху с гусьми управляться.

– В Германии-то я на хуторе жила... при кухне определили, – вспоминала соседка. – Девчонка совсем... Хозяин, чтоб на фронт не услали, откупался от властёв гусьми. Не один табун держал. Уж сколько их перещипала – не припомню. Научилась у них, у германцев, не по-нашенски гусей обрабатывать. Возьмёт ихняя фрау утюг, угольёв раскалённых засыпит. Тушку тряпицей мокрой накроит и пришпарит сверху тряпицу-то. Перья горстymi сымай! Лёгонько. За день сколь птицы уработаешь! Уважал меня хозяин за усердие. Порядок они любили...

Вот и на этот раз после ухода Филя старушка очнулась, попросила Гриху принести с улицы «Ниночкины фонарики». Дед, накинув фуфайку, вышел в палисад, принёс несколько веточек, подал бабке.

Аниска не могла уже видеть ярко-оранжевые коробочки, только слушала их шуршание, ощупывала исхудалыми руками.

– Не горять... потухли, – расслышал Гриха, щипавший

петуха «на бульонец для Анисы». – Как она там... солнышко моё? Не дождуся, видать... Можить, с ней что приключилось?.. Семь лет!.. Хоть бы взглянуть напоследок!..

Аниска таяла на глазах. Гриха уже не отходил от жены.

Заглядывавший «поздоровкаться» Филя выходил, осторожно прикрывал дверь. Смекнув, наконец, что приходит Анисье последний час, молча запряг Воронка и покатыл на село.

Спустя несколько дней почтальонша Зинаида доставила телеграмму.

Гриха взял с этажерки развалившиеся очки, долго цеплял на ухо резинку, прилаженную вместо дужки. Никак не мог расслеповать: буквы мельтешили, скакали, словно блошки по клочку казённой бумаги.

– Не сподоблюсь я, Зина, ты уж сама.

Почтальонша вздохнула и, не глядя в телеграмму, прочла: «Нинка! Мать плохая! Срочно выезжай».

– Возвернули, – добавила. – Адресат выбыл.

– Не пойму я никак, милая, растолкуй ты мне старому.

– А что тут не ясно? Нинка ваша съехала с квартиры или прикинулась, что там не живёт.

– А я не отбивал телеграмму-то.

– Ну, энтова я не знаю... – Зинаида помялась и прошептала: – Отходить, знать, Анисья Микитишна?

Гриха всхлюпнул, заскоргыкал на вторую половину к бабке.

И без того затяжные октябрьские ночи стали для него нескончаемо-бессонными, маетно-тяжёлыми. Рассвет проникал в щелку отзынутой Дармоедом двери, напоминал о своём появлении голодным урчанием кота, квохтаньем пеструшек, обклёвывающих глину с завалинки под окном светлицы. Дед ненадолго отлучался, затапливал печь, согревал чай. Отыскав в чулане собранный в Ярочкином логу де-

вясил, беспрестанно заваривал его. Иногда выходил в сенцы, садился на лавку, тихо, чтоб не слышно было в хате, толковал сам с собой. Вспоминал забросившую их с бабкой на произвол судьбы дочь.

– Ну за что осерчала, не едет? – мучительно раздумывал Гриха. – Пенсию внукам, Толику да Славке, всю как есть... на ученья. Так её ж дети-то... И ей доставалось, не обижали. Материны марки германские сама по доверенности получала. Анисья и в руках не держала. Чего разобиделась, в толк не возьму. Бе-да!

Под Покров явилась Степанидина Раиска. Побежала в сельсовет, оформила материны бумаги. Перед отъездом заглянула к соседям.

Посередь комнаты на чисто выскобленном столе, покрытом суконным одеялом, лежала бабка Анисья. Руки крест-накрест. На глазах по медному пятаку. Вместо свечки – веточка с горящими китайскими фонариками.

Раиса молча прошла на кухню, захлопотала.

К вечеру с дальнего краю подтянулось несколько старух. Открыли Анискины сундуки, разыскали узелок со смертным. Тут же расшитые скатерти, занавески, пододеяльники... Вспомнили: ни одна баба на деревне не выдала дочку замуж без Анискиных вышивок, без справленных её руками наволочек, карнизов, подзоров. А уж рушников перевышивала – и не счесть!

– Оттрудилася рукодельница, – Раиса услышала, как приговаривали бабки, снаряжая Анисью в последний путь, – Нинка-то поди не знаить. Сообчили аль нет?

– Под праздник какой преставилася! Под Покров! Не кажнава удостоить так-то Господь.

С рассветом пошёл снег. Дед Филя привёз на санках по первопутку трёх гусей.

– Накося, Рая, на холодец... На помин души новопреставленной... Умела его Анисья стряпать...

Раиса вспомнила, как тётка Анисья учила её когда-то управляться с птицей.

Подготовив гусей, растопила печь, задвинула ведерный чугунок подальше в жар. Шмыгнула во двор за дровами. Набрала из-под сарая охапку, замерла – к дому шла Нина с сыновьями.

Филя, сгружавший с саней столы и скамейки, утёр кулаком глаза:

– Ничего... Ничего, что опаздала... Приехала и хорошо... Душа Анискина ишо тут... видит...

Анисовые туманы

(рассказ)

Светает. Обивая росу с подорожников, подхлестывая тёлочку-первогодку, отец спускается в анисовые туманы к Жёлтому. Наша очередь пасти стадо.

Выхожу на кручу. Хуторские петухи передразниваются с заречными. С низины слышатся ленивое мычанье, щёлканье кнута, бабы окрики. Окутывая заросли ивняка, молочные клубы бесшумным потоком валят по подгорью, затапливают долину.

Полусонное стадо, бороздя парное июньское утро, ныряет в кисейные омуты, уплывает в непроглядные пойменные дуга.

Прозябнув, кутаюсь в мамину шальку, шмыгаю в садовую калитку, стараясь не задеть отсыревших жасминов. По пути горстями нарываю охапку клеверной отавы, несу к сараю.

Отворяю дверь, обвыкаюсь глазами.

Посреди хлева рыжей горкой в белесых проплешинах виднеется Лыска. Вторые сутки не встаёт. Помирает. Старая совсем. Приносила ей ломоть с солью, даже не смотрит. А ведь как любила!

Ветеринар Петрович советовал прирезать. У отца руки не поднялись. Поручил за ней присматривать.

Подхожу, подкладываю поближе свежую охалку. Душа обмирает, слышу, как корова вздыхает болезной утробой. Присаживаюсь на корточки. Жалею. Глажу по худым старческим бокам, трогаю сбитый прошлой весной рог, ласкаю крупную белую звёздочку посередь курчавой морды. Приговариваю: «Кормилица ты наша!»

Лыска чуть поводит ухом, прислушивается. И вдруг – из её огромных глаз выкатываются слёзы.

Может быть, ей припомнились тающие в июньском мареве колокольчиковые поляны?

Нет сил вернуться на хуторские просторы, услышать треск невидимых кузнечиков в дремотной непролазной травнице у Закамней, постоять в прохладной сине-глинистой мути, пожевать сладкие будылья тростника на болотце.

А может, напоследок вздумалось Лыске хоть одним глазком, хоть на минуточку посмотреть на хозяйку, спускающуюся к тырлу с подойником в томный июньский полдень. Мукнуть протяжно навстречу, углядев издалече знакомую косынку. Обнюхать и лизнуть от радости синюю в мушках штапельную кофточку. Пожевать духовитую, посыпанную зернистой солью корочку, которую хозяйка припасла в фартучном кармане.

Ничего не поворотить, не возвернуть. Не рассмотреть сквозь щёлку сарая родные заливные луга, не увидеть расхворавшейся хозяйки. Не услышать ласковое, до каждого звука знакомое: «Голубушка, заждалась, моя хорошая!» Не взбрыкнуть, пьянея от весны и свободы, по подгорью, не об-

лизать в январскую стужу в душном хлеву новорожденного телка.

Всё в прошлом.

В полумраке слышится слабый стон. Я с холодным ужасом вижу, как стекленеет взгляд и закатываются Лыскины глаза.

Кидаюсь к ней, обнимаю, долго плачу. Горько от беспомощности. До вечера не могу отойти от сарая. Тяжело и больно, словно умер кто-то очень родной.

Возвратясь с пастьбы, отец выбирает в горе большую глинистую яму, везёт на телеге корову и закапывает.

...Тёлочку переводим из клетки в хлев, на Лыскино место.

И жизнь продолжается.

АНДРЕЙ **ФРОЛОВ**

Душегуб
«Мусорный день»
Египтянка
Могила



Душегуб

(рассказ)

«Колюх-Душегуб» – так за глаза звали сельчане молчаливого сорокалетнего мужика из кривой хаты на отшибе. Когда он появился в деревне, точно не мог сказать никто. Порой казалось, что он жил здесь всегда, даже до бабки Настасьи, которой уже почти сто. Вроде Колюх был немым, хотя некоторые утверждали, будто раньше он разговаривал. Во всяком случае, слышал мужик отменно и всё понимал – тут уж сомнений быть не могло.

Жил Колюх полным отшельником в кривой хате на окрайке села, в дом к себе никого не пускал, да и не было желающих набиваться к нему в приятели. Занимался тем, что резал из липы ложки, ковшики и прочую хозяйственную ерунду. Поделки свои разносил по соседям: зайдёт в хату, положит на сундук у дверей, постоит с минуту и уйдёт. Если что-то давали взамен – брал, нет – и так ладно.

А смежной профессией у Колюха был убой различной домашней животины. Вся деревня шла к нему с этой надобностью. Даже те, кто без обмороков и желудочных колик сами легко могли оторвать курью башку, предпочитали не мараться лишний раз и несли скотинку к местному забойщику-любителю.

Колюх никогда никому не отказывал, лишь пасмурно усмехался в клочковатую бороду. Не говорил он и цену за свою

кровавую работу – каждый от себя решал, чего и сколько дать.

Только Басов, гаишный начальник из райцентра, не имел с Колюхом никаких дел. Лет десять тому Басов выкупил у Самойлихи, увезённой дочкой в город «для уплотнения жилплощади», домик в этой деревне и поселил в нём старушку-мать. А на лето привозил и жену с сыном.

Гаишник презирал Колюха и открыто называл его живодёром, на что тот недобро щурился и по-волчиному скалил удивительно белые и ровные зубы.

На забой более крупной скотины – овец, свиней, коров, а порой и лошадей – Колюх ходил сам, прихватив неизменный свой отточенный тесак. А мелочь всякую – кур, гусей, кроликов и коз – принимал на своём дворе. Птицу бил Колюх красиво, споро, иной раз по два десятка кряду. В сезон к подворью выстраивалась очередь. Неподалеку от его крыльца врос в землю огромный кленовый пенёк овальной формы, от частого употребления кругло выщербленный в середке, и продолговатое долблёное корыто – для стока крови.

Деревенская ребятня, собираясь летними вечерами на гулянки, пугала друг дружку рассказами, будто Душегуб в этакую убойную пору по ночам пьёт кровь из своего корыта, а потом ходит по деревне от дома к дому и заглядывает в тёмные окна. Говорили, что видели, как он на утренней зорьке лазает с примитивной острогой по мелководному пруду, а добытых карасей пожирает сырьём и лягухами закусывает... Много ещё чего говорили.

Случалось, сам Колюх вдруг бесшумно появлялся из темноты возле усевшихся вокруг магнитофона подростков, присаживался в сторонке на корточки и молчал. Хорохорясь друг перед другом, ребята не разбегались в страхе, только девчонки тесней прижимались к парням да тема разговора менялась.

Как и в любой русской деревне, в этой тоже имелся свой

дурачок. Славику было уже под тридцать, но вот беда – застрял мальч в развитии где-то на десяти – двенадцати годах. Славик целыми днями бродил по селу и окрестностям, появляясь то тут, то там. В один из своих наездов в деревню гаишник Басов презентовал бедолаге потёртый милицейский китель с подполковничьими погонами, и теперь местный дурачок, мня себя чуть ли не начальником угро, проводил бесконечные расследования пригрезившихся ему преступлений. В кителе он, наверно, даже спал.

В ребячьих посиделках Славик принимал неперенное участие.

– Ну как, Славик, жизнь-то? – спрашивал гаишный сынок, пятнадцатилетний Пашка.

– Так чего ж, работаем, – отвечал дурачок, любовно поглаживая прицепленный на китель парашютный значок. – И не Славик я, а оперуполномоченный полковник города Болхова. У меня кабинет знаешь какой? И машина сто первая!

– Что-то я каждое лето приезжаю – ты всё без дела болтаешься. А говоришь, работаешь.

– А я... это... – терялся Славик.

– В отпуске? – подсказывала одна из девчонок.

– Точно! – дурачок расплывался в блаженной улыбке.

– Славик, ты – придурок, – безжалостно разъяснял милицейский сынок. – Тебе Наполеонову шапку дай – ты императором будешь.

– Чевой-то императором? – обижался Славик. – А у него какая шапка?

– Ну всё, достал. Вали отсюда, выродок. Иди бандитов лови. – Пашка лениво плевал в сторону блажного.

Неподалёку на корточках сидел Колюх-Душегуб и по обыкновению мрачно улыбался...

Весной Колюх подобрал котёнка. Котёнок был крохотный

и дикий, жил в подвале сельмага и в руки никому не давался – если кто к нему приближался, шипел, фырчал, выгибал спину, будто пытаясь прикинуться маленьким одногорбым верблюдом, и исчезал в подвальных закоулках.

Однажды котёнок зачем-то сунулся в приоткрытую дверь магазина, но тут кто-то из покупателей стал заходить следом. Напуганный зверёк метнулся обратно и... почти успел выскочить. Не успела одна из задних лап – тугая пружина швырнула на неё стальную дверь.

Несколько дней прошло, прежде чем котёнок снова стал появляться в подвальном окошке. Он вконец истощал, а раненая лапка волоклась за ним окровавленным ошмётком.

Тут-то и заметил беднягу Душегуб, принесший в сельмаг свои деревянные товары.

Со спокойным упрством Колюх два дня охотился на котёнка. И подловил-таки момент, когда оголодавший зверёныш залез с головой в целлофановый пакет с килькой, вынесенный сердобольной продавщицей. Колюх просто подошёл и за хвост поднял котёнка вместе с пакетом. Тот, попав в человеческие руки, разом обмяк, обвис всеми конечностями, будто притворился мёртвым.

Колюх сунул кошака за пазуху и ушёл домой...

Выходил Душегуб котёнка. Полтора месяца выхаживал и выходил. Бабка Настасья, сама известная травница, рассказывала, что ненароком видела, как Колюх пожуёт-пожуёт какую-то незнакомую травку и приматывает её тряпицей к котовой лапке. А сам зверёк, будто понимает, что его врачуют, висит в Колюховых лапищах, как пакля, – не пискнет, не дёрнется.

К июлю котик был как новый: округлился, распушился – усы топорщит, хвостом метёт. Только глаз недобрый – жёлтый, с лёгкой косинкой, и лапка раненая шерстью не

обрастает – лысая. Признавал, понятно, одного Колюха – ластился к нему, мурчал. От других бегал и прятался. Осторожный был котёнок, да не уберётся...

Возвращался как-то Колюх с луга, куда по непонятным делам своим ходил, и поодаль от Настасьиной избы уже шёл, как заметил неправильное, необычное. Что-то пацаны у бабкиного плетня крутятся, не иначе пакость какую затеяли.

Неправильного, по мнению Колюха, в этом мире было много, и в другой раз прошёл бы он мимо, но тут развернуло посмотреть, разобраться...

Главным в компании был милицейский Пашка – он и двое ребят помельче азартно расстреливали из пневматического пистолета Колюхова кошака, привязанного за лапу к плетню. Котёнок молча дёргался, прыгал в сторону, но верёвка бросала его назад, а крошечные стальные пульки взбивали пыль под его лапами и ерошили кошачью шерсть. Стрелки были неумелые, убойная сила оружия слабая, и только поэтому зверёк был ещё жив.

Пашка наверняка выцеливал притихшую вдруг жертву, когда полновесная затрещина свалила его носом в лопухи. Его приспешники, пригибаясь, прыснули в разные стороны.

Колюх подобрал пистолет, не глядя, разломил его надвое, будто пластмассовую игрушку, и забросил обломки подальше. Потом склонился над своим израненным питомцем.

Кошки, говорят, имеют девять жизней, но этого котёнка уже было не спасти никакими, даже самыми чародейными травами. Он истекал кровью, перебитые лапы мёртво висели. Кошак пытался поднять голову, немо, по-рыбки, открывал пасть, будто что-то хотел сказать Колюху, которого в деревне звали Душегубом...

Арестовывали Колюха всемером. Восьмым примазался было блажной Славик, которого впопыхах приняли за высо-

кое начальство, но быстро разобрались и прогнали, надавав тумачков. Даже погон оторвали.

Когда оперативники вломились в хату, Колюх ладил липовый гробик для котёнка.

– Так-так, – сказал лейтенант, разглядывая Колюхов рабочий тесак с засохшими пятнами крови. – За ним, может, и посерьёзней дела имеются...

В суде Пашкины дружки показали, что избивал Душегуб парня ни за что, долго и жестоко. Вдобавок милицейский папаша принёс ворох медицинских справок, из коих, если их объединить в одну, следовало, что травмы, полученные его сыночком, несовместимы с жизнью и вообще выжил Пашка чудом.

Пригласили на заседание и ещё одного свидетеля – бабку Настасью, которая, как оказалось, видела из своего окошка всё происходящее у плетня.

– Вы видели, как подсудимый избивал потерпевшего? – спросила у неё строгая судья.

– Колюх-то? – переспросила напуганная принятием присяги и вообще официальностью момента бабка. – Конечно, сунул мальцу по тыльнику разик... может, два...

Сам Колюх в суде ни слова не сказал. И отправился по этапу...

Прошло пять лет. Колюх в деревню больше не вернулся. Говорят, порешили его в зоне уголовники. Да, наверное, врут. Я думаю, не тот Колюх человек, чтобы дать себя за здорово живёшь жизни лишить. Просто уехал куда-нибудь, не захотел вернуться в эту деревню. Пусть им кур теперь Пашка режет.

«Мусорный день»

(рассказ)

Что такое «мусорный день»? «Мусорный день» – это почти как праздник. Во всяком случае, так его ждут. А случается он раз в неделю – у нас это воскресенье. Именно в этот день по улице сверху вниз неторопливо, с длинными остановками проезжает мусоровоз. Давно уже кем-то определены конкретные места, где грохочущая и дребезжащая машина останавливается, водитель как бы нехотя выкарабкивается из кабины, с глубокомысленным видом манипулирует рычагами сбоку кузова, и огромная шарнирная рука ставит на землю мусорный контейнер. А народ уже давно собран, организован и сплочен. Впрочем, по порядку.

Мусоровоз проводит тотальную чистку улицы примерно с часу до трех дня. Но ещё до полудня над нашей дверью визгливо кричит звонок: в калитку, боясь собаки, которой давно нет, просовывается соседка, тетя Надя, и торжественно возвещает:

– Сегодня – мусор!

Об этом никто не забывал, но соседку всё равно благодарят за хорошую весть. Ещё полчаса спустя отец начинает собираться.

– Пойду, – говорит, – на пост.

Мама возмущается:

– Куда ты? Только половина первого. Тебе что, до поста полчаса идти, что ли?

Но это нужно понимать, этого события целую неделю ждала вся улица, на которой сегодня необычайнолюдно. Не удаляясь от своих калиток, прохаживаются разно одетые обыватели. Кое-кто уже вынес и поставил – пока на этой стороне улицы – пластиковые вёдра, оцинкованные вывар-

ки, полиэтиленовые пакеты с мусором. Все поочередно подходят к проезжей части и напряжённо всматриваются вдаль. Народ пока разогревается общением с непосредственными соседями.

Другой наш сосед, Борис, выходит, как всегда, в сопровождении собачонки – сегодня это черно-белая Муха, значит, Жучка была в прошлый раз. Борис озабоченно спрашивает:

– Будет сегодня, не знаешь?

Отец не знает, но говорит, что нужно надеяться. Они начинают лениво обсуждать различные бытовые надобности. Муха, не очень-то обращая внимание на пристающего уличного кобеля, живо интересуется содержимым чужих мусорных ведёрок.

Ближе к часу народ, прихватив свои ёмкости с мусором, начинает перетекать на другую сторону улицы, к месту остановки мусоровоза.

Вот тут-то и разворачивается действие, ради которого, собственно, все и собрались, – живое общение по полной программе. Кумушки, в обычные дни не имеющие причин встретиться для обсуждения свежее испеченных новостей, собираются в небольшие группки и буквально рвут эти самые новости друг у друга изо рта. Хвастаются зятями, прикупившими автомобили, шубы их дочкам, хрустальные люстры и кухонные комбайны. Проклинают зятьёв пьющих и нерадивых. Осуждают беспутную Нинку, заведшую «нового хахалю», и Верку-дуру, от которой сбежал «мужик-золото».

– Петрович, выпьешь? – это мужики уже расположились на крыльчке одного из домов поблизости. Здесь беседы ведутся традиционно о «правильной политике президента», о том, что «щуку лучше брать в половодье, по мутной воде», о том, что «Спартак» вчера облажался не по-детски». По кругу ходит одинокий стакан, зато закуска припасена у каждого.

Притащилась, тяжело опираясь на клюку, древняя бабка

из углового дома. В пластмассовом ведре погромыхивает коробка из-под кефира. Подошла к очередному впередсмотрящему, прошамкала беззубым ртом:

– Не видать, сынок?

Получив отрицательный ответ, поудобней упёрлась хилой грудью в свою клюшку и заснула этакой треногой.

Подтянулась и ребятня, которой нет дела до собственно мусора, но раз уж собрался народ, стало быть, будет весело. Гомонят, «салки» затеяли.

Настроение праздничное, сравнимое разве только с атмосферой майских демонстраций прошлых времён, когда люди вот так же выходили из домов утром и, прежде чем отправиться по своим конторам и построиться в колонны, кучковались на родной улице, выпивали, шутили – общались, словом.

– Едет!!! – сверху вниз прокатилось по улице.

На секунду, вздрогнув, приостановилась ребятня, подобрались и теснее сплотили ряды взрослые. Действительно, в конце улицы, круто уходящей вверх, к вокзалу, показался трудно ещё различимый, но безошибочно узнаваемый мусоровоз.

Убедившись в неотвратимой близости апогея праздника, граждане возобновили разговоры, которые сделались более оживлёнными. Мальчишки с новой силой продолжили беготню и чуть не сшибли старушку, повисшую на клюке. Ведро с грохотом покатилося по асфальту проезжей части, потеряв на ходу кефирную коробку.

– А ну, цыть! – неожиданно громко и грозно крикнула проснувшаяся бабка и, будто спохватившись, едва слышно проскрипела, неизвестно к кому обращаясь: – Не видать, сынок?

Ведро тут же вернули, сунув туда одинокую коробку.

– Видать, бабка, видать, – за всех ответил Николай из

дома, что напротив нашего. – Уже на Индустриальном стоит.

Следующее после Индустриального переуллка место остановки мусоровоза – наше. Тут уже из калиток начинают выглядывать те, кто до сих пор отсиживался дома. Это которые или не в ладах с улицей, или молодые домохозяйки, коим с общественностью поделиться ещё нечем.

И вот мусоровоз скрипит тормозами и тяжело отдувается – прибыл! Контейнер установлен на землю и готов к заполнению. Но...

– Стоять! – громко командует водитель, закрывая грудью мусоровместилище.

Люди с уже занесёнными для броска вёдрами и пакетами удивленно замирают. Только старушка с клюкой, наверно, по причине глухоты деловито ковыляет к контейнеру и вываливает туда свою пресловутую картонку. Завершив ритуал, она не спешит уходить домой, а отходит в сторонку и снова повисает на клюке.

– Предупреждаю, – инквизиторским голосом заявляет водитель. – В следующий раз мусор буду принимать только по предъявлении квитанции. Небось, половина из вас не платит.

– Как не плотит?! Кто не плотит?! – возбуждённо шумит народ. – Все плотют!

Люди с мусором напирают, машут руками и брызжут слюной. Интересно, как это «в следующий раз» этот бюрократ собирается защитить контейнер от справедливо возмущённых обывателей, для которых жизненно важно расстаться с накопленными за неделю отходами? Наверно, и сам водитель задался этим вопросом, а может, вспомнил, что для народа он – всего лишь мусорщик, потому что обречённо махнул рукой и отправился в кабину выкурить очередную сигарету.

Началось! Воздух, отяжелевший с прибытием мусорово-

за, загустел окончательно от мелькающих пакетов и ведёрок, криков «Посторонись!» и волнами распространяющегося от контейнера амбре. Кто-то в суматохе наступил на Муху. Её отчаянный визг послужил сигналом для начала следующего этапа мусоросдачи.

Нестройно захлопали калитки, из них рванули через трамвайные пути с вёдрами те, какие необщительные: и бегут-то неуклюже, как-то бочком, суетливо – не наши люди. Молодые хозяйки семят, стесняясь домашних халатов, которые они одной, свободной рукой пытаются запахивать на груди и удерживать от распахивания внизу. Получается плохо, дамочки краснеют и готовы провалиться сквозь землю вместе с вёдрами.

Трамвайное движение временно остановлено. Вагоновожатый понимает, что стихию не остановить, и даже не пытается нажимать на кнопку звонка – привык. Минимум десять минут трамвай будет стоять, пережидая, пока людской поток, катящийся через рельсы в обоих направлениях, станет жиже.

Контейнер наполняется быстро, граждане сноровисто бегают за новыми партиями отходов, торопясь выбросить всё, что можно. Те, что поопытней, вышли семьями и за одну ходку вынесли, кажется, чуть ли не весь имеющийся у них скарб.

Издалека, сгибаясь под тяжестью полиэтиленового мешка, приплёлся дядя Роман – ему ближе на Индустриальный, но весь мусор сплавить там он не успел.

– Роман, по всей улице собирал? – шутит кто-то.

Водитель уже трижды дергал рычаги, и шарнирная рука размашисто опрокидывала контейнер во чрево мусоровоза. Опыт подсказывает, что четвертого раза не будет, – впереди ещё почти пол-улицы. Суматоха постепенно гаснет.

– Больше не принимаю! – кричит водитель, вскакивая на подножку. – Учтите, в следующий раз...

Не закончив, он снова досадливо машет рукой, прыгает в кабину и зло рвёт машину с места.

Всё. А народ не расходится. Исчезает лишь суетливое возбуждение, на смену которому приходит благостное удовлетворение: большое дело сделали – надо бы sprysнуть по-настоящему. Что мужики и намерены осуществить, собираясь неподалёку, в тенёчке под липами. Потом кто-то принесёт низкий столик, достанут домино и будут, сдержанно матерясь, стучать костяшками уже дотемна. Женщины тоже не уходят, продолжая делиться впечатлениями о своей и чужой, да вообще о жизни, в целом нелёгкой, но всё же дарующей редкие радости и оставляющей надежду на будущее, хотя бы в виде чумазных ребятишек, весело скачущих по уютным тротуарам родной улицы.

Заканчивается воскресный день. Заканчивается праздник, не быть которого просто не могло, – ведь «все плотют».

Египтянка

(рассказ)

– Жизнь, ребяташки, порой так вывернет, что диву даёшься, – говорил Семёныч, обращаясь к нам, молодым сотрудникам, вернувшимся в гостиничный номер под утро.

Был он человеком, по нашим меркам, пожилым – за сорок, тогда как любой из нас не дорос ещё до двадцати пяти. В совместную командировку мы попали впервые и мало чего о Семёныче знали, но прислушивались и не спорили, когда это не задевало обострённого молодостью максимализма.

– Я, когда помоложе, тоже прыток был, – продолжал Семёныч, а мы развешивали уши, догадываясь, что читать нравочения нам никто не собирается. – Тоже с ветки на ветку

чижигом скакал и не ждал от судьбы окорота. Даже за границей бывал. Один раз, но мне и того хватило. В Египет сподобился – это вам не Польша-Венгрия, экзотика сплошная. Нет, не тогда, когда мы им дружественную помощь оказывали, а уже потом, когда туда на солнышке погреться ездить стали, вроде как раньше в Крым.

Длинным рублём я к тому времени закарманился лет на двадцать вперёд – двенадцать годков в Нижневартовске нефть качал, полным бирюком жил. Надоело, уволился и рванул к арабам. Полежу, думаю, на горячем песочке, жизнь дальнейшую спланирую.

Прелести египтянские описывать не буду: пальмы там, верблюды, бары, казино – это понятно, теперь, считай, каждый туда два раза в год мотануть может... Наши-то, конечно, и при социализме в африках встречались, только редко... Я вам, как планида моя в том Египте круто изогнулась, расскажу.

Казак я был вольный – ни семьи, ни друзей особых, при деньгах, хоть и не миллионер. Погулять тоже не дурак был – компания, вино, девчонки. Но то здесь, на родине, а там – хожу идиотом, тарабарщины ихней не понимаю, красоты туземные уже обрыдли. В общем, провалялся у моря две недели и затосковал, домой захотелось... А на пляже там, ребятки, ох, не затомиться – грех. Девки хороши – аж зубы сводит! Нет, арабесок-то египетских там не увидишь, а вот любые шведки-германки – это пожалуйста! Ноги километровые, груди голые, остальное тоже... На живот поворачивайся и глаза за тёмными очками зажмуривай – только так от конфуза спасёшься.

Не выдержал я: в последний вечер коньяку полбутылки выдул, иду к дежурному администратору... Это у нас в гостиницах одни бабы работают, у них – только мужики.

Объяснил ему руками, как сумел: нужна, мол, женщина

на ночь. Сам глаза прячу – неловко мне какому-то арабу нужды свои – вполне естественные, кстати – излагать. А он, подлец, скалится белозубо, усишки свои топорщит и почти по-русски, как, к примеру, нанаец смог бы, отвечает: «Сию секунду».

Может, и послышалось мне, согласен, только он руками замахал, и подошли к нам четверо таких же чумазных. Заворковали по-своему – вроде как впечатлениями делятся. Стою болваном, слушаю, как они мою личную жизнь обсуждают. Хотел уже плюнуть и идти коньяк допивать, как один из них, в кепке и с фиксой во рту, за рукав меня хватает и тащит куда-то в угол.

Там, в потёмках, на стуле сидит ну совсем девчонка, в платки арабско-национальные закутанная, росточком мелкая, глаза большущие, испуганные.

Этот в кепке велит ей платки разматывать, и... Какая ж красота, ребята, глазам моим явилась!.. Шахиня!.. Чурек этот по имени её звал, только я не понял и про себя назвал Шахерезадой. Сашкой, значит... Девчонкой это она сперва показалась, а тут... Нет, словами я вам рассказать не сумею... В общем, не устоял я.

Арабский сводник с меня двадцать долларов требовал... У них доллары уже тогда ходили, задолго до нас. Я ещё удивился: дешёво...

История казалась нам забавной, мы подталкивали друг друга, перемигивались, цокали языками, выражая восхищение старшим товарищем, но его не перебивали.

– Ну, понятно, случайная связь – непрочная, стыдная, – продолжал Семёныч, не очень-то обращая внимание на наши ужимки. – Утром говорю ей: «Иди домой». А она снова в платки запаковалась, сидит, меня глазами ест. Не понимает, вижу. Беру за руку – нежно беру – и вывожу в коридор. Она – в слёзы, лопочет что-то, обратно ко мне в

номер рвётся. Может, денег просит? Даю – не берёт. Дела! Нет, думаю, так не пойдёт. Спустился в холл. А мой дежурный уже вахту отстоял – домой намылился. Поймал я его в дверях.

«Что же это, – говорю, – делается? Забирайте свою девчонку назад, нечего провокации устраивать!» Чёрный этот опять лыбится, руками разводит: не знаю, дескать, ничего. Я его за грудки: «Веди, – говорю, – к фиксатому, я ему морду-то подрихтую!» А тот уже сам, как чёртик, откуда-то из подсобки выскочил. Глаз из-под кепки жмурит, жестами спрашивает: «Что, девочка не понравилась?» «Понравилась, – говорю, – очень даже хорошая девочка. Уведите только её из номера моего, я же сполна расплатился». А он... Сперва я тоже не поверил, точнее, не услышал как бы... Так вот, он мне показывает: «Деньги платил – девчонка твоя». Я ему: «Дела мы с ней все поделали, спасибо, забирайте». Не хочет, злится уже... Долго мы с ним друг на дружку слюнями плевались, дошло бы и до драки, если бы какой-то из наших не оттащил меня и суть вопроса не растолковал.

Да-а... Такие вот у них нравы диковатые. Детей понаражают, а кормить-то их чем? Мальчишки ещё куда ни шло, а вот девок за людей там не держат. Нет, они, конечно, подрастят, в своём обычае воспитают. Но когда со жратвой совсем туго станет, натурально торгуют женщинами! Не во временное пользование – насовсем... А я-то думал, мне досталась жрица, так сказать, продажной любви!

Семёныч коротко потёр ладонью лысеющий лоб, отхлебнул остывшего чаю и продолжил:

– Я тогда, откровенно скажу, струхнул малость. «Прогоню, – думаю, – и дела мне до этой египтянки нету». Но тот, который наш, обрисовал перспективу её дальнейшую: обратно девчонку не примут даже за деньги, даже в прислуги не возьмут, и будет себя продавать по кабакам, пока не убьют

или не изуродуют... Короче, пропала живая душа, и я к этому руку приложил.

Ох, как мне, ребята, захотелось домой, в Нижневартовск, – вкалывать с утра до утра, жить без удобств, только бы не приезжать никогда в этот чёртов Египет! И, говорю я вам, сбежал бы малодушно, если бы ещё разок в глаза ей не посмотрел...

Да что тут... Привёз я эту проблему заморскую в Россию. Заместо багажа вроде. Денег это, конечно, стоило, но дело не в этом. Осеть решил в вашем городе... Хороший городишко – тихий, зелёный. Ну, квартиру купил двухкомнатную, на службу не пыльную, но хлебную пристроился – живу себе. Сашка у меня вроде служанки так и осталась.

С работы прихожу – в доме чистенько, наложница моя на коленях, тапочки мне надевает, к столу накрытому за ручку ведёт... Готовка – язык проглотишь! Сама за спиной стоит, прислуживает. Я ей: «Сашка, сядь поешь». Пристроится на уголку, поклюёт – чисто птичка. И опять на меня глазищами бездонными смотрит.

Мужику-то что надо? Почёт и уважение ему надо. И чтоб в дела его не лезли. И уют в дому. Ну и, конечно... это...

Словом, живу, как падишах на каникулах. Только замечаю: домой меня тянет после работы, будто пружина калёная сжимается туже и туже. И Сашка, вижу, ко мне тянется. А от того всё краше делается. Каждую минутку видеть её хочется, как о ней подумаю – такая в груди пустота ёкает, словно на самолёте – в яму...

Семёныч вдруг замолчал, зашмыгал носом, сделал вид, что поперхнулся чаем, потянулся за сигаретами. Закуривая, исподлобья быстро взглянул в нашу сторону.

– Вот так и присушила она меня, ребятки, египтяночка моя, – Семёныч вздохнул, всем видом показывая, что разговор окончен, что он и сам удивлён вдруг нахлынувшей

откровенностью, отвернулся, будто и не рассказывал ничего вовсе.

Мы верили и не верили – очень уж неправдоподобной казалась эта история. Хотя... как знать. В любом случае конца её мы так и не услышали, но знать его хотели непременно и, как только Семёныч вернулся из душа, навалились на него с расспросами.

– А чего ещё-то? – вроде удивился Семёныч. – Я и говорю: никогда не ведаешь, где судьбу найдёшь. Так что вы, молодёжь, гуляйте пока. А судьба, она сама, когда встретится, вцепится и не отпустит, за собой потащит... И не сделаешь ничего.

Помолчав немного, Семёныч добавил:

– А мы-то с Сашенькой? Живём. Она мне таких пацанов народила!.. Старший школу уже заканчивает... Вот только по-русски так толком и не выучилась. Да беда ли? Мы и без слов друг друга понимаем, потому что – любовь...

Могила

(рассказ)

К середине сентября Белка занедужила, а двадцать четвёртого утром околела. Как лежала последние дни, не поднимаясь, возле печки, так и сдохла. Белка была стара, как сам Никитич, но старик всегда думал, что помрёт первым, и сильно переживал: как же собака останется без него, одна? И вот...

Никитич долго и бездумно сидел на низенькой табуретке перед собачьим трупом. Сам не заметил, как задремал, – просто выпал на время из пространства и всё.

Очнувшись, маетно топтался по горнице, шаркая по

некрашеным половицам стоптанными ботинками. Таким кружным манером Никитич добрался до чулана и, откинув тяжеленную крышку дедовского сундука, стал перебирать хранящийся там скарб. Бережно доставал свадебный свой костюм, женины платья и кофточки, невесть как затесавшиеся в старый сундук почти новые современные джинсы внука Вовки. Вещи Никитич разворачивал, долго и придирчиво оглядывал, вдыхая нафталиновый дух, снова сворачивал и складывал аккуратной стопкой на стоявшую рядом лавку. Почти на самом дне лежала шинель, в которой с войны вернулся. Тогда, в июле сорок пятого, их роту только переобмундировали, а через неделю приказ: по домам. В дороге из далёкой Австрии шинель маленько, конечно, износилась, истёрлась по теплушкам да попуткам, но, следующие полсотни лет пролежав в сундуке крепко пронафталиненной, была теперь точно новая.

В горнице Никитич встряхнул шинель, подумав немного, срезал острым ножом подрастерявшие былой блеск «гербовые» пуговицы и ссыпал их в карман штанов. Сержантские погоны трогать не стал. Он завернул в шинель закоченевшую уже Белку и, ступая осторожно и тяжело, понёс её в сад...

Никитич взял Белку озорным полуторамесячным кутёнком у Славки-охотника с той стороны деревни. Сколь лет-то прошло? Пятнадцать? Нет, семнадцать. Как раз в сентябре это было, полгода спустя, как похоронил жену. Сын Серёга тогда уже работал в городе и домой навещался не часто, а Никитич вдруг затосковал, невоготу стало без живой души рядом...

Положив Белку на пригорке промеж двух яблонь, старик вернулся к сараю за лопатой. Долго громыхал садовым инвентарём, переставляя с места на место стоявшие вдоль стены грабли, вилы, тяпки, поправлял висевшую тут же ник-

чемную теперь конскую сбрую – лошади в его хозяйстве не было почитай лет тридцать. Наконец выбрал подходящую лопату и вдруг всполошился, заторопился к оставленной без присмотра Белке.

Постояв немного, слезливо глядя вдаль, Никитич разметил контур могилы и неторопливо начал копать. Усталое сентябрьское солнце, взобравшись на вершину своей горы, вконец обессилело и стремительно покатилося вниз, к горизонту, будто стремясь быстрее достичь края Земли и сбежать куда-нибудь в Америку...

Когда Серёга с молодой женой перебрался из общежития в отдельную двухкомнатную квартиру, выделенную заводом, он звал Никитича в город, говорил:

– Что ж ты, батя, будешь тут один, как сыч, жить? Посмотри, от деревни ничего не осталось – все теперь в городе. Цивилизация, прогресс... На месте не стоим...

– Не поеду, – отрезал Никитич. – Куда от своих могил? Аннушка, мамка твоя, здесь, мои мать да дед с бабкой... И не один я – у меня вон Белка теперь есть. А ещё, вишь, там, за ручьём, Макариха с Дашкой Марусиной живут, не делись никуда. Да и Славка-охотник неделями в хате старой своей... А ты говоришь...

В следующий приезд Серёга пригрозил отцу увезти его силой. Никитич только пуще заупрямился, обиделся. Потом у сына родился свой сын, приезжать Серёга стал ещё реже – некогда, забот прибыло, стало не до капризного старика...

Копал Никитич усердно, истово, как молился. Поверху попадались толстые корни, перерубать их лопатой у старика не было сил. Тогда он становился на колени и отчаянно тюкал пружинистые деревяки топором. И снова вгрызался в землю, вспоминая, сколько перелопатил её, родимой, на войне, отрывая всяческие сапёрные коммуникации и укрытия, копая другие могилы, чаще братские.

Поначалу края ямы не слушались, норовили осыпаться, но потом пошла глина, и могила стала обретать чёткие прямоугольные очертания, становилась глубже и шире. Никитич, сам того не желая, копал могилу под размер человеческого, а не собачий.

Ровняя лопатой глинозёмные стенки, он вдруг обнаружил, что яма глубиной ему уже выше пояса. Тут Никитич понял, как сильно он устал, и присел на корточки в углу могилы. Он даже не почувствовал, как земля с рыхлых краёв потекла за ворот.

Приятно пахло сырой землёй. Никитич сидел, с неведомым интересом глядя на снующих вокруг измочаленного топором яблоневого корня муравьишек. Мураши думали, что заняты каким-то важным и ответственным трудом, а на самом деле – так, суетились, таская туда-сюда свои бледные яйца из порушенного муравейника. Так и люди: мыкаются по свету, бегут куда-то, подгоняемые то радостью, то бедой...

Никитич уснул – голова его мотнулась на ослабевшей шее и упёрлась в земляную стену. Путаясь в серых всклокоченных волосах, по голове побежали муравьи, которым до холодов нужно было успеть построить новый дом...

Давно уже покоится в земле Макариха. Дашка Марусина, не выдержав безлюдья, сбежала в город, к сестре. Славка-охотник спился и на охоту больше не ходит, а значит, и в деревне не показывается уже лет десять. Никитич недавно ходил, смотрел: хата Славкина – он и прежде-то хозяин был кое-какой – совсем обветшала, собаки, одичав, разбрелись по округе пугать ночную тишь волчиным воем. Остался Никитич в деревне один.

«Как сын», – говорит сын Серёга. Он теперь шофёром работает, возит какого-то городского начальника. Правда, приезжать в последнее время стал чаще. Серёга получает за родителя в райцентре фронттовую пенсию и привозит ему

еду: крупы всякие, макароны да тушёнку. Погреб у Никитича хороший – даже ливерная колбаса долго хранится.

Иногда летом сын привозит на неделю-другую Вовку. Никитич этому рад, но, беда, никак не может совладать с хмурым своим норовом, и внуку быстро надоедает гостить у деда. А что ж, мальцу уже пятнадцатый год – ему развлечения подавай. А где их взять в обезлюдевшей деревне?..

Пробудился Никитич от холода и тут же стал корить себя за недоделанную работу. Уже смеркается, а Белка так и лежит в шинельном саване, не похороненная. Кряхтя и цепляясь за черенок лопаты, старик поднялся, как-то отстранённо подумал, что выбраться из могилы у него уже не хватит мочи, и принялся размеренно, будто в полусне, углублять страшную яму.

В следующий раз остановился, когда до края уже едва мог достать рукой. Выбрасывать наверх землю стало трудно. Сквозь безлистые уже яблоневые ветки в яму равнодушно смотрел змеиный глаз луны, тишина нарушалась только неясными шуршаньями на поверхности, за краями ямы, там, где всё ещё лежала Белка. Снова забеспокоился Никитич, зашарил скрюченными пальцами по земляным стенам. Разогнулся, насколько смог, даже на цыпочки привстал, нащупал наверху край грубого сукна и потянул к себе.

«Так и будем тут с моей Белкой, вместе», – деловито рассуждал Никитич, изо всех сил таща свёрток к краю ямы и отплёвываясь от летевшей в лицо земли.

Вдруг старик отчётливо понял, что силы его покинули и больше уже не вернутся. Он сполз всё в тот же могильный угол и неслышно заплакал. Необыкновенно светлые от луны слёзы медленно ползли по небритым морщинистым щекам и навсегда прятались в глубоких складках на шее.

Белка же, Белка так и осталась на полпути к своему последнему пристанищу...

СВЕТЛАНА **ГОЛУБЕВА**

Милька
Миниатюры



Милька

(рассказ)

1

Она напоминает о себе, шевеля моё плечо тёплыми пливсовыми губами.

Улыбаясь, выхожу из лабиринта воспоминаний. Реальность тут же заявляет о себе писклявым скулежом комаров. Пора домой. Мягко похлопываю любимицу по морде и всё ещё медлю.

Сколько мы сегодня проскакали? Да и прожили немало. Нынче Кармелита – степенная матрона, знающая себе цену, а когда-то была то Карма, то Карамелька. Имя молодой кобылке досталось длинное. Для дурашливого, брыкливого характера подошло бы что-то короткое.

Карму отрунули, не роковая ведь цыганка. Карамелька – весело, но продолговато. Так что Милька, Милашка, милая. Кармелита пусть остаётся в паспорте.

Знала б ты, моя пегая животинка, что наша дружба обозначилась задолго до встречи, начавшись в смутном прошлом, с прапрадедовой страсти к вороным, гнедым, каурым. Не обнаруживаясь ни в ком, по спиралям хромосом прадеда, бабки, матери она мельчайшей сцепкой-геномом пробралась в характер моей дочери.

Но не моя – другая девочка, с кем все в детском саду желали дружбы, увлекла малышей лошадиничеством. Ради

её внимания ребятишки дёргали мам в магазинах игрушек возле плюшевых скакунов со сказочными гривами. Арина, дочь, – тоже. Но лишь у неё одной увлечение переродилось в кровный интерес к этим неземным животным, в мечту, отдушину, судьбу.

Нашу квартирку заплотнили лошади: игрушки, поделки, рисунки, книги, фотографии и фильмы.

Мы горевали о томпсоновском мустанге-иноходце, радовались за мультяшного Чёрного Красавца, строили из кубиков денники пластмассовым Ветерку и Ласточке. С попустительства папы Лёши тратили деньги на катания в городском конном дворе. Конюшни с выездковым плацем (проще говоря, загоном) прилегали к центральному парку невдалеке от нашей девятиэтажки. Аринину одержимость приметили, позвали девочку учиться верховой езде. Ей тогда не исполнилось шести – маловато для сомнений и впору для безоглядной радости. Поговорив с мужем, на следующий же день я повела малышку на первое занятие.

Ещё не было всеобщего круженья листвы, тяжеловесности неба с пронзительным солнцем, но утренний уют уже слегка отдавал грустью Вивальди.

Взявшись за руки, мы вприпрыжку неслись по метёным, чуть прихваченным золотой аллеям, манившим к киоскам со сладостями, аттракционам, но ни карусели, ни мороженое не могли сбить Арину с пути.

Конный двор щедро окружил нас густыми запахами, нечеловеческим теплом, незнакомой суетой. Седлали как раз Мильку. Так и встретились.

Никаких предчувствий судьбинной важности не явилось, – то осознаёшь позже, за ворохом событий, прокручивая память назад. А тогда мечта была самая немудрёная: поладить с животным, научиться понимать да просто почувствовать иное божье создание.

Из денников смотрели лошади. Мы неуклюже навязывали им ласки: гладили по носам, глупо сюсюкали и умилялись каждому их порыву.

Возле нас выросла невзрачная личность с бесформенной фамилией.

– Приходько. Ваш тренер-инструктор.

Всё. Будто говорить сверх того неучтиво.

Здесь работали и другие. Например, Наталья Павловна, тоже тренер. Если бесцветность Приходько не рождала интереса, то и о Наталье Павловне спрашивать почти нечего, но как раз потому, что с нею всё ясно. Она ходила в крагах, шлеме, а не в круглой шапочке по глаза. Частенько, по крайней мере, в дни наших занятий, к ней прибегали два мальчика, её копии. Она чмокала сыновей, подсчитывая, чтоб поцелуев доставалось поровну.

Дополняло их с Приходько разницу отношение окружающих. Для Натальи у мужчин всегда находилась безобидная шутка, а у женщин – совет и забота. С Приходько все были равно почтительны. Никто вольностей себе не позволял.

2

Милька – помесь тяжеловоза с кем-то – обладала слабым ходом и слыла строптивой кобыленцией, чей дурной характер объяснялся как угодно: межсезоньем с беспокойной линькой, жарким летом, холодной зимой, слишком суровыми прежними владельцами и мягковатыми нынешними. На опасные козни лошадь не отваживалась – сбивала с толку, пугала неопытных наездников лёгким вредительством.

При крепости статей её узковатая морда смотрелась изящной и всегда что-нибудь выказывала. По взглядам, движенью ноздрей, ушей окружающие понимали или всего лишь худо-бедно истолковывали коняшкин настрой. По ним же и по неизбывному своему превосходству люди верно иль ошибоч-

но наделили животинку не лучшими душевными качествами.

К серьёзным победам на ней не готовили, давали начальные уроки и катали желающих. Инструкторы хвалили её мягкую рысь, которой и на которой легко обучать детей (правда, те охотней выбирали более покладистых лошадок).

Глянув на восторженно онемевшую и уже влюблённую Арину, Милька раздула ноздри воронками, глянула надменным глазом поверх, однако позволила малышке сесть верхом.

Ученье пошло в гору. Лошадь, казалось, слушается с полукосновенья. Новоявленная спортсменка прилежно выполняла посадку, посыл, повороты. Я изумлялась скорым успехам. Отношение к тренировкам наставника оставалось загадкой, и в лице, интонациях ничего не прочитывалось.

Держа спину, разругавшись, наездница поглядывала на меня серьёзными глазами, из которых едва не солнечными зайчиками брызгало неумело скрытое счастье. Приятная лёгкость уроков умиротворяла, баюкала. Полагаясь на покорную партнёршу, девочка могла раз-другой зевнуть в сторону.

Такую-то прохладцу и караулила каверзная напарница: пляснула боком, попятилась и рванула галопом.

– Натягивай повод! – неся вдогонку напрасный крик Приходько.

Всадница выпала под переднее копыто. Милька сдала назад, замялась, словно опомнилась, перескочив ребёнка, порысила к конюшне.

Дочь брела ко мне, вытирая рукавом измазанное личико. Она плакала не от боли – от обманутого чувства. Бедняжка успела поверить, что животное из всех детей предпочло дружить именно с ней.

Лошадь же, для виду подчиняясь ременным узам, не давала крепнуть чуть наметившимся тенетам ребячьей воли. Как опытный разведчик, она по-своему изучала новичка, поняла слабинку, подыграла и показала норы.

3

С того случая Арина заробела. Не говорила о страхе прямо, но перед занятиями то оживлялась, то стихала, словно запираясь изнутри.

– Интересно, какое настроение у Мильки? – загодя беспокоилась она.

– Останемся дома?

– Нет, пойдём, пойдём, – упрасивала дочь.

Мы шли в конюшню.

По дороге малышка смотрела перед собой, сводила, разнимала бровки. Видно, пыталась собрать душевные силёнки на очередную встречу с коварной любимицей. Не выходило. Рывок головой, внезапная остановка, ускоренный ход лошади заставляли девочку бросать поводья. Занятия беднели достиженьями и, наконец, опустели, словно ноябрьское дерево.

Облокотившись на изгородь, я следила за понурой тройцей. Вдоль плаца шагала Милька, ведомая тренером. В седле качающимся вопросиком грустила дочь.

Обрывочно долетавший разговор был в общем понятен: при всех трудностях безопасней поводья натягивать, а не бросать. Девочка понимала, но не находила сил выполнить.

Пегашка продолжала чудить. Случалось, хлыст готовился покарать её за выкрутасы. Тут несчастная ученица словно пробуждалась от безнадёги, предостерегающе вскидывалась.

– Не надо, пожалуйста, – скорым речитативом просила она, одолевая страх, пыталась править, выполнять урочное.

Но лёгонькая испуганная малышка наездницей, по-милькиному, не считалась. Своенравная лошадка вольно прохаживалась, таская на спине невеликое бремя. Арина сидела, опустив руки.

Закончилась осень. Оправдывая календарь, снег выпал первого декабря и вопреки примете остался лежать.

Мы всё ещё ходили на верховую езду, не чая подвижек.

Можно б заниматься на Гриньке, Малыше, но девочка боялась и тех. Впрочем, они часто бывали заняты. Ей, как всегда, доставался злой гений Милька.

День, когда дочь взяла поводья, всё ж наступил. Правда, держала она ременное правило еле-еле, так что лошадь всё равно не чувствовала человеческой воли. Нехотя повинуюсь толчкам ребячьих ступней, кобылка двинулась по большому овалу – тропе, бетонно вкопиченной в плац (снег не успевал скрывать её, за день наезжали снова). Устала шалунья или не скумекала ещё новой каверзы, но шла смирно. Упражнений незадачливой паре не дали: пусть наездница пока на шаг робость одолевает.

Не имея сиюминутного дела, наставники (Приходько и Наталья Павловна) стали около меня. Затеялась беседа о страхах. Из-за дочкиных неудач тема саднила, я увлеклась, отстранившись от того, что вижу. Но, даже сознавая картину, по неведению не смогла б оценить верно. А происходило такое.

Милька с Ариной на холке вдруг пошла малыми кругами-вольгами и, тихо ступая, нюхала снег. Двое моих собеседников секундой оказались возле них и выдернули всадницу из стремян. Пегашка опустилась на колени и стала заваливаться. Рухнув, блаженно потёрлась боком о снег (седло мешало перекинуться через хребет).

Девочка не успела испугаться, но с верховой ездой надо было решать.

4

Чтоб притупилась острота переживаний и, быть может, чтоб осознать безнадёжность тренировок, решили прерваться недели на две. Но конный двор нас не потерял. Мы ходили в любое выкроенное время. Арина не ездила верхом и не выказывала охоты к тому, зато помогала чистить, седлать, прогуливать лошадей.

Взявшись за прутья ограды, она смотрела, как её любимица каталась в снегу, вскидывая задние ноги, фыркала – смешно, ребячливо выражала удовольствие. Взмётывая чёрные сполохи гривы, она носилась по узкой леваде и вышвыривала пропечатанные подковами комья снега.

Порой мы забегали всего на минуту, с угощением.

Милька, строптивца, чем только не покупали мы твоё благоволение! С рук кормили морковкой, яблоками, печеньем. Ласково ворковали, вздымая ладони в желании погладить, обнять. Ты принимала подарки с высокомерным равнодушием, отдёргивалась, не желая прикосновений...

– Послал отец одного из мальчиков к роднику принести поскорее воды, – дочитав сказку до середины, я отложила книгу и посмотрела на дочь.

Ввернувшись в одеяло, как ручейник в узкий подводный домик, Арина слушала бесшумно. Взгляд её колебался, как напитанный паром воздух, становился отстранённым. Не со мной, не в книжной истории, но где он блуждал? Может, уже в сновиденьях?

Девочка почувствовала мой взгляд.

– Хоть бы её не били за плохую работу. Не может же лошадь быть виноватее человека, – произнесла она, поворачиваясь на бок.

Она не хотела дальше говорить или не могла. Поцеловав её в висок, я выключила свет.

После новогодних каникул город накрыли морозы, вслед за ними – гриппозная зараза. Школы, кружки и секции позакрывали. Наш «отпуск» затянулся.

5

Ещё знобкие дули ветры и мело, но весна близилась: воздух уже звенел. Арина запросилась к коням не просто, а ездить.

Наша злодейка оказалась занята. Дочери вывели Малыша, но не то что выполнить «восьмёрку», просто проехать метров пять не получилось. Невесомая девчужка вздрагивала всем телом, стараясь вложить в тиски ногами (шенкелями) больше силы. Издёргалась, взмокла, а конёк ни с места. Переминался, как двоечник у доски, весело косясь на людей поблизости.

– Хорош, – брошенное инструктором камень-словечко со смыслом «хватит» прервало наконец тщетные усилия.

У ограды слепился хмурый круг: наставник, я, усталая Арина подвела Малыша. Все пока молчали, следя за пируэтами сухой былинки в пальцах Приходько. Погодя прибавилось Милькино трио, отработавшее не лучше.

Злокозненная кобылка лягалась, пятилась в угол, не хотела выходить. Избоявшийся мальчуган – её сегодняшний наездник – канючил:

– Наталья Павловна, я в четверг на Малыше буду, ладно?

– Посмотрим, – уклончиво отвечала та. – Ты должен уметь управлять разными характерами.

Милька потянулась к Аринойной шапочке, жевнула помпон, будто напомнила о знакомстве.

– Попробуешь? – оба инструктора хором окликнули девочку, заметив прыг животного.

Та вместо ответа флажком взметнулась в стремени и ...

До сих пор не понимаю, как она отважилась. Как момент решимости ускользнул от моего внимания?казалось, вижу страх, сжитость с неуспехом, глупую ребяческую поспешность, а значит, и грядущее разочарованье. Вышло иначе.

Девочка быстро выбрала поводья, тиснула бока лошади. Та тронулась в шаг, потом в рысь, пошла, пошла. Да как.

Я впервые увидела воспетую в степных песнях красоту, не осветившую (увы) моё детство, ту, что являют, но обездушивают спортивные телеканалы и в которую отчасти позволяет

вчувствоваться лишь великая литература: красоту взаимослитости лошади и всадника.

Когда они поняли друг друга так, словно Бог создал их единым выдохом?

Ровной, музыкально размеренной рыси вторила, привставая в стремнах, верно уловившая ритм фигурка. Арина сидела прямо, словно выклюнувшийся росток, на всю спину, и в то же время вольно, опустив плечи, едва заметно повелевая партнёршей.

Я оглянулась на тренера и увидела выпяченную губу, приподнятые брови, – так не скорые на оценку, ко всему привыкшие люди порой выражают удивление.

Всадница подгарцевала ближе, не улыбаясь, но лучась спокойным торжеством. Только костяшки пальцев белели. Потом я часто видела зеленоватую белизну её суставов и накусанные губы.

С того дня не то чтобы ученье наладилось – оно отлаживалось, только уже через приложение воли. Кобылка по обыкновению упрямылась, капризничала, но Арина не сдавалась. По правде говоря, их с Милькой соперничество (кто кого укротит) устраивало всех, особенно детей: им не доставалась баламутная лошадка. Паденья, протёртые в лохмотья перчатки, сжатые челюсти отныне входили в понятие каждодневной радости.

6

Одно дело, когда любимые рядом и ты уверен: так будет всегда. Это тонкое, экономное счастье, потому что ему предстоит целая жизнь.

Совсем иными глазами смотришь на дорогое существо, когда знаешь, что ему вот-вот гибель. Стущённая в малом времени привязанность кинжально обостряется, растёт и ранит сильнее с каждым днём.

Ах, Милька, смогла б я прикипеть к тебе так же сильно, как дочь, если б не это?

Телефонный сигнал влез в семейную тишину позднего вечера, когда Арина уже спала. И к лучшему.

В трубке заворочался сипловатый голос тренера:

– Здорово. Ходит слушок, – тут вклинилась пауза, словно новость немного пожевали. – Нашу врединку планируют в расход. Ветеринар сказал, ноги. Месяца два – и каюк, свезут на бойню.

В кухню вошёл Лёша с полотенцем на голове.

– Что случилось? – спросил, подсаживаясь на диван.

Я рассказала.

Муж примолк, потом хлопнул ладонями по коленям.

– Так... Арине ни слова. Надо встретиться с владельцем коней и выкупить осуждённую на казнь. Не думаю, что сдать на мясо выгодней, чем продать. Куда нам её потом деть – вот загвоздка. А у меня всего четыре дня, – сказал он, взглянул на часы. – Уже три.

Лёша – сельхозавиатор, то есть лётчик для полей. Он редко бывает дома, разве лишь зимой. А шёл август, и редчайшие выходы удачно выдались как раз нынче. Потом пропадёт ещё на месяц, и так до холодов. Куда только не посылали его зелёный Ан-2 опылять, опрыскивать полезными ядами будущую еду.

Наутро в конный двор двинулись втроем.

Оставив Арину в конюшне, первым делом разыскали Приходько, рассказали, с чем явились.

– Пойдём вместе, – следовало постановление. – Семён Семёныч захочет слущить больше плаченого, а я не дам.

– Анекдотическое имя. Что он за человек? – спросила я.

О владельце двора узнали немного.

Когда-то, в свою тренерскую бытность, он отомстил опрокинувшему его скакуну: загнал насмерть. Виновника уволил.

ли, но и только. Ныне в одноэтажных кварталах города он держит пивные киоски и эту лошадную забаву.

В низкой, с огромными окнами конторе – дирекции парка – нас встретил мужичок на «ват»: лысоват, молодецват, хитроват. С беглым взглядом. Дело понял с полуслова, пригласил в кабинет.

В безнадежно пустой комнате (видно, временка, штаб-квартира в другом месте) он уселся в кресло (поёрзал, отыскивая удобство) за старомодный канцелярский стол. Плавником больнично чистой ладони указал на стулья вдоль стен. Мы притянули сиденья к торцам, тренер – напротив начальства.

Хозяй потёр руки. Глаз его неуловимо изменился, стал ввёртливым, как шуруп, и началось. Потянулись дипломатические беседы, обернувшиеся вскоре торгашескими препирательствами. Обсуждали не только покупку, но и возможность поддержать лошадку на дворике, пока не найдём ей место. За постой ломилось что-то несусветное. Душа томилась несказанно. Удерживало только желание спасти животинку. Удобных для гордыни сумм не водилось, и мы нажимали на своё. Впрочем, не я с Лёшей.

Широко опершись на стол, Семён и Приходько (за всю нашу компанию), нависнув над полированным полем брани, выдавали друг другу обоюдоострые угрозы.

В конце концов по ценам сошлись. Покупку отложили.

– Ну, до встречи через две недели? – уточнил муж. – Я к тому времени привезу недостающую сумму.

– Бог с вами. Но о постое ещё поговорим.

Коммерсант бросил на стол ручку, записав телефонные номера, и чуть съехал со стула. Хмуρο оглядывавший округлость своего живота, он походил на пацана-задиру, получившего сдачи.

На улице, несмотря на зной, было свежей.

– Спасибо, – сказали мы тренеру, полагая итог окончательным и удачным.

– Не обольщайтесь, – был ответ.

7

Лёша уехал, вернее, улетел. На сей раз недалеко, в соседнюю область. В нашу с ним сотовую болтовню неожиданно уже через день вклинился Семён:

– Не успели обговорить постой вашей лошади.

– Она ещё ваша. Через две недели, – утяжеляя слово «ваша», напомнила я.

Холёный хват думал иначе. Витийствовал, правда, недолго, без желания терять покупателей. Чего хотел?..

Внедолге явился в эфире вновь. Теперь из-за коваля, вызванного для перековки коней, заявив, что распорядился не осматривать Мильку и не перековывать. Разве что на мои деньги.

Вот так номер!

– Послушайте, вы сейчас на ней зарабатываете, а не мы.

В трубке отвечали толкованьями, коих понять не дано.

Так и повелось. Каждый раз выходило, будто я хозяйина уговариваю, а тот, поломавшись, уступает. Ещё загадочней было то, что он моего лётчика тоже звонками донимал. Чего ждал? Побольше денег? Отказа от затеи? Развлекался, теребя нервы?

И у мужа они сдали.

– Держать лошадь – значит жить её жизнью, – однажды заявил он мне издалека. – Ариша – не помощница, ещё лет семь одна будешь ходить за Милькой, но ничего – слышишь? – ничего не сможешь написать. Потом возьмёшься, и не пойдёт. Так нужно ли было становиться писателем?

Я не ответила. Ни Лёшке, ни Семёну. Никто из них не желал понять моё положение. Хотя какое оно? Можно отказаться от покупки, увезти ребёнка к тётке, а животное пусть сдают куда хотят. Дочке потом солгу.

Такие думки не прежде сумерек трусливо просверкивали среди замыслов и решений. Но на следующий день к Арине из денника тянула узкую морду наша проказница. Стоило видеть обеих, чтоб послать к известной бабушке ночные сомнения.

8

Очередным звонком Семён вызвал меня в контору.

Подле него каменела фигура Приходько. На сей раз владец пива и коней выражался предельно, не блуждая в словесных норах:

– Забирайте сегодня или завтра же на колбасу. И с постоем решайте. У меня мест нет.

«Ишь ты, – подумалось. – Как в советских гостиницах».

– Если хотите, советуйтесь.

Он вышел, притворив дверь, и показался уже за окном снаружи. Щёлкнул зажигалкой, которую не поднёс к сигарете, а едва не всем телом наклонился к руке.

– Чего он торопится? – вполголоса спросила я.

– Кто знает. Может, налоговая гроза движется, откуп срочно надобен. Теперь не уступит.

– Всей суммы-то нет. Лёша ещё...

Хотелось сказать «не привёз», но привезёт ли.

Помощь негаданно явилась от инструктора:

– У меня есть семь.

Я воскресла. Мы с Приходько ударили по рукам и заверили Семёна, что вернёмся через час.

Пересчитав деньги при нас, с удовольствием откинувшись на стуле, делец великодушно объявил:

– Забрать не позднее четверга. Приходько, ваше заявление я подписал.

В ответ тренерские ладони в самопожати тряхнулись над извечной круглой шапочкой.

На улице я набрала Лёшин номер, рассказала о покупке.
– Похоже, в нашей однокомнатной квартире моё место заняла лошадь, – съязвил он и умолк.

Пусть. После. Сейчас надо решать с Милькиным обита-
лищем.

Теперь Арина каталась, сколько хотела, понимая одно: ро-
дители купили для неё лошадку. Девчужка радовалась, меч-
тала, напрочь забыв, что скоро идёт в первый класс.

У Приходько телефон крепко повис на ухе, послушно, но
безнадёжно откликаясь на поиски коняшкиного крова. Я-то
могла просить лишь одного человека – Валерию.

9

Тётка-тётушка, не седьмая вода на киселе, худая длинно-
телая старушка с робко-плаксивым, а точнее, очень разум-
ным нравом.

Живёт в пригороде, растерявшем сельскость. В прошлом
деревня, сейчас хвост города-техночудища носит имя со
старорусским привкусом: Повой. У Валерии там домишко с
садиком в три яблони и игрушечным сарайкой-курятником,
где о птицах нет и воспоминаний.

Каждое лето она звала Арину гостить, отлично зная,
что та три месяца не выдержит. Всё в Повое хорошо: парк,
пруд в нём, лесок даже. Но Валерия девочку никуда одну
не пускала – боялась, но и сама с ней не гуляла. Слушая
бесконечный, как песня камчадала, причёт тётки-бабушки,
малышка слонялась по выскобленному, как дощаной стол,
и прилизанному, как причёска очкарика, поместьицу. Со-
скучившуюся девочку приходилось забирать спустя пару
выходных. Старушка оплакивала одиночество, но суетливо
отказывалась от любых идей на этот счёт, застенчиво улыба-
ясь, по-детски вытирая щёки кулачками.

Наперёд зная итог, я, однако, позвонила с чаением пристроить лошадь хоть на недельку, а там... Не знаю.

– Ленушка, што? – спросила Валерия заранее нараспев, чтоб удобней отжаловаться.

Я вкратце обсказала, слыша в трубке нарастающий стон.

– Миленька моя-а, на что ж вы, безумные, денежки-то потратили? А я её куда-а? В курятник ли?

– В сад, тётъ Лер, только на неделю, пока сухо. Ничего делать с ней не надо, разве поить.

– Ноженьки мои не ходюць, руки так крутить, так крутить – сна нет.

– Так, может, нам пожить у вас? – предложила я, признаться, с большей охотой, чем прежде.

– Ой, девоньки, милые, зачем вам старуха? С кобылой возись, со мной вози-ись...

В трубке зафыркало, затрещало. Бог с ним, говорить уж не о чем.

Я поспрашивала соседей, нет ли у кого родственников в деревнях. Такие нашлись, но коневодческого интереса не выказали.

Оставалась надежда на завтрашнюю встречу Приходько с ипподромной властелиншей. Если та запросит недорого, то лошадку можно б устроить.

С утра по сотовым каналам прилетели сразу две вести: ипподром не берёт, Семён выгоняет сегодня. Прямо сейчас.

Мы с Ариной понеслись в конюшню. Инструкторы наряжали Мильку в недоуздок, крючковали копыта.

– Куда теперь? – спросила Наталья, прощаясь.

– К тётке сведём. Без позволения. Упросим, умолим на месте – что ей останется делать? – ответила я.

– С богом!

В окне конторы, как в аквариуме, покачивался, закарманив руки, Семён.

10

Двинулись в путь. Приходько с Милькой впереди, я и дочка следом. Асфальт отзывчиво цокал чуток после подков. Прохожие растерянно озирали странную компанию. Проезжие, выстав локти на дверцы, сигналили нам и что-то улыбочиво выкликали, будто чайки, может, шутили.

Девочка уставала. Мы то ненадолго сажали её верхом (без седла несподручно), то вели за руку. Миновали город. Стало легче: машин меньше, обочья шире, есть где сойти на отдых. До Повоя километра четыре.

Потряхивая надставленными бортами, перед нами заехал грузовик и остановился. Из кабины выпрыгнул... Лёша, Лёшенька, друг мой вечный. Вот кого не хватало!

Дочь повисла на нём. Тот обнял, крепко прижал и несколько раз сунулся губами ей в макушку. Потом принялся открывать кузов.

– Давайте грузить вашу скотинку, – сказал, вытаскивая сбитые поперечинами доски, устраивая наклонный помост.

Коняшка забеспокоилась, напрягла шейные жилы, дёрнулась, натянув недоуздок.

– Ш-ш-ш. Тише, голубка.

Тренерово ободрение, кажется, слегка успокоило животное. Взойдя на доски вровень с головой Мильки, бормоча ей в ухо, поглаживая, Приходько и сама лошадка, заминаясь, малыми шажками довольно долго шли вверх. По кузову животинка затопала бодрей, дала себя привязать.

Лёша вдвинул за ней мостки. Пока длилась погрузка, он поведал:

– Дмитрий, фермер, у которого пылю, как раз жеребца продал, денник пустует. Когда я про наше сокровище рассказал, Дима машину дал. Что, Арина, поедешь посмотреть Милькино жильё?

– Да, папочка, да! – обрадовалась та и мelenько запрыгала.

– Пусть погостит. У тебя будет время школьное приданое закупить, а я Аришку через день привезу, – сказал мне напоследок муж.

Они нырнули в грузовик, юрко развернулись и укатили.

Мы с наставником переглянулись. Внутри будто пружина распрямилась, дала вздохнуть. С Приходько спала то ль маска, то ль стальные латы. Мы обнялись за плечи и поплелись в сторону города.

– Надь, что ты нашей брыкушке на ухо-то шептала? – спросила я, щурясь на ярко-белые облака.

– Ласковое слово и скотина понимает, – лукаво ответила Приходько, сняла и подбросила шапку, растряхнув короткое белобрысое каре.

Глядя вдаль, она вдруг затянула низким сипловатым сопрано:

*– Ой, при лужку, при-и лу-ужку,
При широком по-о-оле.*

Я подхватила:

*– При знако-о-омом табуне-е
Конь гулял на во-оле.*

Снова что-то весело кричали и сигналили водители, да нам нужды не было. Август на исходе, небо благостно сияет, живая душа спасена, потому сейчас здесь важней всего одно: чтоб «конь гулял на во-оле».

Надя рассказала мне, как сложилось имя нашей спасеницы.

11

Прошло одиннадцать лет. Быстро? Медленно?

Говорят, худое тянется медленно, хорошее – влёт. Не правы люди. Всё шло своим чередом. Ни скоро, ни долго. Не знаю, назвать ли плохое плохим, ведь наши удачи выросли из бед.

Валерия померла год назад, завещав клочок Повоя моей дочке.

У Надежды Приходько образовался свой маленький кон-

ный двор. Она, как прежде, учит ребятню началам верховой езды. С ней работает Наталья Павловна, помогает Арина, но только в свободное время – учится в академии, пытается стать ветеринаром. И всё бы как в сказке, когда под конец нечего желать, только частенько вижу дочь грустной.

– Не могу лягушек препарировать. Мне их жаль, – однажды призналась она, вернувшись с занятий.

Понимаю, если не переборет боль сердца, не причерствеет к страданиям братьев наших неразумных, то и спасительницей не станет. Придётся бросать врачеванье иль переходить на полеводство.

Муж по-прежнему в полях. Конюшню он построил вместе с домом для нас.

А я? Давно ничего не пишу. С тех пор, как появилась Милька, осваивать пришлось многое. Я была трудной ученицей, досель неведомое постигала тяжко. Дочь вникала в тонкости коневодства легче и мне на первых порах растолковывала.

Прав Лёша: держать лошадь – значит жить её жизнью. Ковать, прививать, кормить, следить за ногами, мышцами, подгонять, чинить снаряжение. Так изо дня в день много лет, всегда. Первые трудности не сделали меня сильнее. Наоборот, по мере того, как я узнавала, чего бояться, малейшие предвестья бед приводили в отчаяние. Постепенно, понемногу, потом, когда опыт защитной корой покрыл сосуды впечатлительной души, научилась одолевать несчастья без суеты и дрожи.

Слушаю кобылье сопенье и подумываю написать повесть, что-то в унисон с Сетоном-Томпсоном, над чьими рассказами мы с Ариной когда-то рыдали. Думаю так и усмехаюсь, чувствуя мягкий толчок в спину. Пора.

Что ж, Милька, пойдём домой.

Миниатюры

Май

В этот месяц разные телеканалы показывают старые военные хроники.

Недвижный воин лицом вниз. Неслышно кричащий на трупе мамы младенец. Подросток с запавшими глазами, такой исхудавший, что внутри, кажется, ничему места нет, и душа его где-то снаружи, оттого легче лёгкого ей отстать, потеряться, выветриться.

Вздёргиваюсь с дивана, хожу по комнате, чтоб тяжесть кадров прижилась к сердцу.

Возвращаюсь к телящику, а там уже новости о теперешних бедах.

Избитый мальчик в реанимации; осетин, потерявший детей в авиакрушении; расстрелянные семьи, рабство.

Сколько позора людям, сколько печали Богу.

Послевоенная тишина шагнула далеко за шестой десяток. Двадцать первый век, а насилие изощрённее, смерти неоправданней.

Выключаю «окно в мир», подхожу к окну в город.

Май. Всё тут разом: бледная, младенчески беззащитная листва; бесшабашный, пыльный и пахучий ветер; птичий свадебный щебет. Весенняя приподнятость тормозит душу, напоминает о Великой Победе и Святом Воскресении.

Вечереет. В облаках по краям неба, в городской панораме, в том, как по-особенному слышны звуки с улицы, чувствуется сдержанное ликование. Природа внутренне всегда чиста и, верно, знает, что пасхальный огонь осветит заветную ночь.

А я надеюсь, но и страшусь. Возгорится ль? Одних сегодняшних новостей хватило б, чтоб миру не стать. Почему, слушая их, принимая чужие беды, крестимся: нас не коснулось, продолжаем жить как ни в чём не бывало? Почему до сих пор не истёрто в прах человечье племя?

Через пару дней в ночном репортаже вижу: вскинулось на Гробе Господнем пламя. Значит, поживём.

Выключаю всё, сижу тихо, словно подглядываю, как будет в мире без меня. Размышляю.

Может, спасенье всё ещё даруется людям потому, что слишком много добровольных было в войну? Наверное, в то пятилетие люди молились так, как никогда после, потому по сию пору спасает нас от Вышнего гнева отечественная, лихая, но и праведная – голгофа для народов.

Сколь ещё лет грядущего оплачено теми смертями, кровью, молитвами? Что остановит сегодняшнее насилие, искупит скотство? Неужели ещё одна Великая война?

Дождь

Он застал нас на веранде кафе. С крыш свисают витые шнуры воды. Мы будто оглохли: уличные звуки нечётки, смазанны. Из-за многочасового дождя. Его шум нельзя назвать шелестом, журчанием, плеском. Какой-то гул.

– Небо белое, – говорит дочь.

Точно. Не серое, мглистое, пепельное, а ровное, белое, будто потолок.

Дождь тяжело, отвесно вис и был нескончаемо обилен. Не ослабевал, не косил, не ходил полосами.

Полина сказала:

– Будто осенью.

Правда. Сбежал сентябрьский обложник в июль, нарушил очередь, словно лету своих громовых ливней не достало.

Зарубежные карпы

Впервые мы гостили в Германии в социалистическую эру, когда человек был кузнец своего счастья, господин судьбы и царь природы.

Шли последние советские времена, Горбачёвщина, когда велено открываться навстречу новым веяниям. Все пытались выполнить приказ, а как – не знали. Не умели. Поездками за границу тогда ещё не баловали, но случилось. Нас пригласили друзья, сибирские немцы, выскочившие из Союза пятью годами раньше.

В Киле нас встретили и в Рендсбург привезли крадом, потому что в автомобиле на заднем сиденье ездить вчетвером нельзя. О том, что это не пустая заповедь, там приходится помнить всю жизнь. Любая благоденствующая старушка за неколышимой шторкой может сообщить «в органы» про перебор пассажиров, ведь доносительство не тяжкий грех, а благоденствие.

Застолья были умеренные. Споры обо всём на свете, хоть украшались щедрой русской эмоциональностью, не достигали особого накала по причине хозяйской скупости на чувства и водку. Выносить их приветливую сдержанность можно, но трудно. Мы с нашим буйным социалистическим самомнением не понимали, почему немцы смотрят на нас по-матерински сердобольно.

Дружеские споры – обыкновение русских застолий, привезённое нами в иной уклад и не отвергнутое там из гостеприимства, случалось, надоедали, и я, отрешась, наблюдал за лицами, жестами, освещением.

Когда прискучило всё и вовсе, вышел на улицу.

Удобный городок. Полное умиротворение. Здания услужливо и покладисто взирали на меня окнами, в которых ничего не рассмотришь. Дороги поворачивали ровно туда, куда хотели пойти ноги.

Дошёл до пруда. Почему люди всегда подходят к воде, где бы её ни увидели? Жена говорит, генная память. Жизнь ведь в океане зародилась. И я подошёл.

Из тёмно-прозрачной воды на меня, как сельские собаки, смотрели дородные серебристые карпы. Они медленно шевелились. Не умея моргать, забавно вздели кверху заинтересованные рожи. Я топнул на них, словно они и есть местные шавки.

Карпы не ворохнулись.

Как так? Я, потомок выстоявших в боях, обиделся. Гулче ткнул каблучиной иностранную землю, шикнул. Потом ещё замахнулся, сердито воззрившись на толпу прудового народа, дабы заставить их понять моё превосходство, так и не явленное сегодня друзьям в обеденных политических дебатах.

Карпы, не ворохнувшись, смотрели пузырьковыми очами, мерно перебирая плавниками воду, будто имам чётками. В эту минуту мне совсем некстати пришло в голову, что рыбыны не смотрят в одну точку – не могут: глаза разведены природой на бока плосковатых голов.

Вдруг я вспомнил поднятую в замахе руку. Воровато озрясь, опустил её в карман. Вторую тоже. Хотелось глубже затискать их, потому штаны оттянулись вниз, а плечи поднялись. Я пошёл прочь и будто чувствовал спиной глупое рыбе внимание. Сам по сторонам не глядел – не хотел понять, что кто-то за славной занавесочкой мог видеть победу зарубежных карпов над советской психологией.

Подруги

Всю свою незапамятную жизнь две ракиты растут рядом, слившись кронами и так же, наверное, сцепив корни. В юных красавицах с раскосыми оливковыми глазами, растущих по ручью, они теперь грустно узнают себя прежних.

С тех пор несчётные зимы мало-помалу превратили их в ревматоидных Баб Яг, а вёсны всё так же наполняли соками их гудящие сосуды.

С высокими, уже полыми стволами, размашисто ветвящиеся, нынешним апрелем они махали птицам новыми листочками. Из огрубелой слоёной коры пробились жёлтенькие побеги, будто нечаянные дети у матерей-перестарок: радостно и конфузливо.

Шальные веи морочили раkitам головы, заставляли взволнованно глядеть на звёзды, вполголоса выскрипывать друг дружке сокровенные тайны, в которых уже не сквозит надежда, но слышна философия прожитых лет.

Ветры однажды стали причиной большого огня.

Каждый апрель всё живое на склоне мучилось от весеннего пала, не чая выжить. И как-то выживало, стерпливало попытку.

Кругом хатёнок, огородцев, на приручейном склоне мужики, пока заботы требовали трезвости, запаливали сухие травы. Это чтоб летом, в беспамятном пьянстве, обронив окуроч, не порешить однажды с деревенькой начисто.

Нынешний огонь получился скорым и прожорливым. Ветер рваными напорами выдул из пламени стену, косо двинул её вдоль склона, то взмётывая в два роста, то притушивая не выше колена.

Травы мгновенно выгибались, съёживались и осыпались пеплом. Куст шиповника корчился дольше, пока не стал обугленной раскорякой, в которой, как в талантливой скульптуре, явлены глазу все молчаливые страдания живого.

Проглотив давно покинутый сараюшко, огонь подобрался к деревьям.

Трещала в изножье толстая кора, пузырилась и лопалась кожа на нижних первовешних побегах. Деревья крепились, а может, гул огня и ветра заглушил их стоны.

Оранжевый комбайн жара ринулся дале сжинать урожай прошлогодних трав, оставив на стволах вертлявые огневые флажки.

Не вынесла одна из раки, подалась на подругу. Хрипло, последним голосом, как долготерпец, простонала она не то «держи», не то «держись» и грохнула голову на дружеские ветви.

Приняла, удержала вторая раки, мягко спружинив ветвями, словно они не коряжья, а материнские ладони.

Вечером воздух остановился. Пламя потухло. Оглоданный огнедышащей пастью широкий склон, причудливо уставленный кротовыми горюшками, кое-где курился тоненькими дымками, словно выпускал дух.

Ночь пришла тихая, словно стеклянная. К утру землю прихватил заморозок.

Природа тут же взялась за дело и к концу мая узеленила, убрала цветами всё, что смогла.

А раки стоят. Ветер умильно ерошит молодую поросль на спине наклонённого древа.

– Держитесь, подружки, – шепчет он в утешение.

И они держатся, живут изо всех сил, тоненько кряхтят.

– Деревца плачут, – жалеет их моя дочь, радуется, что те не погибли, и боится.

Мужички давень шумели, спрашивали, нет ли у кого бензопилы.

Инвалид

Одет тщательно. Костюм (без морщин на сгибах) похож на пожилого сноба: не молод, но славно сбережён. Воротничок старомодной рубашки на вид не мягче пластмассы. Галстук в тон.

Мелочи по местам: авторучка, платочек благородно вы-

глядывают из нагрудного кармана, на манжетах – запонки (жутко модные, здесь они только подчёркивают запоздалость наряда), барсетка ремешком на запястье.

Гладок сизоватый подбородок, жёсткие обрубки волос какой-то косметической силой повалены в стороны от линейного пробора.

Молодой человек подковыливает к спортплощадке, садится на одну из скамеек. Взгляд его проскальзывает меж играющих ребятешек, теряется в щербинах асфальта. Ненадолго.

Парень передыхает, страшной походкой уносит себя в сторону соседних дворов и, знаю, возвратится домой окружно примерно через час. Он гуляет, но мимо людей движется устремленно, сосредоточенно, будто занят.

Ему на нашей площадке не нужен никто и нужны все. Это для нас он повергает себя в трудные сборы. Может быть, кто-то остановит на инвалиде взгляд, как я теперь, и вскользь, случайной мыслью отметит: «Вот пошёл человек за какой-то надобой. Может, его вызвали. Где-то он такой сейчас нужен».

Не знаю, случаются ль у кого подобные думки, но инвалиду важно складывать впечатление значимости. Из этого – сборов, нелёгкой прогулки, подобия нужности – состоит его жизнь.

Иногда его сопровождает старик, похожий не то на прошлогодний дубовый лист, не то на хлебную корочку. Он ступает чуть сзади, часто беспокойно взглядывает на спутника. Я понимаю: молодой инвалид – старикова жизнь, её значение и оправдание, право на неё и залог.

ЕЛЕНА **КОВАЛЁВА**

Выбор



Выбор

(р а с с к а з)

– Девушка, а хотите, я Вам все это подарю?

На решетке сада были развешаны копии китайских акварелей: розовая глициния, бледные пионы, птицы и насекомые.

Ася как будто со стороны услышала собственный неожиданно низкий голос:

– Боюсь, это нанесет непоправимый ущерб Вашей торговле.

– Ну что Вы... – стоящий за спиной сделал ленивую паузу, его снисходительная усмешка была невидима, но хорошо ощущалась. – Я не торгую этим. Я просто могу все это купить и... подарить Вам.

И вот внутри у Аси, словно независимо от нее, прозвучало: «Лови! Это твое, то самое – прощенное!» И предшествующая тяжелая ночь всплыла в памяти.

Почти сразу по приезде в Питер Ася и Лера вселились в тесную комнатку на Кирочной. Нет, она не была похожа на гроб, она была похожа на пенал, лежащий на узкой стороне, так что Асе все время хотелось ее перевернуть. Посредине комнаты стояла кровать, составленная из двух старых кушеток. Ее ширина равнялась ширине комнаты, поэтому к столу приходилось не идти, а перебираться.

Хозяин квартиры – однорукий циклоп с бабьим лицом и белобрысым пухом на голове – носил совершенно неподходящее ему имя – Виталий Александрович.

– Девушки – это ничего, это можно, пусть приходят. – Он кокетливо подмигнул единственным глазом. – Но парней я не разрешаю, даже чтобы на пороге, а то знаю я вас, как это оно....

Строгость на его физиономии боролась с гримасой сального удовольствия, так что, заканчивая внушение, он едва не облизывался.

Личность Виталия Александровича не производила приятного впечатления, но квартира очаровала расположением: институт, в который Асе посчастливилось поступить, был в двух шагах. Удачным совпадением было также соседство Лериной питерской приятельницы – Нинки Хлебцовой по прозвищу Хле. Как раз в это время она пристроилась в том же самом доме у своего фиктивного мужа: сестра его родила и нуждалась в няньке.

Ну и, конечно, питерская экзотичность – изразцовая печь, лепнина и странно изогнутый коридор с окном, упирающимся в кирпичную кладку.

Отрицательные стороны начали проявляться после вселения. Первым неприятным открытием были тараканы, точнее, их количество. Несмотря на то, что вдоль всех плинтусов было разложено какое-то мучнистое снадобье, они плотно оккупировали кухню и не прочь были наведаться в комнаты. Ася боялась их панически.

Второй сюрприз преподнесло воскресенье – Виталий Александрович обнаружил способность, пьянствуя в одиночестве, доходить до ловли потусторонних существ. Процесс сопровождался вскриками, подвываниями и топотом. Дверь комнаты не запиралась, но ее ручку удалось привязать шарфами к ножке шкафа – так было спокойнее.

А в понедельник, придя с занятий, Ася застала Леру в ме-

ланхолическом настроении. До ужина обе сидели молча, уткнувшись в книги, и только после чая Лера заговорила чуть срывающимся голосом:

– Аська, слушай, ты не знаешь, как это выглядит, когда сифилис? Что-то там с кожей такое, еще должен быть какой-то шанкр.

– Слава Богу, не знаю, а что?

– Мне кажется, у меня эта гадость. – Лерочка дернула плечом и сделала жест, словно только что помыла руки и их не обо что вытереть.

– С чего ты взяла? Откуда?

– Откуда, откуда... – Ниоткуда! В августе, пока ты ездила домой, я в мастерской жила у Светки, ну ты знаешь... И там не было ванной. И один ее приятель, местный, родители уехали на дачу – ну и пригласил. Ты не поверишь, я готова была душу продать за горячую воду. Жертва гигиены, блин! – по лицу Лерочки проскользнула ее неподражаемая асимметричная улыбка, чувство юмора не изменяло ей никогда.

– Может, все-таки не то?

– Не то? Как не то? Вот, полюбуйся!

На ногах розовели припухшие расплывчатые пятна.

– Вчера было два, а сегодня вон сколько...

– Может, съела что-нибудь?

– Что съела? У нас только чай и макароны! Точно – оно: сыпь, потом шанкр, а потом нос отваливается.

Волнующая беседа была прервана стуком в дверь.

– Кто там?

– Обезья-а-ана! – пропел медовый голосок.

– А, Хле... – вяло отозвалась Лера.

– Привет, привет! Чё это кислые такие? Сидите тут, я думала, вас дома нет, гуляете по хорошей погоде, вон – солнце!

– Уже нагулялись...

Лерочка выложила свой жуткий диагноз.

– А ну покажи, – лицо Хле стало сосредоточенным, как у хирурга. Она четвертый год проживала в столице. После беглого осмотра расхохоталась:

– Ой, сейчас умру! – она страшно мило морщила вздернутый нос. – Это ж надо было навьдумывать! Да это клопы просто. Тебя что, никогда клопы не кусали?

До Петербурга Лера жила в Покровске и с клопами дел не имела.

– Ты уверена, что клопы?

– Господи, ну точно, что, я не знаю? Да они всегда в таких старых рыдванах живут.

– А как же Аська? Она же тут, на этой же постели спит – и ничего.

– Да ты посмотри на Аську, – Хле бесцеремонно ткнула пальцем, – вон, вся бледная, тощая, как селедка, еще и меланхолик. Наверняка температура пониженная, а клопы только на температуру реагируют – 36,6.

Хле была кладезем житейского опыта.

Осмотр кушеток подтвердил догадку – углы с изнанки густо чернели крапинами. Клопы – не сифилис, но радости тоже не доставляют. На следующее утро Хле притащила ромашковый порошок, от которого кровожадные твари должны были разбежаться.

– Но не гарантирую, – предупредила она. – Карбофос надежнее, только трудно достать.

– У меня в общаге флакон остался, – вспомнила Ася.

– Если ромашка не подействует, привезешь, ладно?

До общежития было часа полтора езды, если повезет с автобусом. Ася предпочла бы туда не ездить, но уже проговорила...

Через пару дней Лера начала подозревать, что ромашка – слишком слабое средство. Но Ася еще надеялась, ведь ее, «меланхолическую селедку», клопы не беспокоили. Лерины

напоминания про карбофос она игнорировала до тех пор, пока та не прибегла к крайней мере.

Мало приятного – проснуться среди ночи от того, что тебе в лицо суют мелкое гнусное насекомое.

– Вот, полюбуйся! А ты говоришь: «Их нет, тебе кажется». Я вообще не могу спать с этой мерзостью! Что тебе стоит съездить?

– Ладно, ладно, я съезжу.

– Сегодня? Пообещай, что сегодня!

– Да, да, сегодня – обещаю. Только дай поспать, мне завтра к первой паре!

Но поспать уже не удалось. Мысли хуже клопов лезли со всех сторон, темные и въедливые. Ася наконец поняла – так больше нельзя. А как можно? И что делать? Бросать престижный институт и ехать в захолустный городишко, в хрущевку, к спивающемуся отчиму?

«Господи, хоть бы кто-нибудь – старый, кривой, рябой – не важно – снял мне отдельную квартиру. Чтобы только ужинать без тараканов и спать без клопов и без Лерки! Я же все равно никому, совсем никому здесь не нужна!» – эту необычную молитву Ася повторяла в разных вариациях до утра.

– Ну так что, Вам нравятся эти копии Ци Бай Ши? – снова раздался голос у нее за спиной.

– Да, но... – Ася с удивлением ощутила приступ куража: уверенность, что сейчас все пойдет как по маслу. – Но, боюсь, мне некуда их повесить. Я ведь живу в общежитии.

Это была почти правда.

Теперь Ася обернулась и увидела говорящего. Он был не то чтобы толст, но массивен и как-то компактен, как добротное каменное изваяние. Круглая, коротко остриженная голова будто выточена из диорита: все на месте и ничего лишнего. Ровный нос украшали изящные очки. В нем

было что-то от холеного кота, но глаза за стеклами больше напоминали рептилию. Говорящий был не один – рядом стоял молодой человек, составлявший ему полный контраст: худой, долговязый, с растрепанной черной гривой. Его бледное лицо было скорее вылеплено из глины, причем мастером-экспрессионистом: крупные, неправильные, но выразительные черты и небольшие, но на редкость живые и пронзительные глаза.

– Такая красивая девушка и живет в общежитии! – Асина подача была отбита незнакомцем в очках с такой готовностью, что она смешалась: «Как-то слишком быстро все...»

– Не такой редкий случай... – пробормотала она вслух.

– Но лучше его исправить.

– Было бы неплохо.

– По-видимому, студентка? – несколько свернул в сторону неизвестный.

– Да. Училище имени Мухиной.

– Н-да, помню это училище – двадцать пять лет назад там тоже учились красивые девушки.

– Двадцать пять? – Ася решила проявить ответную любезность. – Как Вы можете это помнить?

– Ну, я еще и не то могу помнить, мне уже пятьдесят.

– Я бы никак не подумала! Здоровый образ жизни?

– Не то чтобы здоровый, а... хороший. – Последнее слово было произнесено особенно веско.

Молодой человек все время молчал, но его взгляд Ася ощущала, как алый луч лазерного фонарика.

За разговором дошли до угла Невского, который был занят уличными портретистами. Их стульчики, папки и треноги образовывали странную паутину, попав в которую неосторожный прохожий превращался в беспомощную неподвижную натуру.

– Пожалуй, это не самое удачное место для обсуждения дел. – Незнакомец в очках окинул лагерь портретистов взглядом Гулливера, случайно зашедшего на лилипутскую ярмарку. – Мне кажется, нам нужно встретиться в более подходящей обстановке.

– Можно, – согласилась Ася.

– Я думаю, это будет ресторан «Пулковский», сегодня в девять.

Но как раз этот вечер был занят у Аси поездкой за карбофосом. Ее бывшая соседка по комнате, ставшая теперь безраздельной хозяйкой, обещала подъехать к восьми.

– Боюсь, сегодня у меня не получится, – Ася замылась. – Сегодня у меня есть одно важное дело.

– Жаль. Боюсь, в другое время не получится у меня.

– Может быть, все-таки можно найти другой день.

– Я думаю, мы должны встретиться сегодня.

– Но почему?

– Не знаю, это ощущение... Сегодня удачное расположение звезд. А что у Вас там за дело?

– Ммм... мне нужно съездить в одно место. Это далеко. Я должна быть там в восемь.

– Ну, это пустяки! На такси за час можно доехать откуда угодно.

Ася немного колебалась – юбка и свитер, которые были на ней, идеально подходили для поездок за карбофосом. Времени, чтобы зайти на Кирочную и переодеться, оставалось в обрез.

– Ладно, хорошо, я возьму такси.

– Вот и отлично! – господин в очках открыл толстый, крепкий бумажник, извлек крупную банкноту и протянул Асе.

– Ох, ну зачем столько?

– Да берите же.

– У меня есть деньги на такси.

– Ну что Вы, в самом деле? Какая-то неловкая ситуация! У меня просто нет более мелких денег.

И купюра как-то сама оказалась в Асиной руке.

– Значит, так, возьмете такси и просто скажете водителю, чтобы он ехал к «Пулковскому». Этот ресторан все знают. А там уже, когда приедете...

Но Ася не могла слушать, она все еще колебалась: «Пулковский»... – ресторан, гостиница, номер, задаток взят, если же взят... А утром... утром?» Ее растерянный взгляд упал на лицо молодого человека, и тут же на этом лице заговорщически мелькнула улыбка джокера.

– Нет, я так не могу! Простите, не могу... – она торопливо сунула купюру в карман кожаной куртки незнакомца и быстро, не оглядываясь, полетела по Невскому вниз, в сторону Гостинки. И все-таки успела услышать у себя за спиной каменное: «Ну и зря!»

Эта коротенькая фраза не отпускала ее до конца дня, да и дальше, много дней спустя, она иногда всплывала в памяти, как большая мертвая рыба.

– Просто сделала глупость! – в голосе Льва Палыча слышалась досада: он не любил проигрывать.

– Я сам нэ рад, что выиграл! – грузинский акцент, с которым Гия пытался бороться, выдавал волнение. – Вот она, девушка, которая не ведется на деньги, но она ушла! Она есть в этом городе, но она не достанется ни Вам, ни мне....

– И думаю, в этом нам как раз повезло. – Лев Палыч устремил на Гию свой взгляд древнего ящера. – От девушек, которым не нужны деньги, надо держаться подальше. Ты вот думаешь, что это скромница, а это гордячка. Ты думаешь, ей ничего не нужно, а у нее аппетиты побольше,

чем у валютной шлюхи. Та возьмет твои деньги и успокоится, а эта – нет, эта не успокоится, пока не получит тебя всего, с деньгами, с делами, с мыслями, со всеми потрохами.

Гия только чуть дернул в ответ головой – то ли в знак согласия, то ли чтобы скрыть случайно и не к месту мелькнувшую на лице улыбку. Он был молод и еще не боялся любви.

АЛЕКСЕЙ **ШОРОХОВ**

Победа пахнет фиалками
и напалмом



Победа пахнет фиалками и напалмом

(повесть)

Глава первая

ВСТРЕЧА

Звонок Вертакова наделал, надо признаться, немалый переполох в нашей семье: во-первых, потому, что позвонил он накануне Нового года, то есть в самую, как вы понимаете, горячую приготовительную пору, во-вторых же, более долгожданного гостя за нашим столом и представить себе было нельзя. Евгений Николаевич был давним другом нашей семьи, убежденным холостяком, в прошлом – кадровым советским офицером, прошедшим чистилище Афганистана. После развала страны и армии служивший на территории Украины Вертаков присягать новоявленной независимости отказался, сославшись на то, что еще со школьных пор терпеть не может народную самодеятельность и любительские спектакли с переодеваниями, и хотя его клятвенно уверяли, что шаровары носить не придется, начальник штаба мотострелковой бригады и полковник Советской Армии Евгений Николаевич Вертаков сказал что-то в том духе, мол, «честь имею» и покинул бывшую братскую республику. Что он имел в виду, говоря о чести, его заместитель, принявший руководство штабом, не

понял, однако, по словам Вертакова, уже через несколько месяцев этот седеющий парубок категорически «москальской мовы не размовлял», а о НАТО говорил не иначе как с придыханием.

Боевой офицер и полиглот, получивший к тому же блестящее образование в Академии имени Фрунзе, Вертаков не затерялся на пространствах Эсенговии и в пору нашего знакомства сотрудничал по найму в составе миротворческих миссий ООН. Работа эта была хоть и хорошо оплачиваемая, но, мягко говоря, довольно беспокойная. Что, впрочем, как нельзя лучше соответствовало его беспокойному духу.

В этот свой приезд в Москву он вернулся из Сьерра-Леоне. К стыду нашему, о существовании этой африканской страны до его отъезда туда мы и не догадывались. После же того, как Вертаков несколько раз позвонил нам оттуда, узнали о ней и уже более осмысленно слушали выпуски теленовостей. Тем более что имя этой маленькой страны на западном побережье Африки в последнее время звучало довольно часто – там было беспокойно, как, впрочем, и везде, где до этого приходилось работать Вертакову.

* * *

– Сейчас-сейчас, не торопитесь, еще рано, – умоляла моя жена Валя, глядя на секундную стрелку курантов, – все! Ну, давайте же, Евгений Николаевич!

Раздался выстрел шампанского, звон бокалов, началась вся та милая новогодняя бестолочь, которая одна только и делает необыкновенно чудесными эти ночные часы. После всех дежурных тостов наступило время Вертакова, рассказчик он был изумительный.

Он рассказывал про свое полугодовое пребывание в Африке (в этот раз он там был в качестве начальника службы

Безопасности миссии ООН), про гражданскую войну, которая уже долгое время идет в этой несчастной стране, про повстанцев и их недавнее наступление на столицу Сьерра-Леоне город Фритаун, про эвакуацию миссии в соседнюю Гвинею и про многое другое.

Вдруг Евгений Николаевич резко встал и подошел к пульта от телевизора, начинался добрый советский фильм с Евстигнеевым и Леоновым.

– С вашего разрешения я переключу? – спросил он нас.

– Да, разумеется, Евгений Николаевич, чем только он вам не угодил?

– Дело не в нем, просто я с некоторых пор не могу смотреть старые советские фильмы, – сказал он, и немного смутившись, добавил: – Слезы наворачиваются.

Такое признание от человека, сделавшего войну привычным местом своей работы, было поразительно. В наступившей тишине он, будто только что вспомнил, сказал:

– Кстати, очень интересная история случилась со мной уже после нашего возвращения во Фритаун, после того, как нигерийские войска его освободили.

Повстанцев отбросили на несколько десятков километров, и, в принципе, уже можно было бы возвращать миссию в Сьерра-Леоне, но, помня о той фантастической скорости, с какой месяц назад повстанцы взяли Фритаун, наше руководство решило направить в страну группу военных наблюдателей, чтобы на месте уже определить степень опасности. Ооновцы вообще к вопросам безопасности подходят очень и очень тщательно. Разумеется, как руководитель службы Безопасности полетел и я.

Когда, подлетая к Фритауну, мы приблизились к поросшему джунглями берегу Сьерра-Леоне, ощущение было то еще: в полосе прибоя, покачиваясь на волнах, плавали трупы. «Зеленка» молчала, но того и гляди пулеметной оче-

редью или зенитной ракетой встретят. К счастью, переносных комплексов у них, как выяснилось, не было вообще, а насчет пулемета – Бог миловал. В общем, сели.

План был такой: особенно не доверяя командованию «Экомога» (защищавшие законное правительство войска Содружества стран Западной Африки, в основном нигерийцы), бодро рапортовавшему о «полном и окончательном» разгроме повстанцев, выехать на передовую и уже там, в непосредственной близости от места боевых действий, выяснить, насколько «окончателен» успех правительственного контрнаступления.

Законсервированные в спецхранилище джипы миссии, к нашей несказанной радости, уцелели, видимо, руки у повстанцев до них не дошли. Поэтому уже на следующий день на двух мощных джипах «Тойота Фор-Раннер» мы направились в расположение 22-й Нигерийской бригады, теснившей повстанцев на востоке полуострова. Я с нашими милобами (сокращенное от английского *military observers*, то есть «военные наблюдатели») ехал на первом джипе, а на втором ехали солдаты охраны, выделенные нам «Экомогом».

Командовал бригадой полковник Акпата, давний знакомый одного из наших наблюдателей Джерри Ганза. Они познакомились в сходной ситуации несколько лет назад: Ганз тогда работал в ооновской миссии в соседней Либерии, а Акпата со своей бригадой там же умирал местных мятежников. Поэтому теперь встретили нас в бригаде как родных, нечего было и думать в тот же день отбыть обратно. Акпата закатил нам если не царский, то весьма и весьма внушительный для военно-полевых условий ужин, как водится в малярийном климате, с обильными возлияниями. Устав от постоянного напряжения, неизбежного в такой ситуации, да еще и хорошенько огрузившись джином,

расслабились мы, что называется, по полной программе. И Акпата, как и большинство нигерийцев, довольно прилично говоривший по-английски, рассказал нам массу интересного о положении на фронте и реальном соотношении сил.

А между прочим еще и вот о чем. Я вам с Валеёй уже рассказывал, что вся эта заваруха происходит в Сьерра-Леоне по одной простой причине: алмазы. Господь столь щедро одарил этот кусочек суши драгоценными камушками, что очень и очень многим это не дает покоя. Кимберлитовые трубки там выходят на поверхность, то есть простой лопатой, как у нас картошку, там выкапывают бриллианты.

Да-да, Валечка, не вздыхай – именно так. Поэтому известная фирма «Де Бирс», контролирующая добычу алмазов практически на всем земном шаре, очень заинтересована, чтобы там не смолкали выстрелы. Камушки-то в обмен на оружие практически за бесценок идут, поэтому, пока правительство воюет с повстанцами, алмазные поля принадлежат... «Де Бирсу», а охраняют их белые наемники со всего, извиняюсь за каламбур, белого свету. Эти же белые наемники зачастую воюют и среди повстанцев – в качестве инструкторов.

Труп одного из них нашли накануне нигерийцы, и кто бы, вы думали, это оказался?

...При первом же взгляде на то, что Евгений Николаевич достал из внутреннего кармана пиджака, у меня сжалось сердце: этот простой солдатский жетон с номером «АМ – 91 663» я уже видел один раз в жизни. Несколько лет назад. На шею у бывшего моего однокурсника и друга.

– Боже мой! Вовка... – Я налил себе коньяку в пузатый стакан из-под сока – почти до краев – и молча выпил. Вот и встретились...

Глава вторая

СТУДЕНТЫ

В город моего детства он приехал поступать из какой-то архангельской глухомани. Практически во всем, кроме литературы, Вовка был ни в зуб ногой, поэтому выбор факультета – литературного – оказался столь же прост, как и главная причина поступления в институт: чтобы в армию не идти.

Почему именно в наш областной пед, трудно сказать, но то, что ближе ничего не было, это он, разумеется, врал, и врал не краснея. Скорее всего, просто именно отсюда началось Вовкино покорение мира.

Шло самое начало перестройки, и наша студенческая дружба крепла не на зачетах и экзаменах, а в боях у «стекляшек» за право отоварить талон на водку. Здесь Вовка оказался незаменим: будучи длинным, как палка, и точно таким же худым, он был идеальным средством для приближения к вожделенному окошку выдачи и транспортировки оттуда бутылок по головам всей остальной очереди. Именно в этом качестве с деньгами и талонами мы его забрасывали к окну и уже с бутылками за длинные ноги вытаскивали обратно.

Объяснить это тем, кто не жил тогда, невозможно, особенно нынешней молодежи, привыкшей к чудовищному изобилию спиртного на каждом углу. Но ей и вообще многого объяснить невозможно, хотя, глядишь, проживут и не такого насмотрятся.

А тогда пили много, причем каждая студенческая попойка становилась чем-то вроде праздника победы, потому что перед этим всегда приходилось выдержать бой, нередко с самым настоящим кровопролитием.

По доброй традиции пединститутов молодых людей на литературном факультете было гораздо меньше, чем деву-

шек, поэтому если уж с водкой и в стране, и в городе были проблемы, то во всем остальном мы как сыр в масле катались. Понимая под этим не всякие там дефицитные шмотки, а самую насущную в восемнадцать лет часть нашей жизни – ее прекрасную половину.

И несмотря на то, что женская составляющая наших гулянок постоянно обновлялась, мужской ее костяк сложился и выкристаллизовался довольно скоро – к концу первого курса он был уже монолитен и каноничен.

Это было самое блаженное время нашей студенческой жизни. Заумные «ботаники», а также все немощные духом и телом отсеялись, и уже весь остальной курс знал: если во время лекции дверь в аудиторию открывалась с ноги и в проеме на мгновение возникала белобрысая Вовкина голова, то в самом непродолжительном времени и под самыми, конечно, благообразными предложениями аудиторию покинут и остальные «олимпийцы». «Олимпом» у нас называлась запасная лестница на крышу, которая вся в целом служила местом для курения, а верхний ее, самый поднебесный пролет, собственно «Олимп», посвящался целиком и полностью только одному божеству: Бахусу или Вакху. В зависимости от того, «бухали» еще там или уже переходили непосредственно к вакханалиям.

Меня еще и сегодня поражает та мудрость, с которой преподаватели наши и сам ректор все это терпели: ведь из всех из нас вышли в целом неплохие люди, хотя, если не ошибаюсь, именно в учителя практически никто и не пошел.

Тем не менее все профилактические меры, вплоть до угроз закрыть запасную лестницу, предпринимавшиеся время от времени институтским начальством, носили более пропагандистский, нежели карательный, характер и сводились в конечном счете, к недопущению совсем уже панибратства со стороны нас, будущих педагогов, в отношении к своим

наставникам. Я думаю, вряд ли ошибусь, предположив, что и они, наши препода, были связаны той же «олимпийской» тайной со своим таким уже тогда далеким студенческим прошлым.

* * *

С нами, вчерашними десятиклассниками, на первый курс поступили и несколько ребят, уже отслуживших в армии. Один из них, спецназовец Чика, или официально Андрей Чикин, служивший в знаменитой дивизии имени Дзержинского, прошел огонь и воду подавления беспорядков в Сумгаите и Тбилиси, штурм Сухумского изолятора и многое другое, что для нас, последних могикан безоблачного советского детства, находилось еще за гранью вероятного. Тем не менее именно рассказы Чики, ставшего едва ли не душой всей компании, с одной стороны, лучше всякого еще только-только входившего в нашу жизнь Голливуда рисовали перед зачарованными юнцами бесхитростные картины счастливой жизни крепких парней с автоматами в руках, с другой же стороны – и за это ему огромное спасибо – рассказы эти разоблачали ту чудовищную ложь об армии, что именно в те годы обвально хлынула в души граждан великого тогда еще государства.

Так или иначе, но место культа знаний в нашей жизни постепенно занял культ силы, а термины языкознания и литературоведения по-интеллигентски поспешно уступили место названиям тех или иных ударов в восточных единоборствах и маркам автоматического оружия. Наверное, это могло тогда показаться частью совершенно естественной для юности воинственной бравады, и кто бы знал, что это – на-долго.

Студенчество наше сколь лихо началось, столь же лихо для многих и закончилось, и с разницей в год-полтора прак-

тически всех «олимпийцев» судьба, как пробки из шампанского, повывстреливала во взрослую жизнь, каковой тогда для всех нас оказалась армия.

Уж не знаю, насколько это можно назвать «везением», но моя «армия» закончилась очень быстро – острым приступом язвы двенадцатиперстной кишки, комиссовали меня прямо из учебки. Обратное в студенчество тоже влиться не удалось, потому что, пока я собирался составить гордость и славу внутренних войск, мое семейное положение «на гражданке», к немалому моему удивлению, стало меняться в сторону скорейшего отцовства, и обещание дожидаться любимого из армии у моей будущей жены получило самые неожиданные гарантии. Поэтому уж кто-кто, а Валька моему скоропостижному освобождению от почетной обязанности обрадовалась искренне и просто, невзирая на всю двусмысленность такой радости. В общем, хлеб насущный, а также детское питание насовсем отделили меня от догуливавшей свои последние деньки «олимпийской» вольницы.

А там приспели перемены работы и места жительства, «перемены» вообще, когда время кончилось и наступили времена. И оказалось, что отыскаться во «временах» гораздо сложнее, чем в многомиллионной Москве...

Глава третья

«ДИКИЕ ГУСИ»

Был солнечный, с блеском мокрого асфальта и наивной синевой апрельского неба московский день. Мы гуляли с сыном в парке возле нашего дома, он время от времени убегал и, скрываясь из виду, с каждым разом возвращался все грязней и грязней. Я догадывался, что потомство мое, по

всей видимости, «становится на крыло» и в прямом смысле учится летать. В этом наблюдении было немало грустного: вот-вот он совсем оперится, первым делом отбросит надоевшую вязаную шапочку, а потом и все надоевшее, в том числе и эти наши совместные прогулки. И куда его понесут затем легкие, одним лишь родителям видные крылья? Бог весть...

Так или иначе, но «птичья» тема не покидала меня, готовые образы и сравнения услужливо возникали в голове, и, честно говоря, я даже не удивился, когда, присаживаясь на влажную еще парковую скамейку, увидел в руках у сидевшего на ней парня журнал «Дикие гуси».

Впрочем, еще раз прочитав заглавие, я уже внимательно всмотрелся в своего соседа: это был невысокого роста коренастый парень лет двадцати пяти, он не разглядывал обвязанных пулеметными лентами (и только) глянцевого красота на разворотах, не изучал с видом знатока оружейные новинки, его интересовали небольшие объявления на последних страницах. Их он подолгу прощупывал взглядом и, казалось, старался вычитать что-то между строк.

Очередная отлучка моего чада явно затягивалась, и когда я, проискав его какое-то время и перехватив уже на берегу огромной лужи (на смену «летней» шла «морская» романтика), вернулся на скамейку, парня там уже не было...

* * *

Об этом журнале, русском варианте «Солдата удачи», рассказал мне Вовка. Во время нашей последней встречи. Самой последней, как оказалось...

От кого-то из наших общих институтских знакомых он узнал мой московский телефон, и вот спустя семь лет после того, как мы с ним виделись в последний раз (кстати, на проходах в армию одного из последних наших «олимпийцев»),

он объявился в первопрестольной, о чем тут же радостно известил меня по телефону.

В Москве, как выяснилось, он и раньше бывал часто, «приезжал погулять»... Правда, в тот раз гулянье у нас с ним не заладилось – у моего малыша обнаружили круп, он температурил и задыхался. Поэтому мы немного посидели с Вовкой на кухне, а потом он и сам, провожая взглядом невыспавшуюся и замотанную Вальку, убирающую со стола, засобиравшись и, как водится, наврал, что ему еще куда-то нужно. Причем врал он все так же, будто и не было этих страшных лет, щуря свои честные, пронзительно синие глаза.

Что Вовка мне рассказал в тот приезд? То, что я уже и раньше слышал о нем, – что после дембеля он уже несколько раз устраивался служить по контракту, что деньги хорошие, только платят их не пойми как, да еще и норовят недодать, что надоело ему работать (он так и сказал «работать») здесь. Спрашивал меня про журнал «Дикие гуси», а так как я не знал, то заодно и просветил, что это журнал для наемников и что через него можно завербоваться куда-нибудь «на хорошие бабки». Странно, но он совсем не изменился, хотя по тогдашним нашим семейным обстоятельствам у меня и не было времени особо в него вглядываться, но, по-моему, так оно и было: Вовка как Вовка.

Вот, пожалуй, и все, что я помню о той нашей встрече, ничего необычного, разве что он на полном серьезе несколько раз назвал себя «рейнджером» да жетон этот на груди показал. Я еще тогда спросил: «А что же крест не носишь?» Но Вовка только рукой махнул...

Все это я сбивчиво и рассказал в новогоднюю ночь за столом, Валя уже ушла спать, мы с Евгением Николаевичем сидели одни.

– Ты смотри, – сказал Вертаков, – как мир тесен! А я ведь специально тебе все это приготовил.

Выяснилось, что кроме жетона он привез из Африки еще записную книжку – обыкновенную, в добротном кожаном переплете, с пятнами – скорее всего, от спиртного – на бумаге, с подплывшими кое-где записями.

– Я начал читать, ты знаешь, это очень интересно. Мне ее, как соотечественнику убитого, тогда же полковник Акпата и отдал вместе с жетоном. Книжку нашли у него в вещах. Был там еще и кожаный мешочек с алмазами, но его, как ты понимаешь, честные нигерийцы успели разделить задолго до нашего приезда. А это, я подумал, тебе будет интересно, может, и опубликуешь...

...Нет! Мир не только тесен, он еще и чудесен: ведь надо же было так перепутаться судьбам, самолетным трассам и узеньким тропам в джунглях, чтобы в эти первые часы третьего тысячелетия у меня в руках оказался последний привет от друга, частичка его души, неумелая летопись жизни! Все же Бог есть – ведь не может же так быть, чтобы от человека ничего не осталось здесь, на земле, кроме звонкого кусочка железа, грубого солдатского жетона! Вот и твои записи, Вовка, уж точно по Его воле отыскали меня на этом шарике, поэтому, если я в чем и не прав, публикуя их такими, какими получил, не взыщи – тебе оттуда, от престола Всевышнего, конечно, виднее.

И знаешь, я почему-то не сомневаюсь, что ты – там. Ведь суд Его – не наш, и мы не знаем, как будет судить Господь всех нас и это наше страшное время.

Из «записной книжки...»

Глава четвертая

ПРИБЫТИЕ

«...Решил начать записывать кое-что для себя. Как-то впервые стало страшно. А зацепиться не за что.

Случилось это вчера, по прилете в Абиджан. Городишко так себе, ни разу до этого не был в Африке, но так себе и представлял: пыль, жара и много негров. Удивило, что влажность большая. Поначалу даже дышать трудно, и, самое странное, жара от этого тяжелее, как-то облипает всего сразу, все равно, как если в нашу парилку заскочить в мокрой одежде...

Нас тридцать человек со всего света, почти полурота. По прилету – сразу в автобус, датчанин Аксель рванулся было к аэропорту прикупить себе джина, но его без дальних разговоров схватили и втокнули в автобус. Вообще сопровождающие с нами не цацкаются, оно и правильно: попробуй доведи весь этот сброд до места назначения, да еще незаметно. Вот ведь и мне с ними жить и воевать! Одно греет – получу камушки, и пошли все они!

Наших тут трое, хотя какие они «наши» – два хохла, бывшие УНА УНСО, и один казах да я, всего, значит, четверо. По-английски никто толком не шарит, вот и держимся вместе. Даже «незалежники» по-русски заговорили. Подумать только – лет пять-шесть назад в Абхазии они в меня, я в них стрелял, а теперь вместе, подстрелят кого, так еще тащить на себе придется. Хотя со мной они, думаю, нянчиться не будут, случись что – пристрелят, и всего-то делов. Еще и камушки к рукам приберут...

Странно, я их еще и в глаза не видел, а уже боюсь потерять. Какие они, камушки?

...Сейчас перечитал написанное – плохой из меня писатель, забыл, с чего и начинал... Нет, не камушки и не подельники мои испугали меня по прилету.

Нас тогда сразу в гостиницу отвезли, по номерам расселили – по двое в номер, ну, само собой, салоеды – эти вместе, а ко мне Замир (казах наш) прибился. И вот тут-то мы оторвались. Впервые, после Парижа. Накачались джином, только что из ушей не льется, и у Замира что-то переклинило, он и пристал ко мне: кто ты да кто ты? А он бывший капитан Советской, между прочим, Армии, а я лишь сержант... и к тому же Российской. Но дело не в этом – вот тут-то мне и стало страшно, потому что ничего о себе и сказать-то не могу. И даже не это страшно, а что не помню ничего – все слилось в какую-то одну сплошную черноту. Попробовал подсчитать, сколько воюю, и не смог. Накатил я тогда еще один стакан джина, послал капитана – коротышка он, а не капитан – и рухнул на кровать. А заснуть не могу, и сознание такое четкое, ясное, как перед боем. Слышу, уже и сосед мой захрапел во все свои тощенькие степные легкие, а у меня аж в глазах режет – уставился в одну точку и смотрю. Главное, и повернуться не могу, тело не слушается, как у контуженого. И так жутко, как никогда раньше не было: лежу как в гробу, ни рукой пошевелить, ни ногой. А вместо мыслей – один вопрос: что – всё? И только слышно: кондиционер шумит, да хохлы в другом конце коридора поют.

И так мне обидно стало, что ничего я этому узкоглазому ответить не смог, – ведь было, было. И девки, каких он у себя в степи и не видел, и крутые кабаки, и на тачке по ночной Москве... А сколько парней похоронил! Да сейчас хотя бы одного из них сюда, хотя бы Мишку, мы бы всех этих козлов построили!

В общем, пролежал я так до утра, провспоминал, как оно все начиналось. И слово себе дал: буду записывать – для

себя. Утром книжку вот эту на рецепшене купил, пять баксов, бешеные, кстати, здесь деньги.

...Вот так, до тридцати лет дожил, воевал, дважды ранен был, а только здесь, в этой долбаной Африке, понял, что такое страшно. Это когда уже джин не берет и темнота во-круг.

* * *

...Проснулся Замир, полез было ко мне с расспросами – послал его. Он меня боится, вша тыловая, всю жизнь в своей Караганде прозаведовал хозяйством, понесло его воевать на старости. Рассказывал мне: шурин его, брат жены, бывший секретарь горкома, а теперь аким, – местный князек, совсем зачморил его, вместе с женой его и чморили, ты, мол, не казах, ты с севера, а они – южане, настоящие казахи. Военный, говорят, так и иди воюй!

Вот и притащился сюда, пятый десяток разменял, а из автомата не стрелял ни разу, наемничек! Он один здесь такой, остальные – бандиты еще те. Взять хотя бы хохлов, эти уж наших, поди, не одного братка упаковали и в Абхазии, и в Чечне. Спрашивал, а они на мой жетон смотрят, мнутя, не воевали, мол. Боятся, что припомню, а что теперь припоминать – все одним миром мазаны.

Скоро снова повезут, Абиджан – только перевалка, отсюда – в Либерию, а уж из нее – на работу, в Сьерра-Леоне.

* * *

...Сейчас летим в самолете, впервые не трясет, решил еще малость записать. Сопровождающий уже подходил, спрашивает, что, мол, делаешь, – боятся Интерпола или хрен его знает кого. Тактику боя изучаю, ответил. Не поверил, но отошел, теперь косится. А пошли они все!

Мне в Африке начинает нравиться. Сегодня, когда выхо-

дили из гостиницы, впервые увидел, как здесь много ящериц! Они крупные, с нашу кошку, и пестрые, так и бегают по улице. Бабочек много, и тоже здоровые, пролетает над тобой – кажется, что солнце крыльями закрывает. Негры тоже интересные, наши их «блэками» называют, черными то есть. Относятся как к скотам. А мне они чем-то абхазов напомнили: все у них между собой братья и сестры, любой может другого остановить, просто пожаловаться на жизнь или спросить, кто такой, откуда. Живут на улице, даже спят многие на пороге хижин. Особенно мужики, так в одежде и дрыхнут на циновках.

Дороги здесь почище наших, сегодня, когда на самолет повезли, чуть не задохнулся от пыли: стекол в автобусе нет, и сам – времен второй мировой войны. Только теперь понял, почему у многих наших платки на шеях, думал, выёживаются, ковбои долбаные, а они, как только пылица началась, на лицо платки натянули, почти до глаз, и порядок! Эти уже не в первый раз сюда едут, особняком держатся, «деды» по-нашему...

Нет, хватит писать, тот сопровождающий о чем-то с другим шепчется, на меня смотрят. Случись что, еще крайним сделают, отморозки!

* * *

...Наконец добрались до места – это было что-то! Приземлились в Либерии – и снова в автобус. Больше всего мне нравится в Африке таможня, это как у нас на Кавказе. Ведь прибытие трех десятков белых людей здесь не просто событие – шоу, все сбегаются посмотреть. Когда и один-то белый появляется на улице или на рынке, все головы поворачивают и смотрят на него. А тут – тридцать!

Но, я смотрю, у них давно тут все схвачено: мы даже таможенный контроль ни разу не проходили, только при-

земляемся, сопровождающий идет в аэропорт, дает, сколько надо, полицейскому чиновнику, автобус подъезжает прямо к самолету, грузимся, и все – была полурота белых и нету!

Так и в этот раз от аэропорта долго ехали на запад, ориентировались по солнцу. Потом вдруг засвежело-засвежело, и показался какой-то приморский городишко, наподобие Абиджана, только еще задрипанней, уже весь одноэтажный. Порт Робертс – так, по-моему, его называли сопровождающие. И вот, когда подъезжали к порту, открылась Атлантика. Странно, но я такой себе ее и представлял – вся синяя-синяя до самого горизонта. И все-таки отличается от моря, Черного к примеру. Видел я его с гор под Сухуми – нет, на море теснее как-то. И зеленое оно там, в Абхазии... А тут одно слово – Атлантика!

Но командирам нашим не до красот было, погрузили нас на паром под либерийским флагом, зацепили буксиром – и началось. Плыли одуряюще долго, где-то полдня, почти до вечера. Крепко штормило. Всех без исключения по нескольку раз в эту Атлантику вывернуло от души. Не знаю, как там служат морпехи, но я бы не смог. Некоторые пробовали накачиваться джином – не помогало. В общем, когда к берегу пристали, в пароме была не полурота солдат, а три десятка половых тряпок, только на то и годных, чтобы ими палубу драить, какую они сами же и облевали. «Деды» были не лучше нас. Как потом выяснилось, отрабатывался абсолютно новый маршрут, прежние были по суше и гораздо короче.

Выгрузились кое-как, а нас на берегу уже смена ждет. Эти отпахали свое, уже с камушками в мешочках, кто домой, кто передохнуть и развеяться в соседней Гвинее, там, говорят, поцивильнее – курорты, белые девочки. В общем, мы – сюда, они – отсюда. Что поразило, «дембеля» эти, не здороваясь,

молча прошли мимо нас на паром, только нескольких из них, знакомых, видно, сопровождающие окликнули, перекинулись с ними парой односложных фраз – и все. Веселенькое дело! Нет, хорошо, что я в книжку эту кое-что записывать начал, а то ведь и свихнуться среди них в этом малярийном климате недолго.

Кстати, Замир тоже заметил, что я пишу что-то, расспрашивать начал. Отбрехался, сказал, письма родне пишу. Это он понял – у них там родни по сотне человек, хорошо тебе, говорит. Я вижу, сейчас в жилетку плакаться начнет про жену свою змеюку, отшил его. Неприкаянный он какой-то, случайный среди нас, приехал доказывать что-то кому-то. Детей нет, жена гуляет. Ему и денег-то не надо, пулю он здесь, что ли, ищет? Хрен его знает...

Потом три дня шли джунглями, тоже экзотика – сыро, как в заднице, и все за тебя цепляется. У меня на второй день нос потек, это на такой-то жаре! Цивильное мы там же, на берегу, с себя снимали, переоделись в камуфляж, разгрузки. У них там целый схрон устроен. Оружия пока не выдали, только ножи боевые для консервов. Обеспечение хорошее, одежда, ремни – все новое, китайское, правда. А вот с обувью я прямо обалдел: даже наши ботинки «Спецназ» летние были – на выбор. Но я взял «НАТО» летние. Мы их в Чечне с боевиков первым делом, с теплых еще, снимали – иные и по полтора года отнашивали. А наши берцы уже через пару месяцев лазанья по горам летели. Обувь в нашем деле после автомата самое главное, а здесь еще и противомоскитные сетки. Без них кранты, мало, что едва всего не сожрут, так еще и малярию подцепишь. А их в Африке десятка два разновидностей, и средство только одно – джин и противомоскитные сетки.

Так что на себе мы несли только жратву, фляги с водой

и джином, палатки и сетки. И все равно шли очень медленно, буквально прорубались. И только на третий день к вечеру вышли на «плантации» – так у них алмазные поля называются. Здесь нам и служить полгода, если ничего не случится.

Глава пятая

В ЛАГЕРЕ

Пришли мы уже почти в темноте, разбрелись по землянкам и повалились на топчаны замертво. Я проспал четырнадцать часов, встал – солнце уже в зените. Весь лагерь под маскировочными сетями, на деревьях, по периметру, оборудованы вышки с пулеметами. Сразу предупредили – самим из лагеря не выходить, везде на подходах стоят растяжки. В общем, все как и в Чечне. Только зелени больше.

В обед нас построили, пришел командир Лагеря – полковник Грэм. Всех перед строем вызывал по списку, коротко оглядывал, некоторых о чем-то спрашивал, «дедам» просто кивал головой. Меня переспросил: «Русский?», я ответил: «Да, сэр».

Похоже, что сам он перенес контузию, – левая щека иногда подергивается, поэтому поначалу кажется, что он нервничает. Но это не так. Командир мне понравился сразу, кадровый – это видно. Тогда он нам только и сказал, что наша основная работа – смотреть за «блэками», которые роют алмазы, и охранять лагерь. Война – по желанию. Я сначала не понял, как это, а потом узнал: кто хочет повоевать на стороне мятежников – отдельный договор, ну и сверхурочные, разумеется.

До нашего прихода в Лагере оставалось не больше де-

сяти – пятнадцати человек, остальных мы как раз и сменили. Сколько здесь таких лагерей – не знаю, но думаю, что не меньше десятка. Правда, все они гораздо восточнее находятся. И разбросаны по джунглям – дай бог как! Но связь налажена, тропы пробиты, и если где-нибудь алмазные копи попытаются прибрать к рукам мятежники или правительство, то на защиту «плантаций» наши хозяева в нужном месте смогут выставить до батальона прекрасно вооруженных белых наемников. А возникнет надобность – в течение нескольких дней из Европы перебросят еще столько же.

Учитывая, что практически везде это джунгли, тяжелую технику сюда не подтянуть, артиллерию тоже. А минометы у нас и у самих вплоть до тяжелых 82-миллиметровых есть. Поэтому сама попытка правительства или тех же мятежников вернуть себе алмазные поля в ближайшее время обречена на провал, они это понимают и не суются.

* * *

...И потекли недели нашей службы. Первые дни ушли на пристрелку автоматов, ну и выбор же у них – охренеть! Все для ближнего боя: АКМы под патрон 5,45; УЗИ; М-16. Посмотрел клеймо производителя на «калаше» – был уверен, что Китай. Как же! Родные, «ижмашевские», и это за десятки тысяч верст от России! Потом уже узнал, их сюда, так же как и «эфки» (гранаты «Ф-1»), и «эсведешки» (снайперские винтовки «СВД-2»; «СВД-5 »), и еще кучу всякого нашего вооружения «незалежная» Украина сбаврила.

Народ оказался все стреляный, разобрали в основном «калаши». Начались дежурства – одни на вышках, другие на копях, странно, но между нами совсем не проводят боевого слаживания, видно, считают, что и так все всё умеют...

Глава шестая

ПЕРЕД ШТУРМОМ ФРИТАУНА

...Между тем жизнь моя за эти две недели резко изменилась. Прочитал сейчас последнюю свою запись – чудило, надеялся отсидеться до конца контракта в Лагере: присматривай себе за «блэками» да потягивай джин! Не вышло. Хотя у многих выходит. Но это их проблемы.

Сейчас у нас перерыв между боями, готовимся штурмовать Фритаун, и, пока мой черный батальон тренируется под чутким руководством Замира, можно и позаписывать. За это время много чего набралось...

Вот написал и подумал: а для чего же ты все-таки пишешь? Ну, то, что для себя, это понятно. А главное – главное? Не знаю, может, чтобы не разучиться по-русски... Да и чем еще здесь заняться, кроме войны: телевизора нет, ничего нет, только и дел, что пей этот проклятый джин. Так тут и моего здоровья не хватит!

Самое интересное как мы оказались на войне. Ведь вот те же хохлы сидят сейчас на плантациях и в ус не дуют, мародеры хреновы! А Замир не смог – я его даже после того случая зауважал. Дело было уже во вторую неделю наших дежурств, у меня как раз накануне была ночь на вышке, поэтому я отсыпался. Да еще и снились Чечня, штурм Совмина, выстрелы, поэтому я долго не мог спросонья сообразить, что стреляют-то рядом. Ну, схватился, конечно, разом – в ботинки, «калаша» с собой и на улицу. А там все тихо так, мирно. Только на выходе из Лагеря столпилось несколько охранников, Грэм. Смотрю, среди них и наши бандеровцы. Подошел поближе – негр лежит, уже остывает, и Михась (это тот хохол, который постарше) что-то полковнику объясняет, а Грэм вроде и не слушает, только что-то очень короткое бросил и показал рукой ему на живот.

Гляжу, Михась, недолго думая, выхватил тесак, задрал черному футболку, вспорол живот и давай там чего-то ковыряться, даже на колени присел, чтоб сподручнее было. И все стоят, ждут, чем дело кончится. Вдруг младшой, Петро то есть, качнулся в сторону, и все, что у него было внутри, полезло наружу. А эти стоят хоть бы хны, датчанин Аксель даже сдохмил про молодого, и все вокруг заржали.

Подошел, спрашиваю: что, мол, чучело делать собираетесь? Объяснили, что Михась сегодня дежурил на выходе из Лагеря, и когда этот рабочий возвращался в деревню (он чуть-чуть запоздал), хохлу примерещилось, что он несет за щекою бриллиант. Михась его остановил и опять же, как потом объяснял, ну ясно увидел, что негр камешек проглотил. Тут он его и пристрелил.

Никакого камушка, разумеется, не нашли – просто этот козел решил власть свою над черными попробовать. А может, и примерещилось спяну, они же там не просыхают, вояки! В общем, когда камушка не нашли, Грэмм сказал, что все «о'кей», только «блэкам» признаваться нельзя. «Белый всегда прав». На следующее утро рабочим так и сказали, что их товарища пристрелили при попытке украсть бриллиант и что так будет с каждым, кто попытается обмануть белого человека.

Когда вернулся в землянку, навстречу – Замир с побелевшими от ужаса глазами (он все видел). Ничего ему не сказал, но когда он узнал на следующий день, что я ухожу воевать, попросился со мной. Все-таки он мужик, не то что эти...

* * *

Вообще-то к белым здесь отношение особое, мне поначалу даже в кайф было, потом привык, а те из наших, что из Европы или из Штатов, так у них как будто так и надо. Когда я на следующее утро попросился у Грэмма к повстан-

цам, он только и спросил – из-за «блэка»? Я ответил, что устал без войны (а это правда), но он все равно не поверил и сказал, что все русские в душе придурки, хотя и хорошие солдаты, что они, англичане, уже триста лет имеют Африку (или владеют Африкой – по-английски это одно и то же) и черных знают насквозь. Мне даже показалось, что он не хотел отпускать меня, но они ведь такие, надуются и виду не покажут. Интересно, а что он Замиру сказал?..

Нет, я, честное слово, был уверен, что здесь интереснее будет: Атлантика, шикарные пляжи, черные женщины... И что же? Об Атлантике лучше и не вспоминать, на пляжах, говорят, противопехотных мин больше, чем медуз, а женщины...

Не знаю, мне с ними всегда не везло, что ли, ну в том, нормальном смысле – они всегда раздевались раньше, чем я успевал их захотеть. Сначала по пьянке, затем из-за войны – какая нормальная баба пустится кататься с контрактником по ночной Москве? Никакая...

Но, когда летели сюда, думал, конечно, о черных женщинах – какие они... там, похожи ли на наших? И что это за «дикая африканская страсть» и все такое? Поначалу, до и после марш-броска, не до того было, а как прибыли в Лагерь, поосвоились да в деревню за продуктами ходить начали, смотрю, то один наш чернокожую красавицу из буша (так здесь «зеленка» называется) в лагерь приведет, то другой...

Я у них – как, мол, и мне? Все очень просто, говорят, и показывают на камешки. Спрашиваю: неужели любая? Смеются в ответ, говорят, для них с белым человеком и бесплатно за счастье.

В общем, в одну из следующих вылазок в деревню встретил я свою «африканскую страсть» – у колодца стирала что-то в долбленном из цельного дерева корыте. По-моему, поняла все сразу: у нее во время стирки лямка на старенькой,

выцветшей ее майке съехала, я туда откровенно и устался. Поднялась, вытерла одним движением и пот со лба, и руку об волосы, улыбнулась и сказала: «Луис, сэр». Представилась, значит, ну и я тоже, сказал, что она красавица. Короче, когда до цены дошло, она как-то просто и весело сказала – сэр, мол, не обидит. А нищета у них жуткая, поэтому каждый белый – сэр и, само собою, богач...

Я ей сказал, чтобы приходила вечером ко входу в Лагерь, и время показал, когда солнце в их деревне сядет за пальмы. Вечером гляжу, еще и солнце не зашло, а она уже возле часового топчется – в той же серенькой маечке, только бусы из какого-то черного не то дерева, не то кости нацепила. Я Замира-то заранее уснул к хохлам, пусть там «писни про вильну Украйну послушает», а Луизу в нашу землянку провел...

Ещё тогда обратил внимание, что она все время жует что-то и иногда улыбается-улыбается – и вдруг глаза закатит. На дурочку вроде не похожа, а там кто его знает... Да, ну а потом, как до дела дошло, смотрю, она трястись начала, да так вздергивается, что мне страшно стало, и то закатит глаза, то уставится прямо на тебя. А когда у нее кровь изо рта потекла, тут я вообще струхнул. Ни хрена себе, думаю, «африканские страсти»! Ощущение – будто она перед костром в этих своих бусах мечется и тебя вот-вот по горлу полоснет в жертву каким-нибудь лесным своим духам!

В общем, выставил я ее, двести леоне местными деньгами дал, иди, говорю, поостынь, больше не приходи. Такая вот экзотика. Потом мне объяснили, что это не кровь, а сок колы (коры местного дуба), здешний наркотик, его-то она и нажевалась для «страстности». Ну и с духами тоже неясно – ведь этот свой черный амулет она так и не сняла, майку скинула, а бусы так и болтались, охраняли ее... Интересно, а меня-то что охраняло?

А самое интересное – на следующее утро зовут меня на

КПП, говорят, «блэк» какой-то тебя спрашивает. Думаю, что такое – никаких знакомств с черными не заводил, прихожу – и впрямь стоит какой-то, увидел меня и давай кланяться, улыбаться: спасибо, сэр, это большая честь, сэр, и для меня, и для моей жены. Вы очень щедрый белый, сэр, Луис очень довольна, она придет еще, сэр.

Оказалось, это ее муж. Не столкнись сам, ни за что на свете не поверил бы, что так бывает. А здесь это запросто – муж или старший брат приходят и благодарят, что ты пользовался их женой или сестрой, и просят взять их к белому человеку пожить (у нас были в Лагере такие, что подолгу жили с черными девушками), видя в этом прямую выгоду: и кормить не надо, да еще и денег подзаработают.

Короче, «любовь» моя и на африканской земле получилась какой-то странной...

Глава седьмая

ПИСЬМО СЕСТРЕ

Здравствуй, Стрекоза! Когда почтальон дядя Миша постучит тебе этим письмом в окно, у вас уже, наверное, будет снег. Так что считай, что это тебе – кусочек жаркого африканского солнца.

Служба у меня идет хорошо, стрельбы никакой, знай себе охраняй алмазные копи. Зато охотиться ходим часто – на слонов, леопардов и носорогов. Если пропустят на таможне, привезу тебе отсюда шкуру леопарда или носорожий рог.

Ребята подобрались хорошие, много наших – с Украины, из Казахстана...

Знаешь, Наташка, давно хотел с тобой поговорить, да все времени не было, поэтому послушай старшего брата сейчас. Я тут от нечего делать чуть было писателем не стал – по-

ловину записной книжки исписал «своими впечатлениями», так что, думаю, у меня получится написать и тебе как следует.

В последнее время мало сплю: душно, москиты гудят всю ночь, поэтому лежу и думаю. За эти ночи я много о нас с тобой передумал и вот что решил: во-первых, Стрекоза, ты девка уже взрослая, красивая, скоро школу закончишь, надо подумать и о будущем, поэтому не спеши с пацанами, не это главное. То есть гуляй, танцуй в клубе, но дальше – ни-ни. Нам с тобой, сестренка, нужно прорываться, а это как в бою. В жизни даже посложнее будет...

Тебе нужно учиться дальше, и не где-нибудь, а в Москве. Деньги у нас (я на твой счет положил, ты знаешь) есть, еще и отсюда малость привезу (а кому-то и бриллиантов, как обещал!). Поэтому решай уже сегодня: куда ты хочешь поступать? Хватит по соревнованиям со своей биатлоночкой мотаться, не бабье это дело – по мишеням стрелять, да и не кормешное! Сегодня образование нужно, языки. Главное, синеглазая, ничего не бойся, пойми: с деньгами, с хорошими деньгами мы всю эту вшивую Москву со всеми ее гнилыми потрохами купим, а не только высшее образование тебе.

А дальше... дальше надо будет определяться, сестренка. Мне ведь тоже надоело по свету мотаться, думаю, что это уже последняя командировка. Чем-нибудь займусь...

Вот только что с отцом делать – не знаю: по новой закодировать его, так сколько ж можно, все без толку. Говорят, в Москве есть крутые клиники, где за большие бабки даже самых последних доходят и наркошек вытягивают, может, и туда пристрою, посмотрим...

Главное – прорваться, понимаешь, Наташк. Я не знаю, как об этом правильно сказать, а только иногда кажется мне, что обложили всех нас по полной программе: поставили на выходах противопехотные мины, натянули растяжки, да еще и

снайперов по периметру, чтоб головы нельзя было поднять! Вот и батя...

Кто виноват в этом – жизнь, другие люди, наши правители? Меньше всего, ты знаешь, он сам... И жалко его, и тебе, маленькой, он жизнь поганит. Потерпи его еще, что-нибудь придумаем.

Взять хотя бы меня – уже четвертый десяток разменял, а во всем этом разобраться не могу, поэтому ты учись лучше, книги читай, чтобы у тебя в жизни смысла побольше было.

Пойми самое важное, синеглазая, что нам нужны не копейки, нет, это-то я понял, и даже не то, чтобы от нас отстали и оставили в покое, пойми, сестренка, – нам нужна Победа. А ты знаешь, что такое Победа? Вот я воюю уже восьмой год, а Победу видел только один раз – в 95-м году, в Грозном...

Мы тогда четверо суток не могли пробиться к зданию Совмина, где зацепились морпехи старлея Вдовкина. И ходу-то – десять минут по прямой, а не пройдешь – из подвалов, из люков, изо всех щелей лупят так, что голову не поднять.

И все же пробились, вот уже и Совмин перед глазами, пошли – и тут мой взвод отсекают от наших, откуда-то с верхних этажей в упор по нам заработал пулемет. Лежим, вжались кто куда – кто в воронку от снаряда, кто за бордюр, а я носом в клумбу. И слышу – наши соединились с морпехами, стрельба уже на этажах, а пулемет по нам все кроет и кроет, нос не высунешь. И вдруг он замолчал, и такая наступила тишина, что мне сначала показалось – контузило. Я трясую головой, гляжу по сторонам, вижу – ребята из моего взвода приподнимаются, сначала потихоньку, настороженно, а потом и во весь рост. А я только собрался встать, как смотрю – перед самым носом у меня фиалка, прошлогодняя, уже почти истлевшая, и так от нее сильно пахнет, ты себе даже представить не можешь. Помнишь, мама еще любила этот запах?

И так меня это поразило: все кругом разворочено, выжжено – а тут фиалка! Я лежу и чувствую, как к ее запаху примешивается, влетается в него другой – сладковатый, даже приторный запах напалма и выжженной земли. А парни мои уже закурили, стоят не пригибаясь, да и остальные наши вместе с морпехами выходят из подъезда. И ведь всем известно, что бородатых вокруг полно, что зыркают они сейчас на нас из своих щелей, из подвалов, что шипят что-то свое гнилое, пробираясь по канализационным каналам, уходя из города, но всем известно и другое, что ни одна сука сейчас по нам не выстрелит! Потому что мы задавили их, мы сделали это! И вот это, синеглазая, была Победа...

Потом ее у нас украли, я тебе рассказывал об этом, но она была – наша Победа...»

Здесь заканчиваются Вовкины записи, наверное, помешал бой. Может быть, последний...

Этого я точно не могу знать, зато другое мне представляется очень отчетливо: в час, когда Вовка отложил ручку и вступил в свой последний бой (по рассказам нигерийцев полковника Акпаты, он погиб от случайного осколка при общем, беспорядочном отступлении повстанцев), на другом конце земли был ясный, морозный вечер. Дверь одной из крайних изб глухой, заметенной снегами архангельской деревушки отворилась, и в облаке табачного дыма, покачиваясь, вышел на снег не старый еще, но здорово опустившийся, по всему видно – пьющий мужик. Он расстегнул штаны, чтобы справить малую нужду, и посмотрел вверх – колючие декабрьские звезды позванивали в вышине. И вдруг по всему небу прокатился как будто вздох – волны зеленого, красного, желтого задрожали над миром.

– Ишь ты, – сказал мужик, – рановато в этом году играет...

Он хотел сказать что-то еще, но тут его сердце сдавило такой непонятной, тягучей тревогой, что он, зачем-то оглянувшись по сторонам, воровато заспешил обратно. И только миновав темные замороженные сени и войдя в ярко освещенную, натопленную избу, он успокоился. Встретил пронзительно синие, вопрошающие глаза дочери, перевел взгляд на ухарскую, армейскую фотографию сына, подошел к столу, налил, но не выпил, а только совсем уже жалко, по-стариковски затрясся:

– И где его носит, беспортошного!

Дочь подошла к нему, взяла из вздрагивающих рук стакан, отставила подальше. И тоже посмотрела на фотографию.

...Я потом пытался разыскать их, чтобы отдать Вовкины записи, в Министерстве обороны мне даже помогли найти адрес, списаться с районным военкоматом. Но оттуда ответили, что Вовкин отец тою же зимой умер, а сестра, не закончив десятилетки и даже не продав избы, куда-то уехала...

* * *

А совсем уже недавно по телевизору показывали сюжет про Косово. Сам я начала не видел, меня ближе к концу Валя позвала – в ту пору я как раз заканчивал книгу по истории Сербии (моя давняя боль и любовь!), а на Балканах снова и снова лилась кровь. Мир потрясли очередные зверства исламских боевиков в Косово: свыше тридцати православных храмов было взорвано и сожжено, сотни сербов убиты, тысячи изгнаны с родной земли. И хотя это длилось там уже пятый год (о чем я в книге и писал), но долгожданные внимание и озабоченность «мировой общественности» вызвали, разумеется, не страдания сербов, а то, что албанским бандитам на этот раз под горячую руку попались несколько ооновских полицейских и миротворцев и кто-то из них даже погиб.

У нас с Вале́й были свои основания бояться таких известий – вот уже полгода, как Евгений Николаевич уехал в Сербию в качестве эксперта по проблемам безопасности от какой-то не то датской, не то норвежской гуманитарной миссии. Вертаков своим привычкам не изменял и в очередной раз «случайно» оказался там, где стреляют.

– Милый, ну скорей же – про Сербию показывают! – торопила меня Валя, но, пока я дошел, больше половины сюжета уже показали. – Про сербские анклавы в Косово, – выдохнула она и снова повернулась к экрану.

Камера показывала унылые, кое-где разрушенные дома сербов, обнесенные колючей проволокой дворы и, что просто-таки поражало контрастом, – улыбающиеся, без каких-либо следов страха, разве что только немного усталые лица молодых небритых мужчин с автоматами. К ним подходили старые сербские женщины в черных одеждах, с иссеченными временем, выгоревшими на солнце лицами – ни дать ни взять наши рязанские или же орловские старухи – и угощали бойцов молоком, яйцами, просто заглядывали в глаза.

Корреспондент рассказывал о местных отрядах самообороны, которые, уже давно не надеясь на помощь натовских вояк, по ночам защищали эти маленькие островки православной Сербии в разъяренном вседозволенностью мусульманском море.

– А правда ли, – спросил он у группы сербских ополченцев, – что среди вас есть и добровольцы из России?

Но сербы только заулыбались в ответ и стали рассказывать подробности ночного боя.

В это время в объектив камеры, показывавшей площадь, на которой сидели у костра ополченцы, попал молодой боец, он, видимо, только проснулся и неторопливо брел к своим, неся в руках снайперскую винтовку. При виде его сербы загудели и что-то взволнованно заговорили, указывая на каме-

ру. Он с удивлением обернулся, и меня буквально резанули пронзительно синие, уже где-то и когда-то виденные мною глаза. Вовкины глаза! От резкого поворота головы у ополченца немного сдвинулся берет, и из-под него выбились, вырвались на волю белокурые, немного вьющиеся длинные волосы...

– Надо же, – прокомментировал этот эпизод русский корреспондент, – и эта красивая сербская девушка вынуждена сегодня взяться за оружие, чтобы защитить своих старых родителей...

Я все еще не мог оторваться от экрана, хотя уже давно шли титры.

– Что с тобой, милый? – встревожилась жена. – Кто-то из твоих белградских знакомых?

– Нет, дорогая, видимо, показалось, – пробормотал я и ушел к себе.

Автор выражает огромную благодарность своим военным консультантам:

В. А. Азарову – подполковнику Советской Армии, воину-интернационалисту, осуществлявшему миротворческие миссии на территории Афганистана, Боснии, Республики Сербская Краина, Косово, Западной Африки. Кавалеру ордена «Красная Звезда», медали «За боевые заслуги» и многих других отечественных и иностранных орденов и наград. Начальнику службы Безопасности миссии ООН в Сьерра-Леоне с 1998 по 1999 год, автору замечательной книги «Записки миротворца».

В. В. Вдовкину – подполковнику Российской Армии, Герою России, участнику штурма Дворца Дудаева в Грозном в январе 1995 года.

АНДРЕЙ ШЕНДАКОВ

Солнечный ветер



Солнечный ветер

(краткие рассказы)

Засуха

Иду к берегам детства, где давным-давно, сидя на тёплом песке, удил рыбёшек – плотвичек и окуньков. Мои уставшие ноги опоила пыль-кудесница, исцарапал чертополох, красноволосый отшельник и опутала цепкая трава высотой до пояса. Дико льются шорохи между камней, под сухой ольхой да лисьими хвостами осотника ветер дымку вокруг лугов закручивает. Щёлкая, раскалённые жарой семена разлетаются во все стороны. Слюдяными крыльями-винтами стрекозы раскачивают душный воздух, задевая жалкие былинки и садясь на тёмно-коричневые гривы конского щавеля. Кусты вдоль дороги на корню погибли, не скинув ни единого листика.

Закрутил маревый поток косы горьких иссушенных трав, и пепельно-бежевой рысью-призраком набежала на меня мёртвая волна, въелась острыми клыками в голени, обхватила когтями колени и походную сумку: синева смотрит неподвижными глазами сквозь льяную даль и рваные сарафаны берёз.

– Не было на людской памяти столько огня и копоты в наших краях, точно земная ось повредилась, расшаталась без хозяйской, человеческой заботы. Того и гляди всё под

откос полетит вместе со всеми выдумками научными, теплоходами и ракетами... – твердит мне прохожий, тот, что не полез в траву, а по серой грунтовке пылит. Да и я вослед за ним – медленно, прислушиваясь: не огонь ли ползёт за мной?..

Нет. Ящерка прошмыгнула, да крупная, пятнистая, похожая на маленького варана.

– У моей соседки в этом году дыни и арбузы на грядках уродились, – хвалится мой попутчик, – а в Подмоскowie, я слыхивал, медузы в реках завелись... Скоро крокодилы из Африки приплывут!

– Если и приплывут, то наши рыбаки тут же их сетями побьют, – как от вымерших этим летом комаров, отмахиваюсь от его слов и поворачиваю к реке.

Впалые, исчерченные трещинами колеи шуршат под ногами, то ныряя в пологом овражке, то пересекаясь среди бугристых колдобин: месяца два назад, когда грозовые шквалы рубили под корень деревья, кого-то, видимо, занесла сюда нелёгкая. Я и сам чуть не утонул в здешней трясине шесть лет назад, а теперь – сушь, пыль, горят торфяники.

...С холма доносятся удары топоров по брёвнам, в лучах закатного солнца ярко, огненно блестят кресты монастыря, кричат мальчишки, прыгая с коряги в реку, а над всем этим ползёт невыносимая, удушливая засуха.

Иволга

Иволга плачет к дождю... Прижимается к земле трава, ветви черёмух клонятся над скамейками, секут их крупной дробью зелёных, неспелых ягод; ивы вплетают в игривые соломенные косы утиный пух, хлещут ими изо всех сил по нависшим в глуши проводам, обнимают еловый смолянистый столб у обочины и роняют листву. Пыль взлетает выше до-

мов, вращаясь вихрями и застилая пригородное поле; вслед за хозяйкой тяжело ступает по склону холма рыжеватая корова, надувая бока, и суетливый петух-говорун зазывает кур от дождя под раскидистый навес жасмина. Молнии жгут кнутами вспышек по горбатым спинам далёких берегов и поперёк почерневшего неба, со свистом проносится ревущий гром, дрожат стёкла хлопающих окон, в одежду впивается солома.

– А откуда гром? – спрашивает мальчик у старухи возле калитки.

– Иволга дождь накликала, – с прищуром объясняет старуха внуку, – везут мужики по небу бочку, она гремит, полная воды, а потом – бух! – и выливают на землю...

Я смеюсь, укрываюсь от ветра, спешу домой; бабы граблями живо соскребают под яблони свежее сено, парники подворачивают на ветру широкие по́лы, оголяя жидкие колени своих деревянных стоек и надувая зеленоватое нутро, вьёвшееся в рёбра проволочных дужек... И вдруг – шквал, беспросветный, стеной, хлёткий, с градом, пробивающим насквозь листву; ломающий под корень тополя и липы, срывающий с коньков шифер и разметающий по окрестности собранное в стога сено. Из подворотен плывут калоши и щепки, вымытый из грядок чеснок и домашняя живность – юркие утята и ушастые щенки. Мутные потоки сливаются в одну бурлящую уличную реку, молнии режут землю; пенится, пузырится дождевая вода; вслед за уплывающей в поле тучей радуга поднимает уголок цветастого подола, а в нём ещё мелькают, догоняют друг друга весёлые капельки-мальки. Небо отпускает их в реку – и снова через всю окраину с шипением и треском пробивает тучу ветвистая молния... Дождь стихает.

Где-то в лесной глуши одиноко, заунывно плачет иволга... Неужели окликает грозу?

Половодье

Ребристые хребты весенней реки, словно гарпуном, резво прошила чёрная вода, вздыбив бугристый снег, лишённый белизны и чешуйчатого блеска; серые пятна на речных боках – лунки, пепел костров и ржавые ведра – залила мутная длинная лужа, а бойкие ручейки ещё бросались с каменистых холмов, впиваясь иглами соломинок в деревянные плавники мостов. Постепенно наклонились кусты и осока, глина заволокла прибрежные родники; по склонам, растягивая радужные пятна мазута, потекло смолянистое месиво коричневатой грязи, заполняющей овраги и впадины. В тёмно-бурых зубьях бетонной плотины, словно рыбыны, бились огромные льдины; плотики и пляжные кабины ушли в глубину. Затянутый ремнём солдат пробрался к ледяному затору и, заложив тротилковую шашку, отмотал провода; взрыв колыхнул деревья и выбил стёкла береговых строений, затор загудел, заревел, пополз, дико кусая дрожащие сваи и сдирая кору с ветвистых раakit. Смелый подросток спускался к бурлящей крошевом воде, выжывая подсаком оглушенных голавликов и пескарей. На льдинах плыли обломки старых частоколов, берёзовые поленца, лошадиные дуги и даже живые куры...

Буйство половодья бодрило, радовало, увлекало горожан небывалым размахом, но вскоре веселье сменилось настороженностью, страхом, паникой, бедой. Дома прибрежных улиц, наглотавшись воды, смотрели подтопленными окнами в резкие водовороты, на крышах стояла мебель – кресла и кровати, с чердаков выглядывали испуганные жильцы, к которым по очереди пробиралась моторная лодка, натруженно дымя и чихая.

– Эй, на том берегу, – слышу я сквозь шорох и хруст ночных льдин, – вас ещё не затопило?..

– Нет! – громко кричу в ответ, карауля неровную кромку прибывающей воды.

И душу охватывает ужас, магнитом тянет её холодная река, словно сам ад вывернулся наизнанку, закручивая вихрями всё живое. А над этим ревущим бескрайним простором безмолвно кружат яркие звёзды – вечные спутницы человеческих надежд и каждого земного существования...

Мимолётный мир

Капли утренней росы падают с набухающих почек жасмина, разбиваясь о мягкую землю возле скамейки, и в окнах моего родительского дома, смотрящего с вершины холма, отражаются облака. Как и тридцать лет назад, в уличных зарослях бойко перекликаются скворцы: звуки пропитаны светом, а воздух – весенней свежестью с привкусом солоноватого дымка.

Едины и вечны запахи яблоневого коры, мха, берёзовой пыльцы и молодой крапивы, старых, почти истлевших досок и гашёной извести, вкраплённой в лоскуты окаменевшей глины между прутьями орешника, которые намертво прибиты к стенам бревенчатого сарая. Даже запахи прошлогоднего сена, печной сажи и ржавых листов железа на боковинах кроличьих клеток – всё это запахи моего детства...

Человек приходит на Землю чистым, непорочным, несмышлёным чадом, крохотной крупницей мироздания, такой же, как пылинка с вербной серёжки или песчинка на тропинке в лучах солнца – с блёстками, переливами, с неувидимыми гранями. Приходя, человек впитывает всё, что окружает его и вживляется в его смиренную душу.

С годами всё меркнет, превращается в молчаливый поток: изо дня в день слабеют птичьи голоса, тускнеет цвет апрельских нарциссов, замолкает сердце, и вспыхивают ожившие камни – движением нашей памяти и любви, ощущением тленности и робкой попыткой продлить свою крохотную вечность,

сжатую, сконцентрированную от безликих широт до узенькой полоски жизни, до микроскопических клеток и ядрышек нашего мозга – обречённого путника в нечеловеческом хаосе.

Наступает время оглянуться...

На весенней тропинке тепло, солнце, словно сигнальный огонь, прошло из сухого пригородного тростника и упало с другой стороны – на вершины цветущих берёз, по которым навстречу новым ветрам, словно на длинной рыбацкой леске, рванулась и вернулась назад душа. Заметая бронзово-серебристой пылью вечерние крыши, звёзды пронзили своим пепельным взглядом наш мимолётный, по-детски прекрасный мир...

Песчаный город

Утренний пляж дышит приморской свежестью и сладко-пепельным дымком дальнего сухогруза. Набегая на мелкие угловатые камни, море выносит на берег чёрно-бурые водоросли и убитых штормом медуз. Их студенистые бледно-фиолетовые полусферы медленно, с каждым толчком умиротворённой волны выползают на кромку суши, разлагаясь и засыхая.

Вдруг, словно из-под земли, за спиной появляется странный мальчик с лопаткой и ведёрком в руке. Не говоря ни слова, он закапывает в песок мёртвых медуз и садится на ещё прохладный валун. «А-а-а, это Лёша... – подхватывает подоспевший местный купальщик, ловя бодрым взглядом сполохи рассветного солнца. – Он сейчас домики из песка будет строить».

На Лёше – серая, просоленная морем майка и чёрные плавки, выцветший чуб свисает до бровей, оттопыренные уши и крючковатый нос торчат из его головы, словно сбегавшие из зоопарка пеликаны: они настолько велики, что их пропорции уже не портят лица, а придают его неправильно-милый вид.

Запуская смуглые руки в сырой песок, Лёша сдвигает огромные кучи, из которых медленно и осторожно вырастает целый город – с башнями и пирамидами. Тихие черноморские волны неохотно подступают к стенам города, словно бояться обидеть странного, больного мальчика. Проходит час, несколько часов, наступает вечер, а город всё стоит и радуется Лёшу, радуется меня и разомлевших хмельных туристов.

Вдруг, словно ветер, на пляж врывается компания шумной молодёжи, прыгает в море, поднимает волну, брызгает и смеётся, падая в остывающий песок. Город, построенный Лёшей, превращается в прах.

...Но снова и снова – изо дня в день – одержимый безумец возводит стены и фасады, и снова, и снова рушится всё – до основания. Лёша плачет, плачет порой настолько горько, что вслед за ним всхлипывают другие дети и окончательно захмелевшие туристы.

– Не грусти, – сказал ему однажды всё тот же знакомый утренний купальщик, – ты хороший, умный мальчик, умнее даже, чем президент Америки...

Закончился ещё один день. Звёзды вплавились в безлюдный пляж и потекли над миром, вращаясь в своём извечном полёте, словно брошенные по ветру фотоснимки. На одном из них плыли знакомые стены и фасады – в моей памяти, в моей душе, в невидимых фотонах, улетающих в небо. И как было бы здорово, если бы правители мира сего понимали, что вся наша планета хрупка и уязвима, словно песчаный город.

Чёрные круги

От потрясения к потрясению, от события к событию всё острее, нарывая, сочатся печальные мысли, словно колющие раны: мир знал много испепеляющих войн, слишком много зла и ненависти, чрезвычайно много крови выпил человек у

человека, а ему всё мало. Новые диктаторы полосуют небо сполохами ракет, ослеплённые яростью неофашисты линчуют надуманных врагов, по-дьявольски выцокивая каблукками, словно копытами. Всё это стадо – заблудшие овцы. Всё ближе и ближе они подступают то ли к самоуничтожению, то ли к наказанию свыше.

Новости Майдана страшнее, чем вести с фронта, потому что не вспыхнул ещё тот ужас, которому достаточно одной спички; потому что каждая новая война может стать последней. Под ядерным пеплом могут согнуться страны и континенты. Жутко оттого, что, словно под мистическим, сатанинским гипнозом, правители готовы по-звериному рвать друг другу глотки, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков...

Интернет пестрит насилием и смертью, выдыхая гнилостный запах преисподней, и сладковато чавкает электронным нутром – остужающими накал вентиляторами, но кто теперь остудит наши полувиртуальные, полумеханические души? Бог? Дьявол? Восставший из развалин планеты Спаситель? Кочующий гений из иного мира или просветлённый пришелец с далёкой планеты?..

Что мы знаем о своей планете, своём мире и самих себе? Откуда мы пришли и куда уйдём? Даже если остудить мысль о сотворении Земли руками богов, то душу обескураживает вопрос: почему из хаоса, камней и нарезки химических превращений рождается разум? Кто внедрил непостижимый код жизни в солнечный свет и кристаллы, в молекулы и атомы?..

Всё приходит на круги своя...

По расчётам астрономов, через 250 тысяч, а может, миллионов лет галактика Андромеда разорвёт наш Млечный Путь на мелкие лоскутки, сжигая бесконечными крыльями сотни развитых и летящих к закату миров, а через миллиард лет наше Солнце – если, конечно, не погибнет раньше – сбросит, словно рептилия, старую кожу и вспыхнет красным гиган-

том. Спасения не будет никому, если не найти пристанища в Космосе, на другой планете; если уже сейчас не подумать о судьбах своих потомков.

Возможно, наука слепа в вопросах жизни и смерти. Возможно, фотоны, покидая наши тела, уносят информацию о нас во Вселенную и, словно лазерные диски, зажигают своеобразный фон для зарождения новых миров, более совершенных и гармоничных в своём материальном и духовном устройстве. Неужели тогда на миллиарды лет вперёд телепортируются все наши грехи, страсти и залитые злобой лица?..

Загадка... Я думаю об этом, глядя на талую апрельскую воду, вращающую водоворотами речной мусор; кидаю камень – и по воде бегут чёрные круги, чёрные круги мироздания.

Одушевление небес

После редких вьюг и затяжных оттепелей, как медведица после спячки, бредёт весна, слизывая бледным языком рассвета остатки грязного света с лапы-улицы. Тяжёлыми, натужными стали вёсны, словно мысли депутата-неуча, и оголтелыми, точно политика Запада. Вёсны вровень со временем, сродни хищническому истреблению и засорению природы, вёсны наравне со всемирным лицемерием. Когда потеплеет так, чтобы не брать с собой в дорогу плащ?..

Но есть души светлые, дерзновенные, честные, им никто не указ: ни депутат, ни американский солдат-фашист, что недавно бомбил Белград, а теперь убивает в Ираке детей.

– Петрович, – слышу с улицы, – ты зачем опять тротуар скребёшь?

– Чтобы чисто было...

– Так ведь чисто уже...

– Чтобы ещё чище, – отвечает Петрович, – чтобы мир чище стал.

У Петровича судьба не сахар, седая борода по грудь, лысина блестит на солнышке, из кармана торчит газета: из колледжа-академии его выдворили якобы по возрасту в конце девяностых. Не нужны тогда стали умники-правдоискатели, не ужившиеся с преступными манерами и новыми пустоголовыми начальниками.

– Нет теперь правды на Земле, – говорит Петрович, словно лопатой по сердцу рубит, – взбесилась она, земляца наша, на небе тоже не всё в порядке – постоянная конкуренция между добром и злом, слишком много мусора на небе. А нам бы надо небу помогать, одушевлять его своими поступками. Вот и скребу я, чтобы небо чище стало...

Вот и скребёт Петрович – без денег, без прибыли, потому скребёт, что на душе тошно. Уже всю улицу выскреб, а люди шепчутся, что он чокнулся. Где тут: умнее всех умных.

Бурая безрукавка на Петровиче, растоптанные сапоги оставляют следы непонятные, почти медвежьи, пот с косматых бровей катится, метла по тротуару хлещет. Ходит он, словно шатун, за одинокой весной-медведицей.

Глядя на Петровича, одушевляются небеса, очищаются от мусорных облаков и чёрных клубов нефтяного дыма.

Туча

Читал статью, где критик объяснял, почему Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ», а утром горче старинной меди родник плеснул окисные блики в предрассветную траву, вода ворсинистой рукой-потокком по ноздреватому известняку. Кривой луч ударил в бронзовые щиты окон, залив рябиновым соком пригородные овраги и опалив рваный рубец каменистой реки ртутным пламенем. Роса проступила на

ребристых спинах дряхлых гаражей и построек, а в глухом углу сарая, давясь и топоча, прогорланил петух. Начался июльский день, ничуть не отделимый от других летних дней, тяжёлых, тягучих, словно похмельная дума, и громоздких, словно чернобыльское эхо.

Неуютно, зябко, грустно... Тишина брызнула по воздуху из небесной кадки звоном в ушах, натянулась бельевой верёвкой-провококой, нависла, натужилась, точно невеста-роженница; вздохнула, потекла, качнула бёдрами башен и колоколен; засверкала, причесав вербные косы и положив загорелые руки-лоскуты на стропила недостроенного храма; разжала медвяные губы-лепестки у околицы и, словно удила, закусила обочины дорог, вскинула голову, разметала по-змеиному зеленые кудри-волосы, махнула пыльной бязью сарафана – и зазвучала, понеслась. Шорох прокрался по сиреневым кустам, растрепал загривки сосен и чубы барбариса жилистыми пальцами-струнами, оборвал спелые капельки красной смородины и сыпал их за пазуху, в ребристую сорочку застиранной, почти дырявой тучи.

Сгорбилась туча, прыгая низко, над яблоневым садом и вишнёвыми кущами, подобно дикому вепрю; упёрлась свинцовыми бивнями в бугристую пашню, раздирая и полосуюя загородное поле чешуйчатými перьями-плавниками: ни дождевики, ни молнии из неё не выпало, будто всё уже выпито, растратчено в поединке с земным светом, добрым замыслом. Рябины согнулись до земли, с прибрежных раки́т посыпалась молодая листва... Но с улете́вшей тучей, неожиданной, нездешней, смолкли и шум, и шорох, и свист, пыль легла на репейники; обходные пути – ложбины и впадины – в травяные пригоршни собрали пух, пропитали одежду горечью диких яблок.

– Неужели опять где-нибудь что-то бабахнуло?.. – слышу разговор старух у речной околицы.

– А сатана каждый день что-нибудь бабахает...

И душу охватили смятение, страх, по-пчелиному зародились мысли, словно по-иному заговорил Гоголь: «О Русь, непостижимая, самовольная, своенравная туча, куда летишь ты, словно безголовая всадница?.. Куда несёт тебя невиданная сила?..»

Ушедшие к небу

Утреннее солнце вспыхнуло на листьях уличной сирени, пробираясь в дом и замирая в тюлевых шторах возле приоткрытой оконной створки. Где-то, тихо урча металлическим нутром, промчал мотоцикл. Зарычал и неохотно гавкнул во дворе пёс. Сквозь щебетание стрижей хлопотливо раздался стук соседского молотка, а приглушённо-натуженный скрип старого гвоздя, вытянутого из доски, взвился и замолк в ивовой кроне.

С окраины, между пологим огородом и ребристым пригородным леском, с широко распаханного поля повеяло северным холодком, ворвавшимся на веранду. Точно ангелы или чьи-то бесприютные души, вдалеке, по гнедым спинам полевых глыб, потянулись обрывки пепельного тумана, уходящего в бирюзово-латунное небо...

Смущаясь и неловко потрескивая, в углу возле открытого окна телевизор выдохнул последние новости: Украина залита кровью гражданской войны. И в кошмарном сне было сложно такое представить.

– А люди умирают?.. – напряжённо и догадливо спросил ребёнок, отложив бутерброд.

– Нет, они уходят к небу...

И привкус древесно-сиреневой горечи, отогнавшей тягучую дремоту сладкого чая, застыл во рту, словно неумелая ложь. И весь мир, вращаясь вокруг Вселенской оси, повернул, словно в мясорубке, кольнувшее сердце: мир не стоит и росинки с детской щеки, а после одесских неонацистских

пытков он лишь угрюмый пучеглазый деградант с оттопыренными губами, после американской «демократии» – не больше, чем ноль...

Мир на планете Земля надо перестраивать заново.

Хлопая и размахисто шелестя влажными крыльями, летний день, словно лебедь по речной воде, прошуршал по макушкам сосен и, поднявшись, нырнул за горизонт, оставив после себя, точно слегка зажившую рану, залитый заревом пух. Добрые белоликие матери – облака – вышли на извечную тернистую дорогу, неся в своих ласковых пелёнках грудных детей: мысли и души, ушедшие к небу, разлились над миром в необъяснимом, вечном, живом эфире...

Костёр на берегу

Отражаясь в ночной воде, шелестит воздушной лиственной розой, млечная роса течёт с ивовых веток, капая в тёплый песок; клонится к пыльной дороге рожь, точно манит путника спелыми косами, и еле слышно струйкой-серпиком переступает по круглым камешкам родник, прячась в сумерки. Над затихшей рощей по глинистым берегам берестяными каблучками-песнями цокают соловьи, окликаая дымки ложбин, словно призраков, а вспыльчивые зарницы, налетев по верхушкам сосен, цепляют друг друга быстрыми крыльями и, озарив речные мостки, исчезают в тишине, за оврагами, среди сизых спин холмов. Спит простор, поворачиваясь с боку на бок в туманных даях и говоря во сне шёпотом трав. Волчий след застыл на истресканной земле в подорожнике, где блестят валуны-черепа серыми шлемами, словно павшие в боях воины-витязи из-под корней встают и с дозором обходят русскую землю, встречают заблудшего ворога копиями орешника, рукавами глубоких троп ограждают юных дев от злых слов и обманщиков, пепельными бородами семян и тугими кольчугами лугов накрывают село, прячут за

пазуху тусклый свет домов. Где-то тихо колыхнется песня, подолы берёз подвёрнуты, жидкий ветер пахнет спелым зерном, снопами, молоком; месяц, словно младенец, робко лежит на ладонях облаков, прильнув светлым личиком к небу, к блёклому сосочку звезды-матушки.

Вот и капелька летнего дождика упала на мою щеку, потекла, словно слеза, по шее, под рубашку, к самому сердцу: эхом душа дождю отзывается, перьями зарниц над водой кружится. Жгу костёр, шевелю угольки тонким ракиновым прутиком, смотрю в золотистую мглу на узловатую леску старенькой донки, на шелковистый рогоз и алые блики среди кувшинок, в розовый зев известкового карьера и глубину неподвижных лозняков; дышу глубоко, свободно бирюзовым паром, дымком, пылью прибрежных и луговых цветов. Стелется ночь покрывалом трав, облаками, млечным пологом от речной воды до крутых вершин, поднебесных троп. Вспыхивает костёр, вскидывает искры яркие, жгучие, поит ими комаров и болотных мушек, щёлкает сучком, шипит веточкой, наполняет меня теплом. Вторит Вселенная его огням, разгорается, сыплет золотом сквозь века и по берегу, как ночной костёр: всё сгорит – но всё ли останется?

В полудрёме плыву на песке, словно на облаке; погружаюсь в горный свет, отмечаю из души всё не вечное...

Солнечный ветер

Сухие комья глинистой земли усыпаны лепестками роз. Лето в разгаре. Пахнет пивком, ракиновыми гнилушками и скошенной крапивой. На меже, широко раскинув длинные костлявые ноги, сидит местный чудак Василий. Он из тех, кого в советские времена бросали в кутузки за острый язык, а в армию запихивали только по большому благу в поликлинике и родственным связям в ЦК, но

теперь... теперь он горемычный ветеран лукавой интернациональной войны и неподдельный объект язвительных, кусачих насмешек.

Из-под его выцветшего картуза завиваются русые кудри, словно густые проводки отрезанного кабеля в ворохе палёной пакли. Все его ровесники с местного околотка, особенно отвоевавшие, уже давно сгнули: кто отравился вином, а кто сгоряча или сдуру рванул под вечер конопляную верёвку.

Попади Василий в науку – получил бы Шнобелевскую премию, ведь бывали уже такие случаи: это и респиратор, сооружаемый лёгким движением руки из нижнего женского белья, и механизм для сбора слизи от чихающих китов, и... Да бог с ним, ведь это у американцев, нам-то вроде бы и ни к чему... В общем, сидит наш герой в густой траве, любитесь своим детищем, – гладкий, наполовину ошкуренный осиновый кол вбит в рыжеватую почву за прогнившим тракторным ободом в конском щавеле.

На шесте, глотая западный «демократический» ветер с папиросным дымком и привкусом тимьяна, кружит деревянным винтом бирюзовый самолёт, творение Василия. Да и не самолёт вовсе, а доска с фанерной переключиной. Следуя методам многоуровневой иррациональной логики, другие шнобелевские лауреаты, археологи называют такие чудеса древнеиндийским ядерным оружием. Но у нас иная история...

Вокруг кучерявого добродушного чудака-«философа» собирается уличная ребятня, чтобы посудачить и отжечь очередную политическую остроту про «знатного изобретателя». Смотрят мальчишки то на Василия, то на жужжащий шест. Не решаются подходить, задумались.

– А что, дядя Василий, – осмелился один, – самолёт-то тебе для чего? Это твой виман, что ли?.. Ты ему, наверно, как папуас, молишься?..

– Это не самолёт вовсе и не виман! И не молюсь я ему!.. – бросая окурок в пасущихся кур, картаво, обидчиво, но назидательно выпаливает чудак, одновременно смешно и серьёзно. – Это инновационное изобретение. Вот...

– Ка-кое изобретение?.. – подхватывает ребятя, еле сдерживаясь от смешливых слёз и хватаясь за животы.

– Чтобы солнце ловить! – признаётся накупившийся Василий. – Дует от солнца ветер, а я его поймаю и вам раздам по чуть-чуть... И тебе, и тебе... А кол осиновый потому, что под нами, с другой стороны планеты, – Америка...

– О-ой, ну ты и насмешил... – разлетается по улице заводной разноголосый смех, впиваясь в любопытные окна.

...Шурша клетчатыми рубашками, мальчишки уходят по бугристой грунтовке, поднимая пыль. В лопухах, наедине с курами и самолётом, сидит задремавший Василий, с прищуром да гнутой потухшей папироской в узловатой мозолистой руке, опёртой на тёплую рыжеватую землю. Улица пахнет молодой зеленью, сырой извёсткой, разрытым залежавшимся перегноем и кисловато-медовым дымком, а над всем этим летит непойманный солнечный ветер, шальной и по-приятельски добронравный.

Среди холмов

...Надо мной шумит берёзовая роща, вдалеке течёт спокойная, неспешная река, со спины налегает океан васильков, а впереди – россыпь ивовых звёзд. Покинув лес и перейдя пологое поле, иду по лугу, по росе крутого берега, где во тьме изрезаны овражками холмы и белеет поклонный крест в лоне зарева, среди каменных гробниц и монашеских тропок-восточек. По густой траве путь неправеден – ноги путает трава-ленточка, хватает за рукав робким холодом, опоясывает, гладит-милует, лепестками губ жжёт

до одури, так порой, что не выбраться: повилика оплетёт пальцы-пестики да затянет в край, где невидимо на ветвях сидят девы-душеньки, гребешками слёз чешут локоны; где плывёт туман, как великий дух, и под склоном холма шибко молится – обернётся иноком, весь в льняных бинтах, и растёт до звёзд, в небе ширится, бровью-куполом держит облако.

– Чей ты, – говорю, – дух, наш, забористый или вражий плут в тебе прячется?

Дух молчит, смотрит пристально, кровь лесных рябин на его челе, нимб увесистый кружит в мареве, чешуёй блестят латы-камешки, грозный меч омыт росой-истиной: не пройти коню и разбойнику – всех локтём зари быстро выдворит. От святых икон до ночных светил, по извитым тропкам-лесенкам, по речной воде и по холмикам, от истоков лет до скончанья дней Русь туманная, непроглядная, православная с ним повенчана, очарована рабской прелестью, изрубцована плетью жертвенной, спасена в веках верой-реченькой.

Но встаёт во тьме дух невиданный, от колен его скрежет слышится, валуном блестит панцирь берега, гниль болотная в горле булькает, на стальном ведре глаза-прорези и дубовый лист прилип к челюсти. Дышит дух огнём, пьёт из лужицы, кривым рогом бьёт в монастырский скит, по-змеиному жало выставил. Разгорается бой немислимый: кто кого побьёт? – не понять никак...

Отметаю видения, вырываюсь из цепких трав, липких, огненных, прожигающих насквозь пылью угольной да дурмящих меня соком ягодным, опьяняющих нектаром и грибным приворотным запахом, зельем тяжких дум и кривых дорог, над которыми чертит ночь тоску самолётником, одиноко над погостом подмигивает: мол, придёт пора – всё откроется.

А пока – иду, молвлю, мучаюсь и смотрю во мглу сквозь прозрения, озарения и ночной огонь; ручейки спуют у раки и в ладонях лип, подгоняют меня, подстёгивают, на овраги и листву оборачиваясь, а среди холмов берег илистый шелестит и вздыхает таинственно. Вот и первый пригородный родник, вот и улица. Водокачка гудит, впившись в стылый грунт; из дубовых труб бежит временем ключевая вода-пересмешница, разлетается по домам птичьим гомоном, оглашает мосты тихим топотом...

Молчаливая вода

Южный порывистый ветер качал пушистую ольху, осыпая яркой пылью вздыбленную землю, а на склонах холма застенчиво распускались бледно-жёлтые огоньки мать-и-мачехи. Пахло оттаявшей глиной, мхом, сырым хворостом, ракиевой корой и солоноватым дымком. Вдалеке, в густом весеннем мареве, необозримо плыл горизонт, усеянный ворсинками рощиц и перелесков. Поле полого спускалось от асфальтной дороги до тернистых овражков на речном берегу, дыша паром. Именно здесь, на девяти холмах, в двенадцатом веке славянские племена срубили деревянную крепость: набегавшие орды кочевников выдавали себя пылящимися хвостами за пятнадцать вёрст.

Стоя на склоне одного из этих холмов, Андрей Булавин гордо осматривал окрестности и находился в весьма доброжелательном расположении духа, поскольку шёл в гости к своей бабушке, Полине Михайловне, а она-то наверняка побалуует его на Пасху пирогами из русской печи. Внизу, вдоль широкого луга и прибрежных домиков, отгремев и отрывада глыбами льдин, ещё стояла молчаливая речная вода; за оврагом, в просини жидких берёз, белели стены монастыря...

Наклонившись и шагнув в дом, Андрей обнял Полину Михайловну, сел к окну, осмотрел печь и знакомые с детства стены, но вдруг, точно судорожная молния, пронизала его дрожь.

– А икона где? – спросил он, резко встав из-за кухонного стола и подбежав к пустому углу.

Иконы не было... Сидя на табурете, Полина Михайловна отвела в сторону взгляд, спокойно прижала ладонь к ладони, опустив их в подол старого платья, и тихо, почти обречённо сказала:

– Да старая она была уже... Червяки её начали грызть. Чтоб совсем не загиблась, я её и продала...

– Но ведь ей цены не было... – растерялся Андрей, кусая обветренные губы. – Она ведь из твоего старого дома?..

– Видать, из него... была, – равнодушно ответила Полина Михайловна, словно что-то скрывая, а скрывать было что.

Оказалось, что Николай, младший брат Андрея, уже давно выставлял её на каком-то сайте для продажи и просил двести тысяч рублей. Покупателя долго не было, а брат нигде не работал и старательно выуживал у Полины Михайловны пенсию. Она занимала у соседей, даже голодала из-за этого, но всё повторялось: деньги Николай снова кланчил то на пиво, то на сигареты, то на дискотеку.

«Как же так? – думал Андрей, уединившись в коридоре. – Апостолов Петра и Павла не стало... А ведь я ещё в детстве молился возле них, когда болел. Славил Христа на Рождество. Выходит, что моя семья предала Бога... Да ведь икона, несмотря на свою древность, была в идеальном состоянии...» Ему уже не хотелось ни пирогов, ни самодельного вина, а лишь – правды; и он снова подошёл к неразговорчивой Полине Михайловне, медленно обо всём её спрашивал, кусал губы, клял себя за то, что не уберёт икону.

Выяснилось, что купили её какие-то заезжие мужички.

Конечно, они – психологи. Конечно, они знали способы и манеру уговоров для одинокой старухи, лишённой к тому же последних копеек, и она продала икону. Но почему у неё не хватило сил отказать? Может, потому, что не хотела она, чтобы Николай поживился этой святыней, поскольку сильно он обижал Полину Михайловну, даже кричал и угрожал. Не верил Андрей, что бабушка, яро молившаяся в церкви ещё несколько лет назад, вдруг усомнилась. Здесь было что-то ещё, ведь и не чувствовала она себя виноватой.

– Поколение «next»... Выродки!.. – ругался Андрей, высказывая матери претензии о воспитании брата. – Довёл старушку! Все деньги у неё выскреб. Икону продала!.. А вы, вы-то куда смотрели?.. Я живу в чужом городе и приезжаю к вам раз в полгода, но вы, вы... знаете что?.. Прекратите жить в разладе! На работу этого бездельника устройте! Семейная дружба утрачена...

Но скоро горячность Андрея ослабла, он накинул сероватый, линялый плащ, прихватил несколько чёрно-белых снимков с иконой и поехал в милицию, к знакомому следователю, однако тот прямолинейно и опытно сказал, поправляя на лбу фуражку:

– Вряд ли что-нибудь получится, потому что, во-первых, икона продана, как я понимаю, добровольно, да и дело, во-вторых, со старухой связано, а у них, вы знаете, на часу сто перемен... Я не думаю, что она захочет этих поисков. Если бы икону украли, то это было бы другое дело. А потом, по этим фотографиям, где икона попала в кадр, сложно будет её идентифицировать. Слишком размыто изображение, да и мало ли подобных икон было на Руси написано. Это, сразу ясно, не Рублёв, девятнадцатый век, судя по всему, а может быть, и начало двадцатого... Сложно, нереально...

Конечно, фотографию иконы можно было отыскать и на

том сайте, где она без толку провисела почти два месяца, но Андрей понял, что никто с ним заниматься не станет, не до «сомнительных» святых дело... И он всерьёз заинтересовался историей, перекопал все домашние книжные полки, исколесил районные и областные библиотеки, вечерами сидел в архивах, разыскал даже некоторые корни своей родословной, узнал многое о храмах, православии и, конечно, об иконах. Оказалось, что это был весьма и весьма ценный экспонат, за который многие коллекционеры не пожалели бы и полмиллиона рублей, а за рубежом – и того более.

Суть состояла в том, что монахи «обретали» подобные иконы и в других городах, но только на них изображались разные апостолы. Подразумевалось, что иконы после написания будут собраны в одном храме, но этого так и не случилось, а теперь, когда почти все иконы-сёстры находились в частных руках по всей стране, воссоединить их и вовсе стало невозможным. «Как же так, – снова тяжело думал Андрей, засидевшись в архиве, – выходит, что растасканы святые – где мошенничеством, где воровством, а где, может быть, даже и убийством. Выходит, что Русь современная по-прежнему не собрана в одно, целое государство, горит наша земля, пропадает в огне междоусобиц. Каждый пришелец теперь – царь, каждый пеший – бог, каждый путник – враг...»

Эти мысли наводили на Андрея глубокую, непроглядную пелену. Он задавал себе многие вопросы, но не мог на них ответить. Он вдруг погрузился в толщу, в океан, который засасывал его воронкой ко дну, глубоко – на тысячи лет, на миллионы событий и дат. Булавин подробно изучил историю убийства язычниками проповедника Кукши, смутное время, татарские набеги. Явственно он представил себе дохристианский город неподалёку от тех холмов, по которым

он ходил почти двадцать девять лет, а ведь, наверное, из той древней общины люди и переселились в город, срубленный в двенадцатом веке, да не где-нибудь, а на одной долготе с Иерусалимом...

Когда в начале августа Андрей вдруг захворал и попал на операционный стол, то семья Булавиных сильно заволновалась, восприняв это как тревожный знак, посланный с неба. Придя в сознание, Андрей и вовсе огорчил своих родственников поспешной мыслью:

– Вот... Икону продали, а Господь теперь нас наказывает. Это пока только цветочки...

Всё нипочём было только Полине Михайловне, и после возвращения из больницы Андрей снова приехал к матери, чтобы расспросить у неё об иконе, о том, откуда она всё-таки взялась, праведен ли путь её приобретения.

– Знаешь, – неохотно призналась мама, – когда ты был ещё совсем маленьким, я работала художником-оформителем на заводе, а тогда мы все были комсомольцами и атеистами, безбожниками. Думаю, что и сейчас мы не слишком сильно изменились... В общем, я упражнялась в рисовании портретов, а мой товарищ, Гришка Сенин, мне на день рождения эту икону и подарил, чтобы я смогла нарисовать... святого.

– Так вот откуда те альбомчики, которые я находил в детстве, – удивился Андрей, немного обрадовавшись проявлению истины, – но, знаешь ли, твой святой не был похож ни на апостола Павла, ни на апостола Петра... Ты прятала эти альбомчики, поскольку в одном из них чётко вырисовывался портрет Николая, последнего царя...

– Ой... Я теперь и не знаю, – отвернулась мама, покраснев от стыда. – Ну, может, это был какой-то другой царь.

– Да один к одному – Николай II, мама, не смехи меня, – улыбнулся Андрей над бывшей комсомолкой-«монархист-

кой». – Ты рисовала его в лике святых, мама... Ты хоть представляешь, что ты делала?.. – ещё сильнее удивился старший сын. – В лике святых его ведь только теперь прославили... А-а-а... – подняв палец, продолжал он, – я догадался: Кольку нашего ты тоже в честь царя назвала...

Ответ не прозвучал, и, разузнав некоторые подробности, Андрей поехал к Гришке Сенину, отыскал его дом, постучал в калитку и увидел на пороге уже лысоватого мужичка, опрятно одетого, с приглаженной бородой, пестрящей по краям, словно алюминиевая пластина. Без намёка можно было сказать, что он не врач, не крановщик со стройки, не учитель, а именно инженер: что-то было в нём немного романтическое, творческое, не было врачебной замкнутости, рабочей грубости и учительской назидательности.

– Да-да, икона, помню-помню, – сказал он, закурив сигарету и блеснув серыми глазами так, словно в этот момент опрокинул стаканчик, – эта икона принадлежала моему деду, он был чекистом, взрывал церкви, а то, что удавалось припрятать, приносил домой. Так и эти апостолы у нас оказались, да много у нас икон было...

«Так я и знал, – думал Андрей, глядя сквозь стекло автобуса на бегущие за окном поля, – путь иконы был преступным. Многие молились возле неё, те, кого вскоре не стало: кого убила революция, кого война, кого лагерь, немецкий или советский, – разница теперь невелика: сущность у лагерей была одна – дьявольская...»

Но история молчала, скрывала подробности своего туманного потока, икона тоже молчала, даже перед такими честными людьми, как Андрей; тем более она уже давно была где-то далеко, а может быть, совсем рядом – для души и прозрения нет расстояний. Но во всей этой истории тупик всё-таки был: не мог Булавин смириться с пропажей и осознать первопричину исчезновения... Лишь в церкви он

обо всём догадался, подкрепив свои размышления словами священника.

– Что я могу сказать?.. – перебирая чётки, нахмурился рыжебородый батюшка. – Икона не должна висеть без пользы в углу, она требует, чтобы возле неё молились; чтобы в человеке шла постоянная духовная работа, ибо икона подобна ребёнку: если её бросишь, найдутся те, кто приютит... Вижу я, что попала эта икона в добрые руки, к людям, которые будут ценить её так, как она этого заслуживает...

Андрея ещё беспокоили унылые сомнения, к честному ли человеку или в храм попадёт икона, а не будет ли продана за границу, к каким-нибудь пустоголовым потребителям попкорна. Но вскоре он окончательно успокоился, увидев по телевизору сюжет, где видный российский политик – не будем называть его фамилию – подарил икону православному храму в Тверской области. Андрей услышал, что икона – работы неизвестного мастера, начала девятнадцатого века, и узнал, узнал её, а может, внушил себе, что это была именно та икона, из дома Полины Михайловны. Сердце Андрея успокоилось, ведь если, как он думал, политики даже кремлёвского ранга помогают восстанавливать церкви, хотя и рисуются перед народом, то, может быть, собирается Русь воедино, не свергнут её в ад новые монголы, идущие с Запада и Востока, воскреснет праведник Кукша, будет много золы, а душа – спасена...

Сев у окна, Булавин задумался о том, что современные люди – точно пришельцы из прошлого, с теми же проблемами, сущностью и отношением к религии. Он простил и Полину Михайловну, и брата, но понял и ещё одно: что многое повидала на своём веку Полина Михайловна, перетерпела и войну, и голод, и каторжный труд, и смерть мужа, и одиночество, и издевательство внука. И настал тот момент, когда она уже всё замолила, все грехи и все помыслы, и поняла,

прозорливо почувствовала, что не нужна ей больше икона, никто не нужен: ни царь, ни Ленин, ни Бог; она сама по себе – одинокая русская старуха, чья духовность, может быть, не слабее, чем у Святого Духа.

От этой мысли Андрею Булавину стало жутко, не по себе: словно языческий идол, смотрела в окно луна, вешая голубые лоскутки лучей на облепиховый куст, и копыя сухого орешника чертили небо... В ноябре он снова приехал к родителям и навестил Полину Михайловну, долго стоял на берегу, глядя на спокойные воды осенней реки, которую по берегам сковывал первый ледок. Андрей долго шёл по течению, а вслед за ним, скрывая тайны бытия, текли и мироточили придорожные звёзды – иней на земле и роса на небе. Нет, ещё много скрывает в себе русская душа... Она молчит, но – видит Бог! – ещё не один раз хлынет бурным весенним потоком.



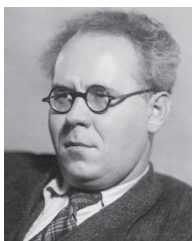
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ



Горбов Евгений Константинович

(24.02.1906 – 13.05.1973) – писатель и журналист, член Союза писателей СССР с 1936 года. Автор многих книг, включавших в себя рассказы, повести и романы, неоднократно впоследствии переиздававшихся и переведённых на иностранные языки. Положительный отзыв литературная работа Е.К. Горбова получила у К. Паустовского. Пьеса «Первый салют», написанная в соавторстве с А. Яновским, была по-

ставлена и долгие годы с успехом шла на сцене Орловского областного драматического театра им. И.С. Тургенева.



Мильчаков Владимир Андреевич

(28(15).12.1910 – 5.01.1973) – прозаик, поэт, публицист, переводчик, драматург. Писатель-фронтовик, во время Великой Отечественной войны прошел путь от солдата до офицера. Участвовал в штурмах Бреста, Кенигсберга, Берлина. Член Союза писателей СССР с 1946 года. Автор двух поэтических сборников и многих книг прозы, которые неоднократно переиздавались как в России, так и за рубежом. Не-

сколько лет возглавлял Орловское отделение Союза писателей, отдав много сил его становлению. Делегат II съезда писателей РСФСР, V съезда писателей СССР. Нграждён двумя орденами «Знак Почёта», двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени.



Яновский Анатолий Николаевич

(26.07.1919 – 2.07.1990) – прозаик, поэт, драматург, публицист. Писатель-фронтовик. Воевал на Брянском, Центральном, 3-м Белорусском фронтах, участвовал в Орловской битве, был награжден орденом Красной Звезды и пятью боевыми медалями. Автор четырнадцати повестей, двух пьес, сорока рассказов, множества очерков и статей. Член Союза писателей СССР с 1964 года. Произведения публиковались ведущими литературно-художественными издания-

ми в СССР и за рубежом. Большое количество произведений писатель адресовал детям. Много лет сотрудничал с Агентством печати «Новости» (Москва). Более 30 лет заведовал отделом культуры в редакции газеты «Орловская правда». Очерки и рассказы были переведены на французский, немецкий, финский, норвежский, венгерский, чешский, монгольский, польский и другие языки.



Зиборов Евгений Александрович

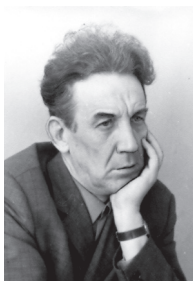
(6.02.1922 – 12.02.1994) – писатель-фронтовик, с первого до последнего дня прошедший Великую Отечественную войну. Автор пятнадцати книг стихотворений, повестей, рассказов. Член Союза писателей СССР с 1963 года. Пять лет – с 1965 по 1970 г. – возглавлял Орловскую областную писательскую организацию.



Родичев Николай Иванович

(28.09.1925 – 7.08.2002) – прозаик, поэт, публицист. Автор более двадцати книг повестей и рассказов, нескольких поэтических сборников, а также многочисленных переводов с украинского, чешского, кабардинского, калмыцкого, казахского языков. Член Союза писателей СССР с 1955 года. Работая на ответственных постах в московских издательствах, помог творческому становлению многих авторов, получивших в дальнейшем широкое признание (в их числе

– В. Белов, В. Шукшин, Ю. Семёнов, П. Проскурин, Н. Рубцов). За 6 лет работы Николая Ивановича в «Советском писателе» книги двенадцати авторов, выпущенные в этом издательстве были отмечены Государственными премиями. Удостоен девяти правительственных наград (в том числе ордена Отечественной войны II степени и ордена Дружбы).



Сапронов Леонид Лаврентьевич

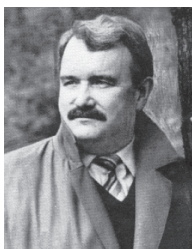
(12.01.1925 – 6.02.1978) – прозаик, автор более десяти книг рассказов и повестей, многочисленных публикаций в центральных литературных изданиях. Член Союза писателей СССР с 1962 года. Детств прошло в г. Макеевке на Донбассе. Подростком был угнан в Германию и там за колочей проволокой на заводах рейха познал весь ужас неволи. Возвратившись на Родину, участвовал в восстановлении разрушенного хозяйства. Окончил Высшие литературные курсы

института им. М. Горького. Много лет работал редактором многотиражной газеты на Орловском сталепрокатном заводе, позднее – на УВМ.



Проскурин Пётр Лукич

(22.01.1928 – 26.10.2001) – известный прозаик, писатель-романист. Почётный член Орловской писательской организации, почётный гражданин города Орла. Автор многих книг, заслуживших признание читателей не только в России, но и за её пределами. Член Союза писателей СССР с 1962 года. Жил и работал в городе Орле с 1965 по 1967 год. За литературную деятельность награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. Герой Социалистического Труда. Лауреат Международной премии имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства, Государственной премии РСФСР, Государственной премии СССР.



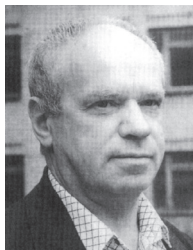
Моисеев Леонид Юрьевич

(31.10.1933 – 19.02.1995) – прозаик, драматург, театральный критик. Автор четырёх книг прозы и девяти пьес. Член Союза писателей СССР с 1977 года. В период с 1989 по 1995 годы – ответственный секретарь Орловской областной писательской организации. Один из основателей литературного издания и издательства «Вешние воды». Во многом благодаря его деятельности орловские писатели получают материальную поддержку; на Орловщине вручаются престижные литературные премии; в 1994 году впервые в Орле, а не в Москве состоялся пленум Союза писателей России. Заслуженный деятель искусств РСФСР.



Золотарёв Леонард Михайлович

(р. 24.06.1935) – прозаик, поэт, драматург, автор более тридцати книг. Произведения публиковались во многих литературных журналах, включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орловского края. XX век». Член Союза писателей СССР с 1973 года. Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды».



Рыжов Иван Алексеевич

(19.04.1936 – 21.02.2006) – прозаик, эссеист, публицист. Автор четырнадцати книг и многочисленных публикаций в ведущих литературных изданиях. Член Союза писателей СССР с 1967 года. С 1987 по 1989 год возглавлял Орловскую областную писательскую организацию. Произведения включены в хрестоматию «Писатели Орловского края. XX век». Был членом Высшего творческого совета Союза писателей

России. Первый лауреат Всероссийской литературной премии им. И.А. Бунина. Награждён орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть». Заслуженный работник культуры РФ.



Подсвилов Иван Григорьевич

(р. 12.14.1939) – прозаик, поэт, публицист, литературовед. Автор многих книг, вышедших в издательствах Тулы, Москвы, Пятигорска. На протяжении нескольких лет работал ответственным секретарем Орловской областной писательской организации. Член Союза писателей СССР с 1973 года. Лауреат Пушкинской и Чеховской литературных премий Московской писательской организации Союза писателей России, Международного конкурса «Умное сердце» им. Андрея Платонова, премии им. В.И.Вернадского.



Муссалитин Владимир Иванович

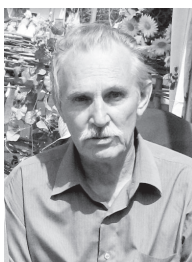
(р. 4.09.1939) – прозаик, публицист, журналист. Автор многих книг повестей, рассказов и очерков, а также множества публикаций в литературных и периодических изданиях. Член Союза писателей СССР с 1975 года. Главный редактор международного литературно-художественного журнала «Форум». Доктор философии. Академик Академии российской словесности. Лауреат Всероссийской литературной премии им. И.А.Бунина.



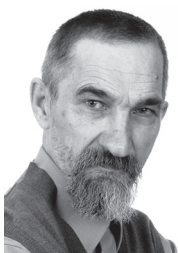
Лободин Игорь Фёдорович (27.10.1940 – пропал без вести в июле 2003) – прозаик, автор нескольких книг прозы. Первая книга рассказов была тепло встречена известными писателями В. Астафьевым и Е. Носовым. Член Союза писателей СССР с 1983 года. Рассказы печатались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Подъём», в еженедельнике «Литературная Россия», а также включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орловского края. XX век».



Пискунов Сергей Антонович (4.02.1940 – 14.10.1992) – прозаик, автор нескольких книг новелл, лирических миниатюрных этюдов, коротких рассказов. Член Союза писателей СССР с 1988 года. В 90-е годы XX века – ректор Орловского педагогического института. Произведения писателя вошли в хрестоматию «Писатели Орловского края. XX век».



Турбин Михаил Леонидович (р. 29.03.1941) – поэт и прозаик, автор шести книг стихотворений. Произведения публиковались в центральных литературных журналах России. Член Союза писателей России с 1996 года. Награждён «Золотой Есенинской медалью» Московской областной организации Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды».



Загородний Анатолий Яковлевич (р. 30.05.1947) – прозаик, публицист, литературный критик. Автор четырёх книг прозы и ряда произведений, которые печатались во многих журналах и литературных изданиях. Журнальный вариант романа «Сочинения о божественной глине» номинировался на Букеровскую премию. Член Союза писателей России с 1987 года. Лауреат Всероссийских литературных премий имени братьев Киреевских, «Вешние воды», имени И.А. Бунина, премии журнала «Наш современник» «За лучшее произведение года».



Лысенко Александр Иванович

(р. 26.08.1951) – публицист, поэт, издатель. Автор нескольких историко-краеведческих книг, а также стихотворений, опубликованных в коллективных литературных сборниках. Член Союза писателей России с 1999 года. Член Президиума Международного литературного Фонда и Президиума Литературного Фонда России. Лауреат нескольких Всероссийских литературных премий и конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.



Амиргулова (Черникова) Валентина Ивановна

(р. 12.01.1953) – автор многих книг рассказов, повестей, очерков, выходявших в Москве, Туле и Орле. Член Союза писателей России с 1991 года. Лауреат двух Всероссийских литературных премий: им. братьев Киреевских и «Вешние воды».



Оноприенко Юрий Алексеевич

(р. 10.05.1954) – прозаик, публицист, журналист. Автор десяти книг рассказов, повестей и романов. Член Союза писателей России с 1992 года. Лауреат Всероссийского литературного конкурса короткого рассказа им. Василия Шукшина, Всероссийских литературных премий им. Ивана Бунина и «Вешние воды». Произведения включены в хрестоматию «Писатели Орловского края. XX век», а также переведены на китайский язык и включены в «Антологию современной русской прозы». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, всероссийской общественной наградой – медалью «Василий Шукшин».



Грибанова Татьяна Ивановна

(р. 20.02.1960) – автор пяти книг стихотворений и рассказов, множества публикаций в российских литературных изданиях. Член Союза писателей России с 2009 года. Лауреат Международной литературной премии им. Андрея Платонова «Умное сердце», премии Губернатора Курской области им. Евгения Носова, Международного поэтического конкурса «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова, обладатель специального диплома «Прохоровское поле».



Фролов Андрей Владимирович

(р. 22.02.1965) – поэт, прозаик. Автор шести книг стихотворений и прозы, многочисленных публикаций в ведущих литературных журналах России и столичных периодических изданиях. Произведения включены в антологию современной литературы «Наше время», антологию «Русская поэзия. XXI век». Победитель VIII Международного поэтического конкурса «Золотое перо», дипломант нескольких Международных и Всероссийских литературных конкурсов. Лауреат Всероссийских литературных премий «Вешние воды» и «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова, учреждённой Союзом писателей России, Ассоциацией Уральских писателей и редакцией журнала «Бийский вестник».



Голубева Светлана Сергеевна

(р. 3.03.1967) – прозаик и поэт, автор четырёх книг, в том числе сказок и повести для детей. Произведения публиковались во многих литературных журналах России – от Воронежа до Алтая. Член Союза писателей России с 2010 года. Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды» и Международного конкурса литературы для детей и юношества им. А.Н. Толстого.



Ковалёва Елена Витальевна

(р. 9.06.1967) – поэт, автор трёх поэтических сборников. Произведения публиковались в российских литературных журналах и альманахах. Член Союза писателей России с 2013 года.



Шорохов Алексей Алексеевич

(р. 8.11.1973) – поэт и публицист, автор восьми книг стихотворений и публицистических статей. Произведения публиковались в российских, сербских, болгарских, латвийских, польских и германских журналах, входили в сборники и антологии. Член Союза писателей России с 2002 года. С 2004 года – секретарь Правления Союза писателей России. В 2011 году избран Почётным членом Союза писателей Сербии. Лауреат Всероссийских литературных премий «Хрустальная роза Виктора Розова», «Эврика», «Вешние воды»; Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина. Награждён памятной медалью «150-летие А.П. Чехова» и общественной медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм».



Шендаков Андрей Игоревич

(р. 22.06.1978) – поэт, автор книги стихотворений «В старинном городке». Произведения публиковались в литературных журналах и сборниках. Лауреат Всероссийских литературных конкурсов «Дети солнца», им. С.А. Есенина, «Хрустальный родник»; Международного литературного конкурса «Золотая строфа»; Межрегионального литературного конкурса «Моя родная Русь». Дипломант Международного литературного конкурса «Белая скрижаль», Международного литературного конкурса детской и юношеской литературы им. А.Н. Толстого в номинации «Поэзия для юношества». Член Союза писателей России с 2013 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений Горбов. Заря (рассказ)	5
Владимир Мильчаков. Святой отец (рассказ)	26
Анатолий Яновский. Сорока. Снегирь. Портсигар. Пилотка. Косые дожди (рассказы)	65
Евгений Зиборов. Возвращение. Любка-санинструктор (рассказы) . .	89
Николай Родичев. Алимускины полушубки. Яшка и его отец (рассказы)	117
Леонид Сапронов. Родители. Память прошлого. Белая дача (рассказы)	149
Пётр Проскурин. Огненный ангел. Аз воздам, Господи... (рассказы) .	179
Леонид Моисеев. Разговоры с товарищем Сталиным. Даниловы страдания (рассказы)	219
Леонард Золотарёв. Липа вековая. И ударили в колокола. Его голубая мечта (рассказы)	235
Иван Рыжов. Конь золотой. Аринкин хутор. Лебёдушки (рассказы)	267
Иван Подсвилов. Старший сын Анфисы Егоровны. Киевский вокзал. Фея в радужном платье (рассказы)	303
Владимир Муссалитин. Лунные коноплянки. Боб (рассказы)	329
Игорь Лободин. Дни листопада. Подснежники. Перепёлка во ржи (рассказы)	365
Сергей Пискунов. Утренняя песня. Холодно. Вешние пути. На Непрядве (рассказы)	389
Михаил Турбин. Слободчане (рассказ)	409
Анатолий Загородний. Гроза (рассказ)	437
Александр Лысенко. Маршал и тромбонист. Экспромт. О том, чего не знает Василий Катанов (рассказы)	461
Валентина Амиргулова. Розы для Георгия (рассказ)	481
Юрий Оноприенко. Влажные глаза. Анисим. Ласковый Зина (рассказы)	501
Татьяна Грибанова. От Рождества до Покрова. Китайские фонарики. Анисовые туманы (рассказы)	527
Андрей Фролов. Душегуб. «Мусорный день». Египтянка. Могилы (рассказы)	555
Светлана Голубева. Милька (рассказ). Миниатюры.	577
Елена Ковалёва. Выбор (рассказ)	603
Алексей Шорохов. Победа пахнет фиалками и напалмом (повесть)	613
Андрей Шендаков. Солнечный ветер (краткие рассказы)	646

ISBN 978-5-87295-288-6



9 785872 952886

Четырёхтомное собрание произведений
современных орловских писателей

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ
ИЗБРАННОЕ

Том первый

ПРОЗА



Ответственный за выпуск *Е.А. Машукова*
Технический редактор *Г.В. Скорикова*
Корректор *А.А. Гудкова*

Издательство «Вешние воды».
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.

Подписано в печать 27.07.2015 г. Формат 60x84/16. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. п. л. 39,65. Тираж 1000 экз. Заказ № 8846.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ООО «Новое время».
г. Орёл, ул. Итальянская, 23.